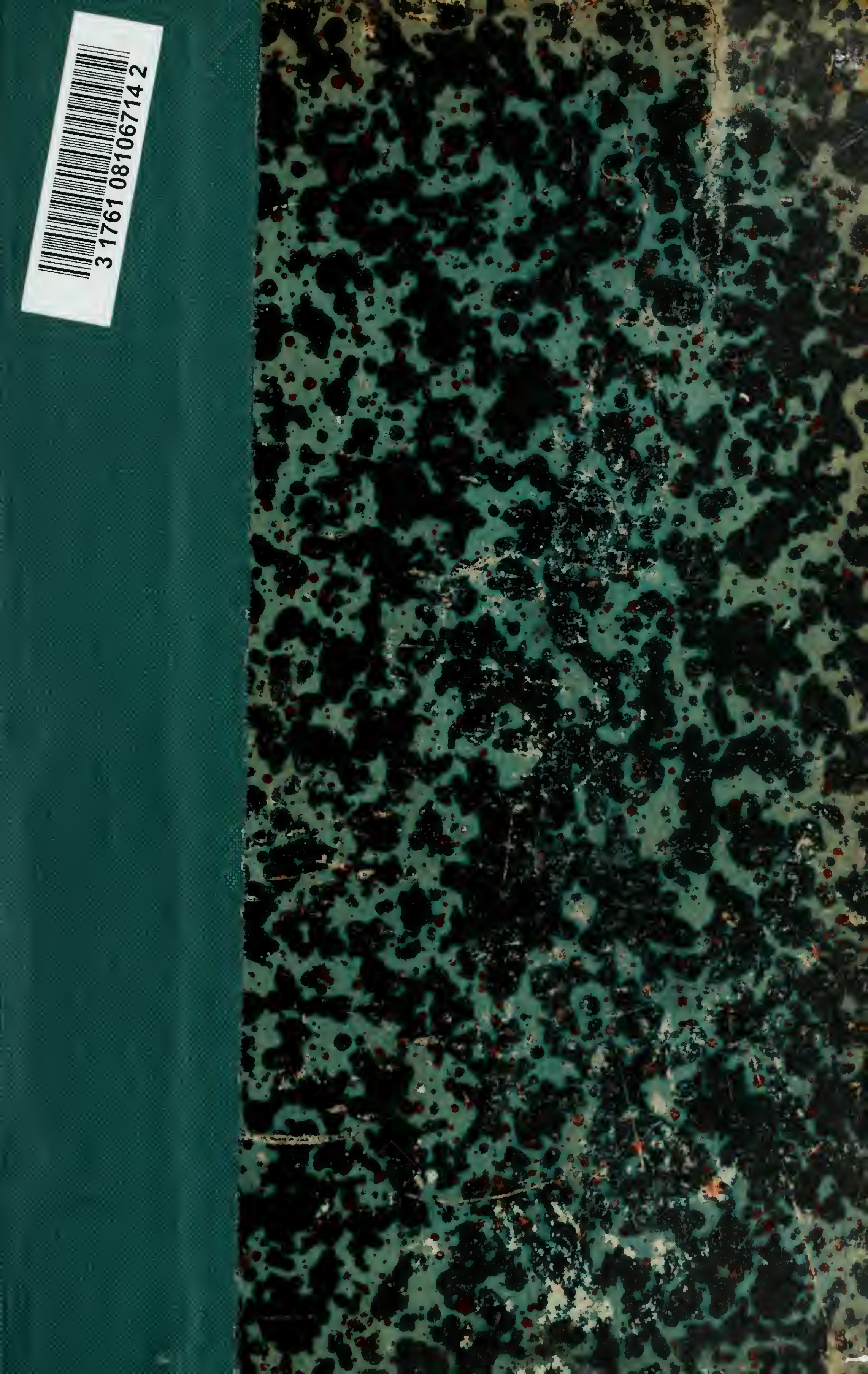
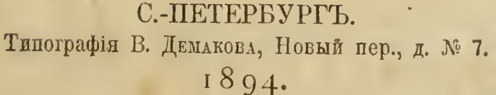

3 1761 08106714 2

СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ.

Мартъ № 3.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. Демакова, Новый пер., д. № 7.
1894.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28 февраля 1894 года.

Главная Контора «Сѣвернаго Вѣстника» покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ, пользующихся разсрочкой, во избѣжаніе задержки въ высылкѣ апрѣльской книжки, поторопиться высылкой 2-го взноса съ указаніемъ адреса и № бандероли.

СОДЕРЖАНІЕ.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

НА РАЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

(Романъ въ трехъ частяхъ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

XIV.

Простясь съ Натальей Григорьевной, Левъ Самойловичъ не долго оставался одинъ.

— Что это вы сегодня? Seul et abandonné? — Крикнула ему съ террасы, пившая тамъ послѣ завтрака свой кофе, Маргарита Францовна.

— Такъ... Наталья Григорьевна устала, ей хочется отдохнуть...

— Полагаю... Вы, я думаю, за эти мѣсяцы верстъ тысячу пѣшкомъ сдѣлали?

— Да, но это послѣ сидячей жизни Петербурга... — Началъ было онъ.

Марго откровенно захохотала.

— Чему вы это?

— Такъ... Это вы значитъ только въ гигіеническихъ цѣляхъ? Для моціону?

Самсоновъ ей не отвѣтилъ, но про себя подумалъ: „отъ этого министра въ юбкѣ не спрячешься! вотъ-бы ко мнѣ на заводы въ управляющіе“.

— Васъ мои сѣдые волосы не пугаютъ?

— Нѣтъ, а что? Обернулся къ ней Самсоновъ.

— Я хочу съ вами пройтись по берегу. Не бойтесь, не бойтесь, не подъ-руку... Я терпѣть не могу ходить сцѣпившись... Да и кромѣ того, не со всякою это пріятно, особенно-же съ такою, какъ я; вчера вѣсилась тутъ, и вдругъ девяносто восемь кило!.. Это, если перевести на пуды, сколько будетъ?

— Я съ удовольствіемъ, вы кончили свой кофе?

— Прибавьте съ коньякомъ. Отъ моего французскаго происхожденія только и осталось, что любовь къ ликерамъ и къ fine. Я сейчасъ васъ нагоню.

Она сбѣжала по каменнымъ ступенямъ на твердый песокъ морского пласта, гдѣ уже копошились десятки дѣтей, подвернувшихъ штанишки и храбро, босикомъ, шнырявшихъ то и дѣло въ воду на охоту за крабами и лангустами. Другіе, въ томъ-же костюмѣ, возились въ пескѣ, строили воображаемые валы, рыли канавы, тотчасъ-же наполнявшіяся водою, просачивавшеюся снизу, и воздвигали на грозныхъ редутахъ французскія и русскія знамена. Медовый мѣсяцъ нашего сближенія съ Франціей только начинался: желтый императорскій штандартъ съ двуглавымъ орломъ — былъ въ большой модѣ. Одинъ громадный даже вѣялъ надъ самымъ фронтономъ колоссальнаго отеля, хотя владѣльцемъ его былъ настоящій нѣмецъ, которому всего менѣе пріятны были франко-русскія симпатіи. Марго обѣжала нѣсколько такихъ грозныхъ укрѣпленій. Босоногій гарнизонъ, часто состоявшій изъ прелестныхъ кудрявыхъ дѣвочекъ, выскакивалъ изъ-за валовъ и дѣлалъ ей честь. Она по пути перецѣловала нѣсколько дѣтишекъ, а одного, безъ церемоніи, выхватила изъ середины непобѣдимой арміи, перекинула его себѣ на локоть и устремилась съ нимъ дальше.

— Вы любите дѣтей? — спросилъ ее Самсоновъ.

— Всякая женщина любитъ ихъ! Особенно тѣ, у которыхъ, какъ у меня, своихъ не было!

Они прошлись подальше къ скаламъ. Самсоновъ молчалъ, задумавшись... Онъ кажется забылъ даже, что не одинъ на этомъ берегу.

Марго нѣсколько разъ взглянула на него съ боку и, наконецъ, не выдержала, разсмѣялась. Тотъ удивленно оглянулся.

— Чему вы?

— Такъ, очень ужъ вамъ весело со мною! То-ли дѣло, если бы на моемъ мѣстѣ была другая.

— Какая другая? — совсѣмъ уже глупо переспросилъ Самсоновъ

— Вы хотите les points sur les i? Ну пожалуй, представьте, что вдругъ тутъ-бы оказалась Наталья Григорьевна Свѣтлинъ-Донецкая...

— Развѣ не все равно? для прогулки нуженъ веселый товарищъ. Старался онъ все обратить въ шутку.

— Удивительные вы, мужчины... Вы считаете себя умнѣе насъ... Несравненно умнѣе, А въ сущности вѣдь самый умный изъ васъ — бабьяго мизинца не стоитъ. Не удивляйтесь, не удивляйтесь! Я не говорю про ваши тамъ философіи, техническія производства и вообще всѣ эти скучныя вещи, до которыхъ намъ никакого дѣла нѣтъ, по крайней мѣрѣ мнѣ, я вѣдь женщина стараго укола...

— Закала! — поправилъ ее Левъ Самойловичъ.

— Все равно, вѣдь вы поняли. Я говорю о простомъ житейскомъ умѣ. Посмотрите на Наталью Григорьевну, она женщина, и говори съ нею сколько хочешь о васъ, никакъ не узнаешь, какъ она къ вамъ относится, какъ къ постороннему или доброму другу, а вы...

— Что я?

— А вы... Страусъ спрячетъ, говорятъ, голову подъ крыло и ложится передъ охотникомъ, и думаетъ, что его никто не видитъ.

— Ну, а что вы видите...

— Я... все вижу...

И она остановилась, разсматривая, какъ два краба схватились подъ сѣрымъ камнемъ, сплошь покрытымъ присосавшимися къ нему черными раковинами. Она зонтикомъ выхватила изъ воды крабовъ; большой красный грозно всталъ на щупальцы и поднялъ вверхъ свои клешни, храбро отражая ими легкіе удары. Маленькій лежалъ на пескѣ—полумертвый. Очевидно противникъ началъ ужъ лакомиться имъ.

— Что-же *все*? Ваше *все* — великолѣпно. Чисто по женски. Вѣдь у васъ такъ: почему? — потому, какъ? — такъ... Что? — все! Нечего сказать, убѣдительно и ясно...

— Не волнуйтесь и не сердитесь. Этимъ вы себя еще больше выдаете, совсѣмъ съ головою. Вѣдь вы знаете, Левъ Самойловичъ, меня еще никто не считалъ за сплетницу.

— Да, это правда, Маргарита Францовна, въ васъ этой женской черты нѣтъ совсѣмъ.

— Это вовсе не женская черта, М-сье Самсоновъ. Если-бы мужчинъ не интересовали сплетни, мы бы никогда не сплетничали. Во всѣхъ нашихъ порокахъ вы виноваты, а добродѣтели наши... Какъ это les vertues — достоинства что-ли?— принадлежатъ намъ самимъ.

— И перетягиваніе до обморока, и прокалываніе ушей, и еще я не знаю что...

— А въ этомъ случаѣ je me souviens toujours de la reflexion échappée à un caniche-philosophe au moment où on lui coupait la queue: il faut souffrir pour être beau! Впрочемъ, что-же мы объ этомъ... Да, вы не умѣете прятаться, Левъ Самойловичъ.

— И не считаю нужнымъ, по крайней мѣрѣ отъ такихъ друзей какъ вы.

— Такъ? Ну, такъ позвольте мнѣ, какъ другу, сказать вамъ, что вашимъ путемъ вы все будете, какъ это, топаться на мѣстѣ...

— Вы хотите сказать, топтаться на мѣстѣ!

— Ну, да. И ни шагу... Я лучше васъ понимаю Наталью Григорьевну. И вы и она всегда останетесь несчастными и все, знаете, издали будете молиться одинъ на другого, пока у обоихъ у васъ станутъ волосы такими-же сѣдыми, какъ у меня, и вы поймете, что

*

ваша жизнь погибла Богъ знаетъ изъ-за чего, и что настоящаго счастья вы не знали ни на минуту.

— Мнѣ только кажется, что вы ошибаетесь. Наталья Григорьевна ко мнѣ относится только какъ къ другу... Только.

Маргарита Францовна удивленно посмотрѣла на Самсонова и, убѣдясь, что онъ говоритъ вполнѣ искренно, на сей разъ ужъ расхохоталась во всю и даже присѣла на скалу, не въ силахъ будучи держаться на ногахъ.

— Bon Dieu, какъ вы всѣ мужчины. Вы не обижайтесь, но... Какъ вы недалеки, непроницательны, даже слѣпы... Она, Наталья Григорьевна, на васъ смотритъ какъ на друга?..

— А какже? — радостно переспросилъ ее Левъ Самойловичъ.

— Ну такъ я вамъ открою глаза: она до безумія, понимаете, до безумія любитъ васъ. Она молится на васъ. Что она холодна съ вами, такъ развѣ вы не знаете сами сколько въ ней... гордости и даже не гордости, а... les principes. И изъ-за les principes она умретъ, а не дастъ вамъ вотъ и этого, — указала она на кончикъ мизинца и даже прикусила его зубами. — И вы такъ и измучитесь, и состаритесь. Нѣтъ, этою дорогой вы никуда не придете.

— Что-же мнѣ надо дѣлать?

— А вы даете слово слушаться меня?..

— Я не знаю еще, что вы мнѣ посовѣтуете.

— Margot de France, я вѣдь знаю, какъ меня шутники называютъ, Маргарита Французская, дурного не посовѣтуетъ. Вы знаете, что въ каждой пожилой француженкѣ непремѣнно сидитъ сваха. По нашему это грубѣе называется. Но мы вновь живемъ, когда устраиваемъ чье нибудь счастье... А васъ и Наталью Григорьевну я люблю. И потомъ, вы умный человѣкъ и понимаете сами, такихъ друзей выгодно имѣть женщинѣ, которая привыкла жить хорошо, но у которой нѣтъ, какъ у васъ милліоновъ.

— Я понимаю, я человѣкъ дѣловой...

— Ну вотъ... Наталья Григорьевна любитъ васъ до смерти... Это я правильно сказала?

— Да, правильно.

— Но она можетъ быть только, вы понимаете, только вашей женой, и безъ всякихъ компромиссовъ, безъ всѣхъ этихъ фокусовъ, къ которымъ прибѣгаютъ нынче люди, легко относящіеся къ такимъ вопросамъ.

— Ну, это дѣло, слѣдовательно, невозможное...—Уныло замѣтилъ Самсоновъ.

— Отчего невозможное?..

— Да что вы, Маргарита Францовна,—маленькая что-ли?.. Еще

умной женщиной слывете. А съ Владиміромъ Петровичемъ что-же намъ дѣлать? Въ чемоданѣ въ Америку отправите что-ли?.. Вѣдь она замужемъ.

— Я это отлично знаю... А разводъ?

— Какой разводъ?

— Такой... Какой бываетъ?

— Ей-Богу, вѣрно вы и порохъ выдумали. Я вѣдь и безъ васъ знаю о томъ, что на свѣтѣ противъ каждаго яда есть противоядіе. Разводъ! Хорошо-же вы Наталью Григорьевну понимаете. Ее убить можно, а она никогда не станетъ добиваться такого развода. Она ни за что,—умретъ, а шагу не сдѣлаетъ. Она дорожитъ своей репутаціей. Это намъ ничего развестись... а женщинѣ...

— Постойте... ne parlez pastros. Я никогда не имѣла въ мысляхъ, чтобы madame Свѣтлинъ-Донецкая сама добивалась развода. Я знаю, что ее ничѣмъ не заставишь искать его. Но я женщина и потому вижу широкую дорогу тамъ, гдѣ вы, les rois de création, упираетесь лбомъ о стѣну и стоите на мѣстѣ. Да-съ... Потому что еще разъ вы должны признать, что мы женщины гораздо умнѣе. Да это и на мелочахъ видно. Попадись вамъ узелъ, вы сейчасъ-же, трахъ, и рвете его—а мы распутываемъ. И этотъ я вамъ распутаю.

— Какъ?

— А вотъ какъ: иниціатива развода должна идти не съ этой стороны.

— Что? Маргарита Францовна, не томите вы меня. Говорите скорѣй.

— А не хотите: продолженіе въ слѣдующемъ номерѣ?

— Ей-ей я васъ въ воду брошу...

— Ну вотъ тогда—окончательно ничего не будетъ. Ну такъ слушайте, attention. Надо, чтобы разводъ ей предложилъ мужъ, чтобы онъ все принялъ на себя, чтобы—она тутъ ни въ чемъ не поступилась.

— Да какъ же добиться отъ ея мужа?.. Я Владиміра Петровича знаю. Такая упрямая скотина... Ему удобно—онъ и не шевельнется...

— Это, Левъ Самойловичъ, сдѣлаю я.

— Вы? недовѣрчиво протянулъ онъ.

— Да—я! Вы знаете, я никогда еще даромъ ничего не обѣщала никому. Ну такъ я вамъ даю свое слово... Честное слово, если хотите... „На мечахъ“ клянусь. „И мечемъ и крестомъ“, что Владиміръ Петровичъ не только предложитъ ей разводъ, но станетъ добиваться этого всѣми силами, причемъ и право, и morale будутъ на сторонѣ Натальи Григорьевны. И общественное мнѣніе тоже. Впрочемъ, я ее знаю, она своей совѣсти боится, а общественное мнѣніе для нея ноль.

— Да какъ же вы это сдѣлаете?

— У каждаго есть секреты, а я своихъ никогда не выдаю. Только я должна васъ предупредить, Владиміру Петровичу нужны будутъ деньги... много денегъ.

— Чтожъ объ этомъ толковать! Это самое пустое.

— И мнѣ тоже. Сколько ему, не знаю. Я человѣкъ честный. За ваши интересы постою.

— Я вамъ скажу одно: мнѣ безъ Натальи Григорьевны—зарѣзъ. Дерите съ меня шкуру, только устраивайте.

— Не бойтесь, это будетъ много для насъ съ нимъ, а для васъ пустяки. И при томъ, вы такъ и знайте, что деньги тутъ второстепенный аргументъ. У меня есть оружіе поважнѣе!

— Какое?

— Когда все устроится, тогда вы поймете. Только смотрите — мы съ вами въ заговорѣ... Слышите?.. Если узнаетъ третій, даже если третьею будетъ Наталья Григорьевна, то все пропало и я умываю руки. Ей ни одного слова. Но вы должны быть черезъ мѣсяцъ въ Петербургѣ. Чтобы когда станутъ кашу варить...

— Когда каша заварится?..

— Да, такъ, чтобы вы были около нея, понимаете.

— Маргарита Францовна, да я вамъ... Всю жизнь...

— О, зачѣмъ такія громкія слова? Жизнь дороже, чѣмъ мои услуги. И потомъ я умѣрена. Я никогда не хочу слишкомъ многаго...

И она кончикомъ зонтика написала на мягкомъ и мокромъ пескѣ 25.000 р. Левъ Самойловичъ усмѣхнулся, зачеркнулъ это палкою и написалъ 50.000...

Марго де Франсъ осталась довольна. Она крѣпко пожала руку Льву Самойловичу...

— Я думаю отъ сотворенія міра въ первый разъ контрактъ былъ написанъ на пескѣ морского дна, обнажающагося только при отливѣ.

Левъ Самойловичъ повеселѣлъ. „А какое я вамъ колье куплю, Маргарита Францовна... Если хотите, даже жениха вамъ найду!“

— Нѣтъ, совершенно серьезно отвѣтила она, я своего глухого генерала люблю, и другого мнѣ не надо.

И она тихо пошла къ отелю. Приливъ уже начинался. Волны догоняли ее и нѣсколько разъ съ тихимъ шипѣніемъ вскидывались у ея ногъ. Левъ Самойловичъ, точно окрыленный, отправился вдоль берега. Ему хотѣлось теперь остаться одному со своими мечтами, лицомъ къ лицу съ радужнымъ признакомъ близкаго будущаго. Онъ только мелькомъ, проходя, взглянулъ на окно Натальи Григорьевны; оно было задернуто желтою шелковою занавѣсью.

— Погоди, гордая! Кинулъ онъ ей мысленно—будешь ты наконецъ моей...

И такъ бурный приливъ счастья захватилъ его, что ему самому показалось, будто онъ пьянъ. Все кругомъ завертѣлось, скалы перемѣшались съ террасою. Отель запрыгалъ, даже окна его закружились, и Самсоновъ долженъ былъ сѣсть, чтобы не упасть. Прошло нѣсколько минутъ, пока онъ опомнился. Къ нему издали подходилъ мѣстный рыбакъ, еще за двадцать шаговъ снимая черную вязаную баску съ кисточкой по срединѣ.

— Monsieur le prince!—Самойлова всѣ здѣсь звали принцомъ, какъ онъ не отбивался отъ этого... Monsieur le prince, къ вечеру вамъ будетъ готова именно та лодка, какую вы хотѣли. Я посылалъ за нею въ Байону.

Самсоновъ на радостяхъ сунулъ ему какую-то бумажку и пошелъ дальше.

Рыбакъ опѣшилъ, посмотрѣлъ на сто-франковый билетъ, постоялъ, постоялъ и кинулся догонять Самсонова.

— Чего вамъ? круто обернулся тотъ.

— Pardon, monsieur le prince... Но, я честный человѣкъ. Стараго Бенуа всѣ знаютъ. Вы ошиблись—и дали мнѣ слишкомъ много.

И онъ протянулъ ему деньги обратно.

— Merci, mon brave! Я дѣйствительно ошибся. Я хотѣлъ дать вамъ вотъ эту монету—и онъ завернулъ луидоръ въ пятисотъ-франковый билетъ и подалъ старику. Тотъ обезпамятѣлъ даже.

— Да я... я теперь свою лодку заведу! Кричалъ онъ... Il n'y a que les russes pour ça! Oh monseigneur! Моя жена, дѣти всѣ будутъ молиться за васъ.

Но „monseigneur“ былъ уже далеко.

— А еще увѣряетъ, что не принцъ. Кто-же, кромѣ принца, можетъ сдѣлать это! Восторженно оралъ старый Бенуа, стремглавъ бѣжа къ отелю... Въ прошломъ году самъ Ротшильдъ, Альфредъ Ротшильдъ, жилъ здѣсь—а мы отъ него никогда больше сорока су не получали. А и въ самомъ дѣлѣ онъ долженъ быть prince! Не даромъ онъ такой большой и бѣлокурый...

Когда черезъ два часа Самсоновъ вернулся въ отель, прислуга чуть не падала передъ нимъ на всѣ четыре копыта.

Марго де Франсъ, входя въ отель, наткнулась на запыхавшагося Ивана Николаевича, тотъ весь въ поту тащилъ въ рукахъ какія-то картонки...

— И прощайте, и прощайте, и прощайте! Крикнулъ онъ ей.

— Куда это вы?

— Несетъ меня лиса за темные лѣса, за высокія горы! Ку-

шайте на здоровье теперь Льва Самойловича подъ какимъ вамъ угодно соусомъ. Уѣзжаю—видите укладываюсь. Никто вамъ теперь мѣшать не будетъ...

— Да вы мнѣ и прежде не мѣшали. Куда-же вы?

— Домой, но сначала на недѣльку въ веселый городокъ Парижъ. Душу отвести.

А самъ онъ про себя думалъ: „постойте, я вамъ всѣмъ здѣсь устрою бенефисъ. Увижу Калерію Алексѣевну и такое ей разскажу, что она сломя голову прилетитъ сюда на живое мѣсто. Она васъ всѣхъ у меня шапкой накроетъ, и этому златокудрому богу Одину больше всего влетитъ. Будетъ онъ помнить Кузькину мать".

Сообразивъ все это, онъ сдѣлался вдвое ласковѣе, даже наклонился и поцѣловалъ руку Маргаритѣ Францовнѣ.

— За что это? — Изумилась она.

— Да потому, что въ сущности я васъ очень люблю... Вы умная баба!

Маргарита Францовна дѣйствительно оказалась умна. Она пристально посмотрѣла на него и засмѣялась.

— Вы задумали пакость какую-то, Иванъ Николаевичъ... Но вамъ не удастся. Вамъ со мной не по силамъ бороться... Я даже догадываюсь... Вы думаете въ Парижѣ увидѣть Калерію Алексѣевну? Кланяйтесь ей отъ меня.

Приглядовъ такъ и остался съ разинутымъ ртомъ на лѣстницѣ.

— Тьфу ты!—отплюнулся онъ.—Да это не женщина, а какой-то Соломонъ премудрый... Эхъ! Вотъ-бы тебѣ, Ваничка, такую жену!.. Умна, умна, бестія. Сразу въ голову клювомъ кокаетъ. Не даетъ промаху! Охотничья собачка—верхнимъ чутьемъ дичь подымаетъ. Чортъ-бы тебя взялъ. И когда ты треснешь только!

Онъ видимо забылъ, что самъ толще ея оказывался.

— Неужели вы уѣзжаете?—кинулась къ нему Анна Федоровна.

— Да-съ, милая дѣвица, я въ пустыню удаляюсь отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ! — фальшиво запѣлъ онъ.

— А какже вашъ братъ?

— Это съ раздвоеннымъ носомъ который?

— Ну, да! Я такъ хотѣла-бы съ нимъ познакомиться.

— Я его вамъ по почтѣ заказною бандеролью, а вы, пожалуйста, почтальону пятнадцать сантимовъ на чай.

И онъ, тяжело вздыхая, сталъ подыматься къ себѣ въ номеръ.

XV.

Бенуа сидѣлъ въ лодкѣ у берега, ожидая „altesse", иначе теперь уже не звали Льва Самойловича. Старый рыбакъ какъ могъ, такъ и

выразилъ свою благодарность. Онъ борта лодки убралъ букетами цвѣтовъ и даже весла у ручекъ перевилъ ими. Досталъ въ отелѣ ковровъ и уложилъ ими дно. Отъ мачты къ носу и кормѣ, къ снастямъ навѣсилъ китайскихъ фонариковъ. Лодка, вся свѣтясь ими, чуть колыхалась у пристани, собирая зѣвакъ, такъ что, когда Самсоновъ съ Натальей Григорьевной увидали ее, такъ невольно попятились.

— Точно изъ третьяго акта „Гугенотъ"! — засмѣялся Левъ Самойловичъ.

— А вѣдь красиво...

Бенуа самъ хотѣлъ остаться въ лодкѣ, и служить altesse, но Самсоновъ отпустилъ его домой, и нѣсколькими сильными ударами веселъ далеко отодвинулся отъ берега.

— Воображаю, теперь сплетень будетъ на нашъ счетъ!—засмѣялась Наталья Григорьевна, разсмотрѣвъ во всѣхъ освѣщенныхъ окнахъ отеля и на террасѣ сотни лицъ, слѣдившихъ за лодкой.

— А вы не боитесь?

Она подняла брови и удивилась.

— Сплетень, я? Да что-жъ мнѣ они. Я выше ихъ. Я презираю сплетни... Помните — дѣвушкой была, не обращала на нихъ вниманія. Мнѣ важно чувствовать себя правой, и я спокойна, что-бы обо мнѣ не говорили!

— Гордость это у васъ.

— Нѣтъ... — грустно вырвалось у нее. — Даже вы меня не понимаете... Это — совѣсть.

— Вы еще жизни не знаете, съ ними надо считаться, со сплетнями. Это ядъ — незамѣтный, но сильный.

— Въ такомъ случаѣ и не хочу знать жизни, Богъ съ ней, если ради этого надо поступаться...

— Чѣмъ?

— А тѣмъ, что тутъ у меня! — дотронулась она до сердца. — Гордость это... это изъ головы... Ну, да будетъ объ этомъ, вотъ ночь!.. Я и не ждала такой.

Въ волнахъ благоуханій, слушаясь легкаго движенія веселъ, тихо плыла лодка въ задумчивое царство океана... Позади змѣился слѣдъ, гдѣ вода свѣтилась фосфорическимъ блескомъ. Вдали у берега мерещилась огнистая кайма прибоя. То и дѣло по сторонамъ за бортомъ въ глубинѣ мерцали, точно чудомъ, остановившіяся, не доходя до дна, серебряныя блюда...

— Что это? — спросила Наталья Григорьевна.

Самсоновъ поднялъ весло и одно изъ этихъ блюдъ, бывшее ближе, ударилъ имъ. Блюдо вдругъ загорѣло радужными красками, и сжимаясь и разжимаясь по краямъ, стало опускаться внизъ, пока обратилось въ тусклое пятно.

— Медузы. Ихъ пропасть. Опять наступаютъ жаркіе дни должно быть. Ишь сколько. Цѣлыми стаями.

Свѣтлые круги дѣйствительно плыли отовсюду, то вмѣстѣ, то въ разбивку... Чѣмъ глубже было море, тѣмъ они ближе и ближе подымались къ его поверхности. Движеніе воды отъ веселъ заставляло ихъ разгораться сильнѣе... Подъ ними можно было разглядѣть медленно и плавно шевелившіяся щупальцы, тоже мерцавшія, хотя и слабо.

— Левъ Самойловичъ... нельзя-ли погасить эти фонари... Они мѣшаютъ. Въ самомъ дѣлѣ слишкомъ театрально!

Онъ послушно развязалъ веревки, снялъ мачту, загасилъ огни и уложилъ ее вдоль борта.

Теперь звѣзды ярче выступили въ ночныхъ небесахъ, и молодой мѣсяцъ засвѣтился позади, отраженный спокойнымъ зеркаломъ океана.

— Вы были нездоровы сегодня?

— Нѣтъ,—нервно и недовольно отвѣтила Наталья Григорьевна.— Я вамъ уже говорила, что мнѣ надобно отдохнуть... Я чувствовала себя усталой, совсѣмъ усталой. Раскисла. И со мною это бываетъ, хотя я хвасталась тѣмъ, что у меня нѣтъ нервовъ.

— Это не оттого.

— А отчего-же?—и она, вспомнивъ свой сонъ, покраснѣла. Разумѣется въ темнотѣ это прошло для него незамѣтно.

— Не оттого... Подумайте хорошенько и вы сами поймете.

— И понимать нечего... Просто силъ не хватило.

— А я думаю отъ неестественныхъ условій, въ которыя ставятъ себя люди, которые любятъ другъ друга и отказываются Богъ вѣсть ради чего и отъ счастья и отъ жизни.

— И вамъ не совѣстно... Не того, что вы сказали, а вотъ этого самаго „Богъ вѣсть“?

Онъ промолчалъ и только сильнѣе заработалъ весломъ.

Совсѣмъ какъ во снѣ: также плавно скользитъ лодка по спокойному океану. Только нѣтъ золотистой дали — но эта ночь еще красивѣе. Какъ раздраженно горятъ звѣзды. Млечный путь запалъ налѣво. Вонъ тѣхъ, на далекомъ югѣ, созвѣздій она никогда не видѣла въ Петербургѣ. Въ прохладномъ сумракѣ цвѣты, умирая, точно исходятъ благоуханіями. Она взяла одинъ букетъ. Прижалась къ нему лицомъ. Какимъ нѣжнымъ холодкомъ полны лепестки этихъ цвѣтовъ. Наталья Григорьевна крѣпко вдохнула въ себя раза два ихъ запахъ и сильнымъ взмахомъ швырнула ихъ далеко въ море.

— Что это вы?

— Жертва океану, чтобы онъ былъ милостивѣе къ бѣднымъ пловцамъ...

Самсоновъ засмѣялся. Онъ оглянулся, теперь они были далеко отъ отеля. Онъ небольшимъ чернымъ пятномъ, искрясь окнами, лежалъ позади. Левъ Самойловичъ сложилъ весла, пересѣлъ рядомъ съ подвинувшеюся Натальей Григорьевной и взялъ ея руку. Она съ силою вырвала ее.

— И этого нельзя?.. Что съ вами?

— Сегодня нельзя!

Если-бы онъ видѣлъ въ темнотѣ, онъ-бы замѣтилъ, какъ она опять нежданно и густо покраснѣла.

— Отчего?

— Такъ... Вы обѣщали меня слушаться.

Не могла-же она сказать ему, что послѣ этого сна она вся точно въ лихорадкѣ, что отъ его рукъ къ ней переходятъ какія-то искры, лишающія ее сознанія. И безъ того у нея кружилась голова, сладко-сладко кружилась, и какая-то слабость охватывала всю, такъ что она не могла и не хотѣла шевельнуть ногою, хотя и чувствовала, что той неловко, что въ колѣнѣ уже больно и вся она точно затекаетъ. Она наконецъ собралась съ силами, сбросила съ себя шляпку и распустила косы, свернутыя до сихъ поръ на затылкѣ.-. „Такъ будетъ легче, а то всю голову оттянули!“ Потомъ она наклонилась за бортъ, зачерпнула воды и брызнула себѣ въ лицо. Она не замѣчала или не хотѣла замѣчать, что Левъ Самойловичъ взялъ одну изъ ея косъ и, подумавъ: „какая тяжелая!“ сталъ тихо ее цѣловать... Коса будто змѣя лежала въ его рукѣ.

— Удивительные у васъ волосы! — проговорилъ онъ наконецъ.

Тутъ только она ее отняла у него.

— Удивительно! У русскихъ женщинъ вѣдь Богъ знаетъ что. Вода-ли у насъ такая или порода жидкая. Возьмите самыхъ красивыхъ и сравните ихъ съ южанками. Крысиные хвосты какіе-то, а не косы.

— Мы не слишкомъ далеко отплыли? — оглянулась она.

— Что это вы сегодня? И дальше случалось.

— Такъ, сонъ вспомнила, во снѣ я слишкомъ, слишкомъ далеко была. Теперь и въ явь боюсь.

Самсоновъ оглянулся назадъ. Отеля ужъ не было видно, только маяки Байоны и Біаррица кидали полными горстями во мракъ и пространство цѣлые снопы электрическаго свѣта. Левъ Самойловичъ сѣлъ опять за весла и вмѣсто того, чтобы вернуться, началъ сильно грести, все больше и больше увеличивая разстояніе...

— Это вы къ своему острову? — улыбнулась она.

— Да! Только до него не доплывешь съ вами.

— Нѣтъ... Не доплывешь! По крайней мѣрѣ на яву! — прибавила она про себя.

Мѣрные удары гнали по спокойной поверхности океана складку за складкой; до сихъ поръ неподвижныя въ его отраженіи звѣзды задрожали серебряными зигзагами. Луна позади точно кисеей затянулась—невѣдомо откуда на нее наползло тонкое облачко. Свѣтъ ея сталъ совсѣмъ молочнымъ. Погасали медузы въ водѣ. Брызги летѣли вверхъ и тускло падали опять въ воду...

— Бросьте весла! — недовольно проговорила она.

— Чего вы сегодня?

— Боюсь, нѣтъ не боюсь. Мнѣ скучно такъ. Я хочу, чтобы вы были около—здѣсь вотъ, опять отодвинулась она.

Онъ, невольно закачавъ лодку, перешелъ по ней, сѣлъ, и уже не спрашиваясь, обнялъ ее. Она хотѣла было что-то сказать, оттолкнуть его, но вмѣсто этого точно какая-то посторонняя сила кинула ея голову къ плечу Льва Самойловича. Онъ боялся, чтобы не спугнуть ее и чувствовалъ, какъ у нея сильно поднимается грудь. Онъ слышалъ легкій шелестъ шолка, ревниво обвивавшаго ее, и ощущалъ у себя на шеѣ ея горячее дыханіе. Колѣно Натальи Григорьевны касалось его ноги и Самсоновъ замѣтилъ, что оно дрожитъ, точно въ лихорадочномъ ознобѣ. Онъ еще сильнѣе прижалъ къ себѣ дѣвушку, взялъ свободною рукою ея голову и властно повернулъ къ своимъ губамъ. Она, какъ тогда въ Санъ-Себастіанѣ, отвѣтила ему на поцѣлуй поцѣлуемъ и когда онъ, желая вздохнуть, отодвинулся было, она потянулась за нимъ. Онъ видѣлъ какъ полузакрылись ея глаза. Ночь ли это — или дѣйствительно поблѣднѣло ея лицо! Точно мраморное! И изъ полуопущенныхъ вѣкъ какой острый взглядъ, хотя, навѣрное, она ничего, ничего не видитъ теперь!

— Милый, милый! Слышится ему... И онъ ушамъ своимъ не вѣритъ. Неужели это та же недоступная женщина. Милый, милый... Какъ я люблю, люблю, люблю тебя... И всю жизнь одного тебя любила... И никого и ничего больше... Даже воспоминаніе о тебѣ было мнѣ всего дороже... Слышишь ли... Я никогда, никогда не забывала... Цѣлые вечера—тамъ, въ Петербургѣ, оставаясь одна, думала о тебѣ... Мечтала, какъ институтка... У меня теперь никакихъ силъ нѣтъ. Я не могу, не могу больше. О, если-бы дѣйствительно—на этотъ островъ... на *твой* островъ... Безсвязно шептала она ему сквозь поцѣлуи... И теперь уже онъ не могъ-бы дать себѣ отчета—она-ли его это цѣлуетъ или онъ ее. Точно горячій дождь падалъ на него. Она упиралась ладонями въ его плечи, отталкивала его, пристально смотрѣла ему въ лицо, потомъ съ счастливымъ вздохомъ прижималась къ нему... Онъ цѣловалъ ея шею, горло, разстегнулъ пуговицу у этого горла и обжогъ ей сухими и горячими губами грудь — она точно вздрогнула вся и не сказала ему ни слова. „Моя, да?“ Тихо говорилъ онъ ей,

прижимаясь губами къ ея уху. Если-бы не порывистое дыханіе, можно было-бы подумать, что Наталья Григорьевна въ обморокѣ. Она, вдругъ, ни съ того ни съ сего повторила: „Да... сонъ...— сонъ“ и даже зажмурилась, чтобы не видѣть его лица, потому что оно отнимало у нея послѣднія силы... Онъ самъ не помнилъ потомъ, какъ онъ очутился у ея ногъ. У этихъ прелестныхъ и стройныхъ ногъ, кружившихъ ему голову... И ему казалось, что все замерло кругомъ, что ни лодки, ни моря, ни неба нѣтъ, что кругомъ какая-то пустота и въ пустотѣ единственный міръ—это они вдвоемъ. И никому до нихъ никакого дѣла, и они свободны, и все ихъ, потому что это все—они сами. О, пусть будетъ, что будетъ! Что ему за дѣло теперь до „завтра“... Сегодня такъ хорошо... Онъ чувствовалъ, что въ ней погасло всякое сопротивленіе, что она въ эту счастливую минуту только и жила его страстью. Отъ аромата цвѣтовъ кровь сильно била ему въ виски. Теперь, казалось, для нея весь міръ исчезъ. Она съ странною ясностью понимала — что вотъ-вотъ сейчасъ — и все кончится и она на всю жизнь связана съ нимъ и все, что было между ними невысказаннаго, все, что пугало ее своей таинственностью, все, къ чему шла ихъ любовь, отъ чего она такъ отбивалась, чего страшилась столько времени, все это оказалось сильнѣе ея и все это теперь ужъ у порога. И въ то же время она знала, что не она будетъ противиться этому. Она боялась только открыть глаза, чтобы не увидѣть его. Сонъ, сонъ! шевелилось въ ея головѣ со страшною ясностью. И ей даже не стыдно... „Милый, дорогой!..“ И вдругъ что-то пронзительной стужей охватило ее... Съ тихимъ журчаніемъ пролилось по дну — и она, вскочивъ, разомъ сообразила, что лодка отъ неосторожнаго движенія Самсонова качнулась, сильно качнулась и зачерпнула воды.

— Что это, что это? — дико оглянулась она.

И точно разомъ исчезло все. Очарованія какъ не бывало...

Онъ было двинулся къ ней. Но теперь ужъ передъ нимъ была прежняя Наталья Григорьевна. Она оттолкнула его... Пошла къ кормѣ... Сѣла. Опустила обѣ руки въ воду... Онъ сидѣлъ передъ нею совсѣмъ уничтоженный...

— Да... Я глупа была... Это сильнѣе насъ!—вырвалось у нея.

— А если сильнѣе, зачѣмъ же сопротивляться.

— Зачѣмъ?.. Слушайте, Левъ Самойловичъ... Я вамъ скажу, зачѣмъ... Если-бы... эта... эта вода не спасла меня... я-бы все равно опомнилась и потомъ... вы... вы-бы вернулись домой одни... Я-бы не пережила этого. Понимаете, я-бы этого не пережила.

Она сказала это такъ, что Самсоновъ ни на секунду не усомнился, что все такъ-бы и случилось.

— Я не виню васъ. Что тутъ глупыя роли играть. Я сама также виновата, какъ и вы. Если тутъ вообще была чья-нибудь вина... Дайте мнѣ платокъ.

У нея зубъ не попадалъ на зубъ. Она еще плотнѣе обернулась въ теплую и плотную ткань.

— Я сама, сама виновата... Я люблю васъ... Я была неопытной дѣвчонкой, воображая, что это могло кончиться дружбой... Такъ больше нельзя... Поверните лодку... Пора назадъ... Знайте... Если-бы это случилось... И если-бы вамъ удалось спасти меня... Мы-бы навсегда, навсегда были чуждыми другъ другу... Только не удалось-бы... Гребите сильнѣе. Я домой, въ постель хочу. Ахъ, если-бы заболѣть!—съ отчаяніемъ заломила она руки.— Заболѣть до потери сознанія!

Черный, уже съ потухшими окнами, отель видимо выросталъ передъ ними. Лодка врѣзалась въ ясный, серебрившійся подъ луною песокъ отмели. Самсоновъ соскочилъ и подалъ ей руку. Сонный портье отворилъ имъ... Они стали подниматься по лѣстницѣ. Было темно... Наталья Григорьевна шла впереди. Она порывисто обернулась, обняла его и крѣпко поцѣловала.

— Прощай!

— До свиданія? — тревожно спросилъ онъ ее.

— Ну, да... До свиданія... Прощай, мой милый, дорогой... Я люблю, люблю тебя... Ахъ... Какъ дорого придется расплачиваться за нѣсколько счастливыхъ дней... Прощай, родной... Не брани меня. Я тебѣ кажусь безумной. Да, я и въ самомъ дѣлѣ сумасшедшая...

И она исчезла за своей дверью.

На другой день она не вышла къ завтраку. Анны Федоровны не было тоже.

Левъ Самойловичъ постучался въ двери.

Свѣтлинъ-Донецкая сама ему отворила.

— Можно войти?

— Нѣтъ, нѣтъ. Я совсѣмъ разбита... Сдѣлайте мнѣ одолженіе... уѣзжайте куда-нибудь до вечера. Чтобы мнѣ не волноваться.

— Слушаю-съ!—съ недоумѣніемъ отвѣтилъ онъ, глядя въ ея уже успокоившіеся глаза.

„Удивительны эти женщины!“ — думалъ онъ про себя.— „Имъ все какъ съ гуся вода...“

— Послушайте, Наталья Григорьевна. Я только минуту останусь у васъ.

— У меня не убрано...

— Все равно, я ни на что смотрѣть не стану.

Она отодвинулась отъ двери... Онъ вошелъ и заперъ ее за собою,

и вдругъ опустился передъ ней на колѣни и, самъ, поддаваясь какому-то неудержимому порыву, зарыдалъ какъ ребенокъ.

Наталья Григорьевна ласково дотронулась до его волосъ.

— Полно, Левъ Самойловичъ... Полно... Будьте мужчиной. О чемъ вы? Я вѣдь ни въ чемъ, ни въ чемъ не виню васъ.

— Такъ... такъ, это сейчасъ пройдетъ. Отвѣтьте мнѣ, Наталья Григорьевна... Если когда-нибудь случится... Ну положимъ, вы овдовѣете, что-ли... Согласны-ли вы тогда быть моей женой?..

— Развѣ объ этомъ спрашиваютъ? Развѣ послѣ вчерашней ночи и вообще послѣ всѣхъ этихъ двухъ мѣсяцевъ могло-бы быть иначе? Я бы сама тогда пришла къ тебѣ и сказала: теперь я твоя, возьми меня!

Онъ благодарно посмотрѣлъ на нее, поцѣловалъ ей руку и пошелъ къ дверямъ.

— Левъ Самойловичъ, уѣзжайте куда-нибудь до завтра... Я должна придти въ себя.

— Хорошо...

Въ самыхъ дверяхъ, когда онъ хотѣлъ открыть ихъ, она удержала его руку, пристально взглянула на него и перекрестила его... Потомъ взяла его за голову, притянула ее къ себѣ и поцѣловала его въ лобъ...

— Уѣзжай-же... Иначе... Иначе я слягу!..

Левъ Самойловичъ вышелъ, нанялъ коляску въ Байону и, цѣлый день угоманивая себя, бродилъ по ея улицамъ... Возбужденіе вчерашней ночи не улеглось въ немъ. Оно душило его. Онъ нѣсколько разъ останавливался, чтобы совладать съ волненіемъ... Онъ переживалъ опять все вчерашнее, минуту за минутою и досадовалъ на себя, что допустилъ всему этому такъ глупо кончиться... Разумѣется, она бы не бросилась въ воду. Напротивъ, все было-бы устроено между ними. Они-бы поселились за-границей вмѣстѣ. Міръ великъ, есть гдѣ спрятаться и быть счастливыми... А такъ, такъ онъ съума сойдетъ. Нѣтъ, надо этому положить конецъ. Она, какъ дѣвушка, не понимаетъ, но онъ долженъ взять это на свою отвѣтственность; нельзя имъ обоимъ изводиться такъ и мучить другъ друга. Вѣдь онъ ни на что не похожъ теперь, да и она сегодня блѣдна какъ смерть была. И все это изъ-за какого-то осла — Владиміра Петровича въ Петербургѣ. „Да этотъ Владиміръ Петровичъ, я думаю, самъ ее дурою считаетъ...“ А онъ, Левъ Самойловичъ, рѣшительно жить безъ нея не можетъ больше...

До вечера онъ ходилъ какъ пьяный. Взялъ комнату въ гостиницѣ, но не остался въ ней, и выскочилъ опять на улицу. Когда стемнѣло, знакомый угаръ охватилъ его голову.

„Что она ни дѣлай, а я приду къ ней... И силой заставлю ее взять свое счастье... Потомъ сама будетъ мнѣ благодарна. Кстати, теперь она меня не ждетъ... И это вѣдь не въ лодкѣ... Я голову себѣ прострѣлю, если она теперь отвѣтитъ мнѣ отказомъ, мнѣ смерть легче гораздо, чѣмъ такая жизнь. И она пойметъ это... У самой вчера сердце колотилось такъ...“ И его вдругъ обдало зноемъ, когда ему пришло на память, какъ страстно въ забытьи она его обнимала своими красивыми и сильными руками.

Онъ взялъ первыхъ попавшихся лошадей и полетѣлъ къ себѣ.

Луну затянуло облачками. Ночь была мутная; бѣлѣсоватое море глухо билось въ берегъ. Въ отелѣ еще не спали. Въ самомъ подъѣздѣ портье подалъ ему письмо.

— Отъ кого это? — удивился онъ.

— Отъ мадамъ la princesse!

— Какой?..

— Съ которою monsieur le prince все катался...

— Она спать легла такъ рано?

Портье поднялъ брови, но какъ благовоспитанный лакей, дальше своего удивленія не выразилъ.

— Нѣтъ. Она уѣхала сегодня. Къ тремъ часамъ заказала себѣ лошадей на поѣздъ... Мы сдали ихъ багажъ до Парижа... Письма онѣ приказали пересылать всѣ въ Петербургъ прямо... Madame la generale ѣздила провожать ихъ...

Левъ Самойловичъ пришелъ къ себѣ, зажегъ свѣчу и распечаталъ конвертъ.

„Прощай, мой дорогой, милый, прости, что я обманула тебя—первый и послѣдній разъ въ жизни... Намъ нельзя видѣться. Когда я осталась одна, я поняла, что еще одно такое свиданіе и я погибла. Если бы даже я и могла пережить это, то я бы не дала тебѣ счастья. Я бы извела тебя, потому что сама была-бы страдалицей... Въ Петербургѣ мы встрѣтимся, если вообще встрѣтимся, чужими. Думай, что все это было сномъ, хорошимъ, чуднымъ сномъ, но только сномъ. Я не прошу тебя забыть, потому что забыть нельзя. Но никогда, никогда, ни словомъ, ни движеніемъ, ни взглядомъ, не напоминай мнѣ этого. Я вся горю отъ твоихъ поцѣлуевъ и чувствую, что насъ спасти можетъ только разстояніе. Такъ много-много хочется написать тебѣ, но мысли путаются и складывается совсѣмъ не то, что нужно. Прощай, забудь меня, если можешь... Нѣтъ, нѣтъ, не слушай меня. Никогда, никогда не забывай!.. Люби, но люби, какъ я люблю... И въ этомъ сознаніи, что за тысячи верстъ бьется для одной меня вѣрное и преданное сердце, много счастья... Прости еще разъ, что я обманула тебя. Это была первая ложь во всю мою жизнь...

Но я чувствовала, что иначе нельзя. Если бы сегодня ты дольше остался въ моей комнатѣ, ни ты бы не ушелъ отъ меня, ни я бы тебя не отпустила... Не вини меня... Прощай!"

Письмо обрывалось на этомъ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

На avenue de Vagrame случайно разбогатѣвшій художникъ выстроилъ прелестный отель. Отъ улицы и ея шума онъ заслонился старыми деревьями, изъ-за которыхъ весело смотрятъ большія зеркальныя окна и перевитые цвѣтами балконы. Цвѣты, впрочемъ, заполонили и садъ. Они пестрымъ ковромъ раскинулись вплоть до красивой бронзированной рѣшетки и цѣпкими стеблями заткали ее до половины—ровно на столько, чтобы снаружи нельзя было видѣть сидящихъ или гуляющихъ за нею. Почти каждый, проходя мимо, оглядывался на этотъ милый уголокъ, невольно завидуя его хозяевамъ. Дѣти часто срывали цвѣты, слишкомъ далеко высунувшіеся за рѣшетку, но домъ былъ на солнечной сторонѣ и ихъ, видимо, оказывалось такъ много, что весь тротуаръ около былъ осыпанъ ихъ лепестками. Во всемъ обнаруживалось столько вкуса, что строитель отеля справедливо называлъ его лучшимъ своимъ произведеніемъ. Онъ, впрочемъ, недолго жилъ здѣсь. Ему этотъ домъ не принесъ счастія. Случайно пришедшее богатство также случайно и ушло. Въ холодную парижскую зиму онъ захотѣлъ отогрѣться на южномъ солнцѣ у теплыхъ волнъ Средиземнаго моря и съѣздилъ какъ-то въ Монако. Разумѣется, онъ не былъ-бы художникомъ, если-бы не сталъ играть, и не спустилъ тамъ все, сколько съ нимъ было; желая вернуть проигрышъ, перевелъ свои деньги въ Ниццу, гдѣ титулованные и нетитулованные мошенники Cercl'я de la Mediterranée необыкновенно благородно и изящно обобрали его еще быстрѣе разбойниковъ Монте-Карло. Художникъ вернулся въ Парижъ — продалъ свой отель и поневолѣ обратился къ прежнему образу жизни, то есть, нанялъ себѣ дешевую квартиру въ Пасси, устроилъ тамъ небольшую мастерскую и заработалъ, какъ возовая кляча, на Гупиля и другихъ акулъ французскаго „картиннаго рынка". Новые владѣльцы Châlet des fleurs удовольствовались только тѣмъ, что на рѣшетку доска и на его подъѣздъ приказали придѣлать нелѣпыя княжескія короны. Садовникъ, по ихъ-же

требованію, на куртинахъ, вывелъ цвѣтами то же съ перевитыми именами К и К. Громадную мастерскую преобразили въ большую залу съ какими-то фантастическими пестрыми гербами, гдѣ были и амуры, и лиліи, и сабли, и розы, и пушки, и руки, держащія стрѣлу, и корабли, и щиты съ полосами вдоль, и щиты съ полосами поперекъ, и Богъ знаетъ что еще. Любой знатокъ геральдики запутался-бы въ толкованіи этой путаницы. Все остальное было по прежнему, какъ и при талантливомъ художникѣ, нося на себѣ отраженіе его причудливаго и оригинальнаго вкуса; тунисскій востокъ, китайщина и японщина въ красивой яркости неожиданныхъ сочетаній переплетались со всѣмъ, что только было выдумано европейскимъ комфортомъ и прихотью.

— Шибко живутъ, подлецы! — по своему мысленно похвалилъ хозяевъ Иванъ Николаевичъ, останавливаясь передъ рѣшеткою ихъ отеля. — Плакали Самсоновскія денежки! Эхъ, братъ, Приглядовъ, жаль, что ты не дама. Много-бы ты заработалъ капиталовъ... И не такія-бы еще палаты соорудилъ...

Но тутъ, замѣтивъ, что изъ-за рѣшетки на него смотритъ „человѣкъ“, который, очевидно по утреннему, былъ еще въ пиджакѣ, строго спросилъ его:

— Monsieur est chez soi?

Человѣкъ прежде чѣмъ отвѣтить ему, осмотрѣлъ художника съ ногъ до головы, и такъ какъ этотъ экзаменъ былъ не въ пользу Ивана Николаевича, коротко отвѣтилъ:

— Это не мое дѣло, monsieur, я не портье!

И занялся разсматриваніемъ мимо проходившей дамы и, даже, подмигнулъ ей.

— Ахъ ты болванъ этакій! — по русски выругался Приглядовъ.

— Да вы, баринъ, русскій? — радостно воскликнулъ тотъ, и выбѣжалъ къ нему за рѣшетку.

— Русскій!.. И ты тоже?.. Чего-же ты устроилъ себѣ французскую образину... И обращеніе тоже...

— Мы будемъ костромскіе! Но, такъ какъ давно во всѣхъ заграницахъ живемъ, то совсѣмъ подъ здѣшнюю политуру облагородились... Даже баринъ приказалъ бриться по нонѣшнему — баки въ полъ-уха, и аксанами къ носу...

— Вижу, вижу — все ваше безобразіе! Ахъ, бить васъ, подлецовъ, здѣсь некому!

— Да... это точно... — усмѣхнулся тотъ. — У насъ въ Парижѣ за мѣсто бою — сильвупле. За бой тутъ въ police-correctionnele, и даже съ публикаціей...

— Какой еще?

— А въ газетахъ сейчасъ... на всю подвселенную объявятъ... le monstre или le barbare... У нихъ вѣдь на все свое распредѣленіе.

— Ну, васъ!.. Я вѣдь, пока, тебя бить не собираюсь... Романъ Викентьевичъ—дома.

— Дома! У нихъ баронъ сидитъ. Сейчасъ пріѣхали...

— Это кто-же будетъ?

— Изъ нашихъ, изъ православныхъ нѣмцевъ. То есть, они прежде были... Заблуждающіе въ вѣрѣ, но, какъ ихъ сюда въ чиновники назначили, какъ они сейчасъ и возсоединились...

— Ничего не понимаю... Ну, да тамъ будетъ видно... А Калерія Алексѣевна?

— Тоже дома... Онѣ у себя и... Запершись.

— Это еще что за новость?

— Съ мертвыми духами разговариваютъ. У нихъ дама одна. По этой части которая: гадалка, что-ли... Только безъ картъ и безъ кофейной гущи. А въ сигарномъ ящикѣ у нихъ такая животная стрѣлка дѣйствуетъ. Духомъ... Мертвымъ духомъ все.

Приглядовъ расхохотался.

— Что это ей вздумалось? Умирать то вѣдь еще не собирается. Съ чего бы кажется.

Человѣкъ принялъ важный видъ.

— Никакъ нельзя-съ иначе... Безъ этого—въ Парижѣ, кто въ хорошемъ обществѣ, почти невозможно... Всѣ образованные люди и духовное вѣдомство тоже... Третьяго дня съ, аббатъ одинъ ихній, съ бритымъ затылкомъ—папеньку Романа Викентьевича, съ того свѣта вызывалъ и показывалъ, даже съ фотографіей.

— Удалось? Заинтересовался Приглядовъ, вдругъ, почему-то, струхнувъ.

— Еще бы-съ... Какже не удаться, когда за это пятьсотъ франковъ дадено... Въ лучшемъ видѣ. Страшно даже было, стуки по всему дому. Египетскій мертвецъ одинъ даже—въ ванной у барыни оказался; розу ей оставилъ въ знакъ памяти и по телефону разговаривалъ.

— Ты самъ видѣлъ?

— Ну... Стану я,—такую пакость, на мнѣ крестъ-съ! Горничная, Луиза, разсказывала... Потомъ барыня, Калерія Алексѣевна, дѣвицу Аглаиду вызывали.

— Какую Аглаиду?

— Была такая у нихъ—померла отъ собственной любви къ зуаву здѣшнему. Фосфорическія спички развела въ абсентѣ и бацъ. Ну, съ той неудалось... Однѣ неприличныя слова на бумагѣ произошли. Какъ она душа нечистая, чего-же и ждать отъ нея?..

*

Своего термину не дождалась, померла безъ покаянія... Потомъ всѣ помолились и стали танцовать. Господинъ Шмулевичъ французамъ Горбуновскія сцены разсказывалъ. У насъ весело живутъ-съ.

— Ты у Романа Викентьевича должно быть недавно?

— Точно такъ-съ? Прежде мы у настоящихъ графовъ жили здѣсь, но, какъ они вернулись въ Россію, а мы на это не согласились...

— Отчего-же ты не согласился?

— Помилуйте... Какъ-же можно приравнять: наше сѣрое невѣжество или здѣшнюю цивилизованность... Я къ умственнымъ людямъ привыкъ, ну, и правильный образъ жизни. Теперича, я отслужилъ свое—и сейчасъ надѣлъ смокинъ и въ Moulin Rouge или въ Folies Bergeres. Потомъ возьмите, напримѣръ, нашу Матрену или Луизу эту самую. Она вѣдь съ понятіемъ, духами по пяти франковъ флаконъ прыскается. Опонаксомъ. Руки у нея Конгой пахнутъ. Ее, по нашему-то, локтемъ въ бокъ не сунешь или не ущипнешь за спину. А надо: Mademoiselle Louise, voulez vous un bock? И подъ ручку, да если шляпа-то у тебя безъ глянцу, такъ она еще днемъ и не пойдетъ—и, чтобы сапоги маринованные были—а вечеромъ аглицкаго блеску.

Иванъ Николаевичъ выпучилъ на него глаза...

— Точно такъ-съ. Потому есть простые, которые всѣ носятъ, есть лакированные и есть красные... Маринованные... И носокъ, чтобы видѣнъ былъ, со стрѣлкой... Chaussettes! У нея чулки-то полушелковые и, какого цвѣта платье и чулокъ соотвѣтственный. У насъ и въ благородномъ собраніи такихъ дѣвицъ не найдешь.

— Глупъ-же ты, братъ... Ну теперь ступай. Я и безъ тебя найду дорогу. Кто это тамъ въ подъѣздѣ, кажется, Пьеръ? Вы доложите!

— Докладывать точно, что Пьеръ долженъ... Его сіятельству.

— Давно-ли Романъ — сіятельствомъ сталъ? — удивился Приглядовъ.

— А вотъ съ тѣхъ поръ, какъ на рѣшетку короны эти набили... Здѣсь вѣдь просто. Здѣсь графы и князья безпаспортные! Вотъ, господинъ Флигель—до сихъ поръ просто господинъ былъ, а съ прошлой недѣли началъ себя барономъ звать.

Пьеръ очень обрадовался Ивану Николаевичу. Художникъ, видимо, въ домѣ былъ persona grata. Слуга полетѣлъ съ докладомъ къ Роману Викентьевичу, который выбѣжалъ самъ встрѣтить стараго пріятеля.

— Ну, здравствуй, здравствуй, шенапанъ!..—И Приглядовъ, по-русски, троекратно съ нимъ разцѣловался.

— Давно-ли? Гдѣ тебя черти носили? Два года назадъ пропалъ — ни слуху, ни духу — а теперь вдругъ вынырнулъ...

— Да вотъ, покупался въ Біарицѣ, какъ Боткинъ нѣкогда

совѣтовалъ,—двадцать одинъ разъ, и теперь сюда на отдыхъ къ вамъ. Сегодня утромъ! И завтракать, только переодѣлся, прямо къ тебѣ... Ты не одинъ — у тебя тутъ кто-то есть?

— Да... Есть!.. Молодой человѣкъ изъ нашихъ нѣмцевъ. Онъ здѣсь, чортъ его знаетъ, что такое: не то шпіонъ, не то корреспондентъ, не то отъ какого-то министерства съ таинственными порученіями живетъ. Ты его не знаешь? Необыкновенно умный—изъ ветеринаровъ въ финансисты попалъ. Такъ, скотскій фельдшерокъ былъ прежде. Репортерствовалъ потомъ въ Питерѣ, били его здѣсь на выставкѣ, а теперь, вдругъ, на-ко, взялъ, да и объявился особой, и еще какой. Первые господа съ нимъ за ручку.

— Чѣмъ это онъ тебѣ такъ показался?

— То-есть понимаешь... Можетъ быть онъ и дуракъ; но удивительно умно молчитъ...

— Что-же, милый другъ, по нынѣшнему времени, и это для молодыхъ людей большое достоинство.

— Сядетъ, приметъ небрежную позу и глядитъ въ глаза тебѣ... И не моргаетъ. Два часа можетъ такъ смотрѣть, и все что-то думаетъ...

Романъ Викентьевичъ нѣжно, обнявъ Ивана Николаевича за талію, повелъ его было къ себѣ, но Приглядовъ вдругъ усмѣхнулся и остановился на лѣстницѣ.

— Чего ты?..

— Ну, что не правъ я, помнишь, когда-то—женѣ твоей докладывалъ, что ты по прямой линіи отъ обезьяны...

— По какой прямой, шутъ ты гороховый?

— Конечно, по Paris-Lyon-Mediterranée, что-ли. Прямо изъ горилльяго царства — ну, самъ подумай, кто, кромѣ обезьяны, можетъ этакъ обнять меня. Это еще у Кузьмы Пруткова: кто обнимаетъ необъятное? А ты — вотъ можешь... Такія длинныя руки только у обезьянъ бываютъ — да и то у африканскихъ.

Романъ Викентьевичъ усмѣхнулся и защекоталъ Ивана Николаевича... Въ самомъ дѣлѣ, Селицкій былъ очень похожъ на обезьяну. У него даже челюсти выдавались, какъ у горилы, и на лбу волоса начинались чуть-ли не отъ бровей, черные, стоявшіе дыбомъ. Когда онъ смѣялся, вокругъ носа у него дѣлались складки, еще болѣе усиливавшія подмѣченное Приглядовымъ сходство. Селицкій былъ высокъ ростомъ и до того худъ, что Иванъ Николаевичъ обыкновенно говорилъ ему: „Экъ васъ въ зоологическомъ саду скверно кормили — до сихъ поръ на хорошихъ хлѣбахъ отъѣсться не можешь. Ты на меня посмотри... Вотъ это, такъ embonpoint называется, настоящій— благонамѣренный животъ. Сейчасъ хорошаго человѣка видно. А ты, что? ну, если не горилла, такъ Равашоль, что-ли. Да и Равашоль,

вернувшійся съ того свѣта — обезглавленный... „Молодой человѣкъ“, какъ отрекомендовалъ Романъ Викентьевичъ господина Флигеля — необыкновенно важно издали кивнулъ головой Ивану Николаевичу и независимо перекинулъ ногу на ногу; но услышавъ его фамилію, съ прибавленіемъ „нашъ знаменитый“, взвился съ мѣста и изобразилъ на своей маленькой бѣлѣсоватой мордочкѣ что-то собачье... Онъ былъ лысъ, гнилъ — но, дѣйствительно, необычайно серьезенъ — и такъ пристально смотрѣлъ всѣмъ въ глаза, что художникъ тотчасъ же почувствовалъ на себѣ вліяніе его взгляда и, оглянувшись, спросилъ:

— Что вамъ?..

Флигель поперхнулся — и, сдѣлавъ еще болѣе серьезное лицо, ничего не отвѣтилъ.

Иванъ Николаевичъ, разумѣется, не могъ не вышутить его...

— Пріятно видѣть молодого человѣка, который все слушаетъ. Настоящій фонографъ.

Флигель снисходительно улыбнулся, показавъ ему черные зубы и неизвѣстно зачѣмъ поправилъ владимірскую ленточку въ петличкѣ. Надо замѣтить, что во Франціи онъ носилъ ее, а въ Россіи — красную бутоньерку почетнаго легіона, ибо ни того, ни другого креста у него не было. Потомъ, онъ питалъ слабость къ высокимъ воротничкамъ, такъ что его головка была похожа на засохшій букетъ въ громадномъ листѣ бумаги. Въ Россіи, начавъ ветеринарнымъ фельдшеромъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ былъ мелкимъ репортеромъ, не особенно цѣнимымъ редакціями, даже третьестепенныхъ изданій. Ужъ очень онъ оказывался безнадежно неграмотнымъ. Потомъ попалъ онъ на парижскую выставку, гдѣ вдругъ обнаружилъ такіе коммерческіе таланты, что гг. экспоненты, сначала по наивности оплачивавшіе его письма въ какую-то несуществующую газету, потомъ вышли изъ себя, и сдѣлали pronunciamento, т. е. поймавъ его въ какомъ-то увеселительномъ заведеніи, учинили надъ нимъ совсѣмъ неожиданно рукоприкладство на московскій ладъ... Послѣ этого г. Флигель точно куда-то провалился—и вынырнулъ уже опять въ Парижѣ, и, ловко разъигравъ патріотическую пьесу на тему франко-русскихъ симпатій, получилъ какой-то заказъ отъ французскаго правительства. Тутъ уже онъ вдругъ оказался на высотѣ своего положенія — въ качествѣ вліятельнаго друга французовъ. Сихъ послѣднихъ въ наивности можно сравнить развѣ только съ мухами, позволяющими бить себя всякому дураку — лишь бы тотъ запасся хлопушкой. Наши союзники вѣрятъ каждому проходимцу. Это, между прочимъ, въ послѣдніе четыре-пять лѣтъ переполнило Парижъ такими представителями Россіи, что при одномъ видѣ ихъ за человѣка страшно становится. У насъ бы ихъ, пожалуй, и въ арестантскіе

роты задумались пустить! Неуклюжіе живоглоты, между которыми Флигель былъ звѣздой. Поэтому онъ такъ широко открылъ ротъ и глоталъ, не давясь, такіе куски, что всѣ знавшіе ранѣе его глупость, только диву дались, откуда это ему Богъ послалъ столько храбрости и аппетита. Благодаря нахальству и умѣнію необыкновенно умно и значительно молчать, онъ проникъ въ дома, куда обыкновеннымъ смертнымъ и думать нельзя попасть. Наглость большая сила. Онъ такъ всѣхъ увѣрилъ въ своемъ значеніи въ Петербургѣ, что въ концѣ концовъ этому повѣрили и тѣ, которые имѣли прямыя сношенія съ Петербургомъ. Случалось даже и въ министерствахъ его спрашивали: „Ну, какъ у васъ думаютъ въ Россіи?" — На что г. Флигель успокоительно отвѣчалъ: „Не безпокойтесь, пока я здѣсь" и т. д. Понятно, что при этихъ условіяхъ, господинъ Флигель катался, какъ сыръ въ маслѣ. Даромъ разъѣзжалъ въ качествѣ представителя дружественной русской печати по всей Франціи, причемъ ему отводили купэ и начальники станцій, предупрежденные по телеграфу, встрѣчали его, какъ сановника; являлся въ министерства и требовалъ всевозможныя свѣдѣнія такимъ тономъ, что никому и въ голову не приходило взять его за хвостъ, да покрутить немного въ воздухѣ. Во всѣхъ театрахъ — тоже: какъ „критикъ союзной прессы" — имѣлъ ложи и кресла на первыя представленія, его приглашали на оффиціальные балы къ Карно, причемъ Madame ему ласково улыбалась и рекомендовала его: notre célèbre ami—l'écrivain russe! Такъ что, когда Дрюмонъ усомнился въ его русскомъ происхожденіи и въ „La libre parole" посвятилъ ему по этому поводу нѣсколько словъ, назвавъ его курляндскимъ купцомъ, г. Флигель съ необыкновеннымъ достоинствомъ отвѣтилъ, что онъ не только кровный великороссъ древней фамиліи, но, что его знаетъ и цѣнитъ вся Россія, какъ крупнаго писателя и великодушнаго защитника интересовъ Франціи. Затѣмъ, намекнувъ на то, что, если союзъ обѣихъ народовъ состоялся, то во всякомъ случаѣ не безъ его Флигелеваго участія и содѣйствія, выразилъ сожалѣніе, что даже такой единомышленный ему, Флигелю — публицистъ, какъ Дрюмонъ, не умѣлъ отличить друзей отъ враговъ. Дрюмонъ такъ оторопѣлъ, что немедленно извинился передъ обиженнымъ имъ l'eminent confrère russe и „великій товарищъ", послѣ того, еще выше поднялъ свою крохотную головку.

— Гдѣ ты эту блоху нашелъ? — наклонился Иванъ Николаевичъ къ Селицкому.

— Развѣ блохъ находятъ? Онѣ, братъ, сами на насъ наскакиваютъ, — также тихо отвѣтилъ тотъ.

Приглядовъ внимательно оглядѣлъ Флигеля, причемъ тотъ сдѣлалъ еще болѣе строгое и умное лицо; наконецъ, вѣроятно, сообра-

зивъ, что дальше молчать невозможно и, принявъ снисходительно во вниманіе, что передъ нимъ сидитъ знаменитый живописецъ, вдругъ изрекъ:

— Вы знаете, что тамъ ни говори, а я держусь того мнѣнія, что Рафаэль былъ художникъ весьма талантливый.

Замѣтивъ оцѣпенѣніе Приглядова, онъ принялъ позу еще величественнѣе, сдѣлалъ глаза свои глубокомысленными до нельзя и окончилъ:

— По крайней мѣрѣ, я его ставлю рядомъ съ Антокольскимъ. Оба они выглядятъ такъ, какъ будто представляютъ собою что-то особенное!..

И затѣмъ, до того мгновенія, когда въ дверяхъ показался лакей и доложилъ, что завтракъ поданъ, онъ уже не промолвилъ ни слова, только все время, не мигая, смотрѣлъ на Ивана Николаевича и наслаждался произведеннымъ имъ впечатлѣніемъ.

Сила пошлости г. Флигеля была такъ велика, что даже Приглядовъ, сáмъ нахалъ не послѣдней руки, какъ-то опѣшилъ и, будто загипнотизированный, тоже смотрѣлъ на „молодого человѣка"; только, когда они двинулись въ столовую, онъ пришелъ въ себя, хлопнулъ его ладонью по головѣ, ткнулъ кулакомъ въ бокъ, такъ что тотъ изобразилъ изъ себя выборгскій крендель, и, расхохотавшись, спросилъ его:

— Что Рафаэль вамъ сдѣлалъ?.. Чего это вы его кости тревожите, а? А вотъ скажите-ка вы мнѣ, почему во цвѣтѣ лѣтъ у васъ темя босикомъ? А?

Флигель отодвинулся. Онъ съ тѣхъ поръ, какъ запросто пилъ чай у нашего посла и удостоился пожимать руку мадамъ Карно, терпѣть не могъ фамильярности.

— Это отъ умственныхъ занятій! гордо отвѣтилъ онъ.

— А не отъ болѣзни ли какой нибудь?.. Держу пари, что у Романа Викентьевича на колѣнѣ больше волосъ, чѣмъ у васъ на всей вашей „умственной" головѣ. Да кстати, — обернулся онъ къ хозяину, — скажи ты мнѣ пожалуйста, что это у тебя за новый русскій лакей объявился.

— Онъ прежде у графа Текинцева служилъ. А что?

— *Тоже* очень уменъ! Только у него волосъ больше, чѣмъ у господина Флигеля... Вы, господинъ Флигель, за горничной Луизой не ухаживаете? Нѣтъ? То-то. Онъ-бы у васъ ее изъ-подъ носу, потому у него шляпа съ глянцемъ и маринованныя ботинки.

Столовая была надъ кабинетомъ Романа Викентьевича...

— Вотъ кого не ожидала!.. — пѣвуче раздалось на встрѣчу имъ.

Господинъ Флигель принялъ было это на свой счетъ и сунулся къ небольшой, полной и красивой брюнеткѣ, того возраста, про ко-

торый говорятъ: чортъ ее знаетъ сколько ей лѣтъ, не то двадцать пять, не то сорокъ; но Иванъ Николаевичъ проворно схватилъ его за хвостъ, оттянулъ назадъ, кинулъ ему на лету, „поперегъ батьки, въ пекло не суйся!“ и звучно чмокнулъ выхоленную руку Калеріи Алексѣевны... Она производила впечатлѣніе удивительной нѣжности: и сложена была нѣжно, и глаза у нея были нѣжные, мерцающіе синими огоньками, и кожа бархатная и нѣжная, но такая, подъ которою невольно чувствуются нервы браваго боцмана и стальные мускулы. Она и ходила нѣжно, не слышно, точно скользила по комнатѣ, причемъ, не смотря на свою полноту, была гибка и красиво гибка. Волосы зачесывала гладко, они у нея были черны, какъ вороново крыло, что еще больше оттѣняло изумительную бѣлизну ея лица и тѣла, не болѣзненную, анемическую, безцвѣтную бѣлизну, а такую, какая обыкновенно бываетъ у породистыхъ рыжихъ женщинъ. Во всемъ чувствовался у нея неудержимо страстный темпераментъ и въ то же время сильная воля, позволявшая ей владѣть имъ въ свою пользу и во время.

— Откуда вы, старый другъ! Совсѣмъ запѣла она. У нея и голосъ былъ нѣжный, точно она васъ имъ по лицу гладила, лаская.

— Прямо изъ... — онъ сдѣлалъ невинные глаза и вздохнулъ.— Изъ-подъ Біарицца. Недалеко жилъ отъ этого мѣстечка.

— А-а-а! протянула та и внимательно всмотрѣлась въ Приглядова, но у того зрачки ушли ужъ куда-то, а губы сложились сердечкомъ. А у самого въ головѣ вертѣлось; „что, поймала меня?.. Шалишь. Скорѣе угря въ рукахъ удержишь“.

— Одинъ вы?

— Увы!.. Я всегда одинъ... Я не такъ счастливъ, какъ *нѣкоторые* смертные... Которые никогда одни не бываютъ. Кому-же со мной? Ни капиталовъ у меня, ни красоты.

Калерія Алексѣевна еще пристальнѣе всмотрѣлась въ него.

— Романъ! Что у меня костюмъ въ порядкѣ? — внезапно обернулся къ ея мужу Иванъ Николаевичъ.

— Да, а что?..

— И лицо христіанское?.. По утвержденному образцу... Особыхъ примѣтъ не имѣется?

— Нѣтъ. Чего ты опять ломаешься?

— Такъ... То господинъ Флигель съ меня портретъ снималъ у тебя въ кабинетѣ, теперь жена твоя не можетъ отвести отъ меня глазъ. Вы-бы, Калерія Алексѣевна, не при другихъ, вѣдь вотъ лысый отъ умственныхъ занятій молодой человѣкъ можетъ вообразить меня счастливѣе, чѣмъ я есть.

Селицкая была слишкомъ умна, чтобы сейчасъ-же подвергнуть

Ивана Николаевича допросу. Сверхъ того она знала, что у сплетника зубы болятъ и подъ ложечкой сосетъ, пока онъ не выложитъ своихъ новостей, а Приглядовъ былъ сплетникъ настоящій и по характеру, и по лукавству, хотя это и пряталось подъ видомъ добродушной шутливости...

— А вы все хорошеете!.. То есть это даже удивительно... Вамъ и морскихъ купаній не надо, какъ инымъ прочимъ... которые... Потомъ, точно опомнившись, онъ хлопнулъ ладонью себя по рту и промолвилъ „цыцъ, душка, чужихъ тайнъ никому-же!“ сѣлъ за столъ, налилъ себѣ водки и даеж на свѣтъ ее сталъ разсматривать.

— Повѣрите—три мѣсяца тоскую по ней... точно по родительскому благословенію... У, милушка... родимая! Насквозь тебя видно—совѣсть чиста, потому и очищенная...

— Ну, братъ, неудачно...—остановилъ его Романъ Викентьевичъ:

— Еще-бы!.. Я у тебя за эти полчаса на сто лѣтъ поглупѣлъ.

И онъ мигнулъ въ сторону, гдѣ сидѣлъ Флигель. Опрокинувъ рюмку, онъ вдругъ вытаращилъ глаза на Калерію Алексѣевну, и выпалилъ.

— Наталью Григорьевну изволите знать...

— Какую Наталью Григорьевну?

— Свѣтлинъ-Донецкую?

— Нѣтъ... Слышала, красавица, говорятъ... Старая знакомая Льва Самойловича. Нѣтъ, не знаю.

— Какъ-же, она велѣла кланяться вамъ? Непремѣнно, говоритъ, побывайте въ Парижѣ у Калеріи Алексѣевны и ото всей души ей мой привѣтъ. Ахъ, впрочемъ, нѣтъ, виноватъ. Все это я, старый дуракъ, спуталъ. Кланяться вамъ приказала не она, а Маргарита Францовна.

— Марго де-Франсъ! — заставила себя разсмѣяться Селицкая, хотя у нея даже въ вискахъ проступили красныя пятна. — Тамъ значитъ большое общество?

— Нѣтъ, не большое, но... интимное. Пріятно смотрѣть даже на нихъ. Совсѣмъ спѣлись. Я, знаете, точно изъ родной семьи уѣзжалъ оттуда... Нашъ поѣздъ отходилъ въ полночь, ну, я съ Маргошкой простился, а Льва Самойловича и Наталью Григорьевну такъ и не видѣлъ. Они въ эти часы всегда въ лодкѣ вдвоемъ катаются и Шиллера читаютъ.

— Ночью-то?

— Наизустъ, Калерія Алексѣевна, наизустъ. Очами сердца... Какъ это хорошо у него. Ты помнишь, — сентиментально обратился онъ къ Роману Викентьевичу:

Ахъ, почто на мечъ воинственный
Я свой посохъ промѣняла...

Да, былъ великій поэтъ... Онъ для меня понятнѣе Гете. Гете слишкомъ олимпійски спокоенъ и величавъ... какъ господинъ Флигель... Ну, а Шиллеръ... Я безъ слезъ до сихъ поръ его читать не могу. Что хотите — такое у меня чувствительное сердце... Давно вамъ писалъ Левъ Самойловичъ?—точно безъ всякой цѣли спросилъ Приглядовъ и такъ неожиданно, что та, не сообразивъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, отвѣтила:

— Два мѣсяца назадъ.

— Скажите... Это, значитъ, съ самаго пріѣзда Свѣтлинъ-Донецкой... Ахъ, заболтался онъ съ ней... Этакій вѣтряный, скажите пожалуйста.

Отношенія Калеріи Алексѣевны къ Самсонову ни для кого не были тайной и она сама, хотя не аффишировала ихъ, но, какъ умная женщина, и не скрывала. Мужъ, когда заходилъ разговоръ о Львѣ Самойловичѣ, мечтательно смотрѣлъ въ окно и притворялся думающимъ о чемъ-то далекомъ-далекомъ. Когда у него освѣдомлялись о Самсоновѣ, онъ глубоко-тронутымъ голосомъ прочувствованно говорилъ: „Это—лучшій изъ людей и самый близкій другъ мой!..“ Иногда, впрочемъ, онъ вмѣсто „мой“, ставилъ „нашего семейства“.

— Когда же ему и писать-то! — словно оправдывалъ Льва Самойловича Приглядовъ. — Сегодня онъ въ Санъ-Себастіанѣ, завтра въ Фуэнтарабіи, послѣ завтра въ Ирунѣ, а тамъ еще Байона на носу. Одинъ-бы вспомнилъ, а когда вдвоемъ — такъ вѣдь даму не оставишь. Вашего брата занимать надо. Господинъ Флигель — вѣдь вы тоже были писатель — чье это четверостишіе:

Ходитъ птичка весело
По тропинкѣ бѣдствій,
Не предвидя отъ сего
Никакихъ послѣдствій?

Вспомните?.. Я забылъ: Державина или Пушкина?

— Должно быть Пушкина, потому что у Державина ода Богъ!— обрадовался случаю обнаружить свои познанія г. Флигель.

— Хорошо-съ, господинъ Флигель. Очень хорошо-съ, господинъ Флигель. А чье это:

И новая любовь приходитъ къ намъ порой,
Какъ нѣжный свѣжій листъ на деревѣ весной?

Не знаете? и я не знаю... Романъ, гдѣ ты эту шельму, покупалъ?— показалъ онъ на бутылку съ краснымъ виномъ.

— А, что, хорошо?

— Да ужъ чего лучше. Всполоснешь утробу — и точно въ ней младенецъ взыграетъ.

— Ну, а представь: всего два франка бутылка!

— У тебя талантъ. Ты рожденъ для того, чтобы гостей кормить и поить. Ты не пропадешь. Тебя въ любой клубъ поваромъ возьмутъ.

— Вотъ погоди. Сейчасъ подадутъ котлеты моего изобрѣтенія, знаешь, въ три слоя: два куриные — а посреди трюфели съ... нѣтъ, ты сначала поломай голову, что я надумалъ положить туда.

— А къ котлетамъ ничего намъ, паинькамъ не будетъ, за хорошее поведеніе? Ты посмотри только на господина Флигеля — вѣдь ему сейчасъ двѣнадцать балловъ поставить можно... Какого воспитанія, экземпляръ! Такъ какъ же?

— Экъ, несытая твоя душа. Съ утра за шампанское...

— Привыкъ такъ. Левъ Самойловичъ на радостяхъ, что старая знакомая пріѣхала, каждый день почитай. То-есть я вамъ скажу, такъ мы провели эти два мѣсяца — короче, настоящія „folies bergères". Левъ Самойловичъ — хоть сейчасъ съ него Париса пиши. А Наталья Григорьевна...

— Что она, дѣйствительно такъ хороша?

— Матуська!—И Иванъ Николаевичъ проворно всталъ, перебѣжалъ къ Калеріи Алексѣевнѣ и чмокнулъ ей руку. — Матуська. Развѣ при солнцѣ говорятъ о звѣздахъ... Ну, а когда солнца нѣтъ—тогда и звѣзды видны. Звѣзда же отъ звѣзды разнствуетъ во славѣ. А, впрочемъ, — не дурна. Особенно глаза у нея. Ахъ, глаза! Строгіе, сѣрые... Не такіе, какъ у господина Флигеля — но тоже строгіе... Ростъ, гибкость, сложеніе... Губки... На губкахъ амуры спятъ. Бюстъ... И свѣжесть, свѣжесть. Ей двадцать шесть лѣтъ, а на видъ девятнадцать... Косы ея — такія я вамъ скажу — я такихъ косъ еще не видѣлъ! Убивцевъ на кобылѣ драть ими можно...

— Тьфу, какія у тебя низкія сравненія! — остановилъ его Романъ Викентьевичъ.

— Реальныя, я тебѣ скажу, — въ нынѣшнемъ вкусѣ. Только и Льву-то Самойловичу — я не завидую! Ахъ, не завидую!—меланхолически замѣтилъ Приглядовъ, придавая своему лицу откровенно сокрушенное выраженіе. — Ужъ если на то пошло, — такъ вѣдь не шестнадцатилѣтній онъ гимназистъ, чтобы сидѣть два мѣсяца... Да и нынѣшняго гимназиста поди-ка, дѣвица, подержи такъ на омлетахъ, онъ ей живо носъ утретъ. „Пожалуйте мнѣ—антрекоту", скажетъ... Я думаю за это время и руки-то двухъ разъ не поцѣловалъ... Любовь о fines herbes. Дама она правилъ твердыхъ — прописи наизустъ выучила. „Что на свѣтѣ прекраснѣе добродѣтели — нѣтъ ничего на свѣтѣ прекраснѣе добродѣтели". Великій постъ насталъ для нашего „общаго друга". Онъ ужъ и то по ночамъ на луну воетъ. Задеретъ голову къ своду небесному и верещитъ... Ко мнѣ пришелъ на верхъ — жилетъ мнѣ весь испортилъ. Упалъ ко мнѣ на грудь — и давай пла-

кать... „Ахъ, какъ я несчастенъ!“ Ну, я признаться, тутъ ему нотацію прочелъ въ родительскомъ стилѣ... съ междометіями. Знаете, въ моемъ вкусѣ.

Калерія Алексѣевна все это время внимательно прислушивалась къ голосу Ивана Николаевича и не сводила глазъ съ его лица. Очевидно она хорошо понимала своего пріятеля, и, по мѣрѣ того, какъ онъ все больше и больше впадалъ въ откровенность, она умѣло, точно шелуху отъ зерна, отдѣляла ложь отъ правды.

— Это, говоритъ, моя первая настоящая любовь. И со стихами: „Я помню чудное мгновенье — передо мной явилась ты“...

— Это изъ Пушкина! — Торжественно выпалилъ г. Флигель. — Это изъ Пушкина.

— Вы вѣрно знаете? — серьезно отнесся къ нему Приглядовъ.

— То-есть... Фигнеръ пѣлъ... На афишѣ стояло: слова Пушкина.

— Ну, изъ Пушкина, такъ изъ Пушкина. Потомъ ночью онъ давалъ ей серенаду подъ окнами—надѣлъ испанскую мантилью—на выхухолевомъ мѣху и съ кастаньетами танцовалъ... серабанду.

— Фу, до чего вы доврались.—Засмѣялась Калерія Алексѣевна. Впрочемъ, по ея лицу видно было, что она довольна сплетничествомъ Ивана Николаевича.—Я очень васъ люблю, какъ хорошаго искренняго друга...

— Что-же дѣлать — я ужъ такой — разорвусь для своихъ! — вскользь вставилъ онъ.

— Но зачѣмъ вы къ правдѣ всегда примѣшиваете столько лжи, что... иной разъ трудно и разобраться. То у васъ, напримѣръ, Левъ Самойловичъ счастливъ, то онъ же оказывается несчастливъ.

— Временами, знаете, какъ перемежающаяся лихорадка: сегодня въ поднебесье буйнымъ соколомъ, а завтра по землѣ сѣрымъ волкомъ... Хотите, я вамъ подарю этотъ жилетъ? Съ надписью: „на сіе самое мѣсто падали крокодиловы слезы архи-милліонера Льва Самсонова“...

— Ну, довольно, а то я вамъ сквернаго кофе дамъ.

— Ну, нѣтъ... Я помню, у васъ по арабски мокку варили... Я потомъ во снѣ ее видѣлъ.

— А что же Марго, тамъ? — спросилъ Романъ Викентьевичъ.

— Съ нею не шути... Ее, братъ, въ болгарскіе министры финансовъ прочатъ. Ужъ и теперь она учится по два часа въ день по мужски штаны носить.

— Иванъ Николаевичъ, въ какомъ вы обществѣ! — Расхохотавшись, остановила его Селицкая.

— Въ дружескомъ... Въ интимномъ, если господинъ Флигель ничего противъ этого не имѣетъ. Боюсь я умныхъ, молодыхъ людей...

Вотъ и господина Флигеля тоже боюсь. Слушаетъ онъ, слушаетъ меня, а про себя думаетъ: пустой человѣкъ этотъ Приглядовъ.

Флигель придалъ моментально лицу такое выраженіе, какъ будто его мысли и мнѣнія извѣстны только одному Богу, да и тотъ ихъ никому не скажетъ.

— Три массажистки при ней... Съ утра животъ ей разминаютъ... Потому для фрака неблагообразно. Въ Парижъ пріѣдетъ—сами увидите. Она очень пріятно о васъ говорила: поцѣлуйте, говоритъ, за меня Калерію Алексѣевну въ самыя губы. Я, чтожъ, я съ удовольствіемъ. Отчего красивую женщину не поцѣловать. Романъ — отвернись къ окну... И, быстро поднявшись, онъ засѣмѣнилъ было къ Селицкой, но та навстрѣчу ему направила вилку...

— Это меня-то... A la broche!.. Merci... И вдругъ онъ жалостливо запѣлъ.

Законы осуждаютъ
Предметъ моей любви,
Но, ахъ! кто, сердце, можетъ
Противиться тебѣ.

— Пожалуйте хоть ручку. Вотъ это такъ рука... Не рука даже, а мечта!.. A la poulet.

Онъ елейно приложился къ рукѣ.

— А теперь кофе-съ...

— Левъ Самойловичъ долго еще думаетъ тамъ остаться?

— Сколько *имъ* будетъ угодно.

— Кому *имъ*?

— Натальѣ Григорьевнѣ. Потому онъ, вѣдь вы сами знаете. У него своей воли нѣтъ. У него и шея такъ устроена, чтобы кто нибудь на нее сѣлъ и ноги свѣсилъ. Ну теперь на ней, на этой шеѣ сидитъ Свѣтлинъ-Донецкая... Продѣла ему въ ноздри мундштукъ и отлично управляется... Кажется они что-то говорили... Вмѣстѣ хотятъ въ Томбукту поѣхать.

— Куда еще?

— Томбукту... Или въ Конго?.. Не знаю право... Въ центральную Африку. Ливингстонъ вѣдь съ женой, отчего-же Самсонову съ дамой...

— Вотъ ужъ тутъ и я не разберусь что правда и что вранье у васъ.

Приглядовъ обернулся къ Флигелю.

— Учитесь молодой человѣкъ: современники всегда несправедливы, а на потомство намъ съ вами наплевать, не такъ-ли. Нѣтъ, не могу я безъ душевнаго умиленія видѣть вашей „умственной“ лысины. Вотъ истинное сближеніе молодого поколѣнія со старымъ...

Отъ Ивана Николаевича не ускользнуло что Калерія Алексѣевна

стала вдругъ озабоченою. Онъ помолчалъ съ минуту и вдругъ спросилъ у нея:

— Ну какъ на томъ свѣтѣ дѣвица Аглаида пребываетъ?

Она вздрогнула и установилась на него.

— И что вамъ сегодня утромъ „мертвые духи“ по телефону сообщили?

— Да вы почему знаете?.. Я васъ бояться начну скоро... Почему вы знаете? Кто вамъ сказалъ. Ты, Романъ?

— И не думалъ.

— Я не только въ этомъ вашемъ хорошо освѣдомленъ, но мнѣ духъ Вильгельма Заевоевателя утромъ сегодня сообщилъ что вы завтра сдѣлаете.

— Что?..

— Съ поѣздомъ rapide, въ midi et demi—къ Біаррицу покатите.

Но тутъ уже Иванъ Николаевичъ, нисколько не скрывая своего удовольствія, что ему удалось все такъ прекрасно перемутить здѣсь,— расхохотался во всю, да такъ, что кровь прилила ему къ лицу, лысина и та даже покраснѣла, а чрево заколыхалось во всѣ стороны.

— Лопну... Ей богу... лопну... Романъ... Вели скорѣй на меня желѣзный обручъ надѣть.

Всѣ встали изъ-за стола. Калерія Алексѣевна въ дверяхъ остановила Приглядова и фамильярно ущипнула его за ухо. Иванъ Николаевичъ послѣдовалъ за нею.

— Вотъ что... Вы слишкомъ умны, съ вами комедію играть нечего... Да вѣдь я и не скрываю... Вы мнѣ по-дружески. Опасна она, Наталья Григорьевна. Если это минута, Богъ съ нею... Самъ-же прилѣтитъ сюда и въ ногахъ станетъ валяться. Я его знаю...

Приглядовъ нѣсколько времени молча смотрѣлъ на нее, соображая что-то про себя.

— И опасна и неопасна... для другого порѣшительнѣе, опасна... А для нашего овна нѣтъ. Дальше спряженія nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment, онъ не пойдетъ съ нею... Но, во всякомъ случаѣ, совѣтую ихъ, какъ влюбленныхъ воробьевъ, шапкой накрыть...

— Что она, такъ поразительно хороша собой? — задумчиво спросила опять Селицкая.

— Правду говорить настоящую, или хвостъ кренделемъ?

— Да, да, правду.

— И по-женски вы злиться не будете.

— Вы развѣ меня не знаете?

— Отродясь такой красоты не видывалъ. Греки-бы ей храмъ построили... Хотите моего совѣта послушать?.. Поѣзжайте завтра-же... Калерія-Побѣдоносица вы этакая. А теперь, кофе и потомъ по шапкѣ насъ мужиковъ, чтобы мы не засиживались у васъ.

II.

Иванъ Николаевичъ отъ Селицкихъ вышелъ вмѣстѣ съ „умнымъ молодымъ человѣкомъ“. Къ крайнему удивленію Приглядова,—Пьеръ крикнулъ куда-то въ пространство: „Жозефъ!„ и щегольская маленькая каретка, запряженная парою чудесныхъ лошадей, стремглавъ выкатилась изъ боковой улицы и, какъ листъ передъ травой, остановилась передъ господиномъ Флигелемъ.

— Не угодно-ли! пригласилъ Ивана Николаевича его новый знакомый.

— Это ваша?

— Да... У Лефло четыре тысячи франковъ заплатилъ... А лошадей привели мнѣ изъ Россіи... По двѣ съ половиной тысячи рублей каждая... Кучеръ мнѣ стоитъ около трехъ тысячъ франковъ въ годъ.

Когда дѣло дошло до цифръ, Флигель оказался необыкновенно подробенъ и словоохотливъ.

— Позвольте узнать... Только вы не обижайтесь... Вы фальшивыми бумажками не торгуете.

— Нѣтъ... Это не выгодно... Просто отвѣтилъ тотъ, нисколько не оскорбляясь, какъ человѣкъ безъ всякихъ предразсудковъ.

— Откуда-жа это все къ вамъ повалило...

Флигель снисходительно взглянулъ на Приглядова и ничего не отвѣтилъ. „Что-же съ дуракомъ разговаривать“. Въ свою очередь и Иванъ Николаевичъ задумался. Въ самомъ дѣлѣ: откуда у *нихъ* это. Кажется, вѣдь на видъ, какъ безнадежно глупъ, а поди тамъ, гдѣ десять умниковъ себѣ головы сломаютъ, этотъ процвѣлъ будто жезлъ Аароновъ. Особенный складъ какой-то! Должно быть у насъ, у вообще умныхъ людей, не хватаетъ этого, спеціальнаго аппарата въ мозгу. По своей привычкѣ Иванъ Николаевичъ не могъ отказать себѣ въ удовольствіи вышутить своего новаго знакомаго и хотя этимъ отомстить ему за его завидныя преимущества..

— Позвольте у васъ спросить, вы не французскаго происхожденія? Со стороны началъ Приглядовъ.

— А что?..

Флигель принадлежалъ къ тѣмъ, весьма впрочемъ не рѣдкимъ людямъ, которые никогда и никому не отвѣчаютъ на вопросъ *прямо*. Они сначала хотятъ узнать „почему“ и „съ какою цѣлью“ ихъ спрашиваютъ и потомъ уже, сообразно *этой* цѣли, а не вопросу, отвѣчаютъ.

— Такъ... Потому у васъ фамилія французская...

— Да?..—умный молодой человѣкъ даже покраснѣлъ: „какъ это ему ранѣе не приходило въ голову самому. Давно-бы слѣдовало“.—

Да... да... это удивительно, какъ вы угадливы. Въ самую правду попали. Мой дѣдъ эмигрировалъ изъ Франціи... Во время революціи. Онъ вѣдь роялистъ былъ.

— Прадѣдъ вѣрно, судя по вашему возрасту? — голосъ Ивана Николаевича сталъ даже нѣженъ.

— Ну, да... Это все равно.

— То-то... А Романъ Викентьевичъ увѣрялъ меня, что вы изъ „вольныхъ курляндскихъ конькобѣжцевъ". Чего вы глаза лупите на меня, термина этого не понимаете, что-ли? Это онъ такъ бѣглыхъ отъ воинской повинности называетъ. Онъ мнѣ говорилъ, что вашего брата здѣсь хоть прудъ пруди. Отъ Парижа до Питера на каждомъ телеграфномъ столбѣ по парочкѣ повѣсь и то достаточно, для такой-же линіи на Владивостокъ останется.

Романъ Викентьевичъ въ этомъ разумѣется не былъ виноватъ ни духомъ, ни тѣломъ, но какъ-же Иванъ Николаевичъ могъ-бы отказать себѣ въ удовольствіи поссорить между собою милыхъ людей.

— Романъ Викентьевичъ? — вопросилъ „вольный конькобѣжецъ".—Ну, хорошо!.. Ему-бы слѣдовало молчать. Я ему это тоже припомню... Мнѣ стоитъ только разсказать о томъ, какъ онъ, состоя на службѣ, на пониженіе нашихъ денегъ играетъ...

— Постойте, постойте...—съимпровизировалъ опять уже восторженнымъ тономъ Приглядовъ.—Вѣдь и это онъ мнѣ разсказывалъ и прибавилъ, что вы ему помогаете! Безъ васъ онъ, какъ безъ рукъ.

Ударъ мѣтко попалъ въ цѣль. Флигель даже взвился и смялъ свой новый цилиндръ о верхъ кареты...

— Ахъ, онъ и это? Ну, такъ и я не стану стѣсняться. Вы знаете, какой это подлецъ? Тутъ есть грекъ одинъ и скверный грекъ, Караки. Не изъ нашихъ одесскихъ, тѣ все-таки почище... Понравилась ему Калерія Алексѣевна, такъ что-жъ, онъ черезъ кого свое дѣло съ нею устроилъ, а? Черезъ Романа Викентьевича. Я это знаю! Романъ Викентьевичъ и деньги изъ ліонскаго кредита получилъ по его чеку.

Иванъ Николаевичъ давно ужъ не чувствовалъ себя такимъ счастливымъ. У него точно все расцвѣло въ душѣ. Онъ похлопывалъ мягко господина барона по колѣнкѣ и такъ жмурился, что можно было ожидать, вотъ-вотъ замурлыкаетъ.

— Такъ она значитъ того... Льву-то Самойловичу измѣнила?

Баронъ засвисталъ, но должно быть слишкомъ озлился, потому что немедля далъ и дальнѣйшія разъясненія.

— Вмѣстѣ съ Караки въ Арроманшъ ѣздила. Въ Трувиль или Кабуръ нельзя — знакомыхъ много. Въ Діепѣ — тоже, такъ они въ Арроманшъ. Наняли тамъ на двѣ недѣли виллу. Я это отлично знаю. Тамъ одинъ мой пріятель жилъ, видѣлъ ихъ и мнѣ писалъ.

— А вѣдь если кое-куда дойдетъ, что вы на пониженіе... или, что вы наши финансовые секреты Ротшильдамъ сообщаете, то... — Иванъ Николаевичъ, очевидно, надѣясь на свою счастливую звѣзду, ужъ на „ура", что называется, началъ. — Жаль мнѣ васъ, вы такой дѣльный и умный.

Флигель сидѣлъ весь зеленый, но, все-таки, и растерявшись, онъ не могъ отрѣшиться отъ свойственной ему наглости.

— Мнѣ больше вѣрятъ, чѣмъ какому-нибудь Селицкому. Всѣ вѣдь знаютъ, что онъ только кассиръ и управляющій своей жены. Доносы такого господина большой цѣны не имѣютъ. Да мнѣ скоро — еще мѣсяцевъ шесть подожду, а тамъ хоть на всѣхъ начхать. Я самъ буду на собственныхъ ногахъ и тогда покажу себя кое-кому.

— Да, но все-таки съ Берлиномъ связываться вамъ, состоя на службѣ русскаго правительства, неосторожно, — продолжалъ неумолимый Иванъ Николаевичъ.

— Я съ Берлиномъ... У меня тамъ только мои личные друзья... Совсѣмъ смѣшался Флигель, причемъ у него даже лысина вспотѣла, такъ что онъ ее нѣсколько разъ платкомъ вытиралъ.

— То-то, — личные друзья, знаемъ мы! Вы ужъ очень шибко глотать начинаете. Нельзя же всѣ лакомые куски одному слопать. Оставьте и другимъ! Смотрите этакъ и подавиться не долго.

Карета была около Avenue de l'Opera.

— Остановите-ка вашего трехтысячнаго кучера... Я здѣсь сойду...

Флигель выскочилъ за нимъ и съ тою же собачьею угодливостью, но уже съ примѣсью трусости сталъ ему жать руки.

— Вы не повѣрите, какъ я доволенъ, что имѣлъ честь...

— „Ты не повѣришь, ты не повѣришь, ты не повѣришь, какъ ты мила!" — запѣлъ Приглядовъ, радостно, какъ на лучшаго своего друга, глядя на него. Въ эту минуту Иванъ Николаевичъ даже любилъ „умнаго молодого человѣка".

— И когда вамъ захочется хорошо пообѣдать, — не такъ, какъ у Селицкихъ — у нихъ поскудство одно, вы пріѣзжайте безъ церемоніи ко мнѣ... У меня здоровый, ,сытный, настоящій нашъ русскій столъ. Мой поваръ прежде у князя Лобанова служилъ.

— Вотъ что, вольный конькобѣжецъ. Позвольте на прощанье дать вамъ хорошій совѣтъ. Вы слишкомъ быстро и скоропалительно выдаете себя.

— То есть какъ! — оторопѣлъ тотъ.

— А такъ. Ужъ слишкомъ вы откровенны. Стоило мнѣ пошутить и на бѣднаго Романа наплести разныя небылицы (можете быть спокойны — ничего этого онъ мнѣ не говорилъ!), какъ вы сейчасъ себя съ головой. Вы подумайте только, въ чемъ вы мнѣ признались?

Онъ наклонился и шепнулъ ему что-то.

И, весело потрепавъ его по-плечу, направился къ café de la Paix... Флигель, озадаченный, остался на мѣстѣ, изображая изъ себя жену Лотову.

— Будешь ты меня помнить, голубчикъ, — торжествовалъ Иванъ Николаевичъ. Васъ, подлецовъ, да не учить, чтожъ это будетъ. Потомъ онъ обернулся, увидѣлъ его солянымъ столбомъ и любезно послалъ ему воздушный поцѣлуй, подмигнувъ въ то же время проходившей мимо крашеной француженкѣ, такъ что та расхохоталась и кинула ему:

— Bonjour, mon gros coco!

Онъ было засѣменилъ за нею — но опомнился и рѣшилъ остаться вѣрнымъ café de la Paix.

Тутъ трудно было найти мѣсто. Всѣ столики оказывались заняты. Часъ былъ бойкій, и добрая треть Парижа сновала по бульварамъ. „Это они, подлецы, нарочно — смѣялся Иванъ Николаевичъ,— чтобы дать мнѣ преувеличенное понятіе объ ихъ многолюдствѣ... Гдѣ же я сяду? Придется вѣрно въ café Julienne... По старой памяти. Когда-то тамъ магометовъ рай былъ. И въ самомъ дѣлѣ, толкнусь туда! Но какъ разъ въ эту минуту ему послышалось:

— Вотъ те фунтъ, только-только этой шельмы, Приглядова, для полнаго комплекта Парижу недоставало. Здравствуй, красавецъ. А я въ газетахъ читалъ, что ты преждевременно лопнулъ и тебя въ Дагомеѣ преблагополучно скушали...

Иванъ Николаевичъ прищурился и радостно отверзъ объятія.

— Ну, ну, не очень-то. Здѣсь на улицахъ не принято обниматься да цѣловаться. Откуда это тебя выслали? Съ жандармами поди? Господи, еще больше разбухъ. И за что только твои ноги страдаютъ? Этакую гору жира носить? И какъ это Дюваль терпитъ. Поймалъ бы онъ тебя, русскаго друга, — на крюкъ... Да на утро въ своихъ bouillons и подалъ кліентамъ. Покушайте-ка „союзнаго“ мясца!

— Поди ты, мельница. Остановись на минуту. Дай отдышаться. Видишь толстый человѣкъ,—запыхается совсѣмъ. Вмѣсто того, чтобы пожалѣть...

— А ты, бочка, кого-нибудь на своемъ вѣку жалѣлъ?

— Тебя перваго. Ни разу еще персидскимъ порошкомъ не изводилъ. Ну, здравствуй, деревня. Чего ты-то въ Парижъ привалилъ? Ты, братъ, здѣсь смотри—ухо востро. Тутъ такихъ въ jardin d'aclimatation сейчасъ и за деньги публикѣ показываютъ.

— А ты пробовалъ? По собственному опыту? Откуда, признавайся?

— Изъ подъ Біаррица... На этюдахъ сидѣлъ и въ морѣ купался.

Собесѣдникъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на него.

— Только для этого ѣздилъ?

*

— Только. Правда, кстати Самсонову нѣсколько картинокъ продалъ, да заказъ хорошій получилъ. И Приглядовъ прищурился?

— Ну, вотъ... Такъ бы сразу и говорилъ. А я братъ, свой ревматизмъ по всѣмъ европамъ вожу. Воды пилъ, какъ почталіонъ моціонъ дѣлалъ. Забылъ, какое такое вино на свѣтѣ бываетъ. Что лекарствъ переглоталъ—-слона на-повалъ убить можно.

— Ну?..

— Ревматизма точно нѣтъ. Зато подагра привязалась... Теперь отъ нея въ Aix-les-bains ѣду лечиться... На колѣнкахъ у меня точно подушки вспухли. Суставы такъ тоскуютъ...

— Напрасно ты все это дѣлаешь. Плюнь. Все равно, братъ, отъ четвертаго измѣренія не убѣжать. Хочешь не хочешь — а придется мнѣ на твоихъ похоронахъ кутью есть... „Помяни, Господи, душу усопшаго великаго грѣшника и сквернослова Антонія!..“ Положимъ мы тебя въ Москвѣ въ Новодѣвичьемъ — тамъ земля сухая, а вѣдь ты воды пуще всего на свѣтѣ боялся. Чудовскихъ пѣвчихъ позовемъ. Въ бюро похоронныхъ процессій — по первому разряду заплатимъ, чтобы все было въ порядкѣ. На балдахинѣ—страусы. Фонарщиковъ выберемъ такихъ, чтобы отъ одного вида ихъ молоко въ матерней груди кисло. Лошадей... Всѣ конки ограбимъ — выставку отечественныхъ Россинантовъ устроимъ. На памятникѣ тебѣ высѣкутъ надпись: „Очищенная. Пшеничная слеза № 1.“ Этикетъ утвержденъ правительствомъ... Цѣна рупь со стекломъ.

— Фу ты! даже плюнулъ тотъ.

— Некрологъ... Купцы вслухъ въ „Большомъ Московскомъ“ читать будутъ и плакать: какая персона преставилась!

— Довольно тебѣ. Долго здѣсь останешься?

— Нѣтъ, братъ... Домой пора. Дочурка у меня—замужъ ее выдавать стану. Эхъ, братъ, впалъ вдругъ Иванъ Николаевичъ въ слащавый тонъ. Одно у меня счастье и есть, что Лиза. То-есть. я тебѣ скажу — сердечная дѣвочка. Будетъ хоть кому помолиться за меня на могилѣ.

— Ты въ могилѣ не помѣстишься. Тебѣ цѣлый погребъ нужно.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ. Ну, зачѣмъ мы живемъ? Подумай. Картины? Да вѣдь нынче краски какія: черезъ сто лѣтъ отъ нашей живописи одно линялое мѣсто останется. А тутъ потомство. Скажутъ: у насъ дѣдушка былъ добрый. Очень насъ дѣдушка любилъ. Вспоминать станутъ—малыши. Вотъ этакіе—куроцапы...

— Да что у тебя сегодня за настроеніе? Въ директора похоронныхъ процессій готовишься къ экзамену—если, такъ пожалуйста не при мнѣ.

— Души въ тебѣ, Антонъ Иванычъ, нѣтъ.

— Я, братъ, здѣсь ужъ двѣ недѣли,—перемѣнилъ Антонъ Ивановичъ непріятный разговоръ. — Околачиваюсь по бульварамъ, и что это такое случилось? Нашихъ здѣсь до удушья, и все мошенники. Такъ въ глазахъ у каждаго: а семь-ка, я съ тебя часики сниму. Откуда это? и всѣ куда-то торопятся, у всѣхъ какое-то дѣло... Хвостъ на отлетъ, лапы на воздухъ, а изъ пасти слюна отъ жадности течетъ. Иду это я сегодня — а впереди два соотечественника, и одинъ другому: „ахъ, много здѣсь денегъ въ Парижѣ — тоскуетъ. Ужъ ежели нонѣшними симпатіями не воспользоваться — дуракомъ надо быть". На-дняхъ сижу тутъ въ кафе, и рядомъ, вдругъ, нашъ москвичъ объявился. Онъ собственно нѣмецъ и фамилія ему даже Глинтвейнъ, но здѣсь онъ себя за русскаго аттестуетъ и такія, братъ, дѣла обдѣлываетъ... А мѣховщикъ нашъ — поди-ко — тоже, вѣдь, кровный русскій оказался,—говорятъ, шибко карманъ набиваетъ. Всѣхъ французовъ увѣрилъ, что союзъ никто другой, а именно онъ оборудовалъ. А на углу Faubourg de Montmartre, видѣлъ русскую лавку? Какже! Иконы въ окнѣ и лукутинскія табакерки съ халцыхскими поясами, а вверху надпись: „L'industrie Russe". Захожу—прикащики въ кавказскихъ черкесскахъ, вотъ съ этакими кинжалами — жара, а они въ папахахъ. Заговорилъ — Господи! — изъ Зарядья нашего московскаго... А еще недавно тутъ по улицамъ какой-то Мишель Берновъ ходилъ въ красной рубахѣ, съ русскимъ знаменемъ въ рукахъ. Мнѣ одинъ французъ, на водахъ, разсказывалъ: „отбою нѣтъ отъ союзниковъ". Да вѣдь какъ: не просятъ на бѣдность, а просто требуютъ. Вы, говорятъ, намъ помогать должны за наши симпатіи. И еще генералъ одинъ налетѣлъ сюда орломъ изъ Питера. Книжку на французскомъ языкѣ издалъ какую-то. Милліона искалъ на разработку бриллiантовыхъ копей въ Олонецкой губерніи; президенту Карно изъ Троице-Сергіевской лавры финифтяную икону привезъ. Вѣдь у нихъ у всѣхъ особая ариѳметика нынче. Ниже милліона цифры нѣтъ. Отъ милліона и выше. Здѣсь, говорятъ, денегъ много!.. И вѣдь помнишь ты прежнихъ русскихъ—народъ все больше трусливый былъ, точно издали у всѣхъ прощенія просилъ невѣдомо въ чемъ — а теперь посмотри на нихъ — казанскіе губернаторы все какіе-то. Идетъ — чортъ ему не братъ. Глаза на выкатѣ, локти врозь, ротъ съ оскаломъ, въ горлѣ трубы іерихонскія! Чуть что не по немъ—сейчасъ: „мы васъ, прохвостовъ, какъ въ Кронштадтѣ чествовали! Шеи у всѣхъ толстыя, кучерскія, глазенки наглые. Грамоты, каналья, не знаетъ, а спроси его, зачѣмъ пожаловалъ—хочу, говоритъ, русскую выставку деревянной посуды здѣсь устроить, по пяти франковъ за входъ и съ лотереей. „Да кто-же вамъ разрѣшитъ это"? — А въ Кронштадтѣ-то мы ихъ какъ чествовали? А то вдругъ одинъ

тоже сюда прискакалъ — шустрый такой, ласковый, говоритъ теноромъ... Глазки—слезу пускаютъ... Оказывается, прямо къ Ротшильду: „пожалуйте пять милліоновъ на обзаведеніе, вмѣстѣ Волгу грабить“. А вѣдь—титулъ! Ты что думаешь. Ну, разумѣется, къ Ротшильду его даже и не пустили. Онъ сейчасъ же хвостъ павлиномъ и давай шипѣть: „Я, говоритъ, убѣдился, что всѣ эти французскія симпатіи — газетами выдуманы. Здѣсь насъ знать не хотятъ!..“ Подумай, до чего дошло. Ты вѣдь видѣлъ французовъ — до мундировъ не охотники. У нихъ и офицеры-то — въ партикулярныхъ костюмчикахъ по бульварамъ порхаютъ—и, вдругъ, смотрю—наши дворянскія фуражки съ кокардами. Ну, думаю—Тамбовская губернія привалила въ Буа де Булонь. Хотѣлъ было Сергѣю Атавѣ телеграфировать—пріѣзжайте-де на мѣсто преступленія. Что-жъ бы ты думаешь, кто оказались эти русскіе дворяне — нѣмцы, да жулики. Мнѣ ужъ тутъ жаловались — говорятъ, они какъ мошки налетѣли, поѣдомъ ѣдятъ. Спасенія нѣтъ отъ нихъ. Дрюмонъ нѣсколько разъ „караулъ“ кричалъ... И вѣдь эти не возвращаются, они здѣсь плотно осѣдаютъ. Я тебѣ покажу магазинъ, гдѣ подъ видомъ русскаго чая продается дрянь разная, собранная подъ Орлеаномъ, съ полей. Ты думаешь, кто это устроилъ— Гугенфельдъ. Онъ съ собой изъ Россіи привезъ сундукъ этикетокъ разныхъ извѣстныхъ чайныхъ магазиновъ. Теперь уже здѣсь ихъ заказываетъ. И вѣдь какія у него названія: „франко-русскій союзный хунъ-лы“. Или: „высокаго достоинства трехцвѣтное знамя чанъ-су“... или „жемчужный пейхо—Боже Царя храни“. А то еще: „Отборный Swiatаja-Rouss, превосходный хао-лунъ-дзы“... Говорятъ, тоже шибко пошелъ. А пѣвцовъ, Господи, египетскія казни настоящія — и все въ красныхъ рубахахъ и безрукавкахъ. Импрессаріо здѣшніе не знаютъ, куда дѣваться отъ нихъ. Русскую народную пѣсню, видишь-ли, явились популяризировать. Такъ бандами и ходятъ, горлопаны! И вѣдь не одинъ правильно по-русски двухъ словъ не скажетъ. Одинъ изъ неудавшихся редакторовъ даже былъ — рожечниковъ сюда доставилъ. Нашихъ-то рожечниковъ хотѣлъ Парижу привить! Здѣсь такихъ въ „Jardin d'acclimatation“, куда и ты когда нибудь попадешь. Знаешь, въ родѣ негровъ Пеи-пи-бри. Бѣдняги-рожечники чуть съ голоду не перемерли. Смѣху сколько было. Едва выпроводили ихъ. Ходятъ по Парижу въ сѣрыхъ балахонахъ съ рожками—и одурѣлые всѣ. Понять ничего не могутъ, да и редакторъ, какъ оказалось, по французски тоже ни въ зубъ... А ты здѣсь видѣлъ уже le Paradis Russe?

— Нѣтъ, это еще что.

— Помнишь ты, Гресеръ покойникъ, разные пансіоны для дѣвицъ, безъ древнихъ языковъ, съ петербургскихъ улицъ убралъ. Ну,

такъ одна такая педагогическая дама устроила здѣсь établissement, гдѣ женскій персоналъ смѣняется каждую недѣлю, un bock стоитъ двадцать пять сантимовъ; въ почетномъ углу красуется громадный самоваръ, на стѣнахъ всюду „Vodka de la Sainte Russie“ и крашеныя яйца на тарелкахъ. „Эти самыя“ дамы въ яко-бы русскихъ кокошникахъ и сарафанахъ.

— Ты меня своди туда!—вдругъ оживился Иванъ Николаевичъ.

— Морды! — разочарованно отвѣтилъ Антонъ Ивановичъ.

Приглядовъ мгновенно увялъ и успокоился.

— Лучше всего, что дамы-то эти, въ сарафанахъ, тоже вѣдь нѣмки сплошь. Кенигсбергскія Амаліи съ такими противуестественными портретами, что за человѣка страшно становится. За фортепіано сидитъ таперъ печальнаго образа, играетъ „Славься“, „Тигренка“, а Амаліи танцуютъ, яко-бы, „русскую пляску“, закидывая ноги выше головы. Хорошо?

— Чего лучше. Особенно при ихъ костюмахъ!

— Вотъ именно... А ты знаешь, какъ этотъ народный танецъ нашъ называется.

— Какъ?

— Les souvenirs de la Neva! А другой такой-же, исполняютъ они его подъ звуки „Стрѣлочка“, извѣстенъ въ le Paradis Russe, какъ „Le joi du Cremlin“, причемъ въ афишѣ сказано, что высшее аристократическое общество Москвы, именно такъ и пляшетъ на балахъ въ своихъ Palais magestueux! На стѣнахъ изображено кронштадтское свиданіе, причемъ надъ башнями Кронштадта турецкіе полумѣсяцы, охота на медвѣдя, взятіе „Дуная“ генераломъ Скобелевымъ и русскіе и французскіе солдаты, подавшіе руки другъ другу.

— Чего-же ты хочешь, медовый мѣсяцъ... Ты гдѣ сегодня обѣдаешь? — спросилъ, подымаясь, Приглядовъ.

— Не знаю, гдѣ хочешь...

— Вотъ что, въ семь часовъ у Дюранъ... Согласенъ.

— Это противъ Мадленъ.

— Да.. И не особенно шкуру дерутъ и недурно. Особенно, если со мною. Меня тамъ знаютъ. Ахъ ты, шельма, скажите пожалуйста, вотъ глазищи-то!

— У кого, у кого? — сорвался съ мѣста Антонъ Ивановичъ.

— А вонъ видишь... Синяя юбка...

— Смотри, братъ, Иванъ Николаевичъ. Какъ-бы тебя въ чемоданѣ въ Америку не отправили... Знаешь, у нихъ у всѣхъ нынче сутенеры есть... Боковой-то карманъ у тебя, дай Богъ каждому... Ишь распухъ какъ... Ну, возьмутъ тебя деликатно, двумя перстами, вотъ за это мѣсто... — показалъ тотъ на глотку — и кончено... Чемоданы

здѣсь дешевы .. А то и просто выкинутъ въ Сену. А потомъ я пойду пройтись для пищеваренія въ Моргъ, ба... За стекломъ-то, чье это пузо... Иванъ Николаевичъ... Голубчикъ... Царствіе ему небесное... подлецъ былъ покойникъ... Ну, такъ до вечера, значитъ?

III.

— Что ты на это скажешь? — озабоченно обратился Романъ Викентьевичъ къ Калеріи Алексѣевнѣ, когда Иванъ Николаевичъ съ Флигелемъ исчезли за рѣшеткою ихъ дома. — Левъ-то Самойловичъ пожалуй того... а?.. А ты еще недавно хотѣла эту виллу около Діепа купить. Я тебѣ говорилъ, что слѣдовало мѣсяца три назадъ въ Біаррицъ...

Она ему не отвѣтила ни слова. Изъ столовой вела дверь прямо на балконъ. Калерія Алексѣевна вышла туда, взяла ножницы и начала подрѣзывать сухіе листья у цвѣтовъ. Мужъ ея вынесъ ей кресло, но она только коротко ему отвѣтила:

— Не надо!

— Ну, какже твое мнѣніе? — приставалъ онъ къ ней, видимо взволнованный и оторопѣлый.

— Я не понимаю, кажется, стоятъ теплыя погоды, а посмотри сколько пожелтѣло.

Она уже срѣзала много листьевъ, и они совсѣмъ осыпали мраморный полъ балкона... Руки ея продолжали работать спокойно... Она, казалось, вся ушла въ это и ни о чемъ другомъ не думала. Романъ Викентьевичъ съ досадою смотрѣлъ на нее и думалъ: „экое мясо — ничѣмъ ее не расшевелишь“.

— Эти блѣдныя розы я велю выбросить. Точно чахоточныя. И запаху отъ нихъ мало. То-ли дѣло мои любимыя!—И она осторожно за стебелекъ подняла громадную, махровую и алую, пышную и благоухавшую на весь этотъ балконъ. — Подумай только, какъ это сильно пахнутъ гарденіи, а ты ея ароматъ слышишь отдѣльно... Точно высокое сопрано въ громадномъ хорѣ, —и она сама засмѣялась своему сравненію. — И потомъ, эти алыя пятна на темно-сѣрой стѣнѣ такъ красивы. Къ слѣдующей веснѣ у меня весь балконъ будетъ полонъ ими. И въ саду тоже. Кстати, съѣзди къ Жерому и выбери у него что-нибудь вмѣсто вонъ той умирающей латаніи... Я скажу Бенуа, чтобы онъ ее къ завтраму вырвалъ прочь...

Романъ Викентьевичъ не спускалъ съ нея глазъ.

— Ты, что, Коко, роль играешь, что-ли?..

— Ахъ, это ты все про приглядовскія сплетни... Я о нихъ и

думать забыла...—Но тутъ-же, противорѣча самой себѣ, подошла къ мужу, схватила его слегка за носъ, хотѣла было пригладить щетину на его головѣ, но та опять встала дыбомъ...—Вотъ что: кто у тебя въ Біаррицѣ?

— Тамъ въ нашемъ банкѣ много.

— Вѣрные люди?

— Найдутся и вѣрные...

— Сейчасъ-же пошли телеграмму съ оплаченнымъ отвѣтомъ: тамъ-ли Самсоновъ, Свѣтлинъ-Донецкая и Кленовская, да чтобы никому ни слова. Иванъ Николаевичъ способенъ, вѣдь, на фальшивый слѣдъ направить, ради удовольствія разсказывать потомъ, какъ онъ меня надулъ. Нужно всегда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло. А что я спокойна, не волнуюсь, какъ ты, такъ я вѣдь вовсе не хочу желтѣть и дурнѣть. На все обращать вниманіе—цвѣтъ лица испортишь. Только вотъ что, съ телеграммой поѣзжай самъ. Я хочу остаться одна. Мнѣ нужно подумать кое о чемъ, а ты вѣдь не выдержишь, все будешь ко мнѣ въ двери стучаться!

Онъ взялъ ея руку и поцѣловалъ, потомъ послушно всталъ и отправился внизъ. Калерія Алексѣевна дождалась, пока его высокая и длинная фигура исчезла за затканной розами рѣшоткою отеля. Оттуда онъ приподнялъ ей шляпу и Селицкая ему, нѣжно и ласково улыбаясь, кивнула. Очевидно, между ними было не одно „товарищество на вѣрѣ“ какъ, смѣясь, опредѣлялъ ихъ отношенія Иванъ Николаевичъ, но и нѣчто другое. Калеріи Алексѣевнѣ не хотѣлось еще уходить съ балкона—былъ чудный сентябрьскій день. Небо, чуть подернутое бѣлесоватою марью внизу — ясно и свѣтло голубѣло въ высотѣ... Съ востока вѣяло прохладой. Воздухъ кругомъ былъ сладко напоенъ запахомъ цвѣтовъ. Съ балкона видѣнъ былъ садъ весь въ красномъ дождѣ позднихъ розъ, въ ихъ пестрыхъ гирляндахъ, въ чистой, яркой и пышной зелени, на которую, словно сквозь мелкое сито, падали разбивавшіяся на отлетѣ тонкія струйки вращающагося фонтана... Вверху — должно быть сквознякомъ, чуть-чуть подняло бѣлую занавѣску и она вздулась какъ парусъ... „А хорошо теперь должно быть у моря“, подумала про себя Селицкая... „Волны шумятъ у берега... Зеленые, синіе, золотистые, сапфирные тоны бѣгутъ по водѣ. Пѣна клубится у каменныхъ рифовъ... Немудрено, что и Левъ тамъ голову потерялъ. Особенно, если она такъ хороша — да вѣдь и то еще, первая любовь его! Какже не увлечься. На этотъ разъ мужъ правъ. Надо было еще три мѣсяца назадъ поѣхать въ Біаррицъ. Ну, да впрочемъ, чтожъ? ничто не ушло еще“.

Она тихо поднялась, притворила столовую и черезъ другую дверь прошла къ себѣ... Ея розовая спальня вся была въ солнечномъ

сіяніи. Она не побоялась того, что, какъ говорилъ Левъ Самойловичъ — теперь у каждой титулярной совѣтницы есть розовая спальня — и сдѣлала себѣ именно такую. Блѣдную съ едва замѣтно проступающими сквозь шелкъ золотистыми цвѣтами. Это очень шло ко всей ея нѣсколько полной, но нѣжной и гибкой фигурѣ, къ мягкому выраженію ея лица и ласковому голубому полымю ея глазъ. Она пододвинула кресло къ зеркалу и тихо опустилась, глядя на себя самую, будто отъискивая на своемъ лицѣ какихъ-нибудь слѣдовъ такъ долго и бурно прожитой молодости. „Хорошій ювелиръ дѣлалъ", — вспомнила она Ивана Николаевича. „И черезъ сто лѣтъ, матушка, вы еще будете нашему брату мозги взбалтывать!" Въ самомъ дѣлѣ, ни одной морщинки. Она наклонилась и еще внимательнѣе стала себя разсматривать. Ни въ уголкахъ у глазъ, ни въ вѣкахъ, ни на лбу... Всѣ думаютъ, что она эмальирована — пускай думаютъ. Попробуй-ка такую эмаль найти,—засмѣялась она. И глаза такъ-же свѣтятся, какъ въ молодости — не утратили нисколько своего блеска. Только мягче стали, практикою выработались. Вотъ, развѣ что губы какъ-то блѣднѣе, и шея слишкомъ располнѣла — этакъ, того и гляди, второй подбородокъ выростетъ и грудь утратитъ свои красивыя линіи... А она еще не хотѣла этого. Она, до послѣдней минуты жизни, къ одному стремилась — быть любимой, властвовать надъ человѣкомъ, который покупалъ ея ласки, мстить его рабствомъ за право на ея тѣло. Она почувствовала бы себя глубоко несчастной въ тотъ день, когда она перестала бы замѣчать въ глазахъ мужчинъ, говорившихъ съ нею—знакомый, слишкомъ привычный ей, безпокойный огонекъ, и угадывать въ головѣ ихъ сокровенный трепетъ и ласку невысказаннаго желанья.

Ну, да, до этого еще, впрочемъ, далеко! Она улыбнулась—и зеркало отразило улыбку, и Калерія Алексѣевна поняла, что рѣдкій не пожелалъ-бы, про себя, поцѣловать губы, именно такъ улыбающіяся. Въ самомъ дѣлѣ, эта улыбка со слегка приподнятыми бровями, придовала ея лицу что-то полудѣтски-наивное, а вмѣстѣ съ нѣсколько тупымъ, немного даже животнымъ взглядомъ ея красивыхъ глазъ — дѣлала ее неотразимой. Именно животнымъ, какой долженъ быть у такой самки, какъ она. „Умныхъ женщинъ очень много, думала она про себя. Умныхъ женщинъ больше, чѣмъ умныхъ мужчинъ. Только никто ихъ—этихъ умницъ не цѣнитъ... А я еще до сихъ поръ не встрѣчала человѣка, который-бы не спасовалъ предо мной"... Она встала, полуобернулась отъ зеркала и въ другомъ такомъ-же увидала себя. Этотъ поворотъ обрисовалъ такія законченныя и художественныя линіи ея, что она сама уже засмѣялась и вслухъ проговорила: „Все— глупости!.. Въ первую-же минуту встрѣчи опять мой будетъ. Я еще воображаю—какъ каяться станетъ. Еще-бы, *та* вѣдь идеалистка. Она и

любимому человѣку не отдасться... Можно себѣ представить, какъ съ ней измучился такой именно, какъ Левъ Самойловичъ, съ его страстною и неудержимою натурой. Увидитъ меня—все забудетъ. Съума сойдетъ!.. Погоди, и я тебѣ не сейчасъ въ руки дамся... Или, впрочемъ, нѣтъ. Надо, чтобы сразу его поразила разница между настоящей женщиной, которая хочетъ и умѣетъ любить и быть любимой, съ этою святою, отдающею свою душу и не позволяющею коснуться до нея. Дура! Даже съ ея точки зрѣнія, философствовала Селицкая, даже съ ея точки зрѣнія — глупо. Потому что, если ее грѣхъ удерживаетъ, то вѣдь грѣхъ тѣла а не души, а тѣло сгніетъ и грѣхи тѣла съ нимъ... А вотъ душа-то... Впрочемъ, это не то. Свѣтлинъ-Донецкая не грѣха боится. Я ее видѣла... Теперь вспоминаю, мелькомъ тогда, при выходѣ изъ театра. Лица не замѣтила—только строгій взглядъ ея остался въ памяти... Это у нея—не религіозность... а „правила“. Именно — правила... Есть-же такія женщины! А вѣдь въ самомъ дѣлѣ, она должно быть его до сумасшествія довела. Воображаю, какой онъ вернется! Ну мой, золотоволосый богъ — я еще изъ тебя такихъ веревокъ навью... Надо только обдумать. Разумѣется—онъ измученъ, раздраженъ теперь... Значитъ ему нужны ласка, покой, тишина и полная покорность его волѣ — ни въ чемъ отказу! Пусть дѣлаетъ что хочетъ — меня не удивитъ... У самого-же явится сейчасъ сравненіе: „Вотъ это настоящая женщина. Эта умѣетъ дать счастье и сама быть счастливою“. Онъ и прежде, бывало, пріѣдетъ — холодный, недовольный — а отъ моего присутствія сейчасъ-же опьянѣетъ... Да—дать наслажденія мало — нужно, чтобы онъ самъ видѣлъ, что она не раба, которая только терпитъ его ласку а женщина, которая ждетъ ее... А если ей не даютъ этой ласки—такъ она сама съумѣетъ ее взять... Поѣхать къ нему?.. Зачѣмъ... Не надо!.. Иванъ Николаевичъ говорилъ, что та поразительно хороша собою... Сравненіе будетъ, пожалуй, не въ мою пользу. Она свѣжѣе, моложе. Надо смотрѣть — прямо въ глаза дѣйствительности. Свѣтлинъ-Донецкая лучше меня. На разстояніи—память о ней не выдержитъ моего присутствія, потускнѣетъ. Синица въ рукахъ! Люди вѣдь,—всѣ люди. А тамъ? Тамъ онъ, пожалуй, безсознательно рисуясь при ней, захочетъ разъиграть вѣрнаго рыцаря и пожертвовать мною. Да притомъ еще, что она такое? На какую налетишь. Стоитъ ей отнестись ко мнѣ презрительно, чтобы такой человѣкъ, какъ Левъ Самойловичъ—тоже подъ ноги ей бросилъ меня. Вѣдь онъ не характеръ, не воля,—а рефлексъ, ощущеніе. Со мной онъ подъ мою дудку запляшетъ, а съ нею — подъ ея. Пусть онъ дождется ея отъѣзда. Да и то еще: вдругъ въ *той* отъ ревности проснется женщина и она отдасться ему. Тогда все потеряно! Главное, нечего волноваться и

торопиться. Кто спѣшитъ, тотъ всегда проигрываетъ. А женщина, да еще самолюбивая, должна играть навѣрняка...

Калерія Алексѣевна въ сущности вовсе не была зла. Она не чувствовала ни малѣйшаго раздраженія противъ Натальи Григорьевны. У всякой другой, сказались-бы права собственности на Льва Самойловича, эта не знала никогда ревности. То, что она называла измѣнами Самсонова, въ ней вызывало изрѣдка досаду, чаще она только насмѣшливо улыбалась и, когда Левъ Самойловичъ возвращался къ ней, она вся была ласка, нѣжность, замирала въ его рукахъ, съ такою граціей, что тотъ пьянѣлъ, соображая лишь, что ни одна женщина въ мірѣ не стоитъ ее! Оставаясь одинъ, онъ, въ минуты трезвости, понималъ — на столько-то былъ уменъ,— что Селицкая вовсе не любитъ его, что онъ ей нравится и очень нравится, что его средства ей нравятся еще больше, но что ея душа совсѣмъ чужда его душѣ. Да съ ней объ этомъ и говорить нельзя: она совсѣмъ не изъ того матеріала сдѣлана. И онъ, вдругъ, холодѣлъ къ ней, презиралъ ее, ея жадность, ея тонкіе разсчеты, которые ему, какъ дѣловому человѣку, были ясны. Но стоило страстному порыву охватить его мукою ожиданія, тоскою одиночества, жаждою ласки, желаніемъ, чтобы около его сердца забилось близко-близко другое, какъ онъ забывалъ все, бѣжалъ къ ней и все ей прощалъ за то, что никто не умѣлъ никогда быть *такою*, какъ она. Этимъ она до сихъ поръ держала его въ рукахъ и нисколько не завидовала строгимъ женщинамъ. „Мнѣ вѣдь уваженія не надо, я и за обѣдомъ терпѣть не могу мороженаго!“ смѣялась она ему, угадывая его скрытые помыслы и частое недовольство ею. Отдайся ему та, другая, дѣло было-бы плохо. Такая сдержанная натура, повидимому холодная, но только повидимому, какою отличалась Наталья Григорьевна, разорви связывающія ея узы, затмила-бы сотни Калерій Алексѣевенъ. Но вѣдь Свѣтлинъ-Донецкая изъ такихъ, что умрутъ скорѣе, чѣмъ отдадутся, значитъ, нечего было безпокоиться Селицкой, и она ужъ, совсѣмъ веселая, радостная, встала съ кресла, позвала горничную, одѣлась для прогулки, приказала подать себѣ коляску и поѣхала въ bois de Boulogne.

Домой она вернулась вся сіяющая, смѣющаяся, такъ что ея мужъ съ недоумѣніемъ встрѣтилъ ее... Онъ, надо отдать ему справедливость, былъ на столько глупъ, что до сихъ поръ не понималъ своей жены. „Должно быть у нея кто-нибудь другой на примѣтѣ“, сообразилъ онъ про себя. „Кто-же бы это могъ быть?“ Ему казалась-бы непростительной ея увѣренность въ своей „власти и силѣ“, если бы онъ угадалъ именно это въ наружномъ спокойствіи своей жены.

— Я послалъ! — сообщилъ онъ ей.

— Что такое?

— Телеграмму?

— Какую телеграмму? — притворилась она непонимающей.

— Какая ты, Коко, легкомысленная! Телеграмму въ Біаррицъ. Срочную, съ оплоченнымъ отвѣтомъ...

— А-а! въ Біаррицъ. Напрасно торопился.

— Какъ... а если...

— И пускай, если! Ахъ, Романъ, Романъ, когда ты поумнѣешь.

Онъ изъ-подлобья посмотрѣлъ на нее.

— Вотъ что, Романъ, все это время ты меня оставь въ покоѣ.

— Это еще у тебя что за фантазія?

— Такъ по моимъ разсчетамъ выходитъ. Я самой себѣ нужна буду.

— Я не понимаю тебя!

— Оттого, что ты глупъ, мой милый. Жаль мнѣ васъ, Романъ Викентьевичъ, но дѣлать нечего. А всего знать вамъ совсѣмъ не надо. Вы помните—все будешь знать, скоро состаришься.

Вечеромъ пришла отвѣтная телеграмма:

„Сейчасъ лично справлялся въ отелѣ***. Интересующія васъ особы разъѣхались. Свѣтлинъ-Донецкая—въ Петербургъ, Кленовская вернулась пока въ Біаррицъ. Самсонова засталъ на станціи желѣзной дороги; онъ ѣдетъ въ Парижъ и будетъ тамъ завтра утромъ“.

Калерія Алексѣевна, прочтя это — нѣсколько минутъ оставалась молчаливою, потомъ засмѣялась и позвала мужа.

— Романъ, какіе поѣзда отходятъ изъ Парижа сегодня ночью или вечеромъ?

— А что тебѣ?

— Отвѣчай мнѣ на вопросъ, какіе?

— Всякіе... Разные отходятъ. Я помню есть directe въ Діепъ, въ 11 часовъ.

— Ну, вотъ это какъ разъ... По крайней мѣрѣ ты будешь имѣть предлогъ: мы, вѣдь, тамъ виллу покупаемъ... Теперь семь. Укладывайся и, чтобы въ 11 часовъ тебя здѣсь не было. Недѣлю ты не долженъ возвращаться въ Парижъ.

— Матушка, помилуй, а дѣла?

— Для дѣлъ есть телефоны и телеграфы. И главное—не разсуждай. Ты самъ знаешь, какъ всегда выходило глупо, когда ты разсуждалъ.

— Да зачѣмъ-же мнѣ уѣзжать... Развѣ я когда-нибудь мѣшалъ тебѣ! — уже перешелъ онъ въ трагическій тонъ.

Она даже расхохоталась: до того было смѣшно это восклицаніе супруга fin de siècle! Но уже не удостоивая его отвѣтомъ, позвонила. Вошла горничная.

— Пожалуйста, Жанна, прикажите Пьеру уложить вещи monsieur. Monsieur сегодня получилъ важную телеграмму и ѣдетъ въ Діепъ.

Не могла-же она сказать ему, что хотя онъ дѣйствительно никогда не мѣшалъ ей, но въ Львѣ Самойловичѣ вызывалъ чувство какой-то брезгливости, даже гадливости. А теперь надо было устроить такой маленькій рай, чтобы ничто въ немъ не нарушало блаженства этого современнаго Адама. Мужъ былъ-бы для него непріятнымъ диссонансомъ да и на нее-бы бросалъ тѣнь. Она хорошо помнила, какъ разъ Левъ Самойловичъ спросилъ:

— Долго-ли еще твой кассиръ будетъ путаться между нами? Чего ему — взялъ отступное и убирайся.

— А мое положеніе въ свѣтѣ?

Самсоновъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее.

— Да въ чемъ-же оно измѣнится? Развѣ нашихъ отношеній никто не знаетъ?

— Всѣ знаютъ, но пока мужъ тутъ — молчатъ.

Онъ только пожалъ плечами; но было замѣтно, что Романъ Викентьевичъ дѣйствительно вызывалъ въ немъ одно только отвращеніе, и что Самсонову нужно много самообладанія, чтобы не показать ему этого.

Романъ Викентьевичъ былъ человѣкъ прочно сложившихся привычекъ. Передъ отъѣздомъ ему захотѣлось разыграть сцену нѣжности съ женою и онъ было къ ней направился. Но дверь ея оказалась заперта.

— Можно къ тебѣ? — постучался онъ къ ней.

— Нельзя.

— Передъ отъѣздомъ? — ужаснулся онъ.

— И передъ отъѣздомъ нельзя.

— Поцѣловать тебя на прощаніе.

— Поцѣлуйся съ замкомъ и да хранитъ тебя Богъ!..—смѣялась она за дверью...

— Да ты мнѣ толкомъ объяснишь все это?

— Когда же генералъ наканунѣ рѣшительнаго сраженія объясняетъ свои планы?..

Съ тѣмъ Романъ Викентьевичъ и уѣхалъ.

Калерія Алексѣевна долго сидѣла у себя, обдумывая положеніе дѣлъ. Вѣдь Самсоновъ можетъ остановиться въ отелѣ и не зайти къ ней. Положимъ, у нея здѣсь всегда двѣ комнаты для него, и ни разу еще не бывало, чтобы онъ поселился въ другомъ мѣстѣ. Но то прежде. А теперь — неизвѣстно въ „какихъ онъ чувствахъ“. Можетъ завести свои вещи въ гостинницу, а завтра уѣхалъ и поминай

его какъ звали! Этого нельзя было допустить. Она быстро сѣла къ столу и написала:

„Простите, мой милый, что я не пріѣхала васъ встрѣтить. Я не больна, но у меня второй день немножко тяжела голова, и я остаюсь въ постели. Я такъ безпокоилась (отъ васъ давно-давно нѣтъ вѣсточки), что вчера телеграфировала въ Біаррицъ. Мнѣ отвѣтили, что вы уѣхали, и завтра будете въ Парижѣ. Посылаю Пьера встрѣтить васъ. Я одна и *совсѣмъ* одна и буду счастливой только тогда, когда увижу васъ, мой дорогой, золотоволосый богъ! Мужъ уѣхалъ надолго. Пишу вамъ, а сердце у меня замираетъ отъ ожиданія. Неужели завтра, наконецъ, я обойму васъ?.. Едва-ли удастся сомкнуть глаза мнѣ въ эту ночь!..

Вся, вся ваша

К. Селицкая“.

— Пьеръ,— позвала она человѣка.— Завтра въ девять часовъ мосье Самсоновъ пріѣзжаетъ въ Парижъ. Вы поѣдете (возьмите ландо) на Gare d'Orlean встрѣтить его и скажете ему, что его комнаты готовы... Я, не забудьте прибавить этого, не совсѣмъ хорошо себя чувствую и потому осталась дома... Слышите?

Затѣмъ она приказала горничной разбудить себя въ восемь часовъ и легла въ постель. Хотя, если вѣрить ея письму, она бы должна была не смыкать глазъ въ эту ночь, но едва ея голова коснулась подушки, какъ она заснула крѣпко и разомъ... Даже и сновъ Калерія Алексѣевна не видѣла, до того чиста и спокойна была ея совѣсть. Непонятно, почему такой сонъ — называютъ сномъ праведныхъ. Обыкновенно крѣпче и безпробуднѣе всего спятъ отъявленные грѣшники. А ей, Селицкой, нуженъ былъ именно такой сонъ. Помилуйте, безсонная ночь оставила бы блѣдность на ея лицѣ, утомленіе въ глазахъ и усталость въ тѣлѣ... Вѣки-бы ея казались опухшими, и голова-бы не такъ была свѣжа, а полководцу наканунѣ генеральнаго сраженія — она всего нужнѣе...

Вас. И. Немировичъ-Данченко.

(Продолженіе слѣдуетъ).

---

* * *

Есть въ глубинѣ души тотъ уголокъ священный,
Куда нескромный взоръ во вѣкъ не проникалъ:
То храмъ, гдѣ теплится, какъ вѣчность, неизмѣнный,
Неясный, робкій свѣтъ божественныхъ началъ.

Въ минуты тяжкихъ думъ, когда всю жизнь былую
Клянешь неистово, не зная, что́ начать,
Въ тотъ уголокъ святой уходишь зачастую
И почерпаешь силъ, и вѣруешь опять.

Такъ старый дубъ-гигантъ, вѣка переживая,
Корнями жадно пьетъ цѣлебный сокъ земли
И не страшны ему ни громъ, ни ночь глухая,
Ни грозный буреломъ, летящій издали.

В. Умановъ-Каплуновскій.

ДВѢ СЛАВЯНСКІЯ ПОВѢСТИ:

«ПАНЪ ТАДЕУШЪ» и «ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ» [1]).

Когда въ исторіи двухъ родственныхъ племенъ борьба получаетъ острый характеръ, съ ея жертвами, усиліями, нетерпимостью расовой и государственной вражды,—то все, что составляетъ общее достояніе: сродство душевныхъ свойствъ, близость языка и культурнаго быта, сокровенные изгибы психической организаціи оттѣсняются на задній планъ: о нихъ никто не говоритъ, точно будто дѣло идетъ о двухъ національностяхъ, проникнутыхъ самыми несовмѣстимыми элементами.

Время идетъ и многое излечиваетъ,—увы! далеко не все. Оно помогаетъ однако внутреннему, задушевному процессу пониманія. Есть такая сфера, свѣтлая и радостная, гдѣ не только можно отбросить все непріятное и тревожное, но слѣдуетъ это сдѣлать, если мы хотимъ насладиться произведеніями творчества, рожденными среди народа, родственнаго намъ. Такое пониманіе, такое безкорыстное и сочувственное пользованіе проявленіями генія останутся навсегда; не могутъ быть ни омрачены, ни уничтожены никакими дальнѣйшими вспышками политической, соціальной, религіозной или расовой борьбы.

Въ этомъ дѣлѣ мы вправѣ воспользоваться преимуществами нашего положенія. Не слѣдуетъ преувеличивать своихъ умственныхъ качествъ; но, если справедливо то, что иностранцы признали за русской интеллигенціей—способность общечеловѣческаго пониманія, то къ кому же и къ чему болѣе великодушно и пріятно было бы примѣнить это драгоцѣнное свойство, какъ не къ художественной литературѣ того славянскаго народа, который можетъ, безъ ложной гордости, сказать, что обладаетъ, сравнительно съ другими западными славянскими народностями, богатою изящною литературою? И она давно ждетъ отъ русской критики болѣе серьезнаго изученія и болѣе сочувственнаго пониманія.

[1]) Читано первоначально въ Москвѣ, въ «Обществѣ любителей россійской словесности», потомъ въ С.-Петербургѣ, въ пользу «Р. К. Благотворительнаго общества».

Родство языка и культурной жизни всегда возьмутъ свое, особенно, если развитіе идей и образовъ, въ литературѣ двухъ родственныхъ народовъ, проходили, въ общихъ чертахъ, сходную эволюцію, при всей рѣзкой разницѣ политическихъ и общественныхъ стремленій и событій.

Я долженъ буду сейчасъ же употребить одинъ изъ тѣхъ терминовъ литературной исторіи нашего вѣка, который при всей своей растяжимости, при всемъ отсутствіи въ немъ научной опредѣленности, еще до сихъ поръ обязателенъ и сразу настраиваетъ слушателя или читателя на извѣстный складъ понятій. Это—такъ называемый романтизмъ. Мы не будемъ, конечно, въ данную минуту, подвергать этотъ терминъ болѣе строгому анализу. Его недостаточность и часто даже старомодность чувствуются уже очень многими. Для насъ важно объединить этимъ терминомъ литературное движеніе, одинаково охватившее поэтическое творчество двухъ славянскихъ народовъ, польскаго и русскаго. Если отбросить чисто патріотическую окраску и прослѣдить наростаніе литературнаго творчества въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. движеніе, сказывающееся въ томъ, какъ творчество вбирало въ себя жизнь все глубже и ярче, то окажется, если не полное сходство и еще менѣе тождество — то, по крайней мѣрѣ, весьма знаменательная параллельность въ развитіи поэтическаго творчества у обоихъ народовъ. И даже тамъ, гдѣ различіе тона, колорита, особенностей содержанія, полетовъ фантазіи и лирическаго чувства слишкомъ бросается въ глаза, эти противоположности, опять-таки, въ свою очередь, даютъ поводъ показать, какъ извѣстный, опредѣленный видъ поэтическихъ произведеній шелъ по сходному пути, развивался въ направленіи отъ условности и подражательности къ своеобразной обработкѣ жизни, все къ большей и большей свободѣ творческаго духа.

Я выбираю для своей бесѣды двѣ славянскихъ повѣсти. Одна такъ и называется повѣстью, въ подлинникѣ; другая пріобрѣла обозначеніе романа; но она по складу своему, размѣру, содержанію и колориту можетъ быть также, безъ всякой натяжки, названа этимъ кореннымъ русскимъ терминомъ: «повѣсть». Въ польскомъ языкѣ, слово это положительный синонимъ романа, и, какъ знающимъ польскій языкъ извѣстно, слово романистъ переводится по польски выраженіемъ соотвѣтственнымъ «повѣствователь» («powiesciopisarz»).

Литературная критика второй половины нашего вѣка стала усердно заниматься всѣмъ тѣмъ, что личная судьба писателя, его душевный складъ, направленіе идей и художническіе вкусы вносятъ въ исторію его творчества. И, въ этомъ смыслѣ, судьбѣ угодно было, чтобы авторы двухъ нашихъ славянскихъ повѣстей принадлежали къ одной литературной эпохѣ. Они родились въ одномъ государствѣ, ихъ первая молодость прошла отчасти въ двухъ русскихъ столицахъ. Они не только знали лично другъ друга, но были, одно время, въ искреннихъ пріятельскихъ отношеніяхъ.

И расцвѣтъ ихъ творческаго генія произошелъ, какъ разъ, въ теченіе одного и того же десятилѣтія. Если русская повѣсть писалась нѣсколько лѣтъ, и была задумана и начата въ первыхъ двадцатыхъ годахъ, то кончена она именно тогда, когда польская повѣсть была, въ свою очередь, задумана и авторъ приступилъ къ ея осуществленію.

Быть можетъ, въ исторіи нашей новѣйшей литературы нѣтъ болѣе плѣнительнаго и интереснаго момента для сравнительнаго изученія психологіи творчества двухъ геніально-одаренныхъ поэтовъ славянской расы, на почвѣ ихъ взаимнаго сближенія, въ тотъ періодъ ихъ жизни, когда великодушныя идеи, поэтическіе замыслы, любовь къ литературѣ, способность взаимнаго пониманія не были омрачены всѣмъ тѣмъ, что политическая и расовая борьба вноситъ горькаго и разъединяющаго!...

Вы мнѣ позволите, въ этой бесѣдѣ, сдѣлать главнымъ предметомъ ея: произведеніе, которое въ творчествѣ родственнаго намъ племени занимаетъ совершенно особенное положеніе, считается драгоцѣннымъ достояніемъ всей польской литературы, въ которомъ національныя свойства, природа и люди, бытъ и главныя психическія черты народнаго характера схвачены съ такой силой и яркостью таланта, какъ ни въ одномъ польскомъ поэтическомъ произведеніи за все остальное время, отдѣляющее эпоху тридцатыхъ годовъ отъ настоящей минуты.

Творчество Мицкевича и Пушкина, при всѣхъ ихъ своеобразныхъ особенностяхъ, обыкновенно причисляютъ къ періоду романтизма. А между тѣмъ, въ обоихъ ихъ эпическихъ произведеніяхъ, въ «Панѣ Тадеушѣ» и «Евгеніи Онѣгинѣ» мы видимъ, какъ все, что есть и должно быть въ поэтическомъ воспроизведеніи дѣйствительности цѣльнаго, правдиваго, яркаго безъ преувеличенія, реальнаго, въ высшемъ смыслѣ слова, сказалось впервые такъ смѣло, съ такой чудесной простотой и правдой, съ такимъ освобожденіемъ отъ того, что разнузданный романтизмъ первой четверти вѣка внесъ въ изящную литературу фальшиваго, трескучаго, лишеннаго жизни, болѣзненно-субъективнаго.

Если въ Пушкинѣ, къ эпохѣ созиданія «Евгенія Онѣгина», душевныя силы пришли въ равновѣсіе, и онъ достигъ художнической гармоніи, укрѣпился въ свойствахъ, какія когда-то ознаменовали собою разцвѣтъ эллинскаго духа, вполнѣ овладѣлъ здоровымъ отношеніемъ къ жизни и искусству, то въ его товарищѣ по музѣ, сверстникѣ, и—одно время—пріятелѣ, Мицкевичѣ, какъ разъ къ тому году, съ котораго началась его творческая работа надъ «Паномъ Тадеушомъ», душевное равновѣсіе покачнулось. Онъ сталъ все сильнѣе поддаваться мистическимъ настроеніямъ, и вскорѣ послѣ того, какъ былъ написанъ послѣдній стихъ его повѣсти, онъ уже безповоротно принадлежалъ мистицизму. Это прямо вытекаетъ изъ всѣхъ данныхъ его біографіи. Въ самыхъ лучшихъ трудахъ, посвященныхъ творчеству Мицкевича, и спеціально «Пану Тадеушу, мы находимъ картины

душевной работы, толкавшей его, все глубже и глубже, въ такія настроенія внутренняго чувства, которыя обыкновенно, и совершенно основательно, считаются трудно совмѣстимыми съ творчествомъ, такъ проникнутымъ любовью къ живой жизни, какъ мы это находимъ на каждой страницѣ «Пана Тадеуша».

Припомнимъ въ какихъ условіяхъ и въ какой обстановкѣ приступилъ Мицкевичъ къ своему труду. Это было въ началѣ тридцатыхъ годовъ, послѣ возстанія и послѣ іюльской революціи. Мицкевичъ жилъ въ Парижѣ, хотя и не оффиціальнымъ эмигрантомъ, но среди эмиграціи, съ которой его связывали тѣсныя узы. Въ его жизни и психіи это былъ моментъ несомнѣннаго поворота. Съ родиной пришлось разорвать, и тѣмъ страстнѣе стремился онъ къ ней душой. Вступительныя слова «Пана Тадеуша», сдѣлавшіяся знаменитыми въ польской лирикѣ, проникнуты пламенной любовью, и къ общей родинѣ, и къ мѣсту своего рожденія, къ тому уголку живописной Литвы, гдѣ прошли годы его дѣтства. Положеніе Мицкевича въ Парижѣ, въ то время, было крайне тяжелое. Съ ролью изгнанника или добровольнаго эмигранта, какъ хотите, связана была и для него и для всѣхъ его товарищей по эмиграціи, потеря того, что пріобрѣтено было цѣлымъ десятилѣтіемъ общественной и литературной дѣятельности. Здоровье также начинало уже расшатываться. Матеріальная нужда сказывалась, какъ разъ, въ этотъ періодъ, быть можетъ, сильнѣе, чѣмъ когда-либо, за все его пребываніе во Франціи. Кто поинтересовался бы познакомиться со всѣми этими подробностями жизни поэта въ Парижѣ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, можетъ найти обстоятельный и строго провѣренный очеркъ въ капитальномъ сочиненіи варшавскаго критика, Петра Хмѣлевскаго, посвященномъ Мицкевичу [1])

Но не одна матеріальная нужда угнетала поэта. Онъ относился къ ней съ тѣмъ подъемомъ духа, какой отличалъ его во всю его жизнь. Вообще, это былъ типъ человѣка духовнаго, употребляя это слово не въ его особенномъ значеніи. Если романтизмъ позволительно считать и синонимомъ самоотверженныхъ идеальныхъ стремленій, то Мицкевичъ былъ, конечно, величайшимъ изъ романтиковъ. Его, въ моментъ зарожденія идеи «Пана Тадеуша», стало все сильнѣе мучить и недовольство своими товарищами по эмиграціи. Онъ скорбѣлъ отъ сознанія, что жизнь ихъ узка, мельчаетъ, что является рознь и столкновенія личныхъ притязаній и недовольствъ. Въ его корреспонденціи найдутся доказательства того, какъ ему тяжко было видѣть, что кругомъ происходитъ многое, что совсѣмъ не отвѣчало высотѣ его патріотическихъ чувствъ и стремленій къ отысканію высшей правды. И вотъ эта-то черта: исканіе той истины, которая должна все разрѣшить, освѣтить и примирить, въ Мицкевичѣ,

---

[1]) Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki. 2 tomy. Warszawa. 1886.

не смотря на чисто субъективный оттѣнокъ, не смотря на особенности расовой психіи, представляетъ собою нѣчто необыкновенно родственное съ духовно-нравственнымъ процессомъ въ душѣ Гоголя, нѣсколько лѣтъ позднѣе, какой и на нашихъ глазахъ произошелъ въ сознаніи другого великаго русскаго писателя, который дошелъ до рѣшительнаго и полнаго отрицанія смысла и моральнаго достоинства въ какомъ-бы то ни было художническомъ творчествѣ, до чего Мицкевичъ, и въ самый разгаръ своего мессіанизма не доходилъ.

Обыкновенно въ біографіяхъ писателей и художниковъ стараются показать прямую связь между обстановкой, въ какой творилось извѣстное произведеніе, и самымъ продуктомъ творческой работы. Мы видимъ въ исторіи созиданія «Пана Тадеуша», что мистицизмъ, начавшій, какъ разъ въ это время, овладѣвать душою Мицкевича, не помѣшалъ ему создать самое поэтическо-реальное произведеніе, какое когда либо выходило изъ-подъ его пера. Точно также и личныя обстоятельства, тревоги, отсутствіе матеріальнаго и нравственнаго довольства, все это, на протяженіи тѣхъ мѣсяцевъ, которые ушли на созданіе «Пана Тадеуша», представляетъ собою, повидимому, самыя неблагопріятныя условія для свободнаго творчества.

Позвольте вамъ припомнить, въ крупныхъ чертахъ, когда и какъ писалась эта литовская повѣсть.

Первоначальный замыселъ поэмы возникъ въ душѣ Мицкевича подъ воздѣйствіемъ страстной любви къ родинѣ и тоски по ней. Есть нѣкоторое основаніе предполагать, что поэма Гете «Германъ и Доротея» дала толчокъ мыслямъ поэта о самомъ родѣ реально-поэтической повѣсти, принявшей вскорѣ такіе обширные размѣры и такой яркій, жизненный колоритъ. Мицкевичъ попалъ въ Познани, уже считая себя эмигрантомъ, въ деревню стараго пріятеля, графа Іосифа Грабовскаго. И тамъ, по нѣкоторымъ свидѣтельствамъ, написано было то воззваніе къ родинѣ, которымъ начинается вступленіе къ первой пѣсни. Приведу эти четыре стиха въ переводѣ Берга, который считается лучшимъ изъ переложеній на русскій языкъ «Пана Тадеуша».

„Отчизна милая! подобна ты здоровью:
Тотъ истинной къ тебѣ исполнится любовью,
Кто потерялъ тебя... Въ страданьяхъ и борьбѣ,
Отчизна милая, я плачу по тебѣ“.

Осенью 1832 года Мицкевичъ переѣхалъ въ Парижъ. Онъ занимался печатаніемъ своихъ «Дзядовъ» и сочиненій пріятеля, познанскаго поляка, поэта Стефана Гарчинскаго. Вокругъ него сложился тѣсный кружокъ эмигрантовъ. Изъ нихъ ближе къ нему по литературнымъ интересамъ стояли: Богданъ Залѣсскій и Стефанъ Витвицкій. Къ нему, въ его первоначальную маленькую тѣсную квартиру, ходило множество народа, на-

чиная съ наполеоновскаго генерала Дембинскаго, вплоть до французовъ, въ родѣ, напримѣръ, Монталамбера. Происходили нескончаемые разговоры, пренія, иногда очень задорныя схватки. Мицкевичъ мало принималъ въ нихъ участія; но когда говорилъ, то, разумѣется, держался общаго возбужденнаго тона патріотовъ-изгнанниковъ. Внутри же души онъ тяготился многимъ, чѣмъ жили его земляки. Его идеалы парили гораздо выше, уносили его въ надземную область обще-человѣческихъ и религіозно-нравственныхъ идеаловъ. Понятно, что въ такой квартирѣ, которая превращалась ежедневно въ клубъ, работать было не легко. И только къ концу 1832 года онъ фактически приступилъ къ своей поэмѣ. Изъ друзей, жившихъ внѣ Франціи, ближе всего къ нему стоялъ поэтъ Одынецъ, надолго переживщій его, считавшійся всегда какъ-бы живымъ и самымъ авторитетнымъ свидѣтельствомъ всего того, что связано съ именемъ и творчествомъ Мицкевича. Для насъ, русскихъ, цѣнно то, что переводчикъ «Пана Тадеуша», Николай Васильевичъ Бергъ, былъ съ Одынцемъ въ дружескихъ отношеніяхъ, высоко чтилъ его характеръ и пользовался его разсказами, для болѣе интимнаго ознакомленія съ Мицкевичемъ. Онъ посвятилъ свой переводъ, вышедшій въ Варшавѣ въ 1875 г., Одынцу и посвященіе это написано прочувствованными польскими стихами, гдѣ онъ прямо говоритъ, что имя Одынца: «уноситъ его въ высь, сообщаетъ ему вдохновеніе и напояетъ напиткомъ небесной святыни».

Итакъ, въ началѣ декабря 1832 года, засѣлъ Мицкевичъ за «Пана Тадеуша», и, въ письмѣ отъ 8 декабря новаго стиля, извѣстилъ Одынца, жившаго въ Дрезденѣ, о томъ, что: «принялся писать сельскую поэму вродѣ «Германа и Доротеи»... и уже накропалъ тысячу стиховъ». И сейчасъ-же пошли всякаго рода непріятности и тревоги, мѣшавшія работѣ. Такъ, напримѣръ, Мицкевичъ долженъ былъ доставить издателю Еловицкому переводъ байроновскаго «Гяура». Рукопись пропала, и онъ принужденъ былъ заново ее написать. Только къ веснѣ 1833 года могъ онъ приняться опять за «Тадеуша» и довольно скоро кончилъ вторую и третью пѣсни.

Въ письмѣ къ Одынцу, Мицкевичъ говоритъ: «Опять воротился къ сельской поэмѣ; она составляетъ теперь любимое мое дѣтище. Пишу—и мнѣ кажется, что я въ Литвѣ». Тому же Одынцу, въ маѣ 1833 г., онъ жалуется на нездоровье и въ припискѣ извѣщаетъ: «Кончилъ третью пѣсню «Тадеуша»... До сихъ поръ мнѣ довольно хорошо удается; только бы не такія помѣхи, только бы имѣть хоть одну недѣлю прошлогодней тишины». Въ томъ же маѣ, мы находимъ, опять въ письмѣ къ Одынцу, цѣлую тираду, показывающую, какъ Мицкевичъ, отдаваясь творческой работѣ такого художественно-реальнаго характера, уходилъ все глубже въ мистицизмъ. Вотъ отрывокъ изъ этого письма: «Очень мнѣ понравилась та мысль Сенъ-Мартена — извѣстнаго мистика, — что послѣ таинственнаго

упадка духа, Богъ покрылъ его матеріей, какъ покрываютъ... пластыремъ обожженное тѣло, затѣмъ, чтобы вытянуть изъ него огонь, и что до тѣхъ поръ не закроются раны, пока душа человѣческаго рода не исцѣлится». Нѣсколько позднѣе, въ томъ же 1833 г., Мицкевичъ сообщаетъ Одынцу: «Читаю мало, больше все сочиненія Сенъ-Мартена», и далѣе: «На сколько могу урвать времени, стихотворствую. Много разныхъ замысловъ; но откладываю ихъ, пока не кончу «Тадеуша». Въ ближайшемъ къ тому письмѣ мы читаемъ: «Работаю довольно много; кромѣ разныхъ посторонннихъ случайныхъ писаній, кроплю мою поэму и кончилъ четвертую ея пѣсню. Живу тогда въ Литвѣ (это мѣсто уже приведено мною въ сокращеніи выше) въ лѣсахъ, корчмахъ, со шляхтой, жидами и т. д. Рѣдко, когда выхожу въ гости; постоянно гуляемъ и болтаемъ съ Витвицкимъ, моимъ близкимъ сосѣдомъ, иногда съ Залѣсскимъ. Если-бы не поэма, убѣжалъ бы изъ Парижа. Читаю мало; ѣмъ теперь дома, въ полдень, по деревенски, и едва имѣю когда надобность заглянуть въ городъ». И позднѣе, въ письмахъ, все къ тому же Одынцу въ Дрезденъ, мы находимъ краткія указанія, какъ писался «Тадеушъ». Вдругъ работа была совсѣмъ прервана. Гарчинскій опасно заболѣлъ и долженъ былъ поѣхать въ Швейцарію. Мицкевичъ полетѣлъ къ нему, сдѣлался его сидѣлкой вмѣстѣ съ извѣстной патріоткой Клавдіей Потоцкой, перевозилъ его изъ города въ городъ, подвигаясь къ югу Франціи. Такъ съ разными непріятностями, доходившими почти до трагизма, добрались они до Авиньона, гдѣ Гарчинскій и умеръ. Мицкевичъ, потерявшій столько времени, настрадавшійся, и еще больше въ денежныхъ тискахъ вернулся въ Парижъ, въ свою укромную квартиру и сталъ опять работать надъ «Тадеушемъ» къ ноябрю 1833 года. Онъ самъ въ письмѣ къ Одынцу говоритъ, что поѣздка его прервала работу: «На бѣду свою не знаю, пишетъ онъ, буду-ли въ состояніи складывать стихи дальше. Во всякомъ случаѣ, у меня есть уже три четверти поэмы, самой длинной, какую я когда-либо написалъ». Отъ 13 ноября онъ пишетъ: «Пятую пѣснь «Тадеуша» окончилъ; остается еще три». (Тогда онъ предполагалъ, что ихъ будетъ всего восемь, а окончательно вышло двѣнадцать пѣсенъ или книгъ, какъ они называются въ настоящее время во всѣхъ хорошихъ изданіяхъ). «Отрывки тебѣ трудно прислать, по нимъ ничего не поймешь, все равно, какъ бы по нѣсколькимъ листамъ, вырваннымъ изъ Вальтеръ-Скотта (извини за нескромное сравненіе), а цѣлое довольно-таки обширно; подожди, когда выйдетъ въ свѣтъ». И позднѣе, въ началѣ 1834 г., мы читаемъ слѣдующее мѣсто, весьма характерное для его тогдашняго душевнаго настроенія, въ связи съ работой надъ «Паномъ Тадеушемъ»: «Теперь ты начинаешь жить серьезно. Все-таки, ты счастливѣе другихъ, такъ какъ въ твоемъ положеніи мужа и въ твоихъ религіозныхъ чувствахъ найдешь оборону и отраду. Не бывъ никогда очень дурнымъ, легче сдѣлаться весьма добрымъ. И вѣрь

мнѣ, что это есть основа счастія, и кромѣ нашихъ собственныхъ винъ, нѣтъ никакого другого истиннаго несчастія. Не оглядываться ни на кого, только на себя, мало хлопотать о свѣтѣ и людяхъ — вотъ единственная наука, которую легко повторять, но ея важность даетъ себя чувствовать поздно, въ полномъ ея значеніи. Я здѣсь живу совершенно одинокимъ, съ людьми мнѣ все труднѣе, и чѣмъ меньше ихъ вижу, тѣмъ мнѣ лучше. Убѣждаюсь я въ томъ, что слишкомъ много жилъ и работалъ для свѣта, для пустыхъ похвалъ и мелкихъ цѣлей, теперь же сдается мнѣ, что никогда уже больше не возьмусь за перо для вздору. Только то дѣло достойно чего-нибудь, которое можетъ человѣка исправить и научить мудрости. Можетъ быть и «Тадеуша» забросилъ бы, если бы не былъ такъ близко къ концу, а я именно вчера и кончилъ его. Огромныхъ двѣнадцать пѣсенъ. Много посредственнаго, много и хорошаго. Будешь самъ читать. Множество предстоитъ работы съ переписываніемъ. Что тамъ самое лучшее, это картины, списанныя съ природы нашего края и нашихъ домашнихъ обычаевъ».

Вотъ тѣ знаменитыя подлинныя слова поэта, гдѣ заключается его собственный приговоръ надъ «Паномъ Тадеушемъ». Ихъ обыкновенно приводятъ всѣ критики и біографы, и русскій переводчикъ Бергъ, приведя ихъ въ своемъ предисловіи, находитъ, что такая оцѣнка «наиболѣе вѣрная, честная и рѣшительная». На это я позволю себѣ сказать, что, если эта оцѣнка честна и рѣшительна, то вѣрной считать ее нельзя. Она слишкомъ скромна и недостаточна. Если-бъ въ «Панѣ Тадеушѣ» и нашлось не мало мѣстъ, менѣе отдѣланныхъ, или прозаичныхъ, или написанныхъ въ тонѣ, не отвѣчающемъ высотѣ творческаго полета множества другихъ мѣстъ—то, все-таки же, слишкомъ было бы строго и прямо несправедливо сказать, что въ этомъ высоко-даровитомъ произведеніи «есть и посредственное, есть и хорошее». Будь оно такъ, то тотъ же русскій переводчикъ, разсказывающій читателю, какъ и когда имъ былъ сдѣланъ переводъ «Тадеуша», не былъ бы до такой степени проникнутъ любовью къ этой поэмѣ, искреннимъ чувствомъ ея красотъ, задушевнымъ желаніемъ передать эти красоты какъ можно вѣрнѣе и образнѣе.

Мы видимъ, стало быть, что «Панъ Тадеушъ», писался въ теченіе съ небольшимъ года, съ конца 32 до начала 34. И въ этотъ періодъ парижская жизнь Мицкевича была обставлена совсѣмъ не такъ, какъ бы желательно было въ интересахъ творческой работы. Кружокъ эмигрантовъ тревожилъ и волновалъ его. Онъ искалъ, куда бы ему удалиться для своего вдохновеннаго труда. Сначала онъ напросился на житье къ одному земляку, Домейко, жившему около Люксамбургскаго сада, въ домикѣ съ окнами на всѣ четыре стороны; но тамъ было уже слишкомъ тѣсно. Другой пріятель, Стефанъ Занъ, нашелъ ему болѣе удобную квартиру на улицѣ св. Николая Антенскаго, съ двумя, тремя просторными

комнатами. Тамъ Мицкевичъ и предался своему «Тадеушу». Однако и въ этой квартирѣ онъ не ушелъ отъ постоянной компаніи своихъ земляковъ. Разсказываютъ, что онъ ухитрялся проводить цѣлые дни въ одной изъ комнатъ, въ уголкѣ, въ то время, какъ его земляки приходили, уходили, спорили, кричали. Политическія бесѣды смѣнялись, однако, разсказами о родинѣ, о литовскихъ урочищахъ, о похожденіяхъ дѣтства и юности въ тѣхъ мѣстахъ, которыя особенно были дороги Мицкевичу: Новогрудокъ, Вильно, Гродно. Онъ безпрестанно просилъ ихъ разсказывать ему какъ можно больше о стародавней шляхетской жизни. Въ этомъ есть, опять-таки, черта весьма сходная съ Гоголемъ, который такъ долго упрашивалъ своихъ родныхъ и знакомыхъ присылать ему заграницу все, что они вспомнятъ про Малороссію, а потомъ и все вообще, характерное о Россіи. Но Мицкевичъ былъ поставленъ въ гораздо болѣе выгодныя условія. Товарищи эмигранты приносили съ собою въ разговорахъ и воспоминаніяхъ воздухъ родины и—на этотъ разъ—дѣятельно помогали творчеству поэта.

Извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ въ половинѣ февраля 1834 г. пріятели собрались, по обыкновенію, въ квартиру Мицкевича и цѣлой кучей сидѣли въ гостиной — и вдругъ отворяется дверь, выходитъ поэтъ съ возбужденнымъ лицомъ и объявляетъ: «Хвала Богу, сейчасъ подписалъ я подъ «Паномъ Тадеушемъ» великій «finis»!

Всѣ крикнули «хвала Богу», «виватъ» и принялись цѣловать и поздравлять поэта. Потомъ, на другой-же день, была отслужена обѣдня и всѣмъ кружкомъ они отобѣдали въ Пале-Роялѣ. Началось чтеніе поэмы. И тутъ товарищи эмигранты, отвѣчая на приглашеніе самого поэта, помогали ему своими указаніями, сообщали характерныя литовскія фамиліи. Иное даже порицали, въ особенности то, что носитъ слишкомъ сатирическій характеръ, напр. въ изображеніи той кокетки, съ которой мы познакомимся, когда дойдемъ до содержанія «Пана Тадеуша». То, что окончаніе поэмы было ознаменовано заказомъ благодарственной церковной службы, совершенно отвѣчаетъ мистическому настроенію, какимъ вообще былъ окрашенъ кружокъ его ближайшихъ пріятелей. Извѣстно, что у Мицкевича, объ эту именно пору, собирались для пѣнія молитвъ, и онъ не переставалъ повторять друзьямъ, что спасеніе не въ революціонныхъ комитетахъ, а въ пересозданіи самихъ себя, въ томъ, чтобы: «пробудить въ разстроенныхъ, больныхъ сердцахъ уснувшую вѣру, надежду и любовь». Это подлинныя слова изъ письма къ его другу, Богдану Залѣсскому.

И самый Парижъ, куда польскіе бѣглецы стекались съ такими горячими и фантастическими надеждами, вовсе не привлекалъ Мицкевича; напротивъ, и французская политическая жизнь непріятно тревожила его, хотя онъ и стоялъ отъ нея въ сторонѣ. Онъ чувствовалъ, что тогдашняя оппозиціонная партія, на словахъ сочувствуя польскимъ стремленіямъ, въ

сущности, добивалась своихъ, домашнихъ цѣлей. Что таково именно было настроеніе Мицкевича, доказываютъ слова вступленія къ «Пану Тадеушу», которое русскій переводчикъ приводитъ далеко не цѣликомъ, по такъ называемымъ «независящимъ» обстоятельствамъ.

Вотъ они:

„О чемъ тутъ будешь пѣть, средь вѣчной суеты
Парижскихъ мостовыхъ, лжи, грязи и проклятій,
Неистощимыхъ слезъ и воплей меньшихъ братій?
О, горе, горе намъ, что изъ родной земли
Мы головы свои въ чужбину занесли,
На вѣкъ покинувши родимые пороги!
Что въ чужѣ мы нашли? Такія-же тревоги,
И здѣсь намъ не везетъ, и здѣсь вѣдь, что ни шагъ,
Какъ и на родинѣ, шпіонъ, измѣнникъ, врагъ,
И здѣсь мы всякому своей бѣдою чужды,
И здѣсь до нашихъ слезъ Европѣ мало нужды".

«Панъ Тадеушъ» былъ проданъ Мицкевичемъ книгопродавцу Еловицкому за четыре тысячи франковъ. Какая скромная сумма, если сравнить ее съ тѣмъ, что его собратъ и сверстникъ, авторъ «Евгенія Онѣгина», получалъ въ разцвѣтъ своей славы! Съ апрѣля по конецъ іюля, того-же года, «Панъ Тадеушъ» былъ изданъ въ Парижѣ подъ просмотромъ самого автора. Вся европейская литература и славянско-литературный міръ обогатились произведеніемъ, про которое можно сказать, что оно назрѣло и вылилось у Мицкевича «не благодаря», а скорѣе «вопреки» множеству препятствій и духовнаго и матеріальнаго свойства, и въ такой, сравнительно, короткій срокъ. Припомнимъ, что «Евгеній Онѣгинъ» писался почти цѣлое десятилѣтіе и, что онъ, по размѣру своему, не составляетъ и половины «Пана Тадеуша». Сторонники преувеличеннаго культа формы, восхищающіеся тѣмъ напр., какъ Флоберъ проводилъ цѣлые дни надъ выдавливаніемъ изъ себя трехъ, четырехъ эпитетовъ, будутъ пожалуй скандализованы фактомъ такой быстрой и, вмѣстѣ съ тѣмъ, несомнѣнно, творческой работы, въ которой и форма, во множествѣ мѣстъ, плѣняетъ своей яркостью, силой, граціей и задушевной простотой.

О творчествѣ Мицкевича нельзя начать рѣчи безъ того, чтобы не сказать, хоть нѣсколько словъ, объ общихъ идейно-литературныхъ вліяніяхъ, которымъ подпали самые крупные таланты первой четверти вѣка; двумя изъ нихъ, Мицкевичемъ и Пушкинымъ, мы и занимаемся въ эту минуту.

Избавлю васъ отъ общихъ соображеній, обязательныхъ въ каждой исторіи литературы, даже во всякомъ порядочномъ учебникѣ. Вопросъ объ извѣстныхъ, такъ сказать, установленныхъ вліяніяхъ, я не имѣю намѣренія ни заново задѣвать, ни обработывать съ другихъ, болѣе науч-

ныхъ точекъ зрѣнія. Критики, занимавшіеся Мицкевичемъ и спеціально «Паномъ Тадеушемъ», каковы напр. упомянутый мною Петръ Хмѣлевскій, графъ Станиславъ Тарновскій, Семеньскій, Цибульскій, и, затѣмъ, гг. Гуго Затей, Нерингъ, Александръ Пехникъ, (взявшій предметомъ своего этюда параллель между «Паномъ Тадеушемъ» и «Германомъ и Доротеей») наконецъ, два новѣйшихъ изслѣдователя поэмы Мицкевича, авторы книгъ, гдѣ исчерпываются вопросы эстетическіе и психологическіе — докторъ Бигельейзенъ и г. Гостомскій, выпустившій свою книгу въ концѣ текущаго года — всѣ эти критики достаточно выяснили связь творческой дѣятельности, идей и литературнаго направленія Мицкевича съ главнымъ русломъ романтизма и, въ отдѣльности, съ такими поэтами, какъ Шиллеръ и Байронъ, отчасти, Гёте. Мы имѣемъ въ нашей критической литературѣ трудъ соотечественника, одинаково принадлежащаго польскому и русскому обществу, В. Д. Спасовича, гдѣ Мицкевичу авторъ удѣлилъ одинъ изъ значительныхъ отдѣловъ. Въ немъ найдется даровитый и безпристрастный анализъ того, какъ сложилась творческая душа Мицкевича: тамъ показана связь и съ западными поэтами и съ тѣмъ, что было родственнаго ему въ нашей изящной литературѣ. Скажу мимоходомъ, что указанія на отдѣльныя оцѣнки В. Д. Спасовича я буду дѣлать въ цитатахъ, переведенныхъ съ польскаго изъ его книги, вышедшей въ Варшавѣ, въ 1885 г. и заключающей въ себѣ почти половину русскаго труда гг. Спасовича и Пыпина по исторіи славянскихъ литературъ. Эта половина была переведена и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ комментирована г. Бемъ [1]). У г. Спасовича нашлись, между прочимъ, подробности, чрезвычайно цѣнныя для насъ и касающіяся задушевной пріязни, какая существовала, въ концѣ 20-хъ годовъ, между Мицкевичемъ и Пушкинскимъ кружкомъ. Припомнимъ, что «Сонеты» Мицкевича и «Конрадъ Валленродъ», изданный первоначально въ Петербургѣ, распространялись въ переводахъ одновременно съ оригиналами. Въ Пушкинскомъ кружкѣ, находившемся подъ вліяніемъ байронизма, Мицкевича считали также крайнимъ байронистомъ, и, въ знаменитомъ обращеніи русскаго поэта Евгенія Боратынскаго, мы читаемъ такіе стихи, приводимые г. Спасовичемъ изъ «Русскаго Архива» 1877-го года

„Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты Богъ“.

Это четверостишіе, вылившееся съ такой искренностью изъ устъ даровитаго и много думавшаго русскаго поэта, даетъ, кажется мнѣ, вѣрную ноту того, какъ и намъ слѣдуетъ относиться къ байронизму Мицкевича, точно также, какъ и къ байронизму Пушкина.

[1]) W. Spasowicz. Dzieje Literatury Polskei. Wydanie drugie przejrzal i poprawil A. G. Bem. Warszawa. 1886.

Въ душѣ Мицкевича, какъ человѣка, способнаго на высшее творчество, съ сильной склонностью къ спиритуализму, къ большой экзальтаціи, даже къ густо мистическому настроенію религіознаго чувства, бокъ о бокъ со всѣмъ этимъ крылось и назрѣвало нѣчто другое, какъ-бы прямо противоположное, необычайно-яркое чувство жизни, призваніе—схватывать черты народнаго быта съ настоящимъ эпическимъ чувствомъ и согрѣвать ихъ здоровой любовью къ той дѣятельности, которая была всего ближе къ нему. Да будетъ сказано, не въ обиду поклонникамъ британскаго пѣвца, что въ его двухъ поэмахъ, всего болѣе подходящихъ къ рубрикѣ «стихотворныхъ» повѣстей и романовъ—въ «Чайльдъ Гарольдѣ» и «Донъ-Жуанѣ», вы врядъ-ли найдете такіе-же точно вклады въ эпическо-реальное творчество девятнадцатаго вѣка, какіе будутъ вамъ попадаться въ каждой книгѣ «Пана Тадеуша». Внѣ самой личности Байрона, лучшія его произведенія имѣютъ, рядомъ съ обаятельнымъ стихомъ и порывами фантазіи, весьма спорныя объективно-творческія достоинства; между тѣмъ, какъ въ «Панѣ Тадеушѣ» вторженіе личности творца, хотя и существуетъ, но не играетъ первенствующей роли. Правда, въ той-же книгѣ г. Спасовича приведено основаніе: почему въ послѣдніе годы стало возможнымъ указывать на то, что Мицкевичъ въ исторію романтическаго героя своей повѣсти, Яцка Соплицы, вложилъ нѣкоторую долю собственной души, такъ что исповѣдь, сдѣланная, передъ смертью, этимъ богатыремъ поэмы, своему брату-судьѣ, заключаетъ въ себѣ мотивы, похожіе на исторію первой страстной любви Мицкевича. И при жизни его, и долго послѣ смерти, подробности эти держались втайнѣ до тѣхъ поръ, пока, въ началѣ 80-хъ годовъ, не появились въ печати письма Одынца и опубликованныя г-жей Духиньской признанія Генрики-Евы Анквичъ-Скарбекъ. Изъ этихъ признаній выходило, что Яцекъ—самъ Мицкевичъ; Ева—дочь стольника, предметъ бурной любви Соплицы—Генрика Анквичъ; а самъ стольникъ—графъ Анквичъ, который (такъ же, какъ и въ повѣсти, стольникъ) безцеремонно поддразнивалъ молодого шляхтича, т. е. Мицкевича, догадываясь о его любви къ дочери, разсказами о женихахъ, просившихъ ея руки.

Не будемъ возвращаться въ бо́льшихъ подробностяхъ и къ вліянію поэмы Гёте «Германъ и Доротея» на творчество пана Тадеуша. Ни прямого вліянія, ни настоящаго сходства въ двухъ этихъ произведеніяхъ нельзя отыскать, да и не слѣдуетъ трудиться надъ такой задачей. Если взять, въ отдѣльности, стиль поэмы Гёте, то, при всемъ его эпическомъ складѣ и правдивомъ колоритѣ, онъ все-таки носитъ на себѣ признаки умышленнаго подлаживанія къ старо-эллинскимъ формамъ. Послѣдній критикъ поэмы Мицкевича, г. Гостомскій, вѣрно замѣчаетъ, что въ эпическомъ произведеніи Гёте, не только въ общемъ колоритѣ, но и въ тонѣ рѣчей отдѣльныхъ лицъ, слишкомъ чувствуется греческій пошибъ: онъ указываетъ на то, напр., что нѣмецкая простая дѣвушка выражается почти

совершенно такъ, какъ бы выражалась древняя эллинка. Справедливо и такое замѣчаніе критика, что если Гёте въ сравнительно простомъ сюжетѣ, какъ «Германъ и Доротея», долженъ былъ, все-таки же, при всѣхъ своихъ реальныхъ стремленіяхъ, погрѣшить противъ настоящей правды, во имя эллинскаго духа, то Мицкевичъ и подавно, пожелай онъ держаться античнаго тона, долженъ-бы былъ уродовать содержимое своей шляхетской повѣсти, вмѣстѣ съ ея формой. «Благодаря тому, замѣчаетъ г. Гостомскій, что Мицкевичъ не подпалъ крайностямъ классическаго вкуса, онъ написалъ образцовое произведеніе, полное глубокой жизненной правды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, говорящее намъ роднымъ тономъ своеобразнаго стиля».

Съ гораздо бо́льшимъ основаніемъ можно найти въ нѣкоторыхъ эпическихъ пріемахъ «Пана Тадеуша» слѣды любовнаго чтенія «Иліады»: но, опять-таки, не въ содержаніи, не въ задушевности тона и описательной манерѣ, а въ нѣкоторыхъ условныхъ формахъ разсказа; главнымъ образомъ, въ повтореніи разъ установленныхъ формулъ, касающихся главныхъ дѣйствующихъ лицъ, въ особенности почетнаго лица на помѣщичьемъ съѣздѣ, въ домѣ судьи, подкоморія — почетная должность въ уѣздѣ. Такъ напримѣръ, каждый разъ, когда этотъ подкоморій садится на свое почетное мѣсто, за столомъ, или уходитъ изъ столовой, онъ, по стародавнему обычаю, кланяется всему обществу, начиная со старшихъ и кончая молодежью.

Ни байронизмъ, ни частое чтеніе «Иліады», ни знакомство съ сельской поэмой Гёте не даютъ ключа къ уразумѣнію и оцѣнкѣ «Пана Тадеуша». Это трудъ — въ высокой степени своеобразный, органическій, охватившій творческую душу поэта въ силу самыхъ глубокихъ ея симпатій и стремленій. Ему привольно было вернуться душою въ свою Литву; а полная свобода, въ смыслѣ внѣшнихъ условій—обработать свой замыселъ на патріотической почвѣ, подсказала ему, какъ-бы роковымъ образомъ, и содержаніе, и главныя фигуры, и тонъ, и моментъ. «Панъ Тадеушъ», безъ сомнѣнія, и патріотическая поэма, написанная человѣкомъ, который въ то время, какъ мы видѣли, стоялъ уже одной ногой и за тѣмъ порогомъ, гдѣ восторженныя вѣрованія и упованія окрашены въ колоритъ мистицизма. Эпилогомъ простой шляхетской исторіи, гдѣ нѣтъ никакихъ еще политическихъ событій, служитъ двѣнадцатый годъ, встрѣча и проводы наполеоновской арміи, (воскрешеніе надеждъ и мечтаній, таившихся съ конца прошлаго вѣка). Но этотъ эпилогъ (окрашенный болѣе тревожно въ цвѣтъ полумистическаго патріотизма) не отнялъ у повѣсти ея эпическаго склада, не помѣшалъ поэту, съ каждой новой пѣснью, все правдивѣе, ярче, достолюбезнѣе проникать въ тайники стародавней родной жизни, не помѣшалъ ему и быть, почти вездѣ, эпически безпристрастнымъ. Старопольскій бытъ, нравы и характеры, слабости темперамента и унаслѣдованные недостатки расы и культуры — все это изображено съ не-

обычайнымъ, по тому времени, художническимъ объективизмомъ. Мицкевичъ, одаренный отъ природы яркой фантазіей, хотѣлъ, прежде всего, быть правдивымъ, пользовался всѣмъ, чѣмъ могъ, изъ личныхъ воспоминаній и разсказовъ своихъ земляковъ, окружавшихъ его въ Парижѣ. Не пренебрегалъ онъ и тѣмъ, что литературныя произведенія его сверстниковъ, на тему стародавней польской жизни, могли доставить ему мотивовъ и подробностей. Такъ напр., пріятельское знакомство съ беллетристомъ его времени, графомъ Генрихомъ Ржевускимъ, отразилось, и весьма, на творчествѣ Мицкевича, когда онъ ушелъ въ работу надъ «Паномъ Тадеушемъ». Съ графомъ Ржевускимъ Мицкевичъ провелъ цѣлую зиму 1830 г., въ Римѣ, передъ тѣмъ, какъ переселиться въ Парижъ; тотъ былъ извѣстенъ своими устными разсказами изъ польской жизни, (которыми Мицкевичъ, въ извѣстной степени, и воспользовался), и, въ послѣдствіи, уступая настоянію Мицкевича, сталъ самъ писать свою, съ тѣхъ поръ знаменитую, книгу «Воспоминанія Северина Соплицы», выпущенную въ свѣтъ въ 1839 г. Въ ней, кромѣ имени «Соплица» (выбраннаго и Мицкевичемъ для своего романтическаго героя), встрѣчаются лица, попадающіяся и въ «Панѣ Тадеушѣ», какъ напр. Рейтанъ, Волотковичъ и другія фигуры. Связь устныхъ разсказовъ графа Ржевускаго съ содержаніемъ Пана Тадеуша признаетъ вполнѣ и г. Спасовичъ. Мицкевичъ взялъ изъ такихъ разсказовъ и главное происшествіе, служащее центромъ «Пана Тадеуша» т. е. тотъ «заѣздъ», въ которомъ, какъ въ кульминаціонномъ пунктѣ, выразился весь натискъ сосѣдской вражды двухъ фамилій. «Заѣздами» назывались въ Польшѣ и на Литвѣ самоуправныя экзекуціи, посредствомъ которыхъ отнимали у противной стороны имѣніе, и водворялись въ немъ; для чего обыкновенно набирали побольше мелкой шляхты, производившей настоящій вооруженный набѣгъ. Поэтому-то подзаглавіе поэмы и гласитъ: «Или послѣдній заѣздъ на Литвѣ». У г. Спасовича мы читаемъ: «Въ годы молодости Мицкевича такіе заѣзды принадлежали уже исторіи. Всего болѣе матеріала доставили поэту прямыя личныя воспоминанія. Все произведеніе сложилось изъ знакомыхъ ему образовъ и есть какъ-бы галлерея оригинальныхъ портретовъ, каковы: Асессоръ и Рейентъ, Гервазій и Протазій, уланы и усатая шляхта, чудакъ графъ (представитель рода графовъ Горешекъ), выдяющій себя романтическими повадками, и цимбалистъ Янкель. Испорченная и офранцуженная столичная кокетка, Телимена, навѣрно — одна изъ одесскихъ или петербургскихъ красавицъ большого свѣта; въ Зосѣ есть нѣсколько чертъ Марили (лицо героини изъ другого произведенія Мицкевича); хотя въ общемъ она написана слабѣе, въ условномъ тонѣ сельской простоты и наивности. Вообще, замѣчу, что изображеніе женскихъ характеровъ и типовъ не удавалось такъ, какъ бы слѣдовало, ни Мицкевичу, ни другимъ его великимъ сверстникамъ. Въ поэзіи, польская

женщина, до того времени еще не заняла мѣста, отвѣчающаго ея заслугамъ на почвѣ практической жизни. Никто еще изъ этихъ поэтовъ не создалъ, въ своихъ произведеніяхъ, сильной самостоятельной женщины, женщины-помѣщицы. Гораздо лучше мужскіе характеры; однако, всего менѣе типиченъ, въ этомъ рядѣ мужскихъ образовъ,—образъ самого Тадеуша — добраго, простодушнаго малаго, не отличающагося особенной умственной быстротой».

Переводчикъ на польскій языкъ книги г. Спасовича, г. Бемъ, не совсѣмъ согласенъ съ такимъ опредѣленіемъ малой типичности Тадеуша, и я нахожу, что онъ, въ извѣстной степени, правъ. Если принимать терминъ «типичность» за выраженіе не индивидуальныхъ, а общихъ чертъ душевнаго склада, расы, быта, или общественнаго наслоенія, то въ этомъ смыслѣ, номинальный герой поэмы Мицкевича, при всемъ томъ, что онъ, самъ по себѣ, не очень цвѣтистъ умомъ, талантами или другими качествами, представляетъ собою именно типическія черты средняго помѣщичьяго сына той эпохи, съ характерными признаками своего быта и своихъ шляхетскихъ традицій. Вотъ какъ Мицкевичъ говоритъ о немъ:

„Онъ былъ собой пригожъ и крѣпокъ и здоровъ,
Имѣлъ въ родню, въ Соплицъ, военные ухватки,
Еще дитёй игралъ съ ребятами въ лошадки,
А въ школѣ по ружьѣ и саблѣ тосковалъ
И надъ грамматикой отчаянно зѣвалъ.
Науки не дались ему: онъ зналъ за-ранѣ,
Что быть ему въ бояхъ, служить въ военномъ станѣ,
Учись, иль не учись — одинъ тебѣ конецъ.
Что такъ ужъ завѣщалъ покойный панъ-отецъ.

Бытовой почвой служитъ повѣсти: вражда двухъ фамилій, Горешекъ и Соплицъ. И эти два, враждующія между собой семейства, подъ конецъ, примиряются въ лицѣ Тадеуша и невѣсты его, Зоси. Но героемъ, въ романтическомъ смыслѣ, выходитъ совсѣмъ не Тадеушъ, при всемъ томъ, что онъ играетъ роль перваго любовника, а его отецъ, когда-то буйный и грѣшный, кутила и озорникъ, Яцекъ Соплица, являющійся, послѣ долгихъ лѣтъ скитаній, кающимся грѣшникомъ, въ видѣ монаха-ксендза, Рòбака. Его буйно-романическое прошлое узнаемъ мы изъ предсмертной исповѣди, когда онъ открывается своему брату, судьѣ. Смерть его вызвана раной, полученной имъ въ схваткѣ между шляхтой, производившей наѣздъ, съ (русской) военной командой. Яцекъ Соплица былъ когда-то вхожъ въ вельможный домъ стольника Горешки и возмечталъ сдѣлаться его зятемъ. Стольникъ его все поддразнивалъ и осрамилъ, когда тотъ дерзнулъ проситься ему въ зятья. Яцекъ убилъ его предательскимъ выстрѣломъ въ ту минуту, когда стольникъ, запершись въ своемъ замкѣ, защищался отъ нападенія русскаго войска. Этотъ поступокъ легъ неизгладимымъ пятномъ на его честь. Онъ, и въ собственныхъ глазахъ, сталъ

измѣнникомъ или, какъ тогда выражались, «тарговичаниномъ», т. е. сторонникомъ непріятельской власти. Яцекъ скрылся и, долгими годами раскаянія и монашеско-патріотической жизни, искуплялъ вину въ собственныхъ своихъ глазахъ. Онъ возрастилъ внучку стольника, надѣясь впослѣдствіи выдать ее за своего сына, что и случилось; онъ служилъ вѣрой и правдой своему отечеству, какъ тайный политическій агентъ. Скрываясь подъ рясой монаха-ксендза, Робакъ появляется съ самаго начала повѣсти и такъ искусно играетъ свою роль, прикрываясь гдѣ нужно монашескимъ капюшономъ, что никто его не узнаетъ вплоть до смерти, даже братъ его, судья. Это можетъ показаться натяжкой, и вообще фигура Яцка, при всей своей характерности, его прошлое и тонъ его исповѣди составляютъ единственный вкладъ болѣе условнаго и восторженнаго романтизма, какой мы находимъ въ «Панѣ Тадеушѣ».

Самая исторія наѣзда, составляющая центръ повѣсти, выдвигаетъ фигуру стараго ключника Гервазія, который по пріѣздѣ молодого барина, графа Горешки (типическаго представителя тогдашняго смѣшноватаго байронизма), натравливаетъ мелкую шляхту противъ семейства Соплицъ и устраиваетъ «заѣздъ» на главу рода Соплицъ, судью, т. е. брата ксендза Робака и дяди Тадеуша. Ксендзъ Робакъ спасаетъ шляхту, усмиренную русскимъ отрядомъ; сторонники Соплицъ братаются съ приверженцами рода Горешекъ, кидаются вмѣстѣ на солдатъ и, послѣ жаркаго боя, справившись съ отрядомъ, переваливаютъ за Нѣманъ подъ наполеоновскія знамена. Робакъ, смертельно раненый, произноситъ свою предсмертную исповѣдь брату, чѣмъ и кончается собственно повѣсть; а появленіе наполеоновскихъ войскъ, пріемъ польскихъ генераловъ, прощаніе Тадеуша и Зоси, уже помолвленныхъ, составляетъ эпилогъ, неимѣющій формальной связи съ сутью повѣсти.

Эта суть — не въ исторіи Яцка Соплицы, а въ изображеніи жизни тогдашней мелкой шляхты и крупнаго помѣстнаго дворянства, въ эпическихъ красотахъ, въ творческомъ умѣніи дать намъ почувствовать связь людей съ природой, въ яркомъ воспроизведеніи характерныхъ фигуръ, сложившихся среди этой жизни. Сосѣдская распря и «заѣздъ» — только поводъ и фонъ, на которомъ творческое дарованіе поэта набрасало столько живыхъ образовъ. Передъ тѣмъ, какъ произошло броженіе мелкой шляхты, взбудораженной противъ дома судьи, поэтъ вводитъ насъ въ ежедневную и праздничную жизнь помѣщика, занимающаго почетное мѣсто, заставляетъ присутствовать на обѣдахъ и ужинахъ, на прогулкахъ и забавахъ; а главное на охотѣ — этой стародавней поэзіи шляхетскаго быта, ведетъ насъ въ Литовскую пущу и тамъ, предаваясь полету своего творческаго воображенія, заставляетъ дѣйствовать и обитателей лѣсовъ, звѣрей, какъ будто они были родные по крови и духу, съ тѣми людьми, кто охотится за ними. Онъ ведетъ насъ и въ старый замокъ Горешекъ и представ-

ляетъ намъ яркій контрастъ между тѣмъ, чѣмъ были, когда-то, эти Горешки, вродѣ стольника, убитаго Яцкомъ Соплицей, и ихъ новѣйшимъ представителемъ — чудоковатымъ байронистомъ, который привезъ изъ-за границы замашки хандрящаго дилетанта, такъ мало имѣющаго общаго съ своими богатырскими предками.

Въ этой голлереѣ живыхъ лицъ нѣтъ ни одного неудачнаго образа: судья, дядя и воспитатель Тадеуша, подкоморій, ключникъ Гервазій, его противникъ возный Протазій («вознымъ» назывался, по старинному, вѣстовой, состоящій при судьѣ, возвѣститель судебныхъ вызововъ и приговоровъ), два холостяка — пріятели, вѣчно спорящіе о совершенствахъ своихъ двухъ борзыхъ псовъ, ассесоръ и рейентъ, т. е. нотаріусъ (терминъ, который лучшій переводчикъ «Пана Тадеуша», Бергъ, по непонятной оплошности, вездѣ передаетъ словомъ «становой»), старый, средней руки помѣщикъ, носящій званіе войскаго: такъ называлась должность дворянина, на попеченіи котораго находились вдовы и семейства убитыхъ на войнѣ. Эта — типичнѣйшая фигура (съ которой связано одно изъ самыхъ блистательныхъ мѣстъ въ «Панѣ Тадеушѣ» — когда войскій, выбранный распорядителемъ охоты, трубитъ въ рогъ), по моему мнѣнію, не достаточно выдвигается на первый планъ даже лучшими критиками поэмы Мицкевича; а, между тѣмъ, въ этомъ старошляхетскомъ типѣ мы видимъ настоящія эпическія черты, которыя, мѣстами, пріобрѣтаютъ значеніе высоко-творческаго символизма, необычайно ярко дающаго чувствовать душевный подъемъ и поэтическій колоритъ беззавѣтныхъ любителей охоты, которая для нихъ пріобрѣтала всепоглощающую прелесть...

И Зося, эта милая простая дѣвочка-шляхтянка, воспитанная въ деревенскомъ захолустьи, хотя и не претендуетъ на роль героини, но полна простодушной прелести и женственнаго обаянія. Она вездѣ очерчена реальными штрихами, и вноситъ съ собою всюду что-то необыкновенно-родственное и намъ, русскимъ, напоминающее такіе-же милые образы нашей художественной беллетристики. Ея контрастъ, нѣсколько перезрѣлая кокетка Телимена, обработана авторомъ въ сатирическомъ тонѣ, кой-гдѣ и подчеркнутомъ, но и въ этомъ отрицательномъ изображеніи мы находимъ множество живыхъ и нисколько не сочиненныхъ подробностей въ основномъ тонѣ очень милаго, хотя немного и злобнаго юмора. Для Мицкевича Телимена и хандрящій байронистъ, графъ — тѣ двѣ фигуры, въ которыхъ онъ какъ-бы отрекался самъ отъ всего наноснаго, отъ всякаго обезьянства западно-европейскимъ теченіямъ и модамъ. Для него (какъ для поэта и тогда еще считавшагося байронистомъ), юмористическое созданіе фигуры графа — весьма характерная черта. И если мы сопоставимъ этого графа съ нашимъ «Евгеніемъ Онѣгинымъ», то выйдетъ, что Мицкевичъ не могъ уже къ тому періоду своей жизни, когда писался «Панъ Тадеушъ», относиться къ представителямъ разочарован-

ности первой четверти нашего вѣка, какъ Пушкинъ къ своему Евгенію. У Пушкина Онѣгинъ трактованъ, если не въ ярко-сочувственномъ тонѣ, то въ тонѣ серьезномъ, только кое-гдѣ съ налетомъ тонкой ироніи; между тѣмъ какъ графъ — комическое лицо и притомъ обработанное въ гораздо большихъ подробностяхъ; Мицкевичъ показываетъ намъ ярко и безпощадно, складъ его идей, замашекъ, его рисовку, его жаргонъ, все то напускное, что онъ вынесъ съ запада, но не отказываетъ ему въ благородствѣ натуры, въ разныхъ великодушныхъ помыслахъ, которые онъ усвоилъ себѣ также на западѣ, вмѣстѣ со всѣми курьезами своего чудачества.

И чисто любовная фабула «Пана Тадеуша» отличается совсѣмъ не такимъ тономъ, какъ романическое содержаніе «Евгенія Онѣгина». Зося любитъ по-просту, въ ней нѣтъ и подобія того душевнаго полета, который озарилъ личность нашей Татьяны въ тотъ моментъ, когда она познала роковую для себя страсть. Татьяна, гораздо больше — *обще-женщина* (если вы позволите мнѣ такъ назвать ее), чѣмъ невѣста Тадеуша. Изъ Татьяны, въ другихъ условіяхъ и съ другимъ настроеніемъ общества, могла-бы выйти героическая личность, способная не на одну только простую задушевную привязанность и вѣрность завѣтамъ отцовъ, а на энергическую борьбу, въ которой страсть къ мужчинѣ только охватила-бы болѣе яркимъ блескомъ душевную силу личности. Изъ Татьяны, деревенской барышни, воспитанной немного на французскій ладъ, въ какихъ нибудь два-три года, сложилась обаятельная великосвѣтская женщина, но сохранившая въ глубинѣ своей души нравственный идеалъ, гораздо выше всего того, что ее окружало въ суетѣ и лжи петербургскаго свѣта.

Нѣтъ поэтому большой необходимости, разбирая сюжетъ «Пана Тадеуша», останавливаться и на эпизодахъ не столько любовнаго, сколько эротическаго свойства изъ судьбы кокетки Телимены. Тутъ самъ Мицкевичъ постоянно шутитъ, иногда добродушно, иногда съ нѣкоторой долей тонкой злобности. Онъ напускаетъ эту кокетку на своего Тадеуша, дѣлаетъ его, разумѣется, побѣдителемъ и во время устраняетъ Телимену, заставивъ ее играть незавидную роль, даже и въ эротическихъ разводахъ съ чудакомъ графомъ и въ своихъ разсчетахъ засидѣвшейся вдовы на законный бракъ съ двумя объектами ея матримоніальныхъ разсчетовъ ассесоромъ и рейентомъ. Въ первоначальной рукописи Телименѣ еще сильнѣе досталось отъ автора. Извѣстно (и Бергъ приводитъ это въ своемъ предисловіи), что на излишества въ сатирическомъ изображеніи кокетки нападалъ всего рѣзче его пріятель Витвицкій. «Многія сцены объ ней (говоритъ Бергъ на основаніи подлинныхъ сообщеній)—были выброшены. Кое-что Мицкевичъ даже замазалъ пальцемъ, окунувъ его въ чернила. Уничтожена, между прочимъ, «Исторія съ ключикомъ», переданнымъ Тадеушу Телименой въ Храмѣ Мечты». (Это относилось къ концу III-ей

пѣсни). Пробѣлъ этотъ чувствуется, продолжаетъ Бергъ. Когда друзья просили поэта дать имъ списать выбрасываемое, чтобы эти стихи, между которыми были превосходные, не совсѣмъ погибли, — поэтъ на это никогда не соглашался, говоря, что «вырванный изъ пшеницы куколь долженъ быть, въ самомъ дѣлѣ, вырванъ и заброшенъ».

Одной изъ самыхъ богатыхъ фигуръ, чисто бытового характера, вышло лицо еврея-цимбалиста. Въ немъ рельефныя черты его расы сплетены съ мѣстными польскими элементами, на почвѣ восторженнаго патріотизма. И то мѣсто, гдѣ шинкарь играетъ на цимбалахъ, считается польской критикой такимъ-же перломъ творческаго изображенія, какъ и знаменитая страница, гдѣ войскій трубитъ въ рогъ.

Позвольте мнѣ прямо начать съ этого именно отрывка, чтобы показать вамъ, разумѣется въ предѣлахъ переложенія на другой, хотя и родственный языкъ: какъ Мицкевичъ умѣлъ влагать свой поэтическій талантъ въ рамки типичнѣйшаго бытового изображенія.

Вы уже слышали, что войскій, играющій въ домѣ судьи роль полуприспѣшника, все-таки попадаетъ въ главные распорядители охоты. И на охотѣ онъ совершенно преображается. Онъ становится героическимъ лицомъ, окруженный ореоломъ той поэзіи, какая соединена, для истиннаго сына той эпохи, съ охотой, да еще медвѣжьей, гдѣ могутъ случаться и трагическіе эпизоды. Возможностью такихъ исторій воспользовался и Мицкевичъ: медвѣдь чуть-было не заломалъ Тадеуша, котораго спасаетъ выстрѣлъ его тайнаго отца, ксендза Робака.

Въ четвертой пѣснѣ или книгѣ, (какъ правильнѣе называть главы «Пана Тадеуша») носящей заглавіе: «Дипломатія и Ловы» [1]) находится знаменитое мѣсто: «Войскій трубитъ въ рогъ».

Тутъ видимъ мы, въ началѣ книги, обращеніе къ роднымъ лѣсамъ, исполненное теплой любви ко всему, что лѣсъ его родного края далъ Мицкевичу дорогого и живительнаго.

Вотъ это мѣсто:

„Лѣса родимые! Случится-ли опять,
Хотя подъ старость лѣтъ, мнѣ взоромъ васъ обнять?
Придется-ль встрѣтиться съ родимой стороной,
Гдѣ свѣтъ увидѣлъ я, гдѣ ползалъ я дитею
По мягкой муравѣ среди косматыхъ пней,
Гдѣ пѣлъ и гдѣ любилъ на утрѣ лучшихъ дней?

И далѣе:

Давно знакомые душѣ моей лѣса!
Я вижу васъ опять: угрюмая краса
И сумракъ чудный вашъ вновь живы предо мною:
Изъ края чуждаго я къ вамъ несусь мечтою,
Лѣса родимые, лѣса моей Литвы!

---

[1]) Смотри предисловіе перевода Берга, стр. XVIII.

*

Все также-ли, какъ въ старь, величественны вы,
Невозмутимые? Все также-ль горделиво
Растете въ облака, и смертному на диво,
Стоите крѣпкіе, съ небесною грозой
И съ бурями земли, выдерживая бой?
Все таже-ль тишина подъ вашими вѣтвями?
Любимы-ль также вы пернатыми пѣвцами?
Поютъ-ли тамъ они, какъ въ прежніе года?
Иль безпощадная прокралася нужда
Въ обитель тихую торжественнаго мира —
И тамъ звенитъ теперь тяжелая сѣкира
По вѣтвямъ вѣковымъ, гоня пернатыхъ вонъ?

Былое предо мной мелькаетъ будто сонъ!
Лѣса родимые, отеческія сѣни!
О, сколько чудныхъ думъ и сладкихъ сновидѣній
Вы мнѣ навѣяли! Какъ часто отъ друзей
Я въ вашу глушь бѣжалъ; подъ сумракомъ вѣтвей
Задумывался я и было мнѣ отрадно,
Какъ чуткимъ ухомъ я прислушивался жадно
Къ невнятнымъ голосамъ лепечущихъ листовъ.
Здѣсь повѣсть чудную, преданія вѣковъ,
Мнѣ дубъ разсказывалъ, челомъ разрѣзавъ тучи
И три столѣтія на рамена могучи
Поднявъ. Тамъ, издали замѣтная едва,
Береза плакала, какъ скорбная вдова,
Иль матерь нѣжная, утратившая сына.
Вакханка юная, румяная рябина,
Стояла близъ нея, съ пылающимъ лицомъ;
А далѣе росла раскидистымъ кустомъ,
Вся въ перлы убрана, красавица лѣсная,
Орѣшина, своей вершиною кивая
Черешнѣ молодой, которую внизу
Ужъ обвилъ буйный хмѣль и гибкую лозу
Забросилъ далѣе, какъ юноша отважный".

„Порою пробѣгалъ надъ нами гулъ протяжный
И вихорь темныя вершины колебалъ:
Казалось, тамъ прошелъ бурливый моря валъ —
И все стихало вновь. Лишь изрѣдка, высоко,
Въ дубъ дятелъ клювомъ билъ и улеталъ далеко;
Иль векша хитрая качалась на вѣтвяхъ,
Поднявъ пушистый хвостъ, орѣхъ держа въ зубахъ;
Вдругъ, гостя чуждаго замѣтивъ зоркимъ окомъ,
Стрѣляла въ глушь лѣсовъ и въ сумракѣ глубокомъ
Терялась. Тихо все. Вотъ вѣтви затряслись,
Чуть слышные шаги по рощѣ раздались —
И, словно солнца лучъ, иль яркая денница,
Мелькнула вдалекѣ, подъ липами, дѣвица,
Стыдливая дубравъ родимыхъ красота,
Идя за ягодой, румяной какъ уста.

Вонъ юноша близъ ней: предъ дѣвой оробѣлой
Онъ вѣтви крѣпкія рукой сгибаетъ смѣлой.
Чу, рогъ вдали трубитъ и слышенъ топъ коней;
Собаки залились, почуявши звѣрей;
Въ мигъ дѣва съ юношей, исполнены тревоги,
Исчезли въ глубинѣ, какъ рощей темныхъ боги..."

Теперь послушайте, какъ трубитъ войскій:

Тутъ войскій ухватилъ широкою рукой
Свой буйволовый рогъ, изогнутый змѣей,
Прижалъ его къ устамъ, надулся, подъ лобъ очи
Немного закатилъ, сталъ дуть, что было мочи —
И грянулъ звонкій рогъ раскатомъ къ небесамъ
И музыка пошла по рощамъ и лѣсамъ.
Утихли всѣ кругомъ, заслыша гулъ призывный
И наслаждаяся гармоніею дивной.
Старикъ давно въ лѣсахъ своимъ искусствомъ слылъ,
Теперь, въ послѣдній разъ, имъ ловчихъ оживилъ,
Наполнилъ звуками широкую дубраву,
Какъ будто-бы въ нее пустилъ борзыхъ ораву,
За гончими во слѣдъ — и травлю началъ вдругъ.
Имѣлъ особое значенье каждый звукъ:
Сначала позывъ въ рогъ, потомъ слышнѣе тоны,
Завыли голосовъ собачьихъ милліоны;
Ведутъ по красному; вотъ стихли, а потомъ
Звукъ рѣзкій — выстрѣла раздавшагося громъ.

Умолкъ, но все трубитъ — охотникамъ сдавалось,
А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось.
Опять задулъ артистъ. Казалось, будто рогъ,
Мѣняетъ òбразы: то длиненъ и широкъ,
Реветъ медвѣдемъ онъ, то вдругъ завоетъ волкомъ,
То пробирается въ дубравѣ тихомолкомъ,
Какъ хитрая лиса; вдругъ взвылъ, какъ ураганъ
И рявкнулъ вдалекѣ, какъ раненый кабанъ.

Умолкъ, но все трубитъ — охотникамъ сдавалось,
А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось.
За звукомъ улеталъ, переливаясь, звукъ,
Дубъ дубу повторялъ, кленъ кленамъ, буку букъ.
Вдругъ войскій къ небесамъ уставилъ рогъ могучій
И гимнъ торжественный тріумфомъ грянулъ въ тучи,
Воинственный финалъ, громоподобный гласъ —
И музыка въ лѣса далеко понеслась.

Умолкъ, но все трубитъ — охотникамъ сдавалось,
А это по лѣсамъ лишь эхо отдавалось.
Что лѣсу до роговъ, играютъ и поютъ,
И пѣсню дивную другимъ передаютъ;
И долго шла игра отъ края и до края,
Переливаяся, слабѣя, замирая,
Покуда, гдѣ-то тамъ, погасла въ небесахъ...

Настала тишина въ дубравахъ и лѣсахъ.
Художникъ бросивъ рогъ и опустивши руки,
Ловилъ послѣдніе, стихающіе звуки,
И, вдохновенія вкушая торжество,
Стоялъ, пылая весь. Межъ тѣмъ вокругъ него
Сошлись охотники въ восторгѣ удивленья,
И долго слышался ихъ крикъ и поздравленья.

Лишь смолкъ послѣдній звукъ послѣдняго „ура",
Всѣ глянули назадъ, гдѣ точно какъ гора
Лежалъ косматый звѣрь, когтями землю роя,
А злые мордаши терзали грудь героя;
Но войскій оттащить велѣлъ свирѣпыхъ псовъ —
И снова загремѣлъ „виватъ" среди лѣсовъ.

Изображеніе лѣсной пущи съ ея обитателями не уступаетъ двумъ приведеннымъ мѣстамъ въ яркости, въ самобытномъ творчествѣ и мастерствѣ.

Кто свѣдалъ глубину литовскихъ темныхъ пущей?
Проникнулъ въ сердце ихъ, до твари тамъ живущей?
Рыбакъ, въ своей ладьѣ, снуетъ у береговъ,
Не смѣя средь морей затѣять дерзкій ловъ:
Охотникъ по лѣсамъ съ опушки только кружитъ,
И тайнъ глубокихъ ихъ во вѣкъ не обнаружитъ.
Лишь басня темная бѣжитъ подъ-часъ въ народъ,
Что есть въ срединѣ пущъ таинственный оплотъ
Изъ вала старыхъ пней, изъ кряжей и каменьевъ,
Изъ груды мховъ сѣдыхъ, разросшихся кореньевъ;
А далѣе идутъ трясины и ручьи,
Гдѣ исконп, въ дуплахъ, кишатъ шмелей рои,
По зыбкимъ тростникамъ шипятъ и вьются гады.
Когда-жъ настойчиво пробьешь сіи преграды
И взглянешь издали во глубь лѣсныхъ пучинъ:
Тамъ, въ чащѣ, что ни шагъ, нарыта тьма сурчинъ
И волчьихъ, и другихъ; какъ мракъ чернѣютъ норы,
А около идутъ болота и озеры,
Заросшія травой окошки, бочаги,
Чтобъ далѣе не шли упрямые враги.
Потокъ зловонія, вокругъ болотъ смердящій,
Мертвитъ и губитъ лѣсъ, вблизи отъ нихъ стоящій;
Деревья, сгорбившись присѣли до земли,
И вѣтви темными сѣтями заплели
Непроницаемо и, мхомъ колтуноваты;
Въ грибахъ и въ болонахъ, согнулись, сномъ объяты;
Какъ вѣдьмы старыя, когда усѣвшись въ рядъ,
Онѣ себѣ въ котлѣ на ужинъ трупъ варятъ.
За эти бочаги не смѣй взглянуть и окомъ:
Глухая пуща спитъ въ молчаніи глубокомъ
И неподвижная, синѣющая мгла
На вѣки вѣчныя тамъ тяжко залегла.

За нею, наконецъ, какъ по преданью слышно,
Равнина злачная раскинулася пышно,
Благоуханная, цвѣтущая страна,
Гдѣ скрыты всѣхъ деревъ и зелій сѣмяна;
И тамъ живутъ звѣрей сѣдые патріархи,
Самодержавные лѣсовъ своихъ монархи:
Туръ древній, дикій зубръ и царственный медвѣдь.
Кругомъ, на деревахъ, приказано сидѣть
То рыси дерзостной, то алчной россомахѣ,
И шляхту мелкую держать въ обычномъ страхѣ.
А далѣе живутъ, разгуливая врозь,
Вассалы вѣрные: кабанъ, олень и лось.
Вверху, въ сѣни вѣтвей, уставя очи быстры,
Орлы и соколы, какъ бодрые министры,
Оглядываютъ даль и озираютъ вкругъ,
Всегда готовые монархамъ для услугъ.
Такъ въ чащѣ скрытые, невидимые свѣтомъ,
Владыки царствуютъ зимой, весной и лѣтомъ,
Изъ пущъ не выходя, не жертвуя собой,
И только молодежь къ опушкѣ шлютъ на бой,
Далеко отъ своихъ заповѣдныхъ жилищей,
Границы наблюдать и пробавляться пищей,
Монарховъ не разитъ ни пуля, ни стрѣла;
Когда-жъ почувствуютъ, что смерть уже пришла
Неотразимая, заматерѣвши, сами
Идутъ почить въ глуши, укрытые лѣсами.
Медвѣдь — какъ зубы съѣстъ, рога собьетъ олень
И, ноги чуть влача, шатается, какъ тѣнь;
Когда у кречета внезапно кровь окрѣпнетъ;
Какъ воронъ станетъ сѣдъ, и соколъ вдругъ ослѣпнетъ:
Идутъ на кладбище, гдѣ боръ еще густѣй —
И оттого-то мы не видимъ ихъ костей.
И даже малый звѣрь, почуявъ пламень раны,
Бѣжитъ почить домой, въ отеческія страны.

Ничто не возмутитъ завѣтныхъ пущъ красу:
Правленье тихое и мирное въ лѣсу;
Исполненъ простоты наслѣдственный обычай!
Какъ дѣды не гнались за чуждою добычей,
Не зарились въ раю на роскошь братнихъ блюдъ,
Такъ нынѣ внуки ихъ въ согласіи живутъ;
И даже человѣкъ, проникши безоружный
Въ средину тварей тѣхъ, привѣтъ нашелъ-бы дружный:
Глядѣли-бъ, выразивъ тревогу и испугъ,
Какъ въ оный день шестой, когда узрѣли вдругъ
Ихъ прародители созданнаго Адама.

Но рѣдко и ловецъ, настойчиво упрямо,
Владѣющій собой, достигнетъ этихъ мѣстъ.
Лишь только иногда, охотяся окрестъ,
Бросаетъ гончихъ онъ въ трущобу мглы дремучей,

Но псы назадъ бѣгутъ, къ нему ласкаясь кучей,
Поднявъ протяжный стонъ и жалкій вой и гамъ,
Спѣшатъ, дрожа какъ листъ, прилечь къ его ногамъ.
Тѣ заповѣдныя, таинственныя пущи,
Гдѣ лѣсъ всегда растетъ непроходимѣй, гуще,
Гдѣ звѣри старые безвыходно живутъ,
„Крѣпями“ въ языкѣ охотниковъ слывутъ.
Медвѣдь! сидѣлъ-бы ты въ крѣпяхъ своихъ глубокихъ,
Никто-бы на тебя изъ ловчихъ быстроокихъ
Во вѣки не напалъ, не зналъ твои слѣды
И жилъ-бы ты себѣ безъ горя и бѣды.
Но, знать, медвянаго благоуханья сота,
Иль къ стаду буйволовъ обычная охота
Взманили вонъ тебя, на край, гдѣ рѣже лѣсъ —
И тутъ-то на тебя лѣсничій и налѣзъ.
Теперь тебя слѣдятъ; проникнули въ дубраву,
И хитрую вокругъ раскинули облаву.

Не могу не привести еще отрывка изъ послѣдней пѣсни, носящей заглавіе: «Да возлюбимъ другъ друга», того мѣста, гдѣ шинкарь Янкель, уступая просьбѣ невѣсты, заигралъ на цимбалахъ.

Янкель-жидъ на это засмѣялся,
И въ знакъ согласія красавицѣ кивнулъ
Сѣдою бородой, сѣлъ, пейсами тряхнулъ,
И съ гордостью вокругъ веселыми глазами
Повелъ, какъ ветеранъ, покрытый сѣдинами,
Когда зоветъ его опять на поле сѣчь
И внуки подаютъ ему тяжелый мечъ:
Смѣется дѣдъ сѣдой, поднявъ его рукою
И чуя, что рука не измѣнитъ герою.

Молчанье. Инструментъ неподвижно лежитъ
Передъ художникомъ. Поднявши руки, жидъ
На мигъ оцѣпенѣлъ, слегка глаза прищуря,
Спустилъ, и грянула могучихъ звуковъ буря,
Какъ будто шумный дождь по струнамъ пролился
И вихрей острые промчались голоса:
Дался диву всѣ, но то была лишь проба —
И снова молотки онъ кверху поднялъ оба.

Затѣмъ опять спустилъ... Едва звенитъ струна;
Небесно-тихая гармонія слышна;
Цимбалы замерли, поютъ и стонутъ глухо,
Какъ будто-бъ по струнамъ крыломъ звонила муха.
Взглянувъ на небеса, художникъ вдругъ утихъ,
И вдохновенія просилъ себѣ у нихъ:
Затѣмъ, свой инструментъ измѣривъ меткимъ глазомъ,
Приподнялъ молотки и грянулъ ими разомъ.

Слетѣлъ съ веселыхъ струнъ живой и рѣзкій звукъ,
Казалося, оркестръ военный грянулъ вдругъ,
Со всѣми ложками, тарелками, звонками —

И славный польскій тотъ, столь чтимый поляками,
Что мая третьяго въ Варшавѣ раздáлся,
Торжественно гремитъ; рокочутъ голоса,
И сердце шевелятъ, и слухъ ласкаютъ вмѣстѣ.
Смѣется молодежь, едва стоя на мѣстѣ,
А думы стариковъ въ минувшее летятъ,
Въ тѣ дни, какъ въ ратушѣ собравшійся сенатъ,
Назначивъ короля, угоднаго народу,
Полякамъ возвѣщалъ равенство и свободу.
Художникъ налегать на струны сталъ свои,
Усилилъ голоса — и вдругъ, какъ свистъ змѣи,
Какъ дребезжаніе стекла, аккордъ фальшивый,
Морозомъ пронялъ всѣхъ, и ропотъ боязливый
Прошелъ по всей толпѣ: всѣ думали, что онъ
Испортилъ инструментъ, иль взялъ невѣрный тонъ.
Не ошибался жидъ. Разрушилъ онъ нарочно
Гармонію, дотоль звучавшую роскошно,
И долго по одной и той-же билъ струнѣ
Пронзительно, пока стоявшій въ сторонѣ
Гервазъ не понялъ все: закрывъ лицо десницей,
„Ахъ!“ молвилъ, „знаю я: то миръ подъ Тарговицей!“
И, жалобно запѣвъ, вдругъ лопнула струна.

Нужно-ли мнѣ останавливаться на одномъ, нѣсколько щекотливомъ пунктѣ въ содержаніи «Пана Тадеуша»? Въ самый разгаръ дѣйствія, связаннаго съ наѣздомъ шляхты, введенъ русскій отрядъ. Между нимъ и двумя примирившимся бандами шляхты происходитъ окончательный горячій бой, послѣ котораго поляки переваливаютъ черезъ Нѣманъ. Бой этотъ описанъ мастерски, въ совершенно эпическихъ подробностяхъ. И тутъ творческая объективность Мицкевича выступаетъ съ достаточною яркостью. Въ немъ не видно пристрастнаго желанія наложить умышленно черныя краски на тѣхъ, въ комъ его герои видѣли непримиримыхъ враговъ. Онъ выводитъ двоихъ русскихъ офицеровъ, капитана Рыкова и маіора Плута, котораго переводчикъ Бергъ почему-то называетъ Плутовичъ. Рыковъ настоящій великорусскій служака, между тѣмъ какъ маіоръ совсѣмъ не русскаго происхожденія и авторъ не стѣсняется выставлять его, какъ измѣнника своему патріотическому дѣлу. Можетъ быть, косвенно, въ выборѣ самой антипатичной фигуры всей поэмы видно желаніе автора покарать въ лицѣ такого маіора Плута всѣхъ подобныхъ ему. Но капитанъ Рыковъ, хотя фигура и полуюмористическая, изображенъ какъ хорошій служака, вѣрный своему долгу и добродушно относящійся ко всѣмъ тѣмъ польскимъ обывателямъ, у кого онъ бываетъ. Онъ входитъ съ нимъ въ пространные разговоры о Бонапартѣ и, когда ему пришлось съ ними драться, ведетъ себя безукоризненно, не такъ, какъ маіоръ, спрятавшійся куда-то въ минуту опасности и, вѣроятно, кѣмъ - нибудь прикончённый, на что однако нѣтъ въ поэмѣ прямыхъ указаній. Формаль-

нымъ доказательствомъ того, что изображеніе русскаго, играющаго роль въ разсказѣ, сдѣлано въ благодушно-объективномъ тонѣ, можетъ служить то обстоятельство, что въ переводѣ прошли, быть можетъ, съ самыми ничтожными измѣненіями, всѣ мѣста, гдѣ говоритъ и дѣйствуетъ капитанъ Рыковъ, какъ и все описаніе —«Битвы»: такъ называется вся IX-ая книга, заканчивающая главную фабулу «Пана Тадеуша». Послѣднія три книги, или пѣсни, составляютъ уже эпилогъ и носятъ заглавія: «Эмиграція, Яцекъ», «1812 годъ» и возгласъ: «да возлюбимъ другъ друга».

Заключительная нота пылкой любви къ родинѣ и потребности въ братствѣ со всѣми единоплеменниками выражена Мицкевичемъ въ простомъ сказочномъ стилѣ. Картина веселья, гдѣ Тадеушъ и Зося—женихъ и невѣста, среди толпы крестьянъ, шляхты и помѣщиковъ, собравшихся чествовать эмиграціонныхъ генераловъ, служащихъ въ арміи Наполеона, освѣщена вечерней зарей. Поэтъ проявилъ въ заключительныхъ строкахъ творческую связь своего пылкаго чувства, какъ сына родной земли, съ настроеніемъ вѣщаго толкователя красотъ природы:

„А вечеръ догоралъ невозмутимо тихъ,
Подобенъ ясностью воскреснувшему краю
Короны и Литвы; лишь бѣлый облакъ съ краю,
Пророча свѣтлый день, румянцемъ пламенѣлъ
И таялъ медленно. Востокъ уже темнѣлъ,
И тучки мелкія, чуть видныя для взгляда,
Какъ по лугу овецъ разсыпанное стадо,
Мелькали въ томъ углу, порой смыкая рядъ.
Вотъ пламенемъ сплошнымъ объялся весь закатъ:
Прощаясь, солнышко еще лучемъ блеснуло,
Склонило голову и за лѣсъ потонуло.

Но шляхта и въ ночи неугомонно пьетъ
За здравіе Кесаря, за шляхту, за народъ,
Потомъ за жениха съ невѣстою, а далѣ
За всѣхъ, кого добромъ въ Литвѣ припоминали.

И я на томъ пиру пилъ пиво и вино;
Что слышалъ, видѣлъ тамъ — предъ вами, вотъ оно“!

Великодушныя идеи, какими ко времени писанія «Пана Тадеуша», былъ несомнѣнно исполненъ самъ Мицкевичъ, сказались и въ томъ, что номинальный герой его поэмы на общемъ народно-патріотическомъ праздникѣ хочетъ дать волю своимъ крѣпостнымъ. Конечно, такой фактъ не представлялъ собою въ 1812 году чего-либо особенно типическаго для общественнаго настроенія тогдашняго польскаго дворянства, но онъ завершаетъ гуманно-поэтическимъ аккордомъ шляхетскую повѣсть, сдѣлавшуюся для единоплеменниковъ Тадеуша такимъ драгоцѣннымъ національно-литературнымъ достояніемъ.

Прощаясь съ содержаніемъ поэмы, я не могу не выразить сожалѣнія о томъ, что не стану, въ виду недостатка времени, разбирать еще нѣ-

сколько мѣстъ, гдѣ реальное творчество Мицкевича такъ блистательно воспроизводитъ нравы, природу, типы и характеры чисто мѣстной литовской шляхты, которую поэтъ имѣлъ возможность съ дѣтства наблюдать въ ея коренныхъ унаслѣдованныхъ свойствахъ. Такова, напримѣръ, вся VII пѣснь, озаглавленная «Совѣтъ», когда мелкая шляхта, возбуждаемая къ «заѣзду», держитъ совѣщаніе, и на немъ выступаетъ передъ нами цѣлая галлерея лицъ, начиная съ знаменитаго Кропителя, продолжая резонеромъ нѣмецкаго происхожденія Бухманомъ и кончая эпической фигурой стараго Мацька, къ которому Мицкевичъ относится съ особенной творческой симпатіей.

«Панъ Тадеушъ» — произведеніе, проникнутое двумя элементами: субъективными порывами авторскаго чувства, не освободившагося отъ примѣси нѣкотораго романтизма, и полетами въ сферу патріотической восторженности съ болѣе цѣлымъ и могучимъ реально-поэтическимъ творчествомъ. Забудьте нѣсколько сочиненную исторію Яцка Соплицы, откиньте, если угодно, эпилогъ, съ картиной весны 1812 года, и вы получите все-таки повѣсть, которая, въ исторіи развитія этой формы художественныхъ произведеній, въ предѣлахъ всей европейской литературы, знаменуетъ собою торжество новаго направленія, наравнѣ и почти въ одно и то же время, съ нашимъ «Евгеніемъ Онѣгинымъ». Въ началѣ 30-хъ годовъ, въ изящной литературѣ, въ области современнаго эпоса, т. е. романа, уже значилось не мало произведеній, въ которыхъ, сквозь тенета романтизма, пробивался болѣе здоровый духъ реальнаго творчества, не исключающаго вовсе участія поэтической фантазіи и мастерства отдѣлки. Къ этой эпохѣ уже дѣйствовали такіе романисты, какъ: Стендаль, Бальзакъ, Жоржъ-Зандъ, въ трезвой половинѣ ея произведеній; назрѣвалъ талантъ Диккенса. А позади ихъ, вплоть до послѣдней четверти прошлаго вѣка, стояли произведенія, въ которыхъ обыкновенно видятъ предвозвѣстниковъ новѣйшаго эпоса, принявшаго окончательно размѣры и всепоглащающее значеніе современнаго романа: и нравоописательные романы англійскихъ прозаиковъ конца прошлаго вѣка, и «Вильгельмъ Мейстеръ» Гёте, и «Манонъ-Леско» аббата Прево, и «Павелъ и Виргинія» Бернандена-де-сенъ-Пьера и, даже, затерявшіеся въ кучѣ литературнаго хлама, длиннѣйшіе романы французскаго реалиста—наблюдателя конца прошлаго столѣтія—Рестифа-де-ла Бретонъ. Тому-же развитію новаго романа послужили и самые выдающіеся образцы идейно-литературнаго движенія, охватывающаго собою такіе всемірно - извѣстные продукты мысли, чувства и творческой фантазіи, какъ: «Новая Элоиза» Руссо, или — «Вертеръ» Гёте, или «Рене», Шатобріана, или вещи съ меньшей славой и вліяніемъ, но принадлежащія, несомнѣнно, къ тому-же броженію души европейца на рубежѣ двухъ столѣтій: почти совсѣмъ у насъ неизвѣстный «Оберманъ» Сенакура, или нѣсколько менѣе неизвѣстный «Адольфъ» Бенжамена Констана.

Но есть творческое произведеніе (также близкое по своему возрасту къ «Пану Тадеушу», какъ и «Евгеній Онѣгинъ»), которое можно, не смотря на полное отсутствіе сходства въ содержаніи, фабулѣ, времени дѣйствія, народности, нравахъ и главныхъ типахъ, отнести къ тому же строю реально-поэтическихъ произведеній. Это, до сихъ поръ у насъ мало извѣстный — романъ Манцони «Обрученные» (Promessi Sposi). Весь внутренній складъ обоихъ произведеній чрезвычайно родственный. И въ романѣ Манцони впервые (не только для Италіи, но и для всей западной Европы) явилась такая обработка культурнаго быта и національной психіи. Внутреннее сходство усиливается еще и тѣмъ, что въ Манцони, какъ и въ Мицкевичѣ, жилъ патріотъ (тотъ и другой чувствовали одинаковую скорбь объ утраченной независимости). И въ томъ и въ другомъ горячая любовь къ родинѣ не только не помѣшала творчеству, а способствовала необычайной простотѣ тона, богатству матеріала въ изображеніи природы, обычаевъ и отдѣльныхъ характеровъ; установило незыблемый грунтъ художественной правды и, вмѣстѣ съ тѣмъ, согрѣло все той симпатіей, безъ которой никакой писатель, какъ ни велико его дарованіе, не можетъ трактовать своего сюжета.

Было бы лишнее, въ заключеніе моего этюда, указывать вамъ, въ чемъ заключаются и другія характерныя отличія отъ «Пана Тадеуша» — «Евгенія Онегина». Я уже сказалъ отчасти вначалѣ, что сопоставлять эти два перла русской и польской литературы слѣдуетъ не для того, чтобы выяснять различія и сходства въ подробностяхъ содержанія и формы, а для того, чтобы установить несомнѣнную общность въ *характерѣ творчества*, въ отношеніи поэта къ дѣйствительности. И Пушкинъ, и Мицкевичъ являются оба реально-поэтическими изобразителями родной жизни, и, въ этомъ смыслѣ, и тотъ и другой могутъ считаться истинными отцами художественнаго романа и въ Польшѣ, и въ Россіи.

Между ними (когда одинъ писалъ «Онѣгина», другой «Тадеуша») была, конечно, огромная разница въ оттѣнкѣ ихъ чувства къ родинѣ. Пушкину не было поводовъ испытывать за свою отчизну все то, что пережилъ Мицкевичъ и его товарищи по эмиграціи. Пушкинъ былъ сынъ страны, обладающей государственной и національной силой и самобытностью. Въ немъ не было и большого раздвоенія, и какъ въ человѣкѣ, уже такъ уравновѣшенно относившемся, въ своемъ творческомъ произведеніи, къ русской дѣйствительности. Но и онъ прошелъ долгій путь душевной борьбы. И онъ протестовалъ. И онъ пользовался налетомъ байронизма, чтобы, въ лицѣ первыхъ своихъ героевъ, и отчасти даже въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ», давать ходъ своимъ идеямъ и симпатіямъ. Но работа надъ «Онѣгинымъ», въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, все болѣе и болѣе освобождала его отъ субъективной тревоги. Онъ дѣлался, съ каждымъ годомъ, способнѣе творчески вбирать въ себя окружающую жизнь. Не ску-

чающій великосвѣтскій ловеласъ вышелъ, въ сущности, главнымъ героемъ его стихотворнаго романа, а жизнь тогдашняго культурнаго слоя Россіи, русская помѣщичья усадьба, русская природа, Москва 20-хъ годовъ. Въ простотѣ и типичности изображенія Пушкинъ и Мицкевичъ подаютъ другъ другу руку, съ прибавкой тѣхъ роскошныхъ поэтическихъ эпизодовъ описательнаго характера, какими блещетъ «Панъ Тадеушъ». Мы можемъ сказать, безъ всякаго національнаго пристрастія, что по творческой объективности, по манерѣ, въ какой обработаны почти всѣ лица «Евгенія Онѣгина» (кромѣ отчасти самаго героя) Пушкинъ оказывается даже болѣе объективнымъ въ томъ смыслѣ, что, напримѣръ, его юморъ не переходитъ почти нигдѣ въ явную сатиру, какъ мы видимъ это въ обработкѣ Мицкевичемъ двухъ довольно яркихъ фигуръ—его чудака-графа и Телимены.

То, что я сейчасъ сказалъ, не помѣшаетъ, однако, признать, что по *общему* и внѣшнему складу Мицкевичъ держится гораздо строже эпическаго стиля. Если онъ кое-гдѣ даетъ ходъ своему лирическому чувству, то это почти исключительно въ обращеніяхъ къ родинѣ, между тѣмъ, какъ у Пушкина, каждая пѣсня содержитъ перерывы, гдѣ поэтъ уже прямо говоритъ о себѣ, обращается къ своимъ друзьямъ, изливаетъ самыя интимныя чувства, смѣется и острить, хандритъ и подводитъ итоги личнымъ испытаніямъ, производитъ оцѣнки своимъ современникамъ, какъ членъ общества и, какъ писатель. Но эти отступленія, представляющія собою положительныя уклоненія отъ строго-художественныхъ пріемовъ объективнаго творчества, сами по себѣ, драгоцѣнны и какъ вѣчные памятники, говорящіе о душевной жизни поэта, и какъ образцы, опять-таки, реально-художественнаго изображенія мыслей, чувствъ и настроеній такого типическаго и геніально-одареннаго сына своей эпохи, какимъ былъ Пушкинъ.

Личная связь Мицкевича съ Пушкинымъ, ихъ сближеніе въ Петербургѣ, въ 1827 году, связаны съ однимъ изъ самыхъ крупныхъ произведеній нашего поэта, съ «Мѣднымъ Всадникомъ». Въ отрывкѣ поэмы Мицкевича «Дзяды», который носитъ заглавіе «Памятникъ Петра Великаго», есть два стиха, показывающіе близость польскаго и русскаго поэта: «они знакомы были не долго, но много, говоритъ Мицкевичъ, и стали друзьями тому назадъ нѣсколько дней». Это относится какъ разъ къ началу ихъ знакомства. Но Мицкевичъ пріѣхалъ въ Петербургъ тотчасъ послѣ наводненія 7 ноября 1824 года, которое описалъ по разсказамъ и не совсѣмъ вѣрно: у него вездѣ морозъ и ледъ, между тѣмъ, какъ наводненіе произошло какъ разъ отъ сильнаго западнаго вѣтра, при отсутствіи мороза. У Мицкевича есть мѣсто, гдѣ говорится, что оба поэта стояли «вечеромъ на дождѣ, взявшись за руки и подъ однимъ плащомъ». Польскіе біографы Мицкевича считаютъ это за положительный фактъ, и самый авторитетный изъ нихъ, Хмелевскій, утверждаетъ, что это былъ коричневый плащъ, купленный Мицкевичемъ въ Одессѣ и потомъ подаренный

товарищу его, Одынцу. Передъ событіями 30-хъ годовъ Мицкевичъ, живя въ великорусскихъ городахъ, былъ уже очень популяренъ, какъ авторъ «Сонетовъ» и «Конрада Валленрода». Тогда между идеями и симпатіями обоихъ поэтовъ было гораздо больше общаго, чѣмъ впослѣдствіи, послѣ возстанія, когда Пушкинъ сталъ уже авторомъ «Бородинской годовщины» и «Клеветникамъ Россіи». Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, 1828 года, Мицкевичъ прощался съ Москвою. Цѣлый литературный кружокъ далъ ему обѣдъ и поднесъ серебряную чашу отъ имени восьми русскихъ литературовъ, имена которыхъ сохранились. Это были: братья Кирѣевскіе, Боратынскій, Шевыревъ, Елагинъ, С. Соболевскій, Н. Полевой и Рожалинъ. Какъ на него смотрѣлъ тогда этотъ кружокъ, видно изъ четверостишія, извѣстнаго уже вамъ и сказаннаго ближайшимъ другомъ и сверстникомъ Пушкина, Боратынскимъ.

Всѣ эти факты приведены въ изслѣдованіи В. Д. Спасовича: «Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго» («Вѣстникъ Европы» 1887 г., книга 4). Это—одинъ изъ самыхъ обстоятельныхъ этюдовъ, какіе есть въ нашей критической литературѣ за послѣдніе годы. И въ немъ, съ достаточной объективностью, показано: въ чемъ Пушкинъ и Мицкевичъ могли сходиться, взявъ центральной фигурой (одинъ отрывка, другой—цѣлой поэмы) — образъ Петра Великаго. Какъ ни разошлись впослѣдствіи Пушкинъ и Мицкевичъ въ своихъ взглядахъ и симпатіяхъ, въ нашемъ великомъ поэтѣ, даже и въ послѣдніе его годы, когда онъ сдѣлался гораздо консервативнѣе, все-таки же жилъ духъ независимости. Не даромъ, за полгода до смерти, Пушкинъ написалъ чудесные стихи, яко-бы изъ Тиндемана, гдѣ выставляетъ свои правила и чувства. Они всѣмъ вамъ, конечно; памятны:

„. . . Никому...
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья —
Вотъ счастье! вотъ права!“

Какъ Пушкинъ относился впослѣдствіи къ Мицкевичу, извѣстно изъ словъ его, вылившихся тогда, когда между ними уже легла нѣкоторая пропасть. Можетъ быть, живи они въ одной странѣ, будь людьми одного происхожденіи, между ними все-таки, на переломѣ жизни, когда натура и душевный складъ выливаются вполнѣ, установилось-бы то коренное различіе темперамента и характера, которое, однако, въ великодушныхъ натурахъ не мѣшаетъ взаимному пониманію. В. Д. Спасовичъ, заканчивая свой этюдъ, выражается объ этомъ такъ:

«Каждый изъ нихъ былъ превосходнымъ представителемъ самыхъ характерныхъ свойствъ своего племени и народа, оба они были поэты-романтики, оба оказали громадное, до-нынѣ продолжающееся, вліяніе на потомство, оба считали себя людьми дѣла и политиками, хотя не были вовсе таковыми, а только, и исключительно, художниками».

Какъ-же, спросимъ мы, оцѣнивали взаимно Пушкинъ и Мицкевичъ два своихъ реально-поэтическихъ произведенія: «Пана Тадеуша» и «Евгенія Онѣгина»? За нашего поэта намъ трудно было отвѣчать. Очень вѣроятно было, что онъ читалъ повѣсть Мицкевича, если свободно понималъ по-польски. Матеріально, онъ могъ это сдѣлать, такъ какъ съ появленія ея, въ іюлѣ 1834 года, до его кончины, прошло 2 слишкомъ года. До конца 1843 г. ни въ его интимныхъ замѣткахъ, ни въ статьяхъ, ни въ корреспонденціи не было еще найдено такого мѣста, гдѣ бы онъ высказывался о повѣсти Мицкевича, въ томъ или иномъ смыслѣ, хотя не было сомнѣнія, что Пушкинъ, болѣе чѣмъ всякій другой, оцѣнилъ-бы творческія красоты «Пана Тадеуша» [1]).

Редакція «Сѣвернаго Вѣстника» любезно сообщила мнѣ, въ рукописномъ текстѣ, тѣ мѣста изъ записокъ Смирновой, которыя появятся въ ближайшихъ книжкахъ журнала. И тамъ, какъ разъ, находятся драгоцѣнныя подробности, отвѣчающія прямо на нашъ вопросъ: въ какой степени Пушкинъ былъ знакомъ съ произведеніями Мицкевича, и въ томъ числѣ съ «Паномъ Тадеушемъ», и какъ онъ оцѣнивалъ въ немъ и поэта, и человѣка? Позвольте мнѣ привести вамъ нѣсколько отрывковъ, которые составляютъ, сколько мнѣ извѣстно, положительную новизну въ этомъ вопросѣ.

Сообщенія Смирновой относятся уже къ тому времени, когда она вышла замужъ, къ началу тридцатыхъ годовъ, то есть именно къ эпохѣ написанія «Пана Тадеуша». Она говоритъ въ началѣ того отрывка, который я сейчасъ приведу, о томъ, что Пушкинъ поглощенъ разными литературными замыслами: Пугачевымъ, Дубровскимъ, Пиковой дамой и продолжаетъ:

«Соболевскій—это, какъ извѣстно, былъ членъ пушкинскаго кружка и остроумецъ того времени, родственникъ знаменитой госпожи Свѣчиной, получилъ письмо изъ Парижа; въ немъ ему говорятъ о Мицкевичѣ, о Лелевелѣ, объ Одынцѣ; Богданъ Залѣсскій собирается издавать томъ своихъ стихотвореній, которыя тотчасъ-же вышлютъ оттуда Соболевскому. Пушкинъ говорилъ съ нимъ вчера о Мицкевичѣ и высказывалъ вещи очень вѣрныя.

«У него нѣтъ байроновской *міровой скорби*; источникъ его страданій—

---

[1]) Въ «Запискахъ» А. О. Смирновой («Сѣв. В.» № XII 1893 г.), мы читаемъ: «Пушкинъ перевелъ мнѣ стихи Мицкевича слово въ слово и почти стихами».

тоска по родинѣ, ему недостаетъ его Литвы и онъ гораздо болѣе патріотъ, чѣмъ гражданинъ вселенной. Байронъ—человѣкъ, жившій въ свободной политической странѣ; независимый, принадлежавшій къ сообществу *гетеристовъ*, изумлялся Наполеону, побѣдившему революцію, предъ которой самъ Байронъ также преклонялся; потому и невозможно, чтобы его патріотизмъ былъ патріотизмомъ Мицкевича—человѣка, котораго отечество побѣждено. Сравнительно съ Байрономъ, у Мицкевича всего менѣе юмора и ироніи, и, кромѣ того, у него есть въ чувствахъ что-то нѣжное, чего у Байрона никогда не было; вдобавокъ, Байронъ гораздо страстнѣе. Мицкевичъ, по моему мнѣнію, слишкомъ романтиченъ въ «Валленродѣ»; тамъ соединеніе байроновскаго и шиллеровскаго романтизма съ прибавкой славянской оригинальности, искренней меланхоліи славянъ, *грусти* безъ желчи. Тонъ тутъ различенъ, тэмбръ голоса, даже, когда поется одинъ и тотъ-же напѣвъ».

Далѣе мы читаемъ: «Пушкинъ провелъ вечеръ у насъ (т. е. у четы Смирновыхъ). Онъ намъ произнесъ прелестные стихи, написанные къ Мицкевичу, и говорилъ, что тотъ, «счастливецъ», побывалъ въ Веймарѣ и видѣлъ Гёте. Весь вечеръ говорили о Польшѣ и о Мицкевичѣ; мой мужъ встрѣтилъ его разъ у княгини Зинаиды Волхонской въ Римѣ, а потомъ во Флоренціи у Орлова. Онъ нашелъ въ немъ почти болѣзненную меланхолію и такую-же болѣзненную восторженность. Княгиня Зинаида, знавшая его въ Москвѣ, была къ нему очень добра въ Римѣ. У насъ говорили объ Одынцѣ, Лелевелѣ, Красинскомъ, Богданѣ Залѣскомъ, напечатавшемъ прелестную поэму, полученную по почтѣ Соболевскимъ изъ Парижа. Потомъ Пушкинъ говорилъ о *филаретахъ* (литовскомъ союзѣ двадцатыхъ годовъ), замѣтилъ, что Мицкевичъ очень расположенъ къ мистицизму, но, что въ немъ нѣтъ задатковъ заговорщика, ничего истинно политическаго, что онъ мечтатель, любящая натура, что онъ долго былъ подъ вліяніемъ Шиллера, потомъ Байрона, что онъ напоминаетъ также Пушкину идеи Кюхельбекера и нѣкоторыхъ другихъ декабристовъ, напр. Одоевскаго; а они нисколько не были людьми политическаго дѣйствія, а только большими романтиками. Мой мужъ замѣтилъ, что Мицкевичъ произвелъ на него именно такое впечатлѣніе, также и на Орлова. На это Пушкинъ прибавилъ: «Мицкевичъ эмигрантъ; у него нѣтъ болѣе отечества. Несчастіе изгнанія и эмиграціи и состоитъ въ томъ, что у васъ нѣтъ почвы подъ ногами. Кончается тѣмъ, что живешь одними надеждами и миражами. Я боюсь, какъ-бы окружающая Мицкевича обстановка не свела его съ истинно-поэтической дороги. Это — великій лирикъ, можетъ быть, до сихъ поръ слишкомъ байронизующій; байронистомъ онъ всегда былъ больше меня и остался тѣмъ, чѣмъ былъ въ 1826 г. Въ «Конрадѣ Валленродѣ» есть прекрасныя вещи; а недостатокъ состоитъ въ томъ, что цѣлыхъ три поэмы слиты въ одну: лирическая поэма любви,

эпическая поэма ненависти и мщенія и поэма Мавра. Тутъ національный вопросъ и вліяніе гетеризма эпохи. Онъ взялъ сюжетъ въ исторіи, но совершенно извратилъ исторію, и въ этомъ его большая ошибка». Я спросила: которая-же изъ этихъ поэмъ лучше? «Поэма любви, лирическая часть, описаніе Литвы, природы. Я думаю, что въ этомъ направленіи Мицкевичъ не сдѣлаетъ ничего лучшаго (очевидно Пушкинъ говорилъ это, еще недостаточно познакомившись съ «Паномъ Тадеушемъ»). Съ точки зрѣнія поэтическаго искусства, все это прекрасно и не уступаетъ нисколько нѣкоторымъ мѣстамъ въ молодомъ Байронѣ». И тутъ завязался между Пушкинымъ и Вяземскимъ споръ, въ которомъ Пушкинъ старался поддержать свою, въ сущности весьма вѣрную, тему о необходимости историческаго правдоподобія, даже и въ произведеніяхъ литературнаго творчества. Споръ перешелъ и на политическую почву, и Пушкинъ защищалъ, разумѣется, свое стихотвореніе «Клеветникамъ Россіи».

Смирнова въ заключеніе говоритъ: «Вяземскій очень увлеченъ Мицкевичемъ. Пушкинъ высоко ставитъ нѣкоторыя части «Валленрода», «Думы», лирическія поэмы и части «Дзядовъ»; но онъ находитъ его часто слишкомъ романтическимъ или скорѣе причудливымъ (romanesque). Онъ прибавилъ: «Ты не будешь моего мнѣнія, Вяземскій, потому что ты романтикъ на старости лѣтъ, потому что ты бредилъ о Байронѣ на берегахъ Вислы. Баратынскій моего мнѣнія, и онъ умолялъ Мицкевича не подражать Байрону (что мы сейчасъ видѣли въ приведенномъ мною стихотвореніи), находя, что у него есть славянская своеобразность; онъ очень цѣнилъ его талантъ и все то, что лично ему принадлежало». И тутъ-же Смирнова приводитъ слова Пушкина, имѣющія для насъ въ эту минуту особенное значеніе: «По моему мнѣнію, его шедöвръ есть «Панъ Тадеушъ», и мнѣ хочется его перевести, подъ старость, когда мнѣ уже нечего будетъ говорить своего. Я думаю, что Мицкевичъ читалъ въ послѣднее время болѣе Гёте и Шекспира, чѣмъ Шиллера и Байрона. Княгиня Зинаида Волхонская совѣтовала ему изучать итальянскихъ поэтовъ; онъ довольно хорошій латинистъ и ему это будетъ легко. Я нахожу новыя мысли въ «Панѣ Тадеушѣ». — И дальше: «Пушкинъ говорилъ потомъ, что онъ боится кружка эмигрантовъ, принадлежащихъ къ сектѣ Товіанскаго, о которомъ Голынскій сообщалъ нѣкоторыя подробности Соболевскому, разсказывалъ ему также о сенъ-симонистахъ и фурьеристахъ. Говоря о Мицкевичѣ, Пушкинъ былъ взволнованъ, потому что считаетъ его несчастнымъ, а иногда и озлобленнымъ. Говоря о поэмѣ «Наводненіе» (Смирнова тутъ, очевидно, подразумѣваетъ «Мѣднаго всадника» и тотъ эпизодъ «Дзядовъ», гдѣ Мицкевичъ встрѣтился съ Пушкинымъ въ сюжетѣ), Пушкинъ сказалъ: «Мицкевичъ думалъ, что лошадь (т. е. конь на памятникѣ Петра Великаго) упадетъ въ бездну и разобьется; но я предсказываю нѣчто иное: конь этотъ останется непоколебимымъ, брон-

зовымъ конемъ. Мы упадемъ въ пропасть тогда только, если не совершимъ того, о чемъ я мечтаю съ лицейскихъ годовъ: освободить крѣпостныхъ, возвратить имъ гражданскія права и собственность; другіе виды свободы придутъ впослѣдствіи силою вещей».

Развѣ эти слова не въ высшей степени замѣчательны, если ихъ сопоставить съ тѣмъ эпизодомъ изъ эпилога «Пана Тадеуша», гдѣ хлопамъ дается свобода? Несомнѣнно, что Мицкевичъ и Пушкинъ, когда состояли въ пріятельскихъ отношеніяхъ, были связаны общностью не только поэтическихъ симпатій, но и нравственныхъ, и общественныхъ идеаловъ и стремленій. А съ другой стороны, какъ странно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, отрадно видѣть, что шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ, тотчасъ же послѣ взрыва возстанія, въ пушкинскомъ кружкѣ, гдѣ хозяйкой была бывшая фрейлина, потомъ жена крупнаго администратора, жившая постоянно въ придворной сферѣ — съ такимъ интересомъ и знаніемъ говорили не только о Мицкевичѣ, но о всѣхъ талантливыхъ его сверстникахъ, интересовались, напр., выходомъ въ свѣтъ стихотвореній Залѣсскаго, о которомъ, конечно, въ теперешнихъ русскихъ литературныхъ кружкахъ, почти никто и слыхомъ не слыхалъ. Имена Лелевеля, Одынца, даже Товіанскаго приводились въ разговорахъ кружка, гдѣ бывали не одни профессіональные писатели, а просто свѣтскіе люди. И съ какой смѣлостью велись, напр., споры въ родѣ того, начало котораго я приводилъ вамъ, между Вяземскимъ и Пушинымъ на самую щекотливую тему политической и расовой борьбы. Вы слышали, что Смирнова замѣтила волненіе Пушкина, когда онъ говорилъ о Мицкевичѣ. Да и сужденія его, за вычетомъ, быть можетъ, того, что въ Мицкевичѣ онъ не находилъ ни юмора, ни ироніи — почти все остальное поражаетъ своей вѣрностью и сходится съ тѣми уже освященными оцѣнками, какія мы находимъ у лучшихъ польскихъ критиковъ Мицкевича. Для насъ довольно и того, что Пушкинъ, познакомившись съ «Паномъ Тадеушемъ», котораго тогда добыть въ подлинникѣ было, вѣроятно, не очень легко, мечталъ, подъ старость лѣтъ, перевести его. Хотя мы не находимъ болѣе детальнаго сужденія о красотахъ и недостаткахъ «Пана Тадеуша», но изъ того, что приведено, достаточно видно, какъ Пушкинъ способенъ былъ широко и чутко отнестись къ этому произведенію. Не забудьте, что онъ даже съ похвалою отзывается о нѣкоторыхъ частяхъ такой поэмы, какъ «Дзяды», которая могла-бы быть для него, для его ясной эллинской натуры, особенно чуждой по своему мистически-восторженному настроенію Прибавлю опять, что эта поэма, въ то время, не могла имѣть свободнаго обращенія въ Россіи, и надо было истинно интересоваться всѣмъ тѣмъ, что выходило изъ-подъ пера Мицкевича, чтобы добывать запретныя заграничныя изданія и серьезно знакомиться съ ними.

Благодаря сообщеніямъ госпожи Смирновой, имѣющимъ въ данномъ слу-

чаѣ характеръ полной достовѣрности, мы можемъ сказать, что оба великихъ славянскихъ пѣвца взаимно заплатили другъ другу дань пониманія и симпатіи и какъ поэты, и какъ люди.

Мицкевичъ, какъ профессоръ славянскихъ литературъ въ парижскомъ «Collège de France», имѣлъ случай оцѣнивать Пушкина и высказался, между прочимъ, въ словахъ, которыя приводятся въ этюдѣ Спасовича.

Въ 69-ой лекціи Мицкевичъ говоритъ, что: «публика оставляла Пушкина (къ 30-мъ годамъ) потому, что не находила въ немъ прежней точки опоры. Она хотѣла-бы обрѣсти въ своемъ любимомъ поэтѣ руководителя совѣсти или, по крайней мѣрѣ, руководителя общественнаго мнѣнія, который-бы сказалъ: «что намъ дѣлать, чего ждать». Съ такой оцѣнкой можно и не согласиться; но она не помѣшала Мицкевичу въ другомъ мѣстѣ, въ некрологѣ, напечатанномъ имъ послѣ кончины Пушкина въ 1837 году (въ парижской газетѣ «Globe») оцѣнить, «Евгенія Онѣгина» въ такихъ словахъ:

«Началъ онъ съ подраженія англійскому поэту, пытался потомъ дѣйствовать самостоятельно и кончилъ истинной оригинальностью. Сюжетъ и лица «Онѣгина» принадлежатъ къ настоящей жизни, взятой изъ частнаго быта; они служатъ мотивами истиннаго трагизма, а иногда сказываются въ сценахъ прекрасной комедіи». Этотъ некрологъ, подписанный Мицкевичемъ: «Одинъ изъ друзей Пушкина», написанъ вообще въ очень сочувственномъ тонѣ и заканчивается тирадой:

«Никакой странѣ не выпало на долю, чтобы въ ней болѣе одного раза проявился человѣкъ съ дарованіями такой высоты и такого разнообразія, которыя какъ-бы исключаютъ одни другія. Пушкинъ, возбуждавшій въ читателѣ восторги поэтическимъ талантомъ, удивлялъ слушавшихъ его разговоръ живостью, ясностью и тонкостью своего ума. Имѣлъ онъ необыкновенную память, вѣрное сужденіе и изысканный вкусъ. Слушая, какъ онъ разсуждаетъ о внутренней или заграничной политикѣ, можно было-бы принять его за мужа, посѣдѣлаго въ общественныхъ дѣлахъ и читающаго ежедневныя пренія всѣхъ парламентовъ. Нажилъ онъ себѣ много враговъ эпиграммами и сарказмами своими, и они мстили ему. Я близко зналъ — заканчиваетъ Мицкевичъ свои личныя воспоминанія о Пушкинѣ — русскаго поэта, и достаточно долгое время; считалъ его за человѣка иногда слишкомъ впечатлительнаго и легкаго, но всегда искренняго, благороднаго и изліятельнаго. Его недостатки, казалось, зависѣли отъ обстоятельствъ и отъ того общества, въ какомъ онъ жилъ, а то, что было въ немъ хорошаго, исходило отъ его собственнаго сердца».

Какъ цѣнно и то мѣсто изъ этого некролога, гдѣ Мицкевичъ, говоря о тогдашней русской интеллигенціи, и, въ частности, о нашихъ петербургскихъ и московскихъ писателяхъ, высказываетъ слѣдующее:

«Литераторы въ Россіи, говоритъ онъ, составляютъ своего рода брат-

ство, связанное между собою не однимъ узломъ. Они всѣ или люди со средствами, или правительственные чиновники и, большею частью, пишутъ изъ любви къ дѣлу и снисканія себѣ славы. Такъ какъ дарованіе не превратилось еще для нихъ въ обыкновенный товаръ, пріобрѣтаемый за деньги, поэтому рѣдко между ними замѣчается завистливая отчужденность или корыстная вражда; по крайней мѣрѣ, глазамъ моимъ не представился рѣзкій примѣръ чего-нибудь подобнаго. Потому-то литераторы любили часто собираться, видались почти ежедневно и проводили время на общихъ вечеринкахъ, домашнихъ чтеніяхъ и пріятельскихъ сходкахъ. Потому-то, прибавляетъ Мицкевичъ, и нетрудно было людямъ политическаго движенія, которые по большей части были писателями, пріобрѣтать себѣ многочисленныхъ сторонниковъ и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ».

Такъ-ли это и теперь? спросимъ мы. Можетъ-ли какой-нибудь изгнанникъ, или иностранецъ, пріѣхавшій изучать наши писательскіе нравы, сказать то-же самое и про братскій союзъ литераторовъ, и про ихъ безкорыстное служеніе музамъ, какъ выражались сверстники Пушкина?

Не правда-ли, что во всемъ, что мы сейчасъ разсмотрѣли, не смотря на то, что Пушкинъ и Мицкевичъ такъ разошлись въ своей судьбѣ — мы, и здѣсь, и тамъ, наталкиваемся на душевную связь? Мы находимъ, что оба поэта обработывали одинъ и тотъ-же замыселъ, что и самъ Пушкинъ, и его друзья относились къ Мицкевичу не только добросердечно, но съ самымъ яркимъ, искреннимъ признаніемъ его даровитости; а онъ, въ свою очередь, даже и послѣ печальныхъ событій, отдалившихъ его навѣки отъ пушкинскаго кружка, въ состояніи былъ, не кривя душой, почтить память своего русскаго собрата въ такихъ благородныхъ и теплыхъ выраженіяхъ.

И надо сознаться, что, въ послѣднее время, за цѣлый періодъ въ четверть вѣка, Мицкевичъ, хотя и былъ переводимъ, но не сдѣлался вовсе, со стороны русской критики и русскаго общества, предметомъ даже и такого интереса, какой та и другое удѣляли многимъ иностраннымъ прозаикамъ и поэтамъ, не имѣющимъ и одной пятой его дарованія, а главное, произведенія которыхъ не заключаютъ въ себѣ и тѣни той близости по языку и обще-славянскимъ особенностямъ души, какая бьетъ ключемъ съ каждой страницы «Пана Тадеуша».

Не безъинтересно привести и нѣкоторые факты изъ замѣтки Берга къ его переводу, озаглавленной «Какъ и когда сдѣланъ мною переводъ Тадеуша». Кто далъ ему въ первый разъ, въ 1844 году, экземпляръ поэмы Мицкевича? М. Н. Катковъ. Студентъ, прочтя, не нашелъ въ немъ «ничего особенно занимательнаго». И только послѣ того, какъ Катковъ указалъ ему на великолѣпныя мѣста, съ какими вы отчасти познакомились, Бергъ вчитался въ «Тадеуша» и былъ такъ захваченъ его

красотами, что тотчасъ-же присѣлъ и перевелъ два отрывка: «Лѣса», потомъ «Облака», а немного позднѣе два слѣдующихъ: «Войскій трубитъ въ рогъ» и «Жидъ играетъ на цимбалахъ». Эти переводы показалъ онъ профессору Шевыреву. Тотъ ихъ одобрилъ и напечаталъ въ «Москвитянинѣ», но скрылъ, откуда они. «Литовскіе лѣса» превратились въ украинскіе, а «Облака Литвы» измѣнились въ «Родныя небеса». Бергъ прибавляетъ, что цензора объ этомъ ничего не узнали и что, когда отрывки появились въ печати: «только одни поляки-студенты мнѣ подмигивали и потирали руки».

Около тридцати лѣтъ занимался Бергъ переводомъ «Пана Тадеуша» въ разные періоды своей писательской жизни. И только въ 1872 году, живя въ окрестностяхъ Вѣны, на водахъ, въ городкѣ Баденѣ, онъ двинулъ на столько впередъ свою работу, что, воротясь въ Варшаву, написалъ, какъ онъ выражается, «послѣднюю тысячу» стиховъ. Тѣмъ временемъ, онъ дружески сошелся и съ Одынцемъ, который былъ товарищемъ его странствій по Литвѣ и Швейцаріи. Когда Бергъ читалъ Одынцу переводы изъ «Тадеуша», старикъ нерѣдко плакалъ, слушая ихъ. «Разъ до того разстроило его мое чтеніе, говоритъ Бергъ, что онъ ушелъ въ другую комнату, легъ на диванъ и долго не могъ придти въ себя...»

«Воспоминаніе объ этихъ минутахъ—заканчиваетъ Бергъ свою интимную замѣтку — и моя любовь къ Одынцу, человѣку чистѣйшей души и помысловъ, благороднѣйшему и просвѣщеннѣйшему—заставили меня посвятить ему послѣднее полное изданіе «Тадеуша» по-русски. Въ области искусства странно думать о націи, о какой-бы то ни было розни. Даже, оставя все это и личныя наши отношенія въ сторонѣ, ничье имя, по моему, нельзя такъ кстати поставить на первой страницѣ русскаго перевода знаменитой славянской поэмы, какъ имя «послѣдняго Вайделота Литвы», гдѣ происходитъ дѣйствіе поэмы Вайделота, на которомъ *что-то осталось*, какой-то блескъ лучей его геніальнаго друга и той счастливой для поэзіи эпохи».

Бергъ самъ признаетъ, что, если-бы не настроеніе нашего общества къ 60-мъ годамъ, онъ, быть можетъ, забылъ-бы про то, что уже перевелъ изъ «Пана Тадеуша».

«По возвращеніи съ востока—говоритъ онъ—въ срединѣ 1861 года я попалъ въ Москву, во время воскресенія изъ мертвыхъ «Общества Любителей Россійской Словесности». Тогда многое пробуждалось къ жизни. По Россіи несся особый, небывалый духъ».

Позвольте мнѣ спросить: что же мѣшаетъ, чтобы этотъ *духъ* снова согрѣлъ всѣхъ русскихъ моихъ слушателей; покрайней мѣрѣ, въ дѣлѣ искренняго пониманія и теплаго общенія съ областью изящнаго, въ родственной намъ, по языку, литературѣ? Ничто не мѣшаетъ такому сближенію, и все зоветъ къ нему; и прежде всего любовь къ прекрасному слову, выбранная

девизомъ нашимъ «Обществомъ» [1]), которое уже въ 1861 году, по свидѣтельству переводчика «Пана Тадеуша», привѣтствовала отрывки изъ этой поэмы сочувственными рукоплесканіями. Внѣшнія событія могутъ производить печальные и безплодные перерывы въ такомъ общеніи, но духъ сочувствія и пониманія долженъ взять верхъ: такова надежда всѣхъ искреннихъ друзей поэзіи!...

11 ноября 1893 года. П. Боборыкинъ.

---

[1]) Т. е. «Обществомъ Любителей Россійской Словесности».

ЛУШКА.

Было часовъ шесть вечера. Солнце стояло еще высоко, но жара уже спала. Вся деревня словно вымерла: взрослые ушли на сѣнокосъ, дѣти разсыпались по задворкамъ, собаки заснули. На широкой улицѣ было тихо, покойно, просторно.

Вдругъ изъ-за пригорка поднялось сѣроватое облачко пыли, послышались веселые голоса, донесся мягкій лошадиный топотъ. Отъ крайней избы деревни рванулась собака и залилась звонкимъ лаемъ. Ей сейчасъ-же отвѣтили другія и всѣ понеслись на встрѣчу подъѣзжавшей кавалькадѣ. Двѣ дѣвушки въ свѣтлыхъ амазонкахъ и трое мужчинъ въ кителяхъ шумно и весело подскакали къ деревнѣ.

— Волковскіе господа! — раздался гдѣ-то радостный дѣтскій возгласъ.

— Волковскіе! Волковскіе! — какъ эхо прозвучали жиденькіе голосенки, и черезъ нѣсколько секундъ, цѣлая толпа ребятишекъ высыпала на улицу.

Дѣти отлично знали, что эти „Волковскіе господа“, каждое лѣто пріѣзжали въ свою калужскую усадьбу изъ Петербурга; ребятишки видали ихъ чуть не каждый день въ своей деревнѣ, но всякій разъ появленіе господъ на широкой улицѣ было событіемъ въ дѣтской жизни, и дѣти, со всѣхъ ногъ, бросались на встрѣчу господамъ, а потомъ долго, долго вспоминали о всѣхъ мелочахъ этого появленія.

— Дѣтки! А что-же земляники намъ не носите? — крикнула одна изъ амазонокъ, придерживая немного лошадь.

— Не водъ имъ еще, — отвѣтила дѣвочка изъ старшихъ.

— Мало назрѣли, — пояснилъ одинъ изъ мальчиковъ.

— А вы поищите... Я видѣла, есть красныя... На пряники получите...

Верховые скрылись за поворотомъ улицы. Пыль потихоньку осѣдала назадъ, на землю. Ребятишки собрались въ кучку и бойко, почти всѣ разомъ, обсуждали что-то.

— Лѣтось всякъ разъ двугривенный! Всякъ разъ!.. — вдыхая въ себя воздухъ, говорила дѣвочка лѣтъ восьми, девяти.

— Однова молодой баринъ Фроськѣ бумажку далъ... Видалъ: бѣлый картузъ съ краснымъ околомъ?

— Сергѣй Митричъ...

— Ба-а-гачъ!

Дѣти, конечно, наизустъ знали, какъ и когда баринъ Сергѣй Дмитріевичъ подарилъ Фроськѣ рубль, но имъ пріятно было при всякомъ удобномъ случаѣ вспоминать про это.

— Вотъ ягода пойдетъ, таскать имъ будемъ...

— Сбѣгаемъ!

— Вчерась Дунька съ десятокъ ягодинъ нашла...

— Пойдемъ, ребята?

— А скотину пригонятъ... Вонъ солнце куда ушло...

— Эва! Успѣемъ!

— Заругаются!

— Барановъ загонять, кто будетъ?!

— Только на барскій пригорокъ...—настаивалъ одинъ изъ мальчиковъ. — Сенька! Смахаемъ!

Сенька, не колеблясь, бросился за говорившимъ. Черезъ секунду за ними ринулась и вся орава. Они бѣжали, точно на пожаръ, толкая и перегоняя другъ друга.

— Ну, Лушка! Прочь съ дороги! — крикнулъ мальчикъ лѣтъ десяти, быстрымъ движеніемъ отталкивая бѣжавшую передъ нимъ дѣвочку.

Лушка упала и уронила свертокъ, закутанный въ грязныя, коричневыя тряпки. Изъ-подъ нихъ послышался слабый пискъ ребенка.

— У! Чортова голова! — раздраженно прошепелявила дѣвочка, быстро хватая съ земли свою ношу. — Дьяволъ! — прибавила она, сама не зная кому посылаетъ эти ругательства.

Она присѣла на корточки и стала на-скоро обвивать драное, ситцевое одѣяло кругомъ поднятаго съ земли свертка.

— Растерялась! — услышала она веселый дѣтскій голосъ, и посмотрѣла вслѣдъ убѣгавшимъ ребятишкамъ.

Она сообразила, что ей не догнать ихъ. Да и тяжело бѣжать по кочкамъ съ ребенкомъ на рукахъ. Лучше вернуться въ деревню, хоть тамъ и пусто, и тоскливо. Въ избѣ сидѣть жутко: свѣта проходитъ очень мало черезъ маленькія оконца, съ тусклыми стеклами, да и стекла-то на половину выбиты и замѣнены сахарной бумагой. На сыромъ земляномъ полу босымъ ногамъ холодно. Матери, конечно, не дождаться до ночи. Федька будетъ орать: голодъ-то не тетка! А чѣмъ глотку заткнешь? Пока мать не вернется, дома и сухой корки не найдешь.

Дѣвочка тихо поплелась къ деревнѣ, тяжело волоча свои грязныя, худыя ноженки.

Лушкѣ, по лицу, было лѣтъ четырнадцать, а по росту и сложенію лѣтъ семь. На самомъ-же дѣлѣ ей со святокъ шелъ десятый. На маленькомъ, худенькомъ тѣльцѣ неуклюже сидѣла большая голова, съ умными, задумчивыми глазами. Около дѣтскаго пухлаго рта уже легли грустныя складки; блѣдныя щеки ввалились. Во всемъ лицѣ было что-то дѣтски-старческое, озлобленно-несчастное. Одѣта она была, какъ взрослая, какъ подгородняя баба: въ ситцевую кофту и длинную юбку. Правое плечо у ней опустилось значительно ниже лѣваго, за что ее и прозвали въ деревнѣ—въ отличіе отъ другой Лушки—„Лушка кривая". А она очень хорошо знала, почему она кривая; „дохторша", еще два года тому назадъ, объяснила это ея матери, и Лушка запомнила:—она съ пяти лѣтъ таскала ребенка на лѣвой рукѣ. Ну и скривилась.

Отца она не помнила, даже не знала былъ-ли у нея когда-нибудь отецъ. Жила она съ матерью, Авдотьей-солдаткой, на самомъ краю деревни, въ полуразвалившейся избѣ, съ двумя оконцами. Ни скотины, ни хозяйства у нихъ не было. Мать никогда не сидѣла дома. Бывало спросятъ Лушку:

— Гдѣ мать-то?

— А песъ ее знаетъ, гдѣ ее носитъ.

И правда, дочь никогда не знала, что дѣлала и гдѣ бывала мать. Скажетъ, что стирала поденно у господъ, или у попа, въ сосѣднемъ селѣ, стряпухѣ помогала, а сама придетъ усталая, растрепанная, иногда вся изодранная. И тогда Лушка хоть на глаза не попадайся: за каждое слово достанется. Впрочемъ, теперь это не очень-то пугаетъ Лушку. Прежде она, бывало, убѣгала отъ матери, пряталась, заслышавъ ея грубый, громкій голосъ. Теперь-же дѣвочка первая накидывалась на нее. Еще вчера, при сосѣдкѣ Марьѣ, какъ Лушка встрѣтила мать:

— Гдѣ шлялась-то? Дѣти о сю пору не ѣмши сидятъ, а мать не знамо гдѣ шляется!

Правда, и досталось Лушкѣ. До сихъ поръ на лѣвомъ вискѣ кожа припухла, ужъ очень здоровый клокъ мать выдрала. Да и Лушка въ долгу не осталась. Мать успѣла улечься и заснуть, а дѣвочка все еще „страмила" ее. Все, что она слышала въ деревнѣ про мать, все, что бабы, не стѣсняясь ребенка, говорили про Авдотью-солдатку, она злорадно высыпала передъ нею. И не зареви Федька, Лушкѣ, кажется, не остановиться-бы до утра. А онъ точно обидѣлся за мать, такъ рявкнулъ, что его пришлось вынуть изъ качалки и побаюкать

на рукахъ. Лушка понимала, что братецъ реветъ не отъ обиды, а просто „жрать“ хочетъ. Вѣдь цѣлый день пустую тряпку сосетъ!

Дѣвочка тихо подошла къ матери, вытащила у нея изъ-подъ головы свернутую въ комокъ юбку и отыскала карманъ. Она знала, что, какъ-бы зла или пьяна ни возвращалась мамка домой, у нея все-таки въ карманѣ припасено что-нибудь для дѣтей. И вчера тамъ оказались двѣ баранки и кусокъ полубѣлаго хлѣба. Лушка быстро схватила хлѣбъ въ ротъ, усердно разжевала его, съ дѣловымъ видомъ выплюнула все въ тряпочку, закрутила, перевязала ниткой и сунула въ ротъ Федькѣ. Онъ сейчасъ-же успокоился. Тогда Лушка, не торопясь, взяла въ ковшикъ воды, сѣла, поджавъ ноги, на лавку и стала ужинать баранками, запивая ихъ водой.

Когда, на разсвѣтѣ, Авдотья проснулась, Лушка спала возлѣ нея, свернувшись въ клубочекъ и подсунувъ голову ей подъ мышку. Мать ласково улыбнулась и тихо, тихо слѣзла съ печи, чтобы не побезпокоить дѣвочку.

Рано утромъ Лушка вскочила отъ Федькиныхъ криковъ; Авдотьи уже не было въ деревнѣ.

Теперь, возвращаясь домой, дѣвочка опять загорѣлась обидой противъ матери. Утромъ она жалѣла ее. Она чутьемъ понимала, что Авдотьѣ тяжело дома, тяжело въ родной деревнѣ. Бѣднота создала ей множество враговъ. Дѣтей кормили, изъ милости, сосѣди и не могли не тяготиться этимъ. У самихъ голь, а тутъ чужихъ корми. И хоть-бы отъ солдатки благодарность какая. Нѣтъ: наровитъ еще стащить съ огорода что-нибудь. А скажи слово,—такъ облаетъ, что не будешь знать куда и дѣться. Въ ругани, да въ крикахъ никто не перещеголяетъ Авдотью; ей терять нечего, она давно уже баба „пропащая“. Луша понимала, отчего мать терпѣть не могла своей деревни и знала, что она не разрываетъ связи съ ней только изъ-за нея и Федьки. Не будь ихъ, — мать давно-бы ушла въ городъ, въ прачки. Она уже разъ сто это говорила. А съ ребятами куда пойдешь?

Ее больше всего раздражало, когда мать начинала толстѣть: значитъ, опять Лушкѣ готовится кабала. Вотъ уже пятый годъ, что она въ этомъ ярмѣ. Федька былъ четвертымъ братцемъ; троихъ первыхъ Богъ прибиралъ скоро. Смерть ихъ не особенно огорчала Авдотью. Она продѣлывала все „честь честью“: ревѣла, хоронила и напивалась. А черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опять сдавала на попеченіе Лушки маленькое, красное существо.

— Очень ты убивалась по Гараськѣ, нà тебѣ новаго, чтобы скучно не было, — сказала дѣвочкѣ Авдотья, когда родился Федька.

И вотъ уже седьмой мѣсяцъ, что она возится съ этимъ Федькой.

Еще ни одинъ не жилъ такъ долго. Первые трое и до полугода не доживали. А этотъ живетъ и толстѣетъ.

„И отчего-бы это?“ наивно думаетъ Лушка. Точно такъ же, какъ и тѣ, онъ съ самаго рожденія питается соской; такъ же, какъ и покойнымъ „братцамъ“ Лушка нажуетъ утромъ хлѣба, завернетъ въ прокислую вчерашнюю тряпку и сунетъ ему въ ротъ; тѣмъ весь день и сытъ. Точно также плачетъ онъ иногда цѣлыми часами, а Лушка не умѣетъ, а иногда, просто и не хочетъ унять его: „ори на здоровье! Не великъ баринъ!“ И все-таки Федька растетъ, да круглѣетъ. Только бѣлъ очень. И эта бѣлизна безотчетно тревожила Лушку. Она постоянно жалѣла Федьку, хотя постоянно злилась на него. Злилась за то, что должна была весь день носить его на рукахъ, что ее звали „кривая нянька“, что не могла ни бѣгать, ни играть съ дѣтьми, что не имѣла ни минуты свободной. Первый „братецъ“, Ваня, занималъ Лушку, какъ кукла; онъ былъ такой худенькій, маленькій и умеръ на четвертомъ мѣсяцѣ. Петька и Гараська жили подольше, но жили зимой, а къ лѣту и тотъ, и другой „прибрались“ и освободили Лушку. А Федька опять отнялъ у нея эту свободу, закабалилъ ее, сдѣлалъ рабой.

„Птаха летитъ, куда вздумается, вѣтеръ въ полѣ гуляетъ, какъ захочется“, — думаетъ Лушка, „а я-то?“

Она чувствовала себя связанной по рукамъ и по ногамъ и озлоблялась съ каждымъ днемъ все больше и больше.

„Вотъ помретъ—и ты бѣгать съ ребятками будешь“, вспомнила она слова матери и злобно посмотрѣла по направленію къ барскому пригорку.

Дѣти вбѣжали въ деревню со смѣхомъ и веселымъ лепетомъ. Ягодъ было мало, но все-таки набрали нѣсколько горсточекъ. Одинъ изъ старшихъ мальчиковъ бережно несъ ихъ въ цвѣтномъ платкѣ.

— Танька! Тащи тарелку... знаешь ту, съ узоромъ.

Когда дѣвочка принесла тарелку съ синими разводами, вся дѣтская компанія—человѣкъ пятнадцать—разсѣлась въ кружокъ на землѣ, и принялась за раскладываніе ягодъ. Кто не могъ достать рукою, давалъ совѣты.

— Надо рядочками, поаккуратнѣе.

— Переверни ее... Переверни краснымъ-то бокомъ...

— Ишь, ягодка важная!..

— Самъ-бы ѣлъ, да деньги надо, — сказалъ одинъ изъ мальчиковъ, съ интонаціями дѣловитаго мужика.

Спускался тихій іюньскій вечеръ. Въ немъ было разлито что-то радостное, веселое. Курчавыя головки дѣтей, ихъ оживленныя лица и беззаботныя улыбки освѣщались розоватымъ свѣтомъ заходящаго

солнца. Розоватыя пятна разбросались и по избамъ, и по зеленой травѣ.

Лушка сидѣла шагахъ въ десяти отъ ребятишекъ и, вытянувъ шею, слѣдила за каждымъ ихъ движеніемъ. Въ ушахъ ея засѣло: „всякъ разъ двугривенный“, и она понимала, что всѣ эти приготовленія прямо ведутъ къ двугривенному. А, главное, она помнила, что прошлаго года Волковская барышня дала Ѳедосьиной Машѣ, кромѣ денегъ, красную ленту. Каждый праздникъ Маша надѣвала эту ленту на голову и мучила завистью сердце Лушки. Она видѣла, какъ „франтили“ дѣвки въ ихъ деревнѣ: плисовыя безрукавки, кумачныя рубашки, паневы, обшитыя галуномъ, селезнёвыя перышки на головѣ. За старшими тянулись и младшія: хоть не доѣдятъ, да „прифрантятся“. И Лушка отдала-бы все на свѣтѣ, чтобы быть „не хуже людей“. Она только и слышала про себя, что кривая, да некрасивая, „какъ смертный грѣхъ“. Ей казалось, что все это только отъ того, что она ходитъ въ грязныхъ, рваныхъ обноскахъ, а „будь у нея настоящая одежа“—посмотрѣли-бы на кривую няньку! не узнали-бы! И, не смотря на постоянный голодъ, она никогда не мечтала ни о чемъ другомъ, кромѣ красной рубашки, или „веселенькаго ситчика“. Она знала, что поѣсть дѣло возможное: выпросишь хлѣбца, стащишь рѣдьку съ огорода и будешь сыта, а кумачная рубаха казалась ей недосягаемымъ блаженствомъ.

Разъ, близъ церкви, она нашла гривенникъ, и эта свѣтленькая монетка создала ей цѣлые замки изъ кумача и цвѣтного ситца. Она постоянно думала, тутъ-ли ея богатство, не потеряла-ли она гривенничекъ? Она тщательно прятала его отъ матери (знала, что та отниметъ) и не сходила съ улицы, ожидая разносчика „съ товаромъ“. Наконецъ, онъ явился. Все женское населеніе деревни окружило его. Протолкалась къ нему и Лушка.

— Давай-ка кумачу, — съ чувствомъ собственнаго достоинства проговорила дѣвочка.

Дружный хохотъ покрылъ ея слова.

— Никакъ наша Лукерья наслѣдство получила, — сказала одна изъ бабъ.

— Небось украла!

— Давай, давай, нечего... — понукала торговца Лушка, вся красная отъ обиды и злобы.

— Да не слушай ты ее... На ней и рубахи-то нѣтъ, а туда-же— кумачу!

Всѣ опять громко расхохотались. Торговецъ взглянулъ на Лушку и искренно разсмѣялся, увидѣвъ кривобокую дѣвочку, въ грязныхъ

лохмотьяхъ; изъ-подъ нихъ, мѣстами, виднѣлось худое, темное тѣло. И такъ важно требуетъ кумачу.

— Небось не ѣмши сидитъ, а тоже за обновкой пришла!.. Намедни Ѳедосьину курицу пымали, голову свернули, да сварили... Тѣмъ, можетъ, и по сю пору сыты.

— Цто врёсъ-то?!—прошепелявила дѣвочка.—Ѳедосьину? Какую Ѳедосьину? Матренину!

— Обѣлилась! Нечего сказать!..

Въ это время разносчикъ развернулъ такой пестрый, шерстяной платокъ, что всѣ ахнули и забыли Лушку. Но она не унималась, заходила къ продавцу то съ одной стороны, то съ другой и, наконецъ, протискалась къ самому его плечу. Онъ съ доброй улыбкой взглянулъ на нее. Тогда дѣвочка разжала кулакъ и, съ торжествующимъ видомъ, показала гривенникъ. Торговецъ усмѣхнулся.

— Ишь, богачиха! Что-жъ тебѣ на этотъ капиталъ сарафанъ кумачный желательно?

Лушка молчала, смущенная, разочарованная. Она точно съ неба свалилась. Такъ долго мечтала она о могуществѣ своей монетки и, вдругъ, кромѣ насмѣшки — ничего! И она, выросшая на насмѣшкахъ и брани, тутъ не выдержала, вся задрожала, поблѣднѣла, чуть не расплакалась.

— Ну, хоть платочекъ! — униженно прошептала она.

Разносчикъ сжалился надъ ней, далъ ей красный платокъ, и хоть мать сейчасъ-же отняла его отъ нея, но съ тѣхъ поръ мысль о возможности вымѣнять гривенникъ на красный платокъ, а если этихъ гривенниковъ много, то и на цѣлое платье,—крѣпко засѣла въ головѣ Лушки. Пришла она къ ней и теперь, при видѣ ребятишекъ: набрали ягодъ, раскладываютъ, и „всякъ разъ двугривенный!“ И ей-бы досталось, если-бъ не пузатый Федька! Куда съ нимъ пойдешь? Сиди да няньчи! Оставишь—реветъ, сердце надрываетъ. Какъ-то попробовала она бросить его одного, да и сама была не рада: Федька такъ кричалъ безъ нея, что когда она пришла, онъ до того намучился, что только стоналъ и всю ночь самъ не спалъ и не далъ спать Лушкѣ. А тутъ еще сосѣдка нажаловалась матери, и та избила ее; дѣвочка чуть не цѣлую недѣлю ходила въ синякахъ, и вся деревня смѣялась надъ нею.

— Вотъ Господь приберетъ, тогда и гуляй себѣ на здоровье,— опять сказала ей мать.

Эти слова часто приходили Лушкѣ въ голову. Она вѣрила имъ, какъ обѣщанію, которое кто-то долженъ исполнить, и ее очень удивляло, что оно не исполняется. Ужъ она и въ церковь ходила, и искренно шептала, глядя куда-то наверхъ:

— Николай Чудотворецъ! Мать Пресвятая Богородица! Прибери Федьку.

Изъ церкви она выходила радостная и примиренная, и весь день ласково и любовно няньчила брата. Она съ жалостью глядѣла на его пухлое личико съ беззубымъ ртомъ, цѣловала его, зная, что скоро придется разстаться съ нимъ.

Но день шелъ за днемъ, а Федька и не думалъ „убираться“. Лушку это и удивляло, и раздражало. Въ сердце заползла горечь несбывшейся надежды, обиды отъ обмана, отъ того, что кто-то не исполнилъ даннаго обѣщанія. Иногда она просто ненавидѣла Федьку. Когда утромъ она просыпалась отъ его крика, она злобно вскакивала, выхватывала мальчика изъ зыбки, грубо завертывала въ непросохшую тряпку и весь день сидѣла съ нимъ въ избѣ.

Она слышала дѣтскіе голоса на улицѣ, видѣла черезъ оконце, какъ ребятишки собираются, играютъ, уходятъ въ лѣсъ, на село, и злобно сидѣла въ своемъ добровольномъ заточеніи. Она слышала, какъ дѣти разсказывали про „Волковскихъ господъ“, что они пляшутъ чуть не каждый день, что къ нимъ изъ города „пріѣзжаетъ музыка“, что они „страсть, какъ веселятся“; дѣти постоянно говорили о томъ, какіе господа добрые, какъ они „не обижаютъ народъ“, какъ балуютъ ребятишекъ. Лушка съ жадностью слушала все это черезъ свое оконце, мучилась безконечно и, все-таки, продолжала сидѣть въ полутемной, сырой избушкѣ.

Пришелъ Ильинъ день. Въ селѣ былъ храмовой праздникъ. На главной улицѣ раскинулись палатки съ пряниками, орѣхами, стручками, со всякими деревенскими лакомствами. Народъ съ утра бродилъ по селу, распѣвая пѣсни и пощелкивая орѣхи и подсолнухи. Вся улица уже была усыпана шелухой; разноцвѣтные наряды весело пестрѣли на солнцѣ. Слышались нестройные, безшабашные звуки гармоніи, визгливыя пѣсни, беззаботный смѣхъ, громкія шутки.

Въ веселой, яркой толпѣ робко бродила кривобокая дѣвочка, съ грязнымъ растрепаннымъ сверткомъ на лѣвой рукѣ. Она исподлобья поглядывала на груды розовыхъ пряниковъ, на веселыя лица, на цвѣтные наряды. Она еле-еле передвигала ноги, точно ее пригнетало къ землѣ ея драное платье, неуклюжая кофта съ чужого плеча, грузный свертокъ на лѣвой рукѣ. Она прокрадывалась къ палаткамъ бокомъ, нерѣшительно и глазъ не могла оторвать отъ вкусныхъ грудъ леденцовъ, орѣховъ, стручковъ.

— Лукерья Петровна! Наше вамъ! — пошутилъ съ ней какой-то парень.

Дѣвочка вздрогнула и съ испугомъ скользнула въ сторону.

— Господа погулять съ нами пришли, — послышалось въ толпѣ.

— Пряники закупаютъ... Полакомиться тоже хотятъ...

— Ребятишекъ угощать будутъ... Вишь кругъ себя собираютъ...

Пестрая толпа бѣлоголовыхъ дѣтей собралась около „Волковскихъ господъ". Одинъ изъ молодыхъ людей — тотъ, кого ребятишки звали „Сергѣй Митричъ" — держалъ громадный свертокъ съ пряниками, другой насыпалъ себѣ полную шапку орѣховъ; барышни стали выкликать дѣтей, назначая первое, пришедшее въ голову имя.

— Маша! Выходи!

Явилось три Маши. Это показалось забавнымъ. „Господа" привѣтливо надѣлили каждую дѣвочку пряниками и орѣхами.

— Ну, теперь, Ваня выходи!

И Ваней оказалось тоже трое.

— Три Ивана да Марьи! — съострилъ одинъ изъ молодыхъ людей.

Всѣ засмѣялись. Дѣти не разслыхали, или не поняли, чему смѣются „господа", но все-таки и сами дружно захохотали.

— А Катя есть? — спросила „Волковская барышня", Катерина Николаевна, которую всѣ ребятишки боготворили за ея доброту.

— Есть... — послышалось среди ребятишекъ.

— Катюшка, выходи... — сказалъ мальчикъ лѣтъ девяти, выталкивая впередъ четырехлѣтнюю дѣвочку.

Она степенно сложила ручки на толстомъ, выпятившемся животѣ, и, переваливаясь на грязныхъ босыхъ ноженкахъ, серьезно подошла къ барышнѣ.

— Здравствуй, тёзка! — ласково сказала ей Катерина Николаевна. — Во что-жъ тебѣ насыпать?

Дѣвочка молча смотрѣла на барышню. Пряди вьющихся волосъ льняного цвѣта падали ей на лицо; изъ-подъ нихъ серьезно выглядывали ясные дѣтскіе глазки. Катерина Николаевна опустилась передъ дѣвочкой на корточки и поцѣловала ее.

— У тебя и фартука нѣтъ... Куда-же я тебѣ гостинцы положу?

Дѣвочка протянула впередъ обѣ руки и растопырила пальцы.

— Ахъ ты, милая! Да много-ли въ твои рученки положишь?

Ребятишки искренно и громко расхохотались. Барышня вынула изъ кармана цвѣтной, носовой платокъ, насыпала въ него пряниковъ и орѣховъ, завязала узломъ и отдала Катѣ.

Потомъ вызывались: Саша, Дуня, Груша, Параша, — всѣ имена, какія только приходили на умъ „господамъ".

— А ты, что-же, дѣвочка, не подходишь? — наконецъ, обратился баринъ „Сергѣй Митричъ" къ Лушѣ. — Тебя какъ зовутъ?

— Лушкой, — невнятно произнесла дѣвочка и подвинулась впередъ.

— Душкой?!

Раздался дружный хохотъ. Дѣвочка молчала.

— Лушкой, Лукерьей, — объяснилъ одинъ изъ мальчиковъ.

— Ну, подойди сюда, Луша... Что-жъ ты суровая такая? Ты нянюшка?

Дѣти были теперь въ такомъ настроеніи, что каждый пустякъ вызывалъ ихъ искренній и заразительный хохотъ.

— Нянюшка! Нянюшка! — съ дружнымъ смѣхомъ подхватили они.

— Лушка-нянюшка!

Молодому барину понравился дѣтскій смѣхъ, и онъ продолжалъ добродушно шутить съ Лушкой.

— Ты, няня, строга больно! Я тебя боюсь!

Раздался опять дружный хохотъ. Загорѣлое, не по росту большое, лицо Лушки исказилось злобой. Она взглянула на говорившаго, на хохотавшихъ дѣтей и зло пробормотала себѣ подъ носъ:

— Церти проклятые!

Это еще больше разсмѣшило всѣхъ: и дѣтей, и господъ.

— Ай да няня!

— Няня! Няня!..

— Чего-же ты ругаешься, няня? Подойди сюда...—продолжалъ Сергѣй Дмитріевичъ.

Лушка оглянулась кругомъ на всѣ эти смѣющіяся лица съ открытыми ртами, съ бѣлыми зубами, и все горе заброшеннаго одиночества, обида подневольнаго существованія всплыли въ ней. Щеки ея сжались въ старческую гримасу, углы губъ опустились, изъ груди вырвались рѣзкія, громкія рыданія.

— Ну, няня заревѣла! — услышала она и увидала, что одинъ изъ господъ хотѣлъ подойти къ ней. Страхъ обиды и насмѣшки, безотчетный страхъ одичалаго звѣрка и оскорбленнаго человѣка охватилъ Лушку, и она, ничего не видя передъ собою, бросилась въ сторону, растолкала толпу и пустилась бѣжать. Она слышала сзади себя веселый, дружный хохотъ и этотъ хохотъ, точно кнутомъ, гналъ ее впередъ.

Солнце уже садилось. Было жарко и томительно душно. Къ ночи ждали грозы. На востокѣ растянулась тяжелая черная туча. Небо было еще ясно, но уже кое-гдѣ показались зловѣщіе „барашки“.

Отъ села до Лушкиной деревни считалось верстъ пять-шесть. Лушка бросилась бѣжать прямо лугомъ, не разбирая ни канавъ, ни овраговъ. У нея въ ушахъ звенѣлъ оскорбительный веселый хохотъ; гдѣ-то близко тянулъ за душу тоскливый, назойливый плачъ. И чѣмъ скорѣе бѣжала она, тѣмъ упорнѣе и надоѣдливѣе этотъ плачъ становился.

— Да замолчи ты! И безъ тебя тошнехонько! — со слезами и горемъ крикнула Лушка и бросила ребенка на землю.

Тотъ заоралъ во все горло. У Лушки въ глазахъ потемнѣло; неистовая, дикая злоба схватила ее, и она, какъ бѣшеная, набросилась на ребенка.

— Поганый! Поганый! „Нянька!“ Черти!—кричала она, рыдая во все горло, и колотила Федьку по головѣ, по лицу, по груди, по чему только попадалъ ея маленькій, но сильный кулакъ.

Глаза у нея блестѣли, кровь прилила къ головѣ, ноздри раздулись. Она ничего не сознавала, и только крики Федьки раздирали ей сердце и раздражали ее до неистовства. И она, точно желая убѣжать отъ этихъ криковъ, какъ убѣжала отъ хохота, схватила ребенка, крѣпко прижала его голову къ своей груди и опять понеслась по лугу. Трава попадала ей между пальцами босыхъ ногъ; Лушка спотыкалась о кочки, падала, вскакивала и бѣжала снова, все крѣпче и сильнѣе прижимая къ себѣ Федьку.

Мальчикъ замолкъ. Лушка остановилась, оглянулась кругомъ, и ей сдѣлалось жутко. Поле было все розовое, тихое, благоуханное. Гдѣ-то высоко, на одномъ мѣстѣ, вился жаворонокъ и заливался звонкою, счастливою пѣсней. Дальше—второй, третій... Пахло медомъ. Лушка осмотрѣлась кругомъ: просторъ, тишина, какой-то жуткій покой; она взглянула наверхъ:—надъ ней висѣла необъятная крышка неба, съ розовыми, причудливыми облаками и огромной черной тучей на краю. Лушка вся задрожала и взглянула на „братца“. Онъ уставился на нее стеклянными глазками; раскрытыя губы полиловѣли, на лицѣ легли темныя тѣни. Дѣвочка поблѣднѣла, какъ полотно, и припала губами къ открытому рту ребенка.

Федька ужъ не дышалъ.

Ек. Лѣткова.

Пугоъ
ярко,
саны

* * *

Тебѣ, я знаю, жить недолго суждено.
Смѣешься-ль ты порой, грустишь-ли одиноко,
Всегда ты намъ чужда, душа твоя далеко.
Такъ тучка въ поздній часъ, когда въ поляхъ темно,
Послѣднимъ золотомъ заката догорая,
Блеститъ одна, землѣ и небесамъ чужая.

Какъ тучка легкая, короткой жизни путь
Проходишь ты, горя красою безучастной.
Боишься ты любви, томя напрасно грудь
Мечтами гордыми и жалостью безстрастной.
Но болѣе, чѣмъ жизнь, чѣмъ свѣтъ и божество,
Твоей души люблю я красоту больную.
И много страждѵ я, и тягостно ревную,
Но измѣнить въ тебѣ не могъ-бы ничего.

Быть можетъ, близокъ день, и я приду съ цвѣтами
Туда, гдѣ цвѣтъ увялъ нездѣшней красоты.
Какъ тучка блѣдная, сольешься съ небесами,
Растаешь въ вѣчности, загадочной, какъ ты.

Н. Минскій.

ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫЙ СТОРОЖЪ ТИЛЬ.

Разсказъ **Г. Гауптмана.**

(Переводъ съ нѣмецкаго).

I.

Каждое воскресенье желѣзнодорожный сторожъ Тиль сидѣлъ въ церкви Ней-Циттау, исключая тѣ дни, когда онъ справлялъ службу или былъ боленъ и лежалъ въ постели. Въ теченіе 10 лѣтъ онъ былъ боленъ два раза: разъ — огромный кусокъ угля свалился на ходу съ тендера машины, попалъ въ него и, раздробивъ ему ногу, опрокинулъ въ желѣзнодорожный ровъ; другой разъ — бутылка изъ-подъ вина вылетѣла изъ проносившагося мимо скораго поѣзда и попала ему въ грудь. Кромѣ этихъ двухъ несчастныхъ случаевъ, ничто не могло удержать его отъ посѣщенія церкви, разъ онъ былъ свободенъ.

Первыя пять лѣтъ ему приходилось одному дѣлать путь отъ Шёнъ-Шорнстейнъ, колоніи на Шпрее, въ Ней-Циттау. Затѣмъ, въ одинъ прекрасный день явился онъ въ сопровожденіи худенькой и болѣзненной женщины, какъ говорили люди, мало подходившей къ его геркулесовской фигурѣ. Въ одно прекрасное воскресенье онъ торжественно протянулъ предъ алтаремъ руку этой самой женщинѣ для союза на всю жизнь. Два года молодая женщина сидѣла рядомъ съ нимъ на церковной скамьѣ; два года ея лицо, со впалыми щеками, смотрѣло въ старый молитвенникъ рядомъ съ его потемнѣвшимъ отъ непогоды лицомъ. И вотъ внезапно, желѣзнодорожный сторожъ снова сидѣлъ одинъ, какъ прежде: въ одинъ изъ дней минувшей недѣли звонилъ похоронный колоколъ.

Въ сторожѣ, какъ увѣряли люди, почти не замѣчалось перемѣны. Пуговицы его опрятнаго праздничнаго мундира были вычищены такъ-же ярко, какъ и прежде; его рыжіе волосы были намазаны масломъ и зачесаны по военному такъ-же хорошо, какъ всегда; только сталъ онъ ниже склонять свой широкій, волосатый затылокъ и еще ревностнѣе, чѣмъ прежде, слушалъ проповѣди. По общему мнѣнію, смерть жены онъ принялъ не слишкомъ близко къ сердцу, и это мнѣніе получило новую силу,

когда, по истеченіи года, Тиль вторично женился, — на этотъ разъ на толстой сильной женщинѣ, коровницѣ изъ Альте-Грундъ.

Пасторъ позволилъ даже себѣ высказать нѣсколько замѣчаній, когда Тиль пришелъ заявить о вѣнчаніи.

— Такъ вы ужъ снова хотите жениться?

— Съ мертвой мнѣ нельзя вести хозяйства, господинъ пасторъ!

— Да, но мнѣ кажется, вы нѣсколько торопитесь.

— Мальчикъ заботитъ меня, господинъ пасторъ.

Жена Тиля умерла отъ родовъ; мальчикъ, котораго она произвела на свѣтъ, былъ живъ и носилъ имя Товія.

— Ахъ, да, мальчикъ, — сказалъ священникъ и сдѣлалъ движеніе, которое ясно показывало, что онъ старается вспомнить теперь о ребенкѣ.— Это другое дѣло. Гдѣ-жъ вы оставляете его, когда вы на службѣ?

Тиль разсказалъ, какъ онъ отдалъ Товія одной старой женщинѣ, которая разъ чуть не сожгла его, а другой разъ онъ скатился съ ея рукъ на землю, хотя, къ счастію, отдѣлался только большимъ желвакомъ. По его мнѣнію, такъ дальше идти не можетъ, тѣмъ болѣе, что мальчикъ, при своей слабости, нуждается въ особенномъ уходѣ. А кромѣ того, онъ поклялся покойной всегда ревностно заботиться о мальчуганѣ. Вотъ почему онъ и рѣшился на этотъ шагъ.

Противъ новой пары, которая каждое воскресенье приходила въ церковь, люди не могли сказать рѣшительно ничего. Бывшая коровница казалась какъ-бы созданною для сторожа. Она была развѣ только на полъ-головы ниже его, но зато гораздо полнѣе; лицо ея было такъ-же грубо скроено, какъ и его, но этому лицу недоставало души.

Если Тиль питалъ желаніе имѣть въ лицѣ второй жены неутомимую работницу и образцовую хозяйку, это желаніе сбылось какъ нельзя лучше. Но самъ того не подозрѣвая, онъ взялъ за женой три вещи: суровый властолюбивый нравъ, сварливость и грубую чувственность. Прошло полгода, и въ околоткѣ стало извѣстно, кто заправляетъ въ домѣ сторожа. Сторожа жалѣли.

— Счастье дѣвкѣ, что она получила въ мужья такую овцу, какъ Тиль,—толковали возмущенные мужья:—отъ другого ей крѣпко попало-бы. Такого звѣря нужно сдѣлать ручнымъ,— говорили они: — и, если нельзя иначе, то побоями. Нужно вышколить ее.

Однако Тиль, не смотря на его жилистыя руки, былъ далекъ отъ этого. То, изъ-за чего горячились люди, повидимому, не тревожило его. Безконечныя проповѣди жены онъ обыкновенно пропускалъ безъ возраженій, и если отвѣчалъ когда-нибудь, то медлительная мѣрность и тихій, спокойный тонъ его рѣчи представляли разительную противоположность съ крикливой бранчивостью его жены. Внѣшній міръ, повидимому, мало затрогивалъ его; внутри его, казалось, было что-то, вполнѣ вознаграждавшее его за всѣ непріятности супружеской жизни.

Однако, вопреки его обычной флегмѣ, у него бывали мгновенія, когда нельзя было шутить съ нимъ. Это было всегда по поводу вещей, касавшихся маленькаго Товія. Его дѣтски-доброе, уступчивое существо пріобрѣтало тогда какую-то твердость, съ которою не рѣшался считаться даже такой неукротимый характеръ, какой былъ у Лены. Но мгновенія, когда онъ обнаруживалъ эту сторону своего существа, становились все рѣже и рѣже, и, наконецъ, совсѣмъ прекратились. Пассивное сопротивленіе, которое оказывалъ онъ властолюбію Лены въ теченіе перваго года, также прекратилось на второй. Если послѣ ссоры ему не удавалось смягчить ее, онъ не могъ ужъ съ прежнимъ равнодушіемъ идти на службу. Въ концѣ концовъ, онъ нерѣдко унижался до того, что просилъ ее быть опять доброю. Теперь не то, что раньше: его уединенный постъ, среди густой сосновой чащи, сдѣлался для него любимѣйшимъ мѣстомъ. Тихія, полныя любви мысли о покойной женѣ переплетались съ мыслями о живыхъ. Не противъ воли, какъ въ первое время, возвращался онъ туда, но со страстною поспѣшностію, тогда какъ раньше онъ часто считалъ часы и минуты, остававшіяся до смѣны.

Съ первою женой онъ былъ связанъ болѣе духовною любовью, а теперь, поддавшись грубымъ влеченіямъ, попалъ подъ власть Лены. По временамъ совѣсть мучила его за это, и онъ чувствовалъ потребность въ какихъ-нибудь средствахъ, чтобы отдѣлаться отъ нея. Тогда онъ представлялъ себѣ свой сторожевой домикъ и участокъ пути, ввѣренный ему, какъ-бы завѣтною землею, которая должна быть посвящена исключительно тѣни усопшей. Подъ разными предлогами ему, дѣйствительно, удавалось до сихъ поръ не брать съ собою туда вторую жену. Онъ надѣялся, что это будетъ удаваться и впредь. Вѣдь она не знаетъ въ какую сторону идти къ его будкѣ; номеръ ей неизвѣстенъ.

Благодаря тому, что онъ могъ такъ добросовѣстно распредѣлять между живыми и мертвыми время, бывшее въ его распоряженіи, Тиль дѣйствительно успокоивалъ свою совѣсть.

Положимъ, часто, и особенно въ минуты одинокихъ размышленій, когда внутренно онъ былъ въ общеніи съ покойною, онъ видѣлъ въ истинномъ свѣтѣ свое настоящее положеніе и чувствовалъ отвращеніе къ нему. Когда день былъ служебный, его духовное общеніе съ покойною ограничивалось дорогими воспоминаніями изъ времени совмѣстной жизни съ нею. Но среди темноты, когда снѣжный вихрь бушевалъ въ лѣсу и надъ дорогой, въ глубокую полночь, при свѣтѣ лампы, домикъ сторожа обращался въ капеллу.

Передъ выцвѣтшею фотографіей покойной на столѣ, съ раскрытымъ молитвенникомъ и библіею, онъ читалъ и пѣлъ поперемѣнно—всю долгую ночь напролетъ, прерываемый только повременамъ шумомъ проносившихся мимо поѣздовъ, и впадалъ при этомъ въ экстазъ, доходившій до видѣній,

въ которыхъ покойница являлась передъ нимъ живою. Отдаленное положеніе участка, за которымъ сторожъ смотрѣлъ уже десять лѣтъ безъ перерыва, благопріятствовало его мистическимъ склонностямъ. Сторожка его со всѣхъ сторонъ удалена была отъ всякаго человѣческаго жилья, по крайней мѣрѣ на три четверти часа ходьбы, и лежала посреди лѣса. Лѣтомъ цѣлые дни, зимой недѣли никто не проходилъ вдоль полотна, кромѣ сторожа и его помощника. Времена года, возвращавшіяся въ свой чередъ, и перемѣны въ погодѣ вносили почти единственное разнообразіе въ эту пустыню. Нетрудно было пересчитать событія, прерывавшія правильное теченіе службы Тиля, кромѣ двухъ несчастій, о которыхъ было сказано. Четыре года тому назадъ пронесся мимо экстренный императорскій поѣздъ, везшій императора въ Бреславль. Однажды, въ зимнюю ночь, скорымъ поѣздомъ переѣхало оленя. Другой разъ, жаркимъ лѣтнимъ днемъ, осматривая полотно, Тиль нашелъ закупоренную бутылку вина. Она была горяча, изъ чего Тиль заключилъ, что въ ней должно быть что-нибудь хорошее, особенно когда изъ нея забило фонтаномъ, какъ только Тиль вытащилъ пробку: очевидно, что въ ней бродило. Тиль положилъ бутылку, чтобы она остыла, въ мелкомъ мѣстѣ лѣсного озера, около берега,—откуда она какимъ-то образомъ исчезла; и Тиль, спустя годы все еще жалѣлъ о ея потерѣ.

Кое-какія развлеченія доставлялъ сторожу колодезь, находившійся какъ разъ за его сторожкой. Отъ времени до времени телеграфные и желѣзнодорожные рабочіе, занятые по близости, брали изъ него воду, причемъ само собой, завязывался короткій разговоръ. Иногда приходилъ лѣсникъ утолить свою жажду.

Товій развивался медленно; только къ концу второго года научился онъ произносить необходимыя слова и ходить. Къ отцу онъ проявлялъ особенную привязанность. Когда онъ сталъ понятлuвѣе, прежняя любовь отца пробудилась вновь. Но по мѣрѣ того, какъ она росла, любовь мачихи къ Товію уменьшалась, и даже перешла въ открытую непріязнь, когда у Лены къ концу девятаго года родился свой ребенокъ.

Для Товія настало плохое время; особенно доставалось ему въ отсутствіи отца, когда ему приходилось, не слыша ласковаго слова, тратить свои силы на маленькаго крикуна брата; это истощало его все больше и больше. Его голова пріобрѣтала необычайные размѣры; бѣлое, какъ мѣлъ, лицо его, окруженное огненно-красными волосами, было некрасиво и вмѣстѣ со всей фигурой вызывало сожалѣніе. Всякій разъ, какъ слабенькій Товій со своимъ крѣпкимъ братишкой на рукахъ, тащился внизъ къ Шпрее, за окнами избы раздавалась брань. Это близко касалось Тиля, но онъ, какъ будто, ничего не замѣчалъ и старался не понимать намековъ, которые дѣлали ему доброжелательные сосѣди.

II.

Какъ-то разъ іюньскимъ утромъ, въ семь часовъ, пришелъ Тиль со службы. Жена его не успѣла еще кончить привѣтствія, какъ уже принялась за обычную жалобу. Арендный участокъ, доставлявшій до сихъ поръ на семью картофель, нѣсколько недѣль тому назадъ имъ пришлось возвратить, и Лена все еще не могла отыскать новаго. Хотя заботы о полѣ принадлежали къ ея обязанностямъ, но Тиль долженъ былъ десятки разъ выслушивать, что онъ одинъ виноватъ въ томъ, что въ этомъ году они должны тратиться на картофель. Тиль проворчалъ что-то и, мало обращая вниманія на слова Лены, сейчасъ же отправился къ постели своего старшаго сына, на которой онъ спалъ вмѣстѣ съ нимъ въ тѣ ночи, когда не ходилъ на службу. Онъ сѣлъ на кровать и, съ заботливымъ выраженіемъ на добромъ лицѣ, глядѣлъ на спавшаго мальчика; нѣкоторое время онъ отгонялъ отъ него докучливыхъ мухъ, пока не разбудилъ его. Въ голубыхъ, впалыхъ глазахъ проснувшагося ребенка свѣтилась трогательная радость; онъ поспѣшно схватилъ руку отца, и углы губъ его сложились въ печальную улыбку. Сторожъ помогъ ему сейчасъ же надѣть его несложный костюмъ,—но вдругъ, какъ бы тѣнь омрачила его черты, когда онъ замѣтилъ, что на правой щекѣ сына, немного опухшей, обозначились красными пятнами слѣды пальцевъ.

Когда Лена за завтракомъ снова вернулась къ старой темѣ, онъ перебилъ ее, объявивъ, что начальникъ предоставилъ даромъ въ его распоряженіе кусокъ земли вдоль полотна, около самой сторожки; вѣроятно, для самого начальника этотъ участокъ слишкомъ далекъ. Лена сначала не повѣрила, но понемногу ея сомнѣнія исчезли, и расположеніе ея духа замѣтно измѣнилось. Вопросы, великъ-ли участокъ, хороша-ли земля, и другіе, сыпались наперерывъ; а когда она узнала, что тамъ растетъ еще два небольшихъ фруктовыхъ дерева, — она совершенно одурѣла. Когда уже не о чемъ было спрашивать, она побѣжала въ лавочку, чтобы разнести новость по мѣстечку.

Въ то время, какъ Лена входила въ темную лавочку, переполненную всякимъ товаромъ, сторожъ оставался дома, занимаясь исключительно Товіемъ. Мальчуганъ сидѣлъ у него на колѣняхъ и игралъ сосновыми шишками, которыя Тиль принесъ собой изъ лѣса. «Ну, кѣмъ ты будешь?»—спросилъ его отецъ; этотъ вопросъ былъ стереотипенъ, какъ и отвѣтъ мальчика: «начальникомъ дороги»». Вопросъ задавался не шутя, ибо мечты сторожа и въ самомъ дѣлѣ заносились въ такія высоты; онъ вполнѣ серьезно лелѣялъ мечту, что изъ Товія, съ Божіей помощью, выйдетъ что-нибудь необыкновенное. Какъ только отвѣтъ: «начальникомъ дороги» слетѣлъ съ безкровныхъ губъ мальчика, конечно, вовсе не знавшаго, что

значатъ эти слова, лицо Тиля стало проясняться и, наконецъ, оно засіяло внутреннимъ счастіемъ.

«Ступай, Товій, играй»! — сказалъ онъ коротко, раскуривая трубку отъ лучины, которую зажегъ въ печи; и мальчикъ, съ робкой радостью, сейчасъ-же вышелъ изъ избы. Тиль раздѣлся, легъ и долгое время, задумавшись, смотрѣлъ на низкій потолокъ, пока, наконецъ, не заснулъ. Въ полдень онъ проснулся, одѣлся и, въ то время, какъ жена его готовила обѣдъ, вышелъ на улицу и тутъ-же поймалъ Товія, который ковырялъ изъ стѣны известь и совалъ ее въ ротъ. Сторожъ взялъ его за руку и отправился съ нимъ по мѣстечку. Они шли къ Шпрее, сверкавшей, какъ черное стекло, сквозь рѣдкую зелень тополей. На самомъ берегу лежалъ гранитный обломокъ, и Тиль усѣлся на немъ. Все мѣстечко, при маломальски сносной погодѣ привыкло видѣть его на этомъ мѣстѣ. Особенно льнули къ нему дѣти; они всѣ называли его «дядюшка Тиль»; онъ училъ ихъ различнымъ играмъ, которыя помнилъ съ дѣтства. Но самое лучшее изъ того, что онъ помнилъ, онъ припасалъ для Товія; онъ дѣлалъ для него стрѣлы съ перьями, летавшія выше, чѣмъ у другихъ мальчиковъ; онъ вырѣзывалъ ему дудки изъ ивовыхъ вѣтвей и при этомъ всегда припѣвалъ своимъ грубымъ голосомъ. Люди смѣялись, глядя на его чудачества; они не понимали, какъ онъ могъ возиться такъ долго съ этими соплякамп. Въ сущности, однако, они были этимъ довольны; ибо съ нимъ дѣти были подъ хорошимъ присмотромъ; а кромѣ того Тиль, занимался съ ними и серьезными дѣлами: старшимъ помогалъ читать библію и молитвы, а съ маленькими занимался складами: б-а—ба, д-у—ду, и такъ дальше.

Послѣ обѣда сторожъ опять немного спалъ; проснувшись, пилъ послѣобѣденный кофе и сейчасъ-же начиналъ приготовляться, чтобы идти на службу. Какъ для всякаго дѣла, и для этого ему нужно было много времени; каждое движеніе руки установилось уже съ давнихъ поръ. Постоянно, въ одной и той-же послѣдовательности, отправлялись въ карманы его платья предметы, заботливо разставленные на маленькомъ орѣховомъ комодѣ: ножикъ, книжка для отмѣтокъ, гребень, старые часы. Особыми заботами пользовалась маленькая книжечка въ красной бумажной обложкѣ; ночью она лежала у него подъ подушкой, а днемъ онъ носилъ ее всегда въ боковомъ карманѣ форменнаго сюртука. На первой страницѣ неуклюжимъ, но вычурнымъ почеркомъ рукою Тиля было написано: книжка сберегательной кассы Товія Тиля.

Стѣнные часы, съ длиннымъ маятникомъ и пожелтѣвшимъ циферблатомъ, показывали три четверти пятаго, когда Тиль тронулся въ путь. На своей маленькой лодочкѣ онъ переѣхалъ рѣку. Нѣсколько разъ останавливался онъ на противоположномъ берегу и, обернувшись назадъ, прислушивался. Наконецъ, повернулъ онъ на широкую лѣсную дорогу и черезъ

нѣсколько минутъ очутился въ густомъ сосновомъ бору; деревья глухо шумѣли, дрожащія массы хвой были подобны волнамъ темно-зеленаго моря. Неслышно, какъ-бы по войлоку, шелъ Тиль по сырому моху и хвоямъ, покрывавшимъ лѣсную почву. Не обращая вниманія на окружающіе предметы, шелъ онъ своею дорогой—сначала среди коричневыхъ колоннъ высокаго стараго бора, потомъ черезъ густую чащу молодого лѣса, а еще дальше черезъ широкія прогалины, осѣненныя высокими стройными соснами; послѣднія были оставлены для охраны молодой поросли. Отъ земли поднимался паръ голубоватый, прозрачный, напоенный разнообразнѣйшими ароматами; очертанія деревьевъ становились расплывчатыми и неясными. Тяжелое, молочнаго цвѣта, небо нависло надъ самыми верхушками деревьевъ, стаи воронъ какъ-бы плавали въ сѣромъ воздухѣ, безпрерывно испуская рѣзкіе крики. Черныя лужи, образовавшіяся въ углубленіяхъ дороги, отражали и безъ того мрачную картину еще мрачнѣе.

«По погодѣ судя—быть урожаю», подумалъ Тиль, поднявъ голову и какъ-бы пробудившись отъ глубокаго раздумья. Вдругъ мысли его приняли другое направленіе: онъ смутно почувствовалъ, что должно быть что-то позабылъ дома и, дѣйствительно, ощупавъ карманы, онъ не нашелъ бутерброда, который почти всегда бралъ съ собой, въ виду продолжительности дежурства. Онъ простоялъ нѣсколько времени въ нерѣшительности, затѣмъ повернулся и поспѣшилъ назадъ—къ деревнѣ. Быстро достигъ онъ Шпрее, нѣсколькими сильными ударами веселъ переправился черезъ нее и тотчасъ-же, весь въ поту, двинулся по деревенской улицѣ, незамѣтно поднимавшейся кверху. Среди улицы лежалъ старый, опаршивѣвшій пудель лавочника, а на досчатомъ осмоленномъ заборѣ сидѣла сѣрая ворона; она топорщилась, встряхивалась, наклонялась, испускала раздирающіе крики: «кра», «кра», наконецъ, свистя крыльями, поднялась и полетѣла по вѣтру, по направленію къ лѣсу. Изъ обитателей маленькой колоніи, въ которой было всего человѣкъ 20 рыбаковъ и дровосѣковъ съ семьями, не было видно ни души.

Звукъ пронзительнаго голоса такъ рѣзко и громко нарушилъ тишину, что сторожъ невольно остановился. До его слуха донесся цѣлый потокъ грубыхъ, крикливыхъ словъ, вылетавшихъ изъ открытаго слухового окна низенькаго домика, который былъ ему слишкомъ хорошо знакомъ. Ослабивъ, по возможности, шумъ своихъ шаговъ, онъ подкрался ближе и тогда вполнѣ отчетливо различилъ голосъ своей жены. Еще нѣсколько шаговъ—и ея слова стали ему совершенно ясны.

— «Ахъ ты безжалостный, безсердечный негодяй,—надорваться, что-ли, голодному малюткѣ отъ крика? какъ? Подожди, подожди, я научу тебя слушаться! Будешь помнить»! На мгновенье все стихло, потомъ послышался шумъ, какъ будто-бы выколачивали платье, затѣмъ вновь посыпался градъ ругательствъ.—У, несчастный молокососъ,—быстро забара-

банилъ голосъ, — ужъ не думаешь-ли ты, что я изъ-за такого плаксы оставлю голоднымъ мое милое дитя? — Закрой пасть-то — закричала она, когда послышалось слабое всхлипыванье,— или я тебѣ столько всыплю, что ты цѣлую недѣлю помнить будешь»! Всхлипыванье не прекращалось.

Сторожъ чувствовалъ, что сердце его бьется тяжелыми неправильными ударами; онъ началъ дрожать и растерянно уставился въ землю; грубая жесткая рука его нѣсколько разъ откидывала въ сторону клокъ мокрыхъ волосъ, который снова упорно падалъ на его лобъ, покрытый веснушками. Одно мгновеніе, и состояніе это овладѣло-бы имъ, это была судорога, которая заставила надуться его мускулы и сжала пальцы руки въ кулакъ, но она прошла, и снова овладѣло имъ тупое безсиліе.

Невѣрными шагами вошелъ сторожъ въ узкія сѣни, вымощенныя кирпичемъ, и медленно, устало началъ взбираться вверхъ по скрипящей деревянной лѣстницѣ.

— Тьфу, тьфу, тьфу, раздалось снова; при этомъ слышно было, какъ кто-то три раза сряду плюнулъ, съ выраженіемъ гнѣва и презрѣнія.

— Ахъ ты жалкій, гнусный, лукавый, злой, трусливый, дрянной болванъ! — Слова слѣдовали другъ за другомъ все громче и громче. Голосъ иногда даже прерывался отъ раздраженія. — Какъ ты смѣешь бить моего ребенка, ты, жалкій бродяга, осмѣливаешься бить по лицу бѣдное, безпомощное дитя? Не хочу только марать своихъ рукъ о тебя, а то-бы...

Въ это мгновеніе Тиль отворилъ дверь комнаты и конецъ начатаго предложенія, отъ испуга, застрялъ въ горлѣ Лены. Она страшно поблѣднѣла отъ гнѣва, губы ея злобно сжались, правая рука поднялась, снова опустилась, схватила горшокъ съ молокомъ и пыталась наполнить дѣтскій рожокъ; но ей пришлось оставить эту работу, такъ какъ большая часть молока пролилась изъ горлышка на столъ; наскоро вытерши столъ, она, въ страшномъ волненіи, нерѣшительно начала хвататься то за ту, то за другую вещь, наконецъ, она, все-же, на столько оправилась, что напустилась на своего мужа. Что это значитъ, что онъ возвращается домой въ такое необычное время; ужъ не хочетъ-ли онъ подслушивать? «Это было-бы ужъ слишкомъ!» и вслѣдъ затѣмъ она прибавила, что у нея чистая совѣсть, что она ни передъ кѣмъ не опуститъ глазъ.

Тиль едва слышалъ, что она говорила, его глаза бѣгло осматривали рыдавшаго Товія; одно мгновеніе казалось, что онъ съ трудомъ сдерживаетъ что-то ужасное, поднимавшееся въ немъ, затѣмъ, вдругъ, напряженное лицо его приняло свое обычное флегматическое выраженіе, только изрѣдка глаза его загорались затаеннымъ страстнымъ блескомъ. На секунду остановился его взоръ на сильной фигурѣ жены, которая все еще возилась съ разными вещами и не могла придти въ себя. Ея полная, полуобнаженная грудь вздымалась отъ волненія и грозила выскочить изъ корсета, подобранное платье дѣлало ея широкія бедра еще шире. Казалось, отъ

этой женщины исходила непреодолимая роковая сила, которой Тиль не въ силахъ былъ противиться...

Легко, подобно тонкой паутинѣ, и въ то же время крѣпко, какъ желѣзная сѣть, овладѣла имъ эта сила, очаровывая, побѣждая и усыпляя. Въ этомъ состояніи онъ не могъ произнести вообще ни одного слова, особенно грубаго, и Товій, забившись въ уголъ, весь въ слезахъ, видѣлъ, какъ отецъ, даже, не взглянувъ на него, взялъ съ полки забытый хлѣбъ, разсѣянно кивнулъ женѣ и, безъ всякаго объясненія, тотчасъ исчезъ.

III.

Хотя Тиль сильно торопился, все же онъ пришелъ на свой уединенный постъ 15-ью минутами позже положеннаго времени. Еще издали, между стволами деревьевъ, онъ увидѣлъ, блестѣвшій на бѣломъ фонѣ, большой черный нумеръ своего домика На маленькой песчаной платформѣ, около сторожки, стоялъ его помощникъ, собравшійся уже уходить. Тиль чередовался съ нимъ въ дежурствѣ. Это былъ чахоточный человѣкъ, который схватилъ свою болѣзнь вслѣдствіе быстрыхъ перемѣнъ температуры, неизбѣжныхъ при его службѣ. Они пожали другъ другу руки, перекинулись нѣсколькими словами и разстались. Одинъ вошёлъ въ будку, другой перешелъ черезъ полотно и отправился дальше по той дорогѣ, по которой пришелъ Тиль.

Сначала его судорожный кашель слышался довольно близко, затѣмъ все дальше и дальше; вмѣстѣ съ нимъ замолкъ въ этой пустынѣ послѣдній человѣческій звукъ. Тиль, прежде всего, началъ по своему вкусу приготовлять къ ночи узкую, четырехугольную комнату каменной сторожки. Онъ дѣлалъ это механически; мысли его находились подъ впечатлѣніемъ только-что пережитаго. Онъ положилъ свой ужинъ на узкій коричневый столъ, стоявшій у одного изъ двухъ боковыхъ оконъ, изъ которыхъ прекрасно можно было видѣть полотно; затѣмъ, развелъ въ маленькой заржавленной печкѣ огонь и поставилъ туда горшокъ съ холодной водой; наконецъ, привелъ въ порядокъ инструменты—лопату, заступъ, принялся чистить свой фонарь и наполнилъ его керосиномъ. Только что онъ это сдѣлалъ, какъ раздались три пронзительные удара колокола, потомъ они повторились еще разъ. Это значило, что бреславльскій поѣздъ вышелъ съ ближайшей станціи. Не обнаруживая ни малѣйшей поспѣшности, Тиль оставался еще довольно долго въ будкѣ; наконецъ, онъ медленно вышелъ съ флагомъ и сумкой въ рукахъ и лѣнивой походкой направился по песчаной дорожкѣ къ переѣзду черезъ путь, находившемуся шагахъ въ 20 отъ сторожки. Тиль добросовѣстно опускалъ и поднималъ шлагбаумъ до и послѣ прохода каждаго поѣзда, хотя рѣдко кто показывался на этой дорогѣ.

Онъ окончилъ свою работу и, въ ожиданіи, облокотился на полосатый поперечный брусъ шлагбаума. Вправо и влѣво отъ Тиля желѣзнодорожный путь врѣзался въ необозримый зеленый боръ, хвойныя массы какъ-бы раздвинулись, оставивъ свободный проходъ, въ которомъ возвышалась песчаная красновато-коричневая насыпь; черные, параллельно-бѣгущіе рельсы казались громадной петлей желѣзной сѣти, и тонкія нити этой петли сходились на горизонтѣ. Поднялся вѣтеръ. Телеграфные столбы, стоявшіе вдоль полотна, издавали жужжащіе аккорды. На проволокахъ, которыя, какъ ткань гигантскаго паука, протягивались отъ столба къ столбу, густыми рядами лѣпились стаи щебечущихъ пташекъ. Дятелъ пролетѣлъ надъ головой Тиля, но послѣдній не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Солнце, только что выглянувшее изъ-за края громадныхъ облаковъ, чтобы вновь погрузиться въ темно-зеленомъ морѣ лѣсныхъ верхушекъ, разливало надъ лѣсомъ пурпурные потоки свѣта. По ту сторону насыпи аркады изъ сосновыхъ стволовъ зажглись, какъ бы изнутри, и блестѣли, какъ раскаленное желѣзо. Зажглись также и рельсы, подобно огненнымъ змѣямъ, но они скоро потухли, и вотъ пламя начало медленно подниматься отъ земли кверху: сначала бросало оно холодный мерцающій свѣтъ на стволы сосенъ, затѣмъ на зелень, наконецъ красноватые, дрожащіе лучи скользили только по самымъ верхушкамъ. Безмолвно и торжественно развертывалось величественное зрѣлище.

Сторожъ все еще неподвижно стоялъ у шлагбаума, наконецъ онъ сдѣлалъ шагъ впередъ—темная точка на горизонтѣ, тамъ, гдѣ сходились рельсы, увеличивалась; она росла съ каждой секундой, хотя и казалось, что она стоитъ на мѣстѣ. Вдругъ она пришла въ движеніе и стала приближаться. Рельсы задрожали, по нимъ пронеслось жужжаніе, мѣрный звонъ, который, дѣлаясь все громче и громче, сталъ, наконецъ, похожимъ на удары копытъ приближающагося эскадрона всадниковъ. Пыхтѣнье и стукъ доносились издалека, какъ бы толчками, но, вдругъ, тишина нарушилась, неистовый шумъ и ревъ наполнилъ пространство, рельсы погнулись, земля задрожала, сильный порывъ вѣтра, облако пыли, пара, густого дыма..... и черное чудовище, пыхтя, пронеслось мимо. Звуки начали замирать также постепенно, какъ они возрастали. Дымъ вился, поѣздъ превратился въ одну точку, исчезъ въ дали, и прежняя блаженная тишина снова охватила лѣсной уголокъ.

«Мина», прошепталъ сторожъ, какъ-бы пробудившись отъ сна, и пошелъ назадъ въ свою сторожку. Онъ заварилъ жидкій кофе, сѣлъ и, прихлебывая по временамъ, неподвижно смотрѣлъ на грязный лоскутокъ газеты, который онъ подобралъ гдѣ-то на пути. Мало по малу имъ овладѣвало странное безпокойство; онъ приписывалъ это жарѣ, стоявшей въ

комнатѣ, поспѣшно снялъ сюртукъ и жилетъ, но это не помогло. Онъ всталъ, взялъ лопату и отправился на подаренный ему клокъ земли.

Это была узкая песчаная полоса, густо поросшая сорной травой. Какъ бѣлоснѣжной пѣной покрыты были молодымъ цвѣтомъ вѣтви двухъ маленькихъ плодовыхъ деревьевъ. Тиль успокоился, въ душѣ его воцарился миръ. Теперь за работу! Лопата со скрипомъ вонзалась въ почву, мокрые комья глухо падали назадъ и разбивались другъ о друга. Сначала онъ копалъ долго, безъ перерыва, но вдругъ пересталъ и громко, отчетливо, покачивая головой, сказалъ самъ себѣ: «нѣтъ, нѣтъ этого не будетъ» — и снова — «нѣтъ, нѣтъ, конечно, этого не будетъ».

Ему пришло въ голову, что Лена будетъ теперь приходить сюда, чтобы работать на полѣ, и заведенный распорядокъ жизни измѣнится. И внезапно радость обладанія этимъ клочкомъ земли смѣнилась отвращеніемъ къ нему. Поспѣшно, какъ будто-бы его осѣнила мысль, что онъ дѣлаетъ то, чего не слѣдуетъ дѣлать, выдернулъ Тиль лопату изъ земли и понесъ ее обратно въ сторожку. Здѣсь онъ снова погрузился въ мрачную задумчивость. Онъ не зналъ почему, но мысль, что цѣлыми днями будетъ онъ видѣть здѣсь, около себя, Лену, эта мысль, какъ онъ ни пытался примириться съ ней, становилась для него все невыносимѣе. Ему казалось, что онъ защищаетъ что-то безконечно ему дорогое, что посягаютъ на его «святая святыхъ», и невольно слабой судоргой свело его мускулы и изъ губъ вылетѣлъ короткій вызывающій смѣхъ. Испуганный отголоскомъ этого смѣха, онъ оглянулся и потерялъ нить своихъ мыслей; когда онъ ее нашелъ, то снова погрузился въ старыя думы,—и вдругъ, какъ будто разорвалась предъ нимъ на двое плотная черная завѣса, и его затуманеннымъ глазамъ предстала ясная картина. Ему казалось, что онъ, какъ будто, проснулся послѣ двухлѣтняго мертваго сна и теперь, недовѣрчиво покачивая головой, думаетъ обо всемъ томъ ужасномъ, что онъ принужденъ былъ совершить въ этомъ состояніи. Картина страданій его старшаго сына, которую еще болѣе освѣжили впечатлѣнія послѣднихъ часовъ, ярко предстала у него предъ глазами.

Его охватили сострданіе, раскаяніе и жгучій стыдъ за то, что онъ послѣднее время былъ такъ позорно терпѣливъ, что и не думалъ объ этомъ миломъ беззащитномъ существѣ—да! у него не нашлось силы защитить ребенка...

Тяжелая усталость охватила его послѣ этихъ мучительныхъ самообвиненій. Онъ положилъ руки на столъ, прижалъ къ нимъ лобъ и въ такомъ положеніи, съ согнутой спиной, заснулъ. Нѣсколько времени лежалъ онъ такъ, вскрикивая иногда: «Мина».

Въ его ушахъ стоялъ шумъ и свистъ, какъ будто-бы отъ громадныхъ массъ падающей воды; кругомъ было темно; онъ открылъ глаза и проснулся. Онъ дрожалъ, пульсъ бился неровно, лицо было мокро отъ слезъ.

Въ будкѣ ни зги не видно было; онъ хотѣлъ взглянуть въ сторону двери, но не зналъ, куда нужно для этого повернуться. Онъ поднялся, дрожа. Лѣсъ шумѣлъ, какъ прибой волнъ, вѣтеръ съ силой билъ дождемъ и градомъ въ окна домика. Тиль безпомощно ощупывалъ окружающіе предметы. Одно мгновеніе онъ чувствовалъ себя какъ-бы утопающимъ, — вдругъ, какъ капли небеснаго огня, упавшія въ темную земную атмосферу, чтобы тотчасъ-же погаснуть, сверкнуло синеватое блестящее пламя. Достаточно было этого мгновенія, чтобы сторожъ пришелъ въ себя и схватилъ фонарь, который, къ счастью, тотчасъ нашелъ. Въ ту же минуту, на дальнемъ краѣ ночного неба, раздался ударъ грома, пронесся глухой сдержанный рокотъ, затѣмъ ближе — короткіе бурные раскаты, наконецъ, разразились страшные удары, наполнивъ всю атмосферу дребезжаньемъ, грохотомъ и шумомъ.

Тиль зажегъ свѣчку и посмотрѣлъ на часы. Оставалось 5 минутъ до отхода курьерскаго поѣзда. Такъ какъ онъ думалъ, что сигналъ будетъ заглушенъ громомъ, то онъ быстро, насколько дозволяла буря и темнота, направился къ шлагбауму; только что приготовился онъ запереть его, прозвучалъ сигнальный колоколъ. Вѣтеръ разорвалъ звуки и разнесъ ихъ по всѣмъ направленіямъ. Сосны сгибались, и вѣтви ихъ съ непріятнымъ скрипомъ терлись другъ о друга. На одно мгновеніе, среди облаковъ, выглянулъ мѣсяцъ, подобный блѣднозолотой чашѣ.

При его свѣтѣ было видно, какъ дрожали отъ вѣтра верхушки деревъ. Вѣтви березъ вѣяли и качались около насыпи, какъ хвосты призрачныхъ коней. Подъ ними лежали блестящія отъ влаги рельсы, отражая въ иныхъ мѣстахъ блѣдный свѣтъ луны.

Тиль сорвалъ съ головы фуражку, дождь освѣжалъ его и, смѣшиваясь со слезами, орошалъ лицо. Неясныя воспоминанія того, что онъ видѣлъ во снѣ, бродили у него въ головѣ, перегоняя другъ друга. Ему видѣлось, что кто-то пугалъ Товія и такимъ ужаснымъ образомъ, что даже теперь, при воспоминаніи объ этомъ, сердце его замирало. Другое видѣніе вспоминаетъ онъ еще яснѣе. Онъ видѣлъ покойную жену. Она пріѣхала откуда-то издалека, по желѣзной дорогѣ; у нея былъ болѣзненный видъ, и вмѣсто платья — рубище. Она прошла мимо домика Тиля, не оборачиваясь, и здѣсь его воспоминанія дѣлались неясными — она съ большимъ трудомъ, спотыкаясь, подвигалась впередъ. Дальше неслись мысли Тиля, онъ зналъ только, что она въ бѣгахъ; это было внѣ сомнѣнія. Иначе, зачѣмъ ей было съ такимъ ужасомъ оглядываться назадъ и плестись дальше, не смотря на то, что ноги отказывались ей служить. О! эти ужасные взгляды! Но въ рукахъ у нея было что-то, завернутое въ тряпку, что-то безжизненное, окровавленное, блѣдное, и выраженіе, съ которымъ она смотрѣла на свою ношу, вызывало въ немъ воспоминанія о быломъ.

Онъ думалъ объ умирающей женщинѣ, которая принуждена была

оставить своего новорожденнаго ребенка и смотрѣла на него, не сводя глазъ, съ выраженіемъ глубочайшей скорби, съ выраженіемъ, котораго Тиль никогда не забудетъ, какъ не забудетъ своего отца и матери. Куда она ушла? Онъ этого не зналъ; но ему было ясно, что она отреклась отъ него, что она его не замѣчаетъ, а идетъ все впередъ и впередъ въ бурную, темную ночь. Онъ позвалъ ее: «Мина, Мина!» и съ этими словами проснулся.

Два круглыя, красныя пятна пронзали темноту, какъ глаза громаднаго чудовища. Кровавый свѣтъ исходилъ изъ нихъ, превращая дождевыя капли въ капли крови. Казалось, кровавый дождь падалъ съ неба. Ужасъ охватилъ Тиля и, по мѣрѣ приближенія поѣзда, его тревога увеличивалась. Сонъ и дѣйствительность слились у него въ одно. Онъ все еще видѣлъ, какъ бродила предъ нимъ женщина по полотну желѣзной дороги, и его рука искала сумки съ флагами, какъ будто онъ хотѣлъ остановить бѣшеный поѣздъ. Къ счастью, было поздно, предъ глазами Тиля уже рябилъ свѣтъ, поѣздъ промчался мимо.

Остальную часть ночи Тиль не могъ уже спокойно отправлять свою службу. Его тянуло домой. Ему хотѣлось видѣть Товія. Ему казалось, что онъ находится въ разлукѣ съ нимъ цѣлые годы. Чтобы убить время, Тиль рѣшилъ, какъ только начнетъ свѣтать, обойти свой участокъ.

Съ палкой въ лѣвой рукѣ и съ длиннымъ желѣзнымъ ключемъ въ правой, пошелъ онъ по насыпи и потонулъ въ грязновато-сѣромъ полумракѣ. То здѣсь, то тамъ укрѣплялъ онъ ключемъ болты или ударялъ по круглымъ желѣзнымъ прутьямъ, соединяющимъ рельсы.

Дождь и вѣтеръ прекратились, и между разорванными тучами стало появляться, мѣстами, блѣдно-голубое небо. Однообразный стукъ подошвъ о твердый металлъ, сонливый шумъ деревьевъ, ронявшихъ капли, успокоили Тиля. Въ 6 часовъ утра онъ былъ смѣненъ и немедля отправился домой.

Было прекрасное воскресное утро. Облака разсѣялись и скрылись за горизонтомъ. Восходящее солнце сверкало, подобно кроваво-красному драгоцѣнному камню, и разливало потоки свѣта надъ лѣсомъ.

Рѣзкими полосами пробивались пучки солнечныхъ лучей черезъ сѣть деревъ; здѣсь обливали они рдѣющимъ свѣтомъ островокъ нѣжныхъ папоротниковъ, съ опахалами, ввидѣ тонкихъ зубчатыхъ кружевъ, тамъ превращали въ ярко-красные кораллы серебристыя сплетенія лишаевъ лѣсной чащи. Съ верхушекъ стволовъ и травъ капала огненная роса. Цѣлый потокъ свѣта, казалось, разлился надъ землею. Свѣжесть воздуха проникала до самаго сердца. Ночныя картины поблѣднѣли въ воображеніи Тиля. Когда же онъ вошелъ въ комнату и увидѣлъ Товія, который съ красными щечками лежалъ въ освѣщенной солнцемъ кровати, картины эти совершенно исчезли; правда, въ продолженіе дня нѣсколько разъ

Ленѣ казалось, что въ мужѣ совершается что-то необычное: такъ, въ церкви, вмѣсто того, чтобы смотрѣть въ книгу, онъ сбоку посматривалъ на нее, затѣмъ, во время обѣда, не говоря ни одного слова, взялъ изъ рукъ Товія малютку, котораго Товій обыкновенно долженъ былъ выносить на улицу, и посадилъ ей на колѣни. Но все же ничего особеннаго съ Тилемъ не случилось.

Тиль, который въ этотъ день не спалъ, забрался въ постель около 9 часовъ вечера, такъ какъ слѣдующую недѣлю ему приходилось дежурить. Онъ только что началъ засыпать, какъ жена объявила ему, что завтра она хочетъ идти вмѣстѣ съ нимъ въ лѣсъ перекапывать землю и сажать картофель. Тиль вздрогнулъ; онъ совсѣмъ проснулся, но глаза его оставались сомкнутыми.

— Самое настоящее время, — толковала Лена, — если хочешь, чтобы картофель уродился; дѣтей нужно взять съ собою, такъ какъ тамъ придется пробыть цѣлый день.

Сторожъ пробормортал нѣсколько неясныхъ словъ, но Лена не обратила на это вниманія. Она повернулась къ нему спиной и при свѣтѣ сальной свѣчи начала расшнуровывать корсетъ и снимать платье.

Вдругъ, сама не зная почему, она осмотрѣлась кругомъ и увидѣла землистое, искаженное страстью лицо мужа, который, опираясь руками о край кровати, уставился на нее горящими глазами.

— Тиль!—крикнула жена наполовину гнѣвно, наполовину испуганно, и онъ, какъ лунатикъ, котораго назвали по имени, очнулся отъ своего столбняка, заикаясь, пробормоталъ нѣсколько неясныхъ словъ, бросился назадъ въ подушки и съ головой ушелъ подъ одѣяло.

На слѣдующее утро Лена первая поднялась съ кровати.

Безшумно приготовила она все необходимое, чтобы тронуться въ путь. Малютку она уложила въ дѣтскую телѣжку, разбудила и одѣла Товія. Когда послѣдній узналъ, куда они идутъ, то даже засмѣялся отъ радости. Тиль проснулся, когда все уже было готово и кофе стоялъ на столѣ; первымъ чувствомъ, охватившимъ его, при взглядѣ на всѣ эти приготовленія, была досада. Ему очень хотѣлось сказать что-нибудь противъ, но онъ не зналъ съ чего начать. И какіе могъ онъ привести доводы, убѣдительные для Лены.

Лицо Товія сіяло все болѣе и постепенно такъ дѣйствовало на Тиля, что онъ, подъ конецъ, не могъ и думать о какомъ-либо противорѣчіи въ виду той радости, какую доставляла мальчику предстоящая прогулка.

Тѣмъ не менѣе, Тиль безпокоился все время, пока они шли черезъ лѣсъ. Усердно везъ онъ по глубокому песку дѣтскую телѣжку и клалъ въ нее цвѣты, которые собиралъ Товій. Мальчикъ былъ чрезвычайно веселъ, — въ своей коричневой плюшевой шапочкѣ, прыгалъ онъ между папоротниками и гонялся за стрекозами, которыя на своихъ стеклянныхъ

крылышкахъ носились надъ ними. Какъ только они дошли, Лена начала осматривать поле. На опушкѣ маленькой березовой рощицы бросила она мѣшокъ съ картофелемъ, который принесла для посѣва, присѣла и попробовала своими твердыми пальцами, на-ощупь, темноватый песокъ. Тиль напряженно слѣдилъ за ней: «Ну, каковъ?» — «Богатѣйшій, какъ будто съ берега Шпрее!» Гора упала съ плечъ Тиля. Онъ боялся, что жена будетъ ворчать, и теперь самодовольно поглаживалъ свой бритый подбородокъ. Поспѣшно съѣла она краюху хлѣба, сбросила платокъ и кофту и начала копать съ быстротою и выносливостью машины. Время отъ времени она выпрямлялась и глубоко вдыхала воздухъ; но остановки эти были мгновенны, если только не приходилось усмирять малютку,— тогда она торопливо кормила его вспотѣвшею грудью.

— Я пойду, осмотрю путь. Товія возьму съ собой! — закричалъ черезъ минуту сторожъ женѣ съ платформы будки.

— Глупости!—крикнула она въ отвѣтъ.—Кто же останется съ малюткой? Иди сюда,—прибавила она еще громче, но сторожъ, не обративъ на нее никакого вниманія, уходилъ уже съ Товіемъ. Въ первое мгновеніе она хотѣла бѣжать за ними, и только боязнь потерять время заставила ее отказаться отъ этого намѣренія. Тиль шелъ съ Товіемъ вдоль пути; мальчикъ былъ сильно возбужденъ: все было для него ново и необычно. Онъ не зналъ, что это за узкія, черныя, нагрѣтыя солнцемъ полосы. Безъ умолку задавалъ онъ разнообразнѣйшіе странные вопросы. Особенно чуднымъ казался ему звонъ телеграфныхъ столбовъ. Тиль зналъ тонъ каждаго телеграфнаго столба въ своемъ участкѣ, такъ что, хоть съ завязанными глазами могъ бы узнать, въ какой части участка находится. Въ южной части участка столбъ издавалъ особенно тонкіе, прекрасные аккорды. Товій бѣгалъ вокругъ ветхаго столба, надѣясь обнаружить черезъ какое-нибудь отверстіе виновника этихъ пріятныхъ звуковъ.

Тиля охватило какое-то вдохновенное настроеніе, какъ въ церкви. Кромѣ того, по временамъ ему слышался голосъ, напоминавшій голосъ покойной жены. Ему казалось, что это хоръ блаженныхъ духовъ, и съ нимъ сливается ея голосъ; эта картина заставила его плакать отъ умиленія и тоски. Товію захотѣлось цвѣтовъ, которые росли въ сторонѣ, и Тиль, какъ всегда, уступилъ ему. Среди лѣса, мѣстами, попадались точно клочки неба, такъ удивительно густо росли тамъ голубые цвѣты. Между бѣлыми стволами беззвучно порхали бабочки, на березахъ мягко шелестѣли нѣжнозеленые листья. Товій рвалъ цвѣты, а отецъ, задумавшись, смотрѣлъ на него. Иногда, впрочемъ, Товій поднималъ свой взоръ кверху и сквозь листья искалъ небо, которое, какъ исполинская, прозрачно-лазурная чаша, собирало въ себя золотой свѣтъ солнца.

— Отецъ, это Господь Богъ? — спросилъ вдругъ ребенокъ, указывая на коричневую бѣлку, которая со скрипомъ и шумомъ шмыгала вверху одиночно стоящей ели.

— Глупый карапузъ,—только и могъ отвѣтить Тиль.

Мать все еще работала, когда Тиль и Товій вернулись: почти половина поля была уже готова.

Поѣзда слѣдовали одинъ за другимъ съ короткими промежутками, и Товій каждый разъ съ разинутымъ ртомъ наблюдалъ, какъ они громыхали мимо. Сама Лена усмѣхалась надъ его забавными гримасами. Въ будкѣ съѣли они обѣдъ, состоявшій изъ картофеля и жареной говядины. Лена повеселѣла, и Тиль готовъ былъ добродушно примириться съ неизбѣжностью. Во время ѣды онъ разговаривалъ съ женой обо всякихъ мелочахъ, касавшихся его службы; такъ, напримѣръ, о томъ, можетъ-ли она себѣ представить, что въ одномъ рельсѣ 46 винтовъ и т. п. Къ обѣду Лена кончила копать, а потомъ рѣшила сажать картофель. Она настояла на томъ, чтобы теперь Товій присматривалъ за малюткой и потому взяла его съ собой.

— Смотри,—закричалъ Тиль, внезапно охваченный безпокойствомъ,—смотри, чтобы онъ не подходилъ близко къ рельсамъ.

Въ отвѣтъ Лена только пожала плечами.

Сигналъ показывалъ, что приближается силезскій скорый поѣздъ, и Тиль долженъ былъ идти на свой постъ. Не успѣлъ онъ остановиться у шлагбаума, какъ послышался шумъ приближающагося поѣзда. Безчисленными, торопливыми толчками вылеталъ паръ изъ черной трубы паровоза. Затѣмъ, одна, двѣ, три молочно-бѣлыя струи пара вырвались кверху прямыя, какъ свѣчи, и тотчасъ, вслѣдъ затѣмъ, раздались въ воздухѣ свистки машины три раза, одинъ за другимъ, отрывистые, пронзительные и тревожные. «Они тормозятъ», подумалъ Тиль, «только зачѣмъ?» и снова раздались пронзительные свистки; на этотъ разъ эхо повторило ихъ долгими, непрерывными звуками. Тиль подался впередъ, чтобы осмотрѣть путь; машинально вытащилъ онъ красный флагъ и держалъ его прямо передъ собой, осматривая рельсы.

— Господи Іисусе! что онъ ослѣпъ, что-ли? Господи Іисусе, Господи, Господи Іисусе! Что это такое? На рельсахъ... Сто-ой! — закричалъ сторожъ изо всѣхъ силъ.

Слишкомъ поздно: какая-то темная масса попала уже подъ поѣздъ и колеса подбрасывали ее, какъ резиновый мячикъ. Еще нѣсколько мгновеній — послышался скрипъ и визгъ тормаза. Поѣздъ остановился.

Машинистъ и кондукторъ бѣжали по песку къ хвосту поѣзда; изъ каждаго окна выглядывали любопытныя лица, и вотъ собралась толпа и направилась впередъ. Тиль тяжело дышалъ; онъ долженъ былъ напречь всѣ свои силы, чтобы не упасть. Крикъ, несущійся съ мѣста катастрофы, разорвалъ воздухъ, за нимъ слѣдовалъ вой, какъ-бы изъ глотки звѣря.

Кто это? Лена? Это не ея голосъ, однако... Какой-то человѣкъ торопливо бѣжитъ къ нему по полотну.

«Сторожъ!» — «Что такое?» — «Несчастье.!.»

Вѣстникъ отскакиваетъ въ ужасѣ—такъ страшно свѣтятся глаза сторожа. Шапка сбилась на сторону, рыжіе волосы поднялись дыбомъ.

— Онъ еще живъ, можетъ быть можно помочь.

Одно хрипѣніе было отвѣтомъ.

— Идите-же скорѣе, скорѣе!

Собравши всѣ силы, Тиль рванулся впередъ, его ослабѣвшіе мускулы страшно напряглись, онъ выпрямился во весь ростъ, его лицо было тупо и безжизненно. Онъ бѣжитъ съ вѣстникомъ, онъ не замѣчаетъ смертельно-блѣдныхъ лицъ пассажировъ въ окнахъ вагоновъ. Выглядываетъ молодая женщина, купецъ въ фескѣ, молодая парочка, совершающая, повидимому, свое брачное путешествіе.

Что ему за дѣло до нихъ? Его нисколько не интересуютъ эти люди. До его ушей доносится ревъ Лены. Передъ его глазами, какъ свѣтящіеся червячки, мелькаютъ безчисленныя желтыя точки. Онъ отскакиваетъ въ ужасѣ и останавливается. Изъ-за танцующихъ червячковъ начинаетъ обрисовываться что-то блѣдное, неподвижное, окровавленное. Лобъ съ коричневыми и синими подтеками, синія губы, на нихъ капли черной крови. Это онъ...

Тиль не говоритъ ни слова, лицо его покрывается какою-то грязноватою блѣдностью, онъ смѣется какъ сумасшедшій, наконецъ, онъ сгибается, онъ чувствуетъ въ своихъ рукахъ отвисшіе безжизненные члены.

Красный флагъ свернутъ.

Онъ идетъ.

Куда?

— Къ доктору, къ доктору, слышно кругомъ.

— Мы возьмемъ его съ собой! кричитъ багажный и приготовляетъ въ своемъ вагонѣ постель изъ книгъ и форменныхъ сюртуковъ.—Ну, что-же? Тиль не выказывалъ ни малѣйшаго желанія оставить бѣдняжку. Отъ него не отстаютъ. Напрасно.

Багажный выдвигаетъ носилки изъ вагона и приказываетъ помочь отцу.

Время дорого. Машинистъ свиститъ.

Монеты дождемъ сыпятся изъ оконъ. Лена бьется, какъ безумная. «Бѣдная, бѣдная женщина», доносится до нея изъ оконъ купэ, — «бѣдная, бѣдная мать».

Машинистъ свиститъ снова, — свистокъ, — машина выпускаетъ изъ своихъ цилиндровъ бѣлый, шипящій паръ, натягиваетъ свои желѣзныя жилы; нѣсколько секундъ, и курьерскій поѣздъ съ грохотомъ, выпуская клубы дыма, мчится съ удвоенной скоростью черезъ лѣсъ.

Сторожъ опомнился и положилъ полумертваго мальчика на носилки.

*

Вотъ лежитъ онъ — его слабая фигурка и долгіе хриплые вздохи, время отъ времени, поднимаютъ его костлявую грудку, которая видна изъ-подъ разорваной рубашки. Ручки и ножки, переломанныя во многихъ мѣстахъ, приняли неестественное положеніе. Пятка маленькой ножки вывернута впередъ. Руки болтаются, свѣсившись съ носилокъ. Лена стонетъ, не переставая; во всемъ ея существѣ ни слѣда прежняго упрямства. Она безостановочно повторяетъ одну и ту же исторію, которая должна, по ея мнѣнію, снять съ нея всякую отвѣтственность за происшедшее. Тиль не обращаетъ на нее никакого вниманія, не отрываясь, съ напряженно боязливымъ выраженіемъ смотритъ онъ на ребенка. Кругомъ мертвая тишина; на блестящемъ крупномъ пескѣ покоятся черные, еще горячіе, рельсы. Полдень укротилъ вѣтеръ, и, неподвижно, какъ каменное изваяніе стоитъ лѣсъ.

Мужчины тихо совѣщались. Чтобы прибыть возможно скорѣе въ Фридрихсхагенъ, нужно вернуться обратно на станцію, которая лежитъ по направленію къ Бреславлю, такъ какъ слѣдующій скорый поѣздъ не останавливается на ближайшей къ Фридрихсхагену станціи. Тиль какъ будто соображаетъ, идти ли ему вмѣстѣ. Въ настоящую минуту около нѣтъ никого, кто бы зналъ службу. Нѣмымъ движеніемъ руки указываетъ онъ женѣ, чтобы она подняла носилки; она не осмѣливается ему противорѣчить, хотя и озабочена оставленнымъ младенцемъ. Она и посторонній мужчина несутъ носилки. Тиль сопровождаетъ ихъ до границы своего участка, затѣмъ останавливается и долго смотритъ имъ вслѣдъ. Вдругъ, такъ громко, что звукъ разносится далеко кругомъ, ударяетъ онъ себя ладонью по лбу. Онъ думаетъ проснуться — «вѣдь это сонъ, вродѣ вчерашняго», говоритъ онъ самъ себѣ.

Напрасно.

Бѣгомъ, сильно шатаясь, достигъ онъ своего домика, тамъ упалъ онъ лицомъ на землю.

Его шапка покатилась въ уголъ, тщательно сберегавшіеся часы выпали изъ кармана, крышка отскочила, стекло разбилось. Казалось, будто какой-то желѣзный кулакъ толкнулъ его въ спину такъ сильно, что онъ не могъ пошевельнуться и только со вздохами и стонами пытался высвободиться. Его лобъ былъ холоденъ, глаза сухи, глотка пылала. Сигнальный звонокъ пробудилъ его. Только послѣ трехъ, повторившихся другъ за другомъ звонковъ, Тиль пришелъ наконецъ въ себя, могъ подняться и исполнять службу. Хотя его ноги были какъ свинцовыя, хотя шпалы кружились вокругъ него какъ спицы необъятнаго колеса, осью котораго была его голова, но все же онъ собрался съ силами, по крайней мѣрѣ на столько, чтобы нѣкоторое время держаться на ногахъ. Пассажирскій поѣздъ приближался,—Товій, навѣрное, на немъ; чѣмъ ближе приближался поѣздъ, тѣмъ быстрѣе проносились картины предъ глазами Тиля

Въ концѣ концовъ, онъ видѣлъ только раздавленнаго малютку, съ окровавленнымъ ртомъ,—потомъ мракъ разлился кругомъ него. Черезъ нѣсколько мгновеній очнулся онъ отъ обморока. Онъ увидѣлъ, что лежитъ на песчаной горячей насыпи. Онъ всталъ, стряхнулъ песокъ съ платья и выплюнулъ его изо рта. Голова его нѣсколько освѣжилась; онъ могъ спокойнѣе думать.

Въ сторожкѣ поднялъ онъ съ полу тотчасъ свои часы и положилъ ихъ на столъ. Несмотря на паденіе, они не остановились. Онъ въ продолженіе двухъ часовъ считалъ минуты и секунды, представляя, что происходитъ теперь съ Товіемъ. Теперь Лена пришла съ нимъ, теперь стоитъ передъ врачемъ. Врачъ осматриваетъ, выстукиваетъ малютку и качаетъ головой.

— «Плохо — очень плохо — но можетъ быть... Кто знаетъ?» Онъ изслѣдуетъ еще внимательнѣе. «Нѣтъ», говоритъ онъ потомъ. . «Нѣтъ, кончено!—кончено, кончено» простоналъ сторожъ, потомъ выпрямился и, устремивъ блуждающіе глаза на потолокъ, безсознательно сжимая въ кулакѣ поднятую руку, вскричалъ голосомъ, который, казалось, долженъ былъ бы разрушить это узкое пространство: «онъ долженъ, долженъ жить, я говорю тебѣ, онъ долженъ, долженъ жить!» Снова распахнулъ онъ дверь домика; красноватый вечерній свѣтъ проникъ въ сторожку. Тиль бросился къ насыпи скорѣе бѣгомъ, чѣмъ шагомъ. Здѣсь остановился онъ на мгновеніе, но, вдругъ, быстро вышелъ на средину насыпи, широко раскрывъ руки, какъ будто желая удержать что то, приближавшееся вмѣстѣ съ пассажирскимъ поѣздомъ. Его широко раскрытые глаза были какъ у слѣпого. Онъ зашагалъ назадъ, выраженіе лица стало мягче и изъ устъ непрестанно вырывались едва понятныя слова: «ты — слышишь—постой-же—ты слышишь-же—остановись, отдай его назадъ, онъ избитъ до синяковъ—да, да—хорошо — я ее изобью до синяковъ — слышишь? остановись-же — отдай его».

Казалось, что-то прошло мимо него. Онъ обернулся и двинулся въ обратную сторону, чтобъ догнать это нѣчто.

«Мина», его голосъ плакалъ, какъ у малаго ребенка. «Мина», слышишь? отдай его назадъ — я хочу....»

Онъ схватывалъ воздухъ, какъ-бы стараясь кого-то удержать. «Жену — да—а ее я хочу избить также до синяковъ—также избить—я ее топоромъ—видишь ты?—кухонный топоръ—я ее убью кухоннымъ топоромъ, и она околѣетъ... И тогда.... да, топоромъ кухоннымъ топоромъ... да — черная кровь!»

Пѣна показалась на его губахъ, зрачки сдѣлались стеклянными и безпокойно бѣгали.... Нѣжный, вечерній вѣтерокъ долго и тихо вѣялъ надъ лѣсомъ, и на восточной сторонѣ небосклона виднѣлись освѣщенныя розоватымъ цвѣтомъ кудрявыя облака.

Около ста шаговъ сдѣлалъ онъ, преслѣдуя невидимое нѣчто, затѣмъ остановился, робко озираясь, съ невыразимой тревогой простеръ свои руки, умоляя, заклиная. Онъ напрягалъ глаза и прикрывалъ ихъ рукою, какъ бы стараясь еще разъ въ отдаленіи увидѣть призракъ.

Наконецъ, рука опустилась и напряженное выраженіе его лица смѣнилось тупымъ равнодушіемъ. Онъ повернулъ назадъ и поплелся обратной дорогой. Солнце изливало послѣдніе пламенные лучи свои надъ лѣсомъ, затѣмъ оно потухло; стволы сосенъ тянулись вверхъ, какъ бѣлыя кости истлѣвшаго скелета, а верхушки грузно нависли надъ ними. Стукъ дятла нарушалъ тишину. По холодному сѣровато-голубому небу плыла одинокая запоздавшая розовая тучка.

Пахнуло холодомъ, какъ изъ погреба, такъ что сторожъ прозябъ. Все ему было ново, все чуждо.

Онъ не зналъ, гдѣ онъ идетъ, что его окружаетъ. Черезъ дорогу шмыгнула бѣлка, и Тиль задумался; онъ невольно сталъ думать о Господѣ Богѣ, самъ не зная почему.

— Господь Богъ прыгаетъ черезъ дорогу, Господь прыгаетъ черезъ дорогу. Онъ много разъ повторилъ это предложеніе, какъ-бы для того, чтобы припомнить, съ чѣмъ оно связано. Онъ пріостановился, мысли его просвѣтлѣли. «Но, Боже, это вѣдь безуміе». Онъ забылъ все остальное и обратилъ свое вниманіе только на этого новаго врага. Онъ пытался привести въ порядокъ свои мысли; напрасно! Это была безпрерывная бѣготня и блужданіе. Онъ поймалъ себя на безумныхъ представленіяхъ и содрогнулся отъ сознанія своей безпомощности. Изъ ближней березовой рощи раздался дѣтскій крикъ. Это было толчкомъ къ бѣшенству.

Почти противъ своей воли спѣшитъ онъ туда и находитъ малютку, лежащаго въ телѣжкѣ, безъ тюфяка. Малютка плачетъ и бьетъ ножками, никто не заботился о немъ. Что хотѣлъ онъ дѣлать? Что его привело сюда? Закружившійся потокъ чувствъ и мыслей поглотилъ эти вопросы.

«Богъ скачетъ черезъ дорогу», теперь зналъ онъ—что это обозначаетъ. «Товій—она его уморила, Лена, ей онъ былъ порученъ, — мачиха, злодѣйка!» скрежеталъ Тиль, «а ея баловень живъ». Красный туманъ застилалъ его зрѣніе, два дѣтскіе глаза пронизывали его; онъ чувствовалъ между своими пальцами что-то мягкое, мясистое. Свистящіе, клокочущіе звуки, которые смѣшивались съ хриплыми криками, неизвѣстно отъ кого исходившими, поразили его слухъ. Опомнившись, услышалъ онъ, что въ воздухѣ замираютъ послѣдніе звуки сигнальнаго колокола. Внезапно стало ему ясно, что онъ хотѣлъ сдѣлать: его пальцы освободили горло ребенка, который бился въ его рукахъ. Малютка глубоко вздохнулъ и затѣмъ началъ кашлять и кричать. «Живъ! слава Богу, живъ!» Тиль положилъ малютку и поспѣшилъ къ полотну. Вдали вился темный дымъ, вѣтеръ стлалъ его по землѣ. Тиль услыхалъ за собой пыхтѣніе машины, которое

звучало, какъ прерывистое, мучительное дыханіе больного исполина. Холодный полумракъ лежалъ надъ мѣстностью. Черезъ мгновеніе, когда облака дыма разсѣялись, узналъ Тиль поѣздъ. Онъ возвращался съ пустыми платформами и везъ съ собой рабочихъ, которые въ продолженіе цѣлаго дня были заняты на дорогѣ. Остановки этого поѣзда не были точно установлены, онъ имѣлъ право всюду останавливаться, чтобы забирать то тамъ, то сямъ еще занятыхъ рабочихъ, а другихъ ссаживать. На добромъ разстояніи отъ сторожки Тиля начали тормозить. Громкій лязгъ, стукъ и громыханіе далеко разносились въ вечерней тишинѣ, пока поѣздъ съ протяжнымъ пронзительнымъ свистомъ не остановился совсѣмъ.

Около 50 рабочихъ и работницъ размѣщены были на платформѣ. Почти всѣ стояли; нѣкоторые изъ мужчинъ съ непокрытыми головами. На всѣхъ лицахъ лежалъ отпечатокъ загадочной торжественности.

Когда они увидали сторожа, между ними поднялся шепотъ. Старики вынули изо-рта трубки и почтительно держали ихъ въ рукахъ. То тамъ, то здѣсь женщина отвертывалась, какъ будто для того, чтобы высморкаться. Оберъ-кондукторъ поднялся на насыпь и подошелъ къ Тилю. Работники увидѣли, какъ тотъ торжественно пожалъ ему руку, послѣ чего Тиль медленно, почти по-военному шагая, направился къ послѣднему вагону.

Никто изъ рабочихъ не отважился съ нимъ заговорить, хотя всѣ его знали.

Изъ этого вагона только что вынули маленькаго Товія. Онъ былъ мертвъ. За нимъ шла Лена, лицо ея покрыто было синеватою блѣдностью, темно-коричневые круги легли подъ глазами.

Тиль не удостоилъ ее ни однимъ взглядомъ; она-же, посмотрѣвъ на мужа, затрепетала.

Его щеки впали, борода и рѣсницы слиплись; ей показалось, что макушка его головы еще болѣе посѣдѣла. По всему лицу слѣды высохшихъ слезъ, безпокойный блескъ глазъ; ей стало страшно. Снова принесли носилки, чтобы перенести тѣло. На минуту водворилась тяжелая тишина.

Глубокое, ужасное смиреніе овладѣло Тилемъ.

Стемнѣло. Стадо косуль расположилось въ сторонѣ отъ насыпи. Вожакъ стоялъ посреди рельсъ. Онъ съ любопытствомъ поворачивалъ свою гибкую шею, засвистѣла машина и, подобно молніи, онъ исчезъ вмѣстѣ со своимъ стадомъ.

Въ то мгновеніе, какъ поѣздъ только что хотѣлъ тронуться, ноги Тиля подкосились.

Поѣздъ остановился вторично; начали совѣтоваться, что предпринять. Рѣшили трупъ ребенка снести пока въ домъ сторожа, а его самого на носилкахъ отнести домой, такъ какъ, не смотря на всѣ усилія, онъ еще не пришелъ въ сознаніе. Такъ и сдѣлали. Двое мужчинъ понесли на но-

силкахъ Тиля, за ними шла Лена, которая, безпрестанно всхлипывая и обливаясь слезами, везла по песку тележку съ ребенкомъ.

Въ глубинѣ лѣса, между стволами сосенъ, какъ исполинскій, горящій пурпуромъ шаръ, виднѣлся мѣсяцъ. Чѣмъ выше онъ поднимался, тѣмъ становился меньше и блѣднѣе. Наконецъ повисъ онъ надъ лѣсомъ, подобно лампадѣ, просвѣчивая матовымъ свѣтомъ сквозь верхушки деревъ и придавая лицамъ идущихъ мертвенный оттѣнокъ. Проворно, но осторожно шли впередъ, сначала черезъ небольшой молоднякъ, потомъ снова вдоль обширныхъ прогалинъ, окруженныхъ высокимъ лѣсомъ. Блѣдный свѣтъ собирался въ нихъ, какъ въ большихъ темныхъ чашахъ.

Тиль по временамъ хрипѣлъ, начиналъ бредить, нѣсколько разъ сжималъ кулаки и съ закрытыми глазами порывался подняться. Мудрено было перевезти его черезъ Шпрее. Второй разъ надо было переѣхать, чтобы перевезти жену и ребенка. Когда они поднимались по небольшой возвышенности къ мѣстечку, ихъ встрѣтили земляки, которые уже извѣстили всѣхъ о несчастіи.

Вся колонія была на ногахъ.

При видѣ знакомыхъ, Лена снова начала причитать. Больного осторожно внесли по узкой лѣстницѣ въ комнату и положили на кровать. Рабочіе тотчасъ пошли обратно, чтобы принести тѣло Товія.

Старые опытные люди посовѣтовали холодные компрессы. Лена слѣдовала ихъ указаніямъ ревностно и предусмотрительно. Она мочила полотенца въ ледяной колодезной водѣ и вновь освѣжала, какъ только горячій лобъ больного нагрѣвалъ ихъ. Боязливо прислушивалась она къ дыханію мужа, которое, повидимому, съ каждой минутой становилось правильнѣе. Волненія дня сильно утомили ее и она рѣшила немного заснуть, однако не могла успокоиться. Оставались-ли ея глаза открытыми или закрытыми, безпрерывно проносились передъ ними картины прошлаго.

Малютка спалъ и она мало заботилась о немъ, не такъ, какъ всегда. Она вообще измѣнилась. Никакого слѣда былого упрямства. Да, этотъ больной человѣкъ, съ безкровнымъ, блестѣвшимъ отъ пота лицомъ, и во снѣ управлялъ ею. Облако закрыло мѣсяцъ, въ комнатѣ стало темно, и Лена слышала только тяжелое, но правильное дыханіе своего мужа. Она подумала, не зажечь-ли ей свѣчу. Ей было страшно въ темнотѣ; она пыталась встать, но ея члены были какъ налитые свинцомъ, вѣки упали; она заснула...

Черезъ нѣсколько часовъ, когда люди возвратились съ трупомъ ребенка, они нашли дверь, открытую настежь. Удивленные этимъ обстоятельствомъ, поднялись они вверхъ по лѣстницѣ, въ верхнюю комнату, дверь которой тоже была раскрыта настежь. Нѣсколько разъ окликнули по имени жену и не получили отвѣта. Наконецъ, кто-то зажегъ сѣрную спичку, и дрожащее пламя свѣчи открыло ужасную картину.

«Убійство, убійство»!

Лена плавала въ крови, лицо неузнаваемое, съ разбитымъ черепомъ.

«Онъ убилъ свою жену, онъ убилъ свою жену»! Всѣ забѣгали, какъ потерянные; пришли сосѣди, одинъ подошелъ къ колыбели. «Крестная сила»! и онъ отскочилъ, блѣдный съ обезумѣвшимъ взоромъ. Тамъ лежало дитя съ перерѣзаннымъ горломъ. Сторожъ исчезъ. Всѣ поиски, которые предприняли въ ту-же ночь, остались тщетными. На утро нашелъ его дежурный сторожъ, сидящимъ между рельсами на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ раздавленъ Товій.

Онъ держалъ коричневую шапочку въ рукахъ и безпрестанно, какъ нѣчто живое, ласкалъ ее. Сторожъ задалъ ему нѣсколько вопросовъ, но не получилъ отвѣта и вскорѣ понялъ, что говоритъ съ сумасшедшимъ. Онъ далъ телеграмму, прося о помощи. Многіе пробовали уговорить Тиля сойти съ рельсовъ, но безуспѣшно. Курьерскій поѣздъ, который въ это время проходилъ, долженъ былъ остановиться—и только общими усиліями прислуги удалось удалить съ полотна больного, который сталъ ужасно биться. Пришлось связать ему руки и ноги; вытребованный жандармъ отвезъ Тиля въ Берлинъ—въ слѣдственную тюрьму, а оттуда, въ первый-же день, его перевезли въ Charité въ отдѣленіе душевно-больныхъ. Во время переѣзда Тиль держалъ въ рукахъ коричневую шапочку и охранялъ ее съ ревнивой заботливостью и нѣжностью.

СОНЕТЪ ПЕТРАРКИ.

Я ждалъ тебя. Желанье слѣпо:
Я долго вѣрилъ въ твой приходъ...
И потемнѣлъ, какъ своды склепа,
Небесный сводъ.

Ты не исполнила обѣта,
Урочный часъ прошелъ давно...
Такъ губитъ червь на склонѣ лѣта
Серпомъ забытое зерно.

Напрасно сердце веселилось:
Едва забрежживъ, омрачилась
Заря любви!

Не вѣрь восторгамъ предвкушенья,
И до предсмертнаго мгновенья
Себя счастливымъ не зови.

К. Льдовъ

ЗАПИСКИ А. О. СМИРНОВОЙ.

(Неизданные историческіе документы).

Изъ записныхъ книжекъ 1826—1845 гг.

Сегодня утромъ Пушкинъ пришелъ меня навѣстить и спросилъ моего мнѣнія; его серьезный видъ заставилъ меня улыбнуться; онъ хотѣлъ знать, не былъ-ли онъ нескроменъ тѣмъ, что говорилъ одинъ впродолженіи цѣлаго часа, чтобы прочесть Баранту курсъ русской исторіи. Я отвѣчала: «Ничуть, часъ этотъ промелькнулъ, какъ одно мгновеніе, и вы всѣхъ привели въ восторгъ, а Баранта болѣе, чѣмъ кого-либо». Я повторила ему все, что послѣдній мнѣ говорилъ. Онъ улыбнулся. «Краснорѣчивъ, ораторъ! Я закончилъ богословіемъ и это была вина Асмодея; мы спорили объ этомъ вопросѣ нѣсколько дней тому назадъ; нелѣпо повторять, что Іисусъ Христосъ демократъ; они кончатъ тѣмъ, что перерядятъ Его въ революціонера, въ демагога, въ разрушителя; Онъ станетъ подозрительнымъ въ глазахъ благонамѣренныхъ людей. Люди корчатъ изъ себя одновременно либераловъ и христіанъ; они недостаточно читаютъ Евангеліе, они не нашли бы тамъ, чтобы Іисусъ спрашивалъ, прежде чѣмъ исцѣлить и помочь: «Богатъ ты или бѣденъ, аристократъ или демократъ?» Хоть бы, по крайней мѣрѣ, оставляли политику у входа въ церковь, не впускали ее въ Евангеліе. только одного еще недостаетъ—это утверждать, что онъ былъ за парламентаризмъ или за новгородское вѣче; забываютъ даже, что смерти Его требовалъ народъ».

Я отвѣчала: «Напишите-ка это, сочините поэму на Рождество и на волхвовъ».

Онъ покачалъ головой. «Евангеліе отъ Луки, которое читается 25-го марта—лучшая изъ поэмъ, никогда мнѣ не написать ничего, чтобы хоть сколько-нибудь къ этому приближалось».

Минуту спустя онъ продолжалъ: «Ваша Мадонна Перуджино меня чаруетъ: она мнѣ представляется такимъ типомъ рабы Господней, той, ко-

торая произнесла Magnificat. Брюловъ говорилъ мнѣ, что младенецъ написанъ Рафаэлевской манерой». Онъ пошелъ взглянуть на Мадонну и возвратился со словами: «Я читалъ Библію отъ доски до доски въ Михайловскомъ, когда находился тамъ въ ссылкѣ, читалъ даже нѣкоторыя главы своей Аринѣ, но и ранѣе я много читалъ Евангеліе. Хотите-ли, чтобъ я сдѣлалъ вамъ одно признаніе?»

— Насчетъ чего?

— Моего Пророка.

— Говорите, я не буду нескромной.

— Вотъ почему я вамъ его и дѣлаю. Я какъ-то ѣздилъ въ монастырь Святыя Горы, чтобъ отслужить панихиду по Петрѣ Великомъ; гораздо раньше я уже служилъ панихиду по Байронѣ, но однажды вечеромъ я перечитывалъ его Мазеппу и остановился на этихъ стихахъ:

«Had pass'd to the triumphant Czar,
I love this sweet name»...

Это эпиграфъ, который я выбралъ для Полтавы,—4 стиха, вамъ я привожу только два. На другой день я былъ въ монастырѣ; служка попросилъ меня подождать въ кельѣ; на столѣ лежала открытая Библія, и я взглянулъ на страницу—это былъ Іезекіилъ. Я прочелъ отрывокъ, который перефразировалъ въ Пророкѣ. Онъ меня внезапно поразилъ, онъ меня преслѣдовалъ нѣсколько дней, и разъ ночью я написалъ свое стихотвореніе; я всталъ, чтобъ написать его; мнѣ кажется, что стихи эти я видѣлъ во снѣ. Это было незадолго до того, какъ Его Величество вызвалъ меня въ Москву. Я думаю, что Петръ Великій вдохновилъ его тогда; мнѣ кажется, что мертвые могутъ внушать мысли живымъ. Вамъ можетъ быть покажется страннымъ, что стихъ изъ Байроновскаго *Мазеппы* заставилъ меня поѣхать служить панихиду по Петрѣ Великомъ? Я часто это дѣлалъ, а въ этотъ день я молился также и за Байрона. Іезекіиля я читалъ раньше; на этотъ разъ текстъ показался мнѣ дивно-прекраснымъ, я думаю, что лучше его понялъ. Такъ всегда бываетъ съ Священнымъ Писаніемъ: сколько его ни перечитывай, чѣмъ болѣе имъ проникаешься, тѣмъ болѣе все освѣщается и расширяется. Но я никогда не читаю подрядъ: я открываю книгу на удачу и читаю, пока это доставляетъ мнѣ удовольствіе, какъ всякую другую книгу. Кстати, извѣстно-ли вамъ одно древнее гаданіе, которое ведетъ свое начало отъ латинянъ и тянулось черезъ всѣ средніе вѣка; его зовутъ sortes Virgilianae: открываютъ Энеиду и заранѣе рѣшаютъ, съ какой стороны книги и какую строчку прочтутъ, считая сверху внизъ или снизу вверхъ; я часто пробовалъ это дѣлать съ Энеидой и даже съ священнымъ писаніемъ. Въ тотъ вечеръ, возвратясь отъ васъ, я раскрылъ такимъ образомъ Евангеліе и напалъ на текстъ: «возьмите иго мое, ибо оно благо и бремя мое легко есть». По

славянски тутъ встрѣчается слово *благо*, которое переводится по-англійски словомъ *facile;* я купилъ себѣ англійскую Библію, чтобы свѣрить текстъ и, читая ее, вижу, на сколько англійскіе поэты изучали священное писаніе. Байронъ постоянно читалъ книгу Іова... Прочтя этотъ текстъ, я подумалъ: богатые и бѣдные, счастливые и несчастные во всемъ, аристократы и демократы, великіе и малые, всѣ мы несемъ бремя жизни, иго нашей человѣчности, столь слабой, столь подверженной заблужденію; и это иго, это бремя—*уравниваетъ все.* Онъ велитъ намъ взять иго, которое благо, бремя, которое легко, — это его иго, его бремя, которое поможетъ намъ нести наше собственное до конца, если мы будемъ помогать ближнему поднять и нести иго, подъ которымъ онъ изнемогаетъ. Вотъ весь законъ въ нѣсколькихъ словахъ, и здѣсь нѣтъ мѣста ни для аристократа, ни для демократа. Здѣсь только одна — *единственная великая сила* — любовь. Мнѣ все это хотѣлось сказать въ тотъ вечеръ, но я не поддался своему влеченію. Эти вещи не говорятся десяти человѣкамъ; онѣ говорятся лишь съ глазу на глазъ, между друзьями. Я, можетъ быть, даже былъ не правъ, наговоривъ такъ много тогда; мнѣ показалось, что я переступилъ за предѣлы салонной бесѣды и, если я погрѣшилъ противъ такта — прошу васъ извинить меня».

Я отвѣчала: «Извинить васъ, но я всегда счастлива, когда вы много говорите, хотя-бы въ виду тѣхъ банальностей, которыя я такъ часто слышу у себя въ гостиной, когда у меня *вечеръ*. Благодарю васъ за то, что вы говорите со мной, какъ съ другомъ. Мой мужъ былъ счастливъ, слушая васъ; вы знаете, какъ онъ къ вамъ привязанъ; онъ гордится вами изъ патріотизма,—этотъ итальянскій бояринъ, этотъ милордъ Николай».

— Мой мужъ былъ воспитанъ людьми очень вѣрующими, двумя эмигрантами, изъ которыхъ одинъ былъ аббатъ; сестра его была воспитана сестрой этого аббата, и моя свекровь была очень богомольна. Эти эмигранты никогда не пытались обращать своихъ воспитанниковъ въ свою вѣру, но они внушили имъ много очень простодушной вѣры. Мой мужъ никогда ни съ кѣмъ не говоритъ о религіи, но, такъ какъ вы открыли мнѣ свою душу, я отвѣчу вамъ тѣмъ-же: мы скоро уѣзжаемъ, и одинъ Богъ знаетъ, когда мы опять свидимся, такъ какъ дипломатъ перемѣщается съ одного поста на другой чрезвычайно легко; мы ѣдемъ въ Берлинъ и, быть можетъ, очень скоро въ Парижъ; Нессельроде даже говорилъ Николаю, что онъ, можетъ быть, пошлетъ его затѣмъ въ Лондонъ. Мнѣ-бы хотѣлось ѣхать въ Римъ и ему также; онъ мечтаетъ объ Италіи, о своей милой Флоренціи, гдѣ онъ началъ службу. Вы тогда пріѣдете къ намъ въ Италію; Николай только объ этомъ и мечтаетъ; итакъ, на прощаніе, я разскажу вамъ одну подробность. Въ день нашей свадьбы, вечеромъ, когда Государь уѣхалъ, благословивъ насъ еще разъ на дому, мой мужъ повелъ меня въ мою комнату и подарилъ мнѣ прекрасное распятіе, при-

надлежавшее его матери, которымъ вы такъ восхищаетесь; оно работы Алгарди, испанца, который дѣлалъ навѣсы надъ сводами въ соборѣ св. Петра. Распятіе это было подарено Петромъ Великимъ предку моей свекрови, Бухвостову. Мой мужъ мнѣ сказалъ: «Дарю тебѣ это распятіе, которое принадлежало моей матери; когда она умирала, она приказала поставить его въ ногахъ своей кровати и сказала моему отцу: «Отдай его нашему сыну, пусть онъ передастъ его своей женѣ». Она умерла, устремивъ глаза на это распятіе, и я исполняю ея волю: дарю его тебѣ; не знаю, что готовитъ намъ жизнь, но первый день нашей супружеской жизни долженъ начаться съ молитвы передъ этимъ распятіемъ».

Мой мужъ, который едва помнитъ свою мать, особенно чтитъ ея память по разсказамъ отца, своихъ двухъ воспитателей и m-lle Газье, гувернантки его покойной сестры; я должна вамъ сказать, что мой мужъ не забываетъ, сколько вы ему оказали сочувствія при смерти его сестры Sophie, и она, бѣдная, маленькая горбунья, питала къ вамъ большую симпатію, вы такъ были къ ней добры, вы такъ добры и къ моимъ братьямъ, которые васъ любятъ отъ всего сердца. Что касается до Николая, то онъ питаетъ къ вамъ нѣжность, онъ очень озабоченъ вашими затрудненіями и желалъ-бы, чтобы вы съ полной откровенностью переговорили о нихъ съ Государемъ.

Пушкинъ отвѣчалъ мнѣ: «Вотъ это дружба. Вы говорите мнѣ вещи, которыя говорятся лишь друзьямъ, въ коихъ увѣрены. Благодарю васъ за это. Я не долженъ говорить Государю, такъ какъ онъ уже далъ мнѣ денегъ впередъ и я не окончилъ мой трудъ о Петрѣ Великомъ; онъ даже слишкомъ щедръ, и все изъ своей личной шкатулки. Я слишкомъ люблю и уважаю Смирнова, чтобы завидовать ему, но распятіе, данное Петромъ Великимъ, столъ съ рѣзьбой его работы, выточенная имъ чаша изъ черепахи, его компасъ,—какія вы имѣете сокровища, и этотъ чудный его портретъ работы Карла Моора,—гдѣ вы все это оставите»?

— Въ деревнѣ, тамъ старые слуги моего свекра и моей свекрови, которые хорошо знаютъ цѣнность этихъ вещей.

Пушкинъ мнѣ тогда сказалъ:

— Вы не нашли меня нескромнымъ, что я велъ весь разговоръ въ тотъ вечеръ?

Я повторила ему, что Алина и Мари Элмитъ въ восторгѣ отъ вечера, что Соболевскій и Мятлевъ сказали Николаю, что Барантъ видѣлъ такого Пушкина, какого онъ еще не зналъ, и что Вяземскій, какъ кажется, былъ имъ доволенъ. Онъ отвѣтилъ:

— Мы объ этомъ снова съ нимъ говорили и мнѣ кажется, что онъ сдается на мое мнѣніе; это одинъ изъ моихъ лучшихъ друзей, и совѣты его мнѣ драгоцѣнны. Онъ защищалъ меня противъ критики, и этотъ человѣкъ, воспитанный въ XVIII-мъ столѣтіи, вѣрующій, хотя и безмолвно.

Въ этомъ отношенiи онъ феноменъ. Я надняхъ прочелъ очень глубокую мысль по-французски: «*вѣра есть награда борьбы*», и это столько-же борьба съ нашими страстями, какъ и съ нашими сомнѣнiями. Пестель разъ мнѣ сказалъ: «Разумъ мой этому противится, но сердце мое — матерiалистъ». Это меня отъ него отдалило. Слишкомъ часто думаютъ, что сомнѣнiе всегда дѣло разума; сердце сомнѣвается столько-же, такъ какъ на немъ отражаются наши печальнѣйшiя страсти, наши недостойнѣйшiя слабости. Знаете-ли, что всего болѣе поразило меня въ первый разъ за обѣдней въ дворцовой церкви, разукрашенной позолотою, болѣе подходящей для убранства бальной залы, чѣмъ церкви. Это, что Государь молился за этой офицiальной обѣдней также, какъ и Она [1]), и всякiй разъ. что я видѣлъ его за обѣдней, онъ молился; онъ тогда забываетъ все, что его окружаетъ. Онъ также несетъ свое иго и свое тяжкое бремя, свою страшную отвѣтственность и чувствуетъ ее болѣе, чѣмъ это думаютъ. Я много разъ наблюдалъ за царской семьей, присутствуя на службѣ; мнѣ казалось, что только они и молились. Вы знаете все, что я думаю о Немъ [2]), и сколько я Ему преданъ и какое питаю къ Ней благоговѣйное уваженiе. Я очень люблю и почитаю Великаго Князя Михаила Павловича, я могу сказать это вамъ и вашему мужу, Жуковскому, m-me Карамзиной, такъ какъ знаю, что вы раздѣляете эти чувства вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими, которые видятъ ихъ вблизи — братья Вiельгорскiе и вашъ другъ, баронесса Сесиль. Вообще же я объ этомъ не говорю, такъ какъ всѣ привыкли смотрѣть на нихъ лишь какъ на монарховъ, и въ этомъ взглядѣ на нихъ столько низости и царедворскаго угодничества, хотя онъ можетъ казаться и весьма́ почтительнымъ тѣмъ, кто не углубляется въ суть вещей, что всякiй, кто сталъ-бы открыто высказывать свое мнѣнiе, былъ-бы обвиненъ въ отсутствiи искренности, въ стремленiи играть комедiю преданности; съ вами-же я не боюсь быть дурно понятымъ и ложно оцѣненнымъ.

Я отвѣчала: «Мы воображаемъ, что фрондированiе есть признакъ достоинства, — это одинъ изъ способовъ рисоваться, который особенно свойственъ Петербургу. Мой мужъ поѣхалъ путешествовать между 15 и 16 годами; онъ окончилъ свое воспитанiе путешествуя, а въ 18 лѣтъ поступилъ на службу; графиня Нессельроде очень хорошо знала мою свекровь, и онъ былъ сначала attaché у ея родственника Сверчкова. По возвращенiи въ Россiю курьеромъ, онъ недолго оставался здѣсь и ѣздилъ въ Москву видѣться съ дядей и съ сестрою. Онъ говорилъ мнѣ, что при вступленiи своемъ въ свѣтъ здѣсь, онъ былъ пораженъ двумя противуположностями: низкой угодливостью и напыщенно-фрондирующимъ то-

---

[1]) Императрица.

[2]) Государь.

номъ,— тѣ же люди, которые низкопоклонствуютъ, наиболѣе фрондируютъ, особенно, когда они не получили награды къ празднику и приглашенія, или когда съ ними не говорили на балѣ. Онъ любитъ и уважаетъ мужа и жену Нессельроде, которые такъ преисполнены достоинства, и онъ, иностранецъ, такъ преданъ Монарху, которому служитъ».

Пушкинъ мнѣ отвѣчалъ: «Рыцарская преданность нигдѣ часто не встрѣчается; не фрондерствомъ въ гостиныхъ можно принести пользу родинѣ, но служа ей, согласно строгимъ законамъ чести и честности. Это также тѣсный путь долга. Я не понимаю, чтобъ можно было служить Монарху, Котораго не любишь и не уважаешь, а какъ у насъ Государь и отечество одно и тоже, то я ихъ и не раздѣляю. Впрочемъ, я надѣюсь достигнуть результата черезъ журналъ, создать между правительствомъ и публикой, которая будетъ меня читать, дѣйствительную солидарность и доказать цензурѣ и нѣкоторымъ личностямъ, что пресса можетъ оказывать правительству услуги, пользуясь нѣкоторою свободою слова. Еслибъ я имѣлъ дѣло лишь съ Государемъ, я-бы этого достигъ. Человѣкъ мнѣ наиболѣе враждебный — Бенкендорфъ; изъ-за *Цыганъ*, онъ защищалъ нѣмца, который укралъ мое авторское право на второе изданіе; начало нашего антагонизма относится, я думаю, къ этому времени; кромѣ того, онъ обладаетъ педантичнымъ упрямствомъ нѣмецкаго совѣтника, онъ совершенно лишенъ идеала, воображенія и былъ-бы превосходнымъ чиновникомъ въ Гессенъ-Касселѣ и всякой другой трущобѣ; онъ дѣйствуетъ въ странѣ, которой не знаетъ, онъ исполненъ тайнаго презрѣнія нѣмцевъ къ *die Russen*, онъ не любитъ Россію, не любитъ Государя, такъ какъ совсѣмъ не понимаетъ его. Онъ вѣренъ, насколько можетъ быть вѣрнымъ — и въ этомъ все его достоинство; я чувствую, что онъ мнѣ вредитъ и будетъ вредить; я говорилъ объ этомъ съ Смирновымъ, который со мной согласенъ; онъ просилъ меня быть терпѣливымъ, не давать на себя оружія Катону; есть и другія личности мнѣ враждебныя, въ цензурѣ, въ литературѣ, въ салонахъ, но эта враждебность другого рода. Жуковскій мнѣ говорилъ, что это Бенкендорфъ настроилъ противъ меня Уварова, когда я написалъ стихотвореніе на выздоровленіе Лукулла; я нисколько не мѣтилъ въ Уварова; болѣзнь Шереметева показалась мнѣ благодарнымъ сюжетомъ, такъ какъ онъ былъ богачъ; это былъ сюжетъ, въ духѣ тѣхъ, какіе встрѣчаются и у латинскихъ поэтовъ, положеніе само напрашивалось подъ перо. Жуковскій говорилъ объ этомъ Уварову, который признался ему, что это Катонъ навелъ его на мысль, что я мѣтилъ въ него. Кстати, вѣдь это Катону пришла блестящая мысль поставить караулъ для охраны картины Брюлова; онъ поступилъ какъ истинный Пилатъ!»

Я отвѣчала: «Не давайте на себя оружія Катону, терпѣніемъ вы всего достигнете; Государь, которому приписывается многое, даже не

подозрѣваетъ, что эти вещи дѣлаются его именемъ». Пушкинъ отвѣчалъ мнѣ: «Не думайте, чтобы у меня было предубѣжденіе противъ Бенкендорфа; я признаю за нимъ нѣкоторыя достоинства: онъ усерденъ, честенъ, въ этомъ отношеніи онъ безупреченъ; но у него совершенно ложный взглядъ на русскій характеръ и на пріемы, съ какими можно исполнять его полицейскую должность. Государю извѣстно, что онъ усерденъ и честенъ, что въ отношеніи честности онъ джентльмэнъ, и Его Величество полагаетъ, что честность эта распространяется и на остальныя его дѣйствія. Что-же касается до того, чтобы знать обо всемъ, что дѣлается и говорится отъ его имени, для этого Государь долженъ-бы былъ превратиться въ Аргуса и имѣть сто глазъ и даже низкую и ничтожную душу, чтобы угадывать ничтожныя и низкія дѣла. А теперь прощайте, вы знаете, что я остаюсь на островахъ, но, если-бы было возможно, я осенью уѣду въ Михайловское, что было-бы для меня счастьемъ. Я долженъ распутать хаосъ отцовскихъ дѣлъ, вести свой журналъ и выдать замужъ сестеръ жены; я ихъ очень люблю, но я не созданъ для роли благородныхъ отцовъ, а бѣдная Наташа, съ четырьмя ребятишками, ни сваха, ни дуэнья—она слишкомъ ребенокъ и по характеру гораздо моложе своихъ сестеръ; у нея нѣтъ на гривенникъ свѣтскаго опыта».

Я была того-же мнѣнія. Я просила его просмотрѣть замѣтки, которыя я набросала въ тотъ вечеръ; онъ это сдѣлалъ и рѣшилъ: «Какая *страшная* у васъ память, я перемѣнилъ только три слова, да и тѣ равнозначащія».

Этотъ разговоръ оставилъ тяжелое впечатлѣніе. Мнѣ все кажется, что это прощаніе Пушкина, что́ просто смѣшно, такъ какъ мы всѣ еще молоды и мы снова свидимся. Николай испытываетъ то-же впечатлѣніе, онъ какъ-то вечеромъ проходилъ съ Пушкинымъ два часа по островамъ; они бесѣдовали о его работахъ всякаго рода, о его предчувствіяхъ, и мой мужъ возвратился очень озабоченнымъ, очень опечаленнымъ глубокой грустью Пушкина. Я не смѣю говорить о немъ Ихъ Величествамъ и Великому Князю, такъ какъ онъ меня на это не уполномочилъ, но я чувствую, что еслибъ Государь *зналъ все*, онъ отправилъ-бы Пушкина путешествовать года на два, далеко, *очень далеко* отъ Петербурга, и тогда его семья и семья Натали не ворчали-бы и не твердили-бы, что онъ корчитъ изъ себя лорда Байрона, Донъ-Жуана и прочія глупости, какія приходится слышать. Должно признаться, что за исключеніемъ Катона, очень многія лица, не русскія, Фикельмонъ, Барантъ, Нессельроде, Лаваль и члены англійскаго посольства, цѣнятъ его несравненно больше, чѣмъ красавцы и красавицы нашихъ салоновъ, этотъ *fashion*, который мнитъ себя такимъ европейскимъ! По отношенію къ Байрону *fashion* раздѣлился, и даже вопили-то противъ него двѣ крайности: друзья регента и щепетильныя барыни; онъ отчасти это вызвалъ,

похитивъ эту актрису послѣ того, какъ жена его оставила. Но что можно поставить въ упрекъ Пушкину?—его геній, его умъ, которые ихъ стѣсняютъ, и расположеніе Государя, которое ихъ также бѣситъ, хотя оно не лишаетъ ихъ ровно ничего.

Пушкинъ и Одоевскій поздно пріѣхали къ Карамзинымъ. Они были въ оперѣ, гдѣ давали Донъ-Жуана. Одоевскій остался недоволенъ оркестромъ, который плохо исполнилъ увертюру; между тѣмъ, это почти все нѣмцы, привыкшіе къ этой музыкѣ, но Одоевскій говоритъ, что итальянскія оперы портятъ всѣ оркестры, такъ какъ пріучаютъ ихъ къ слишкомъ легкой музыкѣ; между тѣмъ, они лучше исполняютъ увертюру Фрейшюца, но въ особенности увертюру Вельгельма Телля, которая лучшая изъ Россиньевскихъ и даже единственная хорошая, по мнѣнію Одоевскаго.

Говорили о музыкѣ, о Мейерберѣ, который интересуетъ Одоевскаго, такъ какъ онъ видитъ у него перемѣну въ области оперной музыки собственно въ оркестровкѣ; Мейерберъ болѣе нѣмецъ, чѣмъ италянецъ, впрочемъ, музыкальный, какъ всѣ евреи, но онъ не на высотѣ Мендельсона Бартольди, у котораго музыкальный геній. Улабышевъ, который собираетъ документы для своей біографіи Моцарта, разсказывалъ Одоевскому, что Моцартъ написалъ увертюру Донъ-Жуана въ послѣдній день; она была сочинена, но еще не оркестрована, такъ какъ Моцартъ порой бывалъ очень беззаботенъ. Пражскій оркестръ сыгралъ ее à livre ouvert передъ публикой, подъ управленіемъ Моцарта; не успѣли даже напечатать всей оркестровой партитуры; но Улабышевъ задается вопросомъ, дѣйствительно-ли это историческій фактъ, такъ какъ насчетъ Моцарта сложилось немало легендъ. Вяземскій проворчалъ: «Пушкину слѣдовало-бы докончить своего *Моцарта и Сальери*, фактъ можетъ быть и не исторически-вѣрный, но драма была-бы чудная. Геній передъ лицомъ таланта, который снѣдаемъ ревностью и завистью къ генію, отличающемуся добротой и простодушіемъ, присущими генію. Вмѣсто всего этого Пушкинъ пишетъ двѣ великолѣпныя сцены и — засовываетъ ихъ въ ящикъ. У него въ головѣ пятьдесятъ проектовъ, онъ отъ времени до времени преподноситъ намъ лакомый кусочекъ, заставитъ насъ облизнуться и—займется чѣмъ-нибудь другимъ».

Всѣ согласились съ мнѣніемъ Вяземскаго, и Пушкинъ, наконецъ, объявилъ, что онъ докончитъ Моцарта и Сальери, если проживетъ достаточно долго для этого. Что-же касается до *Скупого рыцаря*—онъ оконченъ, такъ какъ онъ сказалъ все, что имѣлъ сказать по вопросу о презрѣнномъ металлѣ.

Одоевскій замѣтилъ, что Рафаэль, Моцартъ и Байронъ, всѣ трое, умерли въ 37 лѣтъ. Пушкинъ воскликнулъ: «Неужели это роковой возрастъ для геніевъ? Между-тѣмъ Гете избѣгъ этого рока».

Жуковскій сказалъ, что многіе знаменитые люди умерли задолго до 60 лѣтъ. Петръ Великій, Ломоносовъ, Данте, Тассъ, Шиллеръ, Паскаль, Питтъ и Наполеонъ не достигли и 50 лѣтъ. Петрарка умеръ довольно молодымъ; съ другой стороны, Мильтонъ, Вашингтонъ, Микель-Анджело не погибли въ цвѣтѣ лѣтъ. Вольтеръ дожилъ до глубокой старости, Корнель также достигъ почтеннаго возраста, но Мольеръ и Расинъ исчезли ранѣе, чѣмъ исчерпали свой талантъ.

«За-то, отвѣтилъ ему Пушкинъ, Людовикъ XIV и Людовикъ XV истощили свою славу ранѣе, чѣмъ сошли со сцены».

«Никогда не бывало столѣтняго старца, который отличался-бы геніемъ или великимъ талантомъ. Это достойно замѣчанія. По крайней мѣрѣ долговѣчность была ихъ единственнымъ талантомъ».

Пушкинъ отвѣтилъ на это замѣчаніе Тургенева: «Говорятъ, чтобъ долго жить, надо имѣть дурное сердце и хорошій желудокъ».

Вяземскій проворчалъ: «Это заставило-бы предположить, что патріархи и въ особенности Маѳусаилъ отличались превосходнымъ пищевареніемъ и имѣли столько-же сердца, какъ лягушка.

Я спросила: «Почему лягушка»?

«Потому что онѣ такія холодныя, моя прелестная Донна-Соль. Случалось-ли вамъ, когда-нибудь, изъ любопытства, взять въ руки лягушку»?

Я отвѣчала жестомъ, выражавшимъ ужасъ, и Жуковскій тотчасъ же поспѣшилъ разсказать достопочтенному обществу, что въ Павловскѣ, въ тотъ годъ, когда я вышла изъ института, я чуть не бросилась въ прудъ, спасаясь отъ лягушки, которая скакала по дорожкѣ; по счастью онъ тутъ случился и во̀-время меня подхватилъ, не давъ мнѣ погибнуть смертью Офеліи. Затѣмъ онъ сообщилъ, что я еще болѣе боюсь мышей. Кто-то поднесъ дѣтямъ [1]) механическую мышь; увидѣвъ, какъ она бѣгала, я пришла въ ужасъ, такъ какъ издали приняла ее за живую мышь, и прыгнула на столъ, къ великой радости дѣтей.

«Съ антипатіями не спорятъ, сказала Е. А. [2]): я бы не могла уснуть, еслибъ въ моей комнатѣ были тараканы; во время путешествія изъ Москвы въ деревню я провела цѣлую ночь, сидя на столѣ на почтовой станціи; я воображала, что я въ безопасности; но, подъ утро, двѣ изъ этихъ ужасныхъ тварей свалились на меня съ потолка,—тогда я вышла и сѣла на скамейку передъ домомъ; мой мужъ и дѣти отлично спали, я имъ завидовала.

«Надо имѣть много философіи и мужества, чтобы ночевать на этихъ почтовыхъ станціяхъ, проворчалъ Вяземскій,—только въ этихъ случаяхъ мирюсь я съ своей безсонницей. Я хожу передъ домомъ, брожу по комнатѣ для пріѣзжающихъ, прислушиваюсь къ ворчанью часовъ, которые

---

[1]) Государя.

[2]) Карамзина.

*

вѣчно хрипятъ въ этихъ очаровательныхъ мѣстахъ. Я читаю имена путешественниковъ въ почтовой книгѣ; тамъ встрѣчается цѣлая коллекція необыкновенныхъ именъ, которыхъ никогда не слышишь: здѣсь можно было бы почерпнуть имена для романовъ и комедій, не оскорбивъ тѣхъ, кто ихъ носитъ, такъ какъ романовъ они читать не будутъ и комедій не увидятъ.

— Вотъ отличная мысль, сказалъ Пушкинъ, я предложу ее Гоголю. Имена дѣло довольно важное для романиста и для драматурга. Грибоѣдову пришлось пустить въ ходъ имена изъ старинныхъ комедій, что имѣетъ какъ хорошую, такъ и дурную сторону, но публикѣ придется къ этому привыкнуть въ театрѣ. Шериданъ поступилъ какъ Грибоѣдовъ, но въ англійскихъ романахъ встрѣчаются имена существующія.

— Не всегда,—возразилъ ему Тургеневъ,—Гольдсмитъ назвалъ своего викарія Скороспѣлкой.

— Всезнающій и всевѣдующій человѣкъ, ты ошибаешься, это имя существуетъ, есть шотландскій сэръ Примрозъ, это его фамилія.

— Какая ученость, ты это откуда знаешь?

— Отъ одного англичанина; онъ мнѣ даже разсказывалъ, что Ловласъ не есть вымышленное имя,—былъ одинъ поэтъ, полковникъ Ловласъ, во время гражданской войны, кажется. Я говорилъ объ именахъ, которыя Бульверъ даетъ своимъ дѣйствующимъ лицамъ, и узналъ, что Пельгамы, Клиффорды существуютъ въ Англіи.

— И обладатели этихъ именъ не обижаются?

— Ничуть, это теперь допускается и представляетъ ту выгоду, что придаетъ болѣе правдоподобія роману,—они начали съ романа въ прошломъ столѣтіи и кончатъ театромъ; Шериданъ не безъ цѣли давалъ прозвища вмѣсто именъ. Мистриссъ Малопропъ, сэръ Антони Абсолютъ, Лидія Ланґвитъ. Я много разговариваю, когда гуляю по англійской набережной, куда ходятъ англичане; они мнѣ разсказываютъ и объясняютъ множество подробностей относительно ихъ родины, это очень поучительно, и я узналъ массу вещей объ ихъ понятіяхъ, журналахъ, писателяхъ, объ Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ, Шелли, подробностей, которыхъ изъ книгъ никогда не узнаешь, а по этимъ-то подробностямъ и знакомишься съ страной и даже съ литературными произведеніями.

Пушкинъ погруженъ въ прозу: Пугачевъ, романъ изъ той эпохи, Дубровскій, Пельгамъ, о которомъ онъ подумываетъ, Пиковая Дама, словомъ, у него въ головѣ пятьдесятъ идей. Онъ хочетъ основать журналъ, роется въ архивахъ, и ему дано разрѣшеніе изучать библіотеку, которую Екатерина пріобрѣла по смерти Вольтера. Какая у него голова: все это въ ней умѣщается свободно, и какая удивительная память. Соболевскій получилъ письмо изъ Парижа; ему говорятъ о Мицкевичѣ, о Лелевелѣ, объ Одынцѣ; Богданъ Залесскій хочетъ издать сборникъ стихотвореній и прислать его съ курьеромъ Соболевскому. Пушкинъ говорилъ вчера съ

Соболевскимъ о Мицкевичѣ и говорилъ вещи очень вѣрныя. У него нѣтъ Weltschmerz Байрона, онъ страдаетъ тоскою по роднпѣ, ему недостаетъ его Литвы, и онъ гораздо болѣе патріотъ, чѣмъ гражданинъ міра. Байронъ человѣкъ, который жилъ въ политически независимой странѣ, онъ былъ гетеристомъ, восхищался Наполеономъ, побѣдившимъ революцію, которой восторгался Байронъ, немыслимо, чтобы его патріотизмъ былъ патріотизмомъ Мицкевича,—родина котораго побѣждена. Шиллеръ утратилъ свои иллюзіи послѣ революціонныхъ убійствъ, — впрочемъ, все это не политическіе дѣятели, а Байронъ былъ даже человѣкомъ партіи; у Мицкевича менѣе юмора и ироніи, чѣмъ у Байрона, и сверхъ того, въ его чувствахъ есть что-то нѣжное, чего Байронъ никогда не имѣлъ, но Байронъ несравненно болѣе страстенъ. Мицкевичъ романтиченъ въ Валленродѣ, слишкомъ даже, по моему; это романтизмъ Байрона и Шиллера, вмѣстѣ взятыхъ, съ оригинальностью и искренней меланхоліей славянъ, съ *грустью* безъ желчи. Тонъ другой, звукъ голоса не тотъ, даже когда пѣсня поется та же самая; если одинъ поэтъ подражаетъ другому, онъ все же остается самимъ собой, имѣетъ свою физіономію. Я думаю, что байронизмъ долго не продержится, т. е. подражательный; но байроновскій тонъ сохранится, его, впрочемъ, себѣ довольно легко усвоиваютъ, у него заимствуютъ его самую слабую сторону,—скрежещутъ зубами, насмѣхаются, плачутъ, прибѣгаютъ къ сатирѣ. Я также не безъ грѣховъ юности, но это кончено; я болѣе зубами не скрежещу и не переодѣваю моихъ героевъ въ чужое платье, а, между тѣмъ, какой успѣхъ я тогда имѣлъ! Теперь успѣхъ мой меньше, а мнѣ кажется, что работаю я лучше. Что вы объ этомъ думаете, Донна Соль? Я отвѣчала: «Конечно, много лучше».

Соболевскій сказалъ: «Аминь».

Пушкинъ продолжалъ: «Признайтесь, что «Бахчисарайскій Фонтанъ» вамъ нравился, когда вы вышли изъ института. Я тогда признаюсь, что Шиллеровскіе «Разбойники» мнѣ нравились, но недолго».

Съ этимъ словомъ онъ вышелъ, громко смѣясь.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Extraits des carnets de souvenirs d'Alexandrine Smirnoff née de Rosset d. 1826 à 1845.

Ce matin Pouschkine est venu me voir et m'a demandé mon avis, son air sérieux m'a fait sourire, il voulait savoir s'il n'avait pas été indiscret en parlant tout seul pendant une heure, pour faire un cours d'histoire de Russie à Barante. J'ai répondu: «Du tout, cette heure a passé comme un instant, et vous avez enchanté tout le monde et Barante plus que personne». Je lui ai répété ce que celui-ci m'avait dit.

Il a souri: «Eloquent, orateur! J'ai fini par la théologie et c'était la faute d'Asmodée, nous avions discuté sur le sujet il y a quelques jours. C'est ridicule de répéter que J. Ch. est un démocrate, ils finiront par le déguiser en révolutionaire, en démagogue, en subversif. Il deviendra suspecte aux biens intentionnés. On se donne des airs de libéral et de chrétien à la fois. Ils ne lisent pas assez les Evangiles, ils n'y trouveront pas que J. Ch. ait demandé avant de guérir et de secourir: Etes-vous riche ou pauvre, aristocrate ou démocrate? Si au moins on laissait la politique à la porte des Eglises et dehors des Evangiles. Il ne manque plus qu'une chose, c'est de dire qu'Il était pour le régime parlementaire, ou le Vetché de Novgorod. Même on oublie que le peuple a demandé sa mort».

J'ai répondu: «Ecrivez donc cela. Et faites un poème sur la Nativité et sur les rois Mages».

Il a sécoué la tête: «L'Evangile de St. Luc qu'on lit le 25 Mars est le plus beau des poèmes, je ne ferais jamais rien qui en approche».

Au bout d'un moment il a continué: «Votre Madone de Pérugin me fascine, elle me parait si typique de la servante du Seigneur, de celle qui a prononcé le Magnificat. Bruloff m'a dit que l'Enfant est Raphaélesque». Il est allé regarder la Madone et il est revenu. «J'ai lu la Bible d'un bout à l'autre à Mihaïlowskoé, quand j'y étais en éxile, je lisais même

certains chapitres à mon Arina. Mais j'avais beaucoup lu les Evangiles avant». «Voulez-vous que je vous fasse une confidence?»

«Au sujet de quoi?»

«De mon Prophète».

«Faites, je serai discrète».

C'est pourquoi je vous la fais. Je suis allé au couvent de Swiaty Gory un jour pour dire une panyhida [1]) pour Pierre le Grand. Déjà j'en avais fait dire une pour Byron bien avant. Mais un soir je relisais son Maseppa et j'ai trouvé ces vers:

«Had passd to the triumphant Czar,
I love this sweet name...»

C'est l'épigraphe que j'ai mis à Poltava, les 4 vers, je vous en cite deux seulement. Le lendemain j'ai été au couvent, un *sloujka* [2]) me prie d'attendre dans une cellule, il y avait une Bible ouverte sur la table, je regarde la page, c'était Ezéchiel, je lis le passage que j'ai paraphrasé dans le Prophète. Il m'a subitement frappé. Il m'a hanté quelques jours et une nuit j'ai écrit le poème, je me suis *relevé pour l'écrire*, je crois que j'ai *rêvé ces vers!* C'était peu de temps avant que S. M. ne me fasse venir à Moscou. Je crois que Pierre le Grand l'a inspiré alors! Il me parait que les morts peuvent inspirer les vivants. Cela vous paraitra étrange peut-être qu'un vers de Maseppa de Byron m'ait fait aller dire des prières pour Pierre le Grand? Je l'ai fait souvent et j'ai prié ce jour-là pour Byron aussi. J'avais lu Ezéchiel avant, cette fois le texte m'a paru sublime, je crois que je l'ai mieux compris. C'est toujours ainsi avec les Ecritures, on a beau les relire, plus on s'en pénètre plus tout s'éclaire et s'élargit. Mais je ne lis jamais de suite, j'ouvre le livre au hasard et je lis tant que cela me fait plaisir, comme tout autre livre. A propos, connaissez-vous une vieille superstition, qui dâte des latins et qui a duré pendant le moyen âge, on l'appelle sortes Virgilianae. On ouvre l'Enéïde et on décide d'avance le coté du livre et la ligne qu'on lira, soit de haut en bas, soit de bas en haut. Je l'ai souvent éssayé avec l'Enéïde et même avec les Ecritures. L'autre soir en rentrant de chez vous, j'ai ouvert l'Evangile ainsi, et je suis tombé sur la texte: «Prenez mon joug, car il est doux et mon fardeau il est léger». En slavon il y a le mot *blago* qui est traduit *facile* en anglais; je me suis acheté une Bible anglaise pour comparer le texte et en la lisant je vois combien les poètes anglais ont lu les Ecritures. Byron lisait le livre de Job sans cesse. En lisant ce texte j'ai pensé: riches et pauvres, prospères et malheureux en tout, aristocrates et démocrates, grands et petits, nous portons tous le fardeau de la vie, le

[1]) Messe de rèquiem.

[2]) Frère laê.

joug de notre humanité si faible et si sujette à l'erreur. Et ce joug, ce fardeau *égalise tout*. Il nous dit de prendre le joug qui est doux, le fardeau qui est léger, c'est son joug, son fardeau, qni nous aidera à porter le nôtre jusqu'au bout, si nous aidons au prochain à porter et à soulever celui qui l'accable. Voilà toute la loi en quelques mots, et ici il n'y a de place ni pour aristocrate ou démocrate. Il n'y a là qu'une seule — la *seule grande puissance* — l'amour! J'ai voulu dire tout cela l'autre soir, mais j'ai résisté au désir. Ces choses ne se disent pas à dix personnes, elles ne se disent qu'en tête à tête, entre amis. J'ai même eu tort peut-être d'en avoir dit autant l'autre jour. Il m'a paru que j'ai outrepassé les limites d'une causerie de salon et si j'ai manqué de tact, excusez-moi».

J'ai répondu: «Vous excuser! Mais je suis toujours contente quand vous parlez longuement, ne serait-ce qu'à cause des banalités que j'entends si souvent dans mon salon quand il y a *soirée*. Je vous remercie de me parler en ami. Mon mari a été heureux de vous écouter, vous savez combien il vous est attaché, il est fier de vous par patriotisme, ce Boyar italien, ce Milord Nicolaï».

Mon mari a été élevé par des personnes très croyantes, deux émigrés, dont l'un abbé, comme sa soeur a été élévée par la soeur de cet abbé, et ma belle-mère était très pieuse. Ces émigrés n'ont jamais essayé de convertir leurs élèves, mais ils leur ont donné beaucoup de piété très simple. Mon mari ne parle jamais de religion à personne, mais comme vous m'avez fait une confidence je vous en ferai une autre. Nous allons partir bientôt et Dieu seul sait quand nous nous reverrons, car un diplomate est envoyé d'un poste à l'autre du jour au lendemain; nous allons à Berlin et à Paris peut-être très vite, même Nesselrode a dit à Nicolas qu'il l'enverrait peut-être à Londres ensuite. Moi je voudrais aller à Rome et lui aussi, il rêve à l'Italie, à sa chère Florence, où il a débuté. Vous viendrez en Italie alors, chez nous, Nicolas ne rêve que cela. Eh bien, comme adieu, je vous raconterai un détail. Le soir de notre noce, quand l'Empereur est parti, après nous avoir béni encore chez nous, mon mari m'a conduit dans ma chambre, il m'a donné le beau crucifix de sa mère, que vous admirez tant, il est d'Algarde, un espagnol, qui a fait les pendentifs à St. Pierre. Ce crucifix a été donné par Pierre le Grand à l'ancêtre de ma belle mère, Bouchvostoff. Man mari m'a dit: «Je vous donne ce crucifix qui était à ma mère, quand elle se mourrait elle l'a fait placer au pied de son lit et a dit à mon père: Donnez le à notre fils et qu'il le donne à sa femme». Elle est morte les yeux fixés sur ce crucifix, et je remplis sa volonté, je vous le donne. Je ne sais ce que la vie nous réserve, mais le premier jour de notre vie conjugale doit commencer par la prière devant ce crucifix». Mon mari, qui se souvient à peine de sa mère, a gardé un culte pour sa mémoire à cause des récits de son père,

de ses deux précepteurs et de M-lle de Gazier, la gouvernante de sa défunte soeur. Je dois vous dire que mon mari n'oublie pas ce que vous lui avez témoigné de sympathie quand ma belle soeur Sophie est morte, et elle, la pauvre petite bossue, avait pour vous une grande sympathie, vous avez été si bon pour elle. Vous êtes si bon pour mes frères qui tous vous aiment de tout leur coeur. Quant à Nicolas, il a de la tendresse pour vous. Il est très préoccupé de vos ennuis, il voudrait que vous en parliez à l'Empereur très franchement».

Pouschkine m'a répondu: «Voilà de l'amitié, vous me dites des choses que l'on ne dit qu'à des amis dont on est sûr. Je vous en remercie. Je ne dois pas parler à l'Empereur, car il m'a déjà avancé de l'argent et je n'ai pas fini mon travail sur Pierre le Grand; il est déjà trop généreux et c'est toujours sur sa cassette privée. J'aime et j'estime trop Smirnoff pour l'envier, mais un crucifix donné par Pierre le Grand, une table sculptée par lui, une coupe en écaille tournée par lui, sa boussole, quels trésors vous avez, et ce beau portrait en armure par Karl Moor, où les laissez-vous?»

«A la campagne, où il y a les vieux domestiques de mon beau père et de ma belle mère, qui savent très bien la valeur de ces objets».

Pouschkine m'a dit alors: «Vous ne m'avez pas trouvé indiscrèt de tenir le dé de la conversation l'autre soir». Je lui ai répété qu'Aline et Marie Elmpt étaint enchantées de la soirée, que Sobolewsky et Miatleff ont dit à Nicolas que Barante a vu un Pouschkine qu'il ne connaissait pas encore, et que Wiasemskoy avait l'air content de lui. Il a répondu:

«Nous en avons reparlé, il me parait qu'il commence à être de mon avis. C'est un de mes meilleurs amis et ses conseils me sont précieux. Il m'a défendu contre la critique, et cet homme élevé an XVIII-ème s. est un croyant sans en parler. C'est un phénomène sous ce rapport. J'ai lu l'autre jour une réflexion très profonde en français: «La foi est le prix d'une lutte». Et c'est autant une lutte avec nos passions qu'avec nos doutes. Pestel m'a dit une fois: «Ma raison s'y oppose, mais mon coeur est matérialiste». Ceci m'a éloigné de lui. On croit beaucoup trop que c'est la raison qui doute toujours, le coeur doute tout autant, car il subit nos plus tristes passions, nos plus indignes faiblesses. Savez-vous ce qui m'a frappé la première fois à une messe de Palais daus cette chapelle remplie de dorures qui ressemblent plus à une décoration de salle de bal qu'à une église et c'est bien celle du XVIII-è siècle! C'est que l'Empereur priait à cette messe officielle et *Elle* [1]) aussi, et chaque fois que je l'ai vu à cette messe il priait, il oublie alors tout ce qui l'entoure. Il porte aussi son joug et son fardeau très pesant, ses terribles responsabilités —

[1]) L'Impératrice.

et il les sent bien plus qu'on ne croit. J'ai observé la famille Impériale plus d'une fois quand j'ai été de service, il m'a paru que c'étaient les seuls qui priaient. Vous savez tout ce que je pense de *Lui* [1]) et combien je *Lui* suis dévoué et combien j'ai de vénération affectueuse pour *Elle*. J'aime et j'estime beaucoup le G-d Duc Michel, je puis vous dire tout cela et à votre mari, à Joukowsky, à M-me Karamzine, car je sais que vous partagez ces sentiments avec quelques autres qui les voient de près, les frères Wielhorsky, la baronne Cécile, votre amie. Mais je n'en parle pas, car on est si habitué â ne les considérer que comme des souverains seulement, et il y a tant de bassesse et de courtisanerie dans cette façon de les regarder, quoiqu'elle paraisse très respectueuse à ceux qui ne jugent pas le fond des choses, que toute persoune qui dirait ouvertement son opinion, serait taxée de manquer de sincérité, de jouer la comédie du dévouement; avec vous je ne crains par d'être mal compris et mal apprécié».

J'ai répondu: «Nous nous figurons que fronder est un signe de dignité et c'est une des façons de poser qui nous est spéciale à Pétersbourg. Mon mari est allé voyager entre 15 et 16 ans, il a achevé son éducation en voyageant, à 18 il est entré dans la carrière; M-me de Nesselrode avait beaucoup connu ma belle mère, parait-il, et il a été chez Swertchkoff son parent dabord, comme attaché. Quand il est rentré en Russie comme courrier il n'a pas séjourné longtemps et il allait voir son oncle et sa soeur à Moscou, où il restait peu. Il m'a dit qu'en débutant ici, il a été frappé par les deux contrastes, la courtisanerie plate et le ton frondeur affecté, et les mêmes gens qui se prosternent sont les plus frondeurs, surtout quand ils n'ont pas reçu une décoration pour une fête, qu'on ne les invite pas, qu'on ne leur parle pas à une fête. Il aime et estime les Nesselrode qui sont si pleins de dignité et lui, un étranger, si loyal au Souverain qu'il sert».

Pouschkine m'a rèpondu: «La loyauté chevaleresque est rare partout; mais ce n'est pas en frondant dans les salons qu'on fait du bien à sa patrie, c'est en la servant selon les lois si étroites de l'homme, de la probité. C'est aussi la voie étroite du devoir. Je ne comprends pas qu'on puisse servir un Souverain si on ne l'aime pas et ne l'estime pas et comme chez nous le Souverain et la patrie sont une et même chose, je ne les sépare pas. Cependant j'espère arriver à un résultat dans ma revue, à créer entre le gouvernement et le public qui me lira, une solidarité réelle et à persuader à la censure et à certains personnages que la presse peut rendre des services au gouvernement tout en ayant un certain francparler. Si je n'avais à faire qu'à l'Empereur j'y arriverais. L'homme qui m'est

---

[1]) L'Empereur.

le plus hostile est Benckendorf, à cause des Tziganis, il a défendu un allemand qui m'a volé mon droit d'auteur pour la 2-de édition, notre antagonisme dâte de là, je crois, d'une part; de plus il a l'obstination pédante d'un conseiller allemand! (sic). Il est absolument dénué d'imagination, d'idéal, il aurait été un admirable employé à Hesse-Cassel ou tout autre trou; il est dans un pays qu'il ne connait pas, il a le mépris secret des allemands pour *die Russen*, il n'aime pas la Russie et il n'aime pas l'Empereur, car il ne le comprend pas du tout. Il est fidèle à la façon dont il peut l'être et c'est tout son mérite. Je sens qu'il me fait du mal, et m'en fera, j'en ai parlé à Smirnoff qui est de mon avis. Il m'a prié d'être patient, de ne donner aucune prise à Caton; il y a d'autres qui me sont hostiles dans la censure, la littérature, les salons, mais ce sont des hostilités d'un autre ordre. Joukowsky m'a dit que c'est Benckendorf qui a monté Ouvaroff contre moi quand j'ai écrit le poème sur la guérison de Lucullus. Je n'ai pas du tout visé Ouvaroff, la maladie de Cheremeteff m'a paru un sujet, parcequ'il était un richard, un sujet comme on en trouve dans les poètes latins même. La situation y prétait! Joukwsky en a parlé à Ouvaroff, qui lui a avoué que c'est Caton qui lui a suggeré que je le visais. A propos, c'est Caton qui a eu la belle idée de placer les sentinelles pour garder le tableau de Bruloff. Il a agi tout à fait en Pilate!» J'ai répondu: «Ne donnez pas prise à Caton, patience, vous arriverez; l'Empereur, auquel on prête beaucoup de choses, ignore même qu'on les fait en son nom».

Pouschkine m'a répondu: «Ne croyez pas que j'aie un préjugé contre Benckendorf, je lui reconnais certains merites, il est zélé, probe, il est sous ce rapport sans reproches; mais il a des idées fausses sur le caractère russe et sur la façon dont on peut remplir sa fonction policiére. L'Empereur sait qu'il est zélé et probe, qu'il est gentleman sous le rapport de la probité, et il croit qu'elle s'étend au reste de ses actes. Quant à être au fait de tout ce qui se fait et se dit en son nom, pour le savoir l'Empereur devrait être Argus et avoir cent yeux et même une âme basse et mesquine pour déviner les actes mesquins et bas. Et à présent adieu! Vous savez que je reste aux Iles, mais si je puis je m'en irai à Mihaïlowskoé en automne, ce serait un bonheur pour moi. Je dois débrouiller le chaos des affaires paternelles, diriger ma revue et marier mes belles soeurs; je les aime beaucoup, mais je ne suis pas taillé pour les pères nobles et la pauvre Nathalie avec quatre marmots tout petits n'est ni une marieuse [1]), ni un chaperon, elle est trop enfant et bien plus jeune que ses soeurs de caractère, elle n'a pas pour dix copecks d'expérience mondaine».

---

[1]) En russe *свaxa*.

J'ai été du même avis. Je l'ai prié de relire les notes faites l'autre soir, il l'a fait et a conclu: «Quelle *terrible* mémoire vous avez, je n'ai changé que trois mots et ce sont des équivalents!»

«Cette conversation m'a laissée une impréssions pénible, il me parait que c'est un adieu de Pouschkine, ce qui est ridicule, car nous sommes tous jeunes encore; nous nous reverrons. Nicolas éprouve la même impression, il a marché deux heures avec Pouschkine l'autre soir aux Iles, ils ont causé de ses préoccupations de tout genre, de ses préssentiments, et mon mari est revenu très soucieux, très attristé de la tristesse profonde de Pouschkine. Je n'ose pas parler de lui à L. L. M. M. et au Grand Duc car il ne m'y a pas autorisée et j'ai le sentiment que si L'Empereur *savait tout* qu'il enverrait Pouschkine voyager pour deux ans, loin, *bien loin* de Petersbourg et alors sa famille et celle de Nathalie ne bougonneraient pas et on ne dirait pas qu'il pôse pour les Lord Byron, les Don-Juan et autres bêtises qu'on débite. Excepté Caton, je dois dire que bien des personnes, qui ne sont pas russes, Ficquelmont, Barante, Nesselrode, Laval et les anglais de l'ambassade l'apprécient infiniment mieux que les *beaux* et les *belles* de nos salons; le *fashion* qui se croit si Européen! Vis-à-vis de Byron le *fachion* a été divisé et même ce sont les amis du Régent et les prudes qui ont crié contre lui, les deux extrêmes, et il y a prêté en enlevant cette actrice quand sa femme l'a quitté. Mais qu'est ce qu'on peut reprocher à Pouschkine? Son génie, son esprit qui les gêne et la sympathie de l'Empereur les fait enrager aussi, cependant elle ne les prive de rien du tout.

Pouschkine et Odoéwsky sont venus tard chez les Karamzine, ils sont allés à l'opéra, on donnait Don-Juan. Odoéwsky n'est pas content de l'orchestre qui a mal joué l'ouverture.

Cependant ce sont des allemands presque tous, habitués à cette musique, mais Odoéwsky disait que les opéras italiens gatent tous les orchestres, les habituent à une musique trop légère. Pourtant ils jouent mieux l'ouverture du Freischutz, mais surtout celle de Guillaume Tell, qui est la meilleure de Rossini, même la seule bonne à son avis.

On a parlé de musique, de Meyerbeer, qui intéresse Odoéwsky, parcequ'il voit chez lui un changement pour la musique d'opéra, dans l'orchestration; Meyerbeer est plus allemand qu'italien, du reste, doué pour la musique comme tous les juifs, mais il n'est pas à la hauteur de Mendelssohn Bartholdy, qui a du génie musical. Oulibicheff, qui prépare des documents pour sa vie de Mozart, a raconté à Odoéwsky que celui ci aurait écrit l'ouverture de Don-Juan le dernier jour, elle était toute composée, mais pas encore orchestrée, car Mozart était fort inscouciant parfois. L'orchestre de Prague l'a joué à livre ouvert devant le public, et

dirigé par Mozart, on n'a même pas pu imprimer toute la partition d'orchestre. Mais Oulibicheff se demande si en éffet ce fait est historique, car il y a plus d'une légende sur Mozart. Wiasemskoy a grogné: «Pcuschkine devrait achever son Mozart et Salieri, le fait peut n'être pas authentique, mais le drame serait beau. Un génie en présence d'un talent qui est jaloux et envieux du génie, qui a la bonté et la simplicité du génie. Au lieu de quoi Pouschkine fait deux scènes superbes et — les fourre dans un tiroir. Il a 50 projets en tête, nous donne de temps en temps un petit morceau de *choix*, nous met l'eau à la bouche et fait autre chose».

Tout le monde a été de l'avis de Wiasemskoy, et Pouschkine a fini par dire qu'il achevera Mozart et Salieri s'il vit assez vieux pour cela. Quant au Skoupoi Ritzar il est achevé, parcequ'il *a dit tout* ce qu'il *avait à dire* au sujet du vil métal.

Odoéwsky a observé que Raphaél, Mozart et Byron sont morts tous les trois à 37 ans. Pouschkine s'est écrié. «Serait-ce un age fatal pour les génies? Cépendant Goëthe a échappé à cette fatalité».

Joukowsky a dit que beaucoup d'hommes célèbres sont morts bien avant 60 ans. Pierre le Grand, Lomonossoff, Dante, Tasse, Schiller, Pascal, Pitt et Napoléon n'ont pas atteint 50 ans. Petrarque est mort assez jeune, en revanche Milton, Waschington, Michel Ange n'ont pas péri à la fleur des ans. Voltaire est devenu très vieux, Corneille a aussi atteint un age respectable, mais Molière et Racine ont disparu avant d'épuiser leur talent.

«En revanche lui, a répondu Pouschkine, Louis XIV et Louis XV ont épuisé leur gloire avant de s'en aller».

«Il n'y a jamais eu de centenaire qui ait eu du génie ou un grand talent, ceci est digne de remarque. Dumoins la longévité fut leur seul talent».

Pouschkine a répondu à Tourguéneff: «On prétend que pour vivre longtemps il faut avoir un mauvais coeur et un bon estomac».

Wiasemskoy a grogné: «Ceci ferait supposer que les Patriarches et surtout Mathusalem n'avaient pas plus de coeur qu'une grenouille».

J'ai demandé: «Pourquoi une grenouille?»

«Parcequ'elles sont si froides, mon adorable Dona Sol. Avez-vous jamais eu la curiosité de prendre en main une grenouille»?

J'ai fait un geste d'horreur, et aussitôt Joukowsky s'est empressé de raconter à l'honorable société qu'à Pawlowsky, l'année où je suis sortie de l'Institut, j'ai failli me précipiter dans l'étang en me sauvant d'une grenouille qui traversait le sentier, heureusement qu'il était là et m'a rattrappée à temps, il m'a empechée de périr de la mort d'Ophelia. Ensuite il leur a dit que j'avais encore plus peur des souris, on avait

donné aux Enfants [1]) une sourie mécanique: en la voyant courir, j'avais été terrifiée, la prenant de loin pour une souris vivante et j'avais sauté sur la table à la grande joie des Enfants.

«On ne raisonne pas avec des antipathies, a dit E. A. [2]), je ne pourrais pas dormir s'il y avait des *tarakany* [3]) dans ma chambre. Pendant un voyage entre Moscou et la campagne j'ai passé toute une nuit assise sur une table dans une maison de poste, je me croyais en sureté. Mais vers le matin deux de ces atroces bêtes sont tombées sur moi du plafond, alors je suis allée m'assoir sur un banc devant la maison. Mon mari et les enfants dormaient parfaitement. Je les enviais».

«Il faut beaucoup de philosophie et de courage pour coucher dans ces maisons de poste, a grogné Wiasemskoy. Ce sont les seules occasions où je me résigne à mes insomnies. Je me promène devant la maison, je rode dans la chambre commune et j'entends grogner la pendule qui est toujours enrouée dans ces lieux de délices. Je lis les noms des voyageurs dans le réjistre du maître de poste. Il y a là une belle collection de noms extraordinaires qu'on n'entend jamais. On pourrait y trouver des noms pour des romans, des comédies, sans offenser les propriétaires, qui ne liront pas les romans et ne verront pas les pièces».

«Voilà une idée excellente, a dit Pouschkine, je vais l'offrir à Gogol. Les noms sont une chose assez importante pour un romancier et un dramaturge. Griboyédoff a du se servir des noms de l'ancienne comédie, ceci a du bon et du mauvais à la fois. Mais il faudra que le public s'y habitue au théatre. Sheridan a fait comme Griboyédoff, mais dans les romans anglais il y a des noms qui éxistent».

«Pas toujours lui, a répondu Tourguéneff, Goldsmith a appelé son vicaire une primevère».

«Homme de toute science et tout savoir, tu te trompes, ce nom existe, il y a un pair ecossais qui s'appelle Primrose, c'est son nom de famille».

«Quelle science! D'où le sait-tu, toi?»

«D'un anglais, même il m'a conté que Lovelace n'est pas un nom imaginaire il y a eu un Colonel Lovelace poète, pendant la guerre civile, je crois. J'avais parlé des noms que Bulwer donne à ses personnages, et j'ai appris que des Pelham, des Clifford éxistent en Angleterre».

«Et les propriétaires ne s'en formalisent pas?»

«Dutout, c'est chose admise à présent. Et cela a l'avantage de donner plus de vérité au roman, ils ont commencé par le roman au siècle

---

[1]) De l'Empereur.

[2]) M-me Karamzine.

[3]) Des cafards en russe.

dernier et finiront par le théatre, car Sheridan a eu un but en donnant des sobriquets au-lieu de noms, Mrs. Malaprop, Sir Anthony Absolute, Lydia Languish. Je cause beaucoup, quand je me promène au quai anglais où vont les anglais, je me fais raconter et expliquer quantité de choses sur leur pays c'est très instructif, il m'a fait connaître tant de choses sur leurs idées, leurs revues, leurs écrivains, sur Walter Scott, Byron, Shelley, détails que des livres ne vous enseignent jamais. Et c'est par ces détails intimes qu'on apprend à connaître un pays et même les oeuvres littéraires».

Pouschkine est plongé dans la prose, Pougatcheff, un roman sur cette époque, Doubrowsky, Pelham auquel il pense, La dame de Pique, enfin il a 50 idées en tête. Il veut fonder une revue, un journal, il lit les archives et il a eu la permission de fouiller dans la bibliotheque que Catherine a acheté à la mort de Voltaire. Quelle tête il a,—tout cela s'y loge à l'aise et quelle prodigieuse mémoire. Sobolewsky [1]) a reçu une lettre de Paris, on lui parle de Mickéwicz, de Léléwel, d'Adinitz; Bogdan Zalesky veut publier un volume de poésies qu'on enverra par courrier à Sobolewsky. Pouschkine parlait de Mickéwicz avec Sobolewsky hier et disait des choses très justes: «Il n'a pas le *Weltschmerz* de Byron, c'est son *heimwehe* qui le fait souffrir, il lui manque sa Littwanie et il est patriote beaucoup plus que citoyen du monde. Byron est un homme qui a vécu dans un pays politique, indépendant, il a été Hétériste, il a admiré Napoléon qui a vaincu là Révolution que Byron a àdmirée et il est impossible que son patriotisme soit celui de Mickéwicz, dont la patrie est vaincue. Schiller a perdu ses illusions après les massacres de la Révolution, du reste, ce ne sont pas des hommes politiques et Byron a été un homme de parti même. Ce que Mickewicz a de moins que Byron, c'est le humour, l'ironie et en plus il a dans les sentiments, quelque choses de tendre que Byron n'a jamais, mais Byron est infiniment plus passionné. Mickéwicz est romantique dans Wallenrod, *trop à mon avis*, c'est un romantisme qui est celui de Byron et Schiller ensemble, avec l'originalité des slaves, la mélancolie sincère des slaves: la *groüst* [2]) sans fiel. Le ton est différent, le timbre de voix, même en chantant le même air. Si un poête imite un autre, il est pourtant lui-même et il a sa phisionomie. Je crois que le byronisme ne durera pas longtemps, celui des imitateurs, mais le ton byronien durera, on l'attrappe assez facilement du reste. On en prend ce qu'il y a de plus faible, on grince des dents, on persifle, on pleure, on est satirique. J'ai commis des pechés de jeunesse aussi, mais

---

[1]) Parent de M-me Swetchine, qui lui écrivait souvent.

[2]) Tristesse.

c'est fini, je ne grin ceplus des dents et je ne déguise plus mes héros dans la défroque des autres et pourtant que de succés j'ai eu alors! A présent j'en ai moins et je crois que je fais mieux; qu'en pensez-vous dona Sol?» J'ai répondu: «Beaucoup mieux, en éffet». Sobolewsky a dit: «Amen». Pouschkine a répris: «Avouez que la Fontaine de Bachtchi-Saraï vous plaisait quand vous-avez quitté l'institut? J'avouerai alors que les Raüber de Schiller m'ont plû aussi, mais pas longtemps». Sur ce mot il est parti en riant á belles dents.

(A suivre).

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЦИСТЪ ВЪ ЕВРОПѢ.

Непродолжительный въ сравненіи съ средними вѣками періодъ исторіи западно-европейскихъ народовъ, который принято называть эпохой Возрожденія, отличается весьма любопытными особенностями, замѣтными при ближайшемъ и болѣе подробномъ изученіи того или другого отдѣльнаго эпизода. Изученіе древности, знакомство съ лучшими классическими писателями какъ нельзя болѣе способствовали появленію новыхъ запросовъ, новыхъ требованій. Античный міръ раскрылъ передъ молодымъ поколѣніемъ свои тайны, заставляя задуматься надъ такими сюжетами, мыслями и идеями, которые были совершенно чужды поколѣнію, уходившему въ могилу. Необыкновенный подъемъ чувства личнаго достоинства, стремленіе къ свободѣ въ сферѣ умственной и общественной шли рука объ руку съ распространеніемъ знаній, съ развитіемъ наукъ и искусствъ. Казалось, что послѣ продолжительнаго сна люди пытались вознаградить потерянное время и спѣшили жить полной, всесторонней жизнью. Стѣсненная узкими рамками сословія и касты личность выдвигается на первый планъ и своимъ интересамъ отводитъ первое мѣсто.

Дѣятели этой эпохи вливали въ жизнь новыя начала, закладывали основы новой и новѣйшей исторіи. Ихъ усиліями подготовлялось дѣло реформаціи со всѣми ея безчисленными послѣдствіями для дальнѣйшей умственной жизни Европы.

Среди дѣятелей нѣмецкаго возрожденія на первомъ планѣ должна быть поставлена оригинальная, даже нѣсколько загадочная, фигура автора «Похвала глупости».

Въ исторіи нѣмецкаго возрожденія XV и XVI ст. нѣтъ имени, которое-бы вызывало столько разнорѣчивыхъ сужденій, какъ имя Эразма Роттердамскаго. Ревностные реформаторы и католики долгое время съ негодованіемъ говорили о знаменитомъ гуманистѣ. Его считали человѣкомъ неустойчивыхъ убѣжденій, склоннымъ измѣнять друзьямъ и врагамъ. На его имени лежало несмываемое безпристрастной критикой пятно; къ нему относились несправедливо.

Конечно, время подобной критики миновало. Теперь Эразмъ понимается гораздо проще, представляется гораздо яснѣе въ монографіяхъ западныхъ ученыхъ. Но и въ настоящее время нельзя указать сочиненія, въ которомъ проводился-бы вѣрный, чуждый всякихъ увлеченій, взглядъ на этого гуманиста. Вмѣсто того, чтобы стараться уловить его физіономію, освѣтить ее въ исторической перспективѣ обстоятельствами времени и мѣста, изслѣдователи различныхъ направленій взводятъ на Эразма обвиненія или, наоборотъ, стараются отстоять его отъ нападокъ другихъ.

Необыкновенно тонкая организація Эразма, его обширныя познанія, высокій умъ при отсутствіи страстности, способности безпредѣльно увлекаться извѣстной идеей дѣлаютъ пониманіе этой исторической личности не легкимъ. Критическое отношеніе къ самому себѣ часто заставляетъ этого гуманиста высказывать противорѣчивыя мнѣнія и сужденія и указывать то одну, то другую сторону дѣла. Часто историкъ недоумѣваетъ, читая разнорѣчивыя сужденія, и объясняетъ это неустойчивостью и слабостью его характера. Но при всей сложности натуры этого гуманиста, онъ болѣе чѣмъ кто-либо другой можетъ считаться представителемъ эпохи Возрожденія. Въ немъ мы находимъ и необычайную жажду знанія, и разносторонность, и отзывчивость на вопросы религіозные,— послѣднее является особенно характернымъ для нѣмецкаго ренесанса. Даже въ его личномъ характерѣ мы находимъ черты вообще присущія гуманистамъ: непостоянство, нѣкоторая мелочность въ личныхъ отношеніяхъ, далеко не безукоризненные полемическіе пріемы.

Для насъ, потомства, связь Эразма съ его современниками достаточно ясна. Теперь врядъ-ли кто-либо рѣшится серьезно упрекать гуманиста въ томъ, что онъ былъ безучастнымъ зрителемъ борьбы партій, не примыкая ни къ одной изъ нихъ. Понимая слабыя стороны обѣихъ, онъ не могъ увлечься волнующими ихъ интересами и былъ слишкомъ правдивъ, чтобы дѣйствовать неискренно.

Эразмъ былъ поборникомъ прогресса въ лучшемъ значеніи этого слова: онъ стоялъ за свободу личности и сторонился, когда видѣлъ какое-либо насиліе, онъ былъ сторонникомъ безкровныхъ, послѣдовательныхъ реформъ, по соглашенію, уравновѣшенныхъ въ своихъ желаніяхъ и убѣжденныхъ гражданъ,— хотя онъ и боялся капризныхъ увлеченій толпы, нерѣдко чуждой пониманія своихъ собственныхъ интересовъ.

Весь интересъ, возбуждаемый знаменитымъ гуманистами, собственно сосредоточивается не въ его біографіи, бѣдной, какъ и у многихъ ученыхъ, внѣшними происшествіями, а въ его литературной, ученой и, выражаясь современнымъ терминомъ, публицистической дѣятельности.

Необыкновенно впечатлительный, словоохотливый Эразмъ охотно дѣлится съ читателями своими наблюденіями и доставляетъ цѣнный и содержательный матеріалъ для знакомства съ различными сторонами жизни XVI в. Не присоединяясь къ какой-либо партіи, Эразмъ, въ качествѣ

посторонняго наблюдателя, умѣлъ отмѣчать заблужденія и увлеченія другихъ. Можно сказать, что Эразмъ былъ первымъ публицистомъ Европы. Его письма, расходившіяся въ громадномъ количествѣ экземпляровъ, касаются разнообразныхъ общественныхъ вопросовъ. Рядомъ съ теологическими и догматическими разсужденіями, онъ издавалъ прекрасно написанные трактаты, касающіеся реформы той или другой стороны общественной жизни.

I. Педагогическія идеи Эразма.

Особенно страстно и со знаніемъ дѣла высказался нашъ гуманистъ о воспитаніи и образованіи юношества.

Воспитаніе дѣтей, обученіе юношей велось во время Эразма по крайне варварской системѣ. Впечатлительный гуманистъ зналъ это по собственному опыту. Особенно страдалъ онъ, какъ извѣстно, въ коллегіи Монтегю. «Назадъ тому 30 лѣтъ, говоритъ онъ въ трактатѣ «Рыбояденіе», я жилъ въ Парижѣ, въ коллегіи, названіе которой заимствовано отъ уксуса. Ну, теперь я не удивляюсь тому, говоритъ собесѣдникъ діалога, что диспуты теологическіе были тамъ такъ кислы; тамъ самыя стѣны, говорятъ, выдыхали теологическіе туманы. — *Эр.* Ваша правда. За то я относился къ этой коллегіи не иначе, какъ къ учрежденію, наполненному нездоровыми жидкостями и множествомъ червей. Этою коллегіей управлялъ извѣстный Іоаннъ Стоденъ, человѣкъ не злой, но вовсе лишенный разсудка. Еслибы онъ, самъ испытавшій въ юности крайнюю бѣдность, обращалъ хоть какое-либо вниманіе на бѣдняковъ,—это было бы еще хорошо. Еслибъ онъ хоть на столько заботился о нуждахъ молодыхъ людей, чтобы доставлять имъ помощь кредита для ихъ занятій, не удовлетворяя, положимъ, всѣхъ ихъ потребностей,—и это было-бы достойно похвалы. Но у насъ были только жесткія постели, да постоянно голодный столъ; мы должны были выносить тяжкія бдѣнія и утомительныя работы. На первомъ же году моихъ испытаній, сколько видѣлъ я молодыхъ людей, которые одарены были прекрасными способностями, подавали богатыя надежды, но либо похищены преждевременною смертью, либо же поражены слѣпотою, сумасшествіемъ, проказою. Не верхъ-ли это жестокости?.. Разумно обуздывать увлеченія юности, конечно, обязанность отца, но, среди суровой зимы, давать голоднымъ молодымъ желудкамъ только кусокъ черстваго хлѣба и посылать ихъ искать воды въ сосѣднемъ каналѣ, и притомъ воды зловонной, нездоровой или замершей! Я лично зналъ многихъ молодыхъ людей, которые наживали въ коллегіи такія болѣзни, отъ которыхъ не могли потомъ освободиться всю жизнь. Наши спальни были въ нижнемъ этажѣ, и глиняныя стѣны спаленъ сплошь покрыты были плѣсенью». Ужасы этой коллегіи не представляли ничего поразительнаго въ сравненіи съ тѣмъ, что творилось въ начальныхъ школахъ. «Четырехъ лѣтъ отъ роду—пишетъ Эразмъ—дѣти посылаются въ школу, гдѣ

сидитъ безвѣстный, грубый, непристойнаго поведенія учитель, иногда даже страдающій умственнымъ разстройствомъ, часто лунатикъ или съ падучей, или съ еще болѣе ужасною болѣзнью. Думая, что нашли нѣчто въ родѣ царства, эти люди позволяютъ себѣ необыкновенныя насилія, хотя они господствуютъ не надъ дикими звѣрями, какъ говоритъ комическій поэтъ, а надъ возрастомъ, съ которымъ надо обращаться мягко и ласково. Можно сказать, что это не школа, а мѣсто пытки. Тамъ только и слышны удары линейкой, свистъ розогъ, жалобы и ужасныя угрозы. Что-же получается? Именно то, что дѣти начинаютъ ненавидѣть ученіе. Стоитъ этой ненависти разъ овладѣть ихъ душами, даже въ возрастѣ они питаютъ отвращеніе къ наукамъ».

Еще хуже, по заявленію Эразма, обращаются съ дѣтьми невѣжественныя гувернантки, когда имъ поручаютъ воспитаніе мальчиковъ. Онѣ легко раздражаются и вымѣщаютъ свой гнѣвъ на дѣтяхъ. Эразмъ былъ знакомъ съ однимъ теологомъ, рекомендовавшимъ и примѣнявшимъ къ дѣтямъ на практикѣ самыя неумѣренныя строгости. Такъ, почти ежедневно, послѣ обѣда, онъ заставлялъ сѣчь одного или двухъ мальчиковъ, чтобы смирить, по его выраженію, гордыню. Другой теологъ, избивъ до полусмерти десятилѣтняго мальчика, ограничился заявленіемъ: «онъ ничего дурного не сдѣлалъ, но было необходимо его унизить».

Розги, впрочемъ, сравнительно съ другими мѣрами, были слабымъ наказаніемъ. Нерѣдко учителя колотили провинившихся чѣмъ попало. Повѣсивъ подъ мышки, били линейками или розгами. Нерѣдко поили уксусомъ, растворомъ соли и даже нечистотами; били спиной объ стѣну до полусмерти,—по самому ничтожному поводу или безъ всякаго. Таковы были физическіе пріемы, которыми внушалась любовь къ наукѣ. Тѣ пытки, которымъ подвергали умы дѣтей, вполнѣ были достойны физическихъ истязаній. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ дѣтей мучили тонкостями опредѣленій частей рѣчи, анализомъ составныхъ частей предложенія, причемъ учителя старались умышленно затемнять возбуждаемые вопросы, переплетая грамматику съ діалектикой. Еще въ нѣжномъ возрастѣ дѣти должны были изощряться въ діалектическихъ упражненіяхъ, весьма часто не понимая смысла произносимыхъ словъ. Мѣсто классиковъ занимали въ то время, неизвѣстные въ наше время, схоластическіе писатели: Эбрардъ, Герландъ и др. Это были учебники, по которымъ велось преподаваніе въ школахъ, между прочимъ въ Девентрѣ, гдѣ воспитывался Эразмъ. Въ Парижѣ лучшими учебниками считался Доктриналь Александра de Ville-Dion (въ стихахъ) и Католиконъ доминиканца Бальба. Эразмъ жалуется, что учителя, изъ мелочного желанія, похвастать своими познаніями, начинали съ труднѣйшихъ вопросовъ, ставившихъ втупикъ способнѣйшихъ дѣтей.

Монастырскія школы далеко не удовлетворяли гуманиста. Ему не нравился ихъ режимъ, не нравился и характеръ наставниковъ-монаховъ.

«У этихъ полуобразованныхъ учителей, говоритъ гуманистъ о монахахъ, рабски настроенныхъ, лишенныхъ здраваго смысла, природная сила ума поглощена и замѣнена особеннаго рода фарисействомъ, которое портитъ благородные инстинкты и вводитъ въ нѣжныя души что-то раболѣпное и низкое».

Но Эразмъ не только указывалъ на слабыя стороны существовавшаго порядка вещей и бичевалъ его ѣдкой сатирой, — онъ выработалъ свою положительную, довольно послѣдовательную систему воспитанія и образованія. По его мнѣнію, руководители ребенка должны прежде всего позаботиться о насажденіи въ немъ сѣмянъ искренняго благочестія; затѣмъ внушить ему любовь къ наукамъ, сообщить основныя свѣдѣнія и позаботиться объ умѣніи соблюдать необходимыя правила приличія.

Первоначальное обученіе должно, по мнѣнію Эразма, начаться съ ранняго дѣтства. Учитель долженъ обладать мягкостью въ обращеніи, кротостью и педагогическимъ тактомъ. «Надо учить ребенка, говоритъ Эразмъ, исподволь и, выбирая образцовыя произведенія, примѣняться къ возрасту, который болѣе любитъ удовольствія, чѣмъ тонкости. Надо искусно стараться сдѣлать изъ обученія игру, а не утомленіе». Учителя должны быть любимы учениками. Это первый шагъ къ успѣшному обученію. Любя учителя, ученикъ полюбитъ и предметъ. Чтобы успѣшно влiять на дѣтей, Эразмъ рекомендуетъ ровное и ласковое обращеніе, поощреніе самолюбія, развитіе чувства стыда и категорически отрицаетъ тѣлесныя наказанія. Если ребенка можно заставить учиться лишь съ помощью розогъ, то лучше отправить его на мельницу или обучать ремеслу. Свои взгляды на обученіе наукамъ Эразмъ попытался систематически изложить въ руководствѣ для учителей «о способахъ преподаванія». Обученіе, по Эразму, слѣдуетъ начинать съ языковъ, къ которымъ у дѣтей особенныя способности. Затѣмъ читать съ ними басни и сказочные разсказы, отличающіеся образцовымъ слогомъ; потомъ перейти къ музыкѣ, ариѳметикѣ и географіи. Свѣдѣнія по зоологіи и ботаникѣ должны быть сообщаемы при помощи рисунковъ.

Грамматика, по Эразму, должна занимать первое мѣсто среди преподаваемыхъ наукъ. Латинскую и греческую слѣдуетъ преподавать параллельно, такъ какъ онѣ дополняютъ и объясняютъ другъ друга. Для греческаго рекомендовалось руководство Газы, для латинскаго Діамеда (изъ древнихъ) и Перетти (изъ новыхъ). Эразмъ рекомендовалъ сообщать ученикамъ немногочисленныя, но точно формулированныя грамматическія правила, и особенное вниманіе обращать на усвоеніе легкихъ литературныхъ оборотовъ и яснаго слога. Чтеніе греческихъ прозаиковъ слѣдуетъ, по его мнѣнію, начинать съ Лукіана, потомъ перейти къ Демосѳену и Геродоту. Изъ поэтовъ первое мѣсто онъ отводилъ Аристофану, второе Гомеру, третье Еврипиду.

Изъ латинскихъ авторовъ Эразмъ пальму первенства отдавалъ Теренцію. Плавта онъ допускалъ въ избранныхъ отрывкахъ, равно какъ и

Катулла, Тибулла и Марціала. Второе мѣсто послѣ Плавта Эразмъ отводитъ Виргилію, третье Горацію, четвертое Цицерону, пятое Цезарю. Въ распредѣленіи порядка латинскихъ классиковъ соблюдается принципъ большаго или меньшаго эстетическаго удовольствія; чтеніе прозаиковъ и поэтовъ должно чередоваться. Для греческихъ писателей послѣднее необходимо, такъ какъ языкъ греческихъ стиховъ значительно отличается отъ прозы. Для теоріи и исторіи литературы Эразмъ рекомендуетъ трактаты Лаврентія Валлы. Важную роль въ системѣ Эразма играли письменныя работы. Ученики должны были писать прозой и стихами сочиненія на самыя разнообразныя темы; упражненіе памяти считается необходимымъ, но при этомъ Эразмъ рекомендуетъ главныя историческія событія, извѣстныя изрѣченія, пословицы изображать на видномъ мѣстѣ въ назиданіе молодежи. Выборъ темы требуетъ, по мнѣнію Эразма, много педагогическаго такта. Можно, напр., предложить ученику для перевода съ латинскаго на греческій хорошо написанное письмо; затѣмъ басню, апологъ, хорошій разсказъ и уже позже дать тему для развитія: описаніе, біографію и пр. Отъ времени до времени необходимо заставлять передѣлывать прозу въ стихи и наоборотъ.

Особенное значеніе придавалъ Эразмъ переводамъ съ греческаго и требовалъ, чтобы при этомъ указывались, какъ особенности характера греческаго языка, такъ и того, на который дѣлался переводъ.

Толкованія автора, кромѣ грамматической части, должны были заключать характеристики тѣхъ или другихъ историческихъ лицъ; ученики могли высказывать и собственные взгляды и проводить ихъ въ письменныхъ работахъ. Взявъ, напр., комедію Теренція, слѣдуетъ начать съ біографическихъ данныхъ и характера особенностей таланта автора; далѣе, объяснить значеніе слова «комедія» и ея законы; изложить вкратцѣ содержаніе, метрику и приступить къ комментаріямъ. Послѣднія должны состоять изъ указаній на особенности языка, на заимствованія изъ другихъ авторовъ; въ заключеніе учителю рекомендовалось сообщать философско-нравственныя мысли и замѣчанія по поводу того или другого эпизода.

Въ классѣ учитель долженъ заставлять повторять его объясненія, исправлять понятое ими не точно или неясно, а ученики должны вести краткіе конспекты.

Въ 17 или 18 лѣтъ юноша долженъ окончить общее образованіе и остановиться на какой-либо спеціальности. Эразмъ—врагъ узкой спеціализаціи. По его мнѣнію, разностороннія точныя свѣдѣнія должны предшествовать спеціальнымъ. Особенно необходимо это для учителей. По его мнѣнію, только образованные и гуманные учителя могутъ быть хорошими руководителями юношества — этого залога будущаго. «Дѣти, говоритъ нашъ гуманистъ — это храмъ Духа Святаго. Въ этихъ нѣжныхъ растеніяхъ скрыты сенаторы, доктора, аббаты, епископы, императоры.

Необходима крайне нѣжная заботливость о молодомъ поколѣніи, которое однако нерѣдко поручается самымъ невѣжественнымъ, презрѣннымъ и деспотическимъ учителямъ».

Эразмъ неоднократно протестуетъ противъ высокомѣрнаго отношенія къ званію учителя. «Большинство, говоритъ онъ, считаетъ постыднымъ пройти всю жизнь, работая лишь надъ грамматикой, какъ будто живописцы не занимаются всю жизнь исключительно живописью. Природа распредѣлила для общаго блага разнообразныя способности. Нѣтъ презрѣнной части тѣла, нѣтъ презрѣннаго члена. Всякая часть имѣетъ равную другой цѣну для украшенія и сохраненія цѣлаго».

Эразмъ былъ того мнѣнія, что и въ реформѣ воспитанія и обученія слѣдуетъ дѣйствовать исподволь, на многія явленія закрывать глаза, стараться ослабить зло, если нельзя его уничтожить, и вообще, имѣя въ виду слабость человѣческой природы, стремиться не къ безусловно хорошему, а къ лучшему положенію дѣла. Такой характеръ его взглядовъ находился въ связи со всей его тонкой, благородной, но нерѣшительной организаціей.

II. Эразмъ, какъ гуманистъ.

Изъ изложенныхъ выше взглядовъ Эразма на воспитаніе и обученіе видно, на сколько онъ опередилъ современниковъ въ раціональномъ пониманіи основныхъ задачъ педагогіи. Если-же обратить вниманіе на научную подготовку нашего гуманиста, то, независимо отъ объема его знаній, въ основныхъ пріемахъ, въ постановкѣ вопросовъ слѣдуетъ признать полную оригинальность, полное несходство съ господствующими въ его время направленіями. Въ литературномъ движеніи Германіи XVI в. Эразмъ сыгралъ первую роль.

Не будетъ слишкомъ смѣлымъ утверждать, что Эразмъ первый познакомилъ нѣмецкую публику съ неизвѣстными ей классическими писателями, благодаря своимъ многочисленнымъ и хорошимъ для того времени изданіямъ; познакомилъ съ греческимъ языкомъ и старался заинтересовать нѣкоторыми спеціальными вопросами (напр., о произношеніи) [1], онъ пользовался европейской извѣстностью, имѣлъ въ средѣ ученыхъ громадный нравственный авторитетъ, и это не могло не вліять на молодое поколѣніе ученыхъ, успѣвшихъ познакомиться съ плодами его разносторонней умственной дѣятельности. Необыкновенная гибкость этого свѣтлаго ума, отзывчивость на запросы публики дѣлали для него возможнымъ популяризацію идей Возрожденія и результатовъ, добытыхъ учеными изслѣдованіями. Эразмъ умѣлъ приспособиться ко вкусамъ и требованіямъ публики. Первый большой трудъ его «Адагіи» былъ написанъ исключи-

---

[1]) До Эразма въ Германіи въ этомъ отношеніи почти ничего не было сдѣлано; предшественникъ его въ популяризаціи классическихъ языковъ, Рудольфъ Агрикола, жившій во второй половинѣ XV в., умеръ слишкомъ рано.

тельно для большой публики. Въ средніе вѣка любили сборники поучительныхъ изреченій, пословицъ, короткихъ разсказовъ съ дидактическимъ характеромъ и видѣли въ такихъ книгахъ полезное и пріятное чтеніе для всѣхъ возрастовъ. Но такіе сборники требовали и основательныхъ объясненій, комментаріевъ, разъясняющихъ смыслъ, значеніе и примѣненіе всякаго изреченія. Такого рода сборникъ издалъ и Эразмъ: это — знаменитыя «Адагіи», выдержавшія множество изданій и увлекавшія образованную публику богатствомъ матеріала и изяществомъ языка. Въ первомъ изданіи число изреченій было 800, въ послѣднихъ оно дошло до 4,151.

Въ «Адагіяхъ» находятся не только извѣстныя изреченія или пословицы, но и примѣненія ихъ въ извѣстныхъ тогда сочиненіяхъ, объясненія грамматическія и историко-литературныя рядомъ съ разсужденіями о вопросахъ, возбуждаемыхъ этими изреченіями. Далѣе приводились цѣлые отрывки изъ различныхъ писателей, причемъ греческіе тексты—въ переводахъ. Все это было изложено прекрасной латынью, яснымъ и чистымъ языкомъ, понятнымъ даже людямъ, не получившимъ особенно высокаго образованія. Эта книга могла замѣнить много разнообразныхъ сочиненій, что, при дороговизнѣ печатныхъ изданій, конечно, способствовало ихъ распространенію. «Адагіи» были превосходной хрестоматіей, гдѣ читатель могъ найти отрывки любого автора греческаго и латинскаго, рядомъ съ разсужденіями составителя, въ формѣ простой и изящной. Не удивительно, что современники Эразма ставили весьма высоко эту книгу.

Много пользы принесъ намъ гуманистъ своими переводами съ греческаго. До Эразма въ Германіи почти не знали греческихъ авторовъ. Трудно было доставать книги, не только учителей. Эразмъ принужденъ былъ полагаться на собственныя силы. Онъ издалъ цѣлый рядъ переводовъ, составленныхъ первоначально лишь съ цѣлью познакомить съ интереснымъ содержаніемъ подлинника. За первыми опытами послѣдовали болѣе сильныя и широкія литературныя предпріятія. Такъ, Эразмъ перевелъ латинскими стихами «Гекубу» Еврипида довольно близко къ оригиналу и болѣе свободно «Ифигенію». Большою извѣстностью пользовался переводъ діалога Лукіана «Сонъ» и нѣкоторые другіе трактаты этого остроумнаго писателя. Отъ Лукіана Эразмъ обратился къ Плутарху. Кромѣ переводовъ, Эразмъ занимался весьма усердно изданіемъ греческихъ и римскихъ авторовъ, комментированіемъ ихъ, разыскивалъ многочисленныя рукописи, свѣрялъ ихъ, словомъ, продѣлывалъ трудную и неблагодарную работу, необходимую для болѣе или менѣе критическаго изданія. Нѣсколько типографій, главнымъ образомъ Фробена, много лѣтъ работали, выпуская въ свѣтъ многочисленныя изданія греческихъ и римскихъ писателей. Конечно, первое мѣсто было отведено Цицерону. Трактаты его стали появляться, начиная съ 1501 г. Въ 1508 г. были напечатаны нѣкоторыя комедіи Теренція и Плавта съ комментаріями Эразма-редактора.

При изданіи нашему гуманисту приходилось сталкиваться съ затрудненіями всякаго рода. Рукописи часто изобиловали многочисленными искаженіями позднѣйшихъ переписчиковъ; приходилось сравнивать ихъ и провѣрять, нерѣдко рискуя быть введеннымъ въ заблужденіе тѣмъ или другимъ архаичнымъ оборотомъ рѣчи. Изданіе, напр., Сенеки стоило Эразму много времени и труда. Писатель этотъ пользовался въ средніе вѣка большою популярностью и многими даже былъ причисленъ къ лику святыхъ. Естественно, его переписывали, передѣлывали тысячу разъ,—и нашему гуманисту приходилось оріентироваться въ безчисленныхъ, болѣе или менѣе плохихъ спискахъ. Кромѣ того, въ предисловіи и объяснительныхъ примѣчаніяхъ онъ попытался установить болѣе правильный взглядъ на этого писателя. Изданіе Плинія Старшаго было большою заслугою Эразма; онъ сознавалъ, что этимъ не только способствуетъ распространенію полезныхъ свѣдѣній, но и даетъ толчокъ новымъ открытіямъ и изысканіямъ. Аристотель пользовался большимъ вниманіемъ Эразма, помогавшаго издателямъ этого философа совѣтами и указаніями. Большую цѣну имѣли его критическія замѣчанія по поводу того или другого трактата и особенностей текста. Въ 1531 г., подъ редакціей Эразма, вышла исторія Тита Ливія съ его предисловіемъ. Въ 1533 г. Эразмъ издалъ сочиненія Птоломея съ введеніемъ, въ которомъ указывалъ мѣсто, принадлежащее этому географу древнихъ.

По просьбѣ Фробена, Эразмъ редактировалъ Тускуланскія Бесѣды Цицерона. Ему удалось довольно хорошо очистить текстъ отъ ненужныхъ прибавленій, остановиться на болѣе правильномъ чтеніи, расположить въ надлежащемъ порядкѣ цитаты. Эта работа дала ему поводъ высказать восторженный взглядъ на этого любимаго автора Возрожденія; Эразмъ указываетъ не только на богатство и красоту языка, изящество стиля, но и на религіозныя и нравственныя идеи этого писателя. Онъ находитъ нѣчто «божественное» въ душѣ римскаго оратора, проводитъ параллель между его мыслями и нѣкоторыхъ христіанскихъ авторовъ и высказываетъ убѣжденіе, что многое было понято и прочувствовано Цицерономъ, прежде чѣмъ сдѣлалось извѣстнымъ христіанской общинѣ. Рядомъ съ изданіями упомянутыхъ сочиненій классическихъ писателей и многихъ другихъ (напр., Теренціи, Демосѳена, Плавта) Эразмъ считалъ нужнымъ заботиться о популяризаціи полезныхъ свѣдѣній. Въ виду этого онъ печаталъ словари (греческо-латинскій словарь), медицинскіе трактаты (Галена), педагогическіе учебники и даже издалъ трактатъ объ одеждѣ нѣкоего Бакфа.

Не довольствуясь авторскою и издательскою дѣятельностью, Эразмъ много способствовалъ распространенію полезныхъ гуманистическихъ знаній, основывая ученое учрежденіе, которое сослужило молодому поколѣнію большую службу. Это такъ называемая *Трехъязычная коллегія* въ Лувенѣ. Многочисленные завистники и недоброжелатели употребляли всѣ усилія.

чтобы помѣшать Эразму привести въ исполненіе это полезное дѣло. Но неутомимый гуманистъ успѣлъ добиться своего. Подъ его наблюденіемъ выбирались и назначались профессора, онъ заботился объ увеличеніи денежныхъ средствъ школы, ходатайствуя предъ высокопоставленными лицами о привиллегіяхъ и подаркахъ. Главнымъ фондомъ учрежденія былъ капиталъ, завѣщанный другомъ Эразма, Буслидіусомъ. Характеръ этого учебнаго заведенія, гдѣ была полная свобода преподаванія и отсутствіе всякихъ обязательныхъ программъ, какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ настроенію общества. По примѣру Лувенской коллегіи были основаны въ нѣсколькихъ европейскихъ центрахъ учебныя заведенія аналогичнаго характера, которыя болѣе всякихъ многотомныхъ сочиненій способствовали распространенію гуманистическихъ знаній и вкуса къ классической литературѣ. Увлеченіе послѣдними, съ теченіемъ времени, не замедлило привести къ нѣкоторымъ крайностямъ, выражавшимся нерѣдко въ комическихъ формахъ. Извѣстно, что молодыя общества склонны воспринимать элементы цивилизаціи иногда совершенно внѣшнимъ образомъ, увлекаться несущественными ея особенностями, игнорируя болѣе важное. Это мы видимъ, между прочимъ, во время Эразма въ примѣненіи къ увлеченію классиками, особенно Цицерономъ. Общество, лѣтъ 25 тому назадъ не знавшее по-латыни, въ самый короткій промежутокъ времени познакомилось съ лучшими произведеніями греческой и римской литературы. Лихорадочно быстрое усвоеніе продуктовъ весьма сложной старой культуры обществомъ, совершенно молодымъ, не замедлило проявиться въ характерѣ самаго усвоенія. Такъ какъ главное вниманіе было обращено на форму, то эта сторона получила преобладающее значеніе и заслонила собою содержаніе. Слогъ Цицерона совершенно справедливо считался образцовымъ. Поклонникамъ римскаго оратора не было счета. Но большинство ихъ увлекалось формальной стороной: въ Цицеронѣ видѣли только оратора. Крайность этого взгляда не замедлила дать неутѣшительные результаты: болѣе ограниченные гуманисты ударились въ буквоѣдство. Для фразы забывали о смыслѣ, буква поглощала содержаніе. Зло принимало опасные размѣры и грозило серьезными послѣдствіями; раціональное изученіе классиковъ могло быть отодвинуто на второй и третій планъ. Эразмъ, съ свойственною ему проницательностью, понялъ, на сколько вредны увлеченія крайнихъ гуманистовъ; онъ задался цѣлью доказать это наглядно, ввести изученіе классиковъ, преимущественно Цицерона, въ надлежащіе предѣлы. Онъ обратился къ сатирѣ и достигъ своей цѣли.

Поклонники Цицерона воображали, что необходимо и думать, и говорить его языкомъ, что современныя понятія и представленія, не находившія параллелей у римлянъ, можно и слѣдуетъ передавать цицероновскою латынью. Конечно, слогъ такихъ писателей отличался полною условностью; всякій болѣе или менѣе свободный оборотъ рѣчи преслѣдовался, какъ ересь. Эразмъ понималъ, что говорить языкомъ Цицерона о томъ,

что не могло быть извѣстно римскому оратору, нѣтъ ни малѣйшей возможности, что отношеніе подобнаго рода стѣсняетъ личную свободу, что это своего рода тираннія надъ правильнымъ ходомъ мыслей. Противъ этихъ смѣлыхъ подражателей Цицерона, этихъ своеобразныхъ пуристовъ языка направлена ѣдкая сатира «Цицероніанецъ».

Это — весьма остроумный діалогъ, ведущійся отъ имени трехъ лицъ. Одно изъ нихъ Nosoponos [1]), когда-то жизнерадостный и полный бодрости человѣкъ, теперь изсохшій и исхудалый, мечтающій лишь о латинскихъ фразахъ, достойныхъ Цицерона, и предпочитающій мѣсто въ рядахъ цицероніанцевъ званію святого угодника. Нозопоносъ работаетъ въ комнатѣ, не имѣющей ни какого сообщенія съ внѣшнимъ міромъ, съ заколоченными на-глухо дверьми и окнами, и въ продолженіе *семи* лѣтъ читаетъ одного лишь Цицерона. Портреты римскаго оратора развѣшены по всѣмъ угламъ; даже во снѣ Нозопоносъ видитъ только Цицерона. Все честолюбіе этого страдальца, терзающаго себя постомъ и лишеніями всякаго рода, сводится лишь къ тому, чтобы 70-ти лѣтъ отъ роду удостоиться названія цицероніанца. Онъ окруженъ словарями всякаго формата, собственнаго сочиненія. Въ одномъ словарѣ помѣщены всѣ слова, встрѣчающіяся въ сочиненіяхъ Цицерона, въ другомъ — всѣ риторическія фигуры, въ слѣдующемъ—начала и конецъ періодовъ Цицерона, средина ихъ и т. д. Кромѣ Цицерона, Нозопоносъ не признаетъ никакого писателя. Онъ, вмѣстѣ съ своими единомышленниаами, уподобляется Эразмомъ тому живописцу, который, не будучи въ состояніи хорошо написать портреты, старается превосходно отдѣлать мельчайшія подробности одежды своего оригинала, и въ этомъ видитъ задачу самого искусства. Эразмъ замѣчаетъ, что христіанскія идеи и представленія не могутъ быть выражены тѣми оборотами рѣчи, которые выработались у римскаго писателя подъ вліяніемъ иного міросозерцанія. Онъ даже въ церковной проповѣди указывалъ вліяніе новой моды и, какъ увидимъ ниже, успѣшно боролся съ этими злоупотребленіями словъ.

Трактатъ «Цицероніанецъ» вызвалъ цѣлую бурю негодованія среди ярыхъ гуманистовъ, особенно во Франціи и Италіи. Появился цѣлый рядъ памфлетовъ, направленныхъ противъ личности и сочиненій Эразма. Талантливый гуманистъ задѣлъ за живое многочисленныхъ слѣпыхъ поклонниковъ Цицерона. Но, когда прошелъ первый взрывъ негодованія, болѣе трезвые и разсудительные гуманисты приняли сторону Эразма, и изученіе классиковъ стало принимать болѣе раціональный характеръ. Такимъ образомъ, усиліями нашего гуманиста не только былъ вызванъ интересъ къ классической литературѣ, но и занятія его направлены на настоящую дорогу.

---

[1]) Греческая этимологія νόσος—болѣзнь и πόνος—трудъ.

III. «Похвала Глупости».

Мы не разсматриваемъ на этотъ разъ тѣхъ работъ Эразма, въ которыхъ выразились его теологическія воззрѣнія и въ которыхъ пробивается уже духъ новаго времени, духъ реформаціи, духъ свободной критики. Но мы остановимся подробнѣе на его знаменитой сатирѣ, столь характерной для эпохи назрѣвающаго протестантизма. Въ этой сатирѣ яркими чертами обрисовалось его отрицательное отношеніе къ нравамъ духовенства, къ темнымъ схоластическимъ теологамъ, къ нравственному и умственному упадку общества, въ значительной части обусловленному вліяніемъ примѣра духовныхъ наставниковъ той эпохи. Здѣсь, на почвѣ сатиры, гуманистъ вполнѣ сходится съ Ульрихомъ ф. Тугеномъ, однимъ изъ авторовъ знаменитой сатиры того-же времени «Письма темныхъ людей». Эту «тьму» средневѣковья раскрываетъ талантливое перо Эразма во всей наготѣ, тѣмъ самымъ призывая къ борьбѣ съ косностью и испорченностью общества. Конечно, Лютеру и его послѣдователямъ сатира Эразма, какъ и «Письма темныхъ людей», сослужила службу и дала весьма полезное оружіе для полемики. Гуманистъ и реформаторъ сходились въ оцѣнкѣ общественныхъ недуговъ, въ особенности неустройства и неурядицъ церковной жизни.

Почва для самой злой сатиры была весьма удобная. Германія представляла во многихъ отношеніяхъ полную аналогію Италіи, уступая ей конечно въ области искусства и науки. Здѣсь было тоже, что и на Аппенинскомъ полуостровѣ: непониманіе общихъ интересовъ, та-же разрозненность партій и въ особенности такой-же упадокъ нравовъ. Рѣчь идетъ, конечно, не объ единичныхъ случаяхъ, а о міросозерцаніи, лишенномъ какой-либо прочной нравственной опоры. Самыя высокія идеи попраны и утилизируются для низменныхъ своекорыстныхъ цѣлей. Объ уваженіи правъ личности нѣтъ и рѣчи въ обществѣ, гдѣ каждый гнался лишь за наживой, а понятіе объ отечествѣ, объ общественномъ благѣ сдѣлалось туманнымъ миѳомъ.

Неудивительно, что здравомыслящіе элементы общества могли отнестись къ своей средѣ или съ грустью или съ насмѣшкой.

Послѣднее отношеніе является преобладающимъ. Сатира проникаетъ всюду и направлена, главнымъ образомъ, противъ того сословія, которое должно было быть носителемъ высокихъ принциповъ религіи, нравственности и гуманности. Надъ слабостями духовенства, болѣе чѣмъ непростительными, издѣваются всюду: даже подъ сѣнью амвона ютится насмѣшка хлесткая и безпощадная, вдохновлявшая художника скульптора. Реформаторы видѣли въ сатирѣ могущественную сообщницу и подкапывались подъ невѣжественныхъ и тиранствующихъ членовъ католическаго клира.

Элементовъ для сатиры было много. Поэтому мы не станемъ удивляться, что знаменитая «Похвала Глупости» нашего гуманиста могла

быть написана въ теченіе 17 дней и притомъ во время путешествія въ Англію. Въ нее вошли и любопытнѣйшія наблюденія остроумнаго автора, и его литературныя воспоминанія, и личное озлобленіе на людей, во многомъ ему повредившихъ. Эразмъ не былъ новичкомъ въ сатирѣ: онъ испытывалъ свои силы и раньше въ другихъ трактатахъ, иногда весьма остроумныхъ. Но всѣ эпизоды въ «Адагіяхъ», «Цицероніанцѣ» и др. блѣдны въ сравненіи съ тѣмъ, что даетъ читателямъ «Похвала Глупости».

Считать сатиру документомъ для изученія общества весьма опасно: мы всегда можемъ прійти къ одностороннимъ выводамъ. Но нѣкоторыя сатирическія произведенія могутъ являться исключеніемъ и доставлять цѣнный матеріалъ для знакомства съ обществомъ. Съ этой точки зрѣнія «Похвала Глупости» достойна всякаго вниманія. Здѣсь мы находимъ вѣрную передачу того, что было въ дѣйствительномъ положеніи вещей: полное отсутствіе какихъ-либо высшихъ руководящихъ идей, изображеніе порчи всего общественнаго организма, покрытаго, съ головы до ногъ, язвами. Представляя многое въ карикатурномъ видѣ, Эразмъ, тѣмъ не менѣе, съумѣлъ уловить тотъ духъ, который является господствующимъ среди большинства—ту своеобразную порчу, которая являлась не слѣдствіемъ какихъ либо тлетворныхъ идей, а лишь животныхъ наклонностей, лишенныхъ какого-либо контроля ума и совѣсти. Преувеличивая многое, «Похвала Глупости» вѣрно воспроизводитъ состояніе мысли значительной — притомъ по положенію самой вліятельной — части общества.

Почти половина «Похвалы Глупости» посвящена характеристикѣ сословій, стоявшихъ во главѣ общественной жизни того времени.

«Не будемъ, говоритъ Глупость, перечислять всѣхъ видовъ жизни человѣческой—это было-бы слишкомъ долго—мы остановимся только на людяхъ высокопоставленныхъ, такъ какъ грубая толпа уже безъ всякаго сомнѣнія принадлежитъ мнѣ во всей цѣлости: она такъ богата формами глупости, столько каждый день выдумываетъ новаго въ этомъ родѣ, что не хватитъ тысячи Демокритовъ, чтобы осмѣять ее» [1]).

Глупость не щадитъ малѣйшей человѣческой слабости, но съ особеннымъ удовольствіемъ останавливается на тѣхъ, кто, по ея выраженію, «составляетъ цвѣтъ человѣческаго общества».

«Начинаю съ грамматиковъ, говоритъ она, участь которыхъ, еслибъ ее не смягчала я особымъ видомъ безумія, была-бы по-истинѣ самая плачевная: они подвержены не пяти проклятіямъ, о которыхъ говоритъ греческая эпиграмма, но нѣсколькимъ сотнямъ. Вѣчно впроголодь, въ бѣдномъ рубищѣ, сидятъ они въ своей школѣ, составляющей нѣчто среднее между толчеей и застѣнкомъ. Они быстро старятся отъ трудовъ, глохнутъ отъ крика мальчишекъ, задыхаются отъ вони; но моею милостью они кажутся себѣ первыми изъ смертныхъ и съ необыкновеннымъ самодо-

---

[1]) Привожу цитаты по переводу проф. Кирпичникова.

вольствомъ истязаютъ несчастныхъ дѣтей линейками, розгами, ремнями, неистовствуютъ по своему произволу, уподобляясь куменскимъ осламъ».

Мелочность въ научныхъ разысканіяхъ отличаетъ этихъ ярыхъ педагоговъ, которые приходятъ въ неописанную радость, когда сдѣлаютъ какое-либо микроскопическое, притомъ еще сомнительнаго достоинства, открытіе.

«Въ какомъ океанѣ блаженства плаваетъ тотъ изъ нихъ, кому случилось отыскать имя матери Анхиза, или найти въ какой-нибудь старой рукописи неупотребительное и неизвѣстное до сихъ поръ слово, или открыть кусокъ стараго камня съ неразборчивой надписью...» «Но всего пріятнѣе смотрѣть, какъ они другъ друга хвалятъ, другъ другу удивляются, другъ другу чешутъ за ушами. А если кто-нибудь ошибся въ одномъ словечкѣ, а другой, болѣе глазастый, поймалъ его, какіе споры, упреки, словесныя битвы происходятъ между ними!»

Таковы качества педагоговъ и второстепенныхъ ученыхъ. Переходя къ тѣмъ, которые составляли первые ряды этого сословія, Эразмъ жестоко издѣвается надъ ихъ схоластическими тонкостями. Число этихъ мужей непомѣрно велико, что̀ само собою свидѣтельствуетъ о ихъ достоинствѣ. Все это схоластики самыхъ разнообразныхъ направленій и самыхъ разнообразныхъ оттѣнковъ.

Его характеристика ученыхъ теологовъ можетъ соперничать съ любой страницей «Писемъ темныхъ людей», съ тою лишь разницею, что у Эразма обобщено то, что тамъ является въ отдѣльныхъ, разрозненныхъ чертахъ. Не уступаютъ ей, по остроумію и мѣткости, отзывы о монахахъ и монашествѣ. «Съ ними (теологами) по блаженству почти равняться могутъ тѣ, кого называютъ *чернымъ духовенствомъ* или *монахами*, хотя и то и другое названіе для нихъ совсѣмъ не подходящее: съ *духомъ* они не имѣютъ ничего общаго, и нѣтъ людей, которые-бы такъ часто попадались на всѣхъ перекресткахъ [1]). Высшимъ проявленіемъ благочестія они считаютъ полное удаленіе отъ науки, такъ что и грамотѣ не учатся. Иные изъ нихъ гордятся своею грязью и нищенствомъ и громко требуютъ милостыни, нападая на всѣ гостиницы, экипажи, корабли, къ немалому ущербу остальныхъ нищихъ. И эти-то милѣйшіе люди хотятъ намъ напомнить апостоловъ! Что можетъ быть смѣшнѣе, какъ видѣть, съ какою математическою точностью они опредѣляютъ для себя житейскія мелочи, считая за грѣхъ малѣйшее отступленіе отъ предписаннаго: сколько узловъ долженъ имѣть башмакъ, какого цвѣта перевязь, какъ скроено платье, изъ какой матеріи и какой ширины долженъ быть поясъ, какого вида и какой вмѣстимости капюшонъ, какого вида должна быть тонзура, сколько часовъ надо спать. А кто не видитъ, на сколько неудобно такое однообразіе при громадномъ разнообразіи тѣлесныхъ и духовныхъ наклонностей?»

---

[1]) Намекъ на этимологію слова *монахъ* отъ μόνος—одинъ, одинокій.

Монахи съ презрѣніемъ относятся къ мирянамъ единственно потому, что послѣдніе лишены возможности носить такіе-же костюмы. Внѣшняя жизнь, обрядность — для нихъ все. «Огромная часть ихъ придаетъ такое значеніе своимъ церемоніямъ и соблюденію уставовъ, что царство небесное считаетъ слишкомъ незначительной наградой; они не хотятъ подумать, что Христосъ, пожалуй, не обратитъ на все это вниманія и потребуетъ исполненія единственной своей заповѣди — любви къ ближнему. Одинъ монахъ покажетъ ему свое брюхо, набитое рыбой разнаго сорта; другой высыпетъ сотню четвериковъ псалмовъ; третій—миріады постовъ и покажетъ свой желудокъ, едва не погибшій вслѣдствіе единой трапезы; четвертый притащитъ такую груду церемоній, что ихъ на семи купеческихъ корабляхъ не увезешь; пятый будетъ хвалиться, что онъ въ продолженіе 60 лѣтъ не дотрогивался до денегъ иначе, какъ надѣвъ на руки двойную перчатку; шестой принесетъ свой плащъ, до того грязный и пропитанный жиромъ, что матросъ постыдился-бы надѣть его; седьмой напомнитъ, что онъ въ продолженіе 50 слишкомъ лѣтъ жилъ, какъ губка, прикованная къ одному мѣсту; восьмой будетъ хвалиться, что онъ охрипъ отъ постояннаго пѣнія; девятый, что онъ впалъ въ спячку отъ постояннаго уединенія; десятый, что у него языкъ, вслѣдствіе долгаго молчанія, оцѣпенѣлъ».

Эразмъ высказываетъ полную увѣренность, что эти подвиги не найдутъ одобренія у Спасителя и будутъ Имъ осуждены, къ немалому удивленію всѣхъ этихъ фарисеевъ новаго времени. «Но за то при жизни, они, благодаря мнѣ, счастливы; хотя они и удалились отъ дѣлъ государственныхъ, однако черезъ исповѣдь они владѣютъ всѣми тайнами; выдавать эти тайны они считаютъ грѣхомъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда хотятъ угостить компанію потѣшными разсказами; но и тогда говорятъ они намеками и именъ не называютъ. За то, если кто-нибудь раздразнитъ ихъ, тогда они мстятъ за себя публично и говорятъ о своихъ врагахъ столь непрозрачно, что развѣ крупный дуракъ не пойметъ ихъ намековъ, и до тѣхъ поръ не перестанутъ они говорить, пока не заткнешь имъ глотку кускомъ».

Выше шла рѣчь о той реформѣ, которой Эразмъ хотѣлъ подвергнуть проповѣдь, и какія мѣры рекомендовалъ онъ для этой цѣли. Въ «Похвалѣ Глупости» онъ даетъ намъ весьма вѣрное и остроумное изображеніе манеры изложенія проповѣдниковъ, оттѣняя преимущественно комическую сторону дѣла.

Если затѣмъ мы обратимся вмѣстѣ съ Эразмомъ къ высшимъ духовнымъ чинамъ, то найдемъ такое же отсутствіе вниманія къ высшимъ интересамъ и такое же небрежное отношеніе къ исполненію своихъ обязанностей. Они ведутъ жизнь свѣтскую, веселую, соперничая съ вельможами и аристократами въ устроеніи празднествъ и развлеченій всякаго рода. Какія обязательства налагаетъ на нихъ ихъ санъ, что́ символически выражено особенностями

ихъ одежды—имъ и въ голову не приходитъ. «Если бы кто-нибудь изъ нихъ, говоритъ Глупость, сталъ соображать, что льняное, снѣжно-бѣлое платье означаетъ жизнь, свободную отъ всякаго пятна, что двурогая митра, верхушки которой связаны однимъ узломъ, указываетъ на совершенное знаніе ветхаго и новаго завѣта, что перчатки на рукахъ означаютъ чистое отъ всякой заразы людской совершеніе св. таинствъ, что посохъ указываетъ на бдительнѣйшую заботу о ввѣренномъ стадѣ Христовомъ, предносимый крестъ — на побѣду надъ всѣми человѣческими страстями; если бы, говорю я, кто-нибудь изъ нихъ сталъ изображать это и многое подобное, какую печальную и исполненную заботъ жизнь пришлось бы вести ему? Теперь-же они пасутъ только самихъ себя, а заботу объ овечкахъ предоставляютъ Христу или своимъ викаріямъ. Они не хотятъ даже о томъ вспомнить, на что указываетъ ихъ названіе, а именно на трудъ, заботу, безпокойство. Зорко *надсматриваютъ* они развѣ только надъ тѣмъ, какъ бы не упустить своихъ денежныхъ выгодъ».

«Подобнымъ же образомъ, если-бы кардиналы подумали о томъ, что они заступили мѣсто апостоловъ и что къ нимъ прилагаются тѣ же требованія, что они не владѣтели, а управители духовныхъ благъ и, какъ таковые, должны будутъ отдать подробнѣйшій отчетъ, еслибъ они пофилософствовали даже хоть надъ внѣшними знаками своего достоинства и стали бы такъ разсуждать: что означаетъ эта бѣлизна платья? Не высшую-ли и совершеннѣйшую безпорочность жизни? А подъ нимъ находящійся пурпуръ? Не пламеннѣйшую-ли любовь къ Богу? А плащъ, спускающійся въ обширныхъ складкахъ, могущій покрыть не только всего мула, на которомъ сидитъ высокопочтенный отецъ, но и цѣлаго верблюда? Не всеохватывающую-ли любовь къ людямъ, которая должна выражаться въ помощи всѣмъ и каждому: въ наученіи, увѣщаніи, порицаніи, утѣшеніи, умиротвореніи воюющихъ сторонъ, сопротивленіи безчестнымъ, даже въ пролитіи собственной крови за стадо Христово, не говоря уже про пожертвованія деньгами?»

Отъ кардиналовъ Эразмъ переходитъ къ самому папѣ, и рѣзко осуждаетъ злоупотребленія, которыя позволяютъ себѣ эти намѣстники Христа. «Первосвященники, говоритъ онъ, заступающіе мѣсто самого Христа, еслибъ попытались подражать Ему бѣдностью, трудами, ученіемъ, презрѣніемъ къ жизни, несеніемъ креста; если бы подумали о значеніи своего священническаго имени,—нашлись-ли бы на землѣ люди, болѣе ихъ страдающіе? Кто сталъ бы покупать, жертвуя своимъ состояніемъ, папскій престолъ? Кто, купивъ его, сталъ-бы удерживать оружіемъ, ядомъ, всякимъ насиліемъ? Что осталось-бы отъ всѣхъ благъ, связанныхъ съ тіарой, отъ всѣхъ почестей, власти, побѣдъ, чиновниковъ, роскоши, пошлинъ, индульгенцій, лошадей, муловъ, служителей, еслибъ мое мѣсто заняла Мудрость?» «Благодаря мнѣ, нѣтъ на свѣтѣ людей, которымъ живется пріятнѣй и спокойнѣй; они твердо увѣрены, что исполняютъ свой долгъ, если

играютъ роль епископовъ въ церемоніяхъ, обставленныхъ почти по театральному, если раздаютъ благословенія и проклятія, и если ихъ честятъ титулами святѣйшествъ. Творить чудеса—дѣло вышедшее изъ моды, не соотвѣтствующее духу времени; учить народъ — трудно; толковать священное писаніе—дѣло схоластиковъ; молиться—потеря времени; проливать слезы—бабье занятіе; жить въ бѣдности—непріятно; быть побѣжденнымъ—позорно и недостойно того, кто царей едва допускаетъ цѣловать свои блаженныя ноги; наконецъ, умирать—непріятно, быть распятымъ—постыдно. Стало быть, остается управленіе арміей, раздача благословеній, на которыя они такъ щедры, интердикты, временныя и вѣчныя отлученія, страшные громы, которыми они низвергаютъ души смертныхъ дальше самаго тартара. Святѣйшіе во Христѣ отцы, намѣстники Спасителя, ниспосылаютъ эти громы съ особенной энергіей на тѣхъ, кто по наущенію діавола пытается уменьшить или расхитить имущество св. апостола Петра. Защищая это имущество огнемъ и мечемъ, проливая кровь христіанскую, они убѣждены, что по апостольски стоятъ за церковь Христову—невѣсту и борятся съ ея врагами; а между тѣмъ, у церкви нѣтъ враговъ болѣе опасныхъ, чѣмъ нечестивые первосвященники, которые молчаніемъ своимъ заставляютъ забыть о Христѣ, связываютъ Его продажными законами, проституируютъ вымученными объясненіями, убиваютъ нечестивою жизнью... Война — дѣло до того безчеловѣчное, что болѣе прилична животнымъ, чѣмъ людямъ, до того безумное, что, по представленію поэтовъ, ее посылаютъ на насъ фуріи, до того зловредное, что производитъ повсемѣстное развращеніе нравовъ, до того несправедливое, что въ ней отличаются больше всѣхъ самые злые разбойники, до того нечестивое, что ничего общаго съ Христомъ имѣть не можетъ; однако они не обращаютъ на это вниманія и только ею одной и занимаются. Ей предавшись, развалившійся старикъ показываетъ юношескую силу духа, не останавливается передъ издержками, не утомляется трудами, ни капли не смущается тѣмъ, что ему приходится ниспровергать законы благочестія и разрушать благосостояніе людей».

Познакомивъ насъ съ духовенствомъ, стоящимъ во главѣ умственнаго движенія и облеченнымъ высшею властью, Эразмъ переходитъ къ низшимъ чинамъ, простымъ священникамъ, которые употребляютъ все отъ нихъ зависящее, чтобы не отстать отъ начальства.

Характеристикѣ духовенства отведено весьма видное мѣсто въ сатирѣ Эразма, но онъ не оставилъ безъ вниманія и свѣтское общество; онъ не щадитъ выдающихся его представителей, бичуя ихъ пороки смѣлымъ и мѣткимъ словомъ. Такого рода страницы, несомнѣнно, весьма любопытный матеріалъ для знакомства съ культурнымъ состояніемъ эпохи. Подобно вышеприведеннымъ, онѣ имѣютъ *историческое* значеніе.

О высшихъ государственныхъ чинахъ Эразмъ приводитъ самые безотрадные отзывы.

«Я (Глупость) съ удовольствіемъ перехожу къ вельможамъ, которые поклоняются мнѣ съ откровенностью, достойною свободно рожденныхъ людей. Если бы они имѣли хотя каплю здраваго смысла, ничего нельзя было бы вообразить печальнѣе ихъ жизни и, конечно, не нашлось охотника клятвопреступленіемъ и убійствомъ пріобрѣтать власть, съ которой связано столько непріятностей». «Они убѣждены, что отлично исполняютъ свои обязанности, если цѣлые дни проводятъ на охотѣ, держатъ на конюшнѣ красивыхъ лошадей, выгодно продаютъ чины и должности, выдумываютъ ежедневно новые способы разорять народъ и обогощать казну такимъ способомъ, чтобы это несправедливѣйшее дѣло имѣло нѣкоторый видъ справедливости. Пожалуй, еще не прочь они подольститься къ народу, чтобы пріобрѣсти популярность. Вообразите себѣ явленіе, довольно частое, человѣка, совершенно невѣжественнаго въ законахъ, почти съ враждою относящагося къ общественному благу, заботящагося только о собственныхъ выгодахъ и удовольствіяхъ, ненавистника науки, свободы и правды, измѣняющаго все своимъ произволомъ и похотью; потомъ надѣньте на него золотую цѣпь, указывающую на соединеніе всѣхъ добродѣтелей, надѣньте разныя украшенія, — и если этотъ вельможа сопоставитъ знаки своего достоинства съ своимъ образомъ жизни, полагаю, онъ устыдится своихъ украшеній и побоится насмѣшника, который можетъ обратить въ комедію всю эту трагическую обстановку».

«Нужно-ли говорить о придворныхъ чинахъ? Нѣтъ ничего продажнѣе, безтолковѣе, отвратительнѣе большей части этихъ людей, однако они желаютъ казаться сливками человѣчества; они скромны только въ одномъ отношеніи: надѣвая на себя золото, драгоцѣнные камни, пурпуръ и прочіе знаки доблести и мудрости, они довольствуются этимъ, а самые доблести уступаютъ другимъ. Они вполнѣ счастливы тѣмъ, что находятся въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ княземъ, что знаютъ формулы пожеланія здоровья, что умѣютъ безпрестанно сыпать свѣтлости, превосходительства и высокопревосходительства, раскрашивать себѣ лицо и пріятно льстить».

«Нашъ вельможа просыпается въ полдень: наемный попъ стоитъ при постели и бормочетъ ему наскоро обѣдню. Затѣмъ слѣдуетъ завтракъ, отъ завтрака недалеко и до обѣда, затѣмъ кости, шашки, пари, шуты, дураки, распутныя женщины, игры, всякія грубыя забавы; въ промежуткахъ одна или двѣ закуски; затѣмъ—ужинъ, послѣ него обильныя возліянія».

Глупость подчеркиваетъ и другія слабости аристократовъ; она говоритъ, напр., о ихъ родовой гордости, заставляющей бездарныхъ потомковъ кичиться заслугами доблестныхъ предковъ. Многія лица, случайно выдвинувшіяся, должны изощряться въ изобрѣтеніи мнимыхъ предковъ и, конечно, ихъ усилія способны вызвать лишь смѣхъ.

«Хотя я и спѣшу, говоритъ Глупость, однако не могу пройти молчаніемъ тѣхъ, которые, ничѣмъ не отличаясь отъ послѣдняго сапожника, хвалятся благородствомъ своего происхожденія, выводятъ себя кто отъ

Энея, кто отъ Брута, кто отъ Артура; они всѣмъ и каждому суютъ рѣзныя или рисованныя изображенія своихъ предковъ, перечисляютъ своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ, старинныя родовыя прозвища; сами они ничѣмъ не лучше, еще, пожалуй, хуже тѣхъ статуй, которыми они хвалятся, но моя спутница—самолюбіе — даетъ имъ возможность вести счастливую жизнь, и нѣтъ недостатка въ дуракахъ, которые имъ точно богамъ поклоняются».

Таковы отрицательныя стороны отдѣльныхъ сословій, подмѣченныя и обобщенныя талантливымъ сатирикомъ. Не менѣе искусно характеризуетъ Эразмъ національныя слабости культурныхъ европейскихъ народовъ, въ большинствѣ случаевъ—замѣтимъ—сохранившіяся и до настоящаго времени.

«Англичане, говоритъ Глупость, хвалятся физической красотой, музыкальными способностями и умѣньемъ хорошо ѣсть; шотландцы гордятся знатностью, родствомъ съ царями и искусствомъ въ діалектикѣ; французы — умѣньемъ держать себя въ обществѣ; парижане убѣждены, что они оставляютъ далеко за собою въ области богословскихъ наукъ; итальянцы присвоили себѣ истый литературный вкусъ и краснорѣчіе и до того высокаго о себѣ мнѣнія, что всѣхъ другихъ почитаютъ варварами; блаженнѣе всѣхъ римляне, утѣшающіе себя сновидѣніями о величіи древняго Рима; венеціанцы счастливы сознаніемъ своего благородства, своего происхожденія; греки, изобрѣтатели наукъ, присваиваютъ себѣ похвальныя качества героевъ древности; турки и вся эта масса истинныхъ варваровъ весьма довольны своею религіею и смѣются надъ суевѣріемъ христіанъ. Еще пріятнѣе живется іудеямъ, которые до сихъ поръ ожидаютъ своего Мессію и крѣпко держатся за Моисея; испанцы никому не хотятъ уступить первенство въ военномъ дѣлѣ; германцы величаются высокимъ ростомъ и знаніемъ магіи».

Весьма остроумны тѣ страницы трактата, гдѣ идетъ рѣчь о слабостяхъ, присущихъ не отдѣльнымъ лицамъ, сословіямъ и учрежденіямъ, а всему человѣчеству. Обобщая разрозненныя явленія, Эразмъ, тѣмъ не менѣе, изображаетъ ихъ такъ пластично, что читатель забываетъ о томъ, что имѣетъ дѣло съ общимъ выводомъ, а не конкретнымъ фактомъ. Вотъ, напр., одинъ изъ лучшихъ эпизодовъ.

«Тотъ умираетъ отъ любви къ бабенкѣ, и чѣмъ она меньше любитъ его, тѣмъ онъ сильнѣе увлекается ею; тотъ женится на приданомъ, а не на женщинѣ; этотъ отдаетъ свою жену на подержаніе другому, а этотъ стережетъ свою жену изъ ревности, какъ Аргусъ. Вотъ наслѣдникъ, скорбящій о смерти родственника: онъ готовъ позвать цѣлую труппу актеровъ, чтобы они помогли разыграть ему сцену печали; тотъ плачетъ на могилѣ своей тещи; этотъ все, что только можетъ собрать, жертвуетъ своему желудку, хотя завтра-же ему придется умирать съ голоду; тотъ считаетъ высшимъ счастіемъ сонъ и бездѣліе; иной въ чужія дѣла всю душу кладетъ, а своими пренебрегаетъ; этотъ, заплативъ свои долги новыми займами, готовъ считать себя богачемъ; иной выс-

шимъ счастіемъ своимъ поставляетъ, чтобы обогатить своего наслѣдника; иной изъ-за малой и невѣрной выгоды носится по морямъ, рискуя своею жизнію, которую нельзя купить ни за какія деньги. Этотъ предпочитаетъ добывать деньги на войнѣ вмѣсто того, чтобы спокойно сидѣть дома. Иные мечтаютъ составить себѣ счастіе, унижаясь передъ бездѣтными стариками; другіе, въ тѣхъ-же видахъ, наслаждаются любовью бездѣтныхъ старухъ».

Подобнымъ образомъ въ краткихъ, но выразительныхъ фразахъ рисуетъ Эразмъ нечестныхъ торговцевъ, любителей чужой собственности, фантазеровъ, одержимыхъ мелочнымъ самолюбіемъ, охотниковъ до процессовъ. Достается и посѣтителямъ св. мѣстъ, паломникамъ, бросающимъ семью на произволъ судьбы. Не менѣе остроумно смѣется Эразмъ надъ игроками, теряющими деньги, время, здоровье, иногда и жизнь, въ игорномъ домѣ, охотниками, по цѣлымъ днямъ рыскающими по лѣсамъ и называющими свое занятіе возвышеннымъ и благороднымъ времяпрепровожденіемъ, разсказчиками всякихъ небылицъ и ихъ внимательными и почтительными слушателями. «Недалеко отъ нихъ ушли и тѣ, которые приходятъ къ неразумному, но весьма пріятному заключенію, что если они посмотрятъ на изваянное или нарисованное изображеніе Полифема—Христофора, то въ этотъ день съ ними не случится бѣды; или, если они прочтутъ опредѣленную молитву передъ такой-то статуей, то невредимыми вернутся изъ сраженія, или, если они въ опредѣленные дни будутъ приходить на поклоненіе къ Эразму съ извѣстными обрядами, то скоро разбогатѣютъ. Они Геркулеса замѣнили другимъ именемъ и нашли себѣ другого Гипполита».

Эразмъ рѣшается возстать и противъ индульгенцій, повидимому не вѣря въ ихъ дѣйствительность, равно какъ и противъ увлеченій наивной вѣры. «Что сказать о тѣхъ, говоритъ онъ устами Глупости, которые такъ льстятся на индульгенціи и пургаторій мѣряютъ циркулемъ, опредѣляя при этомъ съ математическою точностью вѣка, года, мѣсяцы, дни, часы пребыванія въ немъ».

Всѣ формы человѣческихъ слабостей нашли въ Эразмѣ строгаго судью и критика. Въ его сатирѣ выведены не только пороки, но и увлеченія, иногда простительныя по своей безвредности. Изъ чтенія этой сатиры явствуетъ, что авторъ совмѣстилъ здѣсь разультаты продолжительныхъ размышленій и наблюденій. Эразмъ не изображаетъ пороки общества, онъ обобщаетъ ихъ въ тонкомъ и умѣломъ анализѣ. Двумя - тремя словами умѣетъ онъ уловить существенныя черты и выставить ихъ въ надлежащемъ свѣтѣ. Изъ чтенія замѣтно, что трактатъ написанъ въ самое непродолжительное время, во время высокаго подъема умственной дѣятельности. Авторъ не задался цѣлью сгладить нѣкоторыя неточности, повторенія и противорѣчія; они несомнѣнно могутъ быть указаны въ сатирѣ Эразма, которая, впрочемъ, искупаетъ эти недостатки крупными литера-

турными достоинствами. Мѣстами изложенiе отличается необыкновенною сочностью красокъ: образъ является въ извѣстномъ обобщенiи, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ яркихъ художественныхъ формахъ. Вотъ Глупость говоритъ объ удовольствiяхъ, доставляемыхъ жизнью; вмѣсто сухой аргументацiи она представляетъ слѣдующую картину. «Посмотрите вокругъ себя: вы видите стариковъ, ровесниковъ Нестору, у которыхъ вида человѣческаго не осталось, глупыхъ, шамкающихъ, плѣшивыхъ, морщинистыхъ, согнутыхъ; а между тѣмъ они наслаждаются жизнiю: одинъ чернитъ свои сѣдины, другой чужими волосами закрываетъ свою плѣшь, третiй украшаетъ свои челюсти искусственными зубами (можетъ быть изъ свиныхъ клыковъ); четвертый умираетъ отъ любви къ дѣвушкѣ и стремится перещеголять безумствами юныхъ ея поклонниковъ

Развѣ не я побуждаю ихъ ко всему этому? Теперь до того обычное явленiе видѣть стараго хрыча, ведущаго къ алтарю молоденькую дѣвушку-безприданницу (разумѣется, на пользу другимъ), что такой поступокъ чуть не похвалы возбуждаетъ. Но еще занимательнѣй видѣть, какъ полумертвая, трупообразная старуха, точно съ того свѣта явившаяся, нанявъ за большiя деньги какого-нибудь фоона, разрисовываетъ себѣ лицо, не отходитъ отъ зеркала, обнажаетъ свою изсохшую грудь, вмѣшивается въ танцы дѣвушекъ, пишетъ любовныя записки».

Уже въ избранiи формы своему трактату (пародiя на панегирикъ), Эразмъ является истымъ гуманистомъ, прекрасно знакомымъ съ образцами, завѣщанными древними. Въ эпоху Возрожденiя были извѣстны панегирики древнихъ и нѣкоторыя пародiи на нихъ, равно какъ и трактаты объ ораторскомъ искусствѣ. Кромѣ того, при чтенiи сатиры Эразма видно необыкновенное знакомство съ греческой и римской миѳологiей, легендами и преданiями.

«Въ сатирѣ Эразма есть одинъ крупный недостатокъ, безъ котораго, впрочемъ, она не была бы тѣмъ, чѣмъ она есть: это — неопредѣленность темы. Что такое «глупость», которую онъ обличаетъ? Это не одно понятiе, а цѣлый рядъ понятiй, часто противоположныхъ: то она проявленiе низшихъ животныхъ инстинктовъ человѣческой природы, исключительное служенiе мамону; то она тупость и неразвитость, недостатокъ умственной культуры; то самодовольная ограниченность, культура, ложно понятая; то лицемѣрiе ума, проявлявшееся въ острыхъ сарказмахъ придворныхъ шутовъ; то безсознательная преступность; то душевная невинность, незнанiе мерзостей жизни, непрактичность, такъ называемая «святая простота»; то, какъ въ концѣ, состоянiе экстаза и вышечеловѣческая мудрость» [1]).

Къ этой характеристикѣ «Глупости» слѣдуетъ прибавить еще небольшое наблюденiе. Въ сущности сатира Эразма проникнута полною безотрадностью настроенiя. Въ самомъ дѣлѣ, мы находимся въ недоумѣнiи

---

[1]) Кирпичниковъ «Похвала Глупости», стр. XXXI.

каковы *положительные* идеалы автора? Мы ихъ не знаемъ, потому что въ трактатѣ ихъ нѣтъ; здѣсь осмѣивается все: и воодушевленіе, и низость, и увлеченіе, и пороки—словомъ, всѣ проявленія человѣческой мысли и чувства. Читатель видитъ полное отрицаніе, насмѣшку надъ всѣмъ безъ исключенія.

Безотраденъ скептицизмъ Эразма. Не видно живой вѣры въ положительные идеалы. «Похвала Глупости» прекрасная иллюстрація вѣка и автора: вѣка — лишеннаго нравственныхъ идеаловъ, испорченнаго и неспособнаго къ исправленію; автора—извѣрившагося, иронизирующаго надъ всѣмъ, не вѣрящаго въ лучшее будущее и, въ сущности, не желающаго его тому человѣчеству, къ которому онъ въ цѣломъ и частности относится съ нескрываемымъ презрѣніемъ.

IV. Эразмъ, какъ политическій писатель.

Разносторонняя литературная дѣятельность Эразма не могла оставить безъ вниманія одного изъ наиболѣе интересующихъ современное ему общество вопросовъ: вопроса о государствѣ и соціальномъ строѣ. Въ эпоху Возрожденія охотно занимались теоретической разработкою политическихъ системъ и ученій; она достигла высшей ступени въ трактатѣ Маккіавелли «Князь» и въ «Утопіи» Томаса Мора, хорошаго друга Эразма—въ двухъ діаметрально противоположныхъ направленіяхъ. Эразму были извѣстны оба трактата, но онъ не могъ согласиться ни съ однимъ, ни съ другимъ; у него были свои опредѣленные на этотъ предметъ взгляды, которые онъ и высказалъ въ спеціальныхъ сочиненіяхъ. Притомъ, хотя «Утопія» вѣроятно и была извѣстна нашему гуманисту, когда онъ издавалъ свой трактатъ, но въ печати она явилась нѣсколькими мѣсяцами позже Эразмова разсужденія.

Маккіавелли далъ превосходный трактатъ о тираніи, основанной на непосредственныхъ наблюденіяхъ въ средѣ его окружающей. Владѣтели Италіи, какъ нельзя болѣе походили на идеалъ государя, представленный талантливымъ флорентійцемъ, хотя, конечно, это сводилось главнымъ образомъ къ отрицательнымъ чертамъ: такого ума и проницательности, какъ у князя Маккіавелли, не было даже у Цезаря Борджіа. Маккіавелли стоялъ исключительно на сторонѣ *силы*; *право* личности онъ игнорировалъ. Эразмъ задался цѣлью примирить *силу* съ *правомъ*. По его мнѣнію, всѣ люди свободны. Государь ихъ отецъ и пастырь, заботящійся объ общихъ интересахъ. Въ виду этого онъ требуетъ отъ государя заботливости о благѣ своихъ подданныхъ и видитъ въ дѣлѣ управленія несеніе своего рода общественной службы. Маккіавелли, преслѣдующій практическія цѣли, желаетъ видѣть на тронѣ государя, одареннаго военными талантами, Эразмъ предпочитаетъ—философа, повторяя за Платономъ, что государство не будетъ счастливымъ, пока князья не сдѣлаются философами или философы — князьями. Подъ философами разумѣетъ Эразмъ

преслѣдующихъ истинное благо. Философъ и христіанинъ для Эразма одно-значущія понятія, и христіанское ученіе въ его глазахъ есть и истинно-философское.

Въ противоположность Маккіавелли, Эразмъ не думаетъ, что существуютъ два кодекса нравственности: одинъ для обыкновенныхъ смертныхъ, другой—для правителей. Онъ полагаетъ, что законъ для всѣхъ одинаковъ. «Государь не долженъ стыдиться повиноваться закону добра, которому повинуется самъ Богъ». «Никто не можетъ быть хорошимъ государемъ, не будучи хорошимъ человѣкомъ». «Тотъ, кто имѣетъ въ виду общественное благо—царь; тотъ, кто обращаетъ вниманіе лишь на свое собственное—тиранъ; но что-же сказать о такихъ, которые основываютъ свое счастье на несчастіи отечества». О формѣ правленія Эразмъ не имѣетъ опредѣленнаго представленія: «можетъ быть, замѣчаетъ онъ, лучше бы было никогда не вводить льва въ овчарню», протестуя этимъ противъ тираніи. Вообще онъ стоитъ за монархическое правленіе, ограниченное сенаторами и народными представителями. Государю, по его мнѣнію, гораздо лучше имѣть дѣло съ людьми, добровольно повинующимися, нежели съ толпою рабовъ, знающихъ лишь страхъ. Скажутъ, замѣчаетъ Эразмъ, что царствовать такимъ образомъ скорѣе значитъ быть подчиненнымъ, чѣмъ царемъ. «Совершенно наоборотъ, самому себѣ возражаетъ гуманистъ, это самая благородная манера царствовать. Богъ тоже рабъ, такъ какъ даромъ управляетъ міромъ и распространяетъ свои благодѣянія на все живое. Царствовать надъ ослами менѣе почетно, чѣмъ надъ разсудительными и свободными существами». «Богъ также хотѣлъ повелѣвать свободными существами, — вотъ почему онъ далъ свободную волю ангеламъ и людямъ, чтобы возвысить великолѣпіе своего царства».

«Только тѣ всецѣло принадлежатъ вамъ, кто добровольно оказываетъ повиновеніе. Страхъ подчиняетъ тѣла, а не души; христіанское милосердіе соединяетъ государя съ подданными».

Эразмъ стоитъ за наслѣдственность престола, хотя, въ видѣ исключенія, допускаетъ выборное начало. Въ наслѣдственной монархіи главное вниманіе должно быть обращено на воспитаніе и образованіе наслѣдника престола. Государь—не монахъ и не священникъ, но онъ христіанинъ. «Земное провидѣніе,—онъ живой образъ Бога; необходимо, чтобы образъ соотвѣтствовалъ оригиналу. Христіанская теологія признаетъ въ Богѣ три основныхъ свойства; могущество, мудрость и доброту. Это—основныя качества хорошаго государя. Онъ не долженъ быть предметомъ страха для своихъ подданныхъ». Маккіавелли требовалъ, чтобы въ наслѣдникѣ престола развивали воинскія наклонности, — Эразмъ говоритъ въ пользу развитія мирныхъ добродѣтелей. Особенно рекомендуетъ онъ избѣгать льстецовъ, которые, изъ-за личнаго интереса, готовы жертвовать государственными. Всѣ, кто окружаетъ принца, должны говорить языкомъ истины. Памятники искусства и литературы, съ которыми знакомятъ принца, должны

служить нравственному назиданію. Любимыми книгами государей должны быть *Изреченія Соломона*, *Эклезіастъ*, *Книга премудрости* и въ особенности *Евангеліе*; изъ свѣтскихъ писателей—сочиненія Плутарха, Сенеки, *Политика* Аристотеля и *Объ обязанностяхъ* Цицерона.

Сказанія о подвигахъ Ахилла, Александра, Цезаря, романы Артурова цикла очень опасны для молодого читателя, хотя и здѣсь хорошій руководитель съумѣетъ установить надлежащую точку зрѣнія и указать на стороны дѣятельности этихъ героевъ, достойныя подражанія.

Разсмотрѣвъ права и обязанности государя, Эразмъ обращается къ частнымъ вопросамъ государственнаго управленія—особенно къ финансовымъ. Онъ замѣчаетъ, что государи должны заботиться объ экономіи, избѣгать ненужныхъ расходовъ и особенно войны. Когда необходимы новые налоги, слѣдуетъ заботиться о неимущихъ классахъ населенія и не облагать податями предметомъ первой необходимости, а преимущественно иностранные товары и предметы роскоши. Но и эти пошлины, по минованіи надобности, должны быть сняты.

Гуманистъ обращаетъ вниманіе на монетную систему. Многія правительства въ его время нерѣдко позволяли себѣ чеканить низкопробную монету. Равнымъ образомъ они измѣняли цѣнность монеты, смотря по тому, получали-ли они или платили. Гуманистъ протестуетъ противъ этого, а также и противъ конфискаціи имущества въ пользу казны.

Взгляды Эразма на законодательство и правосудіе представляютъ весьма много замѣчательнаго. «Государство счастливо, говоритъ Эразмъ, когда всѣ граждане повинуются государю, когда самъ государь повинуется законамъ и когда законы, соотвѣтствуя идеалу справедливаго и честнаго, направлены лишь къ упроченію общественнаго блага. Слѣдуетъ издавать не многочисленные, но превосходные во всѣхъ отношеніяхъ законы». «Надо избѣгать... чтобы они не были издаваемы въ пользу знатныхъ, вмѣсто того, чтобы служить общественному благу, широко понятому».

Законы, по Эразму, должны быть такъ обоснованы, чтобы убѣдить всякаго въ ихъ цѣлесообразности. Они должны быть всѣмъ и каждому извѣстны и ясно формулированы, чтобы быть понятными безъ посредничества юристовъ. Они должны быть для всѣхъ обязательны, въ противномъ случаѣ «становятся паутиной, схватывающей лишь мухъ».

Равенство всѣхъ передъ закономъ—вотъ основное правило. Граждане должны съ ранняго дѣтства питать убѣжденіе, что милости даются не за знатность происхожденія, а за заслуги передъ отечествомъ. Благородныхъ Эразмъ раздѣляетъ по добродѣтели, наукѣ и крови. Послѣдніе безъ добродѣтели не должны имѣть никакого значенія.

Особенную гуманность проявляетъ Эразмъ, говоря о наказаніяхъ по закону. «Законъ, говоритъ гуманистъ, долженъ быть болѣе склоненъ къ прощенію, чѣмъ къ наказанію». «Виновный, избѣжавшій возмездія, можетъ быть опять схваченъ, осужденному безъ вины — обида не можетъ быть

вознаграждена. Если даже онъ не погибъ—какъ его вознаградить? Какую цѣну назначить за огорченіе»?

Эразмъ не хочетъ, чтобы судьи же извлекали изъ процессовъ какую-либо пользу. Онъ требуетъ, чтобы законъ покровительствовалъ преимущественно слабымъ и строже наказывалъ обиды, имъ причиняемыя. Необходимо также, чтобы наказаніе было соразмѣрено съ преступленіемъ. Смертной казни слѣдуетъ избѣгать, какъ нежелательной мѣры. Подобно Томасу Мору, Эразмъ возмущается, что въ его время незначительное воровство наказывалось смертью, а прелюбодѣяніе оставалось почти безнаказаннымъ. Вообще наказанія должны быть рѣдки, чтобы производить должное вліяніе. Задача администраціи должна состоять не въ томъ, чтобы наказывать преступленія, но чтобы предупреждать ихъ, тщательно преслѣдуя причины, ихъ порождающія. Особенное вниманіе должно быть обращено на школы, на первоначальное обученіе.

Главной причиной преступленій всякаго рода Эразмъ считаетъ праздность. Всѣ стремятся къ бездѣйствію, многіе прибѣгаютъ къ самымъ дурнымъ средствамъ. Государь долженъ заботиться, чтобы число праздныхъ было какъ можно меньше и изгонять изъ предѣловъ государства тѣхъ, кто не желаетъ трудиться. По мнѣнію Эразма, даже дѣти богатыхъ и знатныхъ должны учиться какому-либо ремеслу, если не имѣютъ достаточныхъ способностей къ наукѣ, чтобы праздность не побуждала ихъ искать непозволительныхъ развлеченій.

Особенно вреднымъ для государства считаетъ Эразмъ ростовщичество. Онъ возмущается эксплоатаціей неимущихъ классовъ.

Во время Эразма многія административныя должности продавались и покупались. Чиновники, заплатившіе большія деньги за извѣстное мѣсто, старались наверстать съ лихвою потерянное. Въ виду этого Эразмъ требуетъ строгой отвѣтственности должностныхъ лицъ.

Взгляды Эразма на иностранную политику отличаются полнымъ миролюбіемъ. Эразмъ убѣжденъ, что всѣ дѣйствія правительства должны быть направлены къ сохраненію внѣшняго мира и соблюденію общихъ интересовъ. Не слѣдуетъ задаваться отдаленными и не приносящими непосредственной пользы интересами. Между народами родственнаго происхожденія или имѣющими общіе интересы должна существовать тѣсная связь. Всякіе трактаты хороши лишь тогда, когда лица, ихъ заключающія, намѣрены ихъ свято блюсти. Къ этому же должны быть направлены и браки государей. Заключеніе брачныхъ союзовъ между отдаленными дворами, имѣющими мало общаго, Эразмъ считаетъ весьма нежелательнымъ, такъ какъ дѣти отъ такихъ браковъ, воспитанныя подъ чуждымъ вліяніемъ, утрачиваютъ живую связь со своими подданными, а упроченіе мира и другія благія ожиданія почти никогда не оправдываются.

Въ мирное время государь и его совѣтники должны заниматься дѣлами правленія и проводить, не дѣлая рѣзкихъ скачковъ, реформы, на-

правленныя ко благу его страны. Но если глава государства окажется ниже своего назначенія, ему слѣдуетъ оказывать полное повиновеніе. «Надо переносить тирана изъ опасенія, чтобы за тираніей не послѣдовала анархія, еще болѣе гибельная, что доказываютъ многочисленныя республики, а въ послѣднее время возмущеніе крестьянъ».

Какъ замѣчено выше, «Утопія» Томаса Мора была издана нѣсколькими мѣсяцами позже сочиненія Эразма. О непосредственномъ заимствованіи однимъ у другого не можетъ быть и рѣчи, но нельзя не замѣтить, что въ нѣкоторыхъ общихъ и частныхъ выводахъ эти писатели сходятся. Это объясняется одинаковой научной подготовкой, личными отношеніями, т. е. перепиской и продолжительными бесѣдами.

По своимъ взглядамъ на политику, Эразмъ стоитъ наравнѣ съ лучшими умами своего времени, проявляя трезвое и благоразумное отношеніе къ дѣлу.

Проникнутый лучшими идеями, онъ питаетъ отвращеніе къ войнѣ. Онъ считаетъ войну возможной лишь въ интересахъ самообороны. Даже войну съ турками слѣдовало, по его мнѣнію, свести къ отраженію ихъ нападеній и стараться распространять истинную вѣру убѣжденіемъ. Онъ не только высказывается всюду противъ войны, но, гдѣ только можетъ, преслѣдуетъ военное сословіе ѣдкой насмѣшкой, не щадя даже столь высокопоставленныхъ лицъ, какъ папа Юлій II. Считая Льва X миролюбивымъ, Эразмъ искренно радуется его вступленію на престолъ. Подобнымъ же образомъ относится онъ къ французскому королю Франциску I, ибо думаетъ, что этотъ государь водворитъ всюду миръ и согласіе.

Войну и ея поборниковъ Эразмъ пытается выставить не только въ ужасномъ видѣ, но и смѣшномъ и отталкивающемъ. Такъ, наприм., въ одномъ изъ своихъ трактатовъ онъ выводитъ на сцену защитника войны и ея противника (Трасимаха и Ганнона). Первый возвратился съ кампаніи больнымъ и изувѣченнымъ. Изъ бесѣды съ Ганнономъ выяснилось, что доблестный воинъ шелъ въ походъ съ цѣлью награбить и побезчинствовать. Онъ дѣйствительно очутился обладателемъ богатой добычи, но не извлекъ изъ нея никакой пользы, такъ какъ всѣ награбленныя деньги ушли немедленно на вино, карты и женщинъ.

Л. Шепелевичъ.

СЕМЕЙСТВО ПОЛАНЕЦКИХЪ.

Романъ Генрика Сенкевича.

(Переводъ съ польскаго М. Кривошеева).

II.

Чрезъ нѣсколько дней, въ одно прекрасное утро, когда Поланецкій собирался уйти въ контору, къ нему зашелъ Машко.

— Я пришелъ къ тебѣ по двумъ дѣламъ, — началъ онъ, — но прежде всего, приступлю къ денежному вопросу, чтобы предоставить тебѣ полную свободу сказать: „да или нѣтъ“.

— Ты же знаешь, голубчикъ, что для денежныхъ дѣлъ у меня есть контора, а потому начинай прямо со второго.

— Дѣло это не касается вашего торговаго дома; оно совершенно частное, и я предпочитаю потолковать о немъ частнымъ образомъ. Какъ тебѣ извѣстно, я собираюсь жениться, и деньги мнѣ очень нужны. Расходовъ у меня столько, сколько волосъ на головѣ и притомъ разныхъ платежей чортова пропасть. Наступаетъ срокъ уплаты тебѣ перваго взноса по контракту за Кремень, который я отъ тебя купилъ. Не можешь-ли отсрочить мнѣ платежъ еще на три мѣсяца?

— Буду съ тобою откровененъ, — отвѣтилъ Поланецкій: — да, могу, но только не хочу.

— Въ такомъ случаѣ и я буду откровененъ и спрошу, что ты со мною сдѣлаешь, если я не уплачу тебѣ къ сроку?

— И это иногда случается на Божьемъ свѣтѣ—снова отвѣтилъ Поланецкій,—но на сей разъ ты считаешь меня глупѣе, чѣмъ я на самомъ дѣлѣ, — я увѣренъ, что ты уплотишь.

— Откуда такая увѣренность?

— Собираясь жениться, да къ тому же на богатой, ты не захочешь объявить себя несостоятельнымъ. Изъ подъ земли выкопаешь, а уплотишь.

— Изъ пустаго кармана и самъ Соломонъ не извлекъ бы ничего.

— Потому, должно быть, что онъ у тебя не поучился. Ужъ не

взыщи, голубчикъ, насъ теперь никто не услышитъ, а потому скажу тебѣ прямо, что ты вѣдь всю жизнь только это и дѣлалъ...

— Такъ ты увѣренъ, что я уплачу?

— Да.

— Ты правъ. Я хотѣлъ было воспользоваться твоей любезностью, на которую, впрочемъ, не имѣю ни малѣйшаго права. Однако, все это ужъ меня такъ утомило, измучило... Тутъ брать, тамъ отдавать,— вѣчно жить словно въ какомъ-то водоворотѣ — это прямо выше человѣческихъ силъ... Теперь я, какъ будто, начинаю уже причаливать къ берегу. Чрезъ два мѣсяца я, наконецъ, почувствую подъ своими ногами другую почву, а теперь я мчусь на послѣднихъ парахъ. Ты не хочешь... Что-же дѣлать!.. Въ Кремнѣ имѣется небольшой лѣсъ — вырублю его и уплачу, коль скоро ужъ иначе нельзя.

— Гдѣ тамъ въ Кремнѣ лѣсъ? Старикъ Плавицкій, кажется, ужъ такъ постарался и кругомъ такъ вычистилъ, что даже слѣда не осталось.

— За домомъ осталась еще небольшая дубовая роща, какъ разъ по дорогѣ въ Недзялково.

— Да, правда, осталась.

— Вы вѣдь вмѣстѣ съ Бигелемъ, кажется, торгуете иногда и лѣсомъ. Купите отъ меня эту рощу. Это избавитъ меня отъ хлопотъ искать купца, а вы на этомъ хорошо заработаете.

— Объ этомъ я долженъ прежде поговорить съ Бигелемъ.

— Такъ значитъ это пойдетъ?

— Посмотрю. Если дешево уступишь, то, быть можетъ, я даже самъ... Впрочемъ, въ такихъ дѣлахъ нужно хорошенько разсчитать и убытки, и прибыль. Мнѣ также нужно знать твои. Прикинь-ка и ты. Пришли мнѣ, пожалуйста, выписку, сколько тамъ всего лѣса и какой именно. Я почти его не помню.

— Черезъ часъ пришлю.

— Въ такомъ случаѣ я вечеромъ дамъ тебѣ отвѣтъ.

— Относительно одного условія я долженъ тебя предупредить: къ рубкѣ лѣса тебѣ можно будетъ приступить не раньше, какъ только по истеченіи двухъ мѣсяцевъ со дня заключенія контракта.

— Почему?

— Потому что безъ этой рощи Кремень много теряетъ; она — лучшая статья всего имѣнія. Послѣ свадьбы я попрошу тебя о переуступкѣ ея мнѣ, разумѣется, на выгодныхъ для тебя условіяхъ.

— Посмотримъ.

— Кромѣ того, въ Кремнѣ оказывается порядочный мергель. Помнишь, ты самъ когда-то объ этомъ говорилъ. Плавицкій считалъ, что тамъ у него лежатъ милліоны — это, разумѣется, глупо! Но въ рукахъ опытныхъ людей изъ этого можно что-нибудь сдѣлать и,

пожалуй, нѣчто довольно выгодное. Потолкуй объ этомъ съ Бигелемъ; я бы вошелъ съ вами въ компанію...

— Если дѣло подходящее и даже выгодное, то вѣдь для того и существуетъ нашъ торговый домъ, чтобы дѣла обдѣлывать.

— Впрочемъ, объ этомъ послѣ. Что касается нашего условія на счетъ лѣса, то оно должно носить такой характеръ, что я, вмѣсто причитающагося тебѣ денежнаго взноса, отдаю тебѣ лѣсъ или часть его, смотря потому, какъ мы тамъ разсчитаемъ. Лѣсъ ты получаешь какъ бы въ обезпеченіе и обязываешься не рубить его раньше, какъ по истеченіи слѣдующаго трехмѣсячнаго срока.

— Это я могу для тебя сдѣлать,— отвѣтилъ Поланецкій.—Само собою разумѣется, что намъ предстоитъ условиться еще о нѣкоторыхъ подробностяхъ, какъ напримѣръ о доставкѣ лѣса на желѣзнодорожную станцію и т. п., но объ этомъ мы поговоримъ при заключеніи контракта, конечно, — если мы его заключимъ.

— По крайней мѣрѣ, хотя одно бремя съ плечъ долой! — сказалъ Машко, сильно потирая себѣ лобъ. — Представь себѣ, что у меня такихъ дѣлъ десять-пятнадцать въ день, не считая дѣловыхъ разговоровъ съ будущей моей тещей, съ почтеннѣйшей г-жей Краславской, которые еще гораздо труднѣе и мучительнѣе, и почетной службы при невѣстѣ, которая...

Тутъ Машко на минуту остановился, но потомъ, махнувъ рукой, прибавилъ:

— Которая также далеко не такъ легка!..

Поланецкій посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Услышать что-либо подобное отъ Машко, всегда осторожнаго и сдержаннаго во всемъ, что касается лелѣемаго имъ общественнаго мнѣнія, было дѣломъ, почти невѣроятнымъ.

Но Машко между тѣмъ продолжалъ:

— Но не въ томъ дѣло. Помнишь, какъ-то разъ предъ смертью Литки у насъ чуть-ли не завязалась ссора... Я не сообразилъ тогда, что ты такъ сильно любилъ эту крошку, что ты былъ разстроенъ, взволнованъ и я поступилъ тогда очень грубо. Сознаюсь, я былъ виноватъ кругомъ, извини, пожалуйста...

— Кто старое помянетъ... — отвѣтилъ Поланецкій.

— Я заговорилъ объ этомъ, потому что хочу просить тебя объ одномъ одолженіи. Дѣло вотъ въ чемъ: друзей у меня нѣтъ; родныхъ также, или если и есть, то такіе, съ которыми не стоитъ связываться. Теперь я долженъ позаботиться о шаферахъ и, ей-ей, не знаю, гдѣ ихъ и искать... Какъ тебѣ извѣстно, я велъ и теперь еще веду дѣла разныхъ барчуковъ... Но приглашать перваго попавшагося паяца только за то, что онъ носитъ громкую фамилію—какъ-то неудобно, да и не хочется. Мнѣ было-бы желательно, чтобы мои шафера были

люди порядочные и кромѣ того, скажу откровенно, — порядочной фамиліи. Мои дамы также изволили обратить на это особое свое вниманіе, — и потому не захочешь-ли ты быть моимъ шаферомъ?

— Въ этомъ я бы тебѣ не отказалъ, если-бы обстоятельства не такъ сложились. Смотри: я не ношу чернаго крепа на шляпѣ и не обшилъ бѣлой ленточкой лацкановъ сюртука; я съ виду не въ трауре, но даю тебѣ честное слово, что я въ такомъ горѣ, какъ будто у меня умеръ свой ребенокъ...

— Да, я этого не сообразилъ — отвѣтилъ Машко. — Извини, пожалуйста.

Поланецкаго тронули эти слова.

— Впрочемъ, если ты очень хочешь... если тебѣ не удастся найти никого другого, то я къ твоимъ услугамъ; хотя, признаюсь чистосердечно, мнѣ будетъ очень тяжело вдругъ очутиться на свадьбѣ послѣ такихъ похоронъ.

Поланецкій, правда, не прибавилъ „на такой свадьбѣ“, но Машко отгадалъ его мысль.

— Притомъ — продолжалъ Поланецкій, — есть еще одно обстоятельство. Ты, вѣроятно, слышалъ о томъ, что былъ какой-то несчастный, докторишка..., который до сумасшествія былъ влюбленъ въ твою невѣсту. Разумѣется, она имѣла полное право не отвѣчать ему взаимностью и никто въ этомъ не можетъ ее упрекнуть, но тотъ, несчастный, поѣхалъ туда, куда Макаръ телятъ не гоняетъ, и тамъ его гдѣ-то чортъ забралъ... понимаешь? — а я какъ разъ былъ его пріятелемъ, которому онъ повѣрялъ всѣ свои сердечныя тайны и изливалъ все свое горе — понимаешь? — а тутъ изволь исполнять обязанности шафера при другомъ — неправда-ли: странное совпаденіе?..

— И тотъ дѣйствительно умеръ отъ любви къ моей невѣстѣ?

— Ты развѣ объ этомъ не слышалъ?

— Не только не слышалъ, но я ушамъ своимъ не вѣрю...

— Обыкновенно люди мѣняются послѣ вступленія въ бракъ, но вижу, что нѣкоторые изъ нихъ успѣваютъ измѣниться даже сейчасъ по зачисленіи себя въ женихи. Я не узнаю тебя, Машко, да и только.

— Вѣдь я ужъ сказалъ тебѣ, что я такъ усталъ, что еле дышу, а въ такихъ случаяхъ приходится маску сбрасывать.

— Что ты хочешь этимъ сказать?

— Я того мнѣнія, что люди дѣлятся на двѣ категоріи: первые — ни съ чѣмъ не сообразуются и поступаютъ такъ, какъ Богъ имъ на душу положитъ; другіе же строго придерживаются извѣстной системы, отъ которой рѣдко и отступаютъ. Я принадлежу ко второй категоріи. Я привыкъ сохранять внѣшнее приличіе, привыкъ на столько, что это стало моей второй натурой. Но представь себѣ, напримѣръ, такого оригинала, путешествующаго въ сильную жару; ему невыносимо

жарко и вдругъ этотъ человѣкъ „comme il faut“ самаго высшаго тона не въ состояніи выдержать, и на него находитъ такая минута, что онъ растегиваетъ не только сюртукъ, но даже и жилетъ. И на меня нашла теперь такая минута — ничего не подѣлаешь, нужно растегиваться.

— Что это значитъ?

— Это значитъ, что я просто пораженъ извѣстіемъ, что кто-то могъ до сумасшествія влюбиться въ мою невѣсту, которая такъ холодна, натянута и,— какъ ты разъ со злости далъ мнѣ почувствовать,— вся такъ автоматична, словно ее каждый день заводятъ ключомъ. Все это истинная правда — и я вполнѣ это подтверждаю. Я не хочу, чтобы ты меня считалъ бо̀льшимъ негодяемъ, чѣмъ я на самомъ дѣлѣ. Я никогда не любилъ ее и не люблю и теперь и вся эта женитьба будетъ такъ-же натянута, какъ и сама невѣста. Я люблю панну Плавицкую, которая меня отвергла. На паннѣ Краславской женюсь только изъ-за денегъ. Если скажешь, что это мерзко, отвратительно, то позволю себѣ обратить твое вниманіе на то, что эту мерзость совершила или совершаетъ тысяча, такъ называемыхъ, порядочныхъ людей, которымъ ты подаешь руку; жизнь-же, вообще, не есть непрерывная цѣпь наслажденій, но также не полна и трагедіями,— она сильно хромаетъ, но идетъ... Впослѣдствіи много помогаетъ привычка, прожитые годы, которые приносятъ съ собою нѣчто вродѣ привязанности, дѣти, которыя являются на свѣтъ — и такъ живется понемногу. Большинство супружествъ таково, потому что большинство предпочитаетъ лучше ходить по землѣ, чѣмъ взбираться на недосягаемыя высоты. Нѣкоторыя супружества бываютъ еще хуже,— потому что, когда женщина, напримѣръ, хочетъ летать, а мужчина предпочитаетъ ползти, или наоборотъ, — тогда трудно разсчитывать на полное счастье. Что касается меня, то я достаточно поработалъ на своемъ вѣку; я работалъ какъ волъ. Происходя изъ разорившейся мелкой семьи, я хотѣлъ выбиться, выдвинуться—и въ этомъ я откровенно сознаюсь. Если-бы я захотѣлъ остаться никому неизвѣстнымъ крючкотворомъ и копить деньгу, я, быть можетъ, сколотилъ-бы столько, что открылъ-бы моему сыну настежъ двери жизни. Но я не люблю своихъ дѣтей до появленія ихъ на свѣтъ, а потому мнѣ хотѣлось не только имѣть дѣтей, но стать чѣмъ-нибудь, занять какое-нибудь мѣсто, получить какой-нибудь вѣсъ, разумѣется, на сколько у насъ, вообще, можно получить вѣсъ, хотя-бы въ обществѣ. Получилось слѣдующее: то, что заработалъ адвокатъ — израсходовалъ большой баринъ. Извѣстное положеніе налагаетъ извѣстныя обязанности. Въ настоящее время денегъ нѣтъ, вѣчная бѣготня, заключающаяся преимущественно въ томъ, чтобы изъ одной дыры вынимать и другую затыкать, мнѣ страшно надоѣла, а потому женюсь на паннѣ

Краславской, которая, въ свою очередь, выходитъ за меня только потому, что, если не на самомъ дѣлѣ, то, по крайней мѣрѣ, съ виду я представляю собою большого барина, — скорѣе разыгрываю роль большого барина, который развлекается адвокатурой... Шансы съ обѣихъ сторонъ совершенно одинаковы, никто никого не обманываетъ, не надуваетъ, а если хочешь, то мы другъ друга надуваемъ только въ одинаковой степени. Вотъ тебѣ вся правда, а теперь, какъ тебѣ угодно, можешь меня и презирать.

— Ей-Богу, я никогда тебя такъ не уважалъ, — отвѣтилъ Поланецкій;— я только удивляюсь твоей искренности и храбрости.

— Принимаю твой комплиментъ за чистую монету; но въ чемъ же ты видишь тутъ храбрость?

— Въ томъ, что, такъ мало обманываясь относительно панны Краславской, ты все-таки женишься на ней.

— Потому, что я не такъ глупъ, какъ ты думаешь. Правда, я искалъ денегъ, но развѣ ты думаешь, что я изъ-за денегъ женился бы на комъ угодно? О, нѣтъ, мой милый, ты ошибаешься. Остановивъ свой выборъ на паннѣ Краславской, я зналъ, что дѣлалъ. У панны Краславской есть неоцѣнимыя качества, которыя очень важны при тѣхъ условіяхъ, при какихъ она выходитъ за меня, и при которыхъ я женюсь на ней. Панна Краславская будетъ женой холодной, непріятной, кислой и даже надменной, разумѣется, на столько, на сколько она меня не будетъ бояться. Но зато панна Краславская и ея мать охраняютъ, какъ святыню, какъ религіозный культъ общественное мнѣніе и все то, что принято или не принято, однимъ словомъ, такъ называемое, приличіе. Это первое. Затѣмъ, нѣтъ въ ней и признака того зародыша, который развиваетъ въ женщинахъ страсть къ приключеніямъ, — и совмѣстная жизнь съ ней, какъ бы она ни была непріятна, не закончится, по крайней мѣрѣ, скандаломъ. Это во вторыхъ. А въ третьихъ, она страшная педантка какъ въ своихъ взглядахъ на религію, такъ и по отношенію ко всѣмъ другимъ обязанностямъ, которыя она на себя беретъ. Вотъ это ужъ дѣйствительно рѣдкое качество. Съ ней я не буду чувствовать себя счастливымъ, но зато буду всегда спокойнымъ, и кто знаетъ, быть можетъ, это единственное счастье, къ которому въ жизни нужно стремиться. Вотъ что еще тебѣ скажу, мой милый: если вздумаешь жениться, то, прежде всего, хорошенько подумай о будущемъ спокойствіи. Въ любовницѣ ищи себѣ всего, что тебѣ угодно: и остроумія, и темперамента, и поэтическаго настроенія, и впечатлительности, но съ женой надо прожить всю жизнь,— поэтому ищи въ ней того, на чемъ можно основать жизнь — ищи принципа.

— Я никогда не считалъ тебя глупымъ, но вижу, что ты обладаешь гораздо большимъ умомъ, чѣмъ я предполагалъ.

— Потому что, видишь-ли, наши женщины, хотя-бы, напримѣръ, изъ финансоваго міра, воспитываются, правда, на французскихъ романахъ, но знаешь-ли, что изъ этого получается?

— Болѣе или менѣе знаю, но ты сегодня въ такомъ краснорѣчивомъ настроеніи, что съ удовольствіемъ послушаю твою характеристику.

— По моему, женщина становится для себя одновременно и Богомъ, и закономъ.

— А для мужа?

— Хамелеономъ и вѣчной драмой.

— Это, правда, иногда замѣчается, но только въ высшемъ денежномъ свѣтѣ, лишенномъ всякихъ традицій. Тамъ все основано на внѣшности и на туалетахъ, подъ которыми живетъ не человѣкъ съ душой, а только избалованный звѣрекъ.

— Но этотъ денежный свѣтъ, шикарный и богатый, жуирующій и веселящійся, весь пропитанный диллетантизмомъ въ искусствѣ, литературѣ и даже въ религіи, держитъ въ своихъ рукахъ дирижерскую палочку и управляетъ хоромъ.

— У насъ еще пока нѣтъ.

— Скажи, у насъ еще не вполнѣ. Впрочемъ, и въ этомъ мірѣ бываютъ исключенія, а ужъ о другихъ сферахъ и говорить нечего. Да, у насъ встрѣчаются и другія женщины, напримѣръ, панна Плавицкая. Ахъ, какое спокойствіе, какая увѣренность, и при этомъ какая гармонія, какое очарованіе въ жизни съ такою, какъ она! Увы — она не для такихъ, какъ я!

— Машко! Я твою ловкость готовъ былъ приписывать нуждѣ, но я и не подозрѣвалъ, что ты такой энтузіастъ.

— Что-жъ дѣлать: я любилъ ее, а теперь женюсь на паннѣ Креславской!

Послѣднія слова Машко проговорилъ съ какой-то злостью. Настала минута молчанія.

— Такъ ты не будешь моимъ шаферомъ? — спросилъ Машко.

— Дай мнѣ время, подумаю.

— Я уѣзжаю чрезъ три дня.

— Куда?

— Въ Петербургъ. Есть одно дѣло. Пробуду тамъ недѣли двѣ.

— По пріѣздѣ получишь отъ меня отвѣтъ.

— Хорошо. Сегодня пришлю тебѣ подробную вѣдомость о Кремневскомъ лѣсѣ съ обозначеніемъ даже всѣхъ трехъ измѣреній... Лишь-бы только не платить теперь взноса!

— А я пришлю тебѣ мои условія, на которыхъ куплю у тебя рощу.

Машко распрощался и вышелъ, а вскорѣ послѣ его ухода Пола-

нецкій отправился въ контору. Посовѣтовавшись съ Бигелемъ, онъ рѣшилъ пріобрѣсти лѣсъ на свой собственный счетъ, если покупка окажется выгодной. Онъ самъ не могъ отдать себѣ отчета, откуда явилось у него это странное, ничѣмъ необъяснимое желаніе, хоть какъ-нибудь зацѣпиться за Кремень. Покончивъ съ конторской работой, онъ долго размышлялъ о томъ, что Машко говорилъ ему о паннѣ Плавицкой. Онъ отлично чувствовалъ, что Машко говорилъ правду— и что жизнь съ такою именно женщиной можетъ быть не только ровна и спокойна, но также полна красоты и гармоніи. Но онъ, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ, что, размышляя такимъ образомъ, онъ отдаетъ полную справедливость лишь тому женскому типу, представительницей котораго являлась Мариня, а не самой Маринѣ. Онъ также замѣтилъ въ себѣ цѣлую массу противорѣчій и непослѣдовательностей. То охватывало его какое-то разочарованіе, чуть-ли даже не гнѣвъ противъ желанія любить кого-нибудь или что-нибудь, противъ стремленія загнать свое сердце въ какіе-то тиски, завязать его какими-то узлами, отъ которыхъ бываетъ только больно. При одной лишь мысли объ этомъ онъ возмущался всѣмъ своимъ существомъ, повторяя про себя: „Я не хочу этого! будетъ съ меня, довольно!— это анормальная, нездоровая аффектація, которая влечетъ за собой вѣчныя колебанія и страданія". Но одновременно съ этимъ онъ былъ почти недоволенъ Мариней за то, что она не полюбила его какой-то всепоглощающей, безотчетной любовью, а начала раскрывать предъ нимъ свое сердце лишь тогда, когда это продиктовано было ей чувствомъ долга. Затѣмъ, не желая больше любви, онъ, однако, былъ пораженъ тѣмъ, что это чувство почти незамѣтно начало блекнуть, и что его гораздо больше влекло къ Маринѣ, когда она имъ пренебрегала, чѣмъ теперь, когда она стала относиться къ нему благосклоннѣе. „Въ концѣ концовъ, думалъ онъ,—все это вмѣстѣ взятое ведетъ только къ тому, что человѣкъ самъ не знаетъ, чего онъ хочетъ и какъ ему поступить, то есть доходитъ до того состоянія, въ которомъ ему хотѣлось-бы провалиться сквозь землю, да и только! Панна Плавицкая обладаетъ цѣлой массой качествъ, которыхъ она сама даже не подозрѣваетъ, она такая честная, прямая, тихая, скромная и красивая, разумъ мой влечетъ меня къ ней, но вмѣстѣ съ тѣмъ чувствую, что панна Плавицкая стала теперь для меня не тѣмъ, чѣмъ она была, и что-то во мнѣ измѣнилось, что-то ушло".

— Но что именно? Если во мнѣ нѣтъ способности любить (продолжалъ разсуждать Поланецкій), то странно, что какъ скоро я пришелъ къ заключенію, что любовь чаще всего глупость, а сильная любовь—всегда только глупость, — мнѣ бы слѣдовало теперь быть довольнымъ этимъ, а между тѣмъ я совсѣмъ недоволенъ.

Но чрезъ минуту пришла ему новая мысль, что все это, пожалуй, ничто иное, какъ слабость, которая наступаетъ обыкновенно послѣ операціи хирурга или послѣ перенесенной болѣзни, и что положительная жизнь со временемъ наполнитъ ему ту пустоту, которую онъ теперь ощущаетъ.

Эту же положительную жизнь онъ видѣлъ теперь въ своемъ „Торговомъ домѣ".

За обѣдомъ онъ встрѣтилъ Васковскаго, а позади него замѣтилъ двухъ лакеевъ, которые стояли и подмигивали другъ другу, показывая на стараго профессора, то погружавшагося въ свои мысли и забывавшаго даже объ ѣдѣ, то громко разговаривавшаго съ самимъ собой. Старикъ Васковскій за послѣднее время безпрестанно разговаривалъ самъ съ собою, да такъ громко, что на улицѣ обращалъ на себя вниманіе прохожихъ. Теперь голубые глаза его безсознательно смотрѣли съ минуту на Поланецкаго, послѣ чего онъ вдругъ встрепенулся, словно пробудился со сна, и тихо прошепталъ, видимо продолжая начатую мысль:

— Она говоритъ, что это сблизитъ ее съ ребенкомъ.

— Кто говоритъ? — спросилъ Поланецкій.

— Пани Эмилія.

— Какъ-же она сблизится съ нимъ?

— Она хочетъ поступить въ сестры милосердія.

Поланецкій такъ и онѣмѣлъ подъ впечатлѣніемъ этого извѣстія. Онъ могъ думать обо всемъ, о чемъ угодно, мечтать объ умерщвленіи плоти и всякой чувствительности, философствовать о преждевременомъ, скороспѣломъ развитіи общества, среди котораго онъ жилъ, — но въ глубинѣ души своей онъ всегда хранилъ какъ-бы двѣ святыни: Литку и пани Эмилію. Литка являлась для него теперь дорогимъ воспоминаніемъ, но за то пани Эмилію онъ любилъ живымъ, нѣжнымъ, братскимъ чувствомъ, никогда не касаясь его въ своихъ размышленіяхъ.

И онъ долго не могъ овладѣть собой на столько, чтобы продолжать прерванный разговоръ; наконецъ, сурово взглянувъ на Васковскаго, онъ произнесъ почти сердито:

— Это вы, профессоръ, ей такъ совѣтуете? Не вдаваясь въ вашъ мистицизмъ и туманныя идеи, скажу вамъ только одно, что вы берете на вашу совѣсть ея жизнь, потому что у нея просто на просто нѣтъ столько физическихъ силъ, чтобы стать сестрой милосердія, и она тамъ даже одного года не проживетъ, понимаете вы это?

— Милый мой,—отвѣтилъ Васковскій,—вотъ ты осудилъ человѣка, даже не выслушавъ его. Подумалъ-ли ты когда-нибудь о томъ, что значитъ: „справедливый мужъ?"

*

— Когда дѣло касается кого-нибудь изъ близкихъ мнѣ, тогда наплевать мнѣ на какія-то тамъ выраженія...

— Видишь, она вчера сказала мнѣ объ этомъ совершенно неожиданно, а когда я ее спросилъ:— родная моя, хватитъ-ли у тебя на это силъ, потому что эта работа не легкая? Она улыбнулась и отвѣтила мнѣ этими словами: „не отговаривайте меня, потому что это единственный для меня исходъ и возможное счастье. Если окажется, что я не обладаю такими силами, тогда меня не примутъ, если-же меня примутъ и работа окажется выше моихъ силъ, тогда я раньше уйду къ Литкѣ. Мнѣ такъ грустно, такъ грустно!“ Что мнѣ оставалось сказать ей послѣ столь простого аргумента? Что ты бы ей на это сказалъ? Развѣ кто-нибудь, даже самый невѣрующій, осмѣлился-бы ей сказать, что, быть можетъ, Литки ужъ больше нѣтъ и что жизнь въ трудѣ, въ милосердіи, въ самопожертвованіи и смерти во Христѣ никогда, быть можетъ, не приведетъ ее къ Литкѣ? Выдумай для нея другое утѣшеніе, но что ты выдумаешь? Дай ей другую надежду, успокой ее чѣмъ-нибудь, но чѣмъ ты ее успокоишь? Впрочемъ, ты вѣдь увидишься съ ней, скажи-же, положа руку на сердце: хватитъ-ли у тебя смѣлости отговаривать ее отъ этого?

— Нѣтъ,— лаконически отвѣтилъ Поланецкій.

Но чрезъ минуту онъ прибавилъ:

— Со всѣхъ сторонъ однѣ только непріятности и больше ничего!..

— Развѣ вотъ что ей можно посовѣтовать,— продолжалъ Васковскій,—вмѣсто того, чтобы идти къ сестрамъ милосердія, гдѣ работа не по ея силамъ, пусть она лучше поступитъ въ какое-нибудь религіозное общество божественно-созерцательнаго характера. Есть такія ученія, по которымъ бѣдный человѣческій атомъ такъ весь уходитъ въ Бога, что перестаетъ жить индивидуальной жизнью и, слѣдовательно, перестаетъ и страдать...

Поланецкій махнулъ рукой.

— Я въ такихъ дѣлахъ ничего не понимаю — сказалъ онъ рѣзко — и не занимаюсь ими.

— У меня какъ разъ тутъ гдѣ-то имѣется итальянская брошюра о Назаретянкахъ,—сказалъ Васковскій, растегивая сюртукъ.— Не знаю, куда она дѣлась... Я, выходя, куда-то ее сунулъ...

— Какое мнѣ дѣло до вашихъ Назаретянокъ?..

Но Васковскій растегнулъ уже сюртукъ, потомъ растегнулъ и жилетъ, шаря по карманамъ и ища книжки; но тутъ же снова задумался и сказалъ:

— Чего-то я искалъ? А, знаю! этой итальянской книжки. Чрезъ нѣсколько дней уѣзжаю въ Римъ — на долго, на очень долго. Помнишь, я тебѣ когда-то говорилъ, что Римъ—это преддверіе къ дру-

гому, лучшему міру. Мнѣ пора уже подъ Божью сѣнь.—Слѣдовало-бы уговорить Эмильку, чтобы она поѣхала въ Римъ, но она не оставитъ ребенка. Она останется тутъ сестрой милосердія. Но, можетъ быть, ей бы понравилось это новое ученіе Назаретянокъ... Оно такое ясное, спокойное, безъискусственное, какъ первое христіанство... А я скоро уѣзжаю... Не умомъ, мой милый, стремлюсь я туда, — тамъ лучше знаютъ, чего слѣдуетъ держаться, — а сердцемъ, хоть махонькимъ, но любящимъ...

— Застегните же, профессоръ, вашъ жилетъ,—сказалъ Поланецкій.

— Хорошо, застегну. У меня, видишь-ли, что-то есть на душѣ, и я тебѣ охотно это скажу, потому что ты хотя быстрый, какъ вода, но у тебя есть сердце... Видишь-ли, христіанство не только не дошло еще до конца, какъ это кажется нѣкоторымъ узколобымъ философамъ, но, наоборотъ, оно еще не сдѣлало и полъ-пути...

— Дорогой мой профессоръ,—мягко прервалъ его Поланецкій— я съ удовольствіемъ выслушаю все то, что вы хотите мнѣ сказать, только не теперь, потому что теперь я думаю только о пани Эмиліи, и мнѣ просто давитъ въ горлѣ... Вѣдь это цѣлая катастрофа...

— Для нея — нисколько. Жизнь ей не пригодится,— а смерть навѣрное.

Поланецкій развелъ руками.

— Право, не только сколько-нибудь сильное чувство, но даже самая обыкновенная дружба всегда кончается огорченіемъ и непріятностью... Еще ни одна привязанность не принесла мнѣ до сихъ поръ ничего другого, кромѣ горя... Букацкій совершенно правъ... Отъ общихъ привязанностей одно только горе, отъ личныхъ привязанностей тоже одно только горе—и живи тутъ среди такого общества...

Тутъ разговоръ перешелъ въ длинный монологъ профессора Васковскаго, начавшаго разсуждать съ самимъ собою о Римѣ и о христіанствѣ. Послѣ обѣда они вмѣстѣ вышли на улицу, полную веселаго звона колокольчиковъ отъ саней и оживленнаго зимняго движенія, такъ какъ утромъ выпалъ снѣгъ, а къ вечеру разъяснилось, и стало тихо и морозно.

— Застегните-же, наконецъ, профессоръ, свой жилетъ,— вдругъ проговорилъ Поланецкій, замѣтивъ растегнутое платье Васковскаго.

— Хорошо, застегну,— отвѣтилъ Васковскій.

И онъ сталъ тянуть пуговицы сюртука къ петлямъ своего жилета.

— Люблю, однако, этого Васковскаго,— подумалъ Поланецкій, возвращаясь домой. — Право, хорошо еще, что я къ нему не особенно сильно привязался, иначе навѣрное съ нимъ бы случилось какое-нибудь несчастіе,—ужъ такова моя судьба. Къ счастью, онъ до сихъ поръ очень мало меня интересуетъ.

И разсуждая такимъ образомъ, Поланецкій приписывалъ себѣ то, чего не было на самомъ дѣлѣ, такъ какъ онъ питалъ къ профессору Васковскому искреннюю дружбу и къ судьбѣ его относился далеко не безразлично.

Когда онъ вернулся домой, первое, бросившееся ему въ глаза, было улыбающееся личико Литки, глядѣвшее на него изъ рамы большого портрета, присланнаго ему Мариней во время его отсутствія. Видъ портрета глубоко тронулъ Поланецкаго. Впрочемъ, онъ часто испытывалъ подобное волненіе при каждомъ воспоминаніи о Литкѣ, или когда глаза его случайно останавливались на одномъ изъ ея портретовъ. Ему казалось тогда, что любовь его къ этой бѣдной дѣвочкѣ, скрытая гдѣ-то въ глубинѣ его сердца, вдругъ пробуждалась и вставала съ новой силой, наполняя все его существо безконечной нѣжностью и безпредѣльнымъ сожалѣніемъ. Испытываемое же имъ чувство сожалѣнія причиняло ему такую мучительную боль, что онъ старался не сосредоточивать на немъ своего вниманія. Но теперь, однако, онъ въ этомъ чувствѣ сожалѣнія находилъ что-то сладкое, пріятное. Между тѣмъ, Литка не переставала ему улыбаться при свѣтѣ лампы, словно она хотѣла сказать ему: „Панъ Стахъ!“ — Кругомъ ея головки зеленѣли на бѣломъ фонѣ четыре березы, нарисованныя Мариней.

Поланецкій остановился и подумалъ:

— Теперь я знаю, въ чемъ заключается настоящее счастье — въ дѣтяхъ.

Но чрезъ минуту онъ сказалъ себѣ:

— Едва-ли я когда-нибудь полюблю своихъ собственныхъ дѣтей такъ, какъ я любилъ эту бѣдную дѣвочку.

Вошелъ лакей и передалъ ему письмо отъ Марини, присланное вмѣстѣ съ портретомъ. Мариня писала:

„Папаша поручилъ мнѣ просить васъ пожаловать къ намъ сегодня вечеромъ. Эмилька сегодня уже переѣхала къ себѣ и выразила желаніе, чтобы никто сегодня къ ней не приходилъ. Посылаю вамъ портретъ Литки и прошу васъ непремѣнно придти,—хочу поговорить съ вами объ Эмилькѣ. Папаша пригласилъ также Бигеля; они навѣрное засядутъ за карты и намъ удастся спокойно поговорить“.

Поланецкій, прочитавъ письмо, переодѣлся, взялъ книгу и сталъ читать; черезъ нѣкоторое время онъ отправился къ Плавицкимъ.

Бигель былъ уже тамъ и игралъ съ паномъ Плавицкимъ въ пикетъ; Мариня, съ работой въ рукахъ, сидѣла недалеко за круглымъ столикомъ. Поланецкій, поздоровавшись со всѣми, присѣлъ къ ней и проговорилъ:

— Благодарю васъ за портретъ. Я замѣтилъ его совершенно

неожиданно, и Литка такъ стала предъ моими глазами, что я долго не могъ придти въ себя. Знаете, такія минуты служатъ какъ бы мѣриломъ глубины сожалѣнія, въ которомъ человѣкъ не отдаетъ даже себѣ отчета. Искренно вамъ благодаренъ!—И за четыре березы благодарю васъ... Что касается пани Эмиліи, то я ужъ все знаю, мнѣ говорилъ Васковскій. Намѣреніе-ли это у нея пока, или она ужъ твердо рѣшилась?

— Скорѣе, это ужъ рѣшено, — отвѣтила Мариня.

— Что вы объ этомъ думаете?

Мариня устрѣмила на него свои глаза, какъ бы ожидая отъ него совѣта.

— Она такъ слаба, у нея силъ не хватитъ — сказала она, наконецъ.

Поланецкій съ минуту молчалъ, потомъ онъ безпомощно развелъ руками.

— Мы говорили объ этомъ съ Васковскимъ—началъ онъ,—сначала я накинулся на него, предполагая, что онъ внушилъ ей эту мысль, но онъ клялся, что онъ тутъ не причемъ. Онъ только спросилъ меня, какое мы выдумаемъ для нея другое утѣшеніе — и я не зналъ, что ему на это сказать. Въ самомъ дѣлѣ, что осталось ей въ жизни?

— Да... — отвѣтила Мариня.

— И вы думаете, что я не знаю, откуда явилось у нея такое рѣшеніе? Очень просто, она не хочетъ пойти противъ своихъ религіозныхъ убѣжденій, но ей хочется скорѣе умереть. Она знаетъ, что эта работа выше ея силъ и поэтому она за нее берется.

— Да... — повторила Мариня.

И она такъ низко нагнула голову надъ своей работой, что Поланецкій видѣлъ одинъ только проборъ ея темныхъ волосъ на маленькой головкѣ. На столѣ стоялъ предъ ней небольшой ящичекъ съ бисернымъ жемчугомъ для работы, предназначенный для какой-то благотворительной лотереи—и теперь въ эту коробку съ жемчугомъ упали нѣсколько слезинокъ, которыя текли изъ ея глазъ.

— Вы плачете? Я отлично вижу — сказалъ Поланецкій.

И она подняла свои заплаканные глаза и посмотрѣла на него такъ, словно она хотѣла сказать ему: „Предъ тобой я не стану скрывать своихъ слезъ“ — и тихо отвѣтила:

— Знаю, что Эмилька поступаетъ хорошо—но мнѣ такъ жаль!..

Поланецкій, немного взволнованный, немного смущенный, не зная, что ей отвѣтить, нагнулся и въ первый разъ поцѣловалъ ея руку.— И еще чаще посыпались слезы, такъ что она должна была наконецъ встать и выйти въ другую комнату. .

Поланецкій подошелъ къ играющимъ въ ту минуту, когда панъ Плавицкій говорилъ своему партнеру кисло-сладкимъ тономъ:

— Рубиконъ за Рубикономъ. Что-жъ дѣлать? Вы представитель новаго времени, я—старыхъ традицій, а потому я и долженъ поддаться.

Вошла Мариня и объявила, что чай готовъ. Глаза у нея были немного красны, но лицо спокойно и ясно. Когда Бигель съ паномъ Плавицкимъ снова засѣли за карты, она сѣла за работу и начала бесѣдовать съ Поланецкимъ такимъ тихимъ, искреннимъ тономъ, какимъ обыкновенно бесѣдуютъ люди близкіе, у которыхъ въ жизни много общаго. И дѣйствительно, смерть Литки и несчастіе пани Эмиліи создало между ними что-то общее, о чемъ они теперь и бесѣдовали; разговоръ былъ не веселый, но, не смотря на это, если не уста, то глаза Марини улыбались Поланецкому какъ-то и грустно, и вмѣстѣ съ тѣмъ спокойно.

Поздно вечеромъ, когда Поланецкій ушелъ, Мариня долго думала о немъ, мысленно называя его не иначе, какъ только „паномъ Стахомъ“.

Поланецкій вернулся домой въ болѣе, чѣмъ обыкновенно, спокойномъ настроеніи. Онъ долго ходилъ по комнатѣ, часто останавливаясь предъ портретомъ любимой дѣвочки, засматриваясь вмѣстѣ съ тѣмъ на четыре березки, нарисованныя Мариней, и думалъ, что узелъ, завязанный Литкой между нимъ и Мариней, затягивается все крѣпче и крѣпче, безъ всякой посторонней воли, а какъ-то самъ собою, словно какой-то невидимой, таинственной силой.

И думалъ онъ также, что если нѣтъ у него теперь той прежней охоты— крѣпче затянуть этотъ узелъ, то также нѣтъ у него теперь и столько храбрости, чтобы сразу его разсѣчь, особенно такъ скоро послѣ смерти Литки.

Поздно ночью онъ засѣлъ за работу, пересматривая присланныя Машко вѣдомости и дѣлая разныя разсчеты и выкладки. Но Поланецкій, всегда такой точный въ работѣ, сталъ теперь часто ошибаться, потому что предъ его глазами рисовалась наклоненная головка Марини и ея тихія слезы, падавшія прямо въ ящикъ съ бисернымъ жемчугомъ. На другой день онъ откупилъ отъ Машко Кремневскій лѣсъ на очень выгодныхъ условіяхъ.

III.

Чрезъ двѣ недѣли Машко вернулся изъ Петербурга, вполнѣ довольный ходомъ своихъ личныхъ дѣлъ, и привезъ важныя извѣстія, которыя онъ узналъ,— какъ утверждалъ,— совершенно частнымъ образомъ изъ вѣрныхъ источниковъ, но о которыхъ еще никто ничего

не зналъ. Извѣстія эти заключались въ томъ, что въ прошломъ году во многихъ губерніяхъ урожай былъ плохой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ показался уже голодъ, и не трудно было предвидѣть, что къ веснѣ запасы истощатся и голодъ можетъ посѣтить всю страну. Стали поговаривать, что, вѣроятно, послѣдуетъ запрещеніе о вывозѣ хлѣба заграницу. Вотъ эти-то слухи привезъ Машко, утверждая при этомъ, что къ нему они дошли отъ людей очень компетентныхъ и близко стоящихъ къ дѣлу. Поланецкаго это извѣстіе до того поразило, что онъ нѣсколько дней не выходилъ изъ своего кабинета, все что-то высчитывая съ карандашомъ въ рукѣ; потомъ онъ обратился къ Бигелю съ предложеніемъ закупить какъ можно больше хлѣба, пользуясь при этомъ и наличнымъ капиталомъ, и всѣмъ кредитомъ ихъ торговаго дома.

Бигель испугался,— но этимъ начиналъ онъ каждое новое дѣло. Поланецкій нисколько не скрывалъ отъ него, что эта затѣя слишкомъ смѣлая, отъ успѣха или неуспѣха которой зависѣла вся ихъ будущность. Разсчитывать на полную неудачу было мало основаній, за то удача могла бы ихъ сразу обогатить. Не трудно было предвидѣть, что, вслѣдствіе отсутствія хлѣба, цѣны на послѣдній во всякомъ случаѣ значительно подымутся, — а также легко было предвидѣть, что законъ ограничитъ навѣрное возможность заключенія контрактовъ съ потребителями другихъ странъ на дальнѣйшее время, но оставитъ въ силѣ всѣ контракты, заключенные до объявленія новаго закона; если-же до этого не дойдетъ, то, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ сомнѣнію, что хлѣбъ значительно вздорожаетъ и внутри имперіи. Все это Поланецкій, по мѣрѣ своихъ человѣческихъ силъ, отлично сообразилъ, обдумалъ и разсчиталъ — и Бигель, не смотря на всю свою осторожность, будучи человѣкомъ разсудительнымъ, долженъ былъ признать, что шансы на успѣхъ довольно значительны и что жаль было-бы упустить такой случай.

Посовѣтовавшись еще нѣсколько разъ съ Бигелемъ, оппозиція котораго ослабѣвала съ каждымъ днемъ, Поланецкому удалось поставить на своемъ—и чрезъ нѣсколько дней главный комиссіонеръ ихъ торговаго дома, Абдульскій, выѣхалъ для заключенія контрактовъ по покупкѣ хлѣба какъ прошлаго, такъ и будущаго урожая.

Вслѣдъ за Абдульскимъ, Бигель уѣхалъ въ Пруссію. Поланецкій остался одинъ во главѣ дома и работалъ съ утра до поздняго вечера, такъ что онъ почти никуда не показывался.

Но онъ не замѣчалъ, какъ проходило время, потому что, кромѣ текущей работы, его оживляла надежда на будущій успѣхъ и предъ нимъ рисовалось новое, болѣе широкое поле дѣятельности. Поланецкій, бросаясь на эту спекуляцію и втягивая въ нее Бигеля, употребилъ

на предпріятіе не мало энергіи, потому что, прежде всего, онъ считалъ его дѣломъ выгоднымъ и прибыльнымъ. Но имъ руководила и другая мысль. Весь этотъ торговый домъ, со всѣми своими операціями, было слишкомъ тѣсное поле для его профессіональнаго образованія, для его способностей и энергіи—и Поланецкій это отлично чувствовалъ. Въ чемъ собственно заключалась вся дѣятельность торговаго дома? Дешево купить, дорого продать, а разницу спрятать въ кассу—вотъ и все. Купить что-нибудь на свой собственный счетъ или взять на комиссію —и ничего больше!—Поланецкому тѣсно было въ этой клѣткѣ. „Я-бы хотѣлъ такого дѣла, гдѣ-бы можно было копать, рыть, производить — говорилъ онъ Бигелю въ минуты разочарованія и нерасположенія,— потому что мы, собственно говоря, хлопочемъ только о томъ, чтобы отъ денежнаго потока, который шумно несется среди нашего предпріимчиваго общества, провести въ наши карманы хотя-бы одну какую-нибудь струйку—и не обнаруживаемъ ровно никакой продуктивности!“... Это было отчасти правда. Поланецкому хотѣлось нажить состояніе, составить капиталъ, а потомъ взяться за какое-нибудь другое дѣло, требующее ума и энергіи и дающее поле для труда и творчества.

Моментъ, какъ ему казалось, былъ удобный — и онъ взялся за дѣло со свойственной ему горячностью.

— Обо всемъ другомъ подумаю уже потомъ,—говорилъ онъ себѣ.

Подъ словомъ „все другое“ онъ подразумѣвалъ свой міръ духовный, свои дѣла сердечныя, то есть свои отношенія къ религіи, къ людямъ, къ землѣ, къ женщинамъ. Онъ отлично понималъ, что для спокойствія жизни необходимо всѣ эти отношенія выяснить и стать на твердую почву. Есть люди, которые всю жизнь свою не знаютъ, чего они держатся и чего нѣтъ, — они идутъ туда, куда дуетъ вѣтеръ. Поланецкій чувствовалъ, что такъ не должно быть. Онъ сознавалъ, что, при теперешнемъ его настроеніи, вопросы эти могутъ быть разрѣшены очень трезво, сухо, очень позитивно, даже матеріалистично, но ему казалось невозможнымъ дольше откладывать,—ихъ надо было рѣшить теперь-же.

— Я хочу знать разъ навсегда, чтó я долженъ дѣлать и что нѣтъ — сказалъ онъ себѣ.

Поланецкій, между тѣмъ, много работалъ и мало кого встрѣчалъ. Но удалиться совершенно отъ людей оказалось невозможнымъ. Онъ теперь только убѣдился, что очень часто, даже совершенно личные вопросы не могутъ быть разрѣшены только внутренно, только въ своемъ собственномъ мозгу или сердцѣ, запертомъ подъ семью замками, но чаще всего какія-нибудь внѣшнія вліянія, какіе-нибудь люди далекіе или близкіе ускоряютъ конецъ долгихъ размышленій и выте-

кающія изъ нихъ рѣшенія. Это какъ разъ случилось при прощаніи съ пани Эмиліей, которая теперь каждый день съ какой-то горячностью все сокращала срокъ своего вступленія въ сестры милосердія.

Поланецкій, при всей этой массѣ работы, не переставалъ, однако, заходить къ пани Эмиліи, но нѣсколько разъ онъ не заставалъ ее дома, разъ же онъ нашелъ тамъ Бигелеву и Краславскихъ, мать съ дочерью, присутствіе которыхъ сильно его стѣсняло. Наконецъ, когда Мариня сообщила ему, что пани Эмилія чрезъ нѣсколько дней поступаетъ уже въ домъ сестеръ милосердія, онъ отправился къ ней, чтобы попрощаться.

Онъ засталъ ее спокойной, почти веселой, но сердце у него мучительно сжалось при видѣ ея. Лицо ея было прозрачно, словно вылѣплено изъ перловой массы; на вискахъ подъ кожей выступали какія-то синеватыя жилки. Она была очень красива, но какой-то неземной красотой, и Поланецкій подумалъ: „Да, попрощаюсь съ ней теперь ужъ навсегда, потому что, кажется, и мѣсяца не протянетъ: еще одна привязанность и снова одно только горе и печаль!“

Она заговорила съ нимъ о своемъ рѣшеніи, какъ о вещи самой обыкновенной, какъ о чемъ-то вполнѣ естественномъ и понятномъ, являющемся прямымъ послѣдствіемъ того, что произошло, и единственнымъ возможнымъ исходомъ въ жизни, лишенной всякаго смысла и основанія. Поланецкій понялъ, что было-бы безсмысленно и вмѣстѣ съ тѣмъ недобросовѣстно съ его стороны высказываться противъ этого рѣшенія.

— Вы остаетесь здѣсь? Въ Варшавѣ? — спросилъ онъ.

— Да. Мнѣ хотѣлось-бы быть недалеко отъ Литки — и настоятельница обѣщала мнѣ, что сначала я побуду въ домѣ сестеръ милосердія, а потомъ, когда я научусь чему-нибудь, то останусь при одной изъ здѣшнихъ больницъ. Развѣ, если случится что-либо непредвидѣнное... До тѣхъ поръ, пока я останусь въ домѣ, каждое воскресенье буду бывать у Литки.

Поланецкій закусилъ губы и молчалъ; онъ только смотрѣлъ на нѣжныя, словно восковыя руки пани Эмиліи, думая въ это время:

— И этими руками она хочетъ перевязывать больнымъ раны...

Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ догадывался, что она хочетъ чего-то совершенно другаго. Подъ ея спокойствіемъ и покорностью онъ чувствовалъ неизмѣримую боль, сильную, какъ смерть и всѣми силами души и сердца взывающую о смерти. Ей только хотѣлось, чтобы эта смерть пришла безъ ея участія, чтобы она пришла не какъ грѣхъ, а какъ искупленіе, наградой за которое была-бы встрѣча съ Литкой...

И теперь только Поланецкій понялъ, какая великая разница существуетъ между горемъ и горемъ, между скорбью и скорбью. И онъ лю-

билъ Литку, но въ немъ, рядомъ со скорбью по ней и воспоминаніемъ о ней, жило еще что-то, былъ еще какой-то жизненный интересъ, какое-то любопытство, что принесетъ будущее, какія-то желанія, мысли, стремленія. Пани же Эмиліи ничего не осталось, точно она умерла вмѣстѣ съ Литкой, и если ее еще что-то интересовало, если она еще любила тѣхъ, которые были ей близки, то только для Литки, и лишь настолько, насколько они были связаны съ ней.

Тяжелы были для Поланецкаго эти визиты, тяжело было и это прощаніе. Онъ привязался къ пани Эмиліи искренно, глубоко, а теперь онъ предчувствовалъ, что соединяющая ихъ нить вотъ-вотъ порвется разъ навсегда — и что въ эту минуту дороги ихъ расходятся въ разныя стороны, потому что онъ стремится впередъ, все далѣе по дорогѣ жизни, она же стремится къ тому, чтобы жизнь ея догорѣла какъ можно скорѣе, выбирая трудъ — правда высокоидеальный,— но за то тяжелый, превышающій ея слабыя силы, съ тѣмъ лишь, чтобы ускорить смерть.

Мысль эта заставила его молчать. Но, однако, въ послѣднюю минуту чувство дружбы, какое онъ издавна питалъ къ ней, взяло верхъ и онъ заговорилъ съ волненіемъ, цѣлуя ей руку:

— Милая вы, добрая! Да хранитъ васъ Богъ и да ниспошлетъ Онъ вамъ утѣшеніе!..

Тутъ онъ сразу остановился, не будучи въ состояніи окончить начатой фразы; но она, не выпуская его руки изъ своей, сказала:

— Я никогда, до самой смерти, не забуду того, что вы такъ любили Литку. Я узнала отъ Марини, что Литка соединила васъ, и я увѣрена, что вы будете счастливы, потому что Господь Богъ такъ вдохновилъ ее. При каждой встрѣчѣ съ вами, я всегда буду думать, что Литка виновница вашего счастья. Пусть же воля ея исполнится какъ можно скорѣе и да благословитъ Богъ васъ обоихъ...

Поланецкій ничего не отвѣтилъ, но, возвращаясь домой, онъ думалъ:

„Воля Литки!.. Она даже не допускаетъ мысли, что воля Литки можетъ быть не выполнена,—и какъ-же мнѣ было послѣ этого сказать ей, что „та“ стала для меня теперь далеко не тѣмъ, чѣмъ она была прежде“...

Но онъ, однако, чувствовалъ съ поразительной ясностью, что дальше такъ оставаться не можетъ и что слѣдуетъ или еще крѣпче затянуть связывающій его съ Мариной узелъ, или распутать его, чтобы разъ навсегда положить конецъ этому двусмысленному положенію, этимъ недоразумѣніямъ со всѣми могущими произойти послѣдствіями; онъ чувствовалъ, что необходимо торопиться и продѣлать это какъ можно скорѣе, чтобы поступить вполнѣ благородно. И новая тревога

охватила его, потому что ему казалось, что какъ-бы онъ теперь ни поступилъ — счастья все-таки въ этомъ будетъ мало...

Вернувшись домой, онъ нашелъ записку отъ Машко слѣдующаго содержанія:

„Былъ у тебя сегодня два раза. Какой-то сумасшедшій оскорбилъ меня въ присутствіи моихъ писцовъ, изъ-за лѣсной дачи, которую я тебѣ продалъ. Фамилія его Гонтовскій. Мнѣ нужно съ тобою поговорить и я зайду къ тебѣ сегодня вечеромъ“.

Не прошло и часу какъ вбѣжалъ Машко весь запыхавшись и, не снимая пальто, спросилъ:

— Ты знаешь этого Гонтовскаго?

— Знаю. Это сосѣдъ и родственникъ Плавицкихъ. — Что случилось?

Машко снялъ пальто и отвѣтилъ:

— Не понимаю даже, кто могъ распространить слухъ объ этой продажѣ, — я лично никому не говорилъ и для меня было даже очень важно, чтобы объ этомъ какъ можно меньше болтали.

— Нашъ представитель Абдульскій поѣхалъ тогда въ Кремень осматривать лѣсъ и, вѣроятно, Гонтовскій все узналъ отъ него.

— Послушай-же, что случилось. Сегодня въ канцеляріи подаютъ мнѣ карточку Гонтовскаго. Не зная, кто онъ такой, — я велю его просить. Входитъ какой-то прощалыга и прямо обращается ко мнѣ съ вопросомъ: правда-ли то, что я продалъ Кремневскій лѣсъ? Разумѣется, я отвѣтилъ на его вопросъ также вопросомъ: молъ, какое ему до этого дѣло? Онъ говоритъ, что я обязался выплачивать старику Плавицкому пожизненную ренту, но разъ я веду хозяйство разбойничьимъ образомъ, я разорю Кремень, и съ меня тогда будутъ взятки гладки. Понятно, что я ему въ отвѣтъ на это посовѣтовалъ взять шляпу, хорошо застегнуть пальто, такъ какъ стоялъ порядочный морозъ, и отправиться туда, откуда пришелъ. — Тогда онъ началъ шумѣть, ругаться, обозвалъ меня въ присутствіи моихъ служащихъ плутомъ, мошенникомъ, сказалъ наконецъ, что живетъ въ Саксонской гостиницѣ, хлопнулъ дверьми и вышелъ. — Нѣтъ-ли у тебя ключа отъ этой загадки? Что все это значитъ?

— Это значитъ, во первыхъ, что Гонтовскій глупъ и по натурѣ своей грубъ: во вторыхъ, Гонтовскій ужъ много лѣтъ влюбленъ въ панну Маринью и ему хотѣлось стать ея рыцаремъ.

— Ты вѣдь знаешь, что я обладаю достаточной долей хладнокровія, но, право, мнѣ кажется все, что это былъ сонъ. Чтобы кто-нибудь осмѣлился оскорбить меня за то, что я продаю свою-же собственность — это просто невѣроятно!..

— Что ты намѣренъ сдѣлать? Гонтовскому старикъ Плавицкій

ужъ помнетъ бока и заставитъ его просить у тебя прощенія, безъ всякихъ разговоровъ.

Но лицо Машко вдругъ приняло выраженіе такой холодной злости, что Поланецкій невольно подумалъ:

— Заварилъ-же этотъ „медвѣженокъ“ кашу, пусть теперь и расхлебываетъ.

— Меня безнаказанно еще никто никогда въ жизни не оскорблялъ и не оскорбитъ,—сказалъ Машко,—а этотъ человѣкъ не только что оскорбилъ меня, но нанесъ мнѣ такую обиду, о которой онъ даже и не подозрѣваетъ.

— Да это какой-то дуракъ, просто невмѣняемый.

— И бѣшеная собака невмѣняема, а все-таки ее застрѣливаютъ. Какъ видишь, я говорю совершенно хладнокровно, а потому послушай, что я тебѣ скажу: разразилась катастрофа — и я погибъ!

— Ты говоришь хладнокровно, а между тѣмъ ты чуть-ли не задыхаешься отъ злобы и, навѣрное, преувеличиваешь.

— Нисколько! Вооружись терпѣніемъ и выслушай меня до конца. Положеніе вотъ какое: если моя женитьба не состоится, или если она даже затянется еще на нѣсколько мѣсяцевъ, тогда чортъ возьметъ и меня, и мое положеніе, и мой кредитъ, и мой Кремень, и все, что я имѣю. Я говорилъ ужъ тебѣ, что я мчусь теперь на послѣднихъ парахъ — значитъ стопъ машина! Панна Краславская выходитъ за меня не по любви, а лишь потому, что ей теперь двадцать девять лѣтъ и что она считаетъ эту партію, если не блестящей, то, во всякомъ случаѣ, очень приличной. Если-же окажется, что партія не такая, какая она думаетъ, тогда она отошлетъ меня, долго не думая. Узнай сегодня моя теща и невѣста, что я продалъ Кремневскій лѣсъ изъ нужды — завтра-же получу отказъ. Теперь подумай: скандалъ былъ публичный, потому что при этомъ присутствовала вся канцелярія. Скрыть дѣло невозможно. Допустимъ, мнѣ удастся какъ-нибудь объяснить имъ продажу этого лѣса, — но я, кромѣ того, публично обезчещенъ. Если я не вызову Гонтовскаго, тогда онѣ откажутъ мнѣ, какъ шушерѣ, лишенному чести; если вызову его, то не забудь, что это святоши и притомъ онѣ такъ щепетильны ко всему, что называется приличіемъ, какъ никто на свѣтѣ, слѣдовательно, онѣ откажутъ мнѣ, какъ скандалисту. Если я подстрѣлю Гонтовскаго, онѣ откажутъ мнѣ, какъ убійцѣ; если онъ меня подстрѣлитъ, тогда откажутъ мнѣ, какъ разрыхляю, котораго можно обезчестить, а потомъ изрубить, какъ капусту. Изъ ста данныхъ девяносто за то, что онѣ поступятъ такъ, а не иначе.—Понимаешь ужъ теперь, почему сразу все пошло прахомъ: и кредитъ, и положеніе и Кремень въ придачу.

Поланецкій махнулъ рукой съ тѣмъ безсмысленнымъ эгоизмомъ,

на какой способенъ только мужчина по отношенію къ другому мужчинѣ, который въ сущности очень мало его интересуетъ:

— Что-жъ—произнесъ онъ.—Кремень я могу у тебя откупить. Положеніе, однако, незавидное. Что ты намѣренъ сдѣлать съ Гонтовскимъ?

На это Машко спокойно отвѣтилъ:

— Пока плачу долги. Ты не хотѣлъ быть моимъ шаферомъ, не захочешь-ли теперь быть моимъ секундантомъ?

— Отъ такихъ вещей не отказываются, — отвѣтилъ Поланецкій.

— Спасибо. Гонтовскій живетъ въ Саксонской гостиницѣ.

— Завтра у него буду.

Поланецкій, по выходѣ Машко, собрался къ Плавицкимъ, чтобы провести тамъ вечеръ; по дорогѣ къ нимъ онъ думалъ:

— Съ Машко шутить нельзя — и дѣло будетъ серьезное. Впрочемъ, какое мнѣ до этого дѣло? Что они мнѣ и что я имъ? Удивительно только, какъ человѣкъ чертовски одинокъ на свѣтѣ!..

И вдругъ онъ почувствовалъ, что единственное существо въ мірѣ, которое интересуется имъ хоть сколько-нибудь и которое думаетъ о немъ не какъ о вещи, — есть Мариня.

И дѣйствительно, когда онъ пришелъ, онъ ужъ по пожатію руки убѣдился, что это такъ; она-же, не выпуская руки, сказала ему своимъ мягкимъ, спокойнымъ голосомъ:

— Я предчувствовала, что вы придете. Смотрите: васъ даже ждетъ чашка чаю.

(*Продолженіе слѣдуетъ*).

NOCTURNE.

Вечерняя заря погасла за горой,
Въ прозрачномъ сумракѣ покоится земля.
Одинъ я. Міръ уснулъ. Объяты тишиной
Необозримыя пустынныя поля.
Замолкъ и потемнѣлъ недавно шумный лѣсъ;
Какъ лучезарный храмъ, сіяетъ глубь небесъ...
Природы мощный духъ! ты рѣешь надо мной,
Я чувствую Тебя въ молчаніи ночномъ.
Мой умиленный духъ бесѣдуетъ съ Тобой
Невѣдомымъ, но сладкимъ языкомъ.
Всѣ треволненья дня и скорби — далеко,
И сердцу моему отрадно и легко!

Г. Работниковъ.

ЗАРНИЦЫ.

(Разсказъ).

(Продолженіе).

Наскоро осмотрѣвъ Женеву и ея достопримѣчательности: соборъ со стуломъ Кальвина, островокъ Жанъ-Жака и пр. мы сѣли на пароходъ, который долженъ былъ доставить насъ въ Монтрё, къ Марьянѣ. Утро было ясное и солнечное; горы задумчиво смотрѣлись въ сине-зеленое озеро, и Монъ-бланъ бѣлѣлъ на солнцѣ, какъ чистый голубокъ. Я волновалась и, глядя въ волны, разрѣзаемыя пароходомъ, говорила себѣ: „Чего я волнуюсь?.. Что мнѣ Марьяна? Что мнѣ они?.. Посторонніе, чужіе люди. Вѣдь онъ и не вспомнилъ обо мнѣ. Не пріѣхалъ и даже не написалъ, почему не пріѣхалъ... Нечего волноваться и совершенно незачѣмъ и думать о нихъ“. Но тѣмъ не менѣе, я волновалась, сильно волновалась; мнѣ казалось даже, что оттого и утро такое свѣтлое и веселое, оттого и пароходъ несется такъ быстро и торопливо, что я лечу къ его Марьянѣ, лечу куда-то, гдѣ „все свѣтло, гдѣ все поетъ...“ У меня даже мелькала затаенная мысль: „А вдругъ онъ теперь тамъ, у нея?.. Что, если мы встрѣтимся?..“

Прибывъ въ Монтрё, Алексѣй Александровичъ оставилъ меня одну въ отелѣ, а самъ пошелъ къ Салтыковымъ.

— Я скажу, что ты очень устала съ дороги и приведу Маню сюда обѣдать. А то, что за удовольствіе просидѣть цѣлый день съ незнакомыми людьми?

По уходѣ его, я сѣла на окно и стала слѣдить за парусными лодками, скользившими по озеру. Я смотрѣла на эту мирную поэтическую картину и думала: „Вотъ гдѣ тихо и хорошо“.

Раньше, чѣмъ я могла этого ожидать, кто-то постучалъ ко мнѣ. „Entrez!“ И на порогѣ показалась Марьяна.

Я сейчасъ-же узнала ее, хотя на карточкахъ она и была крупнѣе, грубѣе и старше. Марьяна поражала слабостью и хрупкостью своей тоненькой фигурки. Это была высокая худенькая дѣвочка съ

русыми волосами, вьющимися какъ у отца, съ его чертами и съ кроткими и глубокими черными глазами, какъ у матери. На ней было простенькое холстинковое платье съ кожанымъ поясомъ и грубая швейцарская соломенная шляпа; но и въ этомъ незатѣйливомъ костюмѣ она казалась хорошенькой и изящной.

Мы обнялись, поцѣловались и, усѣвшись одна противъ другой на подоконникѣ, принялись болтать, разсказывая другъ другу, какъ давно намъ хотѣлось познакомиться. „Онъ мнѣ столько о васъ говорилъ...“ „И мнѣ онъ такъ много разсказывалъ о васъ...“ Мы вспомнили, улыбаясь, о томъ, что у насъ одинакія голубыя кофточки: „Ваша цѣла?“

— А ваша?.. И что бы мы ни говорили, въ заключеніе слѣдовалъ неизмѣнный припѣвъ: „Да, да, я знаю... Онъ мнѣ говорилъ...“

Я спросила ее объ ея здоровьѣ. Она почти совсѣмъ поправилась и, въ сущности, могла-бы хоть сейчасъ вернуться въ Россію; но доктора совѣтуютъ прожить здѣсь еще одну зиму. И она покоряется этому, такъ какъ хочетъ вернуться домой совсѣмъ здоровой, а не какимъ-то слабымъ, негоднымъ существомъ. Она пріѣхала сюда тринадцати лѣтъ, а теперь ей шестнадцать, такъ что на родину она вернется совсѣмъ взрослой дѣвушкой. Скользнувъ по тому, по другому, разговоръ, конечно, сосредоточился на папà. Что онъ? Что онъ пишетъ? Часто-ли пишетъ?..

Онъ пишетъ ей два раза въ недѣлю, а она ему каждый день. Каждый вечеръ она подробно разсказываетъ ему впечатлѣнія дня, и это такъ вошло у нея въ привычку, что, когда онъ бываетъ здѣсь, она пишетъ дневникъ.

— А онъ часто пріѣзжаетъ сюда?

— Два раза въ годъ. Здѣсь сезонъ съ перваго сентября до перваго ноября. Обыкновенно онъ пріѣзжаетъ въ это время, и тогда они сейчасъ-же куда-нибудь уѣзжаютъ: въ Женеву, въ Люцернъ, въ Интерлакенъ, предпринимаютъ экскурсіи, ѣздятъ въ горы... И для нихъ обоихъ его пріѣзды такой праздникъ!

Я не устаю слушать о папà, и Марьяна разсказываетъ мнѣ о томъ, какъ онъ живетъ, когда встаетъ, когда ѣздитъ верхомъ, какія у него лошади, какія собаки, какая у него комната, какая была комната у мамà... Ея комната до сихъ поръ сохраняется совершенно въ такомъ видѣ, въ какомъ она была при ея жизни: книги, гравюры, неоконченныя работы—все лежитъ тамъ, гдѣ было положено ею; и все это заботливо сохраняется въ прежнемъ порядкѣ. Когда Марьяна вернется въ Россію, она займетъ эту комнату; и это радуетъ ее. Тамъ сохранился до сихъ поръ и ея дѣтскій столикъ, такъ какъ въ комнатѣ матери у нея былъ свой уголокъ. Ей было десять лѣтъ, когда умерла мать, и она отлично помнитъ ее. Что это была за душа! Ей

стоило показаться гдѣ-нибудь, поговорить съ кѣмъ-нибудь нѣсколько минутъ, чтобъ ее уже полюбили. Кроткая, ровная, граціозная, молчаливая и тихая... Марьяна не видѣла и не знала другой такой женщины... Она всегда обожала свою мать; но тогда она еще не понимала всѣхъ ея достоинствъ. Она думала, что всѣ люди такъ-же хороши, какъ ея мать, и что вездѣ и во всѣхъ семьяхъ царитъ та же дружба, то же согласіе, что въ ихъ семьѣ. Поэтому, когда послѣ смерти матери она попала къ своимъ харьковскимъ родственникамъ, ей было особенно тяжело! Вообще эти два года, что она провела въ Россіи, послѣ смерти матери, оставили ей ужасно тягостное воспоминаніе. Отецъ былъ тогда убитъ горемъ, и Марьянѣ казалось, что онъ вовсе не любитъ ея; сама она хворала и грустила, и плакала. Ей казалось, что вмѣстѣ съ матерью навсегда умерло все хорошее. И сама она сдѣлалась такой злой и раздражительной; все казалось ей возмутительно-сквернымъ! Ее раздражалъ и убитый видъ отца, и его апатія; и часто у нея въ душѣ поднималось даже злое чувство противъ отца, котораго она чуть не винила въ смерти матери. Теперь ей стыдно и больно сознаться въ этомъ, но тогда она причинила ему много горькихъ и непріятныхъ минутъ своими капризами и своимъ враждебнымъ отношеніемъ къ нему. И только когда онъ привезъ ее сюда, она почувствовала себя нѣсколько лучше; оба они здѣсь немножко успокоились, примирились, объяснились. Она лучше поняла и оцѣнила его и полюбила его гораздо больше, чѣмъ прежде. Теперь у нея одно желаніе: выздоровѣть, поправиться, сдѣлаться похожей на мать и жить для отца, скрасить своей любовью и заботами о немъ его одинокую жизнь. Марьяна такъ цѣнитъ его доброту и нѣжность къ ней, такъ любитъ его, что, кажется, нѣтъ жертвы, на которую она не была-бы для него готова! Ей очень хотѣлось-бы сдѣлаться такою, какъ была ея мать. Она постоянно читаетъ ея книги съ ея помѣтками, читаетъ ея дневникъ и старается узнать все, что она думала, что любила...

Шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ умерла жена Николая Федоровича, но для нихъ она жива. Въ кабинетѣ отца виситъ большой ея портретъ, съ котораго она глядитъ, какъ живая; но, еслибъ и не было этого портрета, все равно она жива въ ихъ домѣ, гдѣ все, все, что ей служило, все, что ее окружало носитъ на себѣ отпечатокъ ея изящнаго вкуса, ея привычекъ...

Я слушала Марьяну съ нѣжностью и съ сочувствіемъ! У нея былъ тихій, слабый голосъ и, говоря, она чуть-чуть заикалась. Выражалась она какъ-то не по-дѣтски и не по-русски, слишкомъ ясно и правильно, но это было мило. Парусныя лодочки продолжали скользить по озеру.

— Какъ здѣсь хорошо! сказала я невольно.

*

Да, здѣсь очень хорошо. И когда Марьяна въ первый разъ проснулась здѣсь, она почувствовала, что только здѣсь она можетъ поправиться, отдохнуть и зажить новой жизнью. За это она полюбила эти горы и это озеро.

— Такъ что вамъ жаль будетъ разстаться съ горами?..

О, нѣтъ! Во первыхъ, она будетъ такъ рада вернуться къ отцу. И потомъ, она вѣдь такъ любитъ Малороссію, и деревню, и ихъ усадьбу.

И она начинаетъ разсказывать мнѣ объ ихъ домѣ, объ ихъ садѣ, которые я уже хорошо знаю по его разсказамъ, и которые уже нѣсколько разъ видѣла во снѣ. Я слушаю ее и поглядывая на la Dent du Midi, стараюсь понять, какъ онъ живетъ, и отчего онъ къ намъ не пріѣхалъ?..

— А у васъ умиралъ кто-нибудь близкій? помолчавъ, спросила меня Марьяна.

— Нѣтъ.

— Это ужасное горе. Горько подумать, что не услышишь уже голоса, не увидишь улыбки дорогого существа... И потомъ, главное, горько то, что недостаточно цѣнила умершую, пока она была близко, пока она была жива... Теперь все думается: еслибъ можно вернуть!.. И нельзя! Это очень горько.

— Да, это надо всегда помнить. У Фрейлиграта есть такое хорошенькое стихотвореніе по этому поводу. Вы не знаете его!..

O lieb', so lang du lieben kannst, so lang du lieben magst.
Die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und plagst,
Und sorge dass dein Herze glüht, und Liebe hegt und Liebe trägt,
So lang ihm noch ein ander Herz in Liebe warm entgegen schlägt
Und wer dir seine Brust erschliest, o thu ihm was du kannst zu lieb,
Und mach' ihm jede Stunde froh, und mach' ihm keine Stunde trüb!
Und hüte deine Zunge wohl: bald ist ein hartes Wort entflohn.
O Gott — es war nicht bös gemeint —
Der Andre aber geht und weint".

Марьяна слушала со вниманіемъ и заставила повторить, потомъ сама повторила:

„O thu ihm was du kannst zu lieb!
Und mach' ihm jede Stunde froh, und mach' ihm keine Stunde trüb...

Да, это очень хорошо. И дѣйствительно, надо всегда это помнить.

Теперь прошло уже шесть лѣтъ со смерти матери, и насколько Марьяна можетъ судить, ей кажется, что и отецъ уже успокоился. Конечно, къ нему уже никогда не вернется его прежняя веселость и

жизнерадостность. Вы знаете, вѣдь онъ чудесно пѣлъ; но со смерти мамà, никто уже не слыхалъ его пѣнія...

Я хотѣла сказать: „Нѣтъ, онъ пѣлъ“. Но промолчала.

Мнѣ казалось, что этотъ трауръ, которымъ вѣяло отъ рѣчей и разсказовъ Марьяны, ложился тѣнью на мирную картину, бывшую у меня передъ глазами, и сообщалъ ей что-то печальное. Какъ въ домѣ ихъ комната матери сохранялась въ прежнемъ видѣ свято и неприкосновенно, такъ и въ душѣ дѣвочки все относящееся къ мамà сохранялось бережно и свято.

Ну, а если онъ и пѣлъ, и если-бъ даже веселился, что-жъ тутъ дурного?..

Мы болтали еще, когда кто-то постучалъ къ намъ.

„Алеша?“ Но оказался не Алеша, а горничная Салтыковыхъ, приглашающая насъ къ обѣду. Марьяна покраснѣла, засмѣялась и соскочила съ подоконника:

— Хороша я! Вѣдь меня прислали за вами; а я заболталась и совсѣмъ забыла.

Мы поспѣшили къ Салтыковымъ, гдѣ хозяйка встрѣтила меня очень привѣтливо, выражая сожалѣніе о томъ, что она не увидитъ Кати. Алексѣй Александровичъ повидимому чувствовалъ себя здѣсь прекрасно, курилъ и велъ оживленную бесѣду съ витіеватымъ хозяиномъ и съ молодымъ докторомъ-швейцарцемъ.

Поѣздка Марьяны къ Катѣ очень легко устраивалась. Алексѣй Александровичъ нашелъ ей попутчицу въ лицѣ толстой голландки mademoiselle Razoux, пожилой дѣвицы безъ опредѣленныхъ занятій, которая была очень рада проѣхаться на чужой счетъ въ Люцернъ, гдѣ у нея были хорошіе знакомые. Кромѣ голландки, въ гостиной сидѣла еще племянница хозяйки, русская студентка изъ Цюриха. Пошли въ столовую. Я сѣла между Марьяной и студенткой, которая разсказала мнѣ много интересныхъ подробностей о своемъ житьѣ-бытьѣ въ Цюрихѣ, о нравахъ и препровожденіи времени студентовъ-соотчичей, въ которыхъ числились преимущественно поляки и евреи.

M-lle Razoux оказалась вегетаріанкой. Я въ первый разъ слышала это слово и заинтересовалась имъ. Голландка была кругла, какъ бомба, и выглядѣла охотницей хорошо и много покушать. Она была словоохотлива и охотно пропагандировала вегетаріанство, въ которомъ видѣла спасеніе отъ всѣхъ болѣзней и средство къ продленію жизни. Ее сокрушала блѣдность и худоба Марьяны и, съ соболѣзнованіемъ поглядывая на нее, она говорила хозяйкѣ:

— Это все оттого, что вы пичкаете ее мясомъ, какъ какую-нибудь дикую кошку. Envoyez moi un peu cette maigreur et vous verrez ce que j'en ferai en moins de trois mois.

Докторъ, Салтыковъ и Алексѣй Александровичъ возстали противъ m-lle Razoux. Поднялся шумный споръ, кричали о клыкахъ, объ обезьянахъ и проч., а толстая голландка только пожимала плечами и, ударяя себя пальцемъ въ пышную грудь, восклицала:

— Посмотрите на меня, посмотрите на меня!..

Хозяйка была на ея сторонѣ:

— Однако,—говорила она слабымъ напряженнымъ голосомъ, силясь заставить услышать себя,—простой народъ вездѣ, кромѣ Англіи, питается почти исключительно растительной пищей, и это не отзывается дурно на его здоровьѣ. А наши православные монахи!.. посмотрите, какой это здоровый народъ... Наконецъ, сколько великихъ, сколько геніальныхъ людей высказалось за вегетаріанство...

— Ну, что касается геніальныхъ людей, — обиженно и рѣшительно возражаетъ Алексѣй Александровичъ,—то вѣдь это, въ большинствѣ, все люди плохого здоровья и съ плохимъ пищевареніемъ. Мы были-бы слишкомъ просты, если-бы, внявъ ихъ беднямъ, стали морить себя діэтой. Знаете поговорку: „русскому здорово, а нѣмцу смерть". Геніальный человѣкъ не варитъ, а мы варимъ. А если такъ, то сдѣлай одолженіе, будь себѣ геніаленъ, а ужъ ѣсть и пить насъ не учи. Это мы и сами умѣемъ. Помилуйте, вѣдь сколько между ними эпилептиковъ!..

— Ну, это не совсѣмъ вѣрно,—говоритъ Салтыковъ съ мягкой улыбкой.—Но есть и нѣкоторая доля правды въ томъ, что вы изволили сказать. Не безъ основанія и Платонъ, и Прудонъ...

— Посмотрите на меня, — кричитъ m-lle Razoux, ударяя себя пальцемъ въ грудь и не желая слышать ни о Платонѣ, ни о Прудонѣ.

Я тихонько спросила студентку:

— А вы что думаете?

— Разумѣется, ерунда. Я и дня не могу прожить безъ мяса. Да и къ чему? Неужели человѣчество не нуждается въ болѣе цѣлесообразныхъ реформахъ, чѣмъ уничтоженіе боенъ? Праздный вопросъ, съ которымъ могутъ носиться только праздные люди. Не ѣдятъ ни рыбы, ни мяса, потому что сами ни рыба, ни мясо.

— А вы вегетаріанка? — спросила я Марьяну.

— Мнѣ не позволяютъ. Я ѣмъ мясо съ отвращеніемъ, но они говорятъ, что это болѣзненный вкусъ. А все что m-lle Razoux давала мнѣ прочесть объ этомъ, мнѣ очень нравилось.

Я съ дѣтства ѣла мясо по привычкѣ и въ первый разъ почувствовала, что это дурно. Главное, противно лицемѣріе, которымъ это сопровождается. Я, напримѣръ, воображала, что люблю коровъ, телятъ, овецъ, потому что кормила ихъ изъ рукъ, гладила по шерсти и называла ихъ ласковыми именами. При этомъ вѣдь я же не му-

чила и не убивала ихъ, а только ѣла фарши, бульоны и соусы, для которыхъ ихъ рѣзали и убивали. Но вѣдь я не видѣла, какъ ихъ убивали. Вѣдь если я не вижу, какъ у мужика уводятъ со двора послѣднюю корову, то я могу и не думать объ этомъ и дѣлать видъ, что не знаю этого. Такъ и съ животными; мнѣ былъ-бы фаршъ и соусъ, а до остального мнѣ нѣтъ дѣла. И я вспоминала другихъ добрыхъ, нѣжныхъ и чувствительныхъ женщинъ, плачущихъ надъ романами и въ театрѣ, холящихъ бѣлыхъ завитыхъ собачекъ, канареекъ, золотыхъ рыбокъ, сострадательныхъ къ животнымъ и ежедневно посылающихъ кухарокъ за говядиной, телятиной, курами и цыплятами. Вспомнился мнѣ и одинъ хорошій знакомый, добрый человѣкъ и членъ Общества покровительства животныхъ, который останавливалъ на улицѣ ломовыхъ извозчиковъ, стегающихъ своихъ битюговъ, записывалъ ихъ, увѣщевалъ ихъ и, воротясь домой, съ негодованіемъ разсказывалъ женѣ о грубой жестокости стегавшаго извозчика, а затѣмъ, развернувъ салфетку, садился за накрытый столъ и принимался кушать бульонъ и пирожки съ мозгами заколотыхъ животныхъ. Стало быть, бить нельзя, а убивать можно. И безсмыслица, и лицемѣріе.

Я сообщаю Марьянѣ свои размышленія, и она говоритъ на это:

— Разумѣется, хочешь есть мясо, такъ и убивай сама, или по крайней мѣрѣ не говори: ахъ, я не могу видѣть того, не могу видѣть этого... А говори: я жадна и жестока и кровожадна"...

Студентка иронически улыбается:

— Полноте, господа, все это ерунда. И всѣ ваши вегетаріанцы психопаты и идіоты"...

— Отчего? M-lle Razoux совершенно здоровый и нормальный человѣкъ.

— А вы вѣрите въ ея вегетаріанство? Какъ наивно! Я такъ убѣждена, что она потихоньку наѣдается мясомъ.

— О нѣтъ! — съ убѣжденіемъ говоритъ Марьяна. А m-lle Razoux, чувствуя, что мы на ея сторонѣ, дружелюбно подмигиваетъ намъ, и наклонясь къ намъ черезъ столъ, говоритъ: „А какія оладьи у насъ дѣлаютъ съ медомъ, съ яблоками и съ орѣхами!"...

Послѣ обѣда Марьяна уводитъ меня къ себѣ въ комнату, въ маленькую дѣвическую комнатку съ бѣлой кроватью, комодомъ и столикомъ, съ портретами папà и мамà, къ которымъ я устремляюсь съ жаднымъ любопытствомъ. Окно ея комнатки выходитъ на горы; прямо напротивъ стоитъ на высотѣ одинокое уютное шалэ, и отъ этой картины вѣетъ тѣмъ же миромъ и покоемъ, какъ и отъ озера. И мнѣ такъ хорошо сидѣть здѣсь и смотрѣть альбомы и карточки и слушать: „Папà на это смотритъ такъ"... „Папà думаетъ такъ"...

„Папà всегда говоритъ, что“ и т. д.— что, кажется, вѣкъ-бы не ушла изъ этой свѣтлой, тѣсной комнатки, въ которой сердца наши довольно тѣсно сближаются. Я вижу письма папà, хоть и не смѣю ихъ прочесть, вижу Евангеліе, подаренное Марьянѣ матерью, съ надписанными ею на первомъ листѣ стихами изъ 36-го псалма, принадлежавшую ей Imitation de Jésus Christ. Я просматриваю эту книжку съ помѣтками и крестиками, сдѣланными рукой покойной жены Николая Федоровича. И я люблю ихъ всѣхъ трехъ все больше и больше и въ то же время чувствую, что я совсѣмъ, совсѣмъ ихъ не стою. Гдѣ мнѣ съ моей подвижной, измѣнчивой натурой, съ моими страстями и пороками, сблизиться съ такими хорошими, чистыми людьми? Но любить ихъ мнѣ никто и ничто не помѣшаетъ. Студентка приходитъ звать насъ. Всѣ ѣдутъ въ Шильонъ; и все время прогулки мы опять говоримъ съ Марьяной о папà. Вечеромъ мы слушаемъ на берегу музыку, послѣ чего все общество провожаетъ насъ къ намъ въ отель. На озерѣ катаются лодки; въ лодкахъ поютъ пѣсни. На прощанье Марьяна крѣпко обнимаетъ меня. Завтра мы разъѣдемся. Она съ m-lle Razoux — въ Люцернъ, къ Катѣ, я съ Алексѣемъ Александровичемъ на недѣльку въ Италію. „Пожалуйста, только не оставайтесь тамъ дольше; пріѣзжайте въ Люцернъ поскорѣе“, говоритъ Марьяна, прощаясь.

И опять мы летимъ въ поѣздѣ. Горы растутъ и становятся все красивѣе и живописнѣе. Слѣва бурно несется мутная бѣлая Рона, справа разстилаются веселыя равнины. И опять мы во Франціи, въ веселой, улыбающейся Франціи, къ которой Алексѣй Александровичъ чувствуетъ сильное пристрастіе. И въ самомъ дѣлѣ пріятно послѣ грубыхъ, неуклюжихъ швейцарцевъ снова увидѣть подвижныя, нервныя, дышащія огнемъ и жизнью смуглыя физіономіи южныхъ французовъ. Въ Шамбери намъ предстоитъ долгая остановка, почти цѣлый день, до отхода вечерняго поѣзда въ Италію. Алексѣй Александровичъ радуется этому, говоря:

— Сегодня, по крайней мѣрѣ, пообѣдаемъ какъ слѣдуетъ. Ну какъ не сказать, что хорошая страна! И вино — какъ вино, и женщины—какъ женщины, а не тумбы, говорящія басомъ.

Алексѣя Александровича все смущаетъ, что я мало увижу Италію, и онъ предлагаетъ и Венецію и Флоренцію; но я рѣшительно отказываюсь. Я не хочу быть въ отсутствіи больше недѣли. Я хочу поскорѣй къ Марьянѣ. Алексѣй Александровичъ не понимаетъ моего внезапнаго равнодушія къ галлереямъ и музеямъ и, думая, что я церемонюсь и не хочу вовлекать его въ расходы, увѣряетъ, что вѣдь это стоило-бы совсѣмъ, совсѣмъ не такъ дорого!..

Въ Шамбери — ярмарка. Бульваръ установленъ лотками и балаганами. Акробатка, въ трико и розовой юбочкѣ съ блестками, расхаживаетъ съ большимъ шестомъ въ рукахъ по канату; и восхищенныя наивныя физіономіи загорѣлыхъ блузниковъ, въ соломенныхъ шляпахъ, слѣдятъ за ея движеніями. Торговцы апельсиновъ, сладостей, напитковъ, похаживая въ толпѣ, оглашаютъ воздухъ рѣзкими восклицаніями. La valence!.. Sucre d'orge!.. У балагана фокусника, у балагана пряничника жадно толпятся и толкаются дѣти. Блѣдный шарманщикъ изъ Пьемонта, въ плисовой курткѣ, красномъ галстухѣ и сѣрой фетровой шляпѣ, играетъ на шарманкѣ мотивы изъ „Трова-тора". Пекло невообразимое. Земля жжется, какъ раскаленная плита. Воздухъ горячъ и удушливъ. Я покупаю въ одномъ изъ балагановъ грошовый бумажный вѣеръ. Толпа зрителей, угадывая въ насъ пріѣзжихъ и иностранцевъ, съ любопытствомъ разглядываетъ насъ. Женщины, какъ и у насъ въ деревнѣ, ощупываютъ мое платье. Пользуясь общимъ вниманіемъ, Алексѣй Александровичъ спрашиваетъ ближайшаго къ нему блузника, что бы намъ посмотрѣть здѣсь въ городѣ. Тотъ молча смотритъ на Алексѣя Александровича, затѣмъ сообщаетъ, что онъ самъ иностранецъ, самъ изъ такой-то деревни. Въ разговоръ вмѣшиваются горожане и со всѣхъ сторонъ начинаютъ рекомендовать намъ посмотрѣть водопроводъ, la Fontaine des Eléphants, лицей, ратушу, замокъ герцоговъ Савойскихъ, церковь, главную улицу. Являются гиды съ предложеніемъ услугъ. Мы еле-еле избавляемся отъ нихъ и выбиваемся изъ толпы. Сѣрая каменная башня замка герцоговъ Савойскихъ виднѣется издали. Намъ уже видны и зеленыя верхушки вѣковыхъ дубовъ и платановъ стараго парка, который манитъ прохладой и тѣнью. И по мѣрѣ того, какъ мы приближаемся, передъ нами выростаетъ величественная средневѣковая постройка съ подъемными мостами и башнями. Входимъ въ старый тѣнистый паркъ, запущенный и пустынный, какъ садъ Спящей красавицы, бродимъ по дорожкамъ и, осмотрѣвъ замокъ снаружи, углубляемся въ тѣнистую каштановую аллею. Дойдя до зеленой дерновой скамьи въ тѣни развѣсистаго каштана, я опускаюсь на нее и говорю:

— Ну, ты иди куда хочешь и осматривай что хочешь. А я отсюда ни съ мѣста до отхода поѣзда.

— Да, тяжеленько двигаться въ такую жару,— говоритъ Алексѣй Алексадровичъ, сдвигая шляпу на затылокъ и отирая лобъ платкомъ.— Пожалуй, Катя была права, возставая противъ поѣздки въ Италію. Вмѣсто удовольствія, пожалуй, это путешествіе будетъ тебѣ въ тягость. Ну, да авось къ вечеру полегче станетъ!"

Онъ вынимаетъ газету, идетъ къ слѣдующей дерновой скамейкѣ,

наискосъ отъ меня, снимаетъ шляпу и, развалившись какъ на диванѣ, углубляется въ чтеніе.

А я тоже снимаю шляпу, то-же растягиваюсь на своей скамейкѣ и, заложивъ руки подъ голову, смотрю сквозь зеленыя вѣтки въ небо, въ чудное, яркое голубое небо Савойи. Съ одной стороны вижу море зелени, съ другой высокія живописныя горы; прямо передъ глазами старый сѣрый замокъ, отъ котораго вѣетъ воспоминаніями о Баярдѣ, о рыцаряхъ, пажахъ и оруженосцахъ, о прекрасныхъ дамахъ сердца, раздававшихъ призы на турнирахъ. Можетъ быть, всѣ они до сихъ поръ спятъ тамъ въ своихъ готическихъ залахъ съ пестрыми окнами, съ мебелью съ прямыми спинками, спятъ, какъ въ волшебной сказкѣ— и дамы, и рыцари, и трубадуры...

Въ саду тихо и не слышно ничего, кромѣ свиста кузнечиковъ. Издали доносятся смутный гулъ ярмарки, бубны, барабанъ и звонки акробатовъ, вскрикиванья, взвизгиванья, хаотическій шумъ толпы, сквозь который прорываются дрожащіе звуки шарманки, которая поетъ:

«Non ti scordar, non ti scordar di me!
Addio, Leonora, Addio!»...

Заложивъ руки подъ голову, я думаю о Марьянѣ. Какъ я рада, что мы наконецъ познакомились! Какъ мнѣ сразу стало лучше и веселѣй, какая-то нѣжная струйка пролилась въ мою жизнь. И я думаю о томъ, что вчера вечеромъ она должна была написать отцу письмо о томъ, что мы здѣсь, что она будетъ съ нами. Сегодня это письмо пошло, и оно полетитъ изъ кружки въ кружку, изъ государства въ государство, черезъ горы и долы и придетъ въ Малороссію, въ тихую усадьбу, въ его домъ, въ его кабинетъ. И онъ распечатаетъ его, прочтетъ и подумаетъ обо мнѣ, вспомнитъ обо мнѣ:

... Non ti scordar, non ti scordar di me...

Я взглядываю на Алешу. Нѣсколько времени онъ читаетъ газету довольно внимательно; затѣмъ она начинаетъ колебаться въ его рукѣ, скользитъ ниже и ниже и, выскользнувъ и перекувырнувшись раза два, ложится по серединѣ дорожки. А онъ, закинувъ голову, начинаетъ громко храпѣть. Я смотрю на замокъ и вспоминаю исторію Савойскаго дома, вспоминаю исторію Италіи, Франціи. Какъ я любила исторію! И какъ могу я такъ мало интересоваться газетами? Вѣдь это живая исторія настоящаго, то-же жизненное развитіе абсолютной идеи въ формѣ политическихъ обществъ. Нѣтъ, надо, надо читать ихъ. До чего я однако глупа, лѣнива, невѣжественна. Съ завтрашняго дня начинаю читать газеты. Чтобъ не откладывать добраго намѣренія, я встаю и поднимаю съ дорожки газету, по которой суетливо снуютъ муравьи, перебѣгая ее вдоль и поперекъ;

улитки и божьи коровки копошатся на объявленіяхъ. Я стряхиваю всю эту публику и, овладѣвъ газетой, снова ложусь подъ моимъ каштаномъ, намѣреваясь приняться за чтеніе.

Старый садъ спитъ, какъ садъ Спящей Красавицы. Алексѣй Александровичъ храпитъ. Кузнечики и змѣи громко свистятъ въ высокой нескошенной травѣ. Пестрыя бабочки, бѣлые мотыльки вьются и кружатся въ воздухѣ... Шарманка играетъ теперь гдѣ-то еще дальше и еще слабѣе... Пчелы мѣрно гудятъ, тихо летая надъ моей головою и погружаясь въ мохнатые цвѣты каштана... Я читаю телеграммы о зулусахъ, о безвременной кончинѣ молодого принца Наполеона, потомъ читаю передовую статью о томъ-же... чьи-то замѣтки о томъ-же... Я зѣваю. Толстая, мохнатая гусеница падаетъ съ красиво вырѣзаннаго лапчатаго листа на газету и начинаетъ корчиться, кружиться и изгибаться надъ одной изъ телеграммъ. Я предоставляю ей дочитывать о кончинѣ принца Наполеона и засыпаю.

Мы проводимъ четыре дня въ Миланѣ, посвящая утро осмотру достопримѣчательностей, а вечеръ—театру или городскому саду, гдѣ, слушая музыку, мы изучаемъ публику. На пятый день ѣдемъ въ Арону, гдѣ садимся на пароходъ, долженствующій доставить насъ въ Стрезу на Лаго-Маджіоре.

Чистое и свѣтлое итальянское озеро сразу нравится мнѣ больше швейцарскаго. Огромная статуя святаго Карла Борромео благословляетъ насъ съ берега и долго еще виднѣется, когда пароходъ нашъ уже дымитъ, пыхтитъ и мчится, разрѣзая прозрачную воду.

Я сижу на палубѣ и любуюсь берегами. Во всѣхъ пейзажахъ Италіи разлито что-то ласковое, спокойное, прекрасное, лѣнивое, безпечное и счастливое. Съ первыхъ шаговъ, съ первыхъ минутъ, съ первой станціи Италіи, все здѣсь мнѣ нравится: и легкія, воздушныя очертанія далекихъ горныхъ цѣпей на горизонтѣ, и зеленѣющія поля, и фруктовые сады, и дома съ плоскими крышами, и прибрежныя селенія съ ихъ рыбачьими лодками, съ человѣческими фигурами, съ колотящими на берегу бѣлье стройными прачками въ бѣлыхъ головныхъ уборахъ, и толпы ребятишекъ, очаровательныхъ черномазыхъ ребятишекъ съ курчавыми головами, жгучими итальянскими глазами и счастливой улыбкой, открывающей ослѣпительно-бѣлые зубы. Все здѣсь нравится мнѣ. Мнѣ хорошо здѣсь. Я чувствую себя на мѣстѣ, чувствую себя художницей, чувствую себя итальянкой, и сидя на пароходѣ, я невольно принимаю лѣнивыя и красивыя позы, которыхъ не разрѣшила-бы себѣ ни въ Парижѣ, ни въ Петербургѣ.

Пароходъ несется легко и весело, какъ будто и ему доставляетъ

наслажденіе разрѣзать это чудное серебристое озеро и посылать свой черный дымъ къ облакамъ.

На палубѣ третьяго класса тѣснится простой итальянскій людъ. Тамъ слышны, громкія живыя восклицанія, непринужденный звонкій смѣхъ, грубыя словечки и выраженія, здоровые, сильные голоса... Тамъ тѣснятся, толкаются, знакомятся, разсказываютъ о своихъ дѣлахъ. Тамъ ѣдутъ не *господа*, а *люди*.

У насъ въ первомъ классѣ все не *люди*, а *господа*. У насъ тихо, тихо и прилично! Языкъ у насъ преобладаетъ англійскій, но и того почти неслышно, такъ какъ у насъ ѣдутъ все *порядочные* и не представленные другъ другу люди.

Большинство пассажировъ—англичане. Почтенные, сѣдые старикъ и старушка съ неподвижными лицами и непроницаемыми взорами, оба въ черномъ, какъ квакеры, молча сидятъ, какъ два каменныхъ изваянія. У него въ рукахъ плэдъ, гидъ и зрительная трубка; у нея — ридикюль, на которомъ она скромно складываетъ руки въ темносѣрыхъ перчаткахъ. Она не смотритъ ни на берега, ни на пассажировъ и если поднимаетъ глаза съ ридикюля, то только затѣмъ, чтобъ взглянуть на одну изъ своихъ четырехъ одинаково одѣтыхъ долговязыхъ дочекъ, похожихъ одна на другую, какъ четыре булавки. Барышни вѣрно тоже молчали-бы, еслибъ ихъ не приводила въ движеніе пятая ихъ спутница, хорошенькая англичанка съ прелестнымъ надменнымъ личикомъ, крошечными ручками и ножками, тонкой таліей и густой каштановой косой, на которой кокетливо сидитъ парижская шляпка. Хорошенькая миссъ путешествуетъ со своимъ папà, благообразнымъ плотнымъ джентльмэномъ, съ серебристыми бакенбардами; онъ проводитъ большую часть времени въ каютѣ за ѣдой, питьемъ и чтеніемъ газетъ и только изрѣдка поднимается наверхъ и, подойдя къ дочери, спрашиваетъ, не скушаетъ-ли и она что-нибудь? Она каждый разъ отнѣкивается съ удивленной улыбкой, вызывающей ямочки на ея щекахъ. Развѣ такія красавицы ѣдятъ?.. И почтенный джентльменъ возвращается въ каюту, проходя мимо насъ съ такимъ видомъ, какъ будто и мы всѣ, и прелестное озеро со своими берегами давно уже приглядѣлись и надоѣли ему хуже его собственной швейцарской, и что если въ жизни и на свѣтѣ и осталось еще что-нибудь интересное, то оно цѣликомъ сосредоточено въ послѣднемъ номерѣ его газеты. Его бѣленькая дочка кажется феей нашего парохода. На ней надѣтъ элегантный модный ватерпруфъ цвѣта пароходнаго дыма, а ея веселые глазки свѣтятся какъ чистая вода озера, отражающаго небо. Она и сама, кажется, сознаетъ себя феей и хорошенькой и радуется этому и, безпрестанно улыбаясь своимъ неинтереснымъ спут-

ницамъ, охорашивается, поправляя на себѣ то шляпку, то шпильку, то перчатку, то поясъ ватерпруфа.

Ѣдутъ съ нами молодые: французъ и француженка, очевидно влачащіе свой медовый мѣсяцъ, томные, влюбленные, держащіеся за руки. Они стоятъ, облокотившись на бортъ, спиной къ публикѣ, и тихо разговариваютъ, поминутно передавая другъ другу большой бинокль. И почтенная старушка-англичанка, нечаянно взглянувъ на нихъ, спѣшитъ перевести свой цѣломудренный взоръ на ридикюль или на одну изъ своихъ некрасивыхъ дочекъ.

Два стройные итальянскіе кавалериста побѣдоносно похаживаютъ по палубѣ, сдержанно смѣясь своимъ веселымъ разговорамъ и покручивая усы. Въ концѣ концовъ они садятся противъ хорошенькой англичанки; одинъ изъ нихъ принимается за газету, а другой за метаніе искусныхъ взглядовъ на дѣвицу. Для этого не нужно быть представленнымъ, и молоденькая миссъ выдерживаетъ аттаку, какъ вполнѣ благовоспитанная особа, улыбаясь чаще прежняго своимъ подругамъ, кокетничая и кидая на берега Лаго Маджіоре надменные взгляды богатой невѣсты.

Ѣдетъ еще нѣмецкое семейство. Толстенькій папа̀ въ соломенной шляпѣ, съ бакенбардами въ видѣ сосисокъ, двѣ дочки, свѣженькія пухлыя блондинки, таинственно улыбающіяся другъ другу и поминутно восклицающія: „Sieh mal, Alma!..“ „Sieh mal, Selma!..“ „Reizend!“ „Kolossal!..“ и сынъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, тоже въ соломенной шляпѣ на длинныхъ бѣлокурыхъ волосахъ, за которыя Алексѣй Александровичъ прозываетъ его Шиллеромъ. Бѣдный Шиллеръ сидитъ, надувъ губы и нахмуривъ брови, съ видомъ приговореннаго къ казни, поминутно краснѣетъ, тревожно бѣгающими глазами поглядываетъ на присутствующихъ женщинъ, потомъ внезапно соскакиваетъ со своего мѣста и начинаетъ съ отчаяніемъ смотрѣть въ воду.

На носу парохода сидитъ англичанинъ съ густыми бровями и сердитымъ краснымъ лицомъ, напоминающимъ бульдога. На немъ надѣтъ какой-то необыкновенный макъ-ферланъ съ милліономъ пелеринъ и кармановъ, изъ которыхъ онъ отъ времени до времени вытаскиваетъ самые разнообразные предметы. Онъ сидитъ на складномъ стульчикѣ, повернувъ спину всему пароходу и такъ сказать плыветъ впереди всѣхъ, сложивъ нагруди руки и устремивъ взоръ въ прозрачную даль. И по его позѣ, по его круглой спинѣ, по всѣмъ его пріемамъ, я угадываю въ немъ любителя природы.

Наконецъ, послѣдняя наша пассажирка, упитанная и богато одѣтая англичанка съ двумя мальчиками и желтолицой беззубой гувернанткой-швейцаркой. На мальчикахъ, напоминающихъ нескладныхъ, породистыхъ щенковъ, кожаные пояса съ модными пряжками и без-

образныя соломенныя шляпы въ видѣ опрокинутыхъ горшковъ. Дѣти такъ-же сыты и выхолены, какъ и мать, и только блѣдная гувернантка, не успѣвшая еще отъѣсться на ихъ хлѣбахъ, смотритъ уныло и растерянно, какъ-бы недоумѣвая, зачѣмъ и какими судьбами она попала въ эту сытую компанію? Дама объѣздила всю Европу и запомнила названія всѣхъ отелей, въ которыхъ останавливалась, и всѣ цѣны за постой и за проѣздъ. И теперь, самоувѣренно развалившись на скамейкѣ, не глядя на берега, и играя ручкой своей туго набитой шагреневой сумочки, она перебираетъ эти воспоминанія передъ некрасивой гувернанткой, которая подобострастно восхищается ея удивительной памятью. Пароходъ несется легко и весело. Кавалеристъ, читавшій газету, закуриваетъ у Алеши и вступаетъ съ нимъ въ бесѣду о зулусахъ и принцѣ Наполеонѣ. Альма и Зельма, принявъ мечтательныя позы, прислушиваются къ ихъ бесѣдѣ, улыбаются, значительно переглядываются и хихикаютъ. Другой кавалеристъ продолжаетъ крутить усы и преслѣдовать жгучими взглядами раскраснѣвшуюся хорошенькую англичанку, которая наконецъ обращается въ бѣгство и на предложеніе папà позавтракать, молча беретъ его подъ руку и уходитъ съ нимъ въ каюту. Вдали показываются Борромейскіе острова. Сердитый англичанинъ приподнимается и наводитъ на нихъ бинокль.

А мальчики, побродивъ, съ позволенія мамà, по рубкѣ, останавливаются у перилъ, составляющихъ границу помѣщенія перваго класса, и, вѣшаясь на перила, съ любопытствомъ смотрятъ внизъ на тѣсно скученныхъ, оживленныхъ, жестикулирующихъ и громко разговаривающихъ, отгороженныхъ отъ нихъ, людей иной породы.

Обѣдаемъ въ Стрезѣ, уже при свѣчахъ, въ большой парадной залѣ, въ многочисленномъ, довольно фэшіонэбельномъ обществѣ. Повидимому тутъ живетъ много англичанъ.

Послѣ обѣда, мы съ Алексѣемъ Александровичемъ совершаемъ чудесную прогулку, отдохнуть отъ которой приходимъ на пристань, гдѣ застаемъ сердитаго англичанина, снявшаго свой макъ-ферланъ. Теперь на немъ клѣтчатая жакетка, на головѣ шотландская шапочка, а въ рукахъ трость съ набалдашникомъ, изображающимъ сфинкса, вырѣзаннаго изъ какого-то необыкновеннаго камня. Приходитъ и маленькій Шиллеръ и тоже садится на пристани.

Чудный вечеръ! Вечернія тѣни ложатся на тихое чистое озеро. На Pescatori, въ далекой Паланцѣ и другихъ прибрежныхъ селеніяхъ зажигаются огоньки. Нашъ темный отель тоже свѣтится огнями; изъ раскрытыхъ оконъ слабо доносятся звуки рояля, звуки скрипки. Лодочникъ, убирающій у берега лодки, сообщаетъ намъ, что на островѣ

св. Іоанна сейчасъ будутъ жечь смоляныя бочки и сожгутъ фейерверкъ, такъ какъ сегодня двадцать третье іюня, канунъ Иванова дня. Мой любимый лѣтній праздникъ, моя любимая лѣтняя ночь, полная поэзіи, чудесъ и чертовщины. Но что общаго у суроваго пророка въ одеждѣ изъ верблюжьяго волоса, у пророка исправлявшаго путь Господу, съ этой чертовщиной, съ Купалой, съ смоляными бочками, кострами и гаданьями?.. Надо нарвать двѣнадцать травъ и положить ихъ подъ подушку. И я брожу подлѣ пристани, собирая травы: попадаются и родныя и знакомыя, попадаются и новыя, чужеземныя. Сорвавъ двѣнадцать травъ, я связываю ихъ въ пучокъ и возвращаюсь на пристань.

Островки, берега, озеро понемножку темнѣютъ, замираютъ, засыпаютъ. И неожиданно, среди тишины, съ трескомъ взлетаетъ первая ракета. На пристани собирается толпа зрителей, болтающихъ на разныхъ языкахъ, все время, пока трещитъ фейерверкъ; затѣмъ, онъ гаснетъ, зрители расходятся; пристань пустѣетъ, все стихаетъ и успокаивается. Маленькаго Шиллера уводятъ спать, и мы снова остаемся втроемъ: англичанинъ, Алексѣй Александровичъ и я.

Чудный вечеръ! Чудное озеро! Становится еще темнѣе. Молодой серпъ луны вырѣзывается въ небѣ. Вода тихо плещетъ у нашихъ ногъ. Какъ темный призракъ встаетъ передъ нами гордый профиль террасъ Isola Bella. Тихо дремлютъ кипарисы, магноліи, мирты и лавры на Isola Madre. Все спитъ, все дремлетъ. Въ прозрачной водѣ, какъ въ зеркалѣ, отражаются и сонные островки и сонные берега, и облака, скользящіе по небу, и мерцающія звѣздочки, и серпъ мѣсяца. Что-то чудное, невыразимое проникаетъ въ душу. Тѣснятся въ ней не то смутныя воспоминанія чего-то далекаго, давно забытаго, но прекраснаго, не то смутныя предчувствія существованія другого міра, болѣе чистаго и совершеннаго, гдѣ все лучше, свѣтлѣй и правдивѣй, гдѣ все цѣнится настоящей цѣной. Грезится что-то ясное, чистое и прекрасное... Въ тихомъ шелестѣ деревьевъ, въ тихомъ плескѣ воды слышится ласковая, нѣжно убаюкивающая колыбельная пѣсня матери-природы. И это видимое сліяніе, видимая гармонія земли и неба дѣйствуетъ на душу, какъ чудная чарующая музыка. Душѣ хочется быть чистой, свѣтлой и свободной, хочется или свести небо на землю или уйти съ земли на небо. И невольно глаза поднимаются къ чистымъ звѣздамъ, мерцающимъ въ глубокомъ чудномъ небѣ этой итальянской ночи.

Алексѣй Александровичъ выкурилъ нѣсколько сигаръ и начинаетъ зѣвать. Онъ усталъ. „Не пора-ли и на покой?“ Жаль уходить, но нечего дѣлать. Я покорно встаю, и мы направляемся къ отелю. А на плоту остается одинъ сердитый англичанинъ, одинъ со своимъ сфинксомъ, съ Богомъ и природой, съ тихой красотой этой чудной ночи.

Засыпаю съ открытымъ окномъ, положивъ подъ подушку двѣнадцать травъ. Ночной вѣтерокъ свободно гуляетъ у меня по комнатѣ, и мнѣ стоитъ приподняться на кровати, чтобы снова увидѣть все ту же волшебную картину озера съ темными сонными островками.

Просыпаюсь съ разсвѣтомъ. Утро, воздухъ, небо, солнце, видъ передъ глазами—все божественно! Все улыбается; и я улыбаюсь. Я видѣла во снѣ Николая Федоровича.

Алексѣй Александровичъ встаетъ; мы садимся въ лодку и въ ожиданіи часа, раньше котораго не дозволено причаливать къ островамъ, долго катаемся по озеру. Потомъ, не спѣша, осматриваемъ картины и дворецъ Борромео, гуляемъ на Isola Madre, въ этомъ чудномъ райскомъ уголкѣ, гдѣ подъ открытымъ небомъ цвѣтутъ и зрѣютъ померанцы и апельсины, гдѣ собрана растительность со всего земного шара; кедры, кипарисы, магноліи, лимонныя и миндальныя деревья. Тутъ-же рядомъ наша елочка, холеная, свѣжая, зеленая, одинокая, почему-то напомнившая мнѣ о Тургеневѣ, поселившемся въ Парижѣ. Садовникъ водитъ насъ по дорожкамъ, окаймленнымъ рядами высокихъ цвѣтущихъ олеандровъ, миртовъ и лавровъ, и разсказываетъ намъ какія-то подробности о нынѣшнемъ владѣльцѣ островковъ, указываетъ намъ на особенно интересныя растенія и срѣзаетъ по дорогѣ распустившіяся розы. Золотые, пестрые и серебристые фазаны убѣгаютъ съ дорожекъ при нашемъ приближеніи. А когда мы садимся въ лодку, садовникъ подноситъ мнѣ чудесный большой букетъ изъ розъ всѣхъ оттѣнковъ, который я рѣшаю отвезти Марьянѣ.

Въ полдень ѣдемъ дальше. На новомъ пароходѣ уже совсѣмъ новое общество. Большинство пріѣхавшихъ съ нами пассажировъ остается въ Стрезѣ. Только сердитый англичанинъ, да богатая дама съ мальчиками и гувернанткой продолжаетъ путешествіе съ нами. Минуя Паланцу, несемся по озеру. Погода съ утра такая ясная начинаетъ портиться. Небо бѣлѣетъ. Поднимается вѣтеръ. Волны просыпаются и начинаютъ сердиться, играть и безпокоиться. Насъ слегка качаетъ. По всему озеру встаютъ и стелются полосы тумана; и когда мы подъѣзжаемъ къ Локарно, насъ непривѣтливо встрѣчаетъ косой рѣзкій дождикъ. Я начинаю зябнуть и жалѣть о калошахъ, потерянныхъ мною въ Миланѣ. Вообще, мы одѣлись, не предполагая возможности неблагопріятной погоды. На мнѣ свѣтлое батистовое платье, легкій свѣтлый кашпусьеръ и соломенная шляпка съ фуляровой тряпочкой неопредѣленнаго моднаго цвѣта, на которой распластана сизая птица. Алексѣй Александровичъ тоже въ свѣтломъ, у Дюсотуа сшитомъ балахонѣ, который придаетъ ему видъ элегантнаго англичанина.

— Экая гадость, погода-то портится, — говоритъ Алексѣй Але-

ксандровичъ, раскрывая зонтикъ, — кажется, мы не по погодѣ одѣлись. Ну, да впрочемъ у насъ есть плэды!

Въ Бьяскѣ ждутъ насъ почтовыя кареты. Кондуктора запрягаютъ лошадей. Мороситъ. Пейзажъ совсѣмъ мѣняется. Передъ нами стоятъ темной стѣной крутыя, высокія горы. Сыро, угрюмо, пасмурно.

Самая станція уже далеко не похожа на станцію большихъ желѣзныхъ дорогъ. Въ маленькой залѣ съ некрашеннымъ поломъ, съ деревянными скамейками, скромный буфетъ съ незатѣйливыми черствыми закусками, съ бутылками пива. Англичане, наводнявшіе пароходъ, куда-то исчезли, скрылись, словно расплылись въ дождѣ и туманѣ. Остался одинъ сердитый англичанинъ, котораго Алексѣй Александровичъ прозвалъ бульдогомъ. Женщинъ что-то не видно; ихъ почти нѣтъ въ поѣздѣ. Англійской рѣчи не слышно; ее замѣнила смѣсь итальянскаго съ нѣмецкимъ; грубоватое мѣстное нарѣчіе, въ которомъ я тщетно стараюсь уловить знакомыя слова. И отъ звуковъ этого чуждаго непонятнаго языка вѣетъ чѣмъ-то непривѣтливымъ, и суровый пейзажъ кажется еще болѣе суровымъ.

Лошади запряжены. Пассажиры разобрали билеты, подкрѣпились закуской и выпивкой и начинаютъ размѣщаться по экипажамъ. Алексѣя Александровича очень тѣшитъ то, что ему удалось занять переднее полуоткрытое купэ, надъ которымъ устроено сидѣнье для кучера. „Лучшія мѣста, лучшія мѣста!“ твердилъ онъ. „Все прекрасно видно, мы впереди всѣхъ“... Багажъ уложенъ, увязанъ на верху экипажей, кучера щелкаютъ бичами, и кареты одна за другой выѣзжаютъ со двора станціи.

Минуемъ Бьяску, ютящуюся у подошвы, и начинаемъ взбираться вверхъ. Горы становятся все красивѣе и живописнѣе. Тѣнистыя каштановыя рощи, горные потоки, глубокія ущелья безпрерывно смѣняютъ другъ друга, и Альпы развертываются передъ нами въ ихъ дикой и захватывающей, нежданной и негаданной красотѣ.

Вблизи Бьяски еще попадаются отъ времени до времени навстрѣчу люди: смуглые дровосѣки, каменьщики, пастухи; но по мѣрѣ того, какъ мы поднимаемся выше, встрѣчи эти становятся все рѣже и рѣже. Проѣзжаемъ мимо часовенки со статуей мадонны. На порогѣ сидитъ старый, слѣпой нищій и мальчикъ, который водитъ его, подбѣгаетъ къ каретамъ, протягивая засаленную войлочную шляпу, въ которую мы бросаемъ сантимы.

Глубоко внизу бѣжитъ съ оглушительнымъ ревомъ бурный, мутный потокъ, прорѣзая высоко нагроможденныя скалы, поросшія шапкой густого лѣса. И, срываясь съ высотъ, стремительно бросаются въ него новые потоки и сливаются съ нимъ, и ревутъ, и клубятся и пѣнятся, какъ бѣлыя сверкающія змѣи лижутъ черный камень, разсыпаются при-

чудливыми брызгами и носятся легкой туманной пылью въ глубинѣ ущелій, точно горныя феи. Лѣсъ шумитъ. Стая орловъ взлетаетъ, встревоженная гуломъ упавшаго камня, и эхо глухо перекатывается по горамъ, повторяя всѣ эти звуки.

Хорошо и вольно въ этой дикой пустынѣ. Грудь дышетъ силой и отвагой; въ душѣ крѣпнетъ бодрость, просыпается мужество и призрѣніе къ смерти и опасностямъ. Небо такъ далеко! Неба точно не видно за этими темными могучими глыбами. Здѣсь царитъ не небо, а земля, чуются силы земныя и подземныя. И невольно вспоминается миѳъ о титанахъ и гигантахъ. Все говоритъ здѣсь о страшномъ могуществѣ земли, о гордой попыткѣ земли помѣряться силами съ небомъ и о ея безсильномъ паденіи. Есть ущелья, изъ которыхъ выглядываетъ адъ. Чудится тамъ глухая подземная работа Вулкана, Тубалкайна... Невидимые ковачи куютъ орудія смерти. Тамъ, въ нѣдрахъ земли, заключено зло и отчаяніе.

Маленькія, крѣпкія лошадки катятъ бодрой рысцой маленькія каретки, въ которыхъ сидимъ мы, маленькіе людишки, такіе крохотные и ничтожные по сравненію съ размѣрами этихъ грандіозныхъ скалъ и ущелій. Какой просторъ! Какая красота! У меня въ рукахъ душистый букетъ изъ розъ съ Isola Madre, при взглядѣ на который въ памяти невольно оживаетъ чистое свѣтлое озеро и, сравнивая его съ суровой дикой красотой этихъ горъ, — не знаешь, чему отдать предпочтеніе.

Хорошо, должно быть, придти сюда съ больной душой, съ растерзаннымъ серцемъ, съ большимъ тяжелымъ горемъ... Вотъ онъ этотъ пріютъ, о которомъ поется въ пѣснѣ:

„Бурный потокъ,
Чаща лѣсовъ,
Голыя скалы —
Вотъ мой пріютъ!“

Верхушки зеленыхъ каштановъ и платановъ волнуются и трепещутъ, какъ трепещетъ больное слабое сердце, потоки бѣгутъ и бѣгутъ, какъ слезы изъ печальныхъ глазъ, а трещины въ скалахъ зіяютъ, какъ раны разбитаго сердца. И какимъ маленькимъ и ничтожнымъ должно казаться здѣсь самое большое горе! Чудный просторъ, неистощимое разнообразіе красивѣйшихъ видовъ и при этомъ ни души, ни души! Или здѣсь и не мѣсто смертнымъ? Для нихъ здѣсь слишкомъ хорошо, слишкомъ просторно и вольно.

Выше и выше поднимаемся мы. Тусклый серпъ мѣсяца, подернутый мутнымъ облачкомъ, показывается въ далекомъ, безцвѣтномъ и туманномъ небѣ. И въ наступившей темнотѣ мнѣ мерещатся тѣни гордыя и непокорныя: Манфредъ, Каинъ и Прометей?

Розы съ Isola Madre! Какъ все это не похоже на ваше чистое,

безмятежное озеро! Оно свѣтилось тихой и ясной улыбкой; здѣсь на всемъ отпечатокъ печали и гордаго страданія. Надъ темной пропастью, отъ которой дорога наша ограждена только низенькимъ парапетомъ, носится, можетъ быть, самый мрачный, самый гордый и несчастный изъ всѣхъ этихъ меланхолическихъ неудачниковъ, „духъ отрицанья, духъ сомнѣнья“, темный тоскующій Демонъ?.. Онъ пролетаетъ надъ бездной и, скользнувъ по краю пропасти, шепчетъ свое лукавое искушеніе: „Бросься внизъ“!..

И голова кружится при видѣ бездны, при видѣ поднимающихся изъ нея темныхъ тѣней.

Алексѣй Александровичъ давно дремлетъ и свиститъ носомъ, какъ райская птица. Но и онъ не можетъ не проснуться, когда страшный взрывъ потрясаетъ горы... Грохотъ долго перекатывается по горамъ. Дѣло объясняется очень просто. Это идутъ работы по сооруженію туннеля. За первымъ взрывомъ раздается второй, но уже послабѣе, потомъ снова водворяется тишина.

Маленькія лошадки катятъ бодрой рысцой, маленькія каретки съ маленькими людишками. Надвигается ночь. И жутко, и хорошо въ этой темнотѣ. Все принимаетъ фантастическія лживыя очертанія. Пропасти кажутся глубже, потоки бѣлѣе и сердитѣе. Сонныя деревья протягиваютъ вѣтки къ самой каретѣ, а въ глубинѣ ихъ темной чащи чудится шорохъ и шопотъ, кто-то бѣжитъ тамъ, гонится за нашей каретой, не отставая, мелькая то тутъ, то тамъ. Это онъ, невидимый, но хорошо ощущаемый Лѣсной Царь, который обманываетъ, смущаетъ и пугаетъ, нашептывая свою темную ложь, въ которой столько обаянія.

Совсѣмъ темнѣетъ. Впереди мелькаютъ огоньки селенья. Лошади подхватываютъ съ новой силой, и мы въѣзжаемъ въ Аироло, гдѣ полагается ночевать. Темно, грязно, сыро. Пахнетъ дымомъ и жильемъ. Собаки просыпаются и привѣтствуютъ насъ сердитымъ и протяжнымъ лаемъ. Мы останавливаемся у дверей гостиницы, напоминающей хлѣвъ. Гдѣ вы, ковры, фрески и мраморы отелей Турина и Милана? Гдѣ вы сановитые швейцары, дрессированные и вѣжливые кельнеры?

«Lebet vohl, Ihr, glatten Säle»!

Прямо съ порога входимъ въ сѣни, гдѣ пахнетъ навозомъ и коровами. Узкая деревянная лѣсенка ведетъ въ верхній этажъ, въ корридоръ съ рядомъ простыхъ скромныхъ комнатъ, съ некрашенными и неоклеенными стѣнами. Мнѣ нравится эта обстановка. Какъ-бы славно всегда такъ жить! Насколько чувства крѣпче, мысли чище, воля тверже, воображеніе здѣсь ярче и свѣжѣе; вниманіе не развлекается хламомъ и мусоромъ, называемымъ роскошью и комфортомъ. Дождь идетъ и барабанитъ по крышѣ и въ мое окошечко. На дворѣ распря-

гаютъ лошадей. Я слышу ихъ ржанье, слышу, какъ онѣ шлепаютъ по лужамъ, понукаемыя кучерами. За дверью, въ коридорѣ, не умолкаютъ торопливые шаги, тяжелый топотъ и шарканье ногъ, звонъ тарелокъ и стакановъ, говоръ голосовъ и хлопанье дверьми... И подъ шумъ этотъ я крѣпко засыпаю на новомъ мѣстѣ, въ новой обстановкѣ.

Просыпаюсь отъ стука въ дверь. „Sono già tre ore, signora!" говоритъ за дверью грубый голосъ. А какъ хочется спать, какъ не хочется вылѣзать изъ-подъ жиденькаго байковаго одѣяла, подъ которымъ еще не успѣла свернуться и отогрѣться! Но въ четыре часа надо уже ѣхать дальше. Алексѣй Александровичъ тоже стучитъ мнѣ въ стѣну и кричитъ что-то, спрашивая, не достать-ли наши чемоданы, не хочу-ли я переодѣться?.. „Нѣтъ, нѣтъ"! отвѣчаю я громко и рѣшительно,— „у меня есть плэдъ!" и, повернувшись на другой бокъ, я засыпаю. Черезъ полчаса они снова начинаютъ стучать. „Ты встаешь"? спрашиваетъ Алексѣй Александровичъ. — „Сейчасъ надо ѣхать". Я поспѣшно вскакиваю, одѣваюсь и закручиваю косу передъ крошечнымъ кривымъ зеркальцемъ, изъ котораго выглядываетъ на меня зѣвающая, блѣдная и уродливая физіономія. Отворяю дверь Алешѣ, который стучится ко мнѣ, сообщая, что необходимо закусить, такъ какъ ѣхать до остановки долго.

Лошади уже запряжены. При свѣтѣ пасмурнаго сѣренькаго утра, убогая обстановка гостиницы кажется еще суровѣе. Букетъ мой свѣжъ и хорошъ, и за ночь распустилось еще нѣсколько бутоновъ. Обжигая себѣ языкъ и горло, проглатываю стаканъ какой-то бурды, которую нельзя назвать ни чаемъ, ни бульономъ, закусываю кускомъ кислаго хлѣба и спускаюсь по лѣстницѣ вслѣдъ за Алешей, который тоже не выспался, тоже смотритъ кислымъ и взъерошеннымъ и ругается на всѣхъ европейскихъ языкахъ за то, что не могъ ничего достать, кромѣ упомянутой бурды.

— Ну какъ, въ самомъ дѣлѣ, не устроить порядочнаго буфета? Вѣдь это свинство!.. Ни котлетъ, ни бутербродовъ. Черти!.. А дерутъ вѣдь какъ за христіанскую ѣду".

Но еще яростнѣе начинаетъ онъ ругаться, когда узнаетъ, что англичанинъ, давшій, вѣроятно, съ вечера взятку кондуктору, занялъ наше купэ, и теперь намъ волей неволей придется сѣсть въ общую карету.

— Позвольте! Да по какому праву? Я занялъ это купэ на весь переѣздъ! — и Алексѣй Александровичъ волнуется, хорохорится, считая себя страшно оскорбленнымъ, грозитъ полиціей кондуктору, который принимаетъ его брань и угрозы совершенно съ такимъ же хладнокровіемъ, съ какимъ онъ принимаетъ на свой клеенчатый плащъ дождь, падающій съ неба. И равнодушно твердя, что купэ

занято съ вечера, онъ торопитъ пассажировъ, прося ихъ садиться по мѣстамъ.

— „Подлый народъ!.. И ни суда на нихъ, ни расправы!.. Будь это у насъ, я-бъ имъ подлецамъ показалъ... Я-бъ ему, канальѣ!.. Я-бъ ему, скотинѣ!.. Одинъ ѣдетъ, мерзавецъ, и занимаетъ два лучшихъ мѣста! И еще чужія мѣста. Чортъ знаетъ что!..“ Чтобъ прекратить эти гнѣвныя изліянія, я спѣшу влѣзть въ карету, гдѣ сидитъ уже пожилая толстая француженка съ сыномъ, юношей лѣтъ девятнадцати. Юноша сейчасъ же уступаетъ мнѣ мѣсто рядомъ съ матерью, а самъ садится противъ нея подлѣ Алеши, который сердито захлопываетъ дверцу, продолжая проклинать человѣческую подлость. Мы говоримъ между собой по-русски, — спутники наши на своемъ patois. По рѣчи, по обличью, по платью они не *господа*, а *люди*. Услыхавъ, что Алексѣй Александровичъ ругаетъ черезъ окно кондуктора по-французски, толстуха обращается ко мнѣ съ вопросомъ:

— Вы испанцы?

— Нѣтъ, мы русскіе.

— Русскіе изъ Россіи?!

Мать и сынъ переглядываются, потомъ спѣшатъ любезно сообщить то немногое, что они знаютъ о Россіи.

— А мы изъ Арля, Вы знаете Арль?

— Еще-бы! Я отлично знаю его по романамъ Додэ. И я начинаю врать имъ наудачу, что помню изъ Набаба, изъ Нюма Руместанъ, изъ Тартарена и мелкихъ разсказовъ.

И мать и сынъ оживляются, и языки ихъ развязываются. Я спрашиваю, знаютъ-ли они „тетушку Порталь“ Они припоминаютъ; сынъ положительно не знаетъ ее, но мать готова признать ее существующей и спрашиваетъ меня о ея ростѣ и наружности. Потомъ они начинаютъ спрашивать меня: „А вы знаете Бугареля?.. А Готье?.. А monsieur Жиля“?.. Толстуха въ первый разъ въ жизни выѣхала изъ Арля. Они были по дѣламъ въ Италіи, а теперь ѣдутъ въ Бернъ для свиданья съ родственникомъ, торговцемъ. Ихъ друзья въ Италіи посовѣтовали имъ ѣхать этимъ путемъ, говоря, что здѣсь они увидятъ горы во всей ихъ красѣ. Ну ужъ и краса! Она въ жизни не видывала такого поганаго края.

— А вы то же по дѣламъ?

— Нѣтъ, мы изъ любопытства.

— Изъ любопытства! — Она пожала плечами и начала смѣяться. — Путешествовать изъ любопытства по такимъ безобразнымъ мѣстамъ. Господи Іисусе! Да тутъ вся земля кверхъ ногами; и прежде, чѣмъ куда нибудь доѣдешь, тутъ сто разъ себѣ шею сломишь. Знаете, я вчера какъ взглянула на эти пропасти, у меня просто сердце обмерло. Я закрыла глаза и говорю: „Альфонсъ, дитя мое, скажи мнѣ, когда

мы будемъ въ гостиницѣ. Раньше я не открою глазъ". У васъ, въ Россіи нѣтъ горъ?

— Есть: Кавказъ, Крымъ, Уралъ...

— Скажите!—Она съ соболѣзнованіемъ покачала головой.—Ну, а у насъ, могу сказать, ихъ вовсе нѣтъ. У насъ чудная равнина. Горъ никакихъ. Ищите сколько хотите. Fouillez jusqu'aux Pyrénées. vous ne trouverez pas une montagne,— заключила она съ паѳосомъ.

— Вотъ дура-то! Охота тебѣ съ ней разговаривать,— ворчитъ Алексѣй Александровичъ.

— Нѣтъ, ужъ если вы путешествуете изъ любопытства, вы должны пріѣхать къ намъ въ Арль. У насъ есть развалины. Къ намъ настоящіе путешественники ѣздятъ. Много ѣздитъ. Парижане, англичане.

И снова рѣчь заходитъ объ Арлѣ, о monsieur Жилѣ, о Готье и Бугарелѣ.

Холодно. Хочется спать. Карета тихо укачиваетъ насъ. Вчерашней дикой красоты нѣтъ и слѣдовъ. Скудная тощая растительность становится все рѣже и бѣднѣй: мохъ, голый камень, низенькія елочки; по ложбинамъ мелькаетъ уже снѣгъ. Пейзажъ становится все грустнѣй и угрюмѣй. Вотъ пахнуло сыростью, и мы въѣхали въ облако.

При видѣ окутавшаго насъ тумана, француженка высовывается изъ окна.

— Смотрите, смотрите,—кричитъ она,—Господи Іисусе! Теперь мы собьемся съ пути, и это будетъ конецъ.

— Это облако,— говоритъ Алексѣй Александровичъ.

— Облако? облако?..— Мать и сынъ съ недоумѣніемъ переглядываются, затѣмъ начинаютъ быстро лопотать на своемъ patois.

— Знаете что,—значительно говоритъ она, поднимая стекло со своей стороны,—я думаю, они въ Италіи просто хотѣли подсмѣяться надъ нами, отправивъ насъ сюда. Теперь остается молить Бога о томъ, чтобъ намъ доѣхать живыми.

И недовольная горами, облаками и погодой, она садится поглубже въ уголокъ и, попросивъ и меня не смотрѣть въ окошко, такъ какъ у нея отъ этого кружится голова,—погружается въ дремоту.

Зѣваемъ, потягиваемся, кутаемся въ плэды и поднимаемся все выше и выше. Облака не скрываютъ уже отъ насъ вершины, а носятся туманными клочьями у нашихъ ногъ, скользя по пройденному пути. Дорога вьется вверхъ спиралью, и лежащее въ долинѣ Аироло кажется опускающимся все глубже и глубже, становится все меньше и меньше и наконецъ окончательно застилается облаками.

Мелкій частый дождикъ уныло барабанитъ по крышѣ кареты. Становится все холоднѣй и холоднѣй. Француженка дремлетъ, набожно сложивъ на колѣняхъ руки, юноша тоже клюетъ носомъ, и Алексѣй Александровичъ, съ застывшимъ на лицѣ выраженіемъ досады, качаетъ

головой изъ стороны въ сторону. Поднялись мы выше лѣса стоячаго, выше облака ходячаго. Исчезли послѣднія елочки и мы въѣхали въ сплошной снѣгъ.

Снѣгъ, снѣгъ и снѣгъ. Тихо, грустно и холодно. Я поднимаю стекло и съ моей стороны. Впереди высятся снѣжныя кручи: надъ снѣжными кручами виситъ снѣжное небо. Насколько глазъ можетъ окинуть окружающее пространство, все кругомъ бѣло, бѣло!.. Спутники мои дремлютъ. И я опускаю голову на каретную подушку; усталые глаза смыкаются, а въ головѣ вертятся почему-то слова Пушкина: „Дельвигъ не любилъ поэзіи мистической. Онъ говаривалъ: чѣмъ ближе къ небу, тѣмъ холоднѣе". И кутаясь въ плэдъ, и машинально твердя про себя: „Чѣмъ ближе къ небу, тѣмъ холоднѣе", я тоже засыпаю, убаюкиваемая колыханьемъ кареты. Просыпаемся отъ неожиданной остановки. Я выглядываю въ окно и вижу на снѣгу сѣрыя деревянныя санки грубой примитивной работы, впереди еще сани, много, много саней, люди и жилье.

— Что такое?—говоритъ Алексѣй Александровичъ, взглядывая на часы,—это не можетъ быть еще остановка.

— Стой стой, разбойникъ!—вопитъ француженка, колотя кулакомъ въ окно. — Господи Іисусе! куда онъ тащитъ мою корзину?.. Въ рукахъ другого разбойника видимъ наши чемоданы. Кондукторъ отворяетъ дверцу кареты и приглашаетъ насъ вылѣзать. Въ горахъ слишкомъ много снѣгу для того, чтобъ продолжать переѣздъ въ каретахъ и надо пересаживаться въ санки.

— Ну, признаюсь! — говоритъ Алексѣй Александровичъ, соскакивая въ грязь и подбирая полы своего длиннаго балахона.—Наши легкіе лѣтніе костюмы предстаютъ намъ во всей своей безобразной неумѣстности.

Къ счастью, у Алеши въ ремнѣ его пальто и пиджакъ, которые онъ позабылъ уложить. Онъ отдаетъ мнѣ пальто, которое я подпоясываю дорожнымъ ремнемъ, а самъ надѣваетъ сверхъ балахона пиджакъ, что придаетъ ему видъ бабы въ темной кофтѣ и свѣтлой юбкѣ. Затѣмъ накидываемъ на голову плэды и садимся въ санки съ деревянной полостью. Англичанинъ въ калошахъ чуть не по колѣно, въ каучуковомъ плащѣ съ капюшономъ, придающимъ ему видъ водолаза, готоваго спуститься на дно моря, стоитъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня и смотритъ на шлепающихъ по грязи пассажировъ съ тѣмъ же выраженіемъ, съ какимъ онъ любовался красотой ночи на Лаго Маджіоре.

— Что взялъ, каналья?—говоритъ мой спутникъ,—небось то же помокнешь...

Караванъ трогается въ путь подъ дождемъ и снѣгомъ. Опустѣвшія и распряженныя кареты насмѣшливо смотрятъ намъ вслѣдъ.

— И подумать, что еще пять часовъ тащиться такимъ образомъ, — говоритъ Алексѣй Александровичъ, раскрывая надъ нашими головами свой огромный зонтикъ. —Дуракъ я, что затѣялъ эту поѣздку.

А я радуюсь тому, что мы пересѣли въ санки. Дышется легче; кругомъ такой просторъ. Спать уже не хочется. Проводникъ, высокій сутуловатый итальянецъ, идетъ то рядомъ съ нами, то за нами, придерживая и подталкивая рукой наши санки, понукая лошадь, которая слушается его голоса, и мурлычетъ себѣ подъ носъ заунывную однообразную пѣсню, напоминающую вой вѣтра. Узкая снѣговая тропинка вьется спиралью по краю глубокаго обрыва; по другую сторону его, точно на встрѣчу намъ, но уже значительно выше насъ, медленно выѣзжаютъ первыя санки поѣзда, и весь караванъ, приблизительно изъ сорока саней, ползетъ и лѣпится по краю обрыва, поднимаясь все выше и выше. Тишина подавляющая. Даже вѣтеръ не гудитъ. Снѣгъ беззвучно падаетъ съ бѣлаго неба и беззвучно ложится на бѣлыя массы. Ѣхать еще пять часовъ, но что такое часъ, что такое эти пять часовъ? Какъ-то не вяжется представленіе о мѣрахъ времени съ этимъ безконечнымъ моремъ снѣга, въ которомъ тонутъ и исчезаютъ всѣ знакомыя, привычныя представленія. Мы точно заѣхали въ другой міръ, не имѣющій ничего общаго съ извѣстной намъ жизнью на землѣ.

— И ты сидишь въ водѣ? — спрашиваетъ меня Алексѣй Александровичъ, ежась и морщась отъ попадающихъ ему въ лицо хлопьевъ снѣга.

— Вся въ водѣ, точно въ согрѣвающемъ компрессѣ.

— Воображаю, какъ ты проклинаешь меня за эту поѣздку.

— Напротивъ! Я въ восхищеніи!..

— Есть отъ чего! И онъ снова умолкаетъ.

Руки и ноги у меня окоченѣли. Но мнѣ весело и пріятно. Меня уже не клонитъ ко сну какъ въ каретѣ. Напротивъ, я чувствую радостное возбужденіе. Я пьяна отъ этого холода и снѣга, отъ вида этихъ безконечныхъ и величественныхъ снѣжныхъ массъ. Мнѣ хочется улыбаться, хочется, чтобъ меня не трогали, не мѣшали мнѣ ѣхать и ѣхать, куда-то, гдѣ будетъ еще холоднѣе, все ѣхать безъ конца, не прерывали-бы тихаго звона, который поднимается у меня въ ушахъ, не прерывали-бы моего сладкаго забытья и дали-бы мнѣ замерзнуть... Но замерзнуть не удается. Мы достигаемъ вершины и останавливаемся для перепряжки и отдыха. Промокшіе до костей и иззябшіе, мы въѣзжаемъ подъ навѣсъ, гдѣ на мерзломъ навозѣ и мокрой соломѣ стоятъ уже раньше насъ пріѣхавшія санки. Проводники распрягаютъ мокрыхъ взъерошенныхъ лошадокъ, а пассажиры, толкаясь и скользя, поднимаются по грязнымъ обледенѣлымъ ступенямъ на верхъ въ теплую комнату, съ низкимъ потолкомъ, гдѣ суетится какая-то женщина, и паръ стоитъ надъ рядами горячихъ стакановъ чая. „Che rudo tempo“,

говоритъ нашъ проводникъ, и, взглянувъ на мои тонкіе башмаки изъ желтой кожи, превратившіеся Богъ знаетъ во что, молча поднимаетъ меня и на рукахъ вноситъ на лѣстницу. Здѣсь Алексѣй Александровичъ даетъ ему щедрый на чай и подноситъ стаканъ коньяку, который тотъ осушаетъ съ видимымъ удовольствіемъ. А я прохожу во вторую комнату, гдѣ въ большой печкѣ весело трещатъ дрова. Огромная косматая собака здѣшней породы лежитъ на полу, лѣниво грѣясь у печки; а въ сторонкѣ, за столикомъ, уже устроился сердитый англичанинъ, разставившій передъ собой цѣлую батарею фляжекъ, склянокъ и жестянокъ, изъ которыхъ онъ приготовляетъ себѣ всевозможныя смѣси для утоленія своего голода и жажды. Вода течетъ съ меня ручьями. Не стѣсняясь присутствіемъ англичанина, я стаскиваю съ себя все мокрое верхнее платье и развѣшиваю его для просушки. Шляпа моя въ ужасномъ видѣ; сизая птица растрепалась, расклеилась и потеряла голову; а съ фуляровой косыночки, моднаго цвѣта, текутъ зеленыя лужи. Стаскиваю съ трудомъ мокрыя шведскія перчатки и бросаю ихъ въ печку; потомъ бросаю туда-же шляпу. Солома шипитъ и трещитъ, и собака, поднявъ голову смотритъ то въ огонь, то на меня своими умными полузакрытыми глазами. Я подсаживаюсь къ ней и грѣю руки въ ея косматой шерсти, теплой отъ печки. Алексѣй Александровичъ приноситъ мнѣ стаканъ бульона и рюмку вина.

— А эта скотина и не предложитъ тебѣ своего табурета? — говоритъ онъ, завидя своего врага.

— Къ чему? Мнѣ здѣсь гораздо лучше.

И пока Алеша закусываетъ въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ всѣ усердно приналегли на коньякъ и водку, — я сижу у печки и, лаская собаку, положившую голову ко мнѣ на колѣни, смотрю на волнующееся, лижущее дрова пламя, на краснѣющіе и разсыпающіеся угли и думаю о томъ, какъ хорошо поѣсть голодному, согрѣться холодному, войти подъ кровъ безпріютному. Вспоминаю видѣнные мною въ Петербургѣ сырые, холодные углы и подвалы, въ которыхъ тѣснятся, зябнутъ, болѣютъ и голодаютъ люди, вспоминаю и видѣнныя мною въ Петербургѣ квартиры, въ которыхъ ежедневно натапливаются до извѣстнаго градуса пустыя, проходныя, никому не нужныя комнаты. Я глажу по головѣ собаку, которая отыскиваетъ и спасаетъ заблудившихся и погибающихъ въ снѣгу путниковъ и думаю: еслибъ она знала, какъ мы живемъ?.. Еслибъ она увидѣла, какъ мы живемъ, она вѣроятно взяла-бы бѣдняка въ зубы и принесла его въ квартиру богатаго. И я глажу ее по головѣ, а она кладетъ мнѣ свою огромную лапу на плечо, поглядывая на меня своими умными, благородными глазами.

Только что успѣли нѣсколько отогрѣться, очнуться и подкрѣпиться, какъ насъ уже приглашаютъ снова въ путь. Ни свистковъ, ни звонковъ, приглашаютъ добрымъ словомъ. Я прощаюсь съ соба-

кой, которая провожаетъ меня до лѣстницы, прощаюсь съ проводникомъ, который очень доволенъ щедрой подачкой и желаетъ намъ всего хорошаго и хорошей погоды, и сажусь въ санки. Новый проводникъ нашъ совсѣмъ мальчишка и почему-то не внушаетъ Алешѣ довѣрія.

Небо посвѣтлѣло, небо побѣлѣло; снѣгъ пересталъ падать и хотя солнце еще не показывается, но есть надежда на то, что погода разгуляется.

Трудности пути, которыя мы миновали, остановка, ѣда, отдыхъ въ теплой комнатѣ и надежда на лучшую погоду,— все это приводитъ насъ въ лучшее расположеніе духа. Мы весело болтаемъ и даже дѣлаемъ планы восхожденія на Монбланъ. Теперь, конечно, не до того, потому что надо къ Марьянѣ и Катѣ; но потомъ, позже, можетъ быть съ ними, непремѣнно, непремѣнно на Монбланъ. Проводникъ пытается вступить съ нами въ разговоръ, но встрѣчая со стороны Алексѣя Александровича холодное невниманіе, умолкаетъ и присаживается бокомъ на облучокъ.

— Но до чего у нихъ пріучены лошади,— говоритъ Алексѣй Александровичъ,— слушаются голоса...

— Привыкли. Ко всему привыкаешь. Мнѣ, напримѣръ, сначала дѣлалось немножко жутко, когда санки сползали на край обрыва. А теперь я знаю, что онъ удержитъ ихъ рукой. Посмотри, напримѣръ, какъ теперь мы близко къ краю. Кажется еще секунда...

Я не договорила, потому что уже летѣла куда-то внизъ головой. отдѣлившись отъ саней, которыя тоже летѣли вмѣстѣ съ лошадью и двумя сѣдоками. Падая, я успѣла только подумать, что все это раздавитъ меня, затѣмъ я потеряла сознаніе. А когда я очнулась, я лежала на снѣгу, окруженная группой склонившихся надо мной людей. Англичанинъ теръ мнѣ виски и давалъ нюхать какой-то спиртъ, оберъ-кондукторъ поднималъ меня за руку, а Алексѣй Александровичъ, съ блѣднымъ растеряннымъ лицомъ, потирая свою ушибленную руку, спрашивалъ меня: „Ну, какъ ты себя чувствуешь“? Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня лежала лошадь и опрокинутыя санки, около которыхъ возилось нѣсколько проводниковъ, а высоко надъ нами, высоко, какъ на стѣнѣ, стояли остановившіяся санки каравана, и пассажиры вытягивали шеи, съ любопытствомъ поглядывая на насъ. Медлить было некогда. Къ назначенному часу надо было быть въ Андерматѣ, къ пароходу — въ Флюэленѣ. Оберъ-кондукторъ гнѣвно разносилъ нашего бѣднаго возницу, который стоялъ передъ нимъ, понуривъ угрюмое виноватое лицо. Затѣмъ, увязая по колѣно въ снѣгу, мы стали искать путей, чтобъ снова выбраться наверхъ.

И когда это удалось, сѣли въ санки и поѣхали дальше.

— Ну поѣздка! — ворчалъ Алексѣй Александровичъ, закусывая

губы отъ боли въ рукѣ,— ну поѣздка!.. Воображаю, какъ ты меня проклинаешь.— А вѣдь я съ самаго начала такъ и сказалъ, что этотъ мальчишка никуда не годится. Всѣ идутъ за санями, а онъ, на-те-ка, на облучокъ усѣлся. Ни гроша на чай не получитъ, бестія!.. Вѣдь никто другой не упалъ однако...

Ѣдемъ, все спускаясь, и наконецъ снова пересаживаемся въ почтовыя кареты. Француженка встрѣчаетъ насъ восклицаніями соболѣзнованія, но не можетъ удержаться, чтобъ и не подсмѣяться надъ нами.

— Ça vous apprendra à voyager par curiosité, — говоритъ она.— Господи Іисусе! А я вѣдь и не видѣла какъ вы упали. Санки остановились; господинъ, что со мной ѣхалъ, говоритъ: „Ахъ! они упали“!.. А я думаю: ну, теперь мы всѣ начнемъ падать. Это будетъ конецъ. Я и закрыла глаза, и ничего уже не видѣла. А ужъ какъ садиться въ карету, Альфонсъ говоритъ мнѣ: вѣдь это *они* упали. Я думаю: вотъ тебѣ и путешествіе изъ любопытства“!

Пока она болтала, добрый юноша, видя, что я стучу зубами и дрожу въ лихорадкѣ, размоталъ со своей шеи длинный красный шарфъ и устроилъ мнѣ изъ него муфту, потомъ снялъ съ себя куртку и закрылъ ею мнѣ ноги. А толстуха стала приставать къ Алешѣ, предлагая растирать ему ушибленную руку.

Я ѣхала, закрывъ глаза, ошеломленная, испуганная и усталая. Голова страшно болѣла; мысли кружились вихремъ въ головѣ, тѣснились образы, воспоминанія. Миланскій соборъ, Леонардо да Винчи, Кавуръ и Гарибальди, Николай Федоровичъ и Марьяна, глухой тѣнистый паркъ въ Шамбери, все это неотвязно путалось и смѣшивалось въ головѣ. Я сочиняла какіе-то стихи объ Альпахъ, сравнивала въ этихъ стихахъ жизнь съ переходомъ черезъ горы. Я вспоминала дни, въ которые я стояла на порогѣ жизни и довѣрчивыми восхищенными глазами смотрѣла на Божій міръ. Какъ темный туннель промелькнули однообразные учебные годы, и жизнь развернулась передо мной волшебной панорамой и предстала мнѣ въ тѣхъ-же чистыхъ голубыхъ тонахъ, какъ и окаймляющія Женевское озеро Альпы... И сравненіе шло дальше, я разсказывала, какъ я жила, какъ страдала, какъ я отыскивала пути и тропинки, стремясь къ свѣтлой вершинѣ; многія свѣтлыя иллюзіи разсѣялись, какъ облака, и оказывались вблизи непріятнымъ сырымъ туманомъ; и когда я достигла вершины, передо мной была пустыня, холодная, мертвая, безмолвная пустыня. Горы не приводили къ небу; и съ холодомъ и усталостью въ душѣ, я стала спускаться по обратному склóну, на которомъ не было уже ничего новаго, ничего загадочнаго и неизвѣданнаго, спускалась не за разгадкой, за отдыхомъ... Все это было очень глупо и напыщенно, но легко слагалось въ риѳмованныя строчки и сокращало мнѣ дорогу. Потомъ, бросивъ неоконченное стихотвореніе, я

стала мечтать о томъ, какъ я пріѣду въ Люцернъ къ Катѣ и Марьянѣ и заболѣю. У меня сдѣлается жаръ, бредъ, тифъ; пріѣдетъ Николай Федоровичъ, и я умру на его глазахъ. Скажу имъ всѣмъ что-нибудь необыкновенно хорошее, необыкновенно глубокое и трогательное; ему будетъ жалко меня, жалко, что мы не видѣлись эти два года... Онъ пойметъ, какъ-бы я могла любить его и пожалѣетъ о томъ, что я умираю; но уже будетъ поздно! Я прощусь съ нимъ и умру... Голова страшно болитъ, но эти мечты о смерти такъ интересны, такъ трогательны и красивы, что мнѣ хочется, чтобъ мы какъ можно скорѣй пріѣхали въ Люцернъ, гдѣ все это случится.

Спускаемся въ Андерматъ и останавливаемся въ гостиницѣ, гдѣ можно позавтракать или пообѣдать. Солнце поднялось уже довольно высоко и свѣтитъ и грѣетъ. Наконецъ-то мы вернулись къ мирнымъ долинамъ, горнымъ потокамъ и зеленымъ рощамъ. На дворѣ гостиницы клохчутъ куры, бѣгаютъ собаки и кричатъ пѣтухи. И въ этомъ переходѣ отъ мертвой снѣжной пустыни къ жизни природы столько радостнаго.— Хоть и не безъ хлопотъ и затрудненій, намъ удается все-таки добыть наши чемоданы и переодѣться въ сухое и чистое бѣлье и платье. Я надѣваю черное кашмировое платье, новую парижскую кофточку цвѣта cocher и бѣлую соломенную шляпу съ бѣлымъ страусовымъ перомъ, слишкомъ парадную для путешествія, но другой у меня нѣтъ. Изъ монахини или нищей мгновенно превращаюсь въ парядную барышню, и, взглянувъ на себя мелькомъ въ зеркало, нахожу себя очень привлекательной. Глаза блестятъ и щеки горятъ лихорадочнымъ румянцемъ. Переодѣвшись, выхожу въ столовую, гдѣ всѣ и знакомые и незнакомые пассажиры съ участіемъ разспрашиваютъ о томъ, болитъ-ли еще у меня голова, какъ я себя чувствую? Оказывается, что человѣкъ перекувырнувшійся или полетѣвшій съ высоты на глазахъ своихъ ближнихъ, становится для нихъ интереснѣе. Мнѣ очень весело и смѣшно чувствовать себя предметомъ ихъ вниманія. Подсаживаемся съ Алексѣемъ Александровичемъ къ одному изъ столиковъ, закусываемъ и выпиваемъ очень много вина, отъ котораго я совсѣмъ не пьянѣю, а напротивъ, оживаю и подбодряюсь. Прибываютъ новые пассажиры. Прежніе всѣ теперь перезнакомились между собой, не взирая на различіе націй и языковъ. Сердитый англичанинъ оказывается преинтереснымъ собесѣдникомъ и путешественникомъ, объѣхавшимъ и Америку и Австралію, потерпѣвшимъ крушеніе, скитавшимся въ теченіе сорока дней, съ семью уцѣлѣвшими отъ крушенія товарищами, на необитаемомъ островѣ, гдѣ онъ чуть не погибъ отъ жажды... Я заслушиваюсь его разсказовъ и въ каретѣ сообщаю ихъ Алексѣю Александровичу, который говоритъ: „Вретъ онъ все тебѣ“!...

Ѣдемъ дальше и спускаемся все ниже и ниже. И всѣ четверо

мы радуемся, снова услыхавъ шумъ лѣсовъ и ревъ потоковъ. Снова чудныя неистощимо-разнообразныя картины развертываются передъ нашими глазами. Виды тѣ-же, что были на томъ склонѣ, но освѣщеніе другое. Тамъ былъ тусклый лунный вечеръ, здѣсь ясное солнечное утро. И въ лучахъ солнца красота горъ еще живѣе и совершеннѣе, цвѣта ярче.

Мы несемся подъ гору. Я уже не мечтаю о смерти. Зачѣмъ умирать? Жизнь такъ чудно хороша! Въ яркой синевѣ неба парятъ орлы. Дикая козочка стоитъ, застывъ въ недвижной позѣ, на вершинѣ остраго утеса; другая карабкается тонкими цѣпкими ножками по отвѣсному голому камню. Чудныя животныя! Какъ я люблю оленей, ланей, сернъ и козъ, этихъ робкихъ, чуткихъ, свободныхъ и мирныхъ, красивыхъ животныхъ. Я хотѣла бы жить отшельницей гдѣ-нибудь здѣсь въ горахъ, въ маленькой хижинѣ, недалеко отъ дубовой рощи и горнаго потока, жить здѣсь въ тишинѣ и въ полномъ уединеніи, въ дружбѣ съ орлами и ланями.

Юноша тоже не сводитъ глазъ съ горъ и на его добродушномъ наивномъ лицѣ написано искреннее восхищеніе красотой Божьяго міра. Изрѣдка онъ улыбается или говоритъ, показывая пальцемъ: „Посмотрите, тамъ коза!“ Или: „А это не человѣкъ-ли?“

Матушка его тоже примирилась съ горами, уже не закрываетъ глазъ и даже восклицаетъ отъ времени до времени: „Чортъ побери! Да это просто красиво!..“

Алексѣй Александровичъ, выпившій чуть не двѣ бутылки коньяку, становится все веселѣй и болтливѣй, занимая разсказами толстую француженку, растирающую его больную руку. Она относится къ намъ съ большимъ почтеніемъ съ той минуты, какъ мы переодѣлись, и съ любопытствомъ разспрашиваетъ Алешу о Парижѣ, котораго она не видала.

Вотъ и конецъ горамъ. Вотъ и Альторфъ съ памятникомъ Вильгельма Телля. Алексѣй Александровичъ насвистываетъ мотивы увертюры Россини. А на горѣ мирно позваниваетъ колоколами стадо пасущихся пестрыхъ коровъ. Потомъ Алеша начинаетъ разсказывать толстухѣ въ комическомъ тонѣ содержаніе оперы, и француженка слушаетъ его, разинувъ ротъ и вытаращивъ глаза. Услыхавъ о выстрѣлѣ въ яблоко, положенное на голову сына, она приходитъ въ негодованіе и, пожимая плечами, восклицаетъ: „Никогда бы я этого не допустила!.. Вѣдь несчастный мальчикъ могъ окривѣть!..“

А вотъ и Флюэленъ и тихое Фирвальштедтское озеро съ его красивыми задумчивыми берегами.

Мы окончательно и не безъ удовольствія разстаемся съ почтовыми каретами и переходимъ на пароходъ. Послѣ всѣхъ бѣдствій и

приключеній сегодняшняго утра ѣзда на пароходѣ кажется особенно спокойной и пріятной.

Алексѣй Александровичъ становится все довольнѣй и радостнѣй. „Да,“ говоритъ онъ, лѣниво наводя бинокль на берегъ, „вотъ какъ потреплешься, да постранствуешь по разнымъ дебрямъ, такъ и оцѣнишь какъ слѣдуетъ всю прелесть культурной комфортабельной обстановки. То ли дѣло выспаться на мягкой кровати, взять теплую ванну, отдохнуть на мягкомъ диванѣ, угостить себя хорошимъ тонкимъ обѣдомъ съ добрымъ старымъ виномъ; потомъ хорошая сигара, хорошая газета... Вотъ что придаетъ цѣну жизни.“

Я молчу, но, конечно, не соглашаюсь. Какой вздоръ! Не на мягкихъ диванахъ отдыхаетъ душа. Я чувствую себя прекрасно, совершенно ожила и отдохнула и если бы не Марьяна, я бы хоть сейчасъ готова на Монбланъ.

Пароходъ свиститъ, пароходъ дымитъ, и мы несемся по чудному озеру, любуясь его берегами. Проѣзжаемъ Фицнау, проѣзжаемъ Веггисъ и вотъ передъ нами открывается Риги и Пилатусъ. Сейчасъ мы будемъ дома съ Катей и Марьяной. Видѣнъ уже Люцернъ, конецъ и цѣль нашей поѣздки.

Багряныя облака стелются надъ темно-лиловыми вершинами, солнце садится за горы. А пароходъ нашъ причаливаетъ къ пристани, и мы прощаемся съ англичаниномъ, прощаемся съ нашей француженкой, которая цѣлуетъ и обнимаетъ меня, съ ея сыномъ, который тоже желаетъ намъ всего, всего хорошаго и долго еще оглядывается на насъ и киваетъ намъ, когда мы уже сидимъ въ каретѣ. Ѣдемъ въ скромный Beaurivage, избранный Катей для своей резиденціи, и спрашиваемъ о ней кельнера. Онъ называетъ намъ номеръ и прибавляетъ, что madame дома и ждетъ насъ... И madame, и mademoiselle и monsieur.

— Какой monsieur?

— Monsieur... Отецъ mademoiselle... Онъ пріѣхалъ сегодня и тоже взялъ себѣ номеръ.

Я чуть не роняю свой букетъ изъ рукъ.

— Николинька?.. Скажите, какая неожиданность!.. Ну, что-жъ, это прекрасно, прекрасно!

И мы торопливо поднимаемся по лѣстницѣ. Мимоходомъ я взглядываю на себя въ зеркало. Ничего. Все благополучно. Только не надо такъ волноваться. Ни сіять, ни волноваться! Боже мой, Боже мой! Такъ нѣтъ на свѣтѣ ничего невозможнаго. Сонъ въ руку, сонъ въ руку! Нѣтъ, куда дѣйствительность лучше, чѣмъ всякія мечты. Пріѣхалъ, пріѣхалъ... Это судьба! Боже, какая радость! Только не сіять и не волноваться!..

Марьяна и Катя выбѣгаютъ въ коридоръ намъ навстрѣчу, а за

ними выходитъ и онъ, и мы начинаемъ здороваться, обниматься и цѣловаться тутъ же, почти на лѣстницѣ, не обращая вниманія на разглядывающихъ насъ лакеевъ и горничныхъ и проходящихъ иностранцевъ.

Катя говоритъ, что онѣ уже второй вечеръ поджидаютъ насъ и смотрѣли изъ окна, когда подъѣхала карета, но не узнали насъ и спорили, потому что Катю сбила съ толку моя шляпа. „Что это ты въ такомъ парадѣ путешествуешь?“ — „Да ту я въ печку бросила.“ — „Ну?!“ — „Постой, душа моя, мы тебѣ еще поразскажемъ... Нѣтъ, но Николинька-то, Николинька!.. Какъ это ты надумался?“ — „Да вотъ пріѣхалъ въ Montreux, а затѣмъ сюда, слѣдомъ за моей бѣглянкой...“ — „Хорошо, хорошо!.. Очень это удачно. Ну, идемте же въ комнаты.“

Мы входимъ въ свѣтлую просторную комнату съ двумя окнами на озеро, и здѣсь продолжаются безсвязныя восклицанія и разсказы. Алексѣй Александровичъ убѣжденъ, что теперь всѣмъ интереснѣе всего разсказы о нашей поѣздкѣ, о нашемъ паденіи, но Катя и Марьяна не даютъ ему говорить, перебивая его и разсказывая о своихъ прогулкахъ, о лицахъ, которыхъ онѣ встрѣчаютъ за табль-д'отомъ. Николай Федоровичъ молчитъ, и я украдкой разглядываю его, стараясь не сіять и не волноваться. Онъ не постарѣлъ и не перемѣнился. Онъ совсѣмъ, совсѣмъ тотъ-же. И послѣднихъ двухъ лѣтъ какъ не бывало. Мнѣ кажется, что вчера онъ уѣхалъ изъ деревни, а сегодня пріѣхалъ сюда. О томъ, что онъ не пріѣхалъ въ деревню, когда я такъ его ждала, я уже не помню. Развѣ это было? Нѣтъ! Было только хорошее. Мнѣ кажется, что уже и то, что онъ тогда пріѣхалъ въ Божидаровку было съ его стороны необыкновенно добрымъ и благороднымъ поступкомъ: но то, что онъ теперь пріѣхалъ *сюда*, — это уже такой высокій, такой возвышенный поступокъ, за который нельзя достаточно полюбить его... И онъ растетъ и растетъ въ моихъ глазахъ, такъ что я даже боюсь взглянуть на него, чтобы не выдать умиленія, восхищенія и нѣжности, которыя переполняютъ мнѣ сердце. Алексѣй Александровичъ распоряжается насчетъ прибавленія еще одной комнаты, (для меня съ Марьяной) и заказываетъ двѣ теплыхъ ванны...

Я рада уйти въ ванну, чтобъ немножко успокоиться, собраться съ мыслями, вздохнуть отъ всей души, улыбнуться, закрыть лицо руками и сказать: „Боже мой! Боже мой!..“

Умывшись и прихорошившись, мы возвращаемся въ комнату Кати. Лакей вноситъ туда подносъ съ чаемъ, хлѣбомъ, медомъ, масломъ, молокомъ и закусками.

— Закрыть, можетъ быть окна? — говоритъ Катя, приступая къ разливанію чая.

— Нѣтъ, зачѣмъ? Такой чудный теплый вечеръ.

Николай Федоровичъ сидитъ на подоконникѣ, обнявъ одной рукой тоненькую Марьяну, которая, стоя у окна, разбираетъ привезенныя мной розы, подрѣзаетъ ихъ корешки, обрѣзаетъ увядшіе и помятые листья и ставитъ цвѣты въ двѣ приготовленныя вазочки со свѣжей водой.

Заря догораетъ и гаснетъ. По озеру тихо скользятъ лодочки. Послѣдній черный пароходъ съ шипѣньемъ уносится вдаль; и долго еще ярко свѣтятся въ темнотѣ его красные и зеленые фонари. Риги и Пилатусъ тихо дремлютъ другъ противъ друга, какъ два великана. А на бульварѣ, передъ Насьоналемъ, еще играетъ музыка и до насъ отчетливо доносятся беззаботно-радостные звуки испанскаго вальса Оливье Метра.

— Идите-ка къ намъ сюда, — говоритъ Марьяна, оглядываясь на меня съ улыбкой.

И я робко подхожу къ нимъ и сажусь подлѣ Марьяны, не смѣя взглянуть ни на него, ни на небо, ни на озеро. Чтобы дѣвать куда-нибудь глаза, я принимаюсь помогать Марьянѣ разбирать и подрѣзать розы, которыя колютъ мнѣ пальцы.

А Алеша, утолившій свой аппетитъ поданными закусками, цѣлуетъ руку Кати, поставившей передъ нимъ стаканъ чаю, и блаженно разваливаясь на мягкомъ диванѣ, вынимаетъ портсигаръ, говоря: „Да, вотъ какъ потреплешься, да постранствуешь по разнымъ дебрямъ...“

В. Микуличъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ИЗЪ ДНЕВНИКА АМІЕЛЯ.

Переводъ съ французскаго гр. **М. Толстой**, подъ редакціей гр. **Льва Толстого**.

---

1 апрѣля 1870 г. Мнѣ кажется, что для женщины любовь есть высшій авторитетъ, судящій обо всемъ и рѣшающій вопросы добра и зла. Для мужчины любовь подвластна добру; она — великая страсть, но не есть источникъ порядка, синонимъ разума, безусловный критерій превосходства. Кажется, что для женщины идеаломъ служитъ совершенство любви, какъ для мужчины—совершенство справедливости. Въ этомъ смыслѣ и могъ сказать апостолъ Павелъ, что женщина слава мужчины, а мужчина слава Божія. Поэтому женщина, вся поглощенная предметомъ своей нѣжности, находится, такъ сказать, на природномъ пути; она вполнѣ женщина и осуществляетъ свой основной образъ. Напротивъ, мужчина, который ограничилъ-бы свою жизнь въ супружескомъ обожаніи и который считалъ-бы, что пожилъ достаточно, сдѣлавшись жрецомъ любимой женщины — былъ-бы полумужчиной; его презираетъ свѣтъ, а, втайнѣ, можетъ быть и сами женщины.

Истинно любящая женщина хочетъ потеряться въ сіяніи любимаго человѣка; она хочетъ, чтобы любовь ея сдѣлала мужчину болѣе великимъ, болѣе сильнымъ, болѣе мужественнымъ, болѣе дѣятельнымъ. Поэтому каждый полъ исполняетъ свое назначеніе: женщина какъ-бы предназначена мужчинѣ, а мужчина—обществу. Она отдается одному, онъ — всѣмъ. И каждый изъ нихъ только тогда находитъ спокойствіе и счастье, когда познаетъ этотъ законъ и послѣдуетъ ему.

26 октября 1870 г. Общественная жизнь опирается на сознаніе, а не на науку. Цивилизація, прежде всего, дѣло нравственное. Если нѣтъ честности, нѣтъ уваженія къ праву, нѣтъ уваженія къ обязанностямъ, нѣтъ любви къ ближнему, словомъ, если нѣтъ добродѣтели — все находится въ опасности, все рушится; и ни науки, ни искусства, ни роскошь, ни промышленность, ни риторика, ни полиція, ни таможня не въ состояніи задержать висящее на воздухѣ зданіе, не имѣющее основанія.

Государство, основанное только на разсчетѣ и скрѣпленное страхомъ, представляетъ сооруженіе и гнусное и непрочное. Средняя нравственность массъ и достаточное проявленіе добродѣтели есть фундаментъ всякой цивилизаціи, краеугольнымъ камнемъ его служитъ долгъ. Тѣ, которые, въ тиши исполняютъ его, подавая этимъ добрый примѣръ, являются такимъ образомъ спасеніемъ и поддержкою того блестящаго свѣта, который и не знаетъ о нихъ. Десять праведниковъ могли спасти Содомъ, но нужны тысячи и тысячи добрыхъ людей, чтобы предохранить народъ отъ развращенія и погибели.

Если нравственность народа страдаетъ отъ невѣжества и страстей, то, съ другой стороны, нужно сознаться, что нравственный индиферентизмъ есть болѣзнь людей высококультурныхъ. Этотъ-то разладъ между просвѣщеніемъ и добродѣтелью, между мыслью и совѣстью, между умственной аристократіей и честной и грубой толпой, представляетъ наибольшую опасность для свободы. Увеличеніе числа эстетиковъ, сатириковъ, скептиковъ, блестящихъ говоруновъ, указываетъ на химическое разложеніе общества. Примѣръ: вѣкъ Августа и Людовика XV. Пресыщенные насмѣшники — это эгоисты, которые освобождаютъ себя отъ общихъ обязанностей и которые, освободивъ себя отъ всякаго усилія, не противодѣйствуютъ никакому бѣдствію. Утонченность ихъ состоитъ въ отсутствіи сердца. Это удаляетъ ихъ отъ истинной человѣчности, приближая ихъ къ природѣ демонической. Чего недоставало Мефистофелю? Не ума, конечно, а доброты.

16 ноября 1870 г. Глядя въ глубину бездны, испытываешь что-то захватывающее, ошеломляющее и неизъяснимое, а каждая душа есть таже бездна, тайна любви и состраданія. Проникая въ глубину этого святилища, слыша сладкій шопотъ молитвъ, жалобъ, гимновъ, исходящихъ изъ глубины сердца — я всякій разъ испытываю чувство священнаго трепета: съ нѣжнымъ умиленіемъ и съ религіозной сдержанностью присутствую я при этихъ невольныхъ признаніяхъ. Это мнѣ кажется чудеснымъ, какъ поэзія и божественнымъ, какъ всякое рожденіе. Я смолкаю, преклоняюсь и обожаю. Если не могу — то утѣшаю и подкрѣпляю.

4 февраля 1871 г. Вѣчное напряженіе характеризуетъ новѣйшую нравственность. Это болѣзненное стремленіе замѣнило собою гармонію, равновѣсіе, радость, т. е. бытіе. Мы всѣ представляемъ изъ себя фавновъ, сатировъ, симновъ, стремящихся стать ангелами, уродовъ, старающихся себя прикрасить, неуклюжихъ кризалидъ (chrysalides), съ трудомъ производящихъ каждая свою бабочку. Идеалъ — уже не ясная красота души, а ужасъ Лаокоона, отбивающагося отъ гидры зла. Жребій брошенъ. Нѣтъ больше людей совершенныхъ и счастливыхъ, есть только кандидаты на небо — каторжники на землѣ.

22 февраля 1871 г. Вечеръ у М***. Человѣкъ тридцать самаго лучшаго общества; счастливое распредѣленіе половъ и возрастовъ. Сѣдыя головы, молодежь, умныя лица... Все въ роскошной и блестящей обстановкѣ. Въ свѣтѣ надо дѣлать видъ, что будто живешь амврозіей и не имѣешь никакихъ заботъ, кромѣ благородныхъ: забота, нужда, страсть — не существуютъ. Всякая реальность устранена, какъ нѣчто слишкомъ грубое.

Однимъ словомъ, то, что называется большимъ свѣтомъ, живетъ мгновенною и льстящею иллюзіей, что оно находится въ эфирномъ состояніи и дышетъ миѳологическою жизнью. А потому всякая страстность, всякій крикъ природы, всякое истинное страданіе, всякая необдуманная фамильярность, всякій признакъ истинной страсти поражаютъ и дѣлаютъ диссонансъ въ этой утонченной средѣ и мгновенно уничтожаютъ совокупное произведеніе этого дворца изъ облаковъ, эту волшебную, воздвигнутую съ общаго согласія, архитектуру.

---

29 іюля 1871 г. Жизнь состоитъ въ непрерывномъ обновленіи. Въ этомъ искусствѣ Гёте, Шлейермахеръ, Гумбольдтъ были великими мастерами. Чтобы сохранить въ себѣ жизнь, необходимо постоянно молодѣть помощью внутреннаго обновленія и платонической любви. Душа должна безпрерывно совершенствоваться, испытывать себя во всѣхъ своихъ состояніяхъ, звучать всѣми фибрами, создавать самой себѣ новые интересы...

Письма и эпиграммы Гёте, которыя я читалъ сегодня, не возбуждаютъ любви къ нему. Почему? потому что въ немъ мало души. Его пониманіе любви, религіи, долга, патріотизма имѣетъ что-то мелочное и отталкивающее. Ему не достаетъ горячности, великодушія.

Скрытая сухость, плохо скрываемый эгоизмъ проглядываютъ сквозь этотъ богатый и гибкій талантъ.

Правда, что этотъ Гётевскій эгоизмъ имѣетъ, по крайней мѣрѣ, то преимущество, что онъ уважаетъ свободу каждаго и привѣтствуетъ всякую оригинальность, но онъ не помогаетъ никому въ ущербъ себѣ, онъ ни за кого не мучится, не отягчаетъ себя чужимъ бременемъ, словомъ, въ немъ нѣтъ состраданія, этой великой христіанской добродѣтели. Совершенство для Гёте состоитъ въ личномъ благородствѣ, а не въ любви. Его центръ — эстетика, а не нравственность. Ему непонятна святость, и онъ никогда не далъ себѣ труда подумать надъ страшной загадкой зла.

Онъ спинозистъ до мозга костей. Онъ вѣритъ въ личную удачу, но не въ свободу и въ отвѣтственность.

Это грекъ (лучшаго хорошаго) времени, котораго не коснулся

внутренній переломъ религіознаго сознанія. Такимъ образомъ онъ изображаетъ состояніе души, предшествующее или послѣдующее христіанству, то, что осторожные критики нашего времени называютъ современнымъ духомъ; и современнымъ духомъ, разсматриваемымъ только въ одномъ своемъ направленіи, именно въ культѣ природы, такъ какъ Гёте всегда чуждъ соціальныхъ и политическихъ стремленій толпы и нисколько не интересуется обездоленными, слабыми, угнетенными, такъ-же, какъ и не интересуется ими и сама природа. Недомоганіе нашего времени не существуетъ для Гёте и для его школы. И это понятно: диссонансы не существуютъ для глухихъ. Тотъ, кто не слышитъ голоса совѣсти, голоса сожалѣнія и раскаянія, не можетъ понять волненія тѣхъ, которые признаютъ двухъ властителей, два закона, и которые принадлежатъ двумъ мірамъ: миру природы и міру свободы.

15-го августа 1871 г. Прочитана 2-ой разъ „Жизнь Іисуса" Ренана, 16-тое популярное изданіе. Характерно въ этомъ анализѣ христіанства то, что грѣху не отведено въ немъ роли. А между тѣмъ, если что объясняетъ успѣхъ Благой Вѣсти среди людей, то это то, что она принесла имъ освобожденіе отъ грѣха, т. е. спасеніе. Слѣдовало-бы, однако, религіозно истолковывать религію, а не скрадывать центра своего предмета. „Этотъ бѣло-мраморный христосъ" не тотъ, который давалъ силу мученикамъ и осушалъ столько слезъ. Авторъ лишенъ нравственной серьезности и смѣшиваетъ благородство со святостью.

Онъ говоритъ какъ чуткій артистъ о трогательномъ предметѣ, но совѣсть его какъ будто не принимаетъ участія въ вопросѣ.

Какъ смѣшивать эпикуреизмъ воображенія, наслаждающагося эстетическимъ зрѣлищемъ, съ муками души, страстно ищущей истину?

Въ Ренанѣ есть остатокъ семинарской хитрости; онъ давитъ священными веревками. Пускай-бы онъ обращался съ своей слащавой презрительностью къ болѣе или менѣе хитрящему духовенству, но къ искреннимъ душамъ слѣдовало-бы обращаться съ искренностью болѣе уважительной. Издѣвайтесь надъ фарисействомъ, но говорите прямо съ людьми честными.

29 декабря 1871 г. Читалъ Банзена: критика его эволюціонизма Гегеля-Гартмана во имя принциповъ Шопенгауэра. Что за писатель! Онъ, бѣснуясь, производитъ море чернилъ, которое скрываетъ во мракѣ его мысль, и что за ученье! Отчаянный пессимизмъ, находящій міръ безумнымъ, „положительно идіотичнымъ". Онъ упрекаетъ Гартмана въ томъ, что онъ допустилъ хоть немного логичности въ эволюціи міра, тогда какъ эволюція эта существенно противорѣчива, и малая частичка разума находится только въ головѣ разсуждающаго.

Изо всѣхъ возможныхъ мiровъ тотъ, который существуетъ самый дурной. Единственное его оправданiе то, что онъ самъ собою стремится къ разрушенiю. Надежда философа только въ томъ, что разумныя существа сократятъ агонiю этого мiра и ускорятъ возвращенiе всего въ ничто. Это сатанинская, отчаянная философiя, которая не даетъ даже тѣхъ перспективъ самоотреченiя, которыя даетъ буддизмъ разочарованной душѣ. Личность можетъ только протестовать и проклинать. Этотъ бѣшенный Сиваизмъ вытекаетъ изъ представленiя о томъ, что мiръ произошелъ отъ слѣпой воли и что она составляетъ начало всего.

Эволюцiонизмъ, фатализмъ, пессимизмъ, нигилизмъ: и не странно-ли видѣть расцвѣтъ этого ужаснаго и отчаяннаго ученiя въ то самое время, когда нѣмецкiй народъ празднуетъ свое величiе и свои побѣды? Контрастъ такъ поразителенъ, что заставляетъ задуматься. Это—оргiя философской мысли, отождествляющей заблужденiе съ самимъ существованiемъ и развивающей прудоновскую аксiому: „Богъ есть—зло", приведетъ толпу къ христiанству, которое не есть ни оптимизмъ, ни пессимизмъ, но которое объявляетъ благо доступнымъ, называя его „вѣчной жизнью".

Насмѣшка надъ самимъ собою, сопротивленiе всякому внутреннему единству, всякой истинной серьезности, изъ боязни обмана и глупости,— вотъ къ чему приводитъ одинъ умъ, если совѣсть не вмѣшается въ дѣло.

Ясное представленiе объ обязанности должно служить балластомъ для ума, иначе умъ захлебнется въ недугѣ и горечи.

7 февраля 1872 г. Ничего нельзя сдѣлать безъ вѣры, но вѣра можетъ уничтожить всякую науку.

Что же это за Протей, и откуда онъ?

Вѣра есть достовѣрность безъ доказательствъ. Какъ достовѣрность, она составляетъ энергическое побужденiе къ дѣятельности; какъ нѣчто недоказанное—она составляетъ противоположность наукѣ. Отъ этого ея два вида и два различные вывода изъ нея. Въ чемъ ея исходная точка? Въ мысли? Нѣтъ; мысль можетъ поколебать и утвердить вѣру, но не можетъ породить ее. Гдѣ ея происхожденiе? Въ волѣ! Нѣтъ; добрая воля можетъ содѣйствовать ей, злая воля можетъ препятствовать ей, но вѣрятъ люди не вслѣдствiе воли, и вѣра не есть обязанность! Вѣра есть чувство, потому что въ ней заключается надежда, она инстинктъ, потому что она предшествуетъ всякому внѣшнему поученiю. Вѣра есть наслѣдство рождающейся личности, есть то, что соединяетъ ее со всѣмъ существующимъ. Личность отдѣляется только съ трудомъ отъ лона матери, съ усилiемъ только объединяется среди окружающей ее природы, отдѣляется отъ любви, окружавшей ее, отъ идей и колыбели, содержавшихъ ее. Она рождается въ единенiи съ человѣчествомъ, мiромъ и Богомъ. Слѣдъ этого

первобытнаго единенія и есть вѣра. Вѣра есть воспоминаніе того неопредѣленнаго эдема, изъ котораго вышла наша личность и въ которомъ она жила въ сомнамбулическомъ состояніи, предшествовавшемъ личной жизни.

Наша индивидуальная жизнь состоитъ въ выдѣленіи себя изъ нашей среды, въ воздѣйствіи на нее и сознаніи ея, посредствомъ котораго мы и дѣлаемся духовными, т. е. разумными и свободными личностями. Наша первоначальная вѣра составляетъ только матеріалъ, перерабатываемый нашимъ опытомъ жизни, и который, вслѣдствіе нашихъ разнообразныхъ пріобрѣтаемыхъ познаній можетъ совершенно потерять свою форму. Мы можемъ умереть, не найдя той гармоніи, которую даетъ намъ личная вѣра, удовлетворяющая нашъ разумъ, нашу совѣсть и наше сердце, но потребность вѣры никогда не оставляетъ насъ. Она есть постулатъ высшей всесогласующей истины. Она есть двигатель всякаго изслѣдованія, она указываетъ возможность награды, указываетъ путь.

Такова, по крайней мѣрѣ, вѣра совершенная. Суевѣрная вѣра дѣтства, та, которая никогда не знала сомнѣній, не знала науки, та, которая не уважаетъ, не понимаетъ и не терпитъ противныхъ убѣжденій—это вѣра ненависти, это мать всѣхъ фанатизмовъ.

Чтобы обезоружить въ насъ вѣру, лишить ее ея ядовитости, она должна быть подчинена любви къ истинѣ. Высшій культъ истины есть единственный способъ очищенія всѣхъ религій, всѣхъ исповѣданій, всѣхъ сектъ.

Вѣра должна быть на второмъ мѣстѣ, потому что у нея есть судья.

Когда она становится высшимъ судьей, міръ впадаетъ въ рабство; христіанство IV и XVI вѣка даетъ намъ доказательство этого.

Очищенная вѣра побѣдитъ ли когда вѣру грубую. Будемъ надѣяться на лучшее будущее.

Трудность, однако, вотъ въ чемъ. Вѣра ограниченная имѣетъ гораздо больше энергіи, чѣмъ вѣра просвѣщенная; міръ принадлежитъ болѣе волѣ, чѣмъ мудрости. И потому нельзя быть увѣреннымъ, что свобода восторжествуетъ надъ фанатизмомъ, притомъ же независимость мысли никогда не будетъ имѣть грубой силы предразсудка. Разрѣшеніе вопроса въ раздѣленіи труда. Послѣ тѣхъ, которые высвободятъ идеалъ чистой и свободной вѣры, придутъ насильники, которые вложатъ эту вѣру въ предразсудки и учрежденія. Развѣ не то же самое случилось съ христіанствомъ. Но все-таки христіанство сдѣлало больше добра, чѣмъ зла человѣчеству. Такъ двигается міръ послѣдовательнымъ гніеніемъ все высшихъ и высшихъ идей.

30 августа 1872 г. Элукубраціи à priori надоѣли мнѣ теперь до крайности.

Всѣ схоластическія теоріи заставляютъ меня сомнѣваться въ томъ, что онѣ доказываютъ, потому что, вмѣсто того, чтобы искать, онѣ уже съ самаго начала утверждаютъ. Ихъ задача въ томъ, чтобы создавать укрѣпленія вокругъ предразсудка, а не въ томъ, чтобы открывать истину.

Онѣ собираютъ тучи, а не солнечные лучи. Всѣ онѣ придерживаются католическаго пріема, исключающаго сравненіе и изслѣдованіе. Главное дѣло для нихъ овладѣть согласіемъ, дать аргументы для вѣры и уничтожить изслѣдованія.

Чтобы убѣдить меня, нужно не имѣть предвзятаго мнѣнія и прежде всего быть критически искреннимъ, нужно дать мнѣ осмотрѣться, ознакомить меня съ вопросами, съ ихъ происхожденіемъ, трудностями, различными попытками разрѣшеній и степенью ихъ вѣроятности.

Я хочу, чтобы уважали мой разумъ, мою совѣсть и мою свободу.

Всякій схоластицизмъ есть уловленіе, его власть какъ будто объясняетъ что-то, она только притворяется и ея уваженіе обманчиво. Игральныя кости поддѣланы. И посылки предрѣшены. Неизвѣстное предполагается извѣстнымъ, и все остальное вытекаетъ изъ этого. Философія есть полная свобода ума, поэтому независимость отъ всякаго предразсудка религіознаго, политическаго и общественнаго. Философія начинаетъ съ того, что она не христіанская, не языческая, не монархическая, не демократическая, не соціалистическая, не индивидуалистическая — она критическая и безпристрастная. Пускай это нарушаетъ готовыя мнѣнія церкви, государства, исторической среды, въ которой родился философъ. Est ut est aut non est. Философъ есть человѣкъ трезвый — среди всеобщаго пьянства, онъ видитъ разсужденія, которымъ охотно подчиняются существа. Собственная природа обманываетъ его менѣе, чѣмъ всякаго другого. Онъ судитъ болѣе здраво о сущности вещей.

Свобода его въ томъ, чтобы видѣть ясно, быть трезвымъ, отдавать себѣ отчетъ.

11 декабря 1872 г. Сколько перегородокъ между нами и предметами! Расположеніе духа, здоровье, всѣ ткани глаза, стекла нашей клѣточки, туманъ, дымъ, дождь или пыль и даже самый свѣтъ— и все это безконечно измѣняющееся. Гераклитъ говорилъ: „нельзя выкупаться два раза въ одной и той же рѣкѣ“, я-бы сказалъ: нельзя видѣть два раза одинъ и тотъ же пейзажъ, потому что окно это одинъ калейдоскопъ, а зритель — другой.

Мудрость состоитъ въ томъ, чтобы судить и о здравомъ смыслѣ и о безуміи, подчиняться всеобщей иллюзіи, не будучи обманутымъ

ею. Поддаваться игрѣ волшебницы магіи и безъ принужденія играть свою роль въ фантастической трагикомедіи, которая называется Міромъ. Это приличнѣе всего для человѣка со вкусомъ, умѣющаго рѣзвиться съ рѣзвыми и быть серьезнымъ съ серьезными. Мнѣ кажется, что интеллектуальность приводитъ насъ къ этому. Мысль приводитъ насъ къ сознанію того, что всякая реальность есть только сновидѣніе въ сновидѣніи. Выводитъ насъ изъ сферы волшебныхъ сновидѣній только страданіе, личное страданіе, выводитъ также чувство обязанности или то, что соединяетъ то и другое — страданіе грѣха; это все та же любовь, однимъ словомъ, нравственныя требованія. Только совѣсть отрываетъ насъ отъ очарованія Маїи; она разсѣеваетъ пары кейфа, галлюцинаціи опіума и спокойствіе созерцательнаго равнодушія.

Она, совѣсть, вталкиваетъ насъ въ ужасный водоворотъ человѣческаго страданія и человѣческой отвѣтственности. Это будильникъ, это крикъ пѣтуха, который разгоняетъ привидѣнія, это архангелъ, вооруженный мечемъ, который выгоняетъ человѣка изъ его искусственнаго рая.

Идеалъ, который себѣ составляетъ жена и мать, то понятіе, которое она имѣетъ о долгѣ и жизни, опредѣляютъ судьбу общества.

Ея вѣра дѣлается путеводною звѣздою супружеской ладьи и ея любовь началомъ жизни, которая опредѣляетъ будущее всѣхъ близкихъ.

Женщина есть спасеніе или погибель семьи. Ея назначеніе состоитъ въ томъ, чтобы утишить смятеніе мысли. Ея роль аналогична роли азота въ воздухѣ.

ВСТРѢЧИ.

1857 года, весной, мы — я съ женой — побѣжали за границу. Этотъ порывъ, этотъ спѣхъ былъ свойственъ тогда всѣмъ; долго двери были заперты, наконецъ—отворили, и всѣ ринулись. Экзаменъ, полученіе медали, право ѣхать заграницу еще не получено; а билетъ въ маль-постѣ взятъ: откладывать нельзя—очередь ѣхать придетъ чрезъ мѣсяцъ. Разрѣшеніе о выдачѣ мнѣ пенсіона застало меня въ Римѣ, гдѣ я жилъ уже полгода, и все такъ—спѣхъ, горячка. Ежели бы меня спросили: зачѣмъ вы ѣдете? Я бы, можетъ быть, отвѣтилъ: заниматься искусствомъ; но это былъ бы отвѣтъ внѣшній, не тотъ. Себѣ—я бы отвѣчалъ: остаться здѣсь я не могу, тамъ, гдѣ ширь, гдѣ свобода—туда хочу: 6 лѣтъ гимназіи, 2 года студента, 7 лѣтъ академіи—довольно, больше нельзя выносить. То, что узнавалъ, пріобрѣталъ, давило, отравляло. Не хватало уже воздуха, свободы. Мы проѣхали Европу скоро: Дрезденъ, Мюнхенъ, Парижъ, Римъ.

Въ Римъ мы поѣхали прежде, затѣмъ—въ Парижъ и оттуда съ пустыми карманами спѣшили домой,—въ Римъ. По дорогѣ между Генуей и Ливорно, на пароходѣ, мы познакомились съ Аксаковымъ, Иваномъ Сергѣевичемъ. Литераторовъ я читалъ, любилъ ихъ и уважалъ, но ни одного не встрѣчалъ и не зналъ лично. Вообще людей таланта—крупныхъ—я тогда не зналъ изъ близи [1]). Самые вліятельные, близкіе по душѣ, были Герценъ и Бѣлинскій; Бѣлинскій умеръ, а Герценъ былъ заграницей. Салтыкова я встрѣтилъ у одного художника въ Петербургѣ. Мы познакомились, но это было передъ моимъ выѣздомъ заграницу и потому знакомство наше было прервано въ самомъ началѣ.

Съ И. С. мы разговорились. Оказалось, что онъ ѣхалъ изъ Лондона, что онъ былъ у Герцена; онъ возилъ свою запрещенную комедію, чтобъ напечатать у Герцена; все, что онъ разсказывалъ о Герценѣ, было чрезвычайно дорого намъ. Ежели бы были средства, я бы поѣхалъ къ нему, я зналъ кое-что изъ его заграничныхъ вещей, я читалъ первый выпускъ «Полярной Звѣзды». Я зналъ про свиданіе Иванова, только какъ фактъ. Но ѣхать было не на что, а потому пришлось остаться только при желаніи.

[1]) Я учился въ гимназіи у Н. И. Костомарова; но узналъ его и сблизился съ нимъ съ 70 годовъ, когда встрѣтилъ въ Петербургѣ.

Мы съ Аксаковымъ подружились и поѣхали вмѣстѣ до Флоренціи; остановились въ одномъ отелѣ. Здѣсь ему пришлось выдержать оригинальное нападеніе: горничная, узнавъ, что онъ русскій, начала его упрекать за то, что у русскихъ до сихъ поръ существуютъ рабы. Аксаковъ такъ глубоко почувствовалъ справедливость упрека, что сталъ ее умолять подождать: онъ говорилъ ей, что все уже сдѣлано, чтобы не было рабовъ, и что всѣ искренно этого желаютъ и ждутъ, и что это непремѣнно будетъ. Онъ такъ убѣдительно и горячо говорилъ, что успокоилъ горничную. Я еще болѣе полюбилъ его за эту искренность и правдивость. Мы разстались во Флоренціи. Ни разу потомъ мы не встрѣтились. Но память о немъ оставалась во мнѣ неизмѣнною.

Мои художественныя занятія поглотили меня окончательно, я ничего не видѣлъ, работалъ съ утра до вечера. Товарищей мало, да и они тоже были заняты. Работа у каждаго изъ насъ была двойная: кромѣ искусства еще шло самообразованіе. Та отправная точка, съ которой мы начинали свое художественное міровоззрѣніе или творчество, была очень низка и бѣдна; каждый изъ насъ чувствовалъ свою отсталость, не смотря на то, что насъ считали первыми дома... Дорогихъ посѣтителей было мало. Тургеневъ былъ раньше, Толстого я встрѣтилъ на минуту, во время его проѣзда черезъ Римъ.

Второй изъ литераторовъ, съ которымъ я познакомился, былъ Д. В. Григоровичъ. Онъ пришелъ ко мнѣ въ мастерскую. Со мною была въ Римѣ его удивительная вещь «Деревня», которую я очень любилъ и много разъ читалъ. Связь художника со своимъ творчествомъ не поразила меня въ немъ: Д. В., тогда воспитатель В. К. Николая Константиновича, былъ веселъ, остроуменъ, разсказывалъ либеральные анекдоты, но, когда онъ ушелъ, я принялся за свою сизифову работу не облегченный, не обрадованный. Потомъ я узналъ, что и я на него произвелъ впечатлѣніе удручающее: онъ держалъ пари съ моимъ товарищемъ Мартыновымъ, что я ничего не сдѣлаю: его испугали мои эскизы, которыхъ можно было считать сотнями. Я, впрочемъ, и самъ бы держалъ такія пари: вылѣзть изъ той тины, въ которой я былъ, было очень трудно; но Богъ мнѣ помогъ, и я вышелъ.

Сближеніе товарищей, образованіе общества, болѣзнь сына, переѣздъ изъ Рима во Флоренцію, новые взгляды, наконецъ, выходъ на свѣтъ. Моя первая картина, поѣздка въ Петербургъ. Отчасти я это разсказалъ, а то, что меня касается, я разскажу особо. Теперь же буду продолжать развивать свою задачу.

Передъ отъѣздомъ въ Петербургъ пріѣхала во Флоренцію m-lle Мейзенбухъ съ дѣтьми, двумя дочерьми Герцена. Я пошелъ познакомиться и предложить свои услуги. М-lle Мейзенбухъ была милая, добрая идеалистка, глубоко почитавшая Герцена и воспитательница младшей дочери его чуть не съ рожденія. Дѣти мнѣ показались иностранцами, старшая говорила по

русски, младшая уже не говорила, но понимала. Онѣ меня обрадовали тѣмъ, что сказали, что отецъ пріѣдетъ во Флоренцію, но я не могъ дождаться—я долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ.

Дорога въ Петербургъ отъ границы оставляла впечатлѣніе тяжелое. Было время возстанія въ Польшѣ—срубленные лѣса вдоль желѣзной дороги и тутъ же брошенные, конвой сопровождалъ насъ; жителей не видно—точно вымерли всѣ. Но, наконецъ, и Петербургъ—общественная жизнь, свобода печати, споры, все это было ново для меня, оставившаго Петербургъ въ 57 году. Я засталъ споръ въ литературѣ, перебранку по поводу «Отцовъ и дѣтей» Тургенева, этой удивительной вещи. Я читалъ все, что могъ, прочелъ «Что дѣлать», только что вышедшее. Получилъ приглашеніе познакомиться съ «Современникомъ». Былъ у нихъ. Некрасова не было. Такъ я его и не видѣлъ въ этотъ пріѣздъ; я съ нимъ познакомился позже, въ 70-хъ годахъ. Съ Салтыковымъ возобновилъ знакомство. Я былъ недолго въ Петербургѣ, но нетрудно было замѣтить, что новая жизнь проникла всюду. Характерная черта новыхъ молодыхъ литераторовъ, съ которыми я встрѣчался, была сильнѣйшій протестъ противъ всего стараго, даже только что установленнаго. Меня, какъ художника, признавали за мое новое отношеніе и къ искусству, и къ сюжету. Первый, кто мнѣ открылъ то, что я сдѣлалъ, былъ Н. Д. Ахшарумовъ; онъ видѣлъ картину [1]) еще во Флоренціи. М. Е. Салтыковъ написалъ въ «Современникѣ» дорогую для меня рецензію, но я не зналъ тогда, что она его. Горбуновъ превосходно разсказалъ мнѣ, какъ старый генералъ обсуждалъ картину. Я понялъ въ Петербургѣ, что то, чего я искалъ въ Римѣ, во Флоренціи въ искусствѣ, или лучше сказать въ себѣ, то самое всѣ искали здѣсь, и когда меня спросилъ покойный Цесаревичъ Николай Александровичъ: почему я сдѣлалъ ново, самостоятельно свою картину, я отвѣчалъ:—«Впереди всѣхъ насъ, ищущихъ новый путь, идетъ отецъ вашъ, нашъ Государь. Наше время таково». Старики направленія негодовали, но новое взяло верхъ. Государь одобрилъ мой трудъ, и я могъ ѣхать домой, отказавшись отъ всѣхъ мѣстъ и работъ, которыя мнѣ стали предлагать.

—

Пріѣхавъ домой во Флоренцію, я засталъ новыхъ русскихъ, пріѣхавшихъ сюда. Я засталъ цѣлое общество, точно часть Петербурга переселилась сюда. Я узналъ, что былъ Герценъ. Художники не особенно остались имъ довольны. Сближеніе Герцена съ ними не произошло. Но былъ тутъ на лицо другой значной человѣкъ — Михаилъ Александровичъ Бакунинъ. Онъ встрѣтилъ меня, какъ будто стараго знакомаго, и сказалъ: «А мы уже распредѣлили между нами ваши деньги за картину». Меня нѣсколько удивило это привѣтствіе, и я отвѣчалъ:—«Жаль только, что денегъ нѣтъ, я еще не получилъ, да и получу вѣроятно не такъ скоро».

[1]) «Тайная вечеря».

Но это не нарушило нашихъ добрыхъ, даже сердечныхъ отношеній. При дальнѣйшемъ знакомствѣ съ нимъ и съ окружающими его, а этихъ послѣднихъ было много, онъ производилъ впечатлѣніе большого корабля безъ мачтъ, безъ руля, двигавшагося по вѣтру, не зная куда и зачѣмъ! Около него стояла молодая, чрезвычайно красивая полька, его жена, цѣлый кругъ польскихъ и русскихъ эмигрантовъ, затѣмъ—простыхъ гражданъ, знакомыхъ. Я читалъ очеркъ Герцена, въ которомъ, съ удивительною любовью и добродушіемъ, онъ разсказываетъ, какъ жилъ Бакунинъ въ Лондонѣ. Здѣсь было нѣчто иное: много комичнаго, смѣшного и рядомъ съ этимъ грустнаго, тяжелаго.

Громадный, толстый человѣкъ съ курчавой черной головой, крупныя части лица его похожи очень на его дядю, извѣстнаго Муравьева-Виленскаго; съ одышкой, съ аппетитомъ невообразимымъ, надѣлавшимъ цѣлую кучу анекдотовъ. Такова его внѣшность. Обращеніе Бакунина съ окружающими—полунасмѣшливое, полупрезрительное. Жена его, которую онъ посвятилъ въ либерализмъ, удерживала его во всѣхъ случахъ, когда онъ выходилъ изъ границъ допускаемаго. «И куда дѣвались эти дуры? Пропадаютъ цѣлый часъ, тутъ ѣсть хочется»,—говорилъ онъ про своихъ сожительницъ. Цѣлыя толпы эмигрантовъ стоятъ по стѣнѣ и у дверей, и онъ не заботится ихъ размѣстить; дѣйствительно, онъ не зналъ или забылъ, что существуетъ собственность. Онъ бралъ у шведа золотой на польскую эмиграцію и тутъ же, при немъ, посылалъ размѣнять и купить табаку; но онъ и съ своими деньгами такъ же поступалъ—такъ точно и онѣ исчезали на нужды кого угодно. Когда спросила его моя жена: «М. А., вѣрите-ли вы въ то, что вы пропагандируете?» Онъ отвѣчалъ: «Я не во что не вѣрю, я ничего не читаю, я думаю объ одномъ: закрутить, закрутить побольше, и туда съ головой... Чтобы и слѣдъ простылъ!»... Тѣ друзья, свои и чужестранные, которые тоже не признавали собственности, но только чужой, пользовались имъ и затѣмъ бросали его, и вслѣдъ чернили и клеветали до того, что распускали слухъ, будто онъ дѣлалъ фальшивыя ассигнаціи на томъ основаніи, что считалъ всякія ассигнаціи фальшивыми. Это правда, что онъ достаточно находилъ въ себѣ презрѣнія къ людямъ, чтобы имѣть то, что ему было нужно. На одномъ собраніи русскихъ онъ говорилъ рѣчь и, между прочимъ, сказалъ, что университеты теперь не имѣютъ смысла, что они сдѣлали свое дѣло въ свое время, а теперь они ничего не могутъ болѣе дѣлать и не нужны.

Вотъ какая фигура стояла среди толпы, его окружающей, въ которой, въ отдѣлѣ русскихъ, надо правду сказать, преобладалъ элементъ комическій, отрицательный и ничтожественный. Только одинъ разъ я встрѣтилъ серьезнаго, оригинальнаго поляка Ружицкаго. Онъ не умѣлъ говорить по польски. Онъ былъ по воспитанію русскій. Онъ былъ извѣстнымъ предводителемъ возстанія. Я пропущу всѣ тѣ собранія, которыя устраивали для сборовъ на эту «pauvre Pologne». Красивая молодая женщина становилась

къ дверямъ съ шляпой въ рукахъ, куда сыпались и бумажки, и золото... Помню горничную Лушу, въ желтомъ платьѣ на голое тѣло, безъ рубахи; ходила она скоро, руки болтались, какъ плети, (какъ гдѣ-то говорилъ Тургеневъ); она спала гдѣ попало, чтобы подтвердить разсказъ Дюма; она служила двумъ супругамъ, которые никогда не встрѣчались: когда одинъ бодрствовалъ, другой спалъ. Были тутъ дамы, которыя осаждали Бакунина своими несчастіями отъ преслѣдованій станового; былъ тутъ дилетантъ художникъ, который говорилъ серьезно, что у него кисть выпадаетъ изъ рукъ отъ политическаго положенія Европы. Всѣмъ имъ Бакунинъ давалъ названія *дура* или *дуракъ*. Была тутъ семья, самое начало которой былъ трагизмъ, а затѣмъ продолженіе подъ угрозой, какъ говорила дама, что оставившій долженъ пройти чрезъ трупъ другого, котораго броситъ. Для этого всегда наготовѣ держались веревка, пистолетъ и кинжалъ. Съ нимъ, М..., я былъ знакомъ, а съ дамой С... познакомился при обстановкѣ до того оригинальной, что никогда не могъ забыть. Она желала со мной познакомиться, и вотъ, съ адресомъ въ рукахъ, я пошелъ искать ее. Нашелъ домъ, вошелъ на лѣстницу и долженъ былъ войти въ стеклянную дверь; но, подойдя къ двери, я увидѣлъ въ комнатѣ очень много полунагихъ женщинъ—я остановился, думая, что это ошибка, но, убѣдившись, что я на вѣрномъ пути, спросилъ, открывъ слегка дверь, назвавъ себя; знакомъ мнѣ отвѣтили «сюда», и когда я вошелъ, женщины, составлявшія балетъ, мало по малу исчезли, и тогда я увидѣлъ огромный столъ, на немъ массу всякихъ дамскихъ принадлежностей и вставшую женщину, въ красной рубашкѣ, съ прямыми свѣтлыми волосами на головѣ и съ некрасивымъ русскимъ лицомъ. Я назвалъ себя, и она, выразивъ радость, стала мнѣ говорить, что вотъ она покупаетъ вещи своей дочери на деньги, присланныя отцомъ ея, и что она ни за что на свѣтѣ не истратитъ ни одного гроша иначе, какъ на дочь, то, что ей принадлежитъ, и стала мнѣ показывать покупки; но я увидѣлъ въ дверь другую комнату и тутъ узналъ нашъ русскій безпорядокъ. Посрединѣ комнаты стоялъ мой знакомый передъ мольбертомъ—онъ занимался живописью. Кругомъ неубранная комната, непостланная постель, на ней подносъ съ недопитымъ шоколадомъ и кусками хлѣба. Дѣвочка буквально бѣгаетъ по мебели и по постели, и вотъ сейчасъ перевернетъ мольбертъ и холстъ. Мать кричитъ и уговариваетъ дочь, та ее не слушаетъ. Она обращается ко мнѣ съ вопросомъ, какъ воспитывать ее. «Я слышала, что вы хорошо воспитываете вашихъ дѣтей». Я ничего не могъ отвѣтить; удивленіе меня совсѣмъ охватило. Я первый разъ видѣлъ такую жизнь... Цѣлыя ночи напролетъ, съ куреніемъ сигары, она проводила въ спорахъ. Она говорила, что Аспремонте (мѣсто, гдѣ ранили Гарибальди) у нея въ боку... Когда она купила себѣ на платье и начала шить, Бакунинъ сказалъ: «Слава Богу... ожила: шьетъ платье».

Провожая одного русскаго на желѣзную дорогу, мы съ Гербелемъ

были поражены русской рѣчью: «Вертись, вертись, вотъ-те какъ накладутъ въ шею, тогда узнаешь». Оборачиваемся и видимъ: беременная женщина, въ бѣломъ короткомъ платьѣ, переступаетъ рельсы. Чрезъ плечо у нея длинная труба изъ жести для сбора флоры, а мужчина, худой, съ волосами, какъ у діакона, идетъ и кричитъ. Гербель невольно воскликнулъ: «Слышу голосъ нигилиста съ береговъ Невы».

Къ Бакунину пришли два эмигранта. Оба духовнаго званія, полякъ и русскій. Онъ ихъ помѣстилъ вмѣстѣ и потомъ съ хохотомъ разсказывалъ, что одинъ выхлопоталъ себѣ паспортъ и возвращеніе, а другой у него укралъ штаны съ паспортомъ и исчезъ...

Наконецъ, это солнце, со всѣми планетами, передвинулось въ Неаполь, и настала тишина.

Неожиданно для насъ пришелъ къ намъ А. И. Герценъ, пріѣхавшій во Флоренцію. Мы обрадовались. Онъ былъ любимымъ писателемъ нашей молодости. Я подарилъ своей женѣ, еще невѣстѣ, «По поводу одной драмы», какъ самый дорогой подарокъ. Не смотря на то, что у меня былъ его фотографическій портретъ, который онъ прислалъ намъ чрезъ общаго намъ пріятеля, впечатлѣніе при встрѣчѣ было новое, полное, живое. Небольшого роста, плотный, съ прекрасной головой, съ красивыми руками; высокій лобъ, волосы съ просѣдью, закинутые назадъ безъ пробора, живые умные глаза энергично выглядывали изъ-за сдавленныхъ вѣкъ; носъ широкій, русскій, какъ онъ самъ называлъ, съ двумя рѣзкими чертами по бокамъ, ротъ, скрытый усами и короткой бородой. Голосъ рѣзкій, энергичный, рѣчь блестящая, полная остроумія. Цѣлый вечеръ мы переговорили обо всемъ; замѣтно было, что ему было легко и хорошо; видно было, что онъ былъ доволенъ встрѣтить простыхъ русскихъ людей, которые были ему пара; ему уже не доставало послѣдніе годы его жизни этого общества. Политическіе горизонты сузились, семейная жизнь сломилась; дѣти... дѣти всегда живутъ своею жизнью и подтверждаютъ истину: пророкъ чести не имѣетъ въ домѣ своемъ. Дѣти жаловались, что онъ разогналъ ихъ пріятелей, нарушилъ ихъ занятія. Онъ страдалъ отъ того узкаго мѣщанства, которымъ жили въ кругѣ знакомыхъ и пріятелей его дѣтей. Онъ просилъ какъ-то: «Дайте что-нибудь русское почитать». — «Что-же вамъ дать, вотъ Шевченко, переводъ Гербеля». — «Дайте», и взялъ. Возвращая, говоритъ: «Боже, что за прелесть, такъ и повѣяло чистой, нетронутой степью; эта ширь, эта свобода...» А это еще былъ переводъ. При этомъ онъ разсказалъ, какъ въ деревнѣ два мальчика спорили и кричали черезъ улицу, чей дворъ лучше. Кузька кричитъ «нашъ», а Ванька: «нѣтъ, врешь, нашъ лучше». Все это онъ представилъ въ лицахъ, своимъ вѣрнымъ зычнымъ голосомъ и движеніями, съ такою вѣрностью и горечью вмѣстѣ, что въ нихъ чувствовалось, что лучше этого ничто и нигдѣ быть не можетъ... Но возвращаюсь назадъ. Долго мы говорили, наконецъ надо уходить. Я взялъ шляпу и пошелъ прово-

жать его на ту сторону Арно, гдѣ онъ жилъ. Мы шли. Онъ тихо говорилъ, я слушалъ. Наконецъ дошли до его портона (входная дверь). Онъ, прощаясь, говоритъ:—«Ну, что-же, теперь я пойду васъ провожать, такъ и будемъ ходить цѣлую ночь». Я ему тутъ-же сказалъ: «Александръ Ивановичъ, не для васъ, не для себя, но для всѣхъ тѣхъ, кому вы дороги, какъ человѣкъ, какъ писатель—дайте сеансы: я напишу вашъ портретъ». Онъ отвѣтилъ, что готовъ, — когда прикажете, — и исполнилъ эти пять сеансовъ съ нѣмецкою аккуратностью. Первый сеансъ не состоялся, и, благодаря этому обстоятельству, у меня сохранилось единственное письмо его, которое я сохранилъ, какъ драгоцѣнность. Вотъ оно:

7 декабря. Суббота, вечеръ.

Почтеннѣйшій Николай Николаевичъ, сегодня искалъ вашъ домъ и не нашелъ. Доманже [1]) взялся доставить записку. Дѣло въ томъ, что Тата [2]) нездорова, а ко мнѣ назвался скучный гость завтра. Позвольте придти въ другой день. Я остаюсь еще недѣлю, а можетъ и больше. При семъ, съ почтеніемъ, русская половина Колокола.

Весь вашъ *А. Герценъ.*

9 Piazza. S. Felice. (Via Maggio). 30 p-°.

Наконецъ я приготовился къ сеансу. Меня всегда начало тревожитъ. Я боюсь, чтобы что-нибудь не помѣшало, боюсь за свои силы. Онъ пришелъ со своей старшей дочерью Н. А. Мы сѣли—я работать, онъ—позировать. У ногъ моихъ легъ бѣлый, какъ снѣгъ, пудель (ему-же кличка была «Снѣжокъ»), милая умная собака. Увидавъ его, А. И. сказалъ дочери: «Вотъ, небось, этакого-то не сумѣла достать», а потомъ, вдругъ, увидавъ, что жены моей нѣтъ, рѣзко обратился къ дочери.

— Что-же ты сидишь, мать хлопочетъ, устраиваетъ завтракъ, а ты тутъ сидишь; иди скорѣй помогай, служи. Н. А. побѣжала исполнить волю отца. Въ минуты отдыха, онъ, вставъ, осматривалъ все, что было на стѣнахъ. Тутъ-же висѣло повтореніе «Тайной вечери» въ уменьшенномъ видѣ, въ мастерской стояла неоконченная—«Вѣстники воскресенья». Онъ долго смотрѣлъ «Тайную вечерь». «Какъ это ново, какъ вѣрно». Я ему напомнилъ разрывъ друзей, намекнулъ на разрывъ его съ Грановскимъ, такъ хорошо имъ разсказанный. «Да, да, это глубоко, вѣчно, правда». На другой сеансъ пришелъ и принесъ цѣлую кучу газетъ; смотрю — «Московскія Вѣдомости». «Вотъ, говоритъ, я безъ этой мерзости жить не могу. Какъ червякъ въ сырѣ, такъ и я въ этомъ копаюсь, и вотъ посмотрите. Мы съ Огаревымъ думаемъ, что мы свободны, куда намъ, — вотъ свобода. Человѣка любилъ Бѣлинскій, велъ его, возлагалъ на него свою надежду, гордился имъ. Бѣлинскаго уже давно нѣтъ, и слѣдъ простылъ, а онъ его теперь раскаталъ, да такъ, что мы руки развели. Зачѣмъ? Какая надобность? Вотъ это свобода, такъ свобода». Тутъ-же онъ

---

[1]) Бывшій учитель его дѣтей, а тогда моихъ.

[2]) Наталья Александровна.

разсказалъ о своемъ отношеніи къ новому поколѣнію, идущему за нимъ, о своей встрѣчѣ съ Чернышевскимъ. Онъ его не полюбилъ; ему показался онъ неискреннимъ, «себѣ на умѣ», какъ онъ выразился. О женевскихъ эмигрантахъ онъ говорилъ съ отвращеніемъ. Они его оскорбляли умышленно. Одинъ кричитъ нарочно черезъ улицу: «Герценъ! Герценъ! Будете дома?» безъ всякой надобности, но чтобы показать: вотъ какъ мы его третируемъ. Придетъ къ нему въ присутствіи милой Мейзенбухъ, деликатной, восторженной идеалистки, нарочно рыгаетъ, безчинствуетъ. Но были у него разсказы, полные добродушія. Онъ вспоминалъ Погодина, который, любя его, ему говорилъ: «Послушай, Герценъ, вѣдь никто лучше тебя не напишетъ французскую революцію; напиши ее и посвяти— и проститъ, вѣрно проститъ». Или вспоминалъ В. П. Боткина, который въ Швейцаріи, подъѣзжая на пароходѣ къ пристани и увидя Герцена на берегу, испугался, засуетился, схватилъ мѣшки и, обращаясь къ своей компаніонкѣ-чтицѣ, сталъ бѣгать по палубѣ, повторяя: «Ma chère, ma chère». А я стою на пристани и говорю: «Василій Петровичъ, стыдно! Василій Петровичъ, стыдно!» Но онъ таки убѣжалъ...»

Ему нужно было проѣхать въ Венецію повидаться съ Гарибальди, который долженъ былъ туда пріѣхать. Онъ меня и спрашиваетъ: «Какъ туда проѣхать?» Я ему и разсказалъ, какъ самъ недавно, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, ѣхалъ; мостъ еще не былъ готовъ и нужно было ѣхать часть дороги почтой. На другой день А. И. мнѣ и говоритъ: «Вы простите, Н. Н., не могъ не сострить на вашъ счетъ. Какъ-же — желѣзная дорога идетъ прямо въ Венецію. Я и сказалъ: вотъ спросилъ художника Ге, онъ разумѣется ѣздитъ по Ваззари и наговорилъ мнѣ такихъ препятствій, что я уже думалъ и ѣхать нельзя». Вернулся изъ Венеціи, разсказалъ, какъ видѣлся съ Гарибальди, котораго осаждаютъ всѣ съ 4 часовъ утра, увидѣлъ старыхъ друзей при немъ и эту милую англичанку, жену гарибальдійца его штаба Моріо. «Она въ томъ-же красномъ платьѣ и съ тою-же прорѣхой сзади». Каждый разъ я его провожалъ, когда онъ уходилъ отъ насъ. Онъ былъ такъ деликатенъ, что замѣтилъ мнѣ, что я не боюсь ходить съ нимъ. Я его успокоилъ тѣмъ, что мнѣ нечего бояться: политикой я не занимаюсь, а дорожить тѣмъ, что мнѣ дорого, я свободенъ. Мы простились, разставшись друзьями. Уѣзжая, онъ прислалъ мнѣ съ сыномъ своимъ А. А. свою книгу, съ надписью крѣпкимъ почеркомъ, карандашомъ:

«Посылаю вамъ въ знакъ глубокой благодарности мой экземпляръ «Былое и думы», въ знакъ дружественнаго сочувствія. 16 февраля 1869 г. Флоренція».

Больше я его не видалъ, но не забуду никогда.

Николай Ге.

1894 г. 4 февраля. Хуторъ.

ОБЛАСТНОЙ ОТДѢЛЪ.

ЗЕМСКОЕ СТРАХОВАНІЕ СЕЛЬСКИХЪ ПОСТРОЕКЪ.

Мы сидѣли съ пріятелемъ въ кабинетѣ, когда прислуга доложила, что его спрашиваетъ пріѣхавшій изъ Кочетовки крестьянинъ. Иванъ Нефедовъ вошелъ и остановился у дверей. Это былъ степенный, лѣтъ подъ 40, мужикъ, черноволосый, со всклокоченной бородой, крупнымъ, мясистымъ носомъ и живыми карими глазами. Нефедовъ началъ съ привѣтствія, объявивъ, что пріѣхалъ на заработки въ Москву и теперь зашелъ навѣстить моего пріятеля. Изъ дальнѣйшихъ разспросовъ оказалось, что онъ осенью погорѣлъ, пристроилъ бабъ и ребятишекъ въ деревнѣ на квартирѣ, продалъ одну лошадь, а на другой пріѣхалъ промышлять легковымъ извозомъ.

— Оно, точно, — продолжалъ онъ, — на одной лошади какая ѣзда извозчику? По экой дорогѣ, кажинный день, съ утра до ночи, да все скокомъ, не то чтобы какъ... Того и гляди животинку зарѣжешь. Да вѣдь ничего не подѣлаешь,— весною строиться надобно.

— Дворъ, чай, былъ застрахованъ? — перебилъ я его.

— Нѣтъ, не штрахованъ; гдѣ намъ штраховать?

— Что ты пустяки говоришь! Въ деревняхъ всѣ строенія застрахованы. Вѣдь ты получилъ изъ земства страховыя деньги за свой дворъ?

— Штраховыхъ не получалъ. Оно, точно, спѣшествованіе было, 40 рублей выдали...

— Какое «спѣшествованіе»?

— На погорѣлое, значитъ, мѣсто... Способіе.

Какъ я ни старался убѣдить его, что ему выдали страховое вознагражденіе за ту премію, которую онъ ежегодно уплачиваетъ,—Нефедовъ стоялъ на своемъ и продолжалъ утверждать, что онъ получилъ пособіе, а страховые платежи идутъ на содержаніе «пожарной трубы».

Разспросивъ у пріятеля подробности объ этомъ Нефедовѣ и сравнивъ его съ тысячью видѣнныхъ мною въ деревняхъ крестьянъ, я могу съ увѣренностью сказать, что онъ представлялъ собою средняго деревенскаго обывателя и по уму, и по уровню развитія, и по благосостонію, не говоря

уже о томъ, что онъ родился, воспитывался и жилъ среди обычныхъ, т. е., опять-таки, среднихъ деревенскихъ условій. И вотъ, оказывается, что этотъ средній крестьянинъ не только не понимаетъ, но даже совершенно не знаетъ о существованіи такого распространеннаго и полезнаго института самопомощи, какъ взаимное страхованіе отъ огня. Какъ могло это случиться и виноваты-ли въ этомъ тупость «мужика» или организація взаимнаго страхованія, практикуемая нашими земствами? Для разрѣшенія этого вопроса необходимо обратиться къ исторіи земскаго взаимнаго страхованія.

Сельскіе пожары въ Россіи представляютъ постоянное бѣдствіе, ежегодно истребляющее огромное народное богатство. Постоянство этого бѣдствія настолько притупило производимое имъ впечатлѣніе, что мы стали относиться къ нему, какъ къ неизбѣжному явленію, которое лишь изрѣдка, въ чрезвычайныхъ случаяхъ, привлекаетъ вниманіе спеціалистовъ и еще рѣже вниманіе всего общества. Послѣдствіемъ такого отношенія явилось то, что причины, способствующія распространенію пожаровъ, стали развиваться быстрѣе, чѣмъ мѣры, направленныя къ борьбѣ противъ нихъ, и истребительность пожаровъ стала постоянно возрастать. Такъ, по свѣдѣніямъ центральнаго статистическаго комитета, за 28 лѣтъ, съ 1860 по 1887 гг., сельскіе пожары въ Европейской Россіи (за исключеніемъ Привислянскаго края) ежегодно истребляли недвижимыхъ имуществъ, въ среднемъ выводѣ, на 37 милліоновъ рублей; за 8-милѣтіе съ 1875 по 1882 гг. эта средняя цифра повысилась до 47 милл. р., а въ 5 лѣтъ съ 1883 по 1887 гг., она уже достигла 53 милл. руб. Эти милліоны, ежегодно погибающіе въ морѣ, разливающагося по сельской Россіи, огня, представляютъ безвозвратную потерю въ общей народной экономіи, и бороться противъ такого бѣдствія можно лишь мѣрами, направленными къ ослабленію причинъ, вызывающихъ частое возникновеніе и значительное распространеніе пожаровъ. Приведеніе въ исполненіе этихъ мѣръ требуетъ вмѣшательства законодательства и затраты громадныхъ матеріальныхъ средствъ, а благопріятные результаты могутъ проявиться лишь по истеченіи значительнаго промежутка времени; вотъ почему успѣшная борьба противъ возникновенія и распространенія пожаровъ является общегосударственною задачею по преимуществу, и мѣстные органы самоуправленія могутъ лишь отчасти содѣйствовать выполненію этой задачи.

Но въ пожарномъ вопросѣ есть и другая сторона. Пожаръ, причиняя ущербъ общей народной экономіи, въ то же время является убыткомъ для отдѣльнаго лица,—владѣльца сгорѣвшаго имущества. Ущербъ въ народномъ богатствѣ не можетъ быть никакимъ образомъ восполненъ, такъ какъ сгорѣвшее имущество представляло часть этого богатства, а пожаръ безвозвратно истребилъ эту часть; убытокъ отдѣльнаго лица, наоборотъ, можетъ быть всегда пополненъ, если кто-либо на свои средства возстановитъ сгорѣвшее имущество или выплатитъ владѣльцу его стоимость. Такое возмѣщеніе потерь отдѣльныхъ лицъ составляетъ сущность всякаго

страхованія, которое, вслѣдствіе этого, является простымъ разложеніемъ убытковъ отъ каждаго пожара на всѣхъ участниковъ даннаго страхового учрежденія. Представляя, такимъ образомъ, одну изъ формъ самопомощи, страхованіе отъ огня можетъ быть, по преимуществу, задачею мѣстныхъ органовъ самоуправленія.

Разсматривая вопросъ съ этой точки зрѣнія, правительство, возлагая на земство «заботу о пользахъ и нуждахъ населенія», тѣмъ самымъ вмѣнило ему въ обязанность учрежденіе обязательнаго страхованія всѣхъ сельскихъ построекъ. Если бы земство желало въ этомъ дѣлѣ остаться на высотѣ своего призванія, оно сообразовало бы свою страховую операцію со слѣдующими основными положеніями:

1) Страховая премія должна близко соотвѣтствовать той части вѣроятныхъ пожарныхъ убытковъ, которые въ теченіе года причитаются на каждое отдѣльное имущество, соразмѣрно его стоимости.

2) Страхованіе не должно быть убыточнымъ для страхователя, или другими словами, пожарное вознагражденіе должно всегда соотвѣтствовать размѣру понесеннаго отъ пожара убытка и

3) Пожаръ не долженъ быть выгоднымъ для страхователя, или другими словами, оцѣнка имущества не должна превышать его дѣйствительную стоимость.

Соблюденіе этихъ условій вызывается не только справедливостью, но и прямою выгодою страхового учрежденія, такъ какъ, при несоблюденіи первыхъ двухъ условій, при взиманіи, напримѣръ, слишкомъ высокой преміи, или при чрезмѣрно низкой оцѣнкѣ застрахованныхъ строеній, населеніе не будетъ придавать должнаго значенія страховой операціи и всегда найдетъ возможность уклониться отъ платежей; а при несоблюденіи послѣдняго условія, частые пожары будутъ угрожать самому существованію страхового учрежденія.

Къ сожалѣнію, земства не захотѣли найти равнодѣйствующую этихъ условій и направили свои усилія къ тому, чтобы пожары ни въ какомъ случаѣ не были выгодны для населенія и чтобы, поэтому, страховымъ капиталамъ не угрожало никакой опасности. Эта меркантильная точка зрѣнія, это забвеніе интересовъ населенія и задачъ земства проведены красною нитью черезъ всю операцію земскаго взаимнаго страхованія во все время его существованія. Ограничиваясь размѣрами журнальной замѣтки, мы прослѣдимъ результаты этого страхованія лишь за послѣднее время. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ центр. стат. комитету, въ 32 земскихъ губерніяхъ [1]) къ 1888 году, по обязательному страхованію, было застраховано $22^1/_2$ милл. построекъ на сумму $676^1/_2$ милл. рублей; Такимъ образомъ, каждая постройка, въ среднемъ выводѣ, была застрахована въ 30 руб. Къ этому необходимо прибавить, что подъ именемъ одной постройки земское обязательное страхованіе числитъ «крестьянскую жилую избу со дворомъ,

[1]) По двумъ губерніямъ свѣдѣнія не доставлены.

т. е. со всѣми находящимися въ связи съ избою амбарами, навѣсами, клѣтями, омшанниками и пр.», и что отдѣльные риги и амбары обыкновенно составляютъ принадлежность двухъ-трехъ домохозяевъ, а потому имѣютъ довольно значительный размѣръ, а слѣдовательно, сравнительно, высокую стоимость. Чтобы не оставить никакого сомнѣнія въ томъ, что выведенная выше цифра въ 30 руб. соотвѣтствуетъ, по обязательному земскому страхованію, избѣ со дворомъ, приведемъ данныя изъ имѣющихся у насъ подъ рукою страховыхъ нормъ отдѣльныхъ земствъ.

Въ с.-петербургскомъ земствѣ нормальная оцѣнка жилой постройки равняется для жилыхъ строеній 2 р. и для нежилыхъ 1 р. за кв. сажень основанія; такимъ образомъ, оцѣнка средней девятиаршинной избы равняется 18 руб., шестиаршиннаго амбара 4 р., навѣса съ сараемъ въ 18 арш. погонныхъ—6 руб. и двухъ пристроекъ 4 руб.; а всего 32 руб. Въ симбирскомъ земствѣ нормальная оцѣнка «всей крестьянской усадьбы» равняется 32 руб.; въ новогородскомъ земствѣ нормальная оцѣнка избы со дворомъ—30 р.; во владимірскомъ земствѣ—30 р.; въ саратовскомъ—30 руб. Въ тамбовскомъ земствѣ нормальная оцѣнка устанавливаетъ для крестьянской избы со дворомъ различныя цифры, смотря по мѣстности и состоянію построекъ: въ лѣсной полосѣ за новую избу со дворомъ 30 р., за старую 15 р., въ степной полосѣ—за новую 45 р., за старую 22 р. Въ нижегородскомъ земствѣ жилая постройка оцѣнивается въ 15 р., холостая въ 5 р., вслѣдствіе чего оцѣнка избы со дворомъ соотвѣтствуетъ с.-петербургской нормѣ. Въ орловскомъ земствѣ существуетъ раздѣленіе губерніи на двѣ группы, причемъ оцѣнка избы со дворомъ въ первой группѣ равняется 15 руб., во второй 10 руб.

Въ какой мѣрѣ само земство сознавало полное несоотвѣтствіе между нормальною оцѣнкою и дѣйствительною стоимостью застрахованныхъ строеній, видно изъ слѣдующихъ характерныхъ примѣровъ. До 1879 г. въ херсонскомъ земствѣ существовала, сравнительно, высокая нормальная оцѣнка, а именно, изба отдѣльно 34 р. и, кромѣ того, амбаръ 14 р., сарай 10 р., клуня 16 р. и мелкія надворныя постройки, сколько-бы ихъ во дворѣ ни было — 10 р. Вслѣдствіе заявленія нѣкоторыхъ гласныхъ, на обсужденіе уѣздныхъ собраній былъ поставленъ вопросъ о необходимости повысить эту нормальную оцѣнку, причемъ губернская управа слѣдующимъ образомъ формулировала отвѣтъ уѣздныхъ собраній: «Уѣздныя земскія собранія, въ сессію 1880 г., всѣ высказались за увеличеніе нормальной оцѣнки крестьянскихъ строеній, подлежащихъ обязательному страхованію. Это увеличеніе, по мнѣнію уѣздныхъ собраній, вызывается повышеніемъ цѣнъ, какъ на строительные матеріалы, такъ и на рабочій трудъ. Вслѣдствіе этого, существующая нынѣ нормальная оцѣнка совершенно не соотвѣтствуетъ дѣйствительной стоимости построекъ, даже въ самомъ худшемъ ихъ видѣ. Волостныя правленія, для выдачи крестьянамъ вознагражденія за пожары, составляютъ вѣдомости, въ которыя вносятъ всю сумму понесенныхъ отъ пожара убытковъ; сумма эта, за рѣдкими

исключеніями, далеко превышаетъ ту, въ которую сгорѣвшія строенія были застрахованы, вслѣдствіе чего крестьяне, при каждомъ пожарномъ случаѣ, далеко не возмѣщаютъ своихъ убытковъ».

Екатеринославская уѣздная управа представила собранію 1884 года докладъ о повышеніи нормальной оцѣнки, въ которомъ говоритъ: «Нормальная страховая оцѣнка, въ настоящее время, такъ низка, въ особенности для различнаго рода строеній, крытыхъ деревомъ и соломой, что погорѣльцы, на вознагражденіе, полученное ими изъ земства, не имѣютъ возможности возобновить уничтоженныхъ построекъ». При этомъ управа предлагала установить нормальную оцѣнку избы деревянной, крытой деревомъ, въ 120 р. и крытой соломою, въ 90 руб. и холостыхъ построекъ—большого амбара, сарая, клуни, мельницы отъ 50 до 200 р., каморы и повѣтки обмазанныхъ 20 р. и необмазанныхъ 6 р.

Воронежская губернская управа представила собранію 1884 г. новыя страховыя правила, въ которыхъ, между прочимъ, признаетъ прежній размѣръ нормальной оцѣнки двора въ 40 р. крайне низкимъ и предлагаетъ повысить его для великорусскихъ селеній до 125 р. и для малорусскихъ до 100 рублей.

Въ курскомъ земствѣ въ 1883 г. установлено было правило, по которому волостнымъ правленіямъ предоставлялось, по ихъ усмотрѣнію, вносить въ страховую вѣдомость отдѣльныя постройки, съ оцѣнкою ниже нормальной оцѣнки. По заявленію предсѣдателя путивльской управы, послѣдствіемъ этого оказалось то, что большинство крестьянскихъ построекъ оцѣнены до невозможности низко; такъ, напр., избы, оцѣненныя ранѣе въ 85 р., на слѣдующее трехлѣтіе были оцѣнены лишь въ 10 р., а сараи въ 2 и даже 1 р. Къ счастью, этотъ порядокъ существовалъ недолго, и собраніе 1884 г. признало, что, вслѣдствіе вздорожанія строительныхъ матеріаловъ, даже прежняя нормальная оцѣнка низка, а потому крестьянскія постройки должны страховаться не ниже этой оцѣнки, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, теряется все значеніе самого обязательнаго взаимнаго страхованія.

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ выше данныхъ видно, что средняя оцѣнка одной крестьянской постройки въ 30 р. совпадаетъ, и, даже иногда, превышаетъ нормальную оцѣнку цѣлаго двора во многихъ земствахъ. Если допустить, что исключеніе изъ общихъ суммъ отдѣльныхъ холостыхъ построекъ повысило-бы среднюю оцѣнку крестьянскаго двора на 30% (оцѣнка двора и холостыхъ построекъ въ большинствѣ земствъ относятся какъ 8 къ 1), то и тогда средняя оцѣнка крестьянскаго двора будетъ едва-ли выше 40 руб. [1]). Удивительно-ли послѣ этого, что идея

[1]) Если же принять во вниманіе, что въ свѣдѣніяхъ центральнаго статистическаго комитета обязательное страхованіе показано въ общей суммѣ, безъ выдѣленія страхованія по дополнительной оцѣнкѣ, то установленная выше цифра 40 р. окажется даже преувеличенною.

самопомощи, въ дѣлѣ устраненія послѣдствій пожарныхъ бѣдствій, получила среди населенія слабое распространеніе, и, что крестьяне считаютъ пожарное вознагражденіе какимъ-то пособіемъ «на погорѣлое мѣсто».

Какія-же причины побуждаютъ земство оставаться при низкой оцѣнкѣ, «подрывающей значеніе самого страхованія?» Просматривая журналы земскихъ собраній, нетрудно замѣтить, что указанная политика земства обусловливается, главнымъ образомъ, слѣдующими тремя причинами: 1) чрезвычайными пожарными убытками, бывающими иногда въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ, 2) наростаніемъ недоимокъ страхового сбора и 3) медленнымъ ростомъ запасныхъ капиталовъ.

Останавливаясь на первой изъ этихъ причинъ, нельзя не замѣтить, что въ ней, какъ нельзя болѣе, выразилось меркантильное направленіе земства. Казалось-бы, что значительное распространеніе пожарнаго бѣдствія должно было-бы вызывать стремленіе усилить помощь тѣмъ лицамъ, которыя потерпѣли отъ этого бѣдствія, а, между тѣмъ, земства, послѣ одного-двухъ убыточныхъ для страховой операціи лѣтъ, послѣ 2—3 значительныхъ пожаровъ, почти всегда прибѣгали къ пониженію нормальной оцѣнки, т. е. стремились усилить вредныя послѣдствія, распространеннаго въ какой-либо мѣстности бѣдствія. Былъ даже такой случай, что одно изъ уѣздныхъ земствъ саратовской губ. предлагало губернскому собранію установить правило, по которому пожарные убытки, происшедшіе въ какомъ-либо селеніи, раскладываются, прежде всего, на односельчанъ, путемъ извѣстнаго процентнаго обложенія стоимости ихъ имуществъ; если-же пожарное вознагражденіе не будетъ такимъ образомъ пополнено, то остающаяся сумма должна раскладываться, тѣмъ-же порядкомъ, сначала на волость и затѣмъ уже на уѣздъ. Возлагая, такимъ образомъ, послѣдствія бѣдствія на тѣхъ самыхъ лицъ, которыя потерпѣли отъ него, названное земство желало соблюсти справедливость и не вводить въ убытки рачительную часть населенія, среди котораго не бываетъ пожаровъ.

Если даже не принимать во вниманіе, что земское взаимное страхованіе учреждено для дѣйствительной помощи населенію, а не для накопленія капиталовъ въ страховыхъ кассахъ, пониженіе оцѣнокъ, вызываемое паническимъ страхомъ земства передъ усиливающимися пожарами, не выдерживаетъ никакой критики. Вѣдь, если страховая премія съ единицы стоимости имущества установлена съ такимъ разсчетомъ, чтобы покрывать пожарные убытки и другіе расходы, то для страхового учрежденія безразлично въ какой-бы суммѣ ни страховались имущества, лишь-бы эта сумма не превышала дѣйствительную стоимость ихъ, потому что, вмѣстѣ съ увеличеніемъ суммы пожарнаго вознагражденія, увеличится и сумма поступающей преміи. Для уясненія этого обстоятельства примѣромъ, допустимъ, что въ каждомъ селеніи, состоящемъ изъ ста дворовъ, ежегодно сгораетъ одинъ дворъ или, при средней интенсивности сельскихъ пожаровъ въ Россіи, въ каждые четыре года сгораетъ 4 двора; при этихъ условіяхъ, каждый дворъ долженъ сгорѣть въ 100 лѣтъ и, слѣдовательно, въ теченіе

этого времени, долженъ, путемъ ежегодной преміи, выплатить свою стоимость. Такимъ образомъ, при средней взимаемой теперь страховой преміи въ 1 р. 50 к. со 100 руб. стоимости, каждый домохозяинъ платитъ за свой дворъ, оцѣненный въ 50 р., ежегодно 75 коп., а въ 100 лѣтъ заплатитъ 75 руб., т. е., другими словами, выплатитъ оцѣнку своего двора и, кромѣ того, внесетъ 25 р. въ капиталъ обезпеченія страхового учрежденія, на случай чрезвычайныхъ пожарныхъ убытковъ. При оцѣнкѣ двора въ 150 р. каждый домохозяинъ заплатитъ въ годъ 2 р. 25 к., а въ 100 лѣтъ 225 руб., слѣдовательно, кромѣ стоимости своего двора, внесетъ въ капиталъ обезпеченія 75 руб.

Эта азбучная истина, къ сожалѣнію, усвоена далеко не всѣми земствами. При первомъ уменьшеніи запаснаго капитала, вслѣдствіе неблагопріятнаго въ пожарномъ отношеніи года, многія земства тотчасъ возбуждаютъ вопросъ о пониженіи нормальной оцѣнки, утверждая, будто-бы пожары являются послѣдствіемъ поджоговъ, а потому необходимо сдѣлать такъ, чтобы пожары были невыгодны для населенія. Примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить московское земство. При введеніи земскаго страхованія, нормальная оцѣнка избы со дворомъ установлена была въ 30 р. Въ 1869 году эта оцѣнка была повышена до 50 р., въ виду заявленія нѣкоторыхъ гласныхъ, что прежняя норма оцѣнки совершенно не соотвѣтствуетъ цѣлямъ страхованія; вмѣстѣ съ повышеніемъ оцѣнки, въ томъ-же году, учреждено страхованіе по особой оцѣнкѣ до 500 руб. Въ 1877 году, послѣ нѣсколькихъ значительныхъ пожаровъ, страхованіе по особой оцѣнкѣ упразднено, а для того, чтобы населеніе не пострадало отъ этого упраздненія, нормальная оцѣнка повышена до 75 руб. Въ 1884 г. вновь былъ поднятъ вопросъ о томъ, что нормальная оцѣнка слишкомъ низка и, что поэтому необходимо ввести дополнительное страхованіе для тѣхъ крестьянъ, которые пожелаютъ застраховать свои строенія по дѣйствительной ихъ стоимости. Собраніе согласилось съ этимъ мнѣніемъ и вновь ввело дополнительное страхованіе по особой оцѣнкѣ.

Все это происходило въ золотые дни московскаго земства. Затѣмъ съ теченіемъ времени, измѣнились люди, измѣнились воззрѣнія, и то, что казалось полезнымъ въ страховомъ дѣлѣ, стало признаваться вреднымъ и опаснымъ. Наконецъ, въ минувшую сессію земскаго собранія, губернская управа внесла предложеніе понизить вновь нормальную оцѣнку. Вотъ какими любопытными соображеніями управа мотивируетъ свое предложеніе.

«Съ 1873 по 1883 гг. въ губерніи было 6373 пожарныхъ случая; изъ этого числа въ 2678 случаяхъ причины выяснены, въ 3695 случаяхъ причина пожара осталась неизвѣстной. Въ 2678 случаяхъ, въ которыхъ причины были выяснены, оказалось, что произошло пожаровъ: отъ неисправности трубъ и печей 417, или 15,5%, отъ поджоговъ 831, или 31%, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ 1199, или 44,8% и отъ грозы 231, или 8,7%. Поджоги, составляющіе значительный процентъ

пожаровъ, *въ большинствѣ случаевъ* произведены изъ мести, зависти, подъ вліяніемъ ссоры или обиды, но не исключаютъ возможности и корыстной цѣли». Далѣе управа говоритъ, что поджогъ съ корыстною цѣлью можетъ явиться тогда, когда вознагражденіе за убытки будетъ превышать дѣйствительную потерю отъ пожара, что, несомнѣнно, можетъ имѣть мѣсто относительно деревянно-соломенныхъ построекъ. Такъ, управѣ стало извѣстнымъ, что, по страховой вѣдомости, строенія крестьянина рузскаго уѣзда, Петра Константинова, а именно: изба, горенка и дворъ были застрахованы въ 75 руб., а, между тѣмъ, строенія эти, вдовою названнаго крестьянина, впослѣдствіи, были проданы *на свозъ* крестьянину звенигородскаго у. всего за 40 р. Такой-же случай былъ въ можайскомъ уѣздѣ, гдѣ застрахованный по нормальной оцѣнкѣ въ 75 р. домъ со дворомъ, крестьянина Дементія Васильева, былъ проданъ *на сносъ* за 55 руб. «Эти единичные случаи,—продолжаетъ управа,—указываютъ на то, что и при страховой нормѣ, для крестьянскаго двора въ 75 р., возможны злоупотребленія со стороны такихъ домохозяевъ, у которыхъ застрахованныя въ 75 р. строенія въ дѣйствительности не стоятъ этой цѣны. Верейское земство ходатайствуетъ о повышеніи нормальной оцѣнки въ виду того, что пожарное вознагражденіе въ 75 р., выдаваемое за сгорѣвшія строенія, недостаточно для возведенія новыхъ построекъ. *Не отрицая того, что за 75 р. нельзя возвести новой постройки*, губ. управа, напротивъ, въ виду вышеизложеннаго, приходитъ къ противоположному заключенію,— что нормальная оцѣнка должна быть не повышена, а понижена». Далѣе управа указываетъ на то, что, будто-бы, по закону, нормальная оцѣнка должна быть установлена для всѣхъ построекъ однообразная по губерніи или уѣзду, съ подраздѣленіемъ лишь на разряды по свойству матеріаловъ и хозяйственному назначенію этихъ построекъ, а между тѣмъ, строенія, съ теченіемъ времени, ветшаютъ и теряютъ часть первоначальной цѣны. «Такъ какъ, въ такихъ случаяхъ пониженіе установленной нормальной оцѣнки по закону не разрѣшается, заключаетъ управа, то эта оцѣнка должна быть низшей, а не средней или высшей и должна соотвѣтствовать самой дешевой стоимости строеній».

Итакъ, два извѣстныхъ управѣ случая, когда постройки были проданы на сносъ дешевле страховой оцѣнки, являются достаточными для утвержденія, что крестьянамъ бываетъ выгодно совершать поджогъ и что, поэтому, въ интересахъ страховой операціи необходимо понизить во всей губерніи нормальную оцѣнку! Любопытны, между прочимъ, производимыя управою, для вящей убѣдительности, статистическія упражненія, доказывающія, что «поджоги составляютъ большой процентъ пожаровъ». Въ 10 лѣтъ было 6373 пожарныхъ случая, которые произошли отъ неисправности печей, (417), отъ поджоговъ (831), отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ (1199), отъ грозы (231) и, наконецъ, отъ неизвѣстной причины—3695. Казалось-бы, что въ послѣднюю группу снесены всѣ тѣ случаи, когда, послѣ тщательнаго изслѣдованія, не оказалось ни поджога,

ни неосторожнаго обращенія съ огнемъ, ни вліянія грозы, словомъ, ни одной изъ перечисленныхъ четырехъ причинъ, и что поэтому, изъ всѣхъ 6373 пожарныхъ случаевъ, поджогъ имѣлъ мѣсто лишь въ 831 случаѣ, что составляетъ лишь 13% всего числа пожарныхъ случаевъ за 10 лѣтъ, а не 31%, какъ утверждаетъ управа. Если къ этому прибавить, что изъ этихъ 13%, по утвержденію самой управы, «*въ большинствѣ случаевъ* поджоги совершены изъ мести, зависти, изъ-за обиды или ссоры», то корыстная цѣль въ поджогахъ окажется столь незначительною, что ее можно было-бы совершенно игнорировать при установленіи нормальной оцѣнки. Тѣмъ не менѣе, собраніе согласилось съ доводами управы, и понизило нормальную оцѣнку всѣхъ построекъ почти на 35%, сведя, такимъ образомъ, оцѣнку избы со дворомъ опять до 50 руб.

Вторая причина низкаго размѣра нормальной оцѣнки, какъ мы указали выше, заключается въ томъ, что не вся страховая премія поступаетъ въ кассы земства, а поэтому недоимки постоянно возрастаютъ. На первый взглядъ трудно понять, какая связь можетъ существовать между пониженіемъ оцѣнки и нарастаніемъ недоимки. Средняя премія въ земскомъ страхованіи составляетъ 1 р. 36 коп. со 100 руб. страховой суммы; слѣдовательно, при оцѣнкѣ двора въ 40 р., каждый домохозяинъ уплачиваетъ въ годъ 40—50 коп. при другихъ сборахъ, достигающихъ 30 р. на дворъ; нельзя-же допустить мысль о томъ, что земство уменьшаетъ нормальную оцѣнку для того, чтобы уменьшить страховую премію и тѣмъ облегчить ея уплату. Нѣтъ, земство разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ: кромѣ обязательнаго страхованія по нормальной оцѣнкѣ, существуетъ еще форма страхованія по спеціальной или дополнительной оцѣнкѣ и добровольное страхованіе, непремѣннымъ условіемъ которыхъ является безнедоимочная уплата страховой преміи; чѣмъ ниже будетъ нормальная оцѣнка, тѣмъ больше у крестьянъ будетъ стимуловъ перейти къ дополнительной оцѣнкѣ, а слѣдовательно, тѣмъ больше будетъ совершаться безнедоимочныхъ страхованій. Противъ такого разсужденія нельзя было-бы ничего возразить, если-бы земство развило въ населеніи идею взаимнаго страхованія и приложило усилія для организаціи безпрепятственнаго перехода къ дополнительному или добровольному страхованіямъ. Но этого утверждать нельзя: низкая нормальная оцѣнка не только не развила, но даже дискредитировала среди населенія идею взаимнаго страхованія, а слабое развитіе добровольнаго и дополнительнаго страхованій (по первому застраховано 1,5%, по второму 4% всѣхъ построекъ) объясняется не отсутствіемъ у населенія сознанія собственныхъ выгодъ, а тѣми препятствіями и затрудненіями, которыми обставленъ въ деревнѣ переходъ къ этимъ видамъ страхованія. Вотъ какими чертами петербургская губ. управа въ 1880 г. характеризовала организацію земскаго страхованія:

«На основаніи изслѣдованія, произведеннаго въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи, выяснился присущій всѣмъ волостямъ недостатокъ, а именно: полное равнодушіе и невниманіе волостныхъ старшинъ къ дѣлу взаимнаго земскаго страхованія. Независимо отъ

данныхъ, собранныхъ на мѣстахъ, до губернской управы неоднократно доходили жалобы на неисполненіе волостными старшинами совершенно правильныхъ и законныхъ просьбъ лицъ, желавшихъ застраховать свои постройки во взаимномъ земскомъ страхованіи, и требованій о переводѣ строеній съ нормальной на особую оцѣнку. Непринятіе на страхъ въ обязательномъ страхованіи вновь возводимыхъ построекъ—явленіе обыкновенное; происходящія въ постройкахъ перемѣны вовсе не показываются; непоказаніе трактирныхъ, промышленныхъ и торговыхъ помѣщеній повторяется постоянно; оцѣнка принимаемыхъ на страхъ строеній весьма часто производится произвольно; тоже самое повторяется и при оцѣнкѣ убытковъ отъ пожаровъ. О неправильныхъ дѣйствіяхъ волостныхъ старшинъ губернская управа неоднократно доводила до свѣдѣнія крестьянскихъ присутствій. Случалось, что крестьянское присутствіе, обнаруживъ въ дѣйствіяхъ волостныхъ старшинъ проступки по должности, сообщало о томъ на распоряженіе судебной власти. Но въ результатѣ всѣ означенныя мѣры не имѣли никакихъ послѣдствій. Губернская управа, однако, не признавала возможнымъ поставить въ укоръ большинству означенныхъ агентовъ такое отношеніе къ этому дѣлу. Если всмотрѣться въ положеніе какъ волостныхъ старшинъ, такъ и вообще сельскаго начальства, то окажется, что едва-ли возможно возлагать на нихъ всецѣло веденіе дѣла, столь серьезнаго и сложнаго и требующаго большой аккуратности, какъ дѣло страхованія. Волостное и сельское начальства на столько обременены возложенными на нихъ обязанностями по всѣмъ административнымъ дѣламъ, на исполненіи коихъ настаиваютъ и полицейскія управленія, и крестьянскія присутствія, и мѣстныя земскія управы, мировые судьи, судебные слѣдователи, судебные пристава и другія лица судебныхъ и административныхъ вѣдомствъ, что, не смотря на предоставленіе имъ губернскимъ земствомъ за веденіе дѣла страхового вознагражденія, они не въ состояніи вести оное исправно. Въ виду изложеннаго, губернская управа полагаетъ, что слѣдуетъ, если не совершенно устранить волостныхъ старшинъ отъ дѣла страхованія, то по крайней мѣрѣ въ значительной степени облегчить ихъ дѣятельность и, гдѣ нужно, помочь установленіемъ въ дѣлѣ страхованія надлежащаго порядка. Единственно возможною и дѣйствительною мѣрою въ этомъ случаѣ является назначеніе агентовъ по обязательному страхованію».

Къ этому необходимо прибавить, что описанные порядки упразднены далеко не во всѣхъ земствахъ, и во многихъ изъ нихъ до настоящаго времени еще вся страховая организація держится на волостныхъ старшинахъ.

Изложенное выше доказываетъ, что цѣлесообразнѣе было-бы, если-бы земство сначала развило дополнительное и добровольное страхованія, а затѣмъ уже обратилось къ репрессивнымъ мѣрамъ по отношенію къ лицамъ, оставшимся на нормальной оцѣнкѣ. Это, конечно, было-бы зло, несовмѣстимое съ значеніемъ земства, но зло это поразило-бы не все населеніе, а лишь бѣднѣйшую его часть, противъ которой обыкновенно и ополчается всякая меркантильная система.

Но, оставивъ въ сторонѣ эту часть вопроса, обратимся къ провѣркѣ утвержденія земства, будто нарастаніе недоимокъ на столько угрожаетъ страховому дѣлу, что является надобность въ примѣненіи тяжкихъ репрессивныхъ мѣръ.

По 32 земскимъ губерніямъ недоимка страхового сбора къ 1889 году достигла 7,2 милліоновъ руб., а годичный окладъ премій равнялся 10,7 милл. руб. Если распредѣлить эту недоимку на 25 лѣтъ, въ теченіе которыхъ дѣйствуетъ земское страхованіе, окажется, что ежегодно недопо-

ступало, противъ оклада, по 287,000 р., или 2,7% годичнаго оклада. Результатъ этотъ оказывается столь неожиданнымъ, столь несоотвѣтствующимъ тяжкимъ репрессивнымъ мѣрамъ, примѣняемымъ земствомъ *ко всему* населенію, что невольно является сомнѣніе въ правильности сдѣланнаго вывода. И, дѣйствительно, земство можетъ возразить, что недоимка накопилась лишь въ послѣднее время, и что годичный окладъ преміи вначалѣ былъ гораздо ниже 10,7 милл. руб. Мы готовы согласиться съ тѣмъ, что нашъ выводъ не соотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію страховой операціи за каждый годъ протекшаго двадцатипятилѣтія, но нельзя отрицать того, что мы вправѣ были сдѣлать его, подводя итогъ всему двадцатипятилѣтію и желая опредѣлить результаты страховой операціи къ концу этого періода. Вслѣдствіе этого мы настаиваемъ на томъ, что денежные результаты страховой операціи въ Россіи за 25 лѣтъ оказались блестящими и что населеніе въ высшей степени исправно уплачиваетъ страховой сборъ.

Не имѣя соотвѣтственныхъ свѣдѣній по всей Россіи за послѣдніе годы, приведемъ имѣющіяся у насъ подъ рукою цифры за 1892 годъ по московской губ., въ которой земство на столько было озабочено слабымъ поступленіемъ страхового сбора, что учреждало для разсмотрѣнія этого вопроса особыя комиссіи и организовало съѣзды свѣдущихъ лицъ и страховыхъ агентовъ. Окладъ премій по этой губ. въ 1892 г. составлялъ 246,000 руб., а дѣйствительно поступило 213,000 р., слѣдовательно, недоимка равнялась 33,000 р., или 13% годичнаго оклада. Обстоятельство это было послѣднею каплею, давшею перевѣсъ рѣшимости московскаго земства понизить нормальную оцѣнку на 35%, какъ упомянуто было выше. Но при этомъ возникаетъ вопросъ, дѣйствительно ли этотъ недоборъ преміи знаменуетъ ненадлежащее отношеніе всего населенія къ своимъ платежнымъ обязанностямъ въ дѣлѣ взаимнаго страхованія, или онъ происходитъ отъ другихъ, временныхъ и случайныхъ причинъ? Оказывается, что въ томъ-же 1892 г. окладъ выкупныхъ платежей равнялся 2.124,000 р., дѣйствительно-же поступило 1.782,000 р., слѣдовательно, недоимка равнялась 342,000 р., или составляла 16% оклада; по срочнымъ ссудамъ и другимъ обязательствамъ крестьянскихъ обществъ окладъ былъ 66,000 р., дѣйствительно поступило 52,000 р., а недоимка равнялась 14,000 р., или составляла 21,7% оклада. Итакъ, по другимъ платежамъ, уклоняться отъ которыхъ населеніе врядъ-ли имѣетъ широкую возможность, недоимка 1892 г. оказалась больше, чѣмъ по страховому платежу; не слѣдуетъ-ли изъ этого заключить, что на размѣръ недоимокъ вліяли какія-нибудь общія экономическія причины и что по минованіи этихъ причинъ населеніе вновь будетъ платить болѣе успѣшно, безъ примѣненія къ нему репрессивныхъ мѣръ? Къ этому нужно прибавить, что недоимка, въ дѣйствительности, образовалась не вслѣдствіе того, что всѣ плательщики внесли только 87% оклада, а скорѣе вслѣдствіе того, что около 13% населенія совсѣмъ ничего не могли уплатить по тѣмъ

или другимъ причинамъ; репрессивная-же мѣра земства обрушилась на все населеніе.

Наконецъ, земству хорошо извѣстно, что существуетъ еще одна коренная причина накопленія недоимокъ и что въ существованіи этой причины виновно само земство. Вотъ что, между прочимъ, говоритъ та-же московская губернская управа въ своемъ докладѣ собранію 1893 г.:

«Изъ представленнаго въ 1890 году губернскому собранію доклада объ изслѣдованіи агентами на мѣстахъ причинъ накопленія страховыхъ недоимокъ видно, что въ черкизовской волости такія изслѣдованія были произведены по 21 селенію и причины ихъ накопленія оказались слѣдующія: 1) неудовлетворительность прежняго порядка по взысканію старостами страховыхъ сборовъ; слабое требованіе этихъ сборовъ и зачисленіе поступленій въ казенные платежи; 2) растраты должностными лицами, послѣдствіемъ чего было, между прочимъ, и то, что крестьяне первое время боялись платить, а затѣмъ у нихъ явилась отвычка къ уплатѣ страхового сбора, и 3) старосты уплату сбора не записывали, а книжки утрачены. Въ 1892 году такое же изслѣдованіе было произведено агентомъ въ озерецкой волости по 20 селеніямъ. И здѣсь причины накопленія недоимокъ тѣ же, что и въ черкизовской волости, а именно: 1) растрата суммъ должностными лицами волостного и сельскаго управленія, 2) слабое требованіе страховыхъ сборовъ старостами и безпечность самихъ крестьянъ и 3) взносы собираемыхъ въ прежнее время страховыхъ платежей въ другіе сборы»

Казалось-бы, что послѣ такого изслѣдованія, произведеннаго 4 года тому назадъ, земству надлежало-бы организовать иную систему сбора страховыхъ премій, а не понижать нормальную оцѣнку.

Послѣдняя причина, тормозящая повышеніе этихъ нормальныхъ оцѣнокъ, заключается въ томъ, что, якобы, запасные капиталы земства такъ малы, что недостаточно обезпечиваютъ принятые на себя страховыми учрежденіями риски. Эта причина, точно также, какъ предыдущія, не выдерживаетъ критики. Къ 1889 году запасные капиталы въ 32 губерніяхъ составляли: наличными деньгами 18.005,000 руб., въ ссудахъ 2.964,000 р., а всего 21 милл. руб. Въ томъ же году застраховано было строеній на 807 милл. руб., слѣдовательно, каждая 1000 руб. риска обезпечивалась 26 рублями запаснаго капитала. Если принять во вниманіе, что въ наиболѣе солидномъ и наиболѣе пользующемся довѣріемъ изъ дѣйствующихъ въ Россіи акціонерныхъ обществъ рискъ въ 1 милліардъ рублей обезпечивается всего 10 милліонами основного и запаснаго капиталовъ, т. е. 1000 руб. риска обезпечиваются 10 рублями собственнаго капитала,—то окажется, что земское взаимное страхованіе обезпечиваетъ своихъ участниковъ въ $2^1/_2$ раза больше, или, принимая выработанное практикою отношеніе въ акціонерныхъ обществахъ, земское страхованіе можетъ смѣло увеличить въ $2^1/_2$ раза оцѣнку своихъ рисковъ.

Сводя все вышеизложенное, нельзя не придти къ заключенію, что населеніе совершенно добросовѣстно выполнило возложенную на него задачу по взаимному страхованію: оно не только выплатило своимъ членамъ пожарные убытки, происшедшіе въ теченіе 25 лѣтъ, но и внесло въ капиталъ обезпеченія громадную сумму, свыше 20 милл. рублей, на

случай могущихъ возникнуть впослѣдствіи чрезвычайныхъ пожарныхъ бѣдствій. Что же касается земства, то оно сдѣлало слишкомъ мало для того, чтобы ослабить послѣдствія пожарныхъ бѣдствій и еще меньше для того, чтобы организовать надлежащимъ образомъ такой важный институтъ народной самопомощи, какъ взаимное страхованіе.

Инн. Вернеръ.

ВВЕДЕНІЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ ВЪ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Вопросъ о введеніи судебной реформы въ Астраханской губерніи былъ возбужденъ еще въ 1865 г. Т. с. Биппенъ, бывшій въ то время астраханскимъ губернаторомъ, считалъ необходимымъ открыть для всей Астраханской губерніи одинъ окружной судъ въ самой Астрахани, съ тѣмъ, чтобы судъ этотъ руководствовался Судебными Уставами лишь по дѣламъ, возникающимъ въ осѣдлой полосѣ губерніи; относительно же кочевого населенія, калмыковъ и киргизовъ, дѣйствовалъ бы на правахъ старой палаты уголовнаго и гражданскаго суда.

Что же касается суда присяжныхъ, то т. с. *Биппенъ*, признавъ первоначально возможнымъ, *при повышеніи избирательнаго ценза и соблюденіи крайней осторожности*, распространить на Астраханскую губернію институтъ присяжныхъ засѣдателей, впослѣдствіи, однако, отъ этой мысли отказался.

Навѣрно этимъ заключеніямъ т. с. Биппена было придано серьезное значеніе, такъ какъ вопросъ о введеніи судебной реформы въ Астраханской губерніи надолго былъ преданъ забвенію и снова былъ возбужденъ лишь въ 1883 г. Бывшій въ то время министромъ юстиціи ст. секретарь Набоковъ просилъ астраханскаго губернатора образовать подъ своимъ предсѣдательствомъ особое совѣщаніе «изъ представителей мѣстныхъ административныхъ и судебныхъ установленій и другихъ лицъ, близко знакомыхъ съ нуждами и потребностями населенія, для всесторонняго разсмотрѣнія вопроса о томъ, на сколько введеніе въ Астраханской губерніи общихъ судебныхъ мѣстъ новаго устройства, и *въ особенности учрежденія присяжныхъ засѣдателей*, соотвѣтствовало бы этнографическимъ и бытовымъ условіямъ края, и какія изъятія изъ установленныхъ къ сему предмету правилъ вызывались бы мѣстными особенностями».

Совѣщаніе пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) въ виду промышленнаго и торговаго значенія Астраханской губеріи, а вмѣстѣ съ этимъ и неизбѣжной необходимости въ скоромъ и гласномъ судѣ, представляется вполнѣ своевременнымъ введеніе въ этой губерніи общихъ судебныхъ

мѣстъ, съ открытіемъ одного окружного суда въ городѣ Астрахани; 2) вѣдѣнію окружного суда должно быть подчинено одно осѣдлое населеніе, проживающее въ городахъ и станицахъ, селеніяхъ и поселкахъ, а кочевое — лишь по преступленіямъ, совершаемымъ въ чертѣ осѣдлаго населенія; 3) уголовныя и гражданскія дѣла, возникающія въ средѣ кочевого населенія киргизской и калмыцкой степей, должны быть подчинены вѣдѣнію окружного суда на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ эти дѣла производились въ соединенной палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда, и 4) *въ Астраханской губерніи долженъ быть введенъ институтъ присяжныхъ засѣдателей.*

Съ послѣднимъ пунктомъ, однако, не счелъ возможнымъ согласиться бывшій астраханскій губернаторъ, генералъ-маіоръ Янковскій, по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) въ Астраханской губерніи много пришлаго рабочаго населенія, преимущественно степныхъ калмыковъ и киргизовъ, которые, будучи судимы въ Астрахани, не имѣли бы представителей въ средѣ присяжныхъ засѣдателей; 2) въ Астраханской губерніи нѣтъ достаточнаго числа лицъ, способныхъ исполнять обязанности присяжныхъ засѣдателей; 3) значительный процентъ преступленій будетъ составлять нарушеніе законовъ о рыболовствѣ, а по этимъ дѣламъ присяжные, въ составъ которыхъ войдутъ лица, заинтересованныя въ дѣлѣ рыболовства, едва ли будутъ въ состояніи постановлять безпристрастные приговоры.

Въ 1886 г. было образовано третье совѣщаніе для собранія болѣе подробныхъ свѣдѣній по вопросамъ, касающимся введенія въ Астраханской губерніи судебной реформы. Это совѣщаніе пришло къ единогласному заключенію о необходимости введенія въ Астраханской губерніи судебной реформы *въ полномъ объемѣ, не исключая института присяжныхъ засѣдателей.* Совѣщаніе нашло, что требованіе бывшаго астраханскаго губернатора Биппена о повышеніи избирательнаго ценза для присяжныхъ засѣдателей ничѣмъ болѣе уже не оправдывается, и что заявленіе генералъ-маіора Янковскаго о недостаткѣ лицъ, могущихъ быть присяжными засѣдателями, опровергается имѣющимися списками, въ которые оказалось возможнымъ внести болѣе лицъ, чѣмъ того потребовалось бы на самомъ дѣлѣ.

Въ министерствѣ юстиціи вопросъ о введеніи новаго суда въ губерніяхъ Уфимской, Оренбургской и Астраханской обсуждался одновременно. Министерство юстиціи признало, что, согласно съ заявленіями мѣстныхъ представителей суда и администраціи, а равно и органовъ общественнаго самоуправленія, что, по настоящему экономическому, хозяйственному и бытовому положенію означенныхъ губерній и по степени развитія въ нихъ торговли и промышленности, дальнѣйшее сохраненіе въ этихъ губерніяхъ судебныхъ установленій прежняго устройства, со всѣми присущими имъ недостатками, не находитъ себѣ оправданія.

Свойственная старымъ судебнымъ мѣстамъ медленность дѣлопроизводства, зависящая отъ самыхъ формъ суда, а также и отъ малочисленности личнаго состава судебныхъ мѣстъ, усиливается еще въ Астраханской,

Оренбургской и Уфимской губерніяхъ отъ разноплеменности населенія, чрезвычайно значительныхъ разстояній, неудовлетворительности путей сообщенія и кочевого образа жизни части населенія. Въ виду этого дѣлопроизводство въ нынѣшнихъ судебныхъ мѣстахъ не можетъ не замедляться, и гражданскіе иски, часто не особенно значительные по цѣнѣ, но тѣмъ не менѣе весьма важные для тяжущихся сторонъ, остаются безъ разрѣшенія на столько продолжительное время, что нуждающіеся въ судѣ лица иногда бываютъ вынуждены отказываться отъ защиты судебнымъ порядкомъ самыхъ справедливыхъ претензій. *Тѣ-же причины вліяютъ и на неудовлетворительное состояніе производства уголовныхъ дѣлъ и на значительный процентъ оправданій по недостаточности уликъ противъ виновныхъ* [1]). Между тѣмъ, усиленіе судебно-карательной власти и быстроты отправленія правосудія въ означенныхъ губерніяхъ представляются особенно желательными въ видахъ искорененія аграрныхъ преступленій, получившихъ въ этой окраинѣ, подъ вліяніемъ преобладанія инородческаго элемента и своеобразно сложившихся поземельныхъ отношеній, обширное развитіе. Съ этой точки зрѣнія введеніе судебной реформы должно существенно способствовать упроченію въ средѣ инородческаго населенія означенныхъ губерній, принциповъ гражданственности и объединенію этого края съ внутренними губерніями имперіи. Съ другой стороны, крайне скудные оклады, присвоенные вообще должностнымъ лицамъ прежнихъ судебныхъ учрежденій, затрудняютъ министерство юстиціи въ пріисканіи вполнѣ знающихъ, опытныхъ и благонадежныхъ кандидатовъ на должности не только судебныхъ слѣдователей и товарищей прокурора, но и членовъ палатъ. Поэтому вакантныя должности остаются иногда незамѣщенными въ теченіе довольно продолжительнаго времени, и лучшіе изъ мѣстныхъ судебныхъ дѣятелей постоянно стремятся перейти въ другія мѣстности имперіи, въ которыхъ трудъ судебныхъ чиновъ, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ службы, лучше оплачивается.

Оставаясь вѣрнымъ всѣмъ этимъ соображеніямъ, министерство юстиціи, однако, не признало возможнымъ распространить судебную реформу на всю Астраханскую губернію. Въ Астраханскую губернію входятъ такія мѣстности, въ которыхъ судебное преобразованіе, по мнѣнію министерства, является неосуществимымъ. Къ такимъ мѣстностямъ относятся такъ называемыя калмыцкая и киргизская степи, гдѣ, на протяженіи десятковъ тысячъ квадратныхъ верстъ, нѣтъ постоянныхъ поселеній. Вслѣдствіе этого выѣзды уголовныхъ сессій окружного суда, для разсмотрѣнія нѣсколькихъ дѣлъ, были-бы сопряжены съ такими денежными расходами, физическими препятствіями и потерею времени, что установленіе подобныхъ выѣздовъ

---

[1]) Это офиціальное признаніе негодности стараго процесса является особенно знаменательнымъ потому, что здѣсь указано впервые на огромное количество *оправдательныхъ* приговоровъ при старомъ процессѣ. До сихъ поръ въ этомъ обвиняли суды присяжныхъ.

едва-ли оправдывалось-бы какъ съ финансовой точки зрѣнія, такъ и съ точки зрѣнія интересовъ правосудія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, полное незнакомство кочевниковъ съ русскимъ языкомъ существенно затрудняло-бы допросъ ихъ на судѣ въ качествѣ обвиняемыхъ, свидѣтелей и тяжущихся. У этихъ кочевниковъ не существуетъ общественнаго самоуправленія, подобнаго волостному устройству крестьянъ, на нихъ не распространенъ кругъ дѣятельности судебныхъ слѣдователей и мировыхъ судебныхъ учрежденій Астраханской губерніи, а въ киргизской ордѣ нѣтъ даже установленій, подобныхъ калмыцкимъ судамъ — улуснымъ зарго.

Останавливаясь на вопросѣ о томъ, какой городъ избрать мѣстомъ для будущаго окружного суда, министерство юстиціи вполнѣ согласилось съ предположеніемъ мѣстнаго совѣщанія объ учрежденіи въ Астраханской губерніи одного окружного суда въ гор. Астрахани и о подчиненіи вѣдѣнію этого суда всѣхъ уѣздовъ губерніи.

Наконецъ, по самому важному вопросу, т. е. по вопросу о введеніи суда присяжныхъ, министерство юстиціи высказалось отрицательно. Оно признало, что «едва-ли было-бы умѣстно ввести учрежденіе присяжныхъ засѣдателей въ Астраханской губерніи». Такое заключеніе министерство мотивировало слѣдующими соображеніями: сѣверная часть Астраханской губерніи—Царевскій уѣздъ, населенный преимущественно русскими хлѣбопашцами, мало отличается отъ смежныхъ съ нимъ Самарской и Саратовской губерній, а потому не могло-бы встрѣтиться серьезныхъ препятствій къ привлеченію населенія этого уѣзда къ исполненію обязанностей присяжныхъ засѣдателей. Но въ совершенно иныхъ условіяхъ находятся остальные уѣзды Астраханской губерніи, племенной составъ которыхъ представляетъ чрезвычайное разнообразіе. Въ этихъ уѣздахъ проживаютъ, кромѣ русскихъ и армянъ: калмыки, киргизы, татары, персіяне и другіе инородцы, исповѣдующіе отчасти магометанскую, отчасти-же языческую (ламайскую) религію. Среди этихъ инородцевъ, обитающихъ въ южныхъ уѣздахъ Астраханской губерніи, весьма мало распространено знаніе русскаго языка. Въ виду этого, распространеніе учрежденія присяжныхъ засѣдателей на южные уѣзды Астраханской губерніи представляется положительно невозможнымъ. А такъ какъ введеніе суда присяжныхъ въ одномъ уѣздѣ губерніи, безъ введенія его въ другихъ, должно быть признано неудобнымъ, то министерство юстиціи и пришло къ заключенію, что на Астраханскую губернію слѣдуетъ распространить судебную реформу съ однимъ лишь коронымъ судомъ.

На этихъ соображеніяхъ министерства юстиціи мы останавливаться не будемъ. Отмѣтимъ только здѣсь тотъ отрадный фактъ, что государственный совѣтъ отложилъ разсмотрѣніе вопроса о введеніи судебной реформы въ Астраханской губерніи *въ виду возможности ввести въ одномъ изъ ея уѣздовъ институтъ присяжныхъ засѣдателей.*

Во всякомъ случаѣ введеніе судебной реформы въ Астраханской губерніи послѣдуетъ, вѣроятно, не ранѣе 1895 г. Министерство финансовъ,

при обсужденіи смѣтъ министерства юстиціи на 1894 г., высказалось за исключеніе изъ смѣты кредитовъ на введеніе судебной реформы въ Астраханской губерніи, такъ какъ вопросъ объ этой реформѣ не представляется окончательно рѣшеннымъ. В. Б.

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ.

Вопросы модные и немодные.—Бомбы и фабрики динамита.—Убійства и истязанія.—Дѣла: Штилльмана, Романовскаго, Десятниченко, Скарятовской, Кузиной и Старкуса.—Малолѣтніе въ ремесленныхъ заведеніяхъ.— О компиляторахъ и послѣднихъ словахъ науки.—Дѣло гг. Паниныхъ.—Литературныя дрязги.—«Одесскій Листокъ», «Одесскія Новости», «Новороссійскій Телеграфъ» и «Орловскій Вѣстникъ». — «Гражданинъ» о томъ, кто умнѣе.—«Московскія Вѣдомости» о дисциплинованномъ трудѣ.—Возраженіе «Минскаго Листка».

Бомба за бомбой.... Бомба — въ партеръ театра въ Барселонѣ, бомба—въ палату депутатовъ въ Парижѣ, бомбы — въ ресторанъ Terminus, въ отелѣ de l'Espérance тамъ же; въ Раковицѣ арестованы нѣсколько мальчишекъ, укравшихъ въ одномъ складѣ 32 килограмма динамиту.... Бомба въ Гринвичѣ.... Вопросъ о бомбахъ — положительно самый модный вопросъ. Сейчасъ я упомяну о другихъ вопросахъ или интересахъ «не модныхъ», но прежде покончу съ самымъ моднымъ. По моему занятію, мнѣ позволительно узнавать о томъ, что дѣлается напр. хотя бы въ Уругвайской республикѣ все изъ тѣхъ же русскихъ провинціальныхъ газетъ. И вотъ, изъ «Южнаго Края» я вижу, что недавно произошелъ страшный динамитный взрывъ въ одной деревнѣ близъ города Монтевидео. Англичанинъ построилъ тамъ фабрику для выдѣлки динамита и складъ для храненія его. На фабрикѣ случился пожаръ, и рабочіе, да и все населеніе деревни тотчасъ бросились бѣжать; бѣжали они съ четверть часа, стало быть, были уже версты за двѣ, когда раздались два взрыва, похожіе на гулъ тысячи ударовъ грома. Фабрику разнесло, а въ городѣ Монтевидео треснули нѣкоторыя стѣны; изъ людей не убитъ никто, но погибли тысячи птицъ. Въ прошломъ году отъ взрыва динамита на одномъ суднѣ произошло страшное опустошеніе въ испанскомъ портѣ Сантандеръ.

«Вопросъ» о динамитѣ, разумѣя этотъ вопросъ въ смыслѣ тѣсномъ, матеріальномъ, на мой взглядъ, слѣдовало бы свести на полное уничтоженіе всѣхъ подобныхъ страшныхъ средствъ уничтоженія, каковы динамитъ, пироксилинъ, экразитъ и т. п. Если непрактична мысль о всеобщемъ разоруженіи, то уже гораздо менѣе непрактичной представлялась бы догадка о возможности такой международной конвенціи, которою всѣ государства отказались бы отъ употребленія разрывныхъ

снарядовъ (кромѣ начиненныхъ обыкновеннымъ порохомъ) — въ артиллеріи, подобно тому, какъ петербургской международной деклараціей 1868 года, по предложенію Россіи, европейскія государства отказались отъ употребленія въ войскахъ всякихъ разрывныхъ снарядовъ ружейныхъ. Тогда явилась бы возможность совершенно прекратить фабрикацію динамита и подобныхъ ему взрывчатыхъ веществъ. Если же такая конвенція оказалась бы неосуществимой, то могло бы состояться хотя бы общее соглашеніе о воспрещеніи частныхъ фабрикъ и складовъ этихъ веществъ, съ обращеніемъ приготовленія ихъ въ исключительную монополію правительствъ.

Теперь перейду къ совсѣмъ инымъ предметамъ. Признаться, отъ бомбъ и динамита я и началъ только съ той же цѣлью, какъ аѳинскій ораторъ началъ съ басни, чтобы перейти къ Филиппу македонскому, которымъ онъ уже въ прежнее время надоѣдалъ своимъ слушателямъ. Къ числу рѣшительно не модныхъ принадлежатъ вопросы объ учащеніи убійствъ, совершаемыхъ несовершеннолѣтними, о неравномѣрности судебныхъ приговоровъ, о вѣротерпимости, о крайней недостаточности призрѣнія покинутыхъ дѣтей, о фактическомъ отсутствіи защиты для малолѣтнихъ и женщинъ отъ истязаній. То ли дѣло постройка линіи отъ Непроизводященска до Неторгуева, охранная пошлина въ пользу будущихъ русскихъ апельсиновъ, уличеніе нерусскихъ фамилій въ составѣ службы кочегаровъ или хотя бы борьба думскихъ партій изъ-за поливки «излюбленной» площади. Это—дѣла, касающіяся личныхъ интересовъ въ разныхъ кликахъ, а потому они и представляютъ интересные вопросы. Около нихъ можно деньги нажить или кого-нибудь изъ домочадцевъ пристроить или, хотя бы, «насолить» кому-нибудь, кто намъ испортилъ одно изъ такихъ же дѣлишекъ. И вотъ, стремленія къ пріобрѣтенію линіи, пошлины, къ открытію вакансій, наконецъ и къ «насоленію» вызываютъ живѣйшую полемику, порою цѣлыя агитаціи.

А сколько погибнетъ лишнихъ дѣтей, сколько лишнихъ милліоновъ колотушекъ, чѣмъ и по чемъ попало, будетъ ежегодно отпускаемо дѣтямъ, оставшимся въ живыхъ, какъ легко отдѣлается отъ звѣрскаго преступленія злодѣй, который тиранилъ свою жертву, все это—такіе вопросы, отъ которыхъ ни дохода, ни мѣста, ни удовольствія получить нельзя, изъ обсужденія которыхъ не вынесешь даже и эффектнаго словца, чтобы щегольнуть имъ при случаѣ. И «публицисты» наши не любятъ такихъ вопросовъ, считаютъ ихъ прямо — мелкими.

Кстати замѣчу относительно публицистовъ, что этому названію у насъ придано значеніе слишкомъ растяжимое. Даже г. Слово-Глаголь, и того называютъ «публицистомъ» «Юга». И тотъ сотрудникъ этой газеты, котораго «Каспій» уличилъ въ повтореніи отъ собственнаго имени разсужденій «Спб. Вѣдомостей», съ перестановкою нѣсколькихъ словъ, также публицистъ. Но — къ дѣлу.

Симферопольскій мѣщанинъ Григорій Штильманъ, 19 лѣтъ, убилъ

на баштанѣ ударомъ обуха по головѣ, крестьянина Аѳанасія Герасимова, который, получивъ при разсчетѣ съ своимъ хозяиномъ 12 р. 32 к., шелъ домой мимо баштана. Убійца зарылъ трупъ въ землю, а потомъ самъ разболталъ объ этомъ. На судѣ онъ сперва ложно оговорилъ своего хозяина въ подкупѣ себя къ убійству. Штильманъ приговоренъ симферопольскимъ окружнымъ судомъ къ каторжнымъ работамъ на 10 лѣтъ. («Южный Край»). Не разболтай самъ Штильманъ о своемъ подвигѣ, онъ легко могъ остаться неоткрытымъ, такъ какъ, при нашемъ устройствѣ полицейской, да и слѣдственной частей, только меньшая половина убійствъ доходятъ до суда и оканчиваются осужденіемъ. Десять лѣтъ каторги—наказаніе само по себѣ тяжкое. Но Штильманъ получитъ свободу, когда будетъ имѣть 29 лѣтъ, а вѣроятно и раньше; а другого человѣка онъ казнилъ на 19 году жизни, изъ-за 12 р. 32 копѣекъ.

Относительная строгость (но только не по сравненію съ строгостью западныхъ судовъ) приговора въ данномъ случаѣ, несомнѣнно, зависѣла отъ корыстной цѣли преступленія. Каждый изъ судившихъ подумалъ: этакъ и меня, изъ-за карманныхъ часовъ, хлопнутъ обухомъ. Вотъ, если-бы злодѣяніе явилось безъ корыстной цѣли, не входило въ категорію тѣхъ, которыя угрожаютъ людямъ имущественнымъ, если-бы оно явилось просто въ довершеніе цѣлаго ряда терзаній женщины или ребенка, въ такомъ случаѣ судящіе, возблагодаривъ судьбу за то, что они дѣтство пережили и не принадлежатъ къ слабому полу, выказали-бы бо́льшую мягкость.

Признаюсь, меня еще гораздо больше, чѣмъ это убійство, возмущаетъ другое преступленіе, разсказъ о которомъ нахожу въ «Кіевскомъ Словѣ». Въ Каневскомъ уѣздѣ, въ селѣ Сахновкѣ, псаломщикъ Иванъ Романовскій «въ высшей степени жестоко» обращался съ своей больной женою, такъ что, именно за это жестокое обращеніе, онъ былъ отправленъ, по распоряженію духовнаго начальства, въ монастырь на черныя работы; но, возвратясь оттуда, сталъ по прежнему истязать жену. Наконецъ, однажды, «возвратясь изъ церкви», Романовскій поставилъ самоваръ, налилъ въ стаканъ кипятку и, поваливъ жену, выжегъ ей глаза кипяткомъ, а затѣмъ принялся бить ее «звѣрскимъ образомъ», такъ что ее насилу у него отняли. Уѣздный врачъ объявилъ, что несчастная лишилась зрѣнія навсегда. Затѣмъ, уже попавъ подъ слѣдствіе, Романовскій попросилъ начальство перевести его въ другую мѣстность и оставилъ ослѣпленную имъ жену безъ всякихъ средствъ къ жизни. И что-же? Судъ приговорилъ этого изверга къ ссылкѣ въ неотдаленныя мѣста Сибири, съ лишеніемъ правъ, которое въ данномъ случаѣ расторгнетъ бракъ, такъ какъ жена за нимъ не послѣдуетъ, и Романовскій можетъ сочетаться новымъ, законнымъ бракомъ и дать снова волю своему звѣрству. Въ этомъ дѣлѣ обнаруживается прямо слабость самого закона, такъ какъ присяжные никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ не признали.

Никто не будетъ требовать, чтобы законъ установлялъ наказаніе буквально—«око за око». Но что люди, подобные Романовскому, могутъ от-

дѣлываться за каторгу, которой они всю жизнь подвергали слабое существо, и за страшное нанесенное ему увѣчье—однимъ переѣздомъ изъ южной губерніи въ сѣверную, это, какъ хотите, возмутительно. Когда пишешь о возможности такого снисхожденія къ нимъ, то рукопись дѣлается нечеткою, потому что дрожитъ рука—не отъ жалости, но отъ негодованія на подобныхъ палачей.

Но публицисты считаютъ такіе вопросы мелкими. А шаблонъ тотчасъ устраняетъ ихъ готовыми на все отписками: «наказаніе не устраняетъ преступленія»: «дѣло не въ томъ, чтобы Романовскому было скверно, но — въ поднятіи матеріальнаго и нравственнаго благосостоянія населенія». И готово. Такъ, что если-бы у Романовскаго были два самовара, а не одинъ, и кромѣ жены еще любовница, то онъ былъ-бы неспособенъ къ преступленію. И хотя онъ выжегъ женѣ глаза, придя изъ церкви, но, если-бы ему надо было черезъ часъ опять идти въ церковь, то онъ въ промежуткѣ, вѣроятно, дружески бы побесѣдовалъ съ женой, вмѣсто того, чтобы выжечь ей глаза. И вотъ, перенявъ отъ упомянутыхъ популяризаторовъ по части «измовъ» такія послѣднія слова, какъ атавизмъ и детерминизмъ, шаблонщикъ воспользуется возмутительнымъ дѣломъ только для того, чтобы покривляться въ мнимо-научныхъ позахъ, станетъ возиться съ атавизмомъ и детерминизмомъ, съ такимъ-же разумѣніемъ, какъ мартышка съ очками: «то къ темю ихъ прижметъ, то ихъ на хвостъ нанижетъ». По существу-же, безъ отношенія къ ломанью, онъ такихъ случаевъ разбирать не станетъ, потому что это, во-первыхъ, «мелко», а во-вторыхъ, «не-либерально». Выходитъ, что наши суды, которые призваны къ охранѣ личностей отъ посягательствъ убійцъ и истязателей, заняты дѣломъ менѣе крупнымъ, чѣмъ «публицистъ», который пишетъ провинціальныя «Отовсюду», «Злобы дня», «Обо всемъ», «Что говорятъ» и т. п. и несетъ тамъ дичь объ измахъ, которые изучилъ по столичнымъ компиляціямъ, не можетъ коснуться и мусорныхъ ямъ иначе, какъ съ цѣлью передать и своему читателю «послѣднія слова науки».

И какія это послѣднія слова, развѣ могутъ быть въ самомъ дѣлѣ novissima verba въ томъ вѣчномъ исканіи и постепенномъ, подлежащемъ многократной провѣркѣ изслѣдованіи, которое, наконецъ, создаетъ положительное знаніе? Прививка коховскихъ «запятыхъ» была-ли «послѣднимъ» словомъ науки? У насъ компиляція Бюхнера, по Молешотту и Фохту, признавалась долгое время «послѣднимъ» словомъ, окончательнымъ рѣшеніемъ знанія — въ смыслѣ матеріализма. И вдругъ, такой колоссъ, въ сравненіи съ Карломъ Фохтомъ, какъ Клодъ Бернаръ все это мнимое послѣднее слово совсѣмъ устранилъ изъ знанія научнаго. Поистинѣ, мы доселѣ провинціалы въ Европѣ, копирующіе послѣдніе столичные фасоны, и затверживающіе слова «послѣднія», въ смыслѣ самыхъ «свѣжихъ» hautes nouveautés. Если хотите въ самомъ дѣлѣ знать—учитесь по подлиннымъ книгамъ, а не по научнымъ фельетонамъ отечественныхъ популяризаторовъ. Но всуе говорю я это, потому что вы сами

хотите знать не то, какъ дѣйствительно стоитъ теперь научный вопросъ— pro и contra. Нѣтъ, вы хотите только узнать такое новое словцо, которое пока не дошло до Ивана Петровича, Петра Ивановича, Андрея Осиповича и которымъ, между прочимъ, сдавая карты, вы можете ихъ пришибить. Для этого, конечно, достаточно читать компиляторовъ и фельетонистовъ, у нихъ черпающихъ. А случается, что мальчики — гимназисты прочтутъ раньше васъ и вы сами потерпите конфузъ, прежде чѣмъ задатите его Петру Ивановичу у Андрея Осиповича.

Въ «Волжскомъ Вѣстникѣ» нахожу другое дѣло по истязанію жены мужемъ. Въ симферопольскомъ судѣ судился крестьянинъ Десятниченко. «Съ своей женой онъ прожилъ 18 лѣтъ. Всѣ эти 18 лѣтъ были сплошнымъ, безпрерывнымъ страданіемъ нечастной жены. Мужъ чуть-ли не ежедневно билъ и истязалъ ее. Нѣсколько разъ онъ наносилъ ей раны ножомъ, много разъ вырывалъ у ней на головѣ волосы, выдергивая ихъ пучками, съ медленностью, чтобы доставить наибольшое страданіе несчастной»... Десятниченко пьянствовалъ, не работалъ, а отнималъ деньги у жены на пьянство, и придя, пьяный, домой, начиналъ, какъ говорятъ, куражиться: заставлялъ жену по нѣсколько часовъ ходить на колѣняхъ; ставилъ возлѣ нея дѣтей и стрѣлялъ надъ ихъ головами, щипалъ и билъ, запрещая жертвамъ шевелиться и грозя имъ кинжаломъ. Наконецъ, въ послѣднее время Десятниченко чуть-ли не ежедневно пытался изнасиловать своихъ родныхъ дочерей, изъ которыхъ одной 17, а другой 10 лѣтъ.

Но обвиненіе было поставлено, по этому послѣднему пункту—не за попытки насилованія, а только за «склоненіе малолѣтнихъ къ непотребству». Въ остальномъ же — за истязаніе. Десятниченко приговоренъ къ отдачѣ въ арестантскія роты на 5 лѣтъ. А такъ какъ люди, находящіе наслажденіе въ терзаніи слабыхъ, очень рѣдко идутъ противъ силы, то попавъ самъ подъ страхъ палки, Десятниченко, быть можетъ, отслужитъ свои 5 лѣтъ вполнѣ спокойно; а жена прожила съ нимъ 18-ти лѣтнюю каторгу.

Къ преступленіямъ этого рода суды относятся нѣсколько строже, когда жертвами являются малолѣтніе, а всего снисходительнѣе, когда жертвами бываютъ жены обвиняемыхъ. Это обстоятельство объясняется тѣмъ, что бываютъ такіе составы присяжныхъ, которымъ еще не чуждо убѣжденіе, что мужу все-таки до нѣкоторой степени позволительно «учить» жену. Въ тифлисскомъ судѣ недавно производилось дѣло, свѣдѣнія о которомъ беру изъ «Приазовскаго Края». Въ Владикавказѣ «полковница» Скарятовская заподозрила свою служанку Анну Пригодину, 15 лѣтъ, въ кражѣ 13 рублей и, чтобы заставить дѣвушку сознаться, подвергла ее пыткѣ. При помощи деньщика своего сына, а отчасти самого сына, хорунжаго Скарятовскаго, полковница сѣчетъ Погодину, обливаетъ ее холодной водой и на ночь запираетъ свою жертву въ «холодную», предоставляя деньщику дѣлать съ дѣвушкой, что онъ хочетъ. На другой день, дѣвушку вѣшаютъ за ноги, а Скарятовская рветъ ей волосы и бьетъ ее

головой о землю; затѣмъ привязываютъ ее за косу и перебросивъ веревку черезъ перекладину, вздергиваютъ Пригодину на воздухъ и держатъ такъ, висящею на косѣ — часъ. Потомъ Скарятовская начинаетъ колоть дѣвушкѣ пальцы до крови. Тогда только уже сосѣди вступились и дали знать полиціи. А какъ рѣдко сосѣди желаютъ «ввязываться» въ дѣло и сколько жестокостей могутъ совершаться невозбранно и безнаказанно... Дѣло это разсматривалось въ судѣ, затѣмъ въ палатѣ, и Скарятовская присуждена къ лишенію особыхъ правъ и къ ссылкѣ въ Тобольскую губернію на 8 лѣтъ.

Въ Тобольской губерніи эта дама можетъ встрѣтиться съ пономаремъ Романовскимъ, также сосланнымъ въ неотдаленныя мѣста Сибири. Конечно, нечего жалѣть о такой фуріи; но она била и вѣшала свою жертву за косу въ теченіе двухъ дней; а равное съ нею наказаніе несетъ пономарь, который мучалъ свою больную жену многіе годы и, наконецъ, выжегъ ей глаза! Прибавлю, что Скарятовская въ дѣйствительности наказана даже строже этого злодѣя, такъ какъ лишеніе правъ для нея имѣетъ болѣе реальное значеніе. Деньщикъ приговоренъ къ арестантскимъ ротамъ на 1 годъ. Офицеръ же, признанный виновнымъ въ насиліи и приговоренный судомъ къ аресту на 3 мѣсяца, при разсмотрѣніи дѣла въ палатѣ, былъ вовсе освобожденъ отъ наказанія — «за примиреніемъ съ потерпѣвшей». Но бываютъ случаи, когда подобныя примиренія достигаются малою подачкой бѣднякамъ. Бывали и такіе примѣры, что желѣзнодорожные рабочіе за потерю руки или ноги, вслѣдствіе какого-нибудь неправильнаго маневра, мирились съ обществомъ на 25 рубляхъ. А вотъ, еслибы деньщикъ Грошевъ не помогалъ въ истязаніи и не былъ виновенъ въ насиліи, а только спряталъ бы себѣ въ карманъ шейный платокъ истязуемой дѣвушки и, бывъ уличенъ въ присвоеніи его, подвергся бы приговору о заключеніи въ тюрьму на 1 мѣсяцъ, тогда освобожденіе отъ наказанія, на основаніи примиренія съ потерпѣвшею, не могло бы имѣть мѣста.

Въ заключеніе приведу еще одинъ примѣръ. Предметъ этотъ—невеселый и я уже однажды о немъ говорилъ. Но, когда-нибудь, когда накопятся новые факты, я опять возвращусь къ нему. На мой взглядъ, печать наша должна ближе приглядываться къ несправедливостямъ въ повседневной жизни. Не все же порхать по верхамъ, да распинаться за австро-венгерскія, будто бы слишкомъ печальныя дѣла и за такое или иное направленіе новой желѣзнодорожной линіи, что создастъ иллюзію будто полнаго равенства въ положеніи и призваніи нашихъ публицистовъ и публицистовъ иныхъ. Признаюсь въ нѣкоторомъ моемъ убожествѣ по части высшей политики: куда пойдетъ желѣзнодорожная линія, кто пріобрѣтетъ ея постройку и т. д.—къ этому я отношусь, пожалуй, съ интересомъ, но безусловно безстрастно. Меня ни малѣйшимъ образомъ не волновалъ даже такой политическій вопросъ: будетъ-ли назначено жалованье предсѣдателю петербургскаго съѣзда мировыхъ судей или не будетъ; проведетъ-ли г. Шау-

мана или г. Кедрина рьяная ихъ оппозиція — къ занятію современемъ должности петербургскаго городского головы, или торжественный ихъ выходъ изъ думской залы такъ и останется для нихъ безплоднымъ.

Въ больницу чернорабочихъ въ Москвѣ доставлена была 13-ти-лѣтняя ученица изъ бѣлошвейной мастерской Старкуса, Евгенія Кононова, съ поврежденнымъ, отъ нанесенныхъ ей побоевъ, позвоночникомъ, въ шейной его части. На предварительномъ слѣдствіи она показала, что съ самаго поступленія ея къ Старкусу, ее часто сѣкли, били кулаками по шеѣ, спинѣ и груди и таскали за волосы, какъ мастерица Кузина, такъ и самъ хозяинъ Старкусъ. Въ послѣднюю же недѣлю били каждый день, наконецъ однажды ее особенно больно высѣкли и избили, причемъ Кузина таскала за волосы, а Старкусъ билъ кулакомъ, и послѣ одного изъ ударовъ по шеѣ, шея у нея заболѣла и ее на другой день отправили въ больницу. Другія ученицы мастерской подтвердили показаніе Кононовой и о себѣ сказали, что и ихъ сѣкла и била Кузина, а Старкусъ, хотя не билъ, но зналъ, какъ съ ними обращались Кузина и другія мастерицы. Жаловались онѣ Старкусу не разъ, но это ни къ чему не вело, а когда мать одной изъ учениц разъ пришла жаловаться хозяину за избіеніе ея дочери, то Старкусъ отвѣтилъ, что она можетъ взять изъ мастерской свою дочь, если желаетъ, чтобы ея не били.

Эксперты признали, что у Кононовой, еще до поступленія въ мастерскую, начался туберкулезный процессъ въ 3-мъ шейномъ позвонкѣ, при чемъ не только какое-нибудь насиліе, но и самая работа въ сидячемъ положеніи, съ наклоненной головой, могла имѣть вредныя послѣдствія. У Кононовой произошло смѣщеніе позвонка, и осмотръ, при началѣ дѣла, привелъ къ тому, что положеніе ея было признано въ высшей степени опаснымъ; теперь оно улучшилось, хотя опасность не миновала. При вторичномъ разборѣ этого дѣла, черезъ годъ, одинъ экспертъ отозвался, что такое состояніе могло явиться и безъ побоевъ, другой — что побои должны были дать толчокъ туберкулезному процессу, а третій нашелъ, что чрезвычайное обостреніе этого процесса у Кононовой, когда она была въ больницѣ, такъ что явился параличъ конечностей, «указываетъ прямо, что болѣзненный процессъ получилъ извнѣ сильный толчокъ, вслѣдствіе какого-нибудь насилія».

Такъ вотъ, что можетъ дѣлаться въ мастерской, въ столицѣ, каждый день, да и въ одной-ли мастерской? Больную дѣвочку мучаютъ мастерицы и хозяинъ, мучители вдвоемъ таскаютъ ее за волосы и бьютъ кулакомъ по больной шеѣ и вгоняютъ въ чахотку позвоночника. Мы устроили фабричную инспекцію, подражая Западу, и хорошо сдѣлали. Но подражая Западу, мы о самобытности-то своей въ этомъ случаѣ и забыли, какъ вообще постоянно забываемъ о ней, исключая, если на нее можно сослаться — въ пользу самой же порки. Западъ можетъ ограничиваться фабричной инспекціей, такъ какъ нельзя же себѣ представить, чтобы тамъ гдѣ-либо происходила въ частныхъ ремесленныхъ заведеніяхъ ежеднев-

ная, часто жестокая, кулачная расправа надъ дѣтьми. Самобытность-то наша и требовала, чтобы, по временамъ, и эти всѣ заведенія осматривались, именно съ цѣлью охранить дѣтей отъ истязаній и хотя бы грубаго насилія. Но дѣлается-ли это хоть когда-нибудь?

Рѣшаюсь утверждать, что никогда, и вотъ почему. Если-бы осмотръ съ упомянутой цѣлью производился, то дѣти и въ ремесленныхъ заведеніяхъ не могли-бы быть принуждаемы, съ согласія родителей, къ работѣ свыше 10 часовъ въ сутки и къ работѣ ночью. А стоитъ только пройти передъ окнами любой бѣлошвейной, прачешной тонкаго бѣлья, мастерскихъ портняжныхъ, перчаточныхъ и др., чтобы увидѣть малолѣтнихъ, работающихъ до ночи, а иногда, передъ большими праздниками, особенно въ бѣлошвейныхъ — до 2 и 3 часовъ ночи, даже позже. И такая убійственная въ тѣ годы работа еще сопровождается безпрестанной кулачной расправой! Наводились-ли когда-нибудь справки въ больницахъ и у частныхъ врачей, сколько случается при этомъ такихъ заболѣваній или поврежденій, которыя доходятъ до свѣдѣнія врачей, но, конечно, составляютъ лишь малый процентъ всѣхъ подобныхъ случаевъ, такъ какъ не станетъ же подмастерье, избивъ ученика, весть его тотчасъ къ врачу?

Ремесленныя мастерскія осматриваются непремѣнно, но когда? Когда онѣ нанимаются и—только съ цѣлью удостовѣриться, сколько кубическихъ футовъ пространства въ данномъ помѣщеніи. Недохватъ двухъ кубич. футовъ ведетъ къ отказу нанимателю и домовладѣльцу, причемъ оба они стараются какъ-нибудь уладить это дѣло и часто успѣваютъ. Вотъ эта «интересная» сторона осмотра городскихъ мастерскихъ и торговыхъ заведеній, дѣйствительно, интересуетъ. А какъ мастера и хозяева обращаются съ учениками, сколько и до какого часа ученики работаютъ это не интересуетъ никого, да навѣрное — и большинства моихъ же читателей.

Но окончу изложеніе этого дѣла, поучительнаго въ каждой изъ своихъ сторонъ. По разсмотрѣніи его, въ началѣ прошлаго года, московскій окружной судъ приговорилъ мастерицу Кузину къ заключенію въ тюрьмѣ на годъ, а хозяина Старкуса къ содержанію въ исправительномъ арестантскомъ отдѣленіи на годъ и три мѣсяца, обоихъ съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ. Этотъ приговоръ могъ казаться правильнымъ, такъ какъ, по всѣмъ видимостямъ, въ дѣлѣ Кононовой Старкусъ былъ виновенъ еще болѣе, чѣмъ Кузина. Можно замѣтить, что потерпѣвшая дѣвушка могла тогда же, при первомъ уголовномъ разбирательствѣ, выступить въ роли не только свидѣтельницы, но и гражданской истицы, требуя съ виновныхъ вознагражденія за увѣчье или хотя бы за лишеніе заработка, при содержаніи въ больницѣ. Но гдѣ же ремесленнымъ ученицамъ, а хотя-бы и родителямъ ихъ, знать юридическіе рессурсы. Другое дѣло хозяина Старкуса; онъ нашелъ «талантливаго» юриста, который въ данномъ судопроизводствѣ съумѣлъ тотчасъ открыть нарушеніе существенныхъ формъ, подалъ кассаціонную жалобу, сенатъ отмѣнилъ рѣшеніе первыхъ судей и теперь дѣло разсматривалось въ судѣ вновь.

Понятно, что оно должно было получить уже совсѣмъ иную обстановку. Если годъ тому назадъ ученицы мастерской, подъ впечатлѣніемъ участи своей товарки, рѣшились дать показанія обвинительныя противъ мастерицы, а отчасти и самого хозяина, то и то уже представляло довольно рѣдкое явленіе. Но теперь, черезъ годъ, послѣ того, какъ, быть можетъ, не одна изъ нихъ была жестоко выпорота за то показаніе, послѣ того, какъ рѣшеніе судей было отмѣнено, наконецъ, когда ученицы уже гораздо болѣе заняты собственнымъ своимъ положеніемъ, чѣмъ положеніемъ Кононовой, которое, по отзыву экспертовъ, улучшилось, хотя еще опасно — возможно-ли теперь было ожидать буквальнаго подтвержденія первоначальныхъ показаній? И дѣйствительно, «показанія ученицъ, и теперь живущихъ у Старкусъ, до такой степени противорѣчили ихъ показаніямъ на предварительномъ слѣдствіи, что послѣднія всѣ, по требованію прокурора, были прочитаны. Но и послѣ этого свидѣтельницы увѣряли, что съ ними и самъ Старкусъ, и мастерицы его обращались хорошо, что, давая показанія у слѣдователя, онѣ *забыли объ этомъ*, а теперь припомнили!» («Р. Вѣд.» № 31).

Результатъ этого повторительнаго, вслѣдствіе адвокатской штуки, разсмотрѣнія дѣла, былъ таковъ: Кузина признана виновной въ истязаніи, но безъ причиненія увѣчья (!) и заслуживающею снисхожденія. Почему? Потому-ли, что хозяинъ Старкусъ заставлялъ ее такъ дѣйствовать? Вотъ тотъ единственный мотивъ для снихожденія Кузиной, который имѣлъ-бы смыслъ. Вовсе не поэтому, такъ какъ самъ Старкусъ — просто оправданъ. А Кузина приговорена къ тюрьмѣ на годъ. Извлеку отсюда практическія правила для хозяевъ-ремесленниковъ, позволяющихъ себѣ всякое личное насиліе, попустительство истязаній, а нерѣдко и эксплуатацію разврата надъ малолѣтними ученицами мастерскихъ: 1) сразу пригрозить всѣмъ ученицамъ, которыя однѣ могутъ быть свидѣтельницами, жесточайшею поркой; 2) въ случаѣ неблагопріятнаго приговора первыхъ судей, пригласить «талантливаго» адвоката для столь легкаго, впрочемъ, открытія нарушенія какой-либо мелкой формы; 3) неукоснительно привести въ исполненіе угрозу о жесточайшей поркѣ надъ всѣми ученицами, показавшими противъ хозяина; 4) предварить ихъ, передъ новымъ разбирательствомъ, что если онѣ не покажутъ, что прежде все врали, а на дѣлѣ всегда видѣли только отеческое отношеніе къ нимъ хозяина, то будутъ тотчасъ выгнаны изъ мастерской, и 5) чтобы все-таки дать правосудію нѣкоторое удовлетвореніе — свалить всю вину нанесеннаго увѣчья на одну мастерицу, несмотря на то, что она зависѣла отъ хозяина совершенно также, какъ каждая ученица, и что въ ремесленномъ заведеніи хозяинъ безусловно знаетъ ежечасно все, что тамъ дѣлается.

Нѣтъ, на защиту судовъ для охраны малолѣтнихъ ремесленныхъ работниковъ, при этихъ условіяхъ, я рѣшительно не полагаюсь. Необходимъ періодическій административный осмотръ мастерскихъ, гдѣ работаютъ малолѣтніе, осмотръ даже болѣе частый, чѣмъ лавокъ, торгующихъ съѣст-

ными припасами. Потому, что менѣе вреда, если продастся даже фунтъ надпорченнаго мяса, чѣмъ, если насильщикамъ и истязателямъ будетъ предоставляемо нашей бездѣятельностью и впредь тиранить и калѣчить мясо человѣческое.

Въ заключеніе, прошу читателя извинить меня, что на этотъ разъ я отвелъ столько мѣста «мелкому», скучному и непріятному вопросу, вмѣсто того, чтобы указать и въ провинціальной жизни созвучія съ вопросами высшей политики. Вопросы «высшей политики», при томъ уровнѣ, какой для нея имѣется, не нарушаютъ полнѣйшаго моего хладнокровія. Но многіе изъ тѣхъ вопросовъ, которыми наши «публицисты» пренебрегаютъ, заняться которыми никогда даже не удостоиваютъ, ко мнѣ лично выказываютъ непріятную навязчивость. Съ каждымъ человѣкомъ, чаще или рѣже, случается, что ему не спится... И вотъ—это уже дѣло субъективное—мнѣ стоитъ только прочитать одинъ, два процесса вродѣ приведенныхъ.... Не заснешь благовременно, мозгъ дѣйствуетъ и слышится—стонъ множества существъ. Тогда лучше сразу одѣться и курить, до той минуты, когда принесутъ газету, которая разскажетъ, какъ въ Австріи притѣсняютъ словенцевъ, имѣющихъ свои школы и газеты, и какъ велико политическое и военное значеніе желѣзной дороги съ Выборгской стороны къ Мурманскому берегу.

Рядъ судебныхъ дѣлъ закончу такимъ процессомъ, который уже неимѣлъ ничего общаго съ предшествующими. Отчетъ о немъ первоначально появился въ «Юридической Газетѣ», но былъ перепечатанъ или пересказанъ въ большинствѣ газетъ провинціальныхъ, гдѣ я и нашелъ его. Буду держаться изложенія въ «Приазовскомъ краѣ». Здѣсь опять фигурировала «полковница», а точнѣе вдова подполковника Панина. Дѣло производилось въ окружномъ судѣ, въ саратовской судебной палатѣ и теперь переносится въ сенатъ по кассаціонной жалобѣ обвиненной. Въ прошломъ іюлѣ, въ Тамбовѣ, во время архіерейскаго служенія въ монастырѣ, г-жа Панина, стоя вблизи архіерея, на солеѣ, махала на себя вѣеромъ, вслѣдствіе жары. Епископъ поручилъ полиціймейстеру «указать ей на неприличное ея поведеніе, дабы она сошла съ солеи и прекратила обращавшее на себя вниманіе махавіе вѣеромъ». Полиціймейстеръ не сдѣлалъ этого самъ, а поручилъ одному духовному лицу, то духовное лицо—другому, а Панина не послушалась послѣдняго и даже громко сказала, «гдѣ хочу, тамъ и стою». Молебенъ кончался, возглашалось многолѣтіе, а Панина, хотя и «опустилась на одну ступень», но продолжала помахивать вѣеромъ. Тогда самъ преосвященный сказалъ ей: «доколѣ, сударыня, будете махать вашимъ вѣеромъ; въ храмѣ Божіемъ это совсѣмъ неприлично. «Но это замѣчаніе вызвало со стороны Паниной цѣлый потокъ словъ»... Относительно подлинныхъ выраженій Паниной свидѣтели показывали различно, ибо въ то время, когда она бушевала, пѣвчіе пѣли многолѣтіе». Одни показывали, что она кричала—«какія нѣжности»; другіе—«я не горничная какая-нибудь», «я больная женщина, гдѣ хочу, тамъ и

буду стоять», «кто можетъ мнѣ дѣлать замѣчанія, я женщина больная и среди толпы стоять не могу». По окончаніи молебна, Панина хотѣла первая подойти къ кресту, но полицейскій чиновникъ загородилъ ей дорогу, тогда и г-жа Панина и сынъ ея, мѣстный слѣдователь, начали кричать на полицейскаго: «это чортъ знаетъ что-такое, это — безобразіе, какъ вы смѣете» и т. п.

Судъ призналъ сына виновнымъ въ оскорбленіи полицейскаго чиновника словами и приговорилъ Панина къ штрафу въ 30 рублей; относительно же г-жи Паниной, судъ призналъ, что «она сказала архіерею грубыя слова; нужно признать и то, что въ словахъ этихъ есть оскорбленіе преосвященнаго; но, отвѣчая ему (на что, по мнѣнію суда, она имѣла право), Панина не съумѣла подыскать надлежащихъ выраженій, которыя бы, заключая ея оправданія, въ тоже время не давали бы повода привлечь ея къ отвѣтственности; вотъ это-то неумѣніе Паниной такъ отвѣчать архіерею судъ призналъ за доказательство ея неразумѣнія и приговорилъ Панину къ наказанію установленному за произнесеніе священнослужителю, во время богослуженія, грубыхъ словъ безъ умысла и по неразумѣнію», то-есть къ аресту на 1 мѣсяцъ. Прокуроръ опротестовалъ это рѣшеніе и дѣло перешло въ судебную палату. Но въ судебномъ засѣданіи, товарищъ прокурора палаты не только отказался поддерживать протестъ прокурора окружного суда, но пошелъ дальше, признавая въ дѣлѣ наличность обстоятельства, которое можетъ вести за собою смягченіе наказанія опредѣленнаго Паниной; такое обстоятельство товарищъ прокурора видѣлъ въ раздраженіи, въ которое должно было, по мнѣнію товарища прокурора, привести Панину замѣчаніе, сдѣланное ей архіереемъ». Адвокатъ представилъ самый вѣеръ, который оказался малымъ, и нѣсколько медицинскихъ удостовѣреній о болѣзненномъ состояніи подсудимой. Въ рѣчи своей защитникъ «утверждалъ, что причиною возникновенія всего дѣла было раздраженное состояніе архіерея». Судебная палата, однако, утвердила приговоръ окружного суда и дѣло идетъ теперь на кассацію уже по жалобѣ самой обвиненной.

Отъ судебныхъ процессовъ, изъ коихъ иные должны были произвести на читателя тяжелое впечатлѣніе, перехожу къ дѣламъ, съ содержаніемъ болѣе легкимъ, а именно къ нѣкоторымъ мелочамъ свойства личнаго въ провинціальной печати. Впрочемъ, въ иныхъ мѣстныхъ кружкахъ онѣ быть можетъ считались событіями. Увы, и здѣсь борьба и посягательство ближняго на ближняго, и «страсти роковыя и отъ судебъ защиты нѣтъ». Литераторы вообще склонны преувеличивать общественное значеніе ихъ личныхъ взаимныхъ счетовъ и исключенія въ этомъ отношеніи рѣдки, хотя бываютъ. Помню, какъ однажды покойный Г. З. Елисѣевъ, подписывавшій свои статьи псевдонимомъ Грицко, на рѣзкую личную выходку противъ него въ какомъ-то изданіи другого, ужъ, конечно, менѣе значительнаго псевдонима, отвѣтилъ, примѣрно такъ: и зачѣмъ неизвѣстный авторъ такъ занялся мною, также неизвѣстнымъ, и

такъ меня отдѣлываетъ; вотъ гдѣ можно сказать, что «тля тлю ѣстъ». Подлинно привожу только три послѣднихъ слова, которыя помню.

Не могу не признавать общественнаго значенія полемики по какому-нибудь общему вопросу; полагаю также, что и личное обличеніе необходимо, какъ необходимо полоть въ полѣ сорную траву, чтобы она не заглушала полезныхъ всходовъ. Но «вопросы» въ такомъ родѣ: кто въ газетѣ что пишетъ, почему прежде писалъ другой, а теперь этотъ, хорошо-ли было, что тотъ изъ редакціи ушелъ, а этотъ пришелъ,—это уже вопросы муравейника. Такими и имъ подобными «вопросами» занималась въ послѣднее время печать одесская, и я упомяну о нихъ, такъ какъ долженъ-же иногда живописать и литературные нравы. Разсказавъ въ прошлой статьѣ о томъ великомъ событіи, которое въ теченіе 10 дней прославлялось «Новоросс. Телеграфомъ», а именно о юбилеѣ этой газеты, я и на этотъ разъ долженъ коснуться одесскихъ-же литературныхъ кружковъ.

Въ редакціяхъ «Одесскаго Листка» и «Одесскихъ Новостей» произошелъ, въ первыхъ дняхъ февраля, нѣкій переполохъ. Началось съ того, (т. е. началось въ печати, на дѣлѣ-же, понятно, началось не съ этого), что редакція «Одесскаго Листка», въ особой замѣткѣ, объявила urbi et orbi: «Съ нынѣшняго нумера въ трудахъ редакціи «О. Л.» принимаетъ ближайшее участіе бывшій редакторъ «Одесскаго Вѣстника», уважаемый А. С. Попандопуло». Прекрасно. Хотя я не зналъ, изъ кого доселѣ состояла редакція «О. Л.», за исключеніемъ редактора-издателя В. В. Навроцкаго, который подписываетъ нумера газеты, но нахожу естественнымъ, что, приглашая въ свой составъ новое лицо, редакція заявила объ этомъ. Черезъ два дня, въ той-же газетѣ, на томъ-же мѣстѣ, появилось письмо въ редакцію, въ которомъ сотрудникъ «Одесскихъ Новостей» Баронъ Иксъ извѣщалъ публику, что онъ вышелъ изъ этой газеты, «вслѣдствіе причинъ крайне щекотливаго свойства». На слѣдующій день, опять въ «Одесскомъ Листкѣ», съ тѣмъ-же заглавіемъ «отъ редакціи», было напечатано слѣдующее: въ «Од. Листкѣ» будетъ принимать постоянное участіе извѣстный журналистъ С. Т. Герцо-Виноградскій («Баронъ Иксъ»). Въ тотъ-же день въ «Новороссійскомъ Телеграфѣ» была помѣщена статейка, изъ которой приведу два мѣста. «Въ послѣднее время въ составѣ сотрудниковъ «Од. Нов.» и «Одес. Лист.» произошли существенно важныя перемѣны, а именно: изъ «О. Л.» ушли гг. Кауфманъ, Куперникъ и Фрейденбергъ («Оса»), изъ «О. Н.» г.г. Попандопуло и Баронъ Иксъ. Объ этихъ измѣненіяхъ ближе всего было-бы узнать изъ тѣхъ газетъ, въ которыхъ произошли перемѣны состава сотрудниковъ, но на дѣлѣ вышло совершенно обратное». Далѣе, «Новор. Тел.» поясняетъ, что о томъ, кто ушелъ изъ одной газеты сообщала не эта газета, но другая, для читателей которой это было неинтересно, между тѣмъ, какъ читатели первой «находятся въ сладкомъ заблужденіи, что всѣ обозначенные въ объявленіи о подпискѣ сотрудники остаются на своихъ мѣстахъ». О вступленіи новыхъ сотрудниковъ газеты сообщаютъ, а о выходѣ прежнихъ молчатъ.

Изъ всего этого и я узналъ много поучительнаго, между прочимъ, что «Баронъ Иксъ» это—г. Герцо-Виноградскій, а г. Фрейденбергъ—«Оса». Но Баронъ Иксъ убѣжденъ, что на мѣстѣ его переходъ изъ одной газеты въ другую составляетъ настоящее событіе. Выше я упомянулъ о скромности покойнаго Елисѣева, одного изъ руководителей «Современника» и «Отечественныхъ Записокъ». Иначе относится къ своему значенію въ литературѣ г. Виноградскій. На другой-же день послѣ объявленія о его вступленіи, въ «Од. Листкѣ», подъ рубрикою «О чемъ говорятъ», появились подписанныя Барономъ Иксомъ около 500 строкъ, изъ каковаго числа выписываю слѣдующія: «Баронъ Иксъ! Вотъ новость! Иксъ въ «Листкѣ». Опять! Что такое? Почему? Что? Какъ?! И вы уже и развѣсили уши въ чаяніи какого-нибудь чрезвычайнаго представленія съ объясненіями, разоблаченіями, заушеніями и т. п. полемическими упражненіями. И вдругъ такое огорченіе, ибо я пришелъ къ рѣшенію обойти молчаніемъ это мое приключеніе и, несмотря на все мое раздраженіе, не заниматься этимъ водотолченіемъ». Такъ любознательные одесситы и не получили отвѣта ни на свой вопросъ «что-такое?», ни на свой вопросъ «что?» Имѣютъ уши, даже «развѣсили» ихъ, но ничего не услышали.

Въ послѣдній день января, «Одесскій Листокъ» сообщилъ, что нѣкто В. «пристроившійся къ розничной продажѣ при одной изъ одесскихъ редакцій», явился «на дняхъ» къ нѣкоему Т., угрожая «разнести» его въ газетѣ, если онъ не дастъ денегъ, причемъ вымогатель предъявлялъ готовый оттискъ обличительной статейки, заранѣе написанной и набранной. Конечно, могло случиться, что служащій въ конторѣ устроилъ шантажъ безъ вѣдома редакціи и даже кого-либо изъ сотрудниковъ; но въ такомъ случаѣ, какимъ образомъ онъ могъ задерживать появленіе статейки, показывая ее въ корректурѣ и требуя денегъ за непомѣщеніе ея? «Новоросс. Телеграфъ» замѣтилъ по этому поводу, что обличеніе этой продѣлки, въ той формѣ, какая ему была дана въ «Од. Листкѣ», вредно, потому что бросаетъ тѣнь на людей невинныхъ, которыхъ фамиліи могутъ имѣть одну начальную букву съ фамиліей дѣйствительно обличаемаго. Но при этомъ «Телеграфъ» заявилъ, что въ немъ самомъ «никакихъ В. нѣтъ», а такъ какъ шантажиста обличалъ «Од. Листокъ», то ясно, что и при «Листкѣ» этотъ В. не состоитъ. Затѣмъ Н. Т. прибавлялъ: «въ конторѣ «Одесскихъ Новостей» имѣется нѣкто г. Вейсманъ, но мы не имѣемъ основанія отнести къ нему обвиненія «Од. Листка», который обязанъ снять маску съ лица таинственнаго шантажиста и назвать его en toutes lettres».

«Нѣкто г. Вейсманъ» въ самомъ дѣлѣ оказался въ конторѣ «Одесскихъ Новостей», такъ какъ на другой же день въ газетѣ этой появилось его письмо, въ которомъ заявлялось, что «О. Л.» намекалъ именно на него и выражалось «глубокое возмущеніе», по поводу приписаннаго ему вымогательства у «ростовщика» Т. Затѣмъ сообщалось, что «ростовщика, фамилія котораго начиналась бы буквой Т., онъ, Вейсманъ, не

знаетъ и вообще никакихъ дѣлъ съ ростовщиками не имѣетъ». Что же оказалось, однако, вслѣдъ затѣмъ? То, что корректура статейки была предъявлена ростовщику Д. Теперу — не авторомъ только что упомянутаго письма Ш. Вейсманомъ, служащимъ въ конторѣ «Од. Нов.», но, — по отзыву «Новоросс. Телеграфа»,—его роднымъ братомъ А. Вейсманомъ, который служитъ у своего брата. «Одесскія Новости» заявили, что имъ «нѣтъ никакого дѣла» до какого-либо поступка А. Вейсмана, который не имѣетъ отношенія къ редакціи этой газеты. Обличительная замѣтка о Теперѣ все-таки была напечатана въ «Од. Новостяхъ» и, если не въ томъ нумерѣ, для котораго была первоначально назначена, то это зависѣло отъ «уважительной причины».

Вполнѣ вѣрю, что эта отсрочка была невольною и что если А. Вейсманъ воспользовался ею, представивъ Теперу дѣло такъ, какъ будто статья нарочно послана ему въ корректурѣ съ цѣлью вымогательства, и въ случаѣ полученія денегъ напечатана не будетъ, то это была собственная продѣлка этого господина. Но все-таки, если редакціи «Од. Новостей» нѣтъ дѣла до какого-либо поступка А. Вейсмана, не имѣющаго отношенія къ редакціи, то ей «было дѣло» до того, какимъ образомъ онъ узналъ, что статейка отложена и досталъ ея корректуру? Прибавлю, что взглядъ самого Д. Тепера на это дѣло выразился въ томъ, что онъ «совершилъ насиліе надъ личностью Ш. Вейсмана, служащаго въ конторѣ «Од. Новостей».

Въ предшествующемъ обзорѣ я говорилъ о «рыночной» литературной работѣ и представилъ нѣсколько примѣровъ. Вотъ еще образчикъ. Въ «Орловскомъ Вѣстникѣ», 18 января, подъ рубрикою «Словарь орловскихъ уроженцевъ», помѣщена статья о покойномъ присяжномъ повѣренномъ П. А. Александровѣ. Въ этой статьѣ первыя 19 строкъ и 15 послѣднихъ строкъ буквально выписаны изъ моего отзыва, напечатаннаго въ майской книгѣ «Сѣвернаго Вѣстника», безъ малѣйшей оговорки. Это даетъ мнѣ поводъ къ догадкѣ, не выписана-ли и вся середина статьи изъ какого-нибудь другого изданія? Въ первыхъ строкахъ у меня было между прочимъ: «свѣтлой поры нашей адвокатуры, когда—привожу слова В. Д. Спасовича въ рѣчи, напечатанной въ «Русской Мысли» (годъ и нумеръ)» и т. д. И орловскій «публицистъ» пишетъ «когда—привожу слова В. Д. Спасовича въ рѣчи напечатанной» тамъ-то и т. д. Послѣднія строки воспроизведены также буквально, только изъ нихъ двѣ, относившіяся къ громкимъ судебнымъ дѣламъ, исчезли, очевидно, не по волѣ самого подмастерья, который поставляетъ этотъ усвоенный товаръ.

Иной читатель въ провинціи подумаетъ, пожалуй, что приведенныя литературныя дрязги я выискивалъ съ спеціальной цѣлью выставить въ неблагопріятномъ свѣтѣ провинціальную печать. Но такого жалкаго намѣренія я никогда не имѣлъ. Провинціальныя газеты я уважаю нисколько не менѣе столичныхъ, а если занимаюсь преимущественно первыми, то потому, что таковъ мой отдѣлъ. Наблюдая нашу реальную жизнь, нельзя

не касаться и мелочей, если онѣ сколько-нибудь характерны, а съ этой цѣлью я иногда указываю и на газеты столичныя.

Такъ и на этотъ разъ, я скажу нѣсколько прочувствованныхъ словъ о петербургскомъ «Гражданинѣ». Душа «Гражданина» заключается въ «Дневникѣ» самого издателя, князя Мещерскаго. Князь Мещерскій—человѣкъ коммерческій. Онъ знаетъ силу рекламы. Это оказалось при изданіи этимъ литераторомъ его перваго «Гражданина», при изданіи имъ «Добра», при возобновленіи имъ «Гражданина», наконецъ, при основаніи трехрублевой газеты «Русь». Неоднократно кн. Мещерскій обращался съ циркулярами о подпискѣ къ духовенству, земскимъ управамъ, земскимъ начальникамъ. О послѣднемъ такомъ обращеніи скажу дальше, а сперва остановлюсь на курьезномъ разсужденіи издателя «Гражданина» въ одномъ изъ февральскихъ нумеровъ.

Статейка начинается такъ: «По поводу одного назначенія.—Что вы про него *скажите*? — Да ничего; онъ былъ когда-то краснымъ». Далѣе слѣдуютъ замѣчанія, сводящіяся на то, что у насъ многіе сами мѣняются по направленію вѣтра, отъ насъ независящаго. «Давно-ли было время, когда консерваторъ съ фанатизмомъ отрекался отъ своихъ консервативныхъ убѣжденій и объявлялъ себя либераломъ; ну, а теперь очередь за либералами. Все въ свое время... Девизъ воспитанія или чисто чиновничій—*какъ угодно*, или оппортунистскій—*какъ нужно;* девиза же—*какъ должно* я что-то не помню... Наступаетъ эпоха консервативнаго характера, и вотъ сейчасъ же являются либералы и говорятъ консерваторамъ: возьмите насъ, мы способнѣе васъ, а убѣжденія свои—мы ихъ оставимъ при себѣ. (Сказано весьма мѣтко). Это одни такъ говорятъ, а другіе говорятъ: помилуйте, то было въ молодые годы, а теперь мы образумились... Консерваторы, изъ великодушія и смиренія, даютъ *блюдо* либераламъ прежде, а потомъ себѣ — s'il en reste... А аппетитъ у либераловъ волчій и reste très peu de chose... Консерваторамъ должно слѣдовать примѣру либераловъ и не признавать себя глупѣе ихъ... Благодаря избытку скромности и великодушія, они дали себя убѣдить, что они глупѣе либераловъ... Не берусь (продолжаетъ кн. Мещерскій) рѣшать, кто умнѣе — либералъ или консерваторъ, но одно смѣю сказать утвердительно и убѣжденно: русскій либерализмъ ничего не произвелъ, кромѣ глупостей и бѣдъ, тогда какъ консерватизмъ стремится къ тому, что всего умнѣе на свѣтѣ — къ порядку. Ceci étant donné, недоумѣваю, почему это консерваторы должны себя признавать глупыми передъ господами либералами».

Въ приведенныхъ выпискахъ есть недомысліе, но есть и не лишенная остроумія отмѣтка одного изъ характерныхъ фактовъ самой непосредственной современности, того именно, что иные вліятельные консерваторы не отчурались отъ помощи имъ въ служебныхъ занятіяхъ — лицъ, явно носившихъ прежде не мундиръ, но скажемъ «пледъ» либерализма и что такихъ, подтянувшихся въ вицъ-мундиръ либераловъ въ настоящій мо-

ментъ весьма не мало. Чуть ли даже не большинство. Провѣримъ, однако, посылку и выводъ.

«Ceci étant donné..» Вотъ, въ томъ-то и дѣло, что нисколько не donné. Во-первыхъ, иной консерваторъ и хотѣлъ бы признавать себя умнымъ, но если умъ-то ему въ самомъ дѣлѣ не donné, то въ первомъ же дѣлѣ, съ которымъ нельзя совладать однимъ внушительнымъ видомъ или распеканіемъ, тотъ же, признавшій себя умнымъ, по совѣту такого авторитета въ этомъ отношеніи, какъ «Гражданинъ», возьметъ да и напутаетъ или долженъ будетъ обратиться къ кому-нибудь за совѣтомъ или помощью, хотя бы и къ отъявленному либералу. Правда, и либераловъ глупыхъ непочатый уголъ, и либералу недостаточно признавать себя умнымъ, чтобы быть такимъ. Но и глупый консерваторъ все-таки не будетъ уменъ оттого только, что стремится къ «порядку». Вѣдь и либералы, по своему, также стремятся къ порядку. Если бы «порядокъ» разумѣть только въ смыслѣ розги или палки, то пришлось бы признать, что въ Персіи, Кашгарѣ и Тибетѣ гораздо болѣе порядка, чѣмъ въ Россіи, такъ какъ въ тѣхъ странахъ самая мелкая власть невозбранно и въ совершенно произвольныхъ дозахъ отпускаетъ мѣстнымъ гражданамъ ту панацею, которую намъ рекомендуетъ русскій «Гражданинъ».

Когда у насъ можно было по прихоти и сколько угодно сѣчь крестьянъ, держать гаремы изъ крѣпостныхъ женщинъ, когда городничій Сквозникъ-Дмухановскій праздновалъ свои именины дважды въ году съ спеціальной цѣлью, то былъ ли это тотъ порядокъ, «который умнѣе всего на свѣтѣ?» Не вѣрнѣе ли признать установленіемъ разумнаго порядка — освобожденіе людей отъ рабства и допущеніе нѣкоторой гласности, хотя бы для обузданія взяточниковъ? Когда на мѣсто прежней судебной волокиты и повальной продажности секретарей, господствовавшихъ въ судѣ канцелярскомъ, былъ поставленъ гласный судъ, «скорый и правый», то неужели это не было установленіемъ порядка, вмѣсто безнаказанности богатыхъ и безправія бѣдныхъ? Когда отмѣнились безнравственные винные откупа, у которыхъ было опредѣленное «положеніе» для высшихъ, какъ и для низшихъ губернскихъ чиновниковъ, далеко превышавшее ихъ казенное жалованье, неужели это представляло собой замѣну порядка — безпорядкомъ? Кн. Мещерскій пишетъ: «одно могу сказать утвердительно и убѣжденно: русскій либерализмъ ничего не произвелъ, кромѣ глупостей и бѣдъ». Но во всякомъ случаѣ, либерализмъ не «произвелъ» ни военныхъ поселеній, ни безчеловѣчныхъ батальоновъ кантонистовъ, ни обращенія рубля въ четвертакъ, ни потери черноморскаго флота и утраты полосы русской территоріи на устьяхъ Дуная, ни ходившаго долго затѣмъ на Западѣ мнѣнія, что Россія — «колоссъ на глиняныхъ ногахъ».

И я не хочу рѣшать вопроса: «кто умнѣе — либералъ или консерваторъ»; но замѣчу, что тѣ либералы, которые «поступаютъ» къ консерваторамъ, все-таки, и при этомъ, нѣсколько заботятся о своемъ достоинствѣ, такъ какъ, по отзыву самого же «Гражданина», прямо говорятъ консер-

ваторамъ: «возьмите насъ, мы способнѣе васъ». А что говорилъ кн. Мещерскій земскимъ управамъ, когда предлагалъ имъ свою газету, въ письмѣ, которое было напечатано въ «Волгарѣ» 4 января? Предлагая имъ подписку, онъ разсыпался въ увѣреніяхъ своихъ уваженія и сочувствія къ земству, предлагалъ быть «къ услугамъ всякаго земскаго дѣятеля», быть «органомъ земскихъ практическихъ интересовъ», такимъ, который бы «сообщалъ одному уѣзду свѣдѣнія о ходѣ земскаго дѣла въ уѣздѣ другой губерніи». И все это — за 9 р., вмѣсто 15 р., по пониженной цѣнѣ изъ любви къ земству. Предлагая свою газету земскимъ дѣятелямъ, къ которымъ онъ столько разъ относился пренебрежительно, издатель «Гражданина» говорилъ не такъ, что «возьмите меня, я способнѣе васъ, я буду васъ учить». Нѣтъ, смыслъ его словъ былъ: пожалуйте 9 рублей, я буду вашимъ органомъ, буду къ вашимъ услугамъ и охотно воспользуюсь присланнымъ мнѣ вами безплатнымъ матеріаломъ. Онъ писалъ: «прошу чести высылать съ 1 января вамъ мою газету безплатно до тѣхъ поръ, пока вы сами изволите убѣдиться, что газета достойна вашего вниманія». Совершенно такъ, какъ рекомендуются «одобринъ» или новый сортъ папиросъ по 6 коп. 10 штукъ — «убѣдительнѣйше прошу гг. покупателей лично удостовѣриться въ высокомъ достоинствѣ издѣлій моей фабрики».

Но въ «Гражданинѣ» хоть что-нибудь курьезное найдешь, а иногда, при всемъ несогласіи съ грамматикой, все-таки промелькнетъ огонекъ литературный. А вотъ сестрица его, злющая старая дѣва, московская университетская газета, которая и брата родного разноситъ при случаѣ— все изъ-за споровъ по наслѣдству отъ отца ихъ, покойнаго М. Н. Каткова, — та себѣ незатѣйливо и тяжеловѣсно претъ въ сторону нелѣпой, совсѣмъ даже неосуществимой сплошной реакціи. Въ послѣднемъ нумерѣ «Моск. Вѣдомостей», который имѣю въ рукахъ, газета уже открыто претъ къ возстановленію крѣпостничества. «Много затѣвалось и много дѣлалось— говоритъ она— для того, чтобы вдохнуть живую струю въ чахнущій со времени освобожденія крестьянъ деревенскій бытъ нашъ... Но мало, почти ничего не сдѣлано лишь для основного и главнаго... Нѣтъ, не съ того конца мы начинаемъ. Прежде всего, прежде всякихъ кредитовъ, элеваторовъ и проч. и проч., нашему сельскому хозяйству необходимо дать производительный, а слѣдовательно *хорошо дисциплинованный* трудъ; его-то — шутка сказать! — его-то нашей деревнѣ и не хватаетъ».

Но что такое «дисциплинованный» сельскій трудъ? Я даже допускаю, что «Моск. Вѣд.» говорятъ это только такъ, съ цѣлью отличиться въ своемъ лагерѣ, обезпечить за собой передовое мѣсто въ заднемъ направленіи. Вѣдь должны и онѣ понимать, что возстановленіе труда обязаннаго, чего либо въ родѣ труда крѣпостного, нынѣ фактически невозможно. И полно, правда-ли, будто это требуется для сельскаго хозяйства «прежде всего, прежде кредитовъ и проч?..» Помнится, «Моск. Вѣдомости» всегда относились сочувственно къ дворянскому банку и ратовали за сложеніе накопившихся въ немъ недоимокъ, а также за соло-векселя. Стало быть,

если-бы и было возможнымъ новое «дисциплинованіе» крестьянскаго труда, то оно являлось-бы все-таки не прежде, а послѣ «кредитовъ».

Возвращаюсь къ провинціальнымъ газетамъ. Мнѣ доставило удовольствіе найти въ нѣсколькихъ изъ нихъ теплыя слова по поводу 75-ти-лѣтней годовщины петербургскаго университета. Не потому, чтобы я самъ былъ очень расположенъ къ теплымъ словамъ, въ настоящее время, но потому, что высоко цѣню умственную и нравственную связь между развитыми людьми на всемъ пространствѣ Россіи. И мнѣ думалось, что это писали, можетъ быть, наши петербургскіе студенты, мои collegiales. Вотъ «Минскій Листокъ» во второй разъ назвалъ меня «отцомъ» провинціальной печати, но прибавляетъ, что я бываю иногда и «вотчимомъ», то есть, все-таки, какъ будто подозрѣваетъ во мнѣ нѣкую злокозненность. Одинъ изъ обозрѣвателей минской газеты, г. Е. Фидлеръ, заканчивая свои «Журнальныя замѣтки», напоминаетъ, что я «открылъ секретъ, какъ иногда составляются журнальныя обозрѣнія, и прибавляетъ: «а что, если и меня уличатъ въ безцеремонномъ плагіатѣ, въ то время, какъ я двѣ ночи подъ рядъ провелъ надъ чтеніемъ двухъ разсмотрѣнныхъ мною, по мѣрѣ силъ, книжекъ?» Но добросовѣстный, самостоятельный трудъ невозможно уличить въ плагіатѣ.

Другой обозрѣватель той-же газеты, г. Ар. Когенъ, замѣчаетъ: «было-бы крайне пріятно встрѣчать въ хроникѣ г. Л. Прозорова почаще указанія на проповѣдь человѣконенавистничества, подъ различнаго рода quasi — патріотическими флагами, въ провинціальныхъ газетахъ». Соглашаюсь, что это одна изъ главныхъ задачъ. Но я ее понимаю не только по отношенію къ вопросамъ частнымъ, а прежде и болѣе всего—къ дѣлу общему, главному, нисколько не отказываясь, при случаѣ, и отъ словъ осужденія всякому оскорбленію національностей, какъ и было въ томъ примѣрѣ, который приводитъ мой уважаемый собесѣдникъ. Далѣе г. Когенъ пишетъ: «мы хотимъ сказать о тѣхъ немногихъ строкахъ, въ которыхъ г. Л. Прозоровъ относится къ грѣхамъ провинціальныхъ газетъ или какъ слишкомъ строгій отецъ, или даже какъ вотчимъ». Затѣмъ авторъ останавливается на одной изъ указанныхъ мною причинъ развитія рыночно-литературной работы, на той именно, что издатели хотятъ имѣть отдѣловъ «числомъ поболѣе, цѣною подешевле». Г. Когенъ говоритъ, что самое слабое мѣсто провинціальныхъ изданій — рецензіи новыхъ книгъ, такъ какъ въ провинціи мало людей способныхъ для этой работы, весьма нелегкой и даже неблагодарной, при томъ гонорарѣ, отъ 2 до 3 коп. за строку, который въ провинціальныхъ изданіяхъ является максимальнымъ, а между тѣмъ, нельзя не давать рецензій о книгахъ, для того, чтобы сколько-нибудь направлять выборъ ихъ публикою. «Пусть—продолжаетъ мой собесѣдникъ — въ рецензіяхъ авторъ излагаетъ не самостоятельное мнѣніе о книгѣ, а передѣлываетъ или даже разводитъ водой отзывы компетентныхъ лицъ, лишь-бы читатели узнали о выходѣ хорошей книги».

Я не говорилъ о рецензіи книгъ, но согласенъ, что библіографическій отдѣлъ полезенъ въ каждой газетѣ. Однако, если нельзя высказать самостоятельнаго мнѣнія о книгѣ, то къ чему-же передѣлывать и разводить водой мнѣнія чужія? Не лучше-ли, наоборотъ, сокращать ихъ и представлять прямо, какъ отзывы чужіе, компетентные? Приводя употребленное мною слово «шёртингъ», г. Когенъ прибавляетъ: «пусть это не холстъ, а шёртингъ, но пусть этотъ шёртингъ будетъ добросовѣстный, а не гнилой, залежалый. Хорошій холстъ—вещь дорогая, хорошій шёртингъ доступнѣе». Здѣсь между нами нѣкоторое недоразумѣніе. О «шёртингѣ» я говорилъ въ смыслѣ фальсификаціи, а продуктъ фальсификованный не можетъ быть ни добросовѣстнымъ, ни хорошимъ. Да вотъ спрошу я просто: отчего-же шёртинга я никогда не находилъ хотя-бы въ «Минскомъ Листкѣ», «Смоленскомъ Вѣстникѣ», «Волжскомъ Вѣстникѣ», въ серьезныхъ отдѣлахъ «Волгаря», «Южнаго Края», одесскихъ и нѣкоторыхъ другихъ газетъ? Направленіе можно признавать полезнымъ или не полезнымъ, но степень доброкачественности самой работы — дѣло особое.

Л. Прозоровъ.

---

*

ПИСЬМО ИЗЪ ШВЕЙЦАРІИ [1].

Referendum.—Народная инициатива.—Безвозмездное государственное леченіе.—Обязательное страхованіе противъ болѣзней.

Всякій положительный законъ долженъ быть возможно вѣрнымъ выразителемъ интересовъ народа или, по крайней мѣрѣ, его большинства. Возможно точное соглашеніе закона съ интересами большинства составляетъ предметъ стремленія всякаго прогрессирующаго законодательства, хотя способы къ достиженію этой цѣли, въ разныхъ государствахъ, весьма различны, смотря по господствующимъ понятіямъ относительно роли народа въ законодательной дѣятельности. Изъ всѣхъ странъ наиболѣе сильно такое стремленіе выражается въ Швейцаріи. Не довольствуясь кантональными «Великими Совѣтами» и «Федеральными Палатами», швейцарцы установили народный referundum по отношенію ко всякому, принятому большинствомъ депутатовъ федеральному закону. Въ силу референдума, при наличности 50 тысячъ подписей на составленномъ съ этою цѣлью прошеніи въ Федеральный Совѣтъ, всякій законъ долженъ быть подвергнутъ прямому народному голосованію, причемъ каждый правоспособный гражданинъ призывается отвѣтить—«да или нѣтъ» на вопросъ—принимаетъ онъ или нѣтъ предлагаемый законъ. Но, давая народу власть принять или отвергнуть выработанный народными представителями «референдумъ», законъ оставляетъ всю инициативу законодательной дѣятельности въ рукахъ депутатовъ. Чтобы достигнуть еще болѣе точнаго соглашенія закона съ народными интересами, Швейцарцы рѣшили предоставить самому народу, въ извѣстныхъ условіяхъ, инициативу законодательной дѣятельности, принявъ, два года тому назадъ, такъ называемый законъ народной инициативы.

Народная инициатива заключается въ правѣ, предоставленномъ конституціей всякой группѣ избирателей въ 50,000 человѣкъ, собравшихъ свои подписи на прошеніи, требовать прямого обращенія къ народу, съ

---

[1]) Обычная, ежемѣсячная корреспонденція г-жи Макъ-Гаханъ получена нами въ послѣднихъ числахъ Февраля и потому не могла попасть въ Мартовскую книгу «Сѣвернаго Вѣстника». *Ред.*

предложенiемъ одной или нѣсколькихъ формулированныхъ статей, которыя хотятъ облечь силою закона.

Законъ объ инициативѣ былъ принятъ 5 iюля 1891 года и составляетъ теперь 121-ю статью конституцiи. «Народная инициатива» уже потребовала распредѣленiя таможенныхъ доходовъ между конфедерацiей и кантонами, дарового леченiя больныхъ, установленiя государственной монополiи въ производствѣ и торговлѣ табакомъ и, наконецъ, употребленiя въ федеральныхъ мастерскихъ исключительно лишь швейцарскихъ рабочихъ и матерiаловъ швейцарскаго-же происхожденiя. Эти послѣднiя четыре предложенiя не собрали еще въ свою пользу требуемыхъ 50,000 подписей.

Въ частности, что касается вопроса о даровомъ леченiи, то онъ возбужденъ комитетомъ «Рабочаго союза». Комитетъ предложилъ дополнить ст. 34 федеральной конституцiи слѣдующими словами: «Конфедерацiя, при содѣйствiи кантоновъ, относительно организацiи управленiи, и, насколько то позволятъ ей доходы отъ монополiи табаку, заботится о томъ, чтобы населенiе получало безвозмездно помощь и совѣты врача, равно какъ необходимыя для леченiя средства. Она, конфедерацiя, кромѣ того, предоставитъ кантонамъ субсидiи для безвозмезднаго леченiя бѣдныхъ въ больницахъ и для устройства самихъ больницъ. Для покрытiя этихъ расходовъ конфедерацiи предоставляется исключительное право приготовленiя, ввоза и продажи табаку. Она можетъ, кромѣ того, издавать законодательныя распоряженiя относительно суррогатовъ табаку. Цѣна низшаго сорта табаку не должна быть увеличена. Кантоны, которые взимали до 1893 г. налоги съ фабрикацiи или продажи табака получатъ справедливое вознагражденiе за потерю этого рессурса. Федеральное законодательство будетъ благопрiятствовать мѣстному производству и приготовленiю табака. Оно опредѣлитъ, какимъ образомъ кантональныя власти должны содѣйствовать управленiю монополiей».

Инициатива касается, такимъ образомъ, двухъ предметовъ слитыхъ во едино, вопреки, замѣтимъ кстати, 121 ст. конституцiи, въ которой сказано, что если, путемъ народной инициативы, представлено нѣсколько разныхъ постановленiй для пересмотра или внесенiя въ федеральную конституцiю, то каждое изъ нихъ должно составлять особый предметъ требованiя инициативы. Здѣсь, на самомъ дѣлѣ, требуется, съ одной стороны, внести въ конституцiю гуманный принципъ безвозмездности медицинскаго пособiя, а съ другой стороны—принятiе мѣръ къ увеличенiю рессурсовъ конфедерацiи установленiемъ монополiи на табакъ. Какъ новое обязательство государства въ отношенiи гражданъ, такъ и новое ограниченiе, въ пользу государства свободы торговли и промышленности, — суть два совершенно независимыхъ принципа, относительно которыхъ инициаторы приглашаютъ народъ высказаться въ одномъ отвѣтѣ. Вслѣдствiе такого формальнаго недостатка, предложенiе это вѣроятно не будетъ подвергнуто голосованiю въ настоящемъ его видѣ, но не подлежитъ сомнѣнiю, что авторы его еще не сочтутъ себя побѣжденными и поспѣшатъ предста-

вить, вмѣсто одного, два требованія отдѣльной инпціативы, что не представитъ большихъ трудностей.

Авторами предложенія являются двѣ весьма несходныя въ своихъ принципахъ партіи—католики и соціалисты и потому, между ними, въ самомъ началѣ является несогласіе относительно размѣровъ безвозмездной медицинской помощи. Въ то время какъ католики желали бы установить безвозмездность медицинской помощи лишь по отношенію къ бѣднымъ, соціалисты настаиваютъ на уничтоженіи, въ этомъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, всякаго различія между бѣдными и богатыми и требуютъ, чтобы леченіе было безвозмездно для всѣхъ, подобно тому, какъ безвозмездны для всѣхъ начальное образованіе и религіозныя услуги, оказываемыя служителями національной церкви, и какъ безвозмездно, въ нѣкоторыхъ кантонахъ, погребеніе мертвыхъ.

По мысли швейцарскихъ рабочихъ, собравшихся въ Цюрихѣ на чрезвычайный конгрессъ—5-го ноября прошлаго года,—въ числѣ 523 делегатовъ, представлявшихъ 191,185 рабочихъ, безвозмездное леченіе больныхъ является лишь предварительнымъ условіемъ для государственной организаціи обязательнаго страхованія противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. Страхованіе противъ болѣзней будетъ, такимъ образомъ, имѣть въ виду единственное лишь вознагражденіе потерь, причиненныхъ прекращеніемъ работы во время болѣзни. Докладъ, въ которомъ были первоначально развиты мотивы для убѣжденія въ полезности новой инціативы, былъ представленъ секретаремъ рабочихъ, Греблихомъ. По мысли его, врачи, какъ пасторы и профессора, должны быть государственными чиновниками, съ опредѣленнымъ содержаніемъ. Другими словами, положеніе, которое теперь занимаютъ врачи въ госпиталахъ, должно быть распространено на большинство врачей. Кантоны предполагается раздѣлить на округа трехъ категорій, смотря по густотѣ населенія. При этомъ дѣленіи предполагается имѣть въ виду также обезпеченіе медицинской помощью горныхъ областей страны, которыя теперь почти лишены оной. Греблихъ раздѣляетъ всю Швейцарію на 182 округа, которые будутъ имѣть всего 122 офиціальныхъ врача. Кромѣ этихъ врачей, соотвѣтствующихъ нашимъ уѣзднымъ и губернскимъ врачамъ, въ городахъ остается еще, конечно, значительное число врачей вольнопрактикующихъ. Принимая содержаніе каждаго врача въ 6 тысячъ франковъ, Греблихъ разсчитываетъ, что, при осуществленіи его мысли, расходъ собственно на врачей будетъ — 7,350,000 фран. Что касается до расходовъ на медикаменты, то, согласно разсчету двухъ экспертовъ федеральнаго департамента торговли и промышленности, таковые обойдутся въ 64 процента всей предыдущей суммы, т. е. въ 4,748,000, франковъ. Приготовляя медикаменты въ большомъ количествѣ, въ большихъ лабораторіяхъ государства, можетъ еще, по мнѣнію Греблиха, быть сдѣлана экономія на этой суммѣ. Прибавляя 2 милл. на субсидіи госпиталямъ, въ пользу которыхъ кантоны расходуютъ теперь до 10 милл. фран., секретарь рабочихъ разсчитываетъ, что осуществленіе для Швей-

царіи великодушной мысли—безвозмезднаго пользованія всѣхъ больныхъ—обойдется всего лишь въ 13 милл. франковъ, т. е. 6 милліоновъ рублей. Это немного менѣе половины того, что разчитывалъ федеральный департаментъ торговли и промышленности.

Главными возраженіями противъ этого проекта рабочихъ является опасеніе громаднаго усиленія федеральной власти и бюрократіи. Затѣмъ, многіе упрекаютъ проектъ въ неопредѣленности и въ зависимости его отъ табачной монополіи; наконецъ, нѣкоторые противники его думаютъ, что вмѣсто уменьшенія расходовъ на болѣзни, обращеніемъ врачей въ чиновниковъ, расходы эти, какъ доказалъ опытъ Люцернскаго кантона, напротивъ того, увеличатся.

Въ виду этого, идея осуществленія безвозмезднаго пользованія всѣхъ въ томъ нуждающихся лицъ, исключительно кантональными средствами, пользуется сочувствіемъ многихъ классовъ населенія. Нѣкоторые кантоны сдѣлали уже, въ этомъ отношеніи, серьезные опыты. Такъ, Тессинскій кантонъ, еще въ 1863 г., организовалъ даровую медицинскую помощь. По принятой имъ системѣ кантонъ раздѣленъ на 54 округа. Жители каждаго изъ этихъ округовъ избираютъ своего врача и оплачиваютъ его. Смотря по мѣстности, взносъ каждаго жителя опредѣленъ отъ 50 сантимовъ до полутора франка, что обезпечиваетъ врачу содержаніе отъ 1,500 до 3,000 и максимумъ 4 т. франковъ. Государство даетъ, кромѣ того, каждому врачу вознагражденіе отъ 150 до 350 фр. за исполненіе ими обязанностей медицинской полиціи. По этому пункту государство расходуетъ ежегодно до 14 т. фр. въ годъ, сверхъ 2,500 фр. субсидій, которыя предоставляются наиболѣе бѣднымъ округамъ. Въ кантонѣ Граубинденъ существуетъ почти такая же организація безвозмезднаго пользованія больныхъ. Кантонъ Базель-городъ создалъ также поликлинику, порученную управленію старшаго врача съ 5 ассистентами и нѣсколько спеціальныхъ поликлиникъ, въ которыхъ подаютъ совѣты безвозмездно, какъ въ зданіяхъ, состоящихъ въ распоряженіи администраціи, такъ равно и на дому, причемъ не только отпускаются даромъ лекарства, но также раздаются еще бѣднымъ билеты на даровыя квартиры. Лицамъ, которымъ необходимо пребываніе въ госпиталѣ, отпускаются суточныя деньги на прокормленіе и необходимыя перевязочныя средства. Бозвозмездно пользуются всѣ прожившіе въ городѣ шесть мѣсяцевъ и имѣющіе годовой заработокъ менѣе 1,200 фр.

Въ виду этихъ опытовъ, давшихъ удовлетворительные результаты, едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что безвозмездное пользованіе бѣдныхъ больныхъ могло бы быть вполнѣ обезпечено каждымъ кантономъ въ отдѣльности. Главное затрудненіе здѣсь заключается въ разногласіи господствующихъ по этому предмету принциповъ. Въ то время, какъ для соціалистовъ особенно дорогъ принципъ уравненія всѣхъ въ глазахъ государства, и обязательность для всѣхъ одинаковой регламентаціи, для индивидуалистовъ точно также дорогъ принципъ свободы лич-

ности и предоставленіе возможно широкой общественной и индивидуальной инициативы.

Въ данномъ случаѣ вопросъ о безвозмездномъ леченіи тѣсно связанъ съ вопросомъ объ обязательномъ застрахованіи противъ послѣдствій болѣзни и несчастныхъ случаевъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ цивилизованномъ христіанскомъ обществѣ, каждый долженъ быть обезпеченъ противъ послѣдствій, которыя ведетъ за собой болѣзнь, и, если уже признано необходимымъ установить обязательное страхованіе имуществъ и скота, то есть еще болѣе основаній установить обязательное страхованіе противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ, лишающихъ возможности работать во вредъ какъ личности, такъ и интересовъ общества. Только вопросъ въ томъ, кто покроетъ необходимые для этого издержки. Соціалисты, безъ колебанія, отвѣчаютъ, что плательщикомъ должно быть государство, но, думаютъ они, усиленіе компетенціи государства гибельно для развитія частной инициативы, а также неблагопріятно для установленія той живой связи между гражданами, той нравственной отвѣтственности предъ своею совѣстью, которыя столь существенны для истиннаго прогресса общества. Наконецъ, государство должно отыскивать рессурсы, не обременяя бѣдныхъ. Индивидуалисты и мютіалисты желаютъ, чтобы помогали себѣ сами всѣ тѣ, которые могутъ себѣ помочь; они не желаютъ разстраивать, вмѣшательствомъ государства, весьма уже широкой частной и общественной дѣятельности, направленной къ обезпеченію гражданъ отъ послѣдствій болѣзни и несчастныхъ случаевъ. Обязательное страхованіе едва ли осуществимо. Застрахованіе себя отъ болѣзни предполагаетъ способность страхователя платить установленную съ него плату для полученія преміи, но разъ есть бѣдные, неспособные платить за себя и своихъ близкихъ, то уже никакого «обязательнаго» для всѣхъ страхованія не можетъ быть. Но государство можетъ пособить существующимъ обществамъ взаимнаго страхованія и взаимной помощи, и, оказывая свое пособіе тѣмъ, которые безъ этого не могли бы принять участія въ интересахъ обществъ взаимной помощи, оно, т. е. государство, получаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, право поставить условіемъ своего пособія такія преобразованія въ уставахъ этихъ обществъ, которыя способны будутъ расширить кругъ ихъ полезной дѣятельности и даже сдѣлать возможнымъ, со временемъ, осуществленіе принципа обязательнаго обезпеченія всѣхъ. Въ этомъ случаѣ не слѣдуетъ только упускать изъ вида различія между лицами застрахованными и лицами вспомоществуемыми. Установленіе правъ и любовь къ ближнему должны идти рука объ руку. Безвозмездное леченіе бѣдныхъ было бы значительнымъ шагомъ впередъ на пути къ обязательному страхованію противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. Именно въ этомъ смыслѣ недавно составленъ Фореромъ, по порученію федеральнаго совѣта, проектъ закона застрахованія противъ послѣдствій болѣзни, въ дополненіе къ ст. 31 конституціи; причемъ имѣется въ виду обязательное застрахованіе въ слѣдующихъ случаяхъ: «Конфедерація устано-

витъ законодательнымъ порядкомъ застрахованіе противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ, принимая во вниманіе и въ разсчетъ существующія кассы для пособій», и далѣе, «она, т. е. конфедерація, можетъ объявить участіе въ этихъ застрахованіяхъ обязательнымъ,—либо для всѣхъ, либо для опредѣленной категоріи гражданъ».

Согласно появившимся въ газетахъ свѣдѣніямъ о проектѣ Форера, въ немъ устанавливается обязательное страхованіе лишь для извѣстной категоріи гражданъ и приняты весьма мало въ разсчетъ дѣйствующія кассы обществъ взаимнаго пособія. Натурально, это весьма встревожило общества взаимной помощи, изъ коихъ одно, находящееся въ Романской Швейцаріи, считаетъ 30 тысячъ членовъ. Эти общества справедливо придаютъ большое значеніе нравственной связи и личной, установившейся въ ихъ средѣ, отвѣтственности и, потому, они весьма противятся замѣнѣ свободной воли гражданъ покровительствомъ или опекою со стороны государства.

Примѣненіе ст. 31 конституціи, по мнѣнію антисоціалистовъ, можетъ наилучшимъ образомъ быть осуществлено путемъ субсидій со стороны конфедераціи многочисленнымъ обществамъ взаимнаго пособія, имѣющимъ единственною своей цѣлью обезпеченіе отъ болѣзней и организованнымъ, согласно имѣющему быть выработаннымъ конфедераціей закону. Субсидіи со стороны государства, конечно, должны идти на пользу, такъ сказать, наименѣе счастливыхъ. Для избѣжанія произвола, законъ долженъ установить, кого именно слѣдуетъ считать наименѣе счастливымъ.

Государство должно привлечь всѣ общественныя силы къ этому дѣлу, въ основѣ котораго лежитъ глубочайшая идея справедливости и христіанскаго братства.

Вопросъ объ обязательномъ страхованіи противъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ самымъ живымъ образомъ занимаетъ нынѣ умы въ Швейцаріи и Германіи и, конечно, заслуживаетъ того, чтобы на него было обращено вниманіе и въ Россіи.

Викторъ Дильгенштедтъ.

Г. Лозанна.

ИЗЪ ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЫ.

Гансъ фонъ-Бюловъ. Слава скончавшагося въ Капрѣ въ первыхъ числахъ февраля Ганса фонъ-Бюлова переживетъ надолго его тлѣнный прахъ. Смерть явилась къ нему послѣ долгихъ страданій; она не была ни для кого неожиданностью и тѣмъ не менѣе болѣзненно отозвалась въ мірѣ музъ. На Бюлова устремлено было столько взоровъ, возлагалось столько надеждъ, и всѣ разсчитывали, что неумолимый рокъ пощадитъ больного. Выдѣлился Гансъ Бюловъ и поднялся въ глазахъ своихъ современниковъ, главнымъ образомъ, совершенно исключительной своей энергіей. Онъ называлъ себя въ своихъ письмахъ «immer Lernende»; онъ не зналъ преградъ и препонъ, и если находилъ идею справедливой, не останавливался ни передъ чѣмъ для проведенія ея въ жизнь. Онъ много читалъ, былъ прекраснымъ лингвистомъ и любилъ науку; до послѣдняго вздоха онъ стремился къ расширенію умственныхъ своихъ горизонтовъ; все, что онъ пріобрѣталъ, онъ немедленно же пускалъ въ оборотъ, во имя процвѣтанія родного искусства. Онъ говорилъ о себѣ, что у него не было, собственно, никакого таланта, но, что онъ пріобрѣлъ его цѣною необычайныхъ усилій и напряженія воли,— это не совсѣмъ правда, конечно, но слова достаточно ярко рисуютъ оригинальную личность покойнаго. Самонадѣянность и вѣра въ счастливый случай, какъ въ какой-то даръ небесъ, качества прочно царящія среди музыкантовъ и композиторовъ, были ему совершенно чужды. Самостоятельностью и самобытностью его натуры объясняются также и его эксцентричность и парадоксальность, создавшія ему такъ много враговъ.

Бюловъ былъ, прежде всего, замѣчательный піанистъ. Въ качествѣ виртуоза, онъ соперничалъ съ Рубинштейномъ. Сравненіе между тѣмъ и другимъ служило обычной темой музыкальныхъ статей и рецензій въ Германіи послѣдняго двадцатилѣтія. Кто слышалъ въ исполненіи Бюлова полонезъ Шопена, фантазію «Донъ-Жуана» Листа или Баха и Бетховена, тотъ зналъ его всеобъемлющій талантъ. Въ послѣдніе годы его увлекли своей глубиной и проникновенной красотой сонаты Бетховена. Сдѣлать ихъ понятными для толпы, популяризировать въ массѣ—вотъ какую задачу поставилъ онъ себѣ въ концѣ своей жизни.

Молодость Бюлова совпала съ бурной эпохой, когда Вагнеръ прокладывалъ новые пути своей музыки. Какъ и слѣдовало ожидать, Бюловъ сталъ на сторону болѣе слабаго. Съ свойственнымъ ему увлеченіемъ и пыломъ онъ отдалъ Вагнеру весь свой талантъ виртуоза и острый полемическій даръ. Его превосходное знакомство съ искусствомъ вообще и его злое и ядовитое перо выбили изъ сѣдла многихъ противниковъ, создавъ безконечное количество враговъ. Тогда же онъ написалъ увертюру «Юлій Цезарь»; но, какъ композиторъ, онъ успѣха не имѣлъ, и самъ не издавалъ даже мелкихъ своихъ пьесъ. Увлекшись философіей Шопенгауера, онъ

перешелъ на закатѣ дней къ пессимизму Гартмана; но ни пессимизмъ, ни разочарованіе не охлаждали его любви къ музыкѣ; въ особенности громадныя услуги оказалъ онъ своему родному искусству въ качествѣ капельмейстера. Онъ первый познакомилъ берлинцевъ съ «Лоэнгриномъ», Листомъ и т. д.

Въ Мюнхенѣ онъ выступилъ съ своимъ истолкованіемъ «Тристана и Изольды». Когда дѣло Вагнера было выиграно, Бюловъ пошелъ собственной дорогой. Онъ былъ умъ слишкомъ самостоятельный, характеръ слишкомъ самобытный для того, чтобы не плыть по опредѣленному теченію, не присоединяться къ извѣстной школѣ. Приглашенный герцогомъ Мейнингенскимъ дирижировать придворнымъ оркестромъ, онъ поставилъ послѣдній на недосягаемую высоту. Позднѣе онъ успѣлъ проявить свои таланты дирижера и виртуоза въ болѣе широкихъ рамкахъ. Онъ совершилъ путешествіе по Европѣ, былъ въ Россіи, много корреспондировалъ, писалъ полемическія статьи. Какъ человѣкъ, онъ былъ всегда пріятнымъ собесѣдникомъ и любилъ общество. Въ свое дѣло онъ вкладывалъ всю свою душу, всего себя, и, въ концѣ концовъ, бренное тѣло не выдержало. Наканунѣ смерти Вагнера, за котораго онъ такъ мужественно боролся и во имя котораго принесъ такъ много жертвъ, онъ умеръ вдали отъ родины, въ Каирѣ.

О преподаваніи философіи въ лицеяхъ. №№ французскаго еженедѣльнаго журнала *Revue Bleue* заключаютъ въ себѣ, между прочимъ, любопытную полемику по вопросу о преподаваніи въ лицеяхъ философіи. Остроумный и бойкій фельетонистъ этого журнала F. Vandérem поднялъ этотъ вопросъ по поводу какого-то незначительнаго видоизмѣненія въ распредѣленіи уроковъ философіи. Преподаваніе философіи въ послѣднемъ классѣ лицеевъ, вообще, было имъ обрисовано какъ типичный образецъ педагогической рутины, какъ дѣло устарѣвшее, нецѣлесообразное, какъ задача, которая не можетъ быть осуществлена хорошо, а потому должна быть либо измѣнена въ самой постановкѣ, либо совершенно устранена. Въ томъ, что фельетонистъ говоритъ о недостаткахъ современной постановки задачи — о невозможности пройти курсъ логики, психологіи и исторіи философіи въ одинъ годъ, о формальномъ характерѣ самого преподаванія, о неподготовленности учениковъ къ усвоенію отвлеченныхъ понятій, — во всемъ этомъ есть, конечно, много справедливаго. Ни отъ какого живого человѣка, имѣющаго открытые глаза, не можетъ укрыться то обстоятельство, что преподаваніе всякой сложной дисциплины представляетъ трудности, еще далеко не превзойденныя современной педагогикой не только практически, но даже и теоретически, что для осуществленія тѣхъ задачъ, какія ставитъ себѣ всякое учебное заведеніе, понадобится, быть можетъ, еще очень много смѣлыхъ и рѣшительныхъ перестроекъ въ самыхъ нашихъ взглядахъ на средства общенія учениковъ съ учителемъ. F. Vandérem очень остроумно и мѣтко изображаетъ всю несостоятельность современной школы и требуетъ неотложныхъ реформъ и улучшеній. Но, кромѣ этой стороны дѣла, онъ выдвигаетъ и другую. Рядомъ тонкихъ намековъ онъ даетъ понять, что наиболѣе радикальнымъ средствомъ для борьбы со зломъ было бы совершенное исключеніе философіи изъ предметовъ преподаванія. Бойкій и полный веселости французъ не усматриваетъ никакой живой пользы для молодыхъ умовъ въ изученіи того, что, по его мнѣнію, дается такъ трудно.

Фельетоны Vandérem вызвали оживленіе общественнаго мнѣнія по этому вопросу. Въ редакціи «Revue Bleue» былъ полученъ рядъ отвѣтныхъ писемъ изъ публики. Высказались по этому поводу и представители научнаго міра. Мы приведемъ здѣсь in extenso письмо профессора Boutroux, захватывающее предметъ гораздо глубже, чѣмъ съумѣлъ затронуть его Vandérem.

Письмо Бутру, профессора въ Faculté des Lettres въ Парижѣ. Милостивый государь! Вы дѣлаете мнѣ честь, обращаясь ко мнѣ съ вопросомъ о моемъ мнѣніи относительно критической статьи, помѣщенной недавно въ «Revue Bleue» и направленной противъ установившагося у насъ преподаванія философіи. Но я колеблюсь

относительно того,какъ отвѣчать вамъ послѣ прекрасныхъ и основательныхъ статей Жане, Фулье и Маневріе, будучи въ состояніи сдѣлать это только очень поспѣшно. Я много думаю о томъ, что высказалъ Вандеремъ, но я представилъ-бы это въ нѣсколько иномъ свѣтѣ. Нельзя слишкомъ настаивать на заслугахъ профессоровъ философіи въ нашихъ лицеяхъ. Отвѣты, которые даются при испытаніяхъ на баккалавровъ, не многое доказываютъ. Тутъ главное дѣло въ таинственныхъ впечатлѣніяхъ, въ сѣменахъ, которымъ предстоитъ развиться со временемъ, въ результатахъ, которые могутъ быть обнаружены только самою жизнью. А, какъ кажется, впечатлѣнія эти получаются очень многими молодыми людьми. Я ни разу не встрѣтилъ ученика, который-бы не выразилъ мнѣ живого интереса къ тому, что было ему объяснено. Правда, вначалѣ молодые люди бываютъ часто сбиты съ толку. Но вскорѣ они осваиваются съ терминами, съ задачами, съ методомъ, и если они понимаютъ не все, то видятъ достаточно, чтобъ пожелать увидѣть больше: таково ужъ положеніе человѣка въ природѣ. Этотъ интересъ распространяется даже на самыхъ слабыхъ учениковъ. Я видѣлъ изъ нихъ нѣкоторыхъ, числящихся послѣдними и говорящихъ о своемъ профессорѣ съ энтузіазмомъ, гордыхъ тѣмъ, что получаютъ наравнѣ съ самыми сильными такое прекрасное преподаваніе. Безъ сомнѣнія, у нихъ останется отъ этого хоть что-нибудь, хотя-бы нѣкоторое понятіе о возвышенныхъ потребностяхъ человѣческой природы.

Проподаваніе философіи очень производительно и живо въ особенности въ большихъ городахъ. Я слышалъ отъ профессоровъ риторики, что ученики, переходящіе къ нимъ по изученіи философіи, чтобъ приготовиться къ Ecole normale, совершенно иначе читаютъ и пишутъ сочиненія и, свойствомъ своихъ успѣховъ, доказываютъ производительность преподаванія философіи. Размышленія г. Вандерема—разумны, если видѣть въ нихъ, какъ желаетъ того самъ авторъ, скорѣе личныя впечатлѣнія, которыя онъ предоставляетъ на судъ публики, чѣмъ опредѣленный проектъ совершенной отмѣны или измѣненій такого преподаванія. Что касается меня, то, если-бы я взялся философствовать на эту тему, я бы во многомъ согласился съ вашимъ редакторомъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ я пошелъ-бы даже далѣе его. Напримѣръ, я не нахожу, чтобъ философія въ планѣ нашего преподаванія занимала мѣсто, предназначенное ей традиціями и ея характеромъ. Отъ Ѳалеса до Гегеля философія была также родственна наукѣ, какъ литературѣ, искусству и религіи. А мы, вслѣдствіе какой-то ошибки, заключили ее въ область филологіи. Платонъ позволяетъ входить въ свою школу только геометрамъ; Бэконъ придумываетъ, создаетъ цѣлую методологію физическихъ наукъ; Декартъ приступаетъ къ метафизикѣ, чтобы основать физическую математику; Лейбницъ отыскиваетъ сущность безконечно малыхъ величинъ; Кантъ въ цѣлой половинѣ своей философіи предлагаетъ теорію познанія. А мы надѣемся понять доктрины этихъ универсальныхъ геніевъ и идти по ихъ слѣдамъ, держась въ сторонѣ другъ отъ друга, безъ взаимнаго общенія, одни — въ области исключительно внѣшнихъ явленій. Философія принадлежитъ не болѣе къ литературѣ, чѣмъ къ наукѣ. Она представляетъ собою размышленіе человѣка о значеніи, о цѣнности, о реальности того, что онъ знаетъ и что дѣлаетъ. Въ университетѣ, организованномъ согласно естественному сродству знаній, факультетъ, общій для области литературы и положительной науки, и обнимающій всѣ науки чисто теоретическаго характера, служилъ-бы противовѣсомъ факультетамъ спеціальнымъ, на которыхъ теорія подчинена практикѣ; и на этомъ общемъ факультетѣ, заключающемъ въ себѣ столько отдѣленій, сколько существуетъ естественныхъ группъ теоретическихъ познаній, философское отдѣленіе представляло-бы изъ себя размышленіе человѣческаго ума относительно совокупности всѣхъ этихъ дисциплинъ. Правда, философія не можетъ считаться подходящимъ занятіемъ для молодыхъ людей въ такой-же степени, какъ другія отрасли науки. Но, во всякомъ случаѣ, она полезна тому, кто хочетъ стать способнымъ извлекать изъ жизни этотъ умственный элементъ,

пріобрѣтать заранѣе навыкъ къ размышленію и къ анализу. Молодость есть время творчества, которое развивается въ болѣе зрѣломъ возрастѣ. И потому пробужденіе философскихъ наклонностей является составною частью возвышеннаго и полнаго воспитанія. Нѣкоторые идутъ дальше и хотятъ, чтобъ развитіе философскихъ наклонностей было цѣлью всего ученія. Но мнѣ кажется, что это преувеличеніе: философія не есть конечная цѣль образованія, такъ какъ ни человѣческая дѣятельность, ни наука не предполагаютъ этого. Размышлять и творить— это двѣ разныя вещи. Впрочемъ, вѣдь человѣкъ не удовлетворился древомъ жизни. Онъ вкусилъ плода отъ дерева познанія добра и зла. Ни опытъ, ни проклятіе не могли отучить его отъ размышленія, и философская способность стала первенствующею способностью человѣческаго ума. Кромѣ того, философія производитъ благодѣтельный переворотъ въ формахъ умственной дѣятельности, которыя она обнимаетъ. Она пріучаетъ насъ быть болѣе требовательными въ доказательствахъ и въ то же время стремиться къ отысканію истины во всѣхъ пріобрѣтеніяхъ человѣческаго ума. Такимъ образомъ она направляетъ и уравновѣшиваетъ въ нашемъ умѣ потребность утвержденія (affirmation) съ одной стороны и критическое отношеніе къ вещамъ съ другой стороны, потребность охраненія существующаго и стремленіе къ измѣненіямъ. Она заставляетъ насъ отыскивать во всемъ существенное и высшее и, такимъ образомъ, помогаетъ намъ достигать пропорціональности и гармоніи въ нашемъ сознаніи и въ нашихъ поступкахъ. Итакъ, если философія не есть конечная цѣль изученія, то она — его вѣнецъ и въ этомъ смыслѣ она занимаетъ въ свободномъ воспитаніи высшее положеніе сравнительно, какъ съ литературой, такъ и съ положительными науками. Естественно, чтобъ она преподавалась начиная съ лицея, если второстепенные предметы изученія имѣютъ цѣлью познакомить молодыхъ людей со всѣмъ, что есть главнаго въ духовной области человѣческой природы. Могло-ли бы въ дѣйствительности привиться у насъ это преподаваніе, поставленное столько-же на научную, сколько на литературную точку зрѣнія, на которой стоитъ дѣйствительная философія? Кажется, это — не совсѣмъ невозможно. Для этого достаточно понять, что нормальный ходъ преподаванія состоитъ въ томъ, чтобы начинать съ реторики и математики и оканчивать научныя занятія, чисто второстепеннаго значенія, прежде, чѣмъ начинать философію. Философскія понятія подчинились-бы тогда, со временемъ, способностямъ и потребностямъ учениковъ, и преподаваніе философіи соотвѣтствовало-бы ея традиціямъ. Въ ожиданіи-же того, когда все въ этомъ отношеніи будетъ на своемъ мѣстѣ, можно выразить желаніе, чтобъ въ преподаваніи философіи, какъ и во всѣхъ другихъ преподаваніяхъ, соблюдалась постепенность и послѣдовательность. Человѣкъ немного пріобрѣтаетъ, перескакивая съ одного предмета на другой и хватая верхи. Нужно, чтобъ онъ шелъ отъ болѣе легкаго къ болѣе трудному и былъ увѣренъ въ знаніи одного, прежде чѣмъ примется за другое. Конечно, преподаваніе философіи должно быть возвышенно, оно должно давать молодымъ людямъ впечатлѣніе, что они черезъ посредство своего профессора какъ-бы бесѣдуютъ съ нѣкоторыми изъ величайшихъ геніевъ, когда-либо существовавшихъ, и что эти геніи въ своихъ бесѣдахъ возбуждаютъ въ нихъ лучшіе плоды ихъ размышленій. Но нужно также, чтобъ это преподаваніе было доступно развитому уму средняго уровня. Нужно, чтобъ оно вызывало на размышленія, чтобъ оно заботилось гораздо больше о томъ, чтобъ *развить умъ и душу*, чѣмъ о томъ, чтобъ дать всестороннее знаніе. Итакъ, достаточно, чтобъ оно обращало вниманіе на нѣсколько важныхъ вопросовъ средней трудности. Лучше углубиться въ изученіе этихъ нѣсколькихъ вопросовъ, чѣмъ затронуть слегка цѣлую массу ихъ. Появленіе философской системы не представляетъ изъ себя какого-нибудь единичнаго, случайнаго явленія. Она обусловливается трудностями и недостатками, заключающимися въ предшествовавшихъ системахъ, увеличеніемъ сознанія, самою геніальностью философіи. Надо имѣть много знаній, вниманія и проницатель-

ности, чтобъ понять происхожденіе такой научной системы, какъ система Канта. Какъ понять критическую философію, если не усвоенъ догматизмъ? Какъ понять новѣйшихъ философовъ, не зная древнихъ, по слѣдамъ которыхъ тѣ идутъ, развивая или исправляя ихъ идеи, можетъ быть сами того не сознавая. Нужно-ли говорить, что преподаваніе философіи должно продолжаться два года или начинаться съ низшихъ классовъ? Предметомъ курсовъ грамматики, гуманныхъ и положительныхъ наукъ должно быть не размышленіе по поводу идей и фактовъ, а развитіе способностей и сознанія, которымъ предстоитъ сдѣлаться орудіемъ и матеріаломъ для философскаго размышленія. Преподаватель грамматики подготовляетъ учениковъ къ пониманію философіи, останавливая ихъ вниманіе не только на словахъ, но и на содержаніи прекрасныхъ книгъ, которыми онъ располагаетъ. Профессоръ математики объясняетъ невѣрность даннаго доказательства, профессоръ физики стремится сдѣлать понятнымъ, какимъ образомъ опытъ, который онъ показываетъ, можетъ служить подтвержденіемъ закона. Преподаваніе, которое такимъ образомъ обращается къ сужденію и къ духу, является естественнымъ переходомъ къ изученію философіи, такъ же, какъ у Канта чтеніе латинскихъ поэтовъ и изученіе небесной механики Ньютона предшествовало его критикѣ. На сколько безполезно философствовать, не изучивъ философіи, на столько безполезно, чтобъ преподаваніе философіи въ лицеяхъ продолжалось нѣсколько лѣтъ. Тутъ главное дѣло въ томъ, чтобъ пробудить философскій смыслъ и философскія наклонности. Для задачи, которая предстоитъ въ этомъ случаѣ учителю, достаточно одного года, только-бы этотъ годъ былъ употребленъ на размышленія по поводу небольшого количества вопросовъ, а не на ученіе большого количества ихъ наизустъ. Преподаваніе философіи въ лицеяхъ должно представлять изъ себя посвященіе въ философскія размышленія, а не поспѣшное изученіе всей философіи и всей исторіи философіи въ сокращенномъ видѣ.

Примите и т. д. Эмиль Бутру.

Пріемъ Брюнетьера въ Академію. Журналистамъ вообще не повезло въ Парижѣ за послѣднюю недѣлю. Роль обвинителя и прокурора взяла на себя Академія. Академикъ Пальеронъ вывелъ въ своей послѣдней комедіи журналиста карьериста Пегомаса, смѣло пробирающагося къ министерскому портфелю; новый академикъ Брюнетьеръ, въ вступительной рѣчи, произнесъ, въ свою очередь, грозную филиппику противъ современнаго журнализма и растлѣвающаго вліянія ежедневной печати.

Пріемъ въ число безсмертныхъ одного изъ оригинальнѣйшихъ и самостоятельнѣйшихъ писателей современной Франціи состоялся 3 (15) февраля. Воспріемниками его были де-Вогюе и Галеви. Отвѣтную рѣчь держалъ канцлеръ дома Мазарини Оссонвиль. Брюнетьеръ не только выдающійся и смѣлый критикъ, достойно замѣщающій кресло Джона Лемуана и двухъ его предшественниковъ Жанена и Сенъ-Бева, но и профессоръ «Нормальной Школы» и популярный авторъ лекцій о Боссюетѣ въ Сорбонѣ. Недавно онъ былъ избранъ также редакторомъ-издателемъ «Revue des Deux Mondes», журнала, перешедшаго къ нему отъ Бюлоза.

Брюнетьеръ родился въ 1849 году въ Тулонѣ, подъ южнымъ солнцемъ Прованса. Въ Марселѣ онъ кончилъ лицей, выдѣляясь съ юношескихъ лѣтъ своимъ характеромъ и выдержкой; онъ всегда зналъ, чего хотѣлъ и что любилъ. Въ домѣ отца его предназначали къ административной карьерѣ; но онъ предпочелъ идти своей дорогой; его влекло къ литературѣ. Восемнадцатилѣтнимъ юношей онъ явился въ Парижъ, чтобы сдать вступительный экзаменъ въ «Нормальную Школу», и странное дѣло, онъ не былъ принятъ. Будущій профессоръ, въ стѣнахъ того же заведенія, провалился на вступительномъ экзаменѣ, обнаруживъ недостаточное знакомство съ философіей и латинскимъ языкомъ. Тогда Брюнетьеръ сталъ усердно посѣщать

лекціи Тэна объ искусствѣ, а свободное время посвящалъ обширнымъ и пустыннымъ заламъ Лувра.

Еще одна страсть владѣла имъ въ то время—страсть къ театру. У него не хватало, однако, денегъ даже на самыя дешевыя мѣста, и онъ поступилъ по этому случаю въ клакеры. Ему приходилось бороться съ нищетой; но это только закаляло его мужество. Въ годину испытанія, 1870 года, мы видимъ его въ солдатской шинели. Кончилась война, и снова началась борьба за существованіе. Испытавъ разныя мытарства въ провинціи, онъ вернулся въ Парижъ и рѣшилъ испробовать литературнаго счастія, временно перебиваясь дешевыми уроками. Прошло пять лѣтъ, и, въ 1875 году, въ «Revue des Deux Mondes» появилась, наконецъ, первая его статья, надѣлавшая большаго шума. Она была посвящена реалистическому роману, и авторъ безпощадно бичевалъ въ ней несимпатичное ему направленіе, не щадя самыхъ популярныхъ именъ. Съ тѣхъ поръ дѣятельность его ярко опредѣлилась. Въ теченіе восемнадцати лѣтъ онъ написалъ пять томовъ «Etudes Critiques», три тома «Histoire et Litterature», два тома «Questions de Critique», одинъ томъ «Essais de Litterature Contemporaine», изслѣдованія о натуралистскомъ романѣ, о театрѣ, о лирической поэзіи и т. д., всего—болѣе двадцати томовъ, не говоря о многочисленныхъ статьяхъ, разсѣянныхъ по журналамъ, объ его лекціяхъ и чтеніяхъ. Изъ нихъ составилось бы еще нѣсколько объемистыхъ сборниковъ.

Не всѣмъ нравятся, понятно, силлогизмы и аргументація Брюнетьера, его оригинальное, но не блестящее построеніе фразъ и его языкъ, испещренный архаизмами; никто не станетъ отрицать, что онъ говоритъ съ убѣдительной силой и самостоятельностью, притомъ, о совершенно новыхъ вещахъ, обнаруживая громадную эрудицію; онъ борется съ установившимися заблужденіями; устраняетъ принятыя на вѣру формулы, и его аудиторія растетъ съ каждымъ днемъ. Его изслѣдованія о романѣ, о писателяхъ XVII и XVIII вѣка, работы о Паскалѣ, о Боссюетѣ, объ энциклопедистахъ, о Вольтерѣ, объ янсенистахъ, по философіи Мольера, отличаются глубиною и силою. Всѣ трудившіеся съ нимъ на одномъ поприщѣ должны были, въ концѣ концовъ, сознаться, что онъ стоитъ на правильномъ пути, охраняя традиціи, не слѣдуя за измѣнчивыми вкусами толпы, взыскательный къ себѣ и другимъ. Онъ былъ всегда противникомъ безплоднаго протоколированія фактовъ и отстаивалъ общія идеи. Онъ говорилъ и продолжаетъ говорить, что идеями должна питаться не только литература, но и жизнь, и что эти вѣковѣчныя идеи: любовь, природа, смерть.

Въ послѣдніе годы критика Брюнетьера приняла новое направленіе. Когда-то, въ молодости, онъ изучалъ Дарвина, Геккеля, Спенсера. Позднѣе онъ забылъ о нихъ, и ихъ мѣсто занялъ въ его сердцѣ Боссюетъ. Но вдругъ, онъ снова вернулся къ старымъ привязанностямъ и рѣшилъ, что прогрессъ критики состоитъ въ примѣненіи къ ней естественно-научнаго метода. Точку зрѣнія такого рода примѣнялъ и Тэнъ; но первымъ провозвѣстникомъ чистой «эволюціи» въ критикѣ является Брюнетьеръ. Различные роды литературы—это живыя силы. Онѣ родятся, достигаютъ зрѣлости и, наконецъ, умираютъ. Онѣ борятся за существованіе, и въ области литературы замѣчаются также приспособленіе и естественный подборъ видовъ.

Но перейдемъ къ торжественному пріему новаго академика. Со дня вступленія Октава Фелье, дворецъ Мазарини не видѣлъ такого избраннаго общества. Монархисты и бонапартисты, желавшіе послушать Оссонвиля, вмѣстѣ съ аудиторіей Брюнетьера, переполнили мѣста для публики. Оба оратора совершенно оправдали ожиданія и были награждены шумными рукоплесканіями.

Брюнетьеръ занялъ, какъ мы уже говорили, кресло Джона Лемуана. Совершенно понятно, если онъ воспользовался случаемъ, чтобы сдѣлать оцѣнку печати и журналистамъ, и нужно отдать ему справедливость, онъ не обнаружилъ особенной нѣжности ни къ первой, ни къ вторымъ.

Высказавъ нѣсколько лестныхъ, хотя и чисто академическихъ похвалъ по адресу своего предшественника, онъ перешелъ прямо къ печати: «Да здравствуетъ Рено, мм. гг., этотъ ловкій человѣкъ, основавшій «Gazette de France» и открывшій бюро по пріисканію мѣстъ. Наши журналисты такъ много хвалили, однако, въ прошломъ году и его, и себя, что мои восторги имъ, пожалуй, и не нужны. Печать сдѣлала много добра; она дѣлаетъ его и теперь. Я долженъ сказать объ этомъ съ самаго начала. Я могу повторить вмѣстѣ съ Эзопомъ: «Что можетъ быть лучше рѣчи? Это—связывающая нить въ жизни, ключъ къ знанію, органъ истины и разума; благодаря ей, построены царства и охраняется порядокъ, при ея помощи учатъ, убѣждаютъ и царствуютъ въ собраніяхъ... Мм. гг., дѣлаютъ даже больше того. Тревожатъ совѣсть у эгоизма; бичуютъ неправду и взываютъ къ чувству солидарности. Но, чтобы быть справедливымъ, я скажу вмѣстѣ съ баснописцемъ, что рѣчь—въ то же время мать пререканій, виновница тяжбъ, причина войнъ и раздоровъ. Она настолько же органъ правды, какъ и лжи, и что гораздо хуже, клеветы: благодаря ей—царства разрушаются и раздается призывъ къ злу. Я думаю, что журналисты будутъ, конечно, мнѣ только благодарны, если я скажу, сколько ума, таланта и остроумія они безплодно тратятъ ежедневно. Въ теченіе пятидесяти лѣтъ журналистика сгубила безконечное количество поэтовъ, драматурговъ и романистовъ, поглотивъ ихъ въ себѣ. Но если я укажу, что печать напрасно усвоиваетъ себѣ титулъ представительницы ума, если я скажу, что все, чѣмъ мы живемъ, дали намъ Канты, Гегели, Конты, Дарвины, Клодъ-Бернары, Пастеры, Тэны и Ренаны, въ то самое время, какъ газеты надъ ними же издѣвались; если я осмѣлюсь, наконецъ, заявить, что органы печати, которые въ силахъ свалить министерство и правительство, не въ состояніи помѣшать толпѣ отдавать предпочтеніе кафе-шантану передъ театромъ, о, тогда, мнѣ объявятъ войну на жизнь и на смерть. И да избавитъ меня Богъ начать ее!»

«Я позволю себѣ только сказать, что во времена Джона Лемуана печать не была тѣмъ, чѣмъ она есть теперь. Въ его эпоху для того, чтобы сдѣлаться журналистомъ, нужны были знанія и тщательная подготовка. Знаніе исторіи, одного или двухъ иностранныхъ языковъ, знакомство съ европейской политической жизнью, хотя бы въ главныхъ чертахъ, вотъ что требовалось отъ сотрудниковъ газетъ у Армана, Карреля или Бертена, въ «National» и «Débats.» Вспомните дебютъ Литтре. Три года, мм. гг., я говорю три года, эллинистъ, филологъ и философъ дѣлалъ переводы изъ иностранныхъ газетъ. Какъ видите, тогда не пришли еще къ тому убѣжденію, что единственный талантъ журналиста,—это способность импровизировать.» Журналисты, по словамъ Брюнетьера, въ 1840 г. не импровизировали, а посвящали себя извѣстной спеціальности и постепенно расширяли кругозоръ.

«Въ настоящее же время, какъ создается успѣхъ? Какимъ образомъ? Какою цѣною? Не цѣною-ли лести низкимъ инстинктамъ толпы, ея худшимъ позывамъ, не цѣною-ли того, что печать опускается постепенно до толпы? Она сдѣлалась рабыней прихоти. Она ничего не даетъ, и мы ничего отъ нея не требуемъ, кромѣ свѣдѣній. Вчерашній водевиль—грязная пошлость, но мы хотимъ, чтобы намъ объ немъ говорили,—хотя бы для того только, чтобы не пойти его слушать, — и мы не простимъ журналисту, если онъ не выскажетъ своихъ мнѣній о театрѣ Фаваръ или Коле; мы не претерпимъ, если насъ не познакомятъ съ подробностями преступленія или процесса; намъ нужно, чтобы газетное блюдо было подано во-время и по возможности горячо... Скоро, говоря словами Жирардена и Теофиля Готье, «стиль будетъ стѣснять читателя!» Факты и только факты, цифры и свѣдѣнія—вотъ чего мы требуемъ отъ газеты, и если прежде лучшей газетой считалась та, гдѣ лучше писали или лучше мыслили, то будущее принадлежитъ изданіямъ, лучше освѣдомленнымъ. Телеграфисты и телефонныя барышни будутъ редакторами, а настоящій журналистъ станетъ скрывать и стыдиться своего таланта, опасаясь, какъ бы онъ не повредилъ ему».

Такъ говорилъ Брюнетьеръ-академикъ, самъ издатель періодическаго органа. Можетъ быть, ему дѣйствительно не нравится эволюція въ печати, такъ какъ конкурренція заставляетъ гнаться за свѣжестью даже издателей-академиковъ. У «Revue des Deux Mondes» появились теперь такіе серьезные соперники, какъ «Correspondant» Лаведана, новый органъ «Revue de Paris» и старый «Revue Bleu». Во многихъ отношеніяхъ, однако, онъ правъ, въ особенности тамъ, гдѣ онъ говоритъ о чисто репортерскомъ характерѣ, какой постепенно принимаютъ газеты Стараго и Новаго Свѣта.

Письма Тургенева. Въ январской и февральской книгахъ «Вѣстника Европы» появились нѣкоторыя письма И. С. Тургенева (Изъ переписки Тургенева съ семьею Аксаковыхъ), интересныя во многихъ отношеніяхъ. Приведемъ отдѣльные отрывки. Въ 1852 г. Тургеневъ писалъ К. С. Аксакову:

«Благодарю васъ душевно, любезный Константинъ Сергѣевичъ, за ваше письмо. Скажу вамъ прямо, что я самъ во многомъ раздѣляю ваше мнѣніе о моихъ «Запискахъ»—и говорю это вовсе не изъ желанія пощеголять своею скромностью,—а потому, что чувствую это самъ—и уже давно. Зачѣмъ же я издалъ ихъ? спросите вы... А затѣмъ, чтобы отдѣлаться отъ нихъ, отъ этой *старой манеры.* Теперь эта обуза сброшена съ плечъ долой. Но достанетъ ли у меня силъ идти впередъ—какъ вы говорите—не знаю. Простота, спокойство, ясность линій, добросовѣстность работы, та добросовѣстность, которая дается увѣренностью — все это еще пока идеалы, которые только мелькаютъ передо мной. Я оттого, между прочимъ, не приступаю до сихъ поръ къ исполненію моего романа, всѣ стихіи котораго давно бродятъ во мнѣ, что не чувствую въ себѣ ни той свѣтлости, ни той силы, безъ которыхъ не скажешь ни одного *прочнаго* слова. Примѣръ Гр—вича хоть кого устрашитъ—а не въ талантѣ же недостаетъ ему!—Съ другой стороны, жизнь торопитъ, и гонитъ, и дразнитъ, и манитъ... Трудно современному писателю, особенно русскому, быть покойнымъ—ни извнѣ, ни извнутри ему не вѣетъ покоемъ...

Соглашаясь совершенно съ вашими замѣчаніями насчетъ моихъ «Записокъ» и принявъ ихъ *къ свѣдѣнію* для будущихъ моихъ работъ — я не могу раздѣлять вашего мнѣнія насчетъ «людей-обезьянъ, которые не годятся въ дѣло для искусства»... Обезьяны добровольныя и главное — самодовольныя — да... Но я не могу отрицать ни исторіи, ни *собственнаго права* жить; претензія отвратительна—но страданію я сочувствую. Трудно объяснить все это въ короткомъ письмѣ... Но я знаю, что здѣсь именно та точка, на которой мы расходимся съ вами въ нашемъ воззрѣніи на русскую жизнь и на русское искусство; я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму тамъ, гдѣ вы находите успокоеніе и прибѣжище эпоса... Но повторяю, объ этомъ можно говорить и спорить—но писать трудно».

Любопытно и слѣдующее письмо Тургенева:

«Любезный К. С. Давно собирался я писать къ вамъ, но все откладывалъ до прочтенія статьи вашей въ Московскомъ Сборникѣ. Теперь я ее прочелъ съ большимъ вниманіемъ, и насколько я могу судить въ этихъ вещахъ, согласенъ съ вами насчетъ «родового быта». Мнѣ всегда казался этотъ родовой бытъ — такъ, какъ его представляютъ Соловьевъ и Кавелинъ — чѣмъ-то искусственнымъ, систематическимъ, чѣмъ-то напоминавшимъ мнѣ наши давно-прошедшія гимнастическія упражненія на поприщѣ философіи. Всякая система — въ хорошемъ и дурномъ смыслѣ этого слова—не русская вещь; все рѣзкое, опредѣленное, разграниченное намъ не идетъ—оттого мы, съ одной стороны, не педанты, хотя за то съ другой стороны.....

Я русскую исторію знаю, какъ только можетъ знать ее человѣкъ, не изучавшій источниковъ; сужденіе мое о ней вытекаетъ болѣе изъ сочувствія къ тому, что теперь дѣлается въ русской жизни; стоитъ хорошенько присмотрѣться къ современному распорядку деревенскому, чтобы понять невозможность Соловьевскаго родового быта. Собранные вами факты были для меня интересны и новы, взглядъ вашъ вѣ-

ренъ и ясенъ, но признаюсь вамъ откровенно—въ выводахъ вашихъ я согласиться не могу: вы рисуете картину вѣрную и, окончивъ ее, восклицаете: какъ это все прекрасно!.. Я никакъ не могу повторить этого восклицанія вслѣдъ за вами. Я, кажется, уже сказывалъ вамъ, что, по моему мнѣнію, трагическая сторона народной жизни—не одного нашего народа—каждаго—ускользаетъ отъ васъ, между тѣмъ какъ самыя наши пѣсни громко говорятъ о ней! Мы обращаемся съ Западомъ, какъ Васька Буслаевъ (въ Киршѣ Даниловѣ) съ мертвой головой — побрасываемъ его ногой—а сами... Вы помните, Васька Буслаевъ взошелъ на гору да и сломилъ себѣ на прыжкѣ шею. Прочтите, пожалуйста, отвѣтъ ему мертвой головы. У меня Кирша Даниловъ въ изданіи Сахарова—тамъ нѣтъ пѣсни, о которой вы говорите, а, помнится, я читалъ ее. Я себѣ выпишу изъ Москвы особое изданіе Кирши Данилова».

Интересенъ слѣдующій отзывъ Тургенева о Баратынскомъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову (1854 г.):

«Поговоримъ немного о литературныхъ новостяхъ. Во-первыхъ, скажу вамъ, что познакомился со вдовою Баратынскаго, и она мнѣ вручила альбомъ, куда она вписала все, что́ осталось отъ ея мужа, письма и пр. Можно будетъ составить довольно любопытную статью. Отъ Толстого, автора «Исторіи моего дѣтства», прислана повѣсть, продолженіе первой, подъ названіемъ «Отрочество»; говорятъ, превосходная. Въ Парижѣ появился переводъ моей книги съ длиннымъ предисловіемъ — то-то, я думаю, насказано вздору!

Баратынскій не поэтъ въ единственно-истинномъ, въ Пушкинскомъ смыслѣ, но нельзя не уважать его благородную художническую честность, его постоянное и безкорыстное стремленіе къ высшимъ цѣлямъ поэзіи и жизни. Константину Сергѣичу онъ бы понравился, несмотря на свое западничество. Ума, вкуса и проницательности у него было много, можетъ быть слишкомъ много — каждое слово его носитъ слѣдъ не только рѣзца — подпилка, стихъ его никогда не стремится, даже не льется. Вотъ вамъ неизданное его стихотвореніе (которое не давайте списывать); въ немъ довольно вѣрно выразились всѣ особенности его музы.

Когда твой голосъ, о поэтъ,
Смерть въ высшихъ звукахъ остановитъ,
Когда тебя во цвѣтѣ лѣтъ
Нетерпѣливый рокъ уловитъ —

Кого закатъ могучихъ дней
Во глубинѣ сердечной тронетъ?
Кто въ отзывъ гибели твоей
Стѣсненной грудію возстонетъ?

И тихій гробъ твой посѣтитъ—
И надъ умолкшей Аонидой,
Рыдая, пепелъ твой почтитъ
Нелицемѣрной панихидой?

Никто!—Но сложится пѣвцу
Канонъ намеднешнимъ зоиломъ—
Уже кадящимъ мертвецу,
Чтобы живыхъ задѣтъ кадиломъ.

Отголосокъ великой нашей классической эпохи слышится въ формѣ стиха Баратынскаго».

Любопытны для характеристики Тургенева и слѣдующіе, мѣстами странные и недостойные его отзывы о Толстомъ, заимствуемые нами изъ «Русскаго Обозрѣнія», отзывы, къ которымъ читатель, конечно, отнесется съ должною критикою (Письма къ П. В. Анненкову):

...«Я прочелъ и романъ Толстого, и вашу статью о немъ. Скажу вамъ безъ компли-

ментовъ, что вы давно ничего умнѣе и дѣльнѣе не писали; вся статья свидѣтельствуетъ о вѣрномъ и тонкомъ критическомъ чувствѣ автора, и только въ двухъ-трехъ фразахъ замѣтна неясность и какъ бы спутанность выраженій. Самъ романъ возбудилъ во мнѣ весьма живой интересъ: есть цѣлые десятки страницъ сплошь удивительныхъ, первоклассныхъ,—все бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.); но историческая прибавка, отъ которой собственно читатели въ восторгѣ,—кукольная комедія и шарлатанство. Какъ Ворошиловъ въ «Дымѣ» бросаетъ пыль въ глаза тѣмъ, что цитируетъ послѣднія слова науки (не зная ни первыхъ, ни вторыхъ, чего, напримѣръ, добросовѣстные нѣмцы и предполагать не могутъ), такъ и Толстой поражаетъ читателя носкомъ сапога Александра, смѣхомъ Сперанскаго, заставляя думать, что онъ *все* объ этомъ знаетъ, коли даже до этихъ мелочей дошелъ,—а онъ и знаетъ только что эти мелочи. Фокусъ, и больше ничего,—но публика на него-то и попалась. И на счетъ такъ называемой «психологіи» Толстого можно многое сказать: настоящаго развитія нѣтъ ни въ одномъ характерѣ (что̀, впрочемъ, вы отлично замѣтили), а есть старая замашка передавать колебанія, вибраціи одного и того же чувства, положенія, то, что̀ онъ столь безпощадно вкладываетъ въ уста и въ сознаніе каждаго изъ своихъ героевъ: люблю, молъ я, а въ сущности ненавижу и т. д., и т. д. Ужъ какъ пріѣлись и надоѣли эти quasi-тонкія рефлексіи и размышленія, и наблюденія за собственными чувствами! Другой психологіи Толстой словно не знаетъ или съ намѣреніемъ ее игнорируетъ. И какъ мучительны эти преднамѣренныя, упорныя повторенія одного и того же штриха — усики на верхней губѣ княжны Болконской и т. д. Со всѣмъ тѣмъ, есть въ этомъ романѣ вещи, которыхъ, кромѣ Толстого, никому въ цѣлой Европѣ не написать, и которыя возбудили во мнѣ ознобъ и жаръ восторга».

Или въ другомъ мѣстѣ:

«Доставили мнѣ 4-й томъ Толстого... Много тамъ прекраснаго, но и уродства не оберешься! Бѣда, коли автодидактъ, да еще во вкусѣ Толстого, возьмется философствовать: непремѣнно осѣдлаетъ какую-нибудь палочку, придумаетъ какую-нибудь одну систему, которая, повидимому, все разрѣшаетъ очень просто, какъ, напримѣръ, историческій фатализмъ, да и пошелъ писать! Тамъ, гдѣ онъ касается земли, онъ, какъ Антей, снова получаетъ всѣ свои силы: смерть стараго князя, Алпатычъ, бунтъ въ деревнѣ, все это — удивительно. Наташа, однако, выходитъ что-то слабо и сбивается на столь любимый Толстымъ типъ (excusez du mot) зас..хъ».

Юбилей «Дѣтскаго Чтенія». Журналъ *Дѣтское Чтеніе* просуществовалъ четверть вѣка. Столь долгая жизнь дѣтскаго журнала — явленіе небывалое въ нашей литературѣ. Не лишнимъ считаемъ, поэтому, оглянуться на прошлое этого журнала. *Дѣтское Чтеніе* начала издавать крупная въ свое время фирма «Русская книжная торговля», подъ редакціей Алексѣя Никол. Острогорскаго, педагога и дѣтскаго писателя весьма даровитаго. Въ первое время сотрудниками журнала состояли только: А. Я. Гердъ, Вал. А. Висковатовъ, (оба уже покойные) да два брата Острогорскихъ — А. Н. и Викт. Петр. Принявъ подъ свое завѣдываніе дѣтскій журналъ въ концѣ 60-хъ годовъ, когда педагогія выработала столько готовыхъ формъ ученія, преподносимыхъ дѣтямъ въ школѣ, и отнимавшихъ у нихъ возможность самостоятельной работы, А. Н. Острогорскій вознамѣрился, очевидно, пополнить, до нѣкоторой степени, журналомъ своимъ этотъ существенный пробѣлъ: онъ придалъ ему характеръ реальный, составляя его преимущественно изъ статей, которыя заставляли-бы дѣтей призадуматься, натолкнули бы ихъ на пытливую мысль, пробудили-бы въ нихъ жажду самостоятельнаго труда. Въ 1877 г. А. Н. Острогорскій, переведенный по службѣ въ Москву, оставилъ редактированіе журнала, который и перешелъ въ завѣдываніе В. П. Острогорскаго, преподавателя словесности и автора многихъ педагогическихъ сочиненій по методикѣ преподаванія этого предмета. Въ тяжелое время принялъ онъ *Дѣтское Чтеніе* подъ свою редакцію. Съ 1871 г.,

съ утроеннымъ количествомъ уроковъ древнихъ языковъ, съ одновременнымъ изученіемъ цѣлаго ряда разныхъ грамматикъ (русской, славянской, греческой, латинской, французской и нѣмецкой), дѣти въ школѣ слишкомъ ужъ стали обременены «самостоятельнымъ» трудомъ,—нужна была свѣжая струя, которая пролила-бы отраду и покой въ дѣтское сердце... Теперь, съ ослабленіемъ кассической системы, дышится какъ-то легче и то время представляется какимъ-то смутнымъ кошмаромъ, давившимъ насъ кучею словесныхъ формъ безъ идеи, безъ цѣли и надобности... Въ такое время молодежь крайне нуждалась въ живомъ чтеніи, которое подняло-бы въ ней угнетенный духъ, звало-бы ее отъ мертвечины къ жизни, перебросило-бы ея мысль отъ грамматическихъ формъ къ идеѣ, заронило-бы свѣтъ въ голову и тепло въ сердце... Такое-то чтеніе и давалъ въ своемъ журналѣ, съ 1877 г. по 1884-ый, В. П. Острогорскій. При немъ въ *Дѣтскомъ Чтеніи* особенно развилась беллетристика — изящная, гуманная, развивающая въ дѣтяхъ и юношахъ чувство и воображеніе, вселяющая въ нихъ свѣтлые, благородные идеалы. При немъ помѣщено множество художественныхъ произведеній лучшихъ русскихъ и (въ переводѣ и пересказѣ) иностранныхъ беллетристовъ. Но стоило только гг. Острогорскимъ, поставившимъ журналъ на ноги, покинуть его — какъ онъ уже сразу и надолго пришелъ въ упадокъ, длившійся съ 1884 года по 1891 годъ, пока, наконецъ, онъ попалъ въ руки настоящей редакціи, съумѣвшей быстро и, повидимому, прочно дать *Дѣтскому Чтенію* встать на прежнюю его высоту. За время упадка журнала существованіе его, если изобразить его графически, представляетъ волнообразную линію: то нырнетъ, то выплыветъ, то опять нырнетъ, то опять появится... Какъ ни бился въ 1884—87 гг. редакторъ В. П. Бородинъ, ведя журналъ и добросовѣстно и умѣло, но, очевидно, подписчики, не усматривая на обложкѣ имени Острогорскихъ, отстали отъ журнала. Утопающій хватается и за соломенку,—такою соломенкою явился «извѣстный» (какъ о немъ обыкновенно говорятъ и пишутъ) педагогъ Д. Д. Семеновъ. Но — хорошій ораторъ (его можно услышать почти на всѣхъ литературныхъ обѣдахъ и могилахъ) оказался плохимъ редакторомъ, и *Дѣтскаго Чтенія* не спасъ... Журналъ большею частью наполнялся фразистою сухою прозой и неимовѣрнымъ множествомъ сухихъ-же виршей—и опять пошелъ ко дну. Вытащили его со дна морского гг. Голяховскій и Борисовъ, нынѣшніе руководители *Дѣтскаго Чтенія*: они освѣжили его новыми силами, опять привлекли извѣстныя въ литературѣ и педагогіи имена (гг. Баранцевича, Мамина, Вагнера—Кота-Мурлыку, Засодимскаго и др.), пригласили къ совѣщаніямъ редакціи прежнихъ руководителей *Дѣтскаго Чтенія*—А. Н. и В. П. Острогорскихъ, и стали вновь выпускать при журналѣ, по 4 раза въ годъ, безплатное прибавленіе *Педагогическій Листокъ*, упраздненный при «извѣстномъ» педагогѣ, г. Семеновѣ. Заслуга гг. Борисова и Голяховскаго, хоть еще недолговременная, но уже несомнѣнная. Можно сказать, что теперь журналъ удачно соединяетъ въ себѣ обѣ выдающіяся стороны свои при двухъ первоначальныхъ его редакторахъ, и *Дѣтское Чтеніе* является вполнѣ выдержаннымъ, серьезнымъ воспитательнымъ изданіемъ. Такова въ краткихъ чертахъ его исторія, не лишенная, какъ и каждая исторія, всякихъ бурь, борьбы и вообще исторій. Но если изъ всѣхъ этихъ исторій вывели его невредимымъ люди безкорыстные и преданные дѣлу — дѣлу служенія подростающимъ и грядущимъ поколѣніямъ, то можно пожелать ему отъ души существовать еще много лѣтъ на пользу имъ.

Ознаменовавъ четверть-вѣковую годовщину журнала блестящимъ праздникомъ, устроеннымъ для своихъ сотрудниковъ, какъ и для представителей прессы и педагогіи,— праздникъ, извѣстный уже изъ газетъ,—новая редакція ознаменовала его и для своихъ читателей, выпустивъ роскошный юбилейный №, вчетверо объемистѣе обыкновенной книжки журнала и богато разукрашенный подходящими къ случаю иллюстраціями, а именно, портретами Н. И. Новикова, основателя перваго дѣт-

скаго журнала въ прошломъ вѣкѣ, и руководителей *Дѣтскаго Чтенія.* Къ сожалѣнію, собраны портреты не всѣхъ лицъ, редактировавшихъ журналъ. Первая часть юбилейнаго № наполнена лучшими статьями и стихами, перепечатанными изъ журнала за первыя пятнадцать лѣтъ его изданія, т. е. за лучшій его періодъ. Послѣ же этого напоминанія о процвѣтаніи журнала идетъ часть №, составленная новою редакціей и не уступающая перепечаткѣ изъ прежняго періода, а именно произведенія: гг. А. У. (*Какъ моя сорока попала въ газеты*), Мамина (*Аленушкина сказка*), Черскаго (*Любовь великая*), Лентовскаго (*Подлиза*), Березина (*Землетрясенія*), шарады и загадки, и, кромѣ того, находимъ въ этомъ № разсказъ пр. Вагнера (Кота-Мурлыки)—*Чухлашка.*

Словомъ, январскій № новаго *Дѣтскаго Чтенія*, въ соединеніи съ перепечатками изъ стараго журнала, показываетъ ясно, что дѣло вновь поставлено на прежнюю высоту и даетъ полное представленіе о характерѣ и содержаніи журнала при настоящихъ его руководителяхъ.

ТЕАТРЪ.

(ТЕКУЩІЙ РЕПЕРТУАРЪ).

Муха укусила г. Крылова.—Новый драматургъ.—«Жизнь» г. Потапенко.—40-лѣтіе «Бѣдность не порокъ».—Бенефисъ М. Г. Савиной—«Дворянское гнѣздо».

Не успѣлъ я окончить свое прошлое обозрѣніе бенефисомъ г. Сазонова, въ которомъ привѣтствовалъ появленіе «Первой мухи» на нашей драматической сценѣ, какъ это злостное насѣкомое уже успѣло укусить своихъ родителей: гг. Величко и Крылова. На бенефисномъ спектаклѣ всѣ мы видѣли, какъ авторы выходили вмѣстѣ на вызовы публики, выходили дружно, рука съ рукой, кланялись и улыбались такъ мило, что нельзя было предположить между ними и тѣни разлада. И вдругъ оказывается, что у нихъ тогда уже была «на устахъ улыбка, а въ груди—змѣя» и что чуть-ли не сейчасъ же за послѣднимъ *двуличнымъ* поклономъ, между ними возгорится ярая пря изъ-за родительскихъ правъ на крылатаго первенца. Отношенія и перья обострились, газетные столбцы превратились въ почтовые ящики, и письма, самой разрывной начинки, начали перелетать съ одной стороны въ другую и обратно. Одинъ соавторъ доказывалъ другому, что въ «Мухѣ» ему принадлежатъ однѣ только лапки, да и то не всѣ; тотъ возражалъ, что не только лапки, но и хвостикъ обязаны своимъ происхожденіемъ его творчеству; въ концѣ концовъ, исторія сотрудничества была изложена съ необыкновенною полнотою и болѣе искусаннымъ, на мой взглядъ, оказался г. Крыловъ, такъ какъ всѣ эти газетныя разоблаченія производятъ на сторонняго читателя такое впечатлѣніе, что сотрудничество г. Крылова является какъ бы *обязательнымъ* для каждой почти пьесы, претендующей попасть въ текущій репертуаръ; ибо г. Крыловъ, какъ хозяинъ этого репертуара, не можетъ же въ самомъ дѣлѣ отвѣчать за тѣ пьесы, въ художественныхъ достоинствахъ которыхъ онъ не увѣренъ. И дѣйствительно, его положеніе въ текущемъ сезонѣ по-истинѣ ужасное: онъ, бѣдный, бьется изо всѣхъ силъ найти хорошія пьесы и кромѣ своихъ собственныхъ ничего почти найти не можетъ. Есть отчего въ отчаянье прійти!

Судьба, однако, вознамѣрилась сжалиться надъ г. Крыловымъ и увеличить число современныхъ театральныхъ поставщиковъ однимъ новобранцемъ. Я не знаю пѣли-ли 21-го января наши Сарду и Мельяки: «а нашего полку прибыло, прибыло!», — но если пѣли и регентомъ былъ г. Крыловъ, то пѣніе хора было навѣрно минорное, ибо они не особенно любятъ конкуррентовъ въ своихъ подрядахъ и поставкахъ. Въ этотъ день, въ роли русскаго драматурга дебютировалъ русскій беллетристъ г. Потапенко своею 4-хъ актною пьесой «Жизнь».

Дай Богъ здоровья г. Потапенко, но его «Жизнь» не обѣщаетъ быть особенно долговѣчною. Въ заслугу новой пьесѣ можно поставить только одно: никакихъ возмутительныхъ пошлостей, подъ видомъ необыкновенно умныхъ рѣчей, въ ней не говорится; никто никакихъ тостовъ, ни за нравственность, ни за безнравственность не произноситъ и адвокатски-фельетонныхъ блестокъ остроумія не разсыпаетъ. И за это автору большое спасибо.

Списокъ отрицательныхъ сторонъ пьесы значительно длиннѣе. Во-первыхъ, и этого пожалуй и довольно бы — въ ней нѣтъ никакого творчества. Какъ ее ни поверни—со всѣхъ сторонъ—это вещь спекулятивная, какъ и большинство текущаго театральнаго хлама. Г. Потапенко въ театрѣ младенецъ, а потому и наивенъ, какъ младенецъ. Онъ знаетъ, что хорошо бываетъ, когда зрители всѣ поголовно плачутъ въ чувствительныхъ пьесахъ. Надо и мнѣ, думаетъ г. Потапенко, придумать что-нибудь эдакое, самое чувствительное. Да чего же лучше—заставлю я кого-нибудь умирать на сценѣ, а окружающіе будутъ плакать, и умирающій будетъ прощаться съ ними; театръ навѣрное не выдержитъ и тоже заплачетъ. Хорошо бы, чтобъ умиралъ какой-нибудь учитель, а обожающіе его ученики, благородная молодежь — плакали бы вокругъ. Хорошо бы и семейство, женскій элементъ присоединить къ плачущей молодежи; дамы плачутъ особенно заразительно. Рѣшено—заставлю умирать такое лицо, чтобы и семейный, и учитель въ одно и тоже время. Эврика! *Онъ* будетъ профессоръ университета, свѣтило науки, надежда и гордость ея и вдругъ умираетъ, окруженный семьей и боготворящими его студентами! Только, отъ чего же онъ умираетъ? Нужно, чтобы виною его смерти былъ кто-нибудь, на кого могутъ обрушиться проклятія окружающихъ дорогого учителя. Это долженъ быть пошлый фатъ. Но какъ же онъ причинитъ смерть профессору? Онъ смертельно ранитъ его на дуэли. Пусть профессоръ встанетъ въ такое положеніе, что при всемъ несочувствіи къ варварской формѣ расправы, ему *нельзя будетъ* не принять вызова, не жертвуя честью хотя бы нѣжно любимой жены. Драма складывается сама собой: у профессора—нѣжно-любимая прелестная жена; фатъ ухаживаетъ за нею, а она отъ скуки слегка съ нимъ кокетничаетъ. Враги профессора, а такъ какъ онъ медикъ, то стало быть — враги геніальнаго медика— другіе врачи раздуваютъ исторію этого невиннаго флирта всевозможными сплетнями и намеками въ мѣстныхъ газетахъ и доводятъ профессора до такого нервнаго раздраженія, что онъ, встрѣтивъ въ гостиной жены ея

фатоватаго ухаживателя, срываетъ на немъ свой гнѣвъ и оскорбляетъ его. Тотъ вызываетъ его на дуэль, отъ которой нельзя отказаться, не задѣвая репутацію жены, дуэль происходитъ на пистолетахъ, и профессоръ, раненый «пушкинскою» раной въ животъ, умираетъ между убитой горемъ женой и рыдающими студентами.

Г. Потапенко видимо остался доволенъ своей *изобрѣтательностью* и не только написалъ, но и поставилъ свою пьесу «Жизнь», содержаніе которой и главныя дѣйствующія лица указаны выше. Въ окончательной отдѣлкѣ—профессоръ-врачъ получилъ имя Петра Григорьевича Бѣлозерова (г. Давыдовъ), его жена—Ольги Павловны (г-жа Мичурина) и фатъ—Ратищева (г. Далматова),

Къ этимъ лицамъ пришлось присоединить завистниковъ—врачей, созванныхъ на консиліумъ объ операціи: старика профессора Тройнова (г. Писаревъ), человѣка науки, но съ лѣтами сдѣлавшагося къ ней равнодушнѣе, а въ житейскомъ смыслѣ практичнѣе; Загницкаго (г. Ѳедотовъ), ядовитаго завистника и коварнаго врага; Баржика (г. Ремизовъ) и Галкина (г. Шевченко). Затѣмъ—секундантовъ фата: барона Штифеля и Чебышева (гг. Новинскій и Тройницкій), студентовъ, ассистента Синицына (г. Никольскій) и еще, неизвѣстно зачѣмъ (вѣроятно для увеличенія толпы рыдающихъ родственниковъ)—отца Ольги Павловны (г. Ленскій), списаннаго съ многаго множества легкомысленныхъ папашъ, сестру ея (г-жа Потоцкая), дѣльную дѣвицу, путающуюся въ дѣйствіи пьесы безъ всякаго дѣла и Туняеву, троюродную сестру Бѣлозерова (г-жа Ѳедорова), являющуюся на минуту, чтобы передать ходящую по городу сплетню.

Авторъ не ошибся въ разсчетѣ. Въ театрѣ всегда найдется не мало чувствительныхъ зрителей, которымъ стоитъ только показать что-нибудь печальное—они сейчасъ начнутъ разливаться—плакать. А тутъ еще такая жалость! Хорошаго человѣка ухлопали даромъ, и онъ полчаса умираетъ передъ рампой, разговаривая такимъ жалостнымъ голосомъ и все-такое грустное!

Я сказалъ уже, что г. Потапенко младенчески наивенъ и посмотрите, сколько самыхъ азбучныхъ наивностей онъ насовалъ въ свою пьесу. Консиліумъ 1-го акта замѣчательно курьезенъ: собирается пять врачей, чтобы обсудить возможность весьма трудной и сложной операціи безъ опасности для жизни больного. По приглашенію Бѣлозерова они на минуту уходятъ осмотрѣть больного и, возвратившись, начинаютъ ученый споръ такого содержанія: «Ну что, коллега, какое ваше мнѣніе?» — По моему, операція невозможна.—«А ваше мнѣніе?»—По моему, больной умретъ подъ ножомъ.—А ваше?—пристаетъ Бѣлозеровъ къ остальнымъ коллегамъ. «Операція невозможна», отвѣчаютъ остальные коллеги.—Ну, а помоему,—рѣшаетъ Бѣлозеровъ,—операція возможна, и я пойду ее и сдѣлаю, а вы тутъ посидите и подождите.—Послѣ этого онъ идетъ, очень скоро дѣлаетъ операцію и возвращается сейчасъ-же съ торжествующимъ видомъ,

приглашая коллегъ пойти полюбоваться на «чистую работу». Всѣ идутъ, любуются и поражаются.

Г. Потапенко, видимо, не врачъ и потому нельзя требовать отъ него изложенія техническаго, научнаго спора о возможности или невозможности операціи. Но не нужно быть врачемъ, чтобы понять всю неправдоподобность и комичность такого *голословнаго* спора. Не нужно также быть врачемъ, чтобы знать, что дѣлать операцію отправляются не такъ, какъ выпить стаканъ квасу въ другой комнатѣ; геніальный операторъ г. Потапенки рѣжетъ своего больного, точно фокусъ показываетъ, даже не мѣняя сюртука. И какимъ образомъ больной такимъ интереснымъ клиническимъ недугомъ находится на квартирѣ Бѣлозерова, живущаго по-видимому въ университетѣ, гдѣ имѣется клиника. Въ послѣднемъ дѣйствіи смертельно раненаго Бѣлозерова *приводятъ подъ руки* и кладутъ *на кушетку* посреди аванъ-сцены. Это—перлъ постановки! Точно не могли потратиться на носилки и покойную кровать для свѣтила науки. Но вотъ что уже вина самого автора: въ продолженіе полу-часа человѣкъ умираетъ на сценѣ, ассистентъ суетится около него и только повторяетъ: «Мы его спасемъ, мы его спасемъ», а никакихъ мѣръ къ спасенію такъ и не принимается, и безпомощный больной умираетъ съ такими-же удобствами, какъ на большой дорогѣ. Кромѣ того, г. Потапенко очень невысокаго понятія о познаніяхъ студентовъ-медиковъ 5-го курса, ибо въ его пьесѣ одинъ изъ нихъ на вопросъ ассистента-профессора: какого рода рана?—отвѣчаетъ: «*Въ полость живота*». Насколько извѣстно, въ анатоміи такой полости не существуетъ, да и студентъ 5-го курса на вопросъ начальства могъ-бы отвѣчать точнѣе.

Г. Потапенко, какъ видно, и съ свѣтскими условіями жизни знакомъ не лучше, чѣмъ съ медициной. Если-бы это было не такъ, онъ понялъ-бы, что, принимая вызовъ Ратищева, Бѣлозеровъ компрометтируетъ свою жену, еще болѣе подтверждая этимъ городскія сплетни объ отношеніяхъ ея къ Ратищеву. Нѣтъ такихъ секундатовъ, которые не удовлетворились-бы извиненіями Бѣлозерова и не заставили-бы Ратищева признать себя вполнѣ удовлетвореннымъ. Требованіе Ратищева, чтобы Бѣлозеровъ въ своемъ извинительномъ письмѣ ни съ того, ни съ сего упоминалъ о лживости городскихъ слуховъ, позорящихъ Ратищева гораздо менѣе, чѣмъ жену Бѣлозерова,—совершенно нелѣпо и неудачно придумано. Что-же касается до несчастной мысли, пришедшей въ голову Бѣлозерова,—поручить дѣло своей чести студентамъ 5-го курса, то г. Потапенко достаточно наказалъ его за это: при другихъ секундантахъ подобная дуэль никогда-бы не состоялась.

Я совершенно отказываюсь говорить объ исполненіи этой пьесы и считаю, что для хорошаго артиста должно быть обидно слышать, какъ хорошо онъ съумѣлъ передать всѣ авторскія нелѣпости и изобразить выдуманныя лица и положенія.

24-го января, какъ значилось на афишахъ—въ день сороковой годов-

щины первой постановки пьесы, дана была комедія А. Н. Островскаго *Бѣдность не порокъ*.

Каждый разъ, какъ имя А. Н. Островскаго упоминается на петербургской драматической сценѣ сердце невольно сжимается острою и жгучею болью за этого мало-цѣнимаго и плохо понимаемаго русскаго писателя. Талантъ такой проникновенной силы, такой необыкновенной прозорливости, такой чуткой отзывчивости къ легчайшимъ дуновеніямъ русскаго національнаго духа—и такъ мало чтимъ, такъ мало понятъ и почти забытъ! А вѣдь еще полъ-вѣка не прошло съ тѣхъ поръ, какъ Островскимъ было сказано *новое слово* въ русскомъ театрѣ, когда взамѣнъ лжи, ходульности, явной искусственности, слѣпого подражанія и художественнаго безвкусія на русской сценѣ впервые появились живые русскіе люди во всей полнотѣ своихъ народныхъ свойствъ, освѣщенные поэзіею великаго русскаго художника! Русская душа во всѣхъ ея свѣтлыхъ и темныхъ проявленіяхъ, русское чувство со всею своею гаммою разнообразнѣйшихъ оттѣнковъ, начиная отъ беззавѣтной покорности нѣмого страданія до бурной удали широкой натуры воплотились въ лицахъ и образахъ необыкновенной жизненной правдивости и неподражаемой типичности. Подъ преходящею, условною оболочкою бытовыхъ изображеній воспроизведена была художественно неизмѣнная характерная сущность русской души, русскаго человѣка вообще, насколько онъ является продуктомъ народнаго (national, а не populaire) духа.

И что-же? Менѣе, чѣмъ черезъ 50 лѣтъ внутренній, истинный смыслъ этихъ геніальныхъ изображеній утратился въ сознаніи русскихъ людей; душа поэтическихъ произведеній испарилась и осталась одна скорлупа въ видѣ описательныхъ картинъ отжившаго темнаго царства. Островскій—творецъ низведенъ къ простому быто-описателю, имѣющему чуть-ли не археологическій только интересъ; сами изображенія представляются какими-то курьезными анахронизмами, остатками смѣшной старины, которую мы настолько переросли, что даже понимаемъ съ трудомъ; пьесы, полныя захватывающаго смысла и живого интереса приравниваются теперь къ тѣмъ блѣднымъ порожденіямъ тулупно-зипуннаго народническаго реализма 60-хъ годовъ, которыя мелькнули въ исторіи русскаго искусства, отражая на себѣ временныя увлеченія эпохи, унесенныя вмѣстѣ съ нею въ невозвратное прошлое.

Кто-же виновенъ въ такомъ узкомъ, близорукомъ пониманіи геніальнаго творчества Островскаго? Виноваты по-немногу всѣ, а больше всего невѣжественная критика и ремесленные взгляды руководителей и жрецовъ русскаго драматическаго искусства. Отъ нашихъ актеровъ и нельзя было ожидать иного отношенія къ пьесамъ Островскаго. Для нихъ его лица и образы представляютъ интересъ прежде всего спеціально сценическій, какъ матерьялъ для созданія *благодарныхъ типовъ*. Понятно, что при такомъ взглядѣ перевѣсъ оказался на сторонѣ формы, и лица Островскаго обратились мало по малу въ галлерею бытовыхъ корикатуръ

большей или меньшей допотопной курьезности. Изображеніе *внутренняго человѣка* отошло на задній планъ и совсѣмъ затерялась; *типъ* замѣнилъ собою *характеръ*, и кафтанъ закрылъ собою отъ зрителя живую душу.

Дѣло просвѣщенной критики было-бы—разъяснить русскому актеру истинную суть и неувядающее значеніе созданій Островскаго, указать, что и въ Шекспирѣ, и въ Мольерѣ за отжившими формами остаются вѣчно живыя черты характеровъ и души человѣческой; но наша критика по большей части вторила актерской недогадливости и приняла на себя не малую долю грѣха непониманія Островскаго и не разъ возвѣщала, что Островскій устарѣлъ и не возбуждаетъ интереса въ современномъ зрителѣ, вмѣсто того, чтобы указывать и этимъ зрителямъ, и актерамъ, что Островскій не оттого пересталъ привлекать вниманіе, что устарѣлъ, а оттого, что актеры болѣе не умѣютъ играть его такимъ, каковъ онъ есть, всего цѣликомъ, а схватываютъ только внѣшніе признаки его созданій.

Руководители нашей образцовой сцены могли-бы, конечно, возстановить истинное пониманіе Островскаго и поднять интересъ къ его пьесамъ достодолжнымъ художественнымъ исполненіемъ. Но на дѣлѣ и они ушли не дальше актеровъ и критики. Едва-ли даже не на нихъ падаетъ главная вина въ этомъ вопросѣ, такъ какъ, потворствуя небрежному и одностороннему исполненію, они сами ставятъ пьесы Островскаго возмутительно небрежно и неряшливо; а когда публика отказывается посѣщать такія убогія представленія, то вина сваливается опять-таки на Островскаго и его устарѣлость.

Нынѣшнее репертуарное начальство въ лицѣ г. Крылова особенно озабочено придать своей дѣятельности букетъ *литературности* въ подраженіе культурнымъ сценамъ западной Европы. Съ этою цѣлью на вечеровыхъ програмахъ печатаются краткія свѣдѣнія о пьесахъ и объ ихъ авторахъ, въ фойэ вывѣшиваются относящіеся къ пьесѣ виды и картинки, выкапываются даты всевозможныхъ годовщинъ и т. д. Все это было-бы умѣстно и вполнѣ почтенно, если-бы театрально-литературныя торжества ознаменовывались экстренно-образцовымъ исполненіемъ чествуемыхъ пьесъ и авторовъ, а не ограничивались однѣми датами на афишахъ, да историческими свѣдѣніями и картинками. А то въ фойэ видишь изображеніе дома Шиллера, часовни Вильгельма Телля, читаешь на програмѣ свѣдѣнія о томъ, сколько Шиллеръ получилъ гонорара, а въ это время на сценѣ чествуемый Шиллеръ коверкается безпощаднымъ образомъ и восхваляемый *Вильгельмъ Телль* является въ жалкомъ, безграмотномъ исполненіи и нелѣпой, безсмысленной постановкѣ. Невольно кажется, что всѣ эти претензіи на культурность и литературность не болѣе, какъ смѣшной фарсъ, шарлатанство, что кого-то морочатъ, кому-то пускаютъ пыль въ глаза.

Нѣсомнѣнно, что подобнымъ-же побужденіемъ обязана и комедія

Бѣдность не порокъ чествованіемъ на Александринской сценѣ, своего сорокалѣтія (?), изумившимъ меня 24-го минувшаго января.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ иначе отнестись къ такому явленію: афиша объявляетъ сорокалѣтній юбилей пьесы, а сама пьеса идетъ чуть не съ двухъ репетицій при сомнительномъ знаніи ролей и полномъ отсутствіи стройнаго исполненія; выказывается намѣреніе отпраздновать извѣстное литературное событіе, а само празднованіе состоитъ въ томъ, что пьеса обставлена и исполнена хуже и небрежнѣе, чѣмъ когда-либо. Распредѣленіе ролей болѣе всего доказываетъ такую небрежность, или-же должно быть отнесено къ полному незнанію дѣла режиссерскою частью. Нужно совсѣмъ не понимать пьесы и характеровъ дѣйствующихъ лицъ ея, чтобы поручить роль Коршунова—г-ну Варламову, роль Пелагеи Егоровны—г-жѣ Стрѣльской и наконецъ самого Любима Торцова—г-ну Давыдову. Неужели г-нъ Крыловъ до сихъ поръ настолько не присмотрѣлся къ актерамъ ввѣренной ему труппы, что не понимаетъ того, напримѣръ, что г. Давыдовъ по свойству темперамента своего *не можетъ* быть хорошимъ Любимомъ Торцовымъ, что въ его исполненіи этотъ купеческій прожигатель жизни обратится въ подобіе Антона Горемыки или самое большее въ Расплюева; что не считая г. Медвѣдева, который еще прошлою весной игралъ эту роль довольно порядочно, въ труппѣ имѣется превосходный Любимъ Торцовъ, г. Писаревъ, котораго самъ авторъ признавалъ однимъ изъ лучшихъ исполнителей этой роли и который имѣлъ въ ней громкій и заслуженный успѣхъ на многихъ русскихъ сценахъ, о чемъ спеціалистамъ дѣла можно было бы знать. Можно-бы также знать, что г-жа Стрѣльская — превосходная комическая актриса на роли разбитныя, веселыя и энергичныя, но совершенно лишенная способности искренне выражать теплыя чувства, совсѣмъ не подходитъ къ характеру чувствительной, плаксивой и робкой Пелагеи Егоровны. Можно-бы также замѣтить, что г. Шкаринъ—артистъ тоже прекрасный—совершенно не умѣетъ играть важныхъ русскихъ купцовъ вродѣ Гордѣя Карпыча, и что для торжественнаго спектакля, его слѣдовало-бы замѣнить другимъ исполнителемъ. Отъ того, что г-жа Савина исполняетъ небольшую роль вдовушки Анны Ивановны, а г. Сазоновъ—Гришу Разлюляева ансамбль пьесы выиграть не могъ; но онъ несомнѣнно выигралъ бы, еслибъ г. Крыловъ, празднуя литературный юбилей, не ограничился только разысканіемъ даты, сочиненіемъ въ носъ бьющей афиши и неудачнымъ распредѣленіемъ ролей, а полюбопытствовалъ-бы посмотрѣть, *какъ* исполняется *Бѣдность не порокъ* при сей торжественной оказіи. Онъ, можетъ быть, замѣтилъ бы, что никто не говоритъ въ тонѣ пьесы; что г-жа Пасхалова и г. Аполлонскій изображаютъ не простыхъ русскихъ людей, а какихъ-то испанскихъ любовниковъ, передѣланныхъ г-номъ Крыловымъ изъ пьесы Морето на русскіе купеческіе нравы, что, въ изображеніи бытовой стороны пьесы, постановкою допущена масса несообразностей, и что вообще *Бѣдность не порокъ* идетъ несравненно хуже обыкновеннаго въ знаменательный, такъ громко возвѣщенный,

юбилейный спектакль. Но ничего этого г. Крыловъ не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть и устроилъ по-истинѣ странное чествованіе Островскаго которому, будь онъ живъ, не поздоровилось-бы отъ этакихъ похвалъ. Что дѣлать! Видно, не пришло еще время должнаго пониманія и чествованія нашего русскаго Мольера.

Въ четвергъ, 27-го января, состоялся бенефисъ М. Г. Савиной, имѣвшій на сей разъ особое значеніе, такъ какъ имъ знаменовалось двадцатилѣтіе службы талантливой артистки на нашей петербургской сценѣ.

Я живо помню первое появленіе М. Г. Савиной въ Петербургѣ въ зиму 1873—1874 года. Я помню то впечатлѣніе, какое вынесъ изъ спектаклей Благороднаго собранія, въ которыхъ молодая артистка играла Лелечку въ *Блуждающихъ Огняхъ*, а потомъ въ *Испорченной жизни*. Это было впечатлѣніе свѣжаго, молодого, а главное искренняго таланта съ настоящимъ драматическимъ темпераментомъ и тою жизненностію игры, которая до глубины души трогаетъ зрителя. Я помню также дебюты ея на Александринской сценѣ, въ роли Кати, въ комедіи *По духовному завѣщанію* (9-го Апрѣля 1874 г.) и въ роли Нади въ *Воспитанницѣ* Островскаго (16-го Апрѣля), и, давая отчетъ объ этихъ спектакляхъ, писалъ, что «появленіе г-жи Савиной на Александринской сценѣ—лучшій подарокъ кончающагося сезона, и если артисткѣ суждено сдѣлаться постояннымъ достояніемъ столичной публики, что желается всѣми, видѣвшими дебютъ г-жи Савиной, то мы смѣло можемъ поздравить столичную сцену съ хорошимъ пріобрѣтеніемъ; публикѣ обѣщается много удовольствія въ будущемъ, а г-жѣ Савиной—полные и заслуженные успѣхи». («Бирж. Вѣд.» 1874 г. № 101).

Эти пожеланія, къ счастію, исполнились и мало-извѣстная до тѣхъ поръ провинціальная артистка вскорѣ сдѣлалась лучшимъ украшеніемъ петербургской сцены и до сихъ поръ держитъ на ней по праву первое мѣсто. Обстоятельства, какъ нельзя болѣе, благопріятствовали росту значенія г-жи Савиной: артистки, занимавшія до нея первыя мѣста — г-жа Струйская 1 и Яблочкина 2, сошли со сцены, а новыхъ соперницъ не появилось, и въ теченіе всего двадцатилѣтія въ женскомъ персоналѣ петербургской труппы не было, положительно, никого, кто-бы могъ оспаривать первенство г-жи Савиной. Единственная сила, которая могла-бы дѣлить ея лавры, хотя и на своемъ особомъ поприщѣ, была г-жа Стрепетова, но своеобразныя особенности этого дарованія и исключительность репертуара ея ролей не оказались въ тонѣ царившаго въ нашемъ театрѣ направленія, и г-жа Савина осталась во главѣ ролей ingénue и драматическихъ.

Оглядываясь на репертуаръ истекшаго двадцатилѣтія, нельзя, однако же, подавить въ себѣ удивленія, что, при такомъ богатомъ дарованіи, г-жа Савина не ознаменовала своего первенства на сценѣ болѣе крупными и художественными созданіями. Но, если припомнить всѣ обстоятельства

дѣла, то винить въ этомъ артистку, по совѣсти, нельзя. Великолѣпное исполненіе нѣкоторыхъ ролей репертуара Островскаго, Соловьева, А. Потѣхина, Тургенева и нѣкоторыхъ новѣйшихъ серьезныхъ авторовъ ясно указываетъ на то, что г-жѣ Савиной доступны вполнѣ художественныя, сценическія задачи, а, соображая лучшія стороны ея дарованія, нельзя не признать ея предназначенности къ весьма видному положенію, если и не въ трагедіи и сильной драмѣ, то въ комедіи и драмѣ реальной художественнаго, творческаго замысла. На бѣду, появленіе свѣжаго и крупнаго таланта возбудило барышническіе аппетиты театральныхъ закройщиковъ, пробравшихся уже тогда на сцену вмѣстѣ съ оперетoчными переводчиками — развратителями русской публики. Эти закройщики, съ г. Крыловымъ во главѣ, разсчитали безъ ошибки, что граціозное дарованіе новой звѣзды завоюетъ успѣхъ ихъ полуопереточнымъ пошлостямъ, и изъ всѣхъ силъ принялись сочинять пьесы, спеціально принаровленныя къ особенностямъ таланта г-жи Савиной. Успѣхъ они завоевали, но зато лишили артистку здоровой, художественной пищи, столь необходимой для развитія и правильнаго роста молодого дарованія. Не будь этихъ благодѣтелей русскаго театра, г-жѣ Савиной неизбѣжно пришлось-бы работать надъ художественными созданіями литературнаго репертуара, и она навѣрно подарила-бы русскую сцену многими истинными образцами. Теперь-же все ея время и силы стали уходить на исполненіе пьесъ, фабриковавшихся для нея спеціально, въ которыхъ ей приходилось играть саму себя безъ всякаго труда и съ вѣрнымъ успѣхомъ. Г.г. Крыловъ и К° купили свой успѣхъ на счетъ дарованія г-жи Савиной, которое, благодаря имъ, свершило несравненно менѣе того, что могло свершить.

Говорятъ, что при чествованіи юбилея г-жи Савиной товарищами, г. Крыловъ прочелъ ей игривое поздравленіе въ стихахъ, въ которыхъ ея двадцатилѣтнія заслуги выражены заглавіями игранныхъ ею пьесъ. По моему, г-жа Савина, отвѣчая на поздравленія, должна была-бы, не безъ горечи, сказать приблизительно слѣдующее: «Съ тѣхъ поръ, какъ вы, *баловень* безвкусной толпы, вашими *шалостями* держите *въ осадномъ положеніи* русскую сцену, составляющую для васъ *лакомый кусочекъ*, ваше *до поры до времени завоеванное счастье* было моимъ *горемъ—злосчастьемъ*, внеся *разладъ* между даннымъ мнѣ Богомъ дарованіемъ и репертуаромъ моимъ, который покажется *чудовищемъ* новому поколѣнію зрителей, если только онъ перейдетъ къ нимъ по вашему *духовному завѣщанію*».

Г-жа Савина такой рѣчи, понятно, не сказала, но сыграла прекрасно двѣ новыя роли въ своемъ бенефисномъ спектаклѣ: Лизы въ *Дворянскомъ гнѣздѣ* и Любушки въ комедіи *Батюшкина дочка*.

Г-жа Савина дала образъ Лизы довольно близкій къ тургеневскому созданію, но, конечно, могла его дать только въ предѣлахъ матеріала, представляемаго сценической обработкой П. И. Вейнберга знаменитаго романа И. С. Тургенева. Я уже каялся, по поводу *Мертвыхъ душъ*, въ

своемъ несочувствіи ко всякимъ передѣлкамъ эпическихъ произведеній въ драматическую форму, но признаюсь, идея передѣлать «Дворянское гнѣздо» въ драму меня особенно поразила своею смѣлостью, чтобы не сказать неосмотрительностью. Весь поэтическій ароматъ чудеснаго романа заключается въ чарующей красотѣ его описательныхъ и повѣствовательныхъ мѣстъ. Тонкая обрисовка образовъ и душевнаго міра дѣйствующихъ лицъ выполнена съ изящнѣйшимъ мастерствомъ въ художественно-реальныхъ и подробныхъ изложеніяхъ геніальнаго автора, вмѣстить которыя въ драматическую форму, совершенно невозможно, такъ какъ въ драмѣ эти изложенія должны быть воспринимаемы зрителемъ въ образахъ, для созданія которыхъ нуженъ талантъ драматурга, равный таланту Тургенева. Лица и положенія для нечитавшихъ романа представятся произвольными и неясными, а для знающихъ романъ—обезличенными до неузнаваемости. Отъ перестановки нѣкоторыхъ сценъ и произвольныхъ измѣненій въ нихъ нѣкоторыя положенія совершенно исказились и потеряли приданный имъ авторомъ смыслъ. Мароа Тимофеевна застаетъ ночное свиданіе Лизы съ Лаврецкимъ; она-же въ послѣдней сценѣ поручаетъ Лаврецкому отговорить Лизу отъ намѣренія вступить въ монастырь; Леммъ среди бѣлаго дня говоритъ о звѣздахъ, Лаврецкій на восемь лѣтъ раньше говоритъ: «Догорай безполезная жизнь, здравствуй одинокая старость» и т. д. и т. д.

Изъ исполнителей болѣе всѣхъ проникласъ Тургеневскими намѣреніями г-жа Савина и дала лицо граціозное, чистое и задушевно-простое, хотя, конечно, легкость и намѣренная недосказанность этого образа въ романѣ отразилась нѣкоторою блѣднотою сценическаго лица, оставлявшаго значительный просторъ воображенію зрителя, которымъ образъ долженъ быть дорисованъ. Г-жа Жулева удовлетворительно справлялась съ изображеніемъ Мароы Тимофеевны настолько, насколько позволяютъ ея личныя свойства, мало соотвѣтствующія замыслу Тургенева. Затѣмъ, г. Нильскій былъ достаточно похожъ на Лемма. Этимъ и ограничивается перечень болѣе удачныхъ лицъ. Постановка оказалась пестрою всякими анахронизмами, перечислять которые и скучно, да и не стоитъ.

Въ заключеніе спектакля бенефиціантка сыграла въ комедіи князя Шаховскаго *Батюшкина дочка* или *Нашла коса на камень* роль злой, капризной Любушки и сыграла ее съ такою молодостью, граціей, живостью и неподдѣльнымъ комизмомъ,—что наивное созданіе Шаховскаго смотрѣлось съ истиннымъ удовольствіемъ, тѣмъ болѣе, что и остальныя лица, въ особенности г-жа Читау (горничная Маша) и г. Аполлонскій (морякъ Рагдаевъ) дружно поддерживали бенефиціантку. Въ пьесѣ второе дѣйствіе представляетъ театръ со сценой, на которой идетъ старинный балетъ *Своенравная жена* («Le diable à quatre»). Какъ кажется, эта театральная мозаика и во времена Шаховскаго не имѣла такого успѣха, какъ теперь, когда пошлости современныхъ «веселыхъ пьесъ» заставляютъ цѣнить милую веселость наивной старины.

Д. Д. К.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.

75-ти-лѣтіе петербургскаго университета.—Воспитательное значеніе высшей школы.— Вопросъ о приступленіи Россіи къ бернской литературной конвенціи. — Огражденіе свободы перевода. — 19 февраля. — Обнародованіе закона о неотчуждаемости надѣльныхъ земель.—Циркуляръ о взысканіи сборовъ и коммисія по этому предмету.—Коммисія статсъ-секретаря Грота и проектъ объ общественномъ призрѣніи. — Проектъ завѣдыванія дѣломъ народнаго продовольствія.—Пермскій кустарно-промышленный банкъ.

Въ минувшемъ мѣсяцѣ исполнилось 75-ти-лѣтіе со дня преобразованія главнаго педагогическаго института въ Петербургѣ въ петербургскій университетъ. Никакого торжества по этому случаю не было и юбилейный характеръ дня 8 февраля, въ нынѣшнемъ году, выступилъ лишь въ томъ, что совѣтъ постановилъ по этому поводу составить біографическій словарь профессоровъ и преподавателей университета и «матеріалы къ исторіи университета» за послѣдніе 25-ти-лѣтее, что послужитъ продолженіемъ извѣстнаго труда бывшаго профессора Григорьева. Сверхъ того, обычный университетскій актъ ознаменовался привѣтствіемъ петербургскому университету отъ старѣйшаго изъ русскихъ университетовъ — московскаго; привѣтствіе это было прочитано прибывшимъ изъ Москвы проф. К. Д. Тимирязевымъ и часто прерывалось громкими рукоплесканіями.

«Матерьялы къ исторіи» петербургскаго университета за 25-лѣтіе представляетъ большой интересъ, такъ какъ бо̀льшая половина этого времени обнимала періодъ оживленной дѣятельности. Въ 1869 году, когда университетъ торжествовалъ свой полувѣковой юбилей, протекли уже шесть лѣтъ со времени устава 1863 г., съ большимъ стараніемъ и съ участіемъ европейскихъ ученыхъ, выработаннаго при покойномъ министрѣ А. В. Головнинѣ. Эти годы прошли среди работы спокойной, но живой, проникнутой увлеченіемъ наукою и вѣрою въ дальнѣйшіе быстрые успѣхи умственнаго развитія въ обществѣ и казались достаточнымъ удостовѣреніемъ превосходства упомянутаго устава передъ прежними правилами, которыя, впрочемъ, фактически, потеряли свою силу съ самаго начала эпохи общихъ реформъ. Вообще 60-ые годы, оставляя въ сторонѣ извѣстный случай безпорядковъ, за два года передъ введеніемъ устава 1863 г., представили періодъ разцвѣта петербургскаго университета, тотъ періодъ изъ его жизни,

который наиболѣе повліялъ на русскую общественную мысль, что представлялось вполнѣ естественнымъ уже потому, что обновленіе самыхъ условій русской жизни шло изъ Петербурга.

Но это нахожденіе университета въ самомъ центрѣ законодательной и административной дѣятельности обусловливало и то, что неизбѣжно смѣнявшіяся въ ней, въ теченіе трехъ четвертей вѣка, направленія не могли не отражаться наиболѣе непосредственно на бытѣ именно петербургскаго университета. Въ недолгое—для учрежденія—75-ти-лѣтнее свое существованіе, здѣшній университетъ имѣетъ пятый уставъ, который нынѣ дѣйствуетъ уже почти 10 лѣтъ; такъ что, въ среднемъ, уставы оставались въ силѣ только по 15 лѣтъ. Да и этого нельзя сказать, потому что и въ промежуткахъ между двумя уставами производились, хотя только частныя, но весьма существенныя измѣненія.

Уставъ 1863 г. былъ выработанъ на основаніяхъ, которыя соотвѣтствовали духу преобразовательной эпохи. Но не этотъ уставъ вызвалъ то умственно-общественное значеніе, какое петербургскій университетъ пріобрѣлъ съ самаго начала 60-хъ годовъ и сохранялъ въ 70-ые годы. Это былъ уставъ—общій для всѣхъ университетовъ, даровавшій значительную самостоятельность и просторъ самоуправленія. Какъ уставъ 1863 г. невозможно было винить за тѣ крупные безпорядки, которые происходили двумя годами раньше, такъ нельзя къ нему относить и того умственнаго вліянія, какое пріобрѣлъ здѣшній университетъ еще раньше введенія этого устава и пріобрѣлъ просто потому, что въ немъ сильнѣе отражался импульсъ, данный эрою преобразованій. Уставъ 1863 г. только не стѣснилъ того, что истекло изъ высокаго подъема общественнаго духа и поддерживалось съ одной стороны блестящимъ состояніемъ преподаванія, а съ другой—силою идеаловъ въ жизни тогдашняго университетскаго юношества. Мы воспользуемся здѣсь отзывомъ объ уставѣ 1863 года офиціальнаго историка здѣшняго университета, покойнаго В. В. Григорьева, приведеннымъ въ статьѣ г. В. Якушкина въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» (№ 45) по поводу дня 8 февраля: «совѣтъ университета изъ профессоровъ—говорится въ офиціальной исторіи университета — съ выборнымъ ректоромъ во главѣ, сдѣлался средоточіемъ всѣхъ отправленій университетской жизни, съ яснымъ и точнымъ опредѣленіемъ тѣхъ случаевъ, когда власть его ограничивается университетомъ».

Послѣдовавшія затѣмъ новыя вліянія и теченія въ общественной жизни коснулись и университетовъ, въ числѣ другихъ учрежденій. Надо замѣтить, что полнымъ самоуправленіемъ наши университеты не пользовались и по уставу 1863 г., точно такъ, какъ и земскія учрежденія, по «положенію» 1864 г., не получили ни значенія дѣйствительныхъ мѣстныхъ властей, ни характера вполнѣ независимыхъ частныхъ хозяйственныхъ союзовъ, а заняли какое-то среднее положеніе. Затѣмъ, самое соотношеніе между принципомъ контроля и принципомъ самоуправленія могло измѣниться въ виду новыхъ обстоятельствъ, въ силу новыхъ теченій. Начало болѣе ши-

рокаго и болѣе непосредственнаго контроля со стороны государства надъ общественными учрежденіями и даже частными компаніями постепенно проводилось въ наше время въ самыхъ различныхъ отрасляхъ дѣятельности, не только въ училищномъ и общественно-хозяйственномъ дѣлахъ, но и въ банковомъ и желѣзнодорожномъ. Такъ, и въ томъ новомъ университетскомъ уставѣ, который былъ выработанъ въ 1884 г., усиленіе государственнаго надзора выразилось, хотя не полной отмѣной избранія профессоровъ совѣтомъ, съ согласія министерства, но въ видѣ предоставленія министерству назначать профессоровъ непосредственно, а также назначать ректоровъ и декановъ, съ большимъ, сверхъ того, подчиненіемъ университетскаго управленія попечителямъ учебныхъ округовъ. Для болѣе близкаго надзора надъ занятіями студентовъ новый уставъ обставилъ зачетъ полугодій нѣкоторыми условіями, а для провѣрки знаній окончившихъ курсъ поставилъ выдачу дипломовъ въ зависимость отъ выдержанія экзамена въ смѣшанныхъ экзаменаціонныхъ коммисіяхъ, которыя состоятъ отчасти изъ профессоровъ университета, а отчасти изъ другихъ свѣдущихъ лицъ, по назначенію. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для студентовъ былъ возстановленъ прежній мундиръ и ношеніе его сдѣлано обязательнымъ въ стѣнахъ университета.

Вліяніе, оказанное уставомъ 1884 г. собственно на ученую дѣятельность и на успѣхи учащихся, можетъ вполнѣ выясниться только впослѣдствіи. Пока можно сказать только, что благодаря осуществленному уставомъ увеличенію числа штатныхъ каѳедръ и учрежденію приватъ-доцентовъ, число преподавателей въ университетахъ возросло, а число студентовъ, вслѣдствіе естественнаго умноженія молодыхъ людей, ищущихъ высшаго образованія, увеличилось, несмотря на уставъ 1884 г. Изъ отчета, читаннаго на актѣ 8 февраля, узнаемъ, что къ 1 января въ петербургскомъ университетѣ состояло 188 профессоровъ и преподавателей, включая лаборантовъ, и 2634 студента, между тѣмъ, какъ 25 лѣтъ тому назадъ студентовъ было только 1148. Г. Якушкинъ такъ опредѣляетъ общее значеніе устава 1884 года: «дѣйствующій теперь университетскій уставъ совершенно измѣнилъ постановку дѣла; онъ не только мало походитъ на уставы 1804 и 1863 годовъ, но не можетъ быть даже сравниваемъ съ уставомъ 1835 г. и если находитъ себѣ извѣстную аналогію въ исторіи нашихъ университетовъ, то развѣ въ «первоначальномъ образованіи петербургскаго университета», или, частью, въ тѣхъ порядкахъ, которые были установлены въ университетской жизни въ концѣ сороковыхъ годовъ («Р. В.» № 45).

Но, конечно, нельзя относить къ одной буквѣ того или другого устава всѣхъ тѣхъ перемѣнъ, какія происходятъ въ разныя времена въ жизни отдѣльныхъ учрежденій, какъ и въ условіяхъ жизни общественной. Несомнѣнно, что и нынѣ въ университетскихъ коллегіяхъ существуетъ нѣкоторая солидарность, обусловленная общей службою. Напомнимъ, въ видѣ примѣра, какъ въ прошломъ году достаточно было одного намека казан-

ской газеты на некрасивый поступокъ лица, «стоящаго близко къ университету», чтобы вызвать дружный протестъ профессоровъ. Но это—солидарность только оборонительная, а не активная и воспитательная. Такъ, и между студентами мундиръ создаетъ нѣкоторую связь—заботу о внѣшнемъ приличіи. Но это еще не товарищество, не дружество въ работѣ, не общность цѣлей. У насъ «консерваторы», не менѣе чѣмъ «либералы», жалуются на слабость у нынѣшней молодежи идеаловъ, на грубый реализмъ ея стремленій. Но этотъ грубый реализмъ, это помышленіе исключительно о личной пользѣ, то-есть эгоизмъ, можетъ только поддерживаться полной разобщенностью молодыхъ людей, какъ между собою, такъ и съ той средою, которая научаетъ ихъ, а должна была бы еще оказывать на нихъ и воспитательное вліяніе. При малой воспитательной силѣ нашей семьи, въ прежнихъ студентахъ начала нравственно-возвышающія, начала гуманности, служенія правдѣ, почитаніе высшихъ цѣлей, серьезное отношеніе къ наукѣ и къ гражданскому долгу пробуждались и надолго, у многихъ навсегда, запечатлѣвались именно той школой живою, въ которой была не одна только наука, но и душа, сила воспитательная, крѣпко связывавшая учениковъ съ наставниками, а товарищей съ товарищами.

Въ декабрьскомъ обозрѣніи мы разбирали пресловутое письмо, въ которомъ г. Э. Золя такъ настойчиво доказывалъ русскимъ литераторамъ, во имя честности, справедливости и братскихъ поцѣлуевъ съ французами, обязательность для Россіи заключить съ Франціею литературную конвенцію, которая обезпечивала бы переводимымъ авторамъ право разрѣшенія на переводъ и вознагражденія за это согласіе. Тонъ письма былъ слишкомъ «утвердителенъ» и принципъ въ немъ высказанный, именно, что литературная собственность «есть собственность», представлялся слишкомъ безусловнымъ, а потому мы изложили свои возраженія противъ того и другого; но при этомъ мы высказались все-таки за заключеніе такой конвенціи, которая воспрещала-бы воспроизведеніе литературныхъ, научныхъ и художественныхъ твореній — въ ихъ первоначальномъ видѣ, т. е. контрафакцію. Что касается перевода, то мы относили его къ видамъ переработки произведенія, къ одной категоріи съ компиляціею, христоматіею, цитатою, гравюрой съ живописи, литографическимъ воспроизведеніемъ гравюры, фотографическимъ снимкомъ изображеній какого-либо рода.

Изъ области теоріи вопросъ этотъ теперь переходитъ на почву практическую и получаетъ постановку болѣе широкую, чѣмъ при заключеніи литературной конвенціи съ одной только Франціей. Въ минувшемъ мѣсяцѣ вопросъ объ участіи Россіи въ какихъ-либо международныхъ мѣрахъ по охраненію литературной и артистической собственности разсматривался въ обществѣ книгопродавцевъ и издателей и въ литературномъ обществѣ и рѣшенъ было въ принципѣ—въ смыслѣ присоединенія къ бернскому союзу для защиты правъ литературнаго и художественнаго творчества. В. Д. Спасовичъ предложилъ, чтобы коммиссіи обоихъ обществъ, назначенныя для составленія проекта объ измѣненіи нашихъ законопо-

ложеній по этому предмету, засѣдали вмѣстѣ, пригласивъ на эти засѣданія нѣсколькихъ выдающихся юристовъ. Выработанный проектъ предполагается затѣмъ внести на обсужденіе особаго собранія изъ представителей обществъ литературнаго, музыкальнаго, художниковъ, издателей и книгопродавцевъ, и по одобреніи этимъ собраніемъ—представить въ министерство внутреннихъ дѣлъ съ ходатайствомъ о приступленіи Россіи къ бернскому союзу.

Бернская конвенція 1886 г. была подписана делегатами: Англіи, Бельгіи, Гаити, Германіи, Испаніи, Италіи, Либеріи, Туниса, Франціи и Швейцаріи. Она предоставляетъ чужестраннымъ авторамъ охраненіе ихъ правъ—въ размѣрѣ, установленномъ для мѣстныхъ авторовъ въ данной странѣ или въ отечествѣ иностраннаго автора, смотря по тому, гдѣ размѣръ охраны представляется меньшимъ. По отношенію собственно къ переводамъ, бернская конвенція воспрещаетъ переводъ безъ согласія автора въ теченіе 10 лѣтъ по изданіи произведенія.

Положимъ, примѣръ Гаити, Либеріи и Туниса къ намъ совсѣмъ не подходитъ, такъ какъ въ тѣхъ странахъ, конечно, не переводятъ столько, сколько у насъ. Но Италія и въ особенности Испанія находятся въ положеніи довольно похожемъ на наше, такъ какъ и сбытъ въ нихъ книгъ на языкахъ французскомъ и англійскомъ великъ, и переводятъ въ этихъ странахъ много, а ихъ авторовъ за-границею переводятъ мало. Примѣръ однако, самъ по себѣ, еще недостаточенъ для рѣшенія вопроса, и намъ кажется, что отъ нынѣшняго полнаго отсутствія литературныхъ конвенцій, которыя бы охраняли самое право издательства оригинальныхъ произведеній, переходъ къ безусловному принятію всѣхъ пунктовъ бернской конвенціи былъ бы слишкомъ крутымъ. Никто Россіи не мѣшаетъ заявить участникамъ бернскаго союза о своемъ желаніи присоединиться къ нему условно, а именно, съ нѣкоторымъ отступленіемъ по отношенію къ пункту, относящемуся къ переводамъ. Вопросъ это сложный и можетъ быть освѣщенъ съ разныхъ сторонъ, въ короткихъ словахъ, только при строгой систематичности, а стало быть и сухости изложенія, за которую мы и извиняемся передъ читателями.

Прежде всего—о принципѣ. Повторяемъ взглядъ, нами уже высказанный, что литературную и художественную собственность мы признаемъ только въ смыслѣ временной монополіи авторовъ на изданіе ихъ произведеній въ первоначальномъ ихъ видѣ; мы находимъ, что умственная и артистическая собственность, въ основномъ своемъ правѣ, отлична отъ вещественной и, подобно монополіи на изобрѣтенія, создается только временной привилегіею; затѣмъ, что контрафакцію слѣдуетъ понимать въ тѣсномъ смыслѣ изданія или передачи произведенія въ его первоначальномъ видѣ (перепечатка, копировка тѣми же матеріалами, публичное исполненіе драматическаго и музыкальнаго произведеній въ подлинникахъ). Переводы, копіи иными матеріалами, компиляціи, переложенія, графическія редукціи и т. п. мы относимъ къ одной категоріи и полагаемъ, что вопросъ о переводахъ рѣшается уже не несомнѣннымъ правомъ

первыхъ авторовъ на охраненіе продуктовъ ихъ труда, но соображеніями объ удобствѣ для каждой отдѣльной страны и желаніемъ доставить своимъ авторамъ ту добавочную премію съ переводовъ, какая будетъ предоставлена авторамъ иностраннымъ.

И такъ, не возражая безусловно противъ вознагражденія иностраннымъ авторамъ за переводъ ихъ, мы бросимъ взглядъ на степень удобства для Россіи согласиться на такую уступку. На первомъ планѣ представляются интересы образованія, литературы, науки и искусства. Г. Янжулъ, въ обстоятельной статьѣ въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», называетъ установленіе платы съ переводовъ — «налогомъ на народное образованіе». Правда, по отношенію собственно къ учебникамъ мы пока ничего не будемъ получать, обязуясь платить сами. Стало быть, если не дѣлать исключенія для книгъ учебныхъ, то ужъ только потому, что нельзя же не платить иностраннымъ ученымъ, если мы будемъ платить иностраннымъ беллетристамъ. Но весь вопросъ о платѣ съ переводовъ сводится на то, чтобы она была невысока, а при невысокой платѣ, отъ нея менѣе всего могли бы вздорожать именно учебники, которые печатаются въ большомъ числѣ экземпляровъ.

Пояснимъ примѣромъ. Издатель купилъ у русскаго автора рукопись учебника въ 10 печатныхъ листовъ за 1000 рублей и выпустилъ его въ 5000 экземплярахъ по 1 рублю Изъ этого рубля русскій авторъ получилъ 20 коп. или 20%. Если иностранному автору съ перевода такого же учебника платилось бы только 10% предполагаемаго гонорара за трудъ оригинальный, то при этомъ издатель уплатилъ бы съ листа 10 руб. автору, да 25 руб. переводчику, итого пріобрѣлъ бы рукопись учебника за 350 руб. вмѣсто 1000 руб. Положимъ, теперь онъ можетъ имѣть ее за 250 руб., но вѣдь лишніе 100 руб., разложенные на 5000 экземпляровъ, составили бы всего добавочныхъ 2 коп. на 1 экземпляръ, т. е. на 1 рубль. Этого нельзя было бы назвать вздорожаніемъ, и даже не прибавляя этихъ 2 коп. къ прежней цѣнѣ, издатель находилъ бы для себя все-таки выгоднымъ издавать учебники переводные. Если сдѣлаемъ тотъ же разсчетъ при изданіи въ 10 т. экземпляровъ, то, допустивъ даже плату 5000 руб. русскому автору или 500 руб. иностранному, да 250 руб. переводчику, мы получимъ все-таки, что съ 1 экз. русскому автору было бы уплочено 50 коп. изъ 1 рубля, а иностранному, вмѣстѣ съ переводчикомъ, 7,5 к. изъ 1 рубля, стало быть противъ нынѣшнихъ 2,5 коп., явилось бы лишняго расхода всего 5 к. на 1 рубль.

Что касается ученыхъ сочиненій, то нельзя не считаться съ слѣдующимъ возраженіемъ г. Янжула: «Множество научныхъ книгъ, наприм., при всѣхъ университетахъ, переводятся студентами подъ руководствомъ и указаніемъ профессоровъ, издаются самымъ дешевымъ способомъ, большею частью въ кредитъ или даже на казенный счетъ; при установленіи конвенціи дѣло этихъ лучшихъ переводовъ настолько осложнится переговорами о согласіи авторовъ и уплатой имъ гонорара, что можно

сказать навѣрное, что число такихъ изданій сократится, по крайней мѣрѣ, на три четверти». Предположимъ однако,—какъ мы объяснимъ сейчасъ—что никакихъ переговоровъ не нужно и что все новое затрудненіе заключается только въ платѣ. Оно все-таки значительно именно для книгъ, переводимыхъ такимъ образомъ. Придется вступать въ соглашеніе съ издателемъ, съ тѣмъ, чтобы онъ заплатилъ премію автору передъ выпускомъ книги. Но такой авансъ не составитъ для издателя большой разницы въ сравненіи съ общимъ расходомъ на изданіе, а въ цѣнѣ экземпляра такая добавочная плата не окажется значительною. Положимъ, автору заплачена тысяча франковъ, а печатается 4 т. экз.; это составитъ 10 коп. на экземпляръ, даже при столь высокомъ вознагражденіи.

Премія авторамъ наиболѣе будетъ чувствительна для собственниковъ такихъ нашихъ повременныхъ изданій, которыя выписываются, главнымъ образомъ, изъ-за прилагаемыхъ къ нимъ книгъ переводныхъ романовъ, и для спеціальныхъ «собраній» переводныхъ беллетристическихъ произведеній. Для подобныхъ изданій было очень удобно приманивать публику громкими именами иностранныхъ авторовъ, платя ничтожныя деньги за русскій переводъ ихъ: 15, даже 10 р. съ листа. Такимъ образомъ, новый романъ Золя въ 15 листовъ имъ обходится всего въ 150, много, если въ 225 руб. Когда же придется платить и автору, да еще вдвое больше, чѣмъ переводчику, то это составитъ такой гонораръ, за который издателю можно будетъ пріобрѣтать и русскій, конечно, недорогой литературный товаръ. Сказать правду, нѣтъ серьезнаго повода обезпечивать упомянутымъ изданіямъ барыши, основанные на почти безплатномъ пріобрѣтеніи рукописей. Значительная часть издаваемыхъ такимъ образомъ у насъ переводныхъ романовъ представляетъ собой просто макулатуру.

Обращаясь къ интересамъ самихъ переводчиковъ, мы замѣтимъ, что на нихъ нисколько не отразится самая премія, которая бы уплачивалась иностраннымъ авторамъ. Журналы, которые заботятся о достоинствѣ помѣщаемыхъ ими переводовъ, платятъ за нихъ по 20—25 руб. съ листа. Но такихъ, хорошихъ переводчиковъ немного. Масса же лицъ, живущихъ переводнымъ трудомъ, составляется изъ переводчиковъ посредственныхъ, работающихъ для изданій, которыя живутъ приложеніями, составляемыми преимущественно изъ переводной беллетристики. Цѣна за трудъ этихъ переводчиковъ сбита конкуренціею между ними до минимума, и уже не могла бы упасть отъ преміи авторамъ. Если издателю придется платить автору вдвое, даже и въ пять разъ дороже, чѣмъ переводчику, то не можетъ же онъ этого вычесть изъ гонорара переводчику.

Но тутъ представляется другая, болѣе важная сторона вопроса, заключающаяся въ самой постановкѣ переводнаго труда. Въ настоящее время каждый издатель и нѣсколько издателей въ одно время могутъ свободно избрать романъ для перевода и поручить этотъ трудъ постояннымъ

своимъ переводчикамъ. Но, сверхъ того, масса переводчиковъ, состоящихъ главнымъ образомъ не изъ профессіональныхъ литературныхъ работниковъ, но изъ студентовъ, молодыхъ чиновниковъ, курсистокъ, женъ и сестеръ литераторовъ, сама постоянно слѣдитъ за литературными новинками, просматриваетъ библіографическія объявленія, отчасти выписываетъ на свои скудныя средства нѣсколько иностранныхъ журналовъ. На всякое новое произведеніе автора извѣстнаго набрасываются нѣсколько переводчиковъ и работаютъ взапуски, чтобы окончить ранѣе другихъ и предложить готовый переводъ какому-нибудь издателю. Такимъ тяжелымъ и крайне необезпеченнымъ заработкамъ живутъ. однако, многіе труженники, которыхъ подчиненіе права перевода—согласію иностранныхъ авторовъ лишило бы и свободы выбора, и свободы труда. Сноситься сами съ авторами, а тѣмъ болѣе платить имъ они не могутъ. Да для инициативы самихъ переводчиковъ не останется и мѣста. Если изданіе перевода будетъ обусловлено испрошеніемъ разрѣшенія автора, то все дѣло устроится на монопольно-коммерческомъ основаніи. Гг. Золя, Бурже, Онэ и проч., вмѣсто того, чтобы возиться десятки разъ съ десятками переводчиковъ, продадутъ исключительное право на переводъ своихъ произведеній въ Россіи, каждый—тому изъ нашихъ книгопродавцевъ, который ему предложитъ за это бо́льшую цѣну съ листа. Авторы же менѣе извѣстные будутъ продавать свое право одному книгопродавцу при выходѣ каждой отдѣльной книги.

Что затѣмъ издатели, обязанные платить гонораръ иностраннымъ авторамъ, не уменьшатъ еще нынѣшняго, ничтожнаго вознагражденія переводчикамъ—это вполнѣ вѣроятно. Но вѣроятно ли, чтобы они, наоборотъ, изъ одной заботливости о достоинствѣ переводовъ, стали платить переводчикамъ дороже, чѣмъ теперь, когда придется прежде всего уплачивать значительныя деньги авторамъ? Едва ли. Разсчетъ на то, что монополія улучшитъ качество продукта рѣдко оправдывался; чаще случалось, напротивъ, что въ силу своей монополіи, предприниматель или торговецъ старался нажить на самомъ качествѣ продукта. Ожидать, что иностранные авторы возьмутъ дешево за свои разрѣшенія едва ли можно, такъ какъ переводятся-то именно новинки и притомъ авторовъ наиболѣе извѣстныхъ. Если-бы пришлось заплатить г. Золя тысячу рублей за право издать русскій переводъ новаго его романа, то издателю, конечно, не стоило-бы вычесть за это 25 р. изъ тѣхъ 225 р., которые онъ платитъ за переводъ 15 листовъ. Но почему же онъ еще прибавилъ бы переводчику напр. лишнихъ 50 р. (поднявъ плату съ 15 до 25 р.), когда общая издержка изданія увеличилась на 1000 рублей?

Эти соображенія и побуждаютъ насъ предложить на обсужденіе мысль объ *условномъ* присоединеніи къ бернской конвенціи. Мы можемъ къ ней присоединиться по всѣмъ пунктамъ, исключая того, который ставитъ изданіе перевода въ зависимость отъ разрѣшенія автора. Но въ виду того, что даже и вполнѣ приличное вознагражденіе авторамъ едва ли

могло бы повести къ ощутительному вздорожанію переводныхъ книгъ, мы полагаемъ, что можно установить премію въ пользу иностранныхъ авторовъ за издаваемые въ Россіи переводы—въ равномъ для всѣхъ размѣрѣ, *безъ испрошенія разрѣшенія авторовъ*, безъ монопольной запродажи имъ права на переводы, но съ сохраненіямъ полной свободы выбора переводовъ и переводнаго труда и съ устройствомъ въ Петербургѣ не иностраннаго агентства, а русскаго бюро для сбора авторскихъ премій и охраненія права авторовъ на премію.

Мы предполагаемъ такую премію въ равномъ размѣрѣ потому, что избираются для перевода именно новѣйшія произведенія, беллетристическія и научныя, наиболѣе извѣстныхъ авторовъ. А мы не видимъ нужды закабалять все русское переводное дѣло въ монополію для того только, чтобы г. Золя получалъ *больше*, чѣмъ Бурже; достаточно, если первый получитъ столько же, сколько и второй. Для примѣра, допустимъ, что общая для всѣхъ премія авторамъ установлена въ 10 процентовъ съ самаго высокаго гонорара—съ 500 рублей за листъ въ 16 страницъ *in octavo*. Предположимъ, что извѣстный французскій авторъ продаетъ французскому издателю свой романъ въ 15 листовъ за сумму 18750 фр., что̀ составляетъ около 7500 рублей. И вотъ, передъ изданіемъ каждаго русскаго перевода (а ихъ можетъ быть нѣсколько, такъ какъ они остались бы свободными) русскій издатель вносилъ бы для автора, въ русское бюро въ Петербургѣ, за право на переводъ романа въ 15 листовъ 750 рублей, т. е. по 50 руб. съ листа *in octavo* русскаго текста. Это все-таки составляло бы вдвое противъ того, что получаютъ у насъ самые лучшіе переводчики, а между тѣмъ переводное дѣло осталось бы совершенно свободнымъ. За свои услуги и на свои расходы бюро взимало бы съ издателей по одной копѣйкѣ съ рубля въ цѣнѣ экземпляра и этого было-бы совершенно достаточно. А то самъ г. Золя жаловался, что изъ вознагражденія за право изданія его романовъ въ Соединенныхъ Штатахъ онъ долженъ былъ заплатить агенту 25%. И при равномъ размѣрѣ преміи г. Золя можетъ получить отъ насъ все-таки гораздо больше, чѣмъ г. Буржѐ. Въ письмѣ къ «Temps» онъ говорилъ, что «Débâcle» вышла въ 12 русскихъ переводахъ; въ такомъ случаѣ, и при предлагаемой нами системѣ вознагражденія, онъ получилъ бы изъ Россіи, за право переводовъ одного романа, по 750 рублей отъ каждаго изъ 12 издателей, т. е. 9000 рублей. Неужели этого мало?

Если-бы наша мысль была принята, то получились-бы слѣдующіе результаты: 1) иностранные авторы не имѣли-бы болѣе права жаловаться, что мы пользуемся ихъ трудами въ переводномъ видѣ безъ всякой для нихъ пользы и 2) отъ переводнаго дѣла были-бы все-таки устранены коммерческое посредничество—барышничество, стоющее весьма дорого, и монополизація труда. Само собою разумѣется, что право на перепечатку переводовъ, уже изданныхъ, осталось-бы за прежними издателями. Сверхъ того, такъ какъ до заключенія какой-либо конвенціи представляется необ-

ходимость ввести соотвѣтственныя измѣненія въ наши узаконенія относительно литературной, художественной и музыкальной собственности, то при этихъ измѣненіяхъ, слѣдовало-бы установить право на ту-же премію съ переводовъ и для тѣхъ иноязычныхъ авторовъ,которые напечатали или будутъ печатать свои сочиненія—въ предѣлахъ Россіи. Понятно, что на нихъ должно быть распространено то право, которое было-бы предоставлено авторамъ иностраннымъ, такъ какъ, если за право перевода сочиненія нѣмецкаго, изданнаго въ Лейпцигѣ и польскаго, изданнаго въ Краковѣ, будетъ уплачиваться премія, то нельзя-же было-бы лишить ея сочиненія на тѣхъ-же языкахъ, вышедшія въ Ригѣ и въ Варшавѣ.

Въ прошломъ мѣсяцѣ минула треть вѣка со дня отмѣны въ Россіи крѣпостного права. Дѣло 19 февраля 1861 года было необходимымъ актомъ справедливости, высокой государственной мудрости, великимъ праздникомъ, котораго долго ждалъ народъ, освобожденіемъ не только народа отъ рабства, но и общественной совѣсти отъ лежавшаго на ней бремени. Совершилось дѣло, къ которому давно стремились душой лучшіе русскіе люди, рабство пало по мановенію Царя, какъ о томъ мечталъ Пушкинъ. Изъ тѣхъ милліоновъ людей, которые тогда «осѣнили себя крестнымъ знаменемъ», привѣтствуя свободу, по призыву Освободителя, старики отошли въ вѣчность, молодые состарѣлись, дѣти давно возмужали. Новое поколѣніе въ деревняхъ родилось свободнымъ. Но 19 февраля осталось и навсегда останется днемъ свѣтлымъ и дорогимъ для всего русскаго народа.

Переходя къ фактамъ и вопросамъ, относящимся къ области чисто-хозяйственной, мы должны, прежде всего, упомянуть объ опубликованномъ въ концѣ января законѣ 14 декабря о неотчуждаемости крестьянской надѣльной земли. Вопросъ этотъ, съ точки зрѣнія общихъ принциповъ, былъ уже изложенъ нами во время разсмотрѣніи самого проекта въ государственномъ совѣтѣ. Теперь, когда сталъ извѣстенъ полный текстъ новаго закона, намъ остается только занести въ обзоръ русской жизни главныя черты этой важной законодательной мѣры. Отчужденіе надѣльной земли воспрещено новымъ узаконеніемъ безусловно только въ одномъ видѣ, а именно—въ видѣ отдачи надѣльной земли въ залогъ частнымъ лицамъ и частнымъ учрежденіямъ, хотя-бы даже выкупная ссуда по этой замлѣ и была погашена, а также обращенія на надѣльную землю взысканій по суду. Исключеніе сдѣлано, однако, относительно тѣхъ надѣльныхъ земель, которыя уже были заложены до изданія новаго закона; тѣ земли могутъ быть продаваемы на удовлетвореніе взысканій.

Всѣ прочіе виды отчужденія надѣльной земли не воспрещены безусловно, но обставлены новыми ограниченіями. Цѣлыя сельскія общества могутъ продавать надѣльную землю не иначе, какъ по постановленію двухъ третей голосовъ схода и съ разрѣшенія губернскаго присутствія; а если стоимость участка превышаетъ 500 р., то требуется согласіе трехъ министерствъ. Участки домохозяевъ, владѣющихъ землею на подворномъ правѣ,

могутъ быть отчуждаемы добровольно или по взысканію, только во владѣніе лицъ приписанныхъ или приписывающихся къ сельскимъ обществамъ. Такимъ образомъ, на надѣльные участки подворнаго владѣнія во всей Россіи распространено правило, установленное для крестьянъ въ губерніяхъ Царства Польскаго самымъ положеніемъ 1864 года. Это ограниченіе не устраняетъ, впрочемъ, скупа участковъ не только богатыми односельчанами, но и посторонними лицами, которыя захотятъ приписаться къ сельскому обществу.

То же замѣчаніе относится и къ отмѣнѣ новымъ закономъ второй части извѣстной ст. 165 «положенія» 1861 г., которая обязывала сельское общество выдѣлять въ полную собственность надѣльный участокъ по которому ссуда погашена вполнѣ. Нынѣшній законъ допускаетъ выдѣлъ досрочно выкупленнаго участка не иначе, какъ съ согласія общества, и на условіяхъ, указанныхъ въ приговорѣ подлежащаго сельскаго схода. Положимъ, здѣсь стѣсненіе представляется уже не одной формальностью, такъ какъ сходъ, конечно, воспользуется своимъ правомъ для того, чтобы, сверхъ уплаты остальной части ссуды, обязать выкупающаго еще къ вознагражденію лицъ, раньше его пользовавшихся тѣмъ участкомъ и уплатившихъ за него часть ссуды, или чтобы получить какую-либо выгоду для общества. Но кулаку все-таки остается возможность скупать надѣлы этимъ путемъ, заручаясь согласіемъ общества за большее или меньшее вознагражденіе.

Вполнѣ естественно, что теперь, когда со времени положенія о выкупѣ истекли 33 года, законодательная власть не рѣшилась безусловно воспретить всѣ виды отчужденія надѣльной земли. Но новый законъ все-таки имѣетъ весьма большое значеніе, какъ въ отношеніи практическомъ—обставляя отчужденіе новыми стѣсненіями — такъ и въ смыслѣ принципіальномъ, выражая собою стремленіе законодательства къ охраненію основной мысли надѣла—права «душъ» на землю, противъ предоставленія надѣльной земли свободному расхищенію ея капиталомъ.

Обсужденіе другого весьма важнаго экономическо-законодательнаго событія, а именно, послѣдовавшаго новаго таможеннаго соглашенія между Россіею и Германіею, мы должны отложить до полнаго его завершенія, т. е. до принятія русско-германскаго договора рейхстагомъ и обмѣна ратифакацій, такъ какъ только тогда достаточно выяснятся всѣ стороны этого дѣла.

То недоразумѣніе въ нашихъ газетахъ относительно податныхъ взысканій, о которомъ мы упоминали въ предшествующемъ обзорѣ, разъяснилось вполнѣ уже послѣ поступленія нашей статьи въ печать. Министерство финансовъ объявило, что никакого циркуляра съ цѣлью «ослабить взысканіе податей съ сельскаго населенія» имъ издано не было. Такимъ образомъ, извѣстіе «Биржевыхъ Вѣдомостей» было невѣрно, а «Гражданинъ» оказался правымъ противъ «Новаго Времени». Мы допускали, что извѣстіе биржевой газеты могло быть неточно и замѣтили, что финансовое вѣдом-

ство, во всякомъ случаѣ, не могло уплату сдѣлать «какъ бы добровольною», по выраженію той же газеты. Въ заключеніе сообщенія, напечатаннаго въ «Прав. Вѣстникѣ», было сказано: «мѣры, конечно, не могутъ заключаться въ томъ, чтобы ослаблять поступленіе по закону слѣдуемыхъ платежей, но въ томъ, чтобы платежи эти, по времени и системѣ ихъ взысканія, не ослабляли хозяйственныхъ силъ населенія».

Въ такомъ именно смыслѣ мы и разсматривали экономическія неудобства, представляемыя такъ называемымъ «выколачиваньемъ» податей, практиковавшимся вполнѣ реально, вопреки благодушно-отрицательному разъясненію «Гражданина». Но мы были правы и въ томъ предположеніи, что оба вѣдомства, которыхъ касается взысканіе податей, могли признать необходимость нѣкотораго смягченія въ механически-огульной строгости этого взысканія. Въ оффиціальномъ сообщеніи сказано по этому поводу слѣдующее: «въ послѣдніе годы сказанными министерствами вообще было обращаемо особое вниманіе на то, чтобы подати взыскивались въ соотвѣтствіи съ платежною способностью населенія, такъ, чтобы, съ одной стороны, неукоснительно взыскивались платежи съ плательщиковъ, способныхъ внести таковые, а съ другой, допускались снисхожденіе и разсрочки для плательщиковъ, которые не могутъ внести безнедоимочно слѣдующіе съ нихъ поступленія».

Въ то же время, въ газетахъ появились свѣдѣнія о работахъ комиссіи изъ членовъ отъ обоихъ упомянутыхъ вѣдомствъ и отъ министерства государственныхъ имуществъ, съ участіемъ нѣсколькихъ предводителей дворянства и предсѣдателей земскихъ управъ, по пересмотру узаконеній о взиманіи окладныхъ сборовъ. Изъ этихъ свѣдѣній уясняется то обстоятельство, которое подало поводъ къ невѣрному извѣстію «Бирж. Вѣдомостей». Министерство финансовъ, дѣйствительно, обращалось къ казеннымъ палатамъ, но не теперь, а весною прошлаго года и не объ ослабленіи мѣръ взысканія податей, но съ предложеніемъ о представленіи палатами ихъ соображеній о способахъ взиманія окладныхъ сборовъ; отъ податныхъ же инспекторовъ министерство затребовало свѣдѣнія о взысканіи этихъ сборовъ и выкупныхъ платежей за пятилѣтіе 1887—92 гг.

Постановленій самой комиссіи мы еще не знаемъ, но воспользуемся заявленными въ ней отзывами. Огромное большинство управляющихъ казенными палатами (29 противъ 8) высказалось за сохраненіе круговой поруки. Этого и слѣдовало ожидать отъ лицъ, завѣдующихъ поступленіемъ сборовъ; понятно, что финансовое соображеніе, для управляющихъ казенными палатами, должно было стоять впереди соображенія экономическаго. Отмѣна же круговой поруки, которая издавна считалась единственной гарантіей исправности въ уплатѣ податей, представляла бы шагъ смѣлый, за который большинство служащихъ обыкновенно не высказывается. Однако, недоимки въ податяхъ и по продовольственнымъ ссудамъ у насъ всегда бывали значительны, несмотря на существованіе круговой поруки, а вслѣдствіе послѣднихъ неурожаевъ, онѣ накопились

въ нуждавшихся губерніяхъ на такія суммы, что круговая порука не представляетъ уже ровно никакой гарантіи въ ихъ пополненіи.

Мы придаемъ большее значеніе тому факту, что изъ 37 начальниковъ губернскихъ органовъ министерства финансовъ, нашлись однако 8, которые рѣшились высказаться противъ круговой поруки, на томъ основаніи, что при ней «плательщикъ сравнительно состоятельный и исправный является отвѣтнымъ не только за несостоятельнаго, но и за просто неисправнаго, и потому вполнѣ возможно ожидать, что круговая порука сведется лишь къ общему затягиванію платежей, съ безконечными пересудами міра. Сознаніе, при отсутствіи круговой поруки, что міръ не станетъ платить за неисправнаго и, что каждый домохозяинъ лично отвѣчаетъ своимъ имуществомъ, предупредитъ затяжки платежей, накопленіе недоимокъ и различныя столкновенія на сельскомъ сходѣ». Большинство же управляющихъ, склоняясь въ пользу сохраненія круговой поруки, указывало на нѣкоторыя мѣры «для обезпеченія болѣе правильнаго ея примѣненія». Но изъ этихъ мѣръ нѣкоторыя не относятся къ самой круговой порукѣ, какъ пониженіе выкупныхъ платежей въ мѣстностяхъ, «гдѣ сборы превышаютъ доходность земли», и раскладка на всѣ общества недоимки, вслѣдствіе пожара, наводненія и т. п. Нельзя не удивляться, что тѣ начальники губернскихъ финансовыхъ органовъ, которые знаютъ въ своихъ округахъ мѣстности, гдѣ одни прямые сборы превышаютъ доходность земли, не доводили объ этомъ до свѣдѣнія министерства раньше, не дожидаясь его приглашенія высказаться по вопросу о круговой порукѣ.

Дѣло общественнаго призрѣнія у насъ, какъ извѣстно, предоставлено земствамъ, включая сюда города, и сельскимъ обществамъ. Правительственными учрежденіями этого рода являются учрежденія Императрицы Маріи, входящія въ особое вѣдомство, которое, однако, имѣетъ еще характеръ наполовину учебный, такъ какъ въ немъ находятся не только дома призрѣнія для покинутыхъ дѣтей («воспитательные») и нѣкоторые пріюты, но и женскіе институты. Подъ ближайшимъ покровительствомъ правительственной же власти состоятъ нѣкоторыя спеціально-благотворительныя учрежденія, имѣющія составъ обществъ, какъ общества Краснаго и Бѣлаго креста, Императорское человѣколюбивое и др.

Затѣмъ, городскія больницы и богадѣльни состоятъ въ вѣдѣніи городскихъ думъ, а тѣ, которыя прежде находились въ вѣдѣніи приказовъ общественнаго призрѣнія, перешли къ земскимъ учрежденіямъ; но земства основали вновь большую часть существующихъ нынѣ въ уѣздахъ больницъ и домовъ умалишенныхъ. Наконецъ, въ деревняхъ призрѣніе убогихъ, сиротъ и безумныхъ возложено на общества и волости, но не имѣетъ никакого устройства, а производится, такъ сказать, домашнимъ образомъ и находится въ положеніи крайне неудовлетворительномъ.

Нельзя не привѣтствовать предстоящаго законодательнаго почина къ приданію дѣлу общественнаго призрѣнія по всей Россіи такой организаціи, которая была бы въ состояніи дѣйствительнѣе, чѣмъ было доселѣ,

обезпечивать помощь всякому, кто самъ лишенъ возможности зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба. Назначена была особая комиссія, подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаря К. К. Грота, для пересмотра дѣйствующихъ законовъ о призрѣніи. Комиссія эта поручила отдѣлу изъ своихъ членовъ начертать проектъ основаній для общей постановки въ государствѣ дѣла призрѣнія, и мы находимъ нынѣ въ газетахъ довольно обстоятельныя свѣдѣнія о составленномъ проектѣ, поступившемъ теперь на обсужденіе полнаго присутствія комиссіи К. К. Грота.

Проектъ задуманъ широко и не ограничивается, какъ то случается иногда, только созданіемъ разныхъ должностей. Въ основаніе его принятъ именно принципъ, что «право на вспомоществованіе должно быть признано за каждымъ нуждающимся въ немъ жителемъ въ государствѣ». Для дѣйствительнаго обезпеченія призрѣнія, въ проектѣ предположены не только обязательное ассигнованіе средствъ земствами и доходы съ пожертвованныхъ капиталовъ и имуществъ, но и образованіе особаго «фонда государственнаго призрѣнія» посредствомъ «установленія равномѣрнаго сбора со всего населенія (цитируемъ по изложенію проекта въ «Новостяхъ»). Самая же организація проектирована въ видѣ попечительствъ. Сельскія и городскія участковыя попечительства разсматривали бы право на помощь и предоставляли бы ее въ разныхъ видахъ, какъ-то: выдачею денегъ, снабженіемъ пищею, предметами одежды, врачебнымъ пособіемъ, устройствомъ осиротѣвшихъ или покинутыхъ дѣтей, призрѣніемъ опасныхъ или нуждающихся въ особомъ уходѣ душевно-больныхъ. Затѣмъ, попечительства уѣздныя имѣютъ представлять земскому собранію смѣту и распредѣляютъ средства между участковыми попечительствами. Попечительствамъ губернскимъ имѣетъ принадлежать надзоръ за состояніемъ дѣла призрѣнія въ губерніи и завѣдываніе губернскими для него учрежденіями. Эти губернскія попечительства должны представлять ежегодные отчеты центральному управленію.

О составѣ и положеніи этого высшаго управленія мы не имѣемъ свѣдѣній, но полагаемъ, что, въ согласіи съ законами, которыми мѣстное дѣло призрѣнія признается отраслью дѣятельности земской и сельско-общественной, роль центральнаго управленія должна бы заключаться въ ходатайствѣ передъ высшей властью по нуждамъ призрѣнія, въ представительствѣ этого дѣла среди другихъ высшихъ органовъ и въ завѣдываніи тѣми вспомогательными средствами, какія назначались бы на дѣло призрѣнія изъ государственнаго казначейства. Такъ, въ Англіи интересы призрѣнія, среди высшихъ правительственныхъ органовъ, представляются центральнымъ учрежденіемъ Poor-Law Board.

Если главное назначеніе государства опредѣлить такъ, что оно есть союзъ гражданъ для защиты отъ насилій и бѣдствій и для взаимопомощи, то великое дѣло призрѣнія представится одной изъ первостепенныхъ государственныхъ задачъ. Можно сказать, что значительный дальнѣйшій шагъ впередъ будетъ совершенъ человѣчествомъ только тогда, когда въ

каждомъ государствѣ соединенный бюджетъ народнаго образованія и общественнаго призрѣнія займетъ въ росписи то мѣсто, которое нынѣ принадлежитъ расходамъ на вооруженныя силы. При этомъ условіи, могутъ осуществиться всеобщее обязательное и даровое обученіе, воспитаніе всѣхъ оставленныхъ дѣтей и дѣйствительное обезпеченіе помощью всѣхъ неспособныхъ къ прокормленію себя. Такой взглядъ на назначеніе государства, какъ союза для защиты отъ насилій и для помощи нуждающимся, вовсе не противорѣчитъ принципамъ возможно бо́льшаго простора личной дѣятельности и неприкосновенности личности. Достаточно напомнить, что, страна наиболѣе либеральныхъ учрежденій, Англія первая ввела у себя огромное обложеніе въ пользу бѣдныхъ и первая же учредила фабричную инспекцію, съ законами противъ непосильной работы малолѣтнихъ.

Ежегодный расходъ собственно на призрѣніе (Poor-Relief, включая содержаніе рабочихъ домовъ, workhouses) въ Соединенномъ королевствѣ превышаетъ сумму 100 милл. рублей на 35 милл. душъ населенія; соотвѣтственный расходъ у насъ составилъ бы болѣе 300 милл. рублей. Законы о помощи бѣднымъ и обложеніи для этой цѣли существуютъ въ Англіи уже почти три вѣка и получили такое значеніе, что на нихъ, собственно говоря, основалась вся организація мѣстнаго управленія (local government), котораго высшій представитель (president of the Local Government Board) является однимъ изъ высшихъ государственныхъ сановниковъ и иногда, смотря по политическому значенію лица, входилъ даже въ составъ кабинета. Положимъ, высокое обложеніе въ пользу неимущихъ и первостепенное значеніе организаціи призрѣнія въ мѣстномъ управленіи явились въ Англіи какъ результатъ обезземеленія сельскаго населенія. Но въ этомъ смыслѣ могутъ вѣдь быть также различныя мнѣнія и о томъ, какъ слѣдовало смотрѣть на участь крѣпостныхъ, которыхъ можно было переселять и продавать въ одиночку. Во всякомъ случаѣ, такой помощи неимущимъ, какая была создана въ Англіи, пока не существуетъ нигдѣ.

Органы по призрѣнію, по проекту названной выше подкомиссіи, нѣсколько напоминаютъ англійскіе приходскіе (vestries), окружные (unions) союзы и центральное управленіе (Poor-Law Board), имѣющее уже чисто правительственный характеръ и уполномоченное къ надзору за дѣятельностью органовъ мѣстныхъ. Но въ нашемъ проектѣ полагается еще одна инстанція — губернская; во всемъ остальномъ также существенное различіе. По проекту, *уѣздное* попечительство должно имѣть составъ преимущественно земскій: уѣздный предводитель дворянства, а въ его отсутствіе предсѣдатель уѣздной управы или голова, по одному представителю отъ уѣздной и городской управъ и по два гласныхъ отъ уѣзда и города; затѣмъ священникъ, исправникъ и врачъ, по приглашенію предводителя, который состоитъ предсѣдателемъ. Эта-то вторая инстанція назначаетъ членовъ первой, а именно избираетъ въ участковые

попечительства: ихъ предсѣдателей и кандидатовъ, 3 членовъ изъ землевладѣльцовъ и 1 учителя; остальные члены участковаго попечительства: священникъ, волостной старшина, врачъ, не болѣе 3 выборныхъ отъ волостного схода, наконецъ, земскій начальникъ, считающійся почетнымъ членомъ.

Хотя такое избраніе сверху внизъ и представляется нѣсколько страннымъ, но оно вполнѣ оправдывается тѣмъ обстоятельствомъ, что наша волость—сословная, а не земская, а проектъ хочетъ, чтобы попечительства о призрѣніи находились въ связи съ земствомъ, въ вѣдѣніи котораго состоитъ призрѣніе и которое даетъ главныя средства на это дѣло. Губернское же попечительство состояло бы изъ лицъ, составляющихъ губернскую земскую управу, головы, священника и предсѣдателей уѣздныхъ попечительствъ. Предсѣдателемъ здѣсь, стало быть, будетъ предсѣдатель губернской земской управы.

Организація эта отличается отъ существующей въ Англіи тѣмъ, что тамъ приходскія попечительства избираются приходомъ, а окружные составляются изъ «опекуновъ» (guardians), избираемыхъ по одному отъ каждаго прихода. Вполнѣ сочувственны, какъ самая формулировка основного принципа проекта, такъ и стремленіе его поставить организацію призрѣнія въ тѣсной связи съ земствомъ. Надо пожелать, чтобы и при окончательномъ обсужденіи проекта имѣлось въ виду содѣйствіе земству центральнымъ управленіемъ въ дѣлѣ призрѣнія, а не изъятіе изъ рукъ земства этого дѣла, завѣдываніе которымъ предоставлено ему «положеніемъ» о земскихъ учрежденіяхъ.

Иной характеръ имѣетъ проектъ новой организаціи дѣла народнаго продовольствія, которое тѣмъ же «положеніемъ» предоставлено было земству. Этотъ проектъ, выработанный комиссіею, состоявшею подъ предсѣдательствомъ сенатора В. К. Плеве, предполагаетъ также учрежденіе уѣздныхъ и губернскихъ присутствій смѣшаннаго состава, какъ и проектъ, только что нами разсмотрѣнный, но уже съ преобладаніемъ въ этихъ присутствіяхъ элемента административнаго. Такъ, уѣздное присутствіе по продовольственной части должно состоять изъ предводителя (предсѣдателя) уѣздной земской управы, исправника, податного инспектора и всѣхъ земскихъ начальниковъ, а губернское, подъ предсѣдательствомъ губернатора, изъ вице-губернатора, управляющихъ казенною палатой и округомъ государственныхъ имуществъ, съ непремѣннымъ членомъ, затѣмъ изъ предводителя и губернской земской управы. Высшее управленіе всѣмъ дѣломъ обезпеченія народнаго продовольствія принадлежало бы министерству внутреннихъ дѣлъ.

Такимъ образомъ, эта часть земской дѣятельности перешла бы подъ болѣе близкій контроль и даже подъ руководство администраціи. Не зная мотивовъ проекта, мы затрудняемся найти тѣ соображенія, которыя оправдывали бы необходимость такой перемѣны. Правда, во время бывшаго неурожая, въ нуждавшихся губерніяхъ, оказаніемъ продоволь-

ственной помощи занимались одновременно и земства, и администраціи. Необходимость борьбы съ голодомъ фактически вызвала образованіе распорядительныхъ присутствій и исполнительныхъ комиссій смѣшаннаго состава. Но то былъ именно моментъ борьбы съ народнымъ бѣдствіемъ. Въ обыкновенное же время обезпеченіе народнаго продовольствія сводится на правильную засыпку магазиновъ и наблюденіе за сохранностью продовольственныхъ запасовъ и капиталовъ. Для этого едва ли необходимо постоянное существованіе проектируемой сложной организаціи.

Ни самый неурожай, ни дѣйствія земствъ, непосредственно ему предшествовавшія или его сопровождавшія, не могутъ составлять поводовъ для ограниченія самостоятельной дѣятельности земствъ по этой части. Земства во-время предупреждали о серьезныхъ размѣрахъ, какіе могло принять бѣдствіе, земства исчислили высоту ссудъ, о которыхъ ходатайствовали безъ всякаго, какъ-то впослѣдствіи оказалось, преувеличенія. Если произошло въ данномъ случаѣ нѣкоторое промедленіе, то только по той именно причинѣ, что земскія ходатайства первоначально не были признаны достаточно убѣдительными, и что ссуды были ассигнованы сперва въ гораздо меньшемъ размѣрѣ. Лишь впослѣдствіи, когда серьезность бѣдствія стала очевидною для всѣхъ, помощь явилась въ еще бо́льшемъ размѣрѣ противъ первыхъ исчисленій земства, причемъ хозяйственный департаментъ получилъ новаго начальника. Нельзя также не признать, что и самая операція земствъ по закупкѣ, развозкѣ и распредѣленіи хлѣба для голодающихъ, за немногими исключеніями, оказалась вполнѣ успѣшною. Итакъ, въ прежней дѣятельности земствъ по продовольственной части нѣтъ ничего такого, что требовало бы измѣненія въ самомъ завѣдываніи ею.

Слабая сторона представлялась, правда, въ затратѣ части губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ на другія нужды уѣздовъ, причемъ на уѣздахъ остаются долги губернскимъ земствамъ. Но это относится къ общему вопросу и слабости земскихъ финансовъ, вслѣдствіе неисправнаго взиманія земскихъ сборовъ и ограниченій въ самомъ правѣ земскаго обложенія. Да теперь, послѣ громадной ссуды, выданной крестьянамъ во время неурожая, долги продовольственнымъ капиталамъ, оставшіеся за уѣздными земствами, уже теряютъ свое значеніе. Вѣдь и казна не можетъ же надѣяться на уплату ей полностью всей неурожайной ссуды. Наконецъ, если то признается нужнымъ, можно требовать, чтобы продовольственные запасы были всегда на лицо въ зернѣ, а не въ деньгахъ. Но для этого достаточно одного постановленія закона, и нѣтъ никакой необходимости въ описанномъ выше особомъ, административно-земскомъ устройствѣ.

Въ прошлый разъ, по поводу бюджета, мы замѣтили, что государственный починъ въ промышленности можетъ оказаться особенно плодотворнымъ, если-бы въ дѣлѣ промышленномъ починъ этотъ дѣйствовалъ въ томъ-же направленіи, какое онъ принялъ у насъ въ дѣлѣ земельномъ,

гдѣ трудъ освобожденъ и трудящійся сталъ владѣльцемъ продуктовъ своего труда. Одной изъ важнѣйшихъ задачъ для того развитія промышленнаго кредита, о которомъ упоминалъ г. министръ финансовъ, у насъ, въ Россіи, должна-бы представляться поддержка государственнымъ кредитомъ производства кустарнаго. Эта поддержка не можетъ быть непосредственная, такъ какъ центральному учрежденію слишкомъ трудно слѣдить за положеніемъ дѣлъ въ кустарныхъ артеляхъ въ далекихъ посадахъ, а тѣмъ болѣе—въ деревняхъ, занимающихся промышленной работой, дополнительно къ земледѣлію. Посредствующими при этомъ органами, обезпечивающими затраты казны и наблюдающими за употребленіемъ и возвратомъ ссудъ кустарямъ, могутъ быть особые «кустарные банки», учреждаемые земствами. Мы сейчасъ скажемъ о предпріятіи въ этомъ смыслѣ земства пермскаго. Но сперва мы должны остановиться на вопросѣ: слѣдуетъ-ли государству оказывать вообще помощь кустарничеству?

Указываютъ на общій фактъ, что промышленное производство болѣе и болѣе капитализируется, что ремесла упраздняются фабриками, а мелкія фабрики постепенно исчезаютъ, уступая мѣсто огромнымъ предпріятіямъ, основаннымъ на акціонерномъ началѣ, располагающимъ наиболѣе усовершенствованными машинами и доводящимъ до мелкой спеціализаціи трудъ каждаго разряда рабочихъ. Если такова перспектива для всей промышленности, то стóитъ-ли поддерживать кустарничество, эту архаическую организацію труда, по возможности самостоятельнаго, эти производства, употребляющія примитивные пріемы, довольствующіяся весьма несовершенными орудіями?

Мы не хотимъ устранять этого практическаго вопроса теоретической ссылкой на то, что государство обязано поддерживать свободный промышленный трудъ, какъ оно обезпечило надѣломъ трудъ земельный, что при помощи государства, сильнѣйшаго изъ капиталистовъ, могло-бы быть предупреждено окончательное закабаленіе безъименнымъ капиталомъ живой личности рабочаго, крупнымъ капиталомъ—мелкихъ хозяйственныхъ производствъ. Напротивъ, мы нарочно допустимъ, что упомянутая перспектива постояннаго, рокового возрастанія капитализаціи въ промышленномъ производствѣ неустранима. Но и при такой постановкѣ вопроса, вопреки нашимъ симпатіямъ и надеждамъ, мы все-таки полагаемъ, что государству у насъ, въ Россіи, стоитъ дѣлать затраты для поддержки кустарничества.

Начать съ того, что осуществленіе полной подневольности большому капиталу всякаго промышленнаго труда еще не слишкомъ близко. Изготовленіе часовыхъ частей въ Швейцаріи, игрушечный промыселъ въ Германіи, многія отрасли производства такъ называемыхъ articles de Paris въ самой столицѣ Франціи, приготовленіе искусственныхъ цвѣтовъ, кружевничество, портняжное дѣло и изготовленіе обуви, шитье бѣлья—до сихъ поръ сохраняютъ и на западѣ Европы характеръ не только преимущественно ремесленный, а не фабричный, но отчасти даже—

семейный, самостоятельный. Тѣмъ болѣе въ Россіи такому самостоятельному труду предстоитъ еще не малая будущность, даже въ томъ предположеніи, что окончательная побѣда въ промышленномъ производствѣ непремѣнно будетъ принадлежать конкурренціи посредствомъ величины капитала, а не ассоціаціи личностей, въ артеляхъ и въ самомъ государствѣ.

При разладѣ нашей русской жизни, въ разныхъ отношеніяхъ, съ жизнью Запада, у насъ еще остается большое поле для проявленія успѣшной, хотя мелкой предпріимчивости ремесленной. Если у насъ торговецъ носитъ на лоткѣ товара на пять рублей и сбытомъ его не только кормится самъ, но оплачиваетъ свои подати въ деревнѣ, и даже избу свою въ ней поправляетъ, то почему-же не допустить, что какъ-бы ни было громадно и могущественно капиталистичное производство какого-нибудь Манчестера, но нашъ кустарь еще немножко проживетъ, еще можетъ принести нѣсколько пользы и что, поэтому, стоитъ ему и помочь, такъ чтобы онъ могъ работать не совсѣмъ въ убытокъ, на пользу однихъ растовщиковъ.

Скажутъ намъ: вотъ вы сами признаете русскую самобытность. Дѣйствительно, мы признаемъ, что въ Россіи, точно такъ, какъ и въ другихъ странахъ, есть разныя особыя, самобытныя условія, хотя изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что и въ условіяхъ общихъ, въ вопросахъ права, нравственности или ариѳметики, мы должны выработать какую-то особую самобытность, перекрестивъ этимъ названіемъ просто—застой. Какъ отрицать то самобытное условіе, что въ силу нашего климата, 90 милліоновъ сельскаго люда въ Россіи, въ теченіе пяти мѣсяцевъ, т. е. меньшей половины года, не имѣютъ заработковъ на томъ дѣлѣ, которымъ они заняты, на земледѣліи? Значитъ, они должны уходить на заработки въ иномъ мѣстѣ, на такъ называемые отхожіе промыслы, или пробовать что-нибудь работать на мѣстѣ, не уходя изъ деревень.

Образцомъ такихъ банковъ, которые заслуживали бы поддержки государственнымъ кредитомъ для того, чтобы они могли развивать свои операціи, можетъ служить открывшійся въ январѣ «кустарно-промышленный банкъ пермскаго губернскаго земства». Назначеніе этого банка—въ томъ, чтобы дать дешевый кредитъ тѣмъ кустарнымъ артелямъ, въ которыхъ нѣтъ наемныхъ рабочихъ, и работы исполняютъ сами члены артелей и ихъ семьи, а также и отдѣльнымъ кустарямъ, которые работаютъ сами, при помощи своихъ семей и безъ найма. Выдача ссудъ такимъ кустарямъ, которые держатъ наемныхъ работниковъ, допускается только въ видѣ исключеній, по особымъ постановленіямъ совѣта. Ссуды выдаются на срокъ до 3 лѣтъ, въ размѣрѣ не выше средней стоимости сырыхъ матеріаловъ въ томъ количествѣ, какое требуется для годовой работы. Обезпеченіемъ служатъ: при ссудахъ артелямъ—круговая порука, и при ссудахъ отдѣльнымъ кустарямъ — поручительство двухъ состоятельныхъ хозяевъ. Банку принадлежитъ право наблюдать за ходомъ дѣлъ въ предпріятіяхъ, получившихъ ссуды, и, въ случаѣ разстройства дѣлъ, требовать

досрочнаго возврата ссуды. Банкъ выдаетъ ссуды и на устройство-кустарно-торговыхъ складовъ, подъ отвѣтственностью земства. Основной капиталъ банка составляетъ 10 т. р., а запасный капиталъ образуется отчисленіемъ изъ прибылей. Банку предоставлено принимать вклады и заключать займы, съ разрѣшенія земскаго собранія, на срокъ не болѣе одного года, для усиленія оборотныхъ средствъ; но обязательства по вкладамъ и займамъ, въ совокупности, не должны превышать полуторнаго размѣра цифры капиталовъ.

Организація помощи кустарямъ посредствомъ земскихъ складовъ, которые доставляютъ кустарямъ матеріалы и являются посредниками для продажи издѣлій—имѣется въ нѣсколькихъ губерніяхъ. Этому дѣлу должны помогать и кустарные банки, особенное значеніе которыхъ представляется тѣмъ, что, доставляя кустарямъ дешевый кредитъ, они охраняютъ кустарей отъ порабощенія предпринимателями, которые обыкновенно выходятъ изъ тѣхъ же кустарей. Но много ли можетъ сдѣлать кустарный банкъ, располагающій оборотными средствами въ 20—25 т. рублей? Онъ можетъ оказать большую пользу нѣкоторому числу кустарей, но для того, чтобы охранить самостоятельность всего кустарничества, улучшить и развить кустарные промыслы, необходимо, чтобы такимъ банкамъ оказываема была поддержка государственнымъ кредитомъ. Это представляло бы самый плодотворный видъ того государственнаго промышленнаго кредита, о которомъ упоминалось въ докладѣ, сопровождавшемъ роспись.

КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

А. Критика.

Стихотворенія *В. Л. Величко.* Сборникъ второй. Спб. 1894 г.

Это книжка посвященій. Г. Величко знаетъ, можно сказать, цѣлый свѣтъ, и въ нарядной толпѣ знаменитыхъ и высокопоставленныхъ знакомыхъ этого стихотворца нѣтъ человѣка, которому онъ не съумѣлъ бы сказать пріятнаго поэтическаго слова. Читая эту веселую, забавную книжонку, чувствуешь себя точно на свѣтскомъ балѣ: эполеты, звѣзды, бряцанье шпоръ, декольтированныя дамы — и среди нихъ самъ г. Величко въ щегольскомъ фракѣ, пріятно улыбающійся направо и налѣво, съ лирою въ рукахъ, то подыгрывающій въ тактъ бальному оркестру, то импровизирующій на меланхолическія темы. Всѣ довольны и всѣхъ довольнѣе — самъ поэтъ. Генералы поощрительно похлопываютъ его по плечу, дамы привѣтливо заглядываютъ ему въ глаза, танцующіе кавалеры повторяютъ отдѣльные, пришедшіеся имъ по душѣ стишки. Изъ этой залы молва разнесется по всему городу, захватитъ нѣсколько снисходительныхъ рецензентовъ, дастъ мысль извѣстному фотографу выставить въ витринѣ портретъ героя этого бальнаго торжества — и слава завоевана такъ легко, побѣда, настоящая побѣда. Кто посмѣетъ усомниться въ талантѣ писателя, когда и дамы, и газетные рецензенты, и даже знаменитый фотографъ краснорѣчивыми заявленіями подтвердили его успѣхъ въ обществѣ? Кто не пойметъ, что человѣкъ, вращающійся между лучшими, отборнѣйшими представителями интеллигенціи, имѣетъ всѣ необходимыя духовныя качества и заслуживаетъ самаго почтительнаго къ себѣ отношенія? Не сомнѣвайтесь въ талантѣ г. Величко: есть у него этотъ талантъ — это видно по всему, объ этомъ заявили многія газеты, нѣсколько бойкихъ рецензентовъ, которыхъ не подкупишь ничѣмъ на свѣтѣ, въ этомъ можно убѣдиться, подойдя къ витринѣ извѣстнаго фотографа на Невскомъ проспектѣ. Портреты знаменитыхъ актеровъ, пѣвицъ, юбиляровъ и прославленныхъ, недавнихъ покойниковъ и на томъ же самомъ мѣстѣ—«заштатный врачъ души» (см. стихотвореніе «Врачъ и поэтъ») — Величко, бравый, сіяющій, побѣдоносный.

Различные образы приходятъ сами собою при чтеніи этой великолѣпной книжки. Просматривая стихотворенія г. Величко въ цѣломъ, мы переносимся на балъ. Перелистываемъ страницы, слѣдимъ за мѣняющимися поэтическими цвѣтами и видимъ себя у подножія какой-то лѣстницы, ведущей въ храмъ. Одиннадцать ступеней—и вы у ногъ одного изъ знаменитѣйшихъ жрецовъ нашего времени, въ храмѣ, посвященномъ, какъ стихи г. Мережковскаго, «Невѣдомому Богу»... Извѣстный врачъ Бертенсонъ, краса и столпъ «Русской Мысли» — Гольцевъ, поэтъ «забытыхъ словъ» Жемчужниковъ, профессоръ персидскаго языка В. А. Жуковскій, ученый соловей, возвѣщающій наступленіе петербургской весны — проф. Кайгородовъ, талантливый художникъ Лагоріо, маститый поэтъ Я. Полонскій, редакторъ «Правительственнаго Вѣстника» К. К. Случевскій, любимецъ московской публики князь Сумбатовъ, знаменитый адвокатъ Унковскій, наконецъ, извѣстный романистъ и редакторъ «Живописнаго Обозрѣнія» А. К. Шеллеръ — вотъ одиннадцать лицъ, которымъ г. Величко оказалъ свое вниманіе, сдѣлавъ каждому изъ нихъ по одному стихотворвому посвященію. И всѣ эти посвященія заключены, какъ пасхальныя деревянныя яйца, сидящія другъ въ другѣ, въ одно общее посвященіе—талантливому публицисту и философу В. С. Соловьеву. Вся книжка г. Величко, со всѣми заключающимися въ ней частными посвященіями, адресована какъ бы съ подразумѣвающимся комплиментарнымъ письмомъ ему, г. Соловьеву, въ знакъ глубокаго и искренняго сочувствія родственной души...

Обращаясь отъ посвященій къ содержанію, мы мгновенно поражаемся его богатствомъ, разнообразіемъ тоновъ, удивительнымъ знаніемъ востока. Мережковскій, Минскій переводятъ съ разныхъ европейскихъ языковъ. Г. Величко имѣетъ сердечное пристрастіе къ мало распространеннымъ, но колоритнымъ языкамъ и нарѣчіямъ востока. Въ книгѣ его вы найдете переводы съ грузинскаго, турецкаго, арабскаго, персидскаго и татарскаго языковъ, повидимому изученныхъ доскональнѣйшимъ образомъ, преимущественно передъ языками запада. Анекдоты, шутки, остроты въ стихахъ такъ и сыплются со всѣхъ сторонъ. То пронесется предъ вами образъ Тамары, воспѣтой грузинскимъ поэтомъ княземъ Церетели, то мелькнетъ желчный стихъ изъ произведеній князя Чавчавадзе, то вдругъ раскроется предъ вами картинка, изображающая шарлатана-муллу, увлекшагося собственной ложью... И рядомъ съ этими стихами, представляющими своеобразную и веселую музу востока, стоятъ стихотворенія, посвященныя русскимъ интересамъ, русскимъ злобамъ дня. Нѣтъ, право, г. Величко не лишенъ таланта. Не сравнивайте его съ Мережковскимъ, не сопоставляйте его съ Фофановымъ, но отыщите ему особое мѣсто въ современной русской литературѣ. Мережковскій напыщенъ и приподнятъ, но его стихотворенія все-таки находятся по содержанію и по стремленіямъ въ центрѣ литературы. Фофановъ — просто талантливый человѣкъ, съ безхитростной, но неуравновѣшенной душой, влекущейся къ

мотивамъ красоты и поэзіи, всѣмъ близкимъ и доступнымъ. Г. Величко... г. Величко явленіе своеобразное, имѣющее свои источники на какой-то далекой восточной окраинѣ, но упорно тяготѣющее къ центру, пробивающее себѣ къ нему всевозможные пути. Не поможетъ талантъ, помогутъ друзья. Бездаренъ стихъ, авось сдѣлаютъ свое дѣло эффектныя посвященія людямъ, стоящимъ во главѣ общественнаго мнѣнія. Плохи и пошловаты оригинальные замыслы — можетъ быть вывезетъ грузинская, татарская, турецкая, арабская и персидская мудрость, одѣтая въ пестрые халаты и цвѣтные шаровары...

Рябининъ, **Элеваторы и наше увлеченіе ими.** С. П., 1894 г.

Увлеченіе элеваторами въ планахъ о «насажденіи благосостоянія» занимаетъ видное мѣсто. Предполагается, что элеваторы поднимутъ доходность главной, если не исключительной, «отечественной» промышленности, т. е. земледѣлія, и даже будутъ прямо способствовать улученію сельскаго хозяйства. Тутъ игра фантазіи идетъ быстрыми скачками. Прежде всего насъ обуяло суевѣріе, будто, введя механическое передвиженіе зерна и устроивъ элеваторы съ усовершенствованными техническими пріемами, мы тѣмъ самымъ измѣнимъ и всѣ условія нашей хлѣбной торговли и тѣ экономическія условія, при которыхъ въ настоящее время производится эта торговля. Съ устройствомъ элеваторовъ крестьяне и землевладѣльцы избавляются отъ безконечной цѣпи посредниковъ и комиссіонеровъ и кладутъ себѣ въ карманъ всѣ тѣ милліоны, которые попадаются въ руки этихъ безчисленныхъ посредниковъ. Расходы по заготовкѣ хлѣба на центральные внутренніе рынки и экспортные центры понижаются. Хлѣбъ очищается и направляется заграницу, гдѣ на него чрезъ то спросъ повышается. Мы снова завоевываемъ себѣ почетное мѣсто по доставкѣ хлѣба для иностранцевъ, но при наличности всѣхъ указанныхъ новыхъ условій, въ силу которыхъ всѣ выгоды, по внутренней и внѣшней торговлѣ хлѣбомъ, остаются почти исключительно въ рукахъ самихъ сельскихъ хозяевъ.

Г. Рябининъ основательно замѣчаетъ, что увлеченіе элеваторами у насъ распространяется главнымъ образомъ, если не исключительно, техниками и инженерами. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь почти вся наша литература объ элеваторахъ вышла изъ-подъ пера техниковъ и инженеровъ, писавшихъ безъ отношенія къ нашимъ экономическимъ условіямъ и на основаніи чистаго апріорнаго заключенія, что элеваторы вообще дѣло хорошее. Г. Рябининъ желаетъ на фактахъ свести счеты съ этимъ многообѣщающимъ дѣломъ. Въ виду этого, онъ, прежде всего, знакомитъ насъ съ исторіей и условіями дѣятельности элеваторовъ въ Америкѣ и Зап. Европѣ. Въ Зап. Европѣ элеваторы были позаимствованы изъ Америки. Практика показываетъ, что «въ тѣхъ случаяхъ, когда при учрежденіи элеваторовъ американскаго типа имѣлось въ виду, при помощи ихъ, воздѣйствовать на хлѣбную торговлю и измѣнить условія ея и торговые обычаи на амери-

канскій ладъ, это оказывалось недоступнымъ, такъ какъ при этомъ упускалось изъ виду, что въ Америкѣ не условія хлѣбной торговли въ томъ видѣ, какъ они существуютъ, созданы элеваторами, а наоборотъ — именно эти самыя условія выработали постепенно типъ такого усовершенствованнаго магазина» (26 стр.). Положеніе, подъ которымъ, думаемъ, всякій подпишется, и кстати замѣтимъ, что оно уже детально было развито еще въ прекрасной монографіи проф. Обнинскаго «О хлѣбной торговлѣ Соединенныхъ Штатовъ Сѣверной Америки», появившейся еще въ 1880 г., т. е. именно въ тотъ моментъ, когда у насъ зарождалось стремленіе измѣнить условія хлѣбной торговли на американскій ладъ при помощи элеваторовъ. Само собою понятно, что всякія попытки къ осуществленію этого завѣтнаго стремленія не привели къ намѣченной цѣли. Г. Рябининъ прекрасно рисуетъ дѣятельность нашихъ элеваторовъ и приводитъ массу цифровыхъ данныхъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія въ томъ, что наши элеваторы пустуютъ, т. е. слабо утилизируются и даютъ крупные убытки. Вѣское доказательство непримѣнимости элеваторовъ къ нашимъ условіямъ, и притомъ даже климатическимъ условіямъ, въ силу которыхъ наши элеваторы имѣютъ «болѣе *короткій* періодъ дѣятельности сравнительно съ Америкой, что естественно повышаетъ стоимость услугъ нашихъ элеваторовъ сравнительно съ американскими; услуги ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ всегда дороже ручного труда, съ которымъ они совершенно не въ силахъ конкуррировать, вслѣдствіе его крайней дешевизны у насъ» (89 стр.). При слабой работѣ этихъ элеваторовъ и дороговизнѣ ихъ услугъ, какъ показываетъ опытъ, ими пользуются не землевладѣльцы и не крестьяне, а именно тѣ посредники и комиссіонеры, отъ которыхъ предполагалось избавить и крестьянъ и землевладѣльцевъ. Говорятъ, что это все измѣнится, когда будетъ выстроена цѣлая сѣть элеваторовъ, способныхъ принять и направить по назначенію почти весь хлѣбъ, обращающійся на продажу внутри страны и для заграницы. По разсчетамъ г. Рябинина, расходы на постройку этихъ элеваторовъ «должны достигнуть слѣдующихъ размѣровъ, а именно: на станціонные элеваторы около 136.500,000 р., на центральные около 210.000,000 р. и на портовые не менѣе 72.900,000 р., т. е. всего должно быть истрачено для осуществленія сѣти элеваторовъ не менѣе 419.400,000 р., хотя въ дѣйствительности потребуется гораздо болѣе». Аторнизація этого капитала, проценты и эксплоатаціонные расходы должны лечь тяжелымъ бременемъ на хлѣбъ, поступающій въ элеваторъ. Одни эксплоатаціонные расходы, считая только по 6% на затраченный капиталъ, составятъ ежегодно сумму въ 56.619,000 р., что при хорошемъ урожаѣ равняется 24 к. на каждую четверть зерна, а при плохомъ урожаѣ тѣже эксплоатаціонные расходы падутъ на меньшее количество хлѣба, т. е. повысятся. «Однимъ словомъ, ясно, что разъ будетъ создана сѣть элеваторовъ, ея гнета, при плохихъ урожаяхъ, а тѣмъ болѣе при неурожаяхъ, не выдержитъ не только хлѣбная торговля, но не выдержитъ и государство» (86 стр.).

Такимъ образомъ, «безжалостная исторія показываетъ намъ, что техника никогда не опережала ни умственнаго развитія, ни тѣхъ условій, при которыхъ жилъ человѣкъ, на какомъ бы уровнѣ культуры онъ ни находился: лишь съ измѣненіемъ условій жизни и при умственномъ прогрессѣ можетъ привиться въ какой-нибудь отрасли народнаго труда болѣе совершенная техника, безъ чего она никогда не привьется и окажется совершенно ненужной. Поэтому, при рѣшеніи вопросовъ, касающихся улучшенія условій нашей народной жизни, надо обращать вниманіе вовсе не на техническую сторону, что, конечно, было бы такъ просто, а надо обращать вниманіе на экономическую сторону, на сумму всѣхъ тѣхъ условій, при которыхъ приходится намъ жить и дѣйствовать (11 стр.).

Мечты объ элеваторахъ, распространяющихъ довольство и благоденствіе, пора бросить. «Пора уже трезво взглянуть на эти сооруженія, которыя настойчиво навязываютъ русской жизни, но которыя, между прочимъ, не сулятъ ей ровно никакихъ облегченій или выгодъ, кромѣ однихъ убытковъ или разочарованій. При бѣдности Россіи, мы не находимъ средствъ для удовлетворенія болѣе существенныхъ потребностей населенія въ образованіи, которое намъ необходимо въ милліонъ разъ болѣе всякихъ элеваторовъ».

Здравыя мысли проповѣдуетъ г. Рябининъ и пусть онѣ получатъ самое широкое распространеніе.

Б. Библіографія.

I. ЛИТЕРАТУРА. БЕЛЛЕТРИСТИКА.

Исторія нѣмецкой литературы Вильгельма Шерера. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей *А. Н. Пыпина*. Часть первая. Изданіе Л. Ф. Пантелѣева. 1893.

Съ особеннымъ удовольствіемъ слѣдуетъ отмѣтить появленіе въ русскомъ переводѣ «Исторія русской литературы» Вильгельма Шерера, въ особенности потому, что серьезныхъ сочиненій по этому предмету совсѣмъ не существуетъ въ русской переводной литературѣ, и книга Шерера является капитальнѣйшимъ произведеніемъ въ этомъ родѣ и составляетъ почти единственное явленіе даже въ богатой нѣмецкой литературѣ. На нѣмецкомъ языкѣ книга Шерера составляетъ одинъ огромный томъ. А. Н. Пыпинъ предпочелъ для удобства изданія раздѣлить книгу на двѣ части. Пока выпущена только первая часть. При второй части, кромѣ предисловія, примѣчаній и указателя, данныхъ самимъ Шереромъ, редакторъ перевода обѣщаетъ присоединить краткій очеркъ жизни и трудовъ нѣмецкаго ученаго. Шереръ умеръ въ 1886 году, будучи сорока почти лѣтъ отъ роду. Въ Вѣнѣ и Берлинѣ онъ изучалъ нѣмецкую филологію и санскритскій языкъ, затѣмъ былъ профессоромъ исторіи нѣмецкой литературы сначала въ Вѣнѣ и Страсбургѣ, а потомъ въ Берлинѣ. Въ 1884 году онъ былъ сдѣланъ членомъ прусской академіи наукъ. Онъ написалъ между прочимъ: «Исторія нѣмецкаго языка», «Религіозная поэзія въ эпоху германской имперіи», «Исторія нѣмецкой поэзіи въ XI и XII столѣтіяхъ», «Псалмы Роткера», «Начало прозаическаго романа въ Германіи», «Молодость Гете»; послѣднимъ его трудомъ была «Исторія нѣмецкой литературы», вышедшая въ Берлинѣ въ 1883 году. Шереръ, безъ всякаго сомнѣнія, былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ германскихъ ученыхъ; его «Исторія нѣмецкой литературы», построенная по совершенно новому плану, отличается чисто научнымъ характеромъ и даетъ полную картину развитія нѣмецкой литературы. Въ вышедшей, по русски, первой части этого замѣчательнаго труда предметы распредѣлены въ слѣдующемъ порядкѣ: древніе германцы (тутъ разсматривается первобытная поэзія арійцевъ, германская религія, остатки древней поэзіи), готы и франки (героическая поэзія, Ульфила, государство Меровинговъ), англо-саксы, Карлъ Великій, средневѣковое возрожденіе, странствующіе журналисты, рыцарство и церковь, средне-верхне-нѣмецкій народный эпосъ, придворная эпопея,

мейнезангъ и мейстерзангъ, ниществующіе ордена, поэзія конца среднихъ вѣковъ, гуманизмъ, реформація и возрожденіе и начало новѣйшей литературы до XVIII вѣка. Вторая часть будетъ посвящена исключительно новѣйшей нѣмецкой литературѣ, начиная съ Лессинга.

Максъ Нордау. **Движенія человѣческой души** (психологическіе этюды), переводъ съ нѣмецкаго *М. Линдемана.* Москва. 1893.

Едва ли нужно рекомендовать читающей публикѣ эту книжку. Максъ Нордау извѣстенъ какъ остроумный и талантливый писатель, завоевавшій себѣ широкую популярность въ Европѣ. «Движенія человѣческой души» состоитъ изъ нѣсколькихъ «психологическихъ этюдовъ» въ формѣ разсказовъ, талантливо и остроумно написанныхъ; недостатокъ Макса Нордау, какъ въ этой книгѣ. такъ и въ другихъ его произведеніяхъ, заключается въ томъ, что всѣ его фигуры нѣсколько искусственны, въ нихъ мало жизни и дѣйствительной правды; читатель слишкомъ часто чувствуетъ, что передъ нимъ не истинный художникъ, а остроумный писатель, который пользуется литературной формой, какъ наиболѣе удобной и популярной, для изложенія и слога, очень часто парадоксальныхъ мыслей.

Бабочка. Матеріалы для повѣсти. *М. Гавалевича.* Переводъ съ польскаго *Л. Н. Горбачевскаго.* Спб. 1893.

Польскій писатель Маріанъ Гавалевичъ— одинъ изъ довольно извѣстныхъ и читаемыхъ польскихъ беллетристовъ. Онъ несомнѣнно обладаетъ внѣшнимъ талантомъ разсказчика и напоминаетъ нѣкоторыхъ современныхъ французскихъ новеллистовъ, которыхъ пріемъ и манеру онъ отлично усвоилъ. Въ его повѣстяхъ и разсказахъ есть нѣкоторое остроуміе; разсказъ ведется бойко и живо, все прилично, но въ то же время и банально. Въ лучшемъ своемъ романѣ «Филистеры», г. Гавалевичъ изображаетъ промотавшагося польскаго дворянина, который, бросивъ жену, женится на дочери банкира, пріобрѣтаетъ, такимъ образомъ, состояніе и замышляетъ изданіе газеты, гдѣ надѣется отстаивать интересы «помѣщиковъ и народа». Авторъ, повидимому, очень сочувствуетъ своему герою. Его «Бабочка» ничѣмъ новымъ не отличается отъ другихъ повѣстей этого писателя. Эти «матеріалы для повѣсти», несомнѣнно, прочитаются съ удовольствіемъ, но безъ малѣйшей пользы для «ума и сердца».

Смерть. Этюдъ. *Игнатія Домбровскаго.* Перевелъ съ польскаго *Л. И. Горбачевскій.* Спб. 1894.

Эта небольшая повѣсть молодого польскаго писателя Игнатія Домбровскаго представляетъ собой замѣчательно-талантливый психологическій этюдъ. Разсказъ ведется отъ лица героя, въ видѣ дневника,—молодого студента, умирающаго въ чахоткѣ. Авторъ постепенно описываетъ всѣ стадіи болѣзни и душевное настроеніе больного, который попеременно то надѣется выздоровѣть, то впадаетъ въ отчаяніе при видѣ неминуемости смерти, причемъ онъ постоянно возвращается къ своимъ прошлымъ годамъ счастія и надежды. Превосходно и необыкновенно талантливо авторъ изображаетъ, какъ отъ дѣтской наивной вѣры его герой перешелъ сначала къ религіозному индифферентизму, а потомъ и къ полному безвѣрію. Основная мысль развивается послѣдовательно и чрезвычайно талантливо. Въ повѣсти нѣтъ никакихъ внѣшнихъ событій; весь интересъ повѣсти сосредоточенъ на внутреннихъ событіяхъ души больного героя, причемъ въ его дневникѣ встрѣчаются страницы истиннаго трагизма.

Переводъ сдѣланъ прекрасно.

Моя библіотека. Разсказы *Святополка Чеха.* Пер. *А. Г. Сахаровой.* Изданіе Ледерле. 1893.

Если не ошибаемся, разсказы талантливаго чешскаго писателя появляются въ первый разъ на русскомъ языкѣ. Святополкъ Чехъ принадлежитъ къ выдающимся чешскимъ писателямъ. Въ Богеміи онъ извѣстенъ не только какъ талантливый беллетристъ, но и какъ одинъ изъ лучшихъ современныхъ чешскихъ поэтовъ. Эпическія стихотворенія Святополка Чеха, неизвѣстныя нашей публикѣ, отличаются яркой образностью и глубиной содержанія; въ лирическихъ же, изъ которыхъ нѣкоторыя появились въ переводѣ на русскій языкъ, Святополкъ Чехъ подкупаетъ читателя неподдѣльной искренностью чувства, задушевной простотой или жгучей проніей и страстнымъ, негодующимъ протестомъ. Въ прозѣ Святополкъ Чехъ заслужилъ извѣстность своими романами и мелкими разсказами, а также путевыми замѣтками. Въ своихъ мелкихъ разсказахъ, онъ по преимуществу юмористъ. Страстный патріотъ, стремящійся къ независимости своего народа, Святополкъ Чехъ, съ безпощадной ироніей и негодованіемъ, бичуетъ недостатки современнаго чешскаго общества, издѣвается надъ его пристрастіемъ къ чужеземному, надъ его дряблостью и безхарактерностью и скорбитъ о свѣтлой, великой эпохѣ Іоанна Гусса, когда его родина стояла во главѣ умственнаго движенія всей Европы. Въ изданіи г. Ледерле помѣщено двѣнадцать разсказовъ Чеха, между которыми лучшій—«Искъ Ястреба противъ Горлачки. Изъ записокъ моего друга». Переводъ недуренъ.

Сочиненія Григорія Федоровича Квитки. Малороссійскія повѣсти, разсказанныя Грыцькимъ Основъяненкомъ. 1894.

Григорій Федоровичъ Квитка (онъ писалъ подъ псевдонимомъ Грыцьки Основъяненка) принадлежитъ къ самымъ популярнымъ малороссійскимъ писателямъ, но за послѣднее

время его произведенія (за исключеніемъ повѣсти «Панъ Холявскій», изданной нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. Суворинымъ) не существовали въ продажѣ. Немудрено поэтому, что новое изданіе сочиненій Квитки является какъ нельзя болѣе кстати. Въ настоящій томъ вошли маленькіе разсказы Квитки: «Солдацькій портретъ», «Маруся», «Мертвецькый велык-день», «Добре робы, добре и буде», «Копотаньска-видьма», «Отъ тоби и срабъ», «Козырь-дивка», «Сердешна Оксана», «Пархимове сниданьня», «На пущаньня—якъ завъязано», «Перекаты поле», «Пидбрехачь», «Божи диты», «Щыра любовъ», «Лысты до любезныхъ земляковъ». Многочисленные почитатели Квитки съ удовольствіемъ встрѣтятъ это изданіе, которое имъ напомнитъ остроумнаго разсказчика, наивный юморъ котораго и теперь еще не потерялъ своей свѣжести и прелести.

II. ЕСТЕСТВОЗНАНІЕ. МЕДИЦИНА.

Курсъ электричества. *Эрика Жерара.* Пер. съ франц. Спб. 1893. Изд. Ф. В. Щепанскаго. Ц. за 2 т. 8 р.

Невѣроятный прогрессъ науки и техники электричества за послѣднее десятилѣтіе породилъ обширную литературу по различнымъ вопросамъ, имѣющимъ теоретическій или практическій интересъ. Но техника шла впередъ гораздо быстрѣе теоріи, и съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе чувствовалась потребность въ объединеніи всего накопленнаго множества фактовъ, въ приложеніи господствующихъ теперь въ наукѣ взглядовъ на сущность электрическихъ явленій ко всевозможнымъ изобрѣтеніямъ электротехники.

Отсутствіе серьезнаго научнаго руководства, въ которомъ нашло бы себѣ мѣсто теоретическое обоснованіе всѣхъ новѣйшихъ машинъ и приборовъ электрическихъ, особенно сильно давало себя чувствовать въ спеціальныхъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, подготовляющихъ техниковъ, которымъ придется имѣть дѣло съ различными примѣненіями электричества. Этотъ крупный пробѣлъ восполненъ теперь превосходнымъ курсомъ Жерара. Составленный первоначально для студентовъ основаннаго бельгійскимъ сенаторомъ Монтефіоре при Лютихскомъ университетѣ электротехническаго института [1]), курсъ этотъ своими научными достоинствами обратилъ на себя всеобщее вниманіе. Въ теченіе двухъ лѣтъ онъ разошелся въ трехъ изданіяхъ. Въ настоящее время мы имѣемъ уже русскій переводъ его съ 3-го франц. изданія, сдѣланный Шателеномъ подъ редакціей А. И. Садовскаго.

[1]) Жераръ состоитъ преподавателемъ и директоромъ этого института.

Д-ръ I. Боасъ. **Діэта при болѣзняхъ желудка и кишекъ.** Спб. 1894. Ц. 60 к.

Г. Боасъ неоднократно повторяетъ, что назначеніе различныхъ лекарствъ должно быть всецѣло предоставлено врачу. Почему именно онъ дѣлаетъ исключеніе для діэты и считаетъ возможнымъ предоставить самому больному назначеніе пищевого режима, нигдѣ въ книжкѣ не объяснено. Разъ авторъ придаетъ діэтѣ такое важное значеніе въ дѣлѣ леченія желудочнокишечныхъ болѣзней, ему не слѣдовало бы выпускать изъ рукъ врача такого важнаго средства, которое, при неправильномъ употребленіи, можетъ причинить больному непоправимый вредъ. Мы считаемъ, поэтому, своимъ долгомъ предостеречь читателей отъ увлеченія подобными популярными книжками по медицинѣ и указать на опасность, возникающую при неумѣломъ пользованіи сообщаемыми въ нихъ свѣдѣніями.

Издатель хорошо сдѣлалъ бы, если бы ограничился переводомъ общей части книжки г. Боаса, въ которой изложены полезныя свѣдѣнія о строеніи и отправленіи отдѣльныхъ органовъ пищеваренія, о причинахъ заболѣваній этихъ органовъ и мѣрахъ, которыми слѣдуетъ поддерживать ихъ правильную и здоровую дѣятельность. Занимающую же цѣлую половину книжки спеціальную часть, содержащую описаніе отдѣльныхъ болѣзней и особыхъ средствъ леченія каждой изъ нихъ, можно было съ пользою для дѣла и читателей совершенно выбросить.

Первую главу — описаніе строенія желудочно-кишечнаго канала—слѣдовало бы пояснить рисункомъ его; безъ рисунка пониманіе текста для многихъ читателей представится затруднительнымъ, а самое чтеніе — утомительнымъ.

1) **Какъ высохла наша степь.** *А. А. Измаильскаго.* Полтава. 1893.

2) *К. Тимирязевъ.* **Земледѣліе и физіологія растеній.** I. Борьба растенія съ засухою. М. 1893.

3) *И. Бараковъ.* **О возможныхъ мѣрахъ борьбы съ засухами.** Одесса. 1893.

4) **О борьбѣ съ засухами** въ черноземной области посредствомъ обработки полей и накопленія на нихъ снѣга. *И. Костычева.* Спб. 1893.

5) **Борьба съ засухами** и обезпеченіе хорошихъ урожаевъ хлѣбовъ и травъ посредствомъ простыхъ работъ. *И. Янковскаго.* Спб. 1893.

Голодный 1892 г. породилъ обширную литературу, посвященную изслѣдованію и выясненію причинъ сильнаго неурожая, постигшаго всю юго восточную и южную Россію въ 1891 и 1892 гг. То именно обстоятельство, что бѣдствіе это поразило какъ разъ ту область Имперіи, которую богатѣйшій черноземъ обезпечивалъ, каза-

лось, отъ недорода хлѣбовъ, заставило призадуматься какъ практиковъ — сельскихъ хозяевъ, такъ и ученыхъ — агрономовъ и ботаниковъ.

Перечисленныя выше брошюры составляютъ, конечно, малую часть тѣхъ работъ, которыя появились въ неурожайный и слѣдовавшій за нимъ годы. Но онѣ заслуживаютъ особеннаго вниманія читателей, потому что изложенныя въ нихъ мнѣнія принадлежатъ извѣстнымъ спеціалистамъ въ вопросахъ сельскаго хозяйства—профессорамъ Тимирязеву (ботаника), Костычеву и Баракову (агрономія) и землевладѣльцамъ Измаильскому и Янковскому. Всѣ упомянутые авторы согласны въ томъ, что неурожаи 1891 и 1892 гг. обусловлены были страшной, почти небывалой въ нашей степи, засухою. Всѣ они также согласны въ томъ, что причина засухъ и неурожаевъ, поражающихъ черноземную степную Россію въ послѣдніе годы, лежитъ не въ измѣненіи климата, какъ думаютъ многіе сельскіе хозяева, а въ тѣхъ крупныхъ измѣненіяхъ, которымъ подверглась южнорусская степь по милости человѣка. Вырубивъ лѣса, распахавъ склоны овраговъ, истощивъ почву варварской обработкой, онъ подготовилъ тѣ неблагопріятныя метеорологическія и почвенныя условія, которыя, сочетавшись вмѣстѣ, отняли у земледѣльца ожидавшійся имъ урожай. Вѣрнѣе всего объясняетъ высыханіе степи г. Измаильскій, когда говоритъ, что первый шагъ къ превращенію нашихъ южныхъ степей въ пустыню сдѣланъ былъ тогда, когда хозяева стали выжигать и вытаптывать первобытную гигантскую травяную растительность и уничтожали такимъ образомъ «тотъ толстый войлокъ изъ отмершихъ растительныхъ остатковъ, который, какъ губка всасывалъ воду и прекрасно защищалъ почву отъ изсушающаго дѣйствія палящихъ солнечныхъ лучей и неимовѣрной силы вѣтровъ». Мѣры борьбы съ засухой, по мнѣнію всѣхъ названныхъ авторовъ, должны заключаться въ искусственномъ облѣсеніи и обводненіи степи и «въ цѣломъ рядѣ культурныхъ мѣръ», осуществленіе которыхъ зависитъ исключительно отъ самихъ сельскихъ хозяевъ. Главнѣйшей же и ближайшей задачей, какъ земства и правительства, такъ и частныхъ лицъ, обществъ и учрежденій—должно быть тщательное, научно организованное, изслѣдованіе всѣхъ условій нашей сельско-хозяйственной промышленности и распространеніе добытыхъ такимъ путемъ знаній среди сельскихъ хозяевъ. Особенныя надежды возлагаетъ г. Измаильскій на земство, которое, по его мнѣнію, одно только и въ состояніи поднять это трудное дѣло.

Профессоръ *Тимирязевъ* въ своей, по обыкновенію, талантливо и увлекательно написанной брошюрѣ, доказываетъ, что лучшимъ учителемъ сельскаго хозяина можетъ и должно быть само растеніе. Подражая въ высшей степени остроумнымъ приспособленіямъ, которыя выработали растенія для борьбы съ засухой, онъ вѣрнѣе всего достигнетъ своей цѣли: сократить расходъ почвенной воды путемъ испаренія и обезпечить достаточный приходъ воды въ почву. Послѣдней цѣли должны служить, между прочимъ, особые насосы, приводимые въ движеніе силой вѣтра и солнечнаго нагрѣванія и качающіе воду изъ запруженныхъ овраговъ на окрестныя поля.

Въ книжкѣ г. *Янковскаго* указанъ цѣлый рядъ работъ, съ помощью которыхъ, по его мнѣнію, можно задержать на поляхъ снѣговыя и дождевыя воды, закрѣпить и облѣсить овраги, задержать распространеніе летучихъ песковъ (разведеніемъ на нихъ ивы) и развести древесную растительность (посадкою черенковъ и кольевъ).

Въ брошюрѣ профессора *Костычева* сельскій хозяинъ найдетъ очень полезныя указанія о способахъ обработки разныхъ видовъ пара и яровыхъ полей и о средствахъ обезпечить успѣхъ травосѣянія.

Наконецъ, изъ брошюры г. *Баракова*. читатель познакомится съ современнымъ состояніемъ хозяйствъ Новороссіи и съ доказательствами необходимости ввести въ черноземной полосѣ навозное удобреніе и правильный плодосмѣнъ, а также улучшить посѣвныя сѣмена путемъ тщательнаго отбора, очистки и сортировки ихъ.

Мы можемъ только пожелать, чтобы появлялось возможно больше изслѣдованій, подобныхъ тѣмъ, которыя мы цитировали, и чтобы они нашли возможно большее число читателей, въ интересахъ правильной оцѣнки тѣхъ мѣръ, которыя въ нихъ предполагаются.

Dr. Alexander Peyer. **Неврозы кишечника у неврастениковъ**, пер. съ нѣм. д-ръ *А. Л. Мендельсонъ*. Спб. 1893.

Интересная брошюра Пейера посвящена мало извѣстному и почти совершенно неразработанному вопросу, требующему, однако, серьезнаго вниманія врачей въ виду все возрастающей нервности нашего общества. Нельзя не пожелать дальнѣйшей разработки этого вопроса, разработки, которая, быть можетъ, прольетъ свѣтъ на многіе теперь еще темные факты и подастъ надежду на избавленіе отъ многихъ страданій, часто признаваемыхъ неизлечимыми.

О холерѣ и какъ отъ нея уберегаться. Написалъ врачъ *А. А. Сняткова*. Вологда. 1893.

Брошюра г. Сняткова рѣзко выдѣляется изъ всей «холерной» литературы для народа своей отрицательной стороной. Намъ не приходилось еще встрѣчать книжки съ большей претензіей и вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣющей ни одного положительнаго качества. Рядъ неточныхъ и безтактныхъ вы-

раженій, грубая поддѣлка подъ выразительный народный языкъ и, наконецъ, совсѣмъ неудачные совѣты о самолеченіи—все это заставляетъ пожалѣть, что на трудное поприще литературы выступаютъ лица, очевидно, не имѣющія къ нему никакихъ способностей.

Физіологическая психологія въ 14 лекціяхъ д-ра *Цигена*, пер. съ нѣм. подъ ред. проф. *В. Ф. Чижа*. Изд. Павленкова. 1893.

Въ этомъ сочиненіи Цигенъ идетъ прямо въ разрѣзъ съ господствующей въ настоящее время школой Вундта, который допускаетъ особую способность нашей души, называемую имъ *апперцепціей*, приписывая этой способности верховное наблюденіе и руководство надъ прочими психическими процессами. Выводы автора заслуживаютъ вниманія людей, интересующихся развитіемъ психологической науки.

Переводъ книги хорошъ. Встрѣчаются недосмотры и опечатки, иногда измѣняющія смыслъ, напр. «возражаетъ» вмѣсто «возрастаетъ» (стр. 68). Цѣна книги вполнѣ доступная для каждаго (190 страницъ — 75 коп.).

Дѣйствіе бани противъ заразы и подвижная дезинфекціонная камера-баня. Популярный очеркъ. Составилъ д-ръ *В. В. Рудинъ*. Рыбинскъ. 1893.

Способъ доказательствъ, практикуемый докторомъ Рудинымъ, заслуживаетъ безусловнаго порицанія. Авторъ хочетъ во что бы то ни стало доказать дешевизну изобрѣтеннаго имъ аппарата и прибѣгаетъ для этой цѣли прямо къ извращенію цифръ. Достаточно сказать, что онъ при своихъ вычисленіяхъ считаетъ за единицу тепла такое количество его, какое можетъ нагрѣть ведро воды на 100° (на самомъ дѣлѣ—килограммъ воды на 1°). Каждому бросается въ глаза произвольность такого измѣренія, при которомъ стоимость отопленія выходитъ въ нѣсколько сотъ разъ меньше, чѣмъ слѣдуетъ, а также изумительная смѣлость г. Рудина, рѣшающагося выступать съ такими дѣтски-наивными проектами и обращать на нихъ вниманіе земствъ и общественныхъ управленій.

Что нужнѣе гимнастика, спортъ, игры или физическій трудъ для физическаго образованія. Составилъ д-ръ *В. В. Рудинъ*. Рыбинскъ. 1893.

Серьезный вопросъ въ изложеніи д-ра Рудина теряетъ свою серьезность. Для характеристики полемическихъ пріемовъ автора можно привести его заявленіе, что «гимнастика нѣмецкая, шведская и особенно анатомическая проф. Лесгафта очень скучны и тошны (sic) русскому человѣку, обладающему малымъ терпѣніемъ». Г. Рудинъ не подумалъ, что этотъ *недостатокъ терпѣнія* именно и зависитъ отъ недостаточной крѣпости мышечной и нервной системы, и что цѣль физическаго образованія и есть развитіе твердости и физической выносливости человѣка. Если г. Рудинъ позволяетъ себѣ такія выраженія о системѣ почтеннаго профессора, то какого же отзыва заслуживаетъ тотъ безсвязный наборъ пустяковъ, которымъ онъ счелъ возможнымъ наполнить страницы своей странной брошюры. Цѣна ея непозволительно дорогая: за 12 небольшихъ печатныхъ страницъ—75 коп.

III. ОБЩЕСТВЕННЫЯ НАУКИ.

Путешествіе въ Америку. Изъ дневника *Петра А—истова*. Спб. 1893.

Безграмотно написанная книжонка, въ которой какой-то русскій купчикъ тянетъ на 162 страницахъ скучный и совсѣмъ неинтересный дневникъ, разсказывая о томъ, какъ онъ путешествовалъ по Америкѣ, не зная ни одного иностраннаго языка, и какія впечатлѣнія онъ вынесъ изъ своего 32-дневнаго пребыванія въ Новомъ Свѣтѣ. Авторъ въ восторгѣ отъ своей храбрости, съ какой онъ пустился въ Америку безъ всякаго знанія языковъ, и самъ онъ, видимо, удивленъ этимъ,—но еще болѣе надо удивляться его смѣлости, съ какой онъ рѣшился написать, напечатать и издать книжку, не имѣя ни малѣйшаго понятія о грамматикѣ своего родного языка и не умѣя грамотно выражаться на немъ.

Въ защиту нашихъ пернатыхъ друзей. Очеркъ *И. Мелезинскаго*. Стр. 15. Ц. 20 к.

Авторъ указываетъ на вредъ, причиняемый сельскому хозяйству безпощаднымъ разореніемъ птичьихъ гнѣздъ и истребленіемъ птенчиковъ крестьянскими дѣтьми. Онъ взываетъ къ помощи народныхъ учителей и сельскаго духовенства, которые должны разъяснять дѣтямъ неразумность и безнравственность такихъ поступковъ и воспитывать въ нихъ гуманное отношеніе къ пернатому царству. По примѣру германскихъ школъ, авторъ совѣтуетъ учителямъ заводить въ русскихъ школахъ кормовые столики для кормленія птичекъ зернами и кусочками хлѣба, приносимыми изъ дому учениками. Въ доказательство возможности благотворнаго вліянія на дѣтей приведенъ примѣръ одного сельскаго учителя въ Малороссіи, который основалъ среди своихъ учениковъ «товарищество покровительства птицамъ» и достигъ вскорѣ прекрасныхъ результатовъ.

Уставъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ, съ разъясненіемъ вопросовъ, возникшихъ на практикѣ при его примѣненіи, со включеніемъ рѣшеній Гражд. Кас. Д-та Прав. Сената. Спб. 1894 г.

Этотъ «уставъ» изданъ «комитетомъ съѣздовъ представителей учрежденій русскаго поземельнаго кредита». Какъ и другія изданія «комитета», «уставъ» выдержалъ бы

строгую критику съ любой точки зрѣнія. Конечно, въ немъ имѣются пробѣлы, напр. при ссылкахъ на уставъ о гербовомъ сборѣ, но въ общемъ «комитетъ» оказалъ большую услугу, какъ для практиковъ-юристовъ, такъ и для экономистовъ, желающихъ въ деталяхъ изучить технику земельнаго кредита въ Россіи. Для землевладѣльцевъ «уставъ» долженъ служить настольной книгой, такъ какъ они не знаютъ, куда идутъ, получая ссуды, а потомъ начинаютъ посылать жалобы и ходатайства во всѣ мѣста и учрежденія.

Дементьевъ. **Фабрика.** Что она даетъ населенію и что она у него беретъ.

Добросовѣстное изслѣдованіе г. Дементьева, имѣетъ не столько современное, сколько историческое значеніе и притомъ оно обнимаетъ всего нѣсколько уѣздовъ Московской губерніи. Г. Дементьевъ обработалъ данныя, собранныя въ 1884—85 гг. при санитарномъ описаніи фабрикъ Московской губерніи, а потому его изслѣдованіе, даже не обращая вниманія на ограниченность района, рисуетъ намъ положеніе рабочихъ не въ современномъ видѣ, а въ томъ, какъ оно сложилось къ началу 80-хъ годовъ. Работа г. Дементьева, однако, даетъ довольно точную характеристику все усиливающимся заботамъ о процвѣтаніи фабрикъ, какъ будто это процвѣтаніе фабрикъ есть цѣль сама по себѣ и однозначуща съ «общественнымъ благосостояніемъ». «Но никто (?) не задается вопросомъ, продолжаетъ г. Дементьевъ, какою же цѣною достигается такое кажущееся благосостояніе? Что выиграло населеніе, бросивъ свой домъ, свое убогое хозяйство, поставивъ себя въ полную зависимость отъ современной фабрики съ ея машинами?» На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ кратко: «физическую и нравственную гибель». Такое положеніе рабочаго люда на нашихъ фабрикахъ, г. Дементьевъ обрисовалъ въ деталяхъ при помощи богатаго цифрового матеріала. По каждому отдѣльному вопросу, какъ-то: о размѣрѣ заработной платы, о продолжительности рабочаго дня, о возрастѣ рабочихъ и т. д., авторъ собралъ массу статистическихъ данныхъ, при группировкѣ которыхъ онъ нерѣдко прибѣгаетъ къ сравненіямъ съ данными иностранной статистики. Въ общемъ нельзя не признать работу г. Дементьева цѣннымъ вкладомъ въ нашу литературу по рабочему вопросу.

Микулинъ. **Очерки изъ исторіи примѣненія закона 3-го іюня 1886 г. о** наймѣ рабочихъ на фабрикахъ и заводахъ Владимірской губерніи. Владиміръ. 1893 г.

Очерки г. Микулина хотя и касаются только одной Владимірской губерніи, но протесты и обходы фабрикантовъ и борьба съ ними чиновъ фабричной инспекціи всюду носили довольно однообразный характеръ. Въ виду этого, книга г. Микулина, до нѣкоторой степени, пріобрѣтаетъ общее значеніе для вопроса о дѣятельности фабричныхъ инспекторовъ въ Россіи. Важное достоинство книги г. Микулина состоитъ въ томъ, что онъ не занимается передачей событій отъ себя, а приводитъ по каждому пункту подлинные документы, которые обрадуютъ не одного изъ будущихъ историковъ рабочаго вопроса въ Россіи.

Практическое руководство для судебныхъ слѣдователей. Т. I и II, вып. 1. Согласовано съ законами и распоряженіями по 1 іюля 1891 г. Составилъ членъ Виленскаго окружного суда *А. А. Соколовъ.* Вильна. 1891 и 1893 г. Изданіе неофиціальное.

Цѣль настоящаго руководства, по опредѣленію автора—облегчить судебнымъ слѣдователямъ пользованіе, относящимися къ слѣдственной части законоположеніями и офиціальными разъясненіями послѣднихъ, находящимися въ рѣшеніяхъ и циркулярныхъ указахъ Сената, въ распоряженіяхъ и инструкціяхъ министра юстиціи и, наконецъ, въ наказахъ окружныхъ судовъ. Къ первому тому руководства приложены три статьи того же автора: 1) о судебно-медицинской экспертизѣ, 2) о пререканіяхъ судебныхъ слѣдователей съ прокурорскимъ надзоромъ и 3) о дознаніи и розыскѣ. Сенатскіе циркуляры и рѣшенія излагаются въ хронологическомъ порядкѣ съ 1866 г., что не затрудняетъ, во всякомъ случаѣ справокъ, такъ какъ въ началѣ первой части имѣется подробный предметный указатель, а въ концѣ алфавитный предметный указатель ко всему первому тому вообще. Во II томѣ, въ первомъ выпускѣ его, излагаются основныя положенія судоустройства и учрежденія судебныхъ установленій.

Учебникъ права внутренняго управленія. (Полицейскаго права). Особенная часть. Привать-доцента Новороссійскаго университета *И. Шеймина.* Вып. VI. Одесса. 1893.

Шестой выпускъ «Учебника права внутренняго управленія» г. Шеймина посвященъ изложенію мѣръ полицейской безопасности. Особенно подробно авторъ останавливается на постановленіяхъ русскаго дѣйствующаго законодательства и его исторіи. Изложеніе курса можно назвать довольно хорошимъ, главный упрекъ, который слѣдуетъ сдѣлать автору—это то, что онъ ограничивается, главнымъ образомъ, только изложеніемъ законовъ, не останавливаясь почти на причинахъ и условіяхъ ихъ возникновенія; также слишкомъ кратко и односторонне разобранъ вопросъ о защитѣ общества отъ преступниковъ, заслуживающій гораздо большаго вниманія въ курсѣ полицейскаго права.

Г. фонъ-Шель. **Самоубійство и современная цивилизація.** Международная библіотека. № 8. Одесса. 1893.

Въ своей коротенькой статьѣ г. Шель стремится доказать независимость увеличенія или уменьшенія числа самоубійцъ отъ современнаго состоянія цивилизаціи, равнымъ образомъ онъ опровергаетъ и связь самоубійства съ душевными болѣзнями. Статья написана очень поверхностно, выводы автора не обосновываются достаточнымъ числомъ статистическихъ данныхъ и потому, естественно, не отличаются должной убѣдительностью и опредѣленностью, такъ какъ авторъ въ концѣ статьи значительно смягчаетъ свое первоначальное положеніе о независимости самоубійства отъ цивилизаціи, говоря, «что если самоубійства и можно объяснить явленіями, присущими нашему времени, то все же неосновательно будетъ слишкомъ пугаться за нашу цивилизацію, связь которой съ распространеніемъ самоубійствъ остается не доказанной и невыясненной». (Стр. 32).

Пятьдесятъ лѣтъ общественной дѣятельности въ Австраліи. *Генриха Паркса*. Въ 2-хъ частяхъ, съ 2 портретами автора. Переводъ съ англійскаго *В. Невѣдомскаго.* Москва. 1894.

Записки Паркса, охватывающія пятидесятилѣтній періодъ его жизни съ 1839 по 1889 годъ, и посвященныя описанію его общественной дѣятельности, какъ журналиста, члена парламента и министра Новаго Южнаго Уэльса, содержатъ не мало интересныхъ свѣдѣній объ общественной жизни въ Австраліи и характеристикъ выдающихся представителей австралійскаго и англійскаго общества. Изумительно быстрый ростъ австралійскихъ колоній, имѣвшихъ въ 1840 г. 194,792 жителей, а въ 1890 г.— 3.787,894, успѣвшихъ пріобрѣсти въ пятьдесятъ лѣтъ почти полную независимость отъ метрополіи, свои парламенты и отвѣтственныя министерства, живо описываются авторомъ, бывшимъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ, боровшихся заблагосостояніе своего новаго отечества. Наиболѣе интересны тѣ главы второй части, въ которыхъ излагается борьба австралійскихъ парламентскихъ партій и демократическія движенія среди населенія колоній.

По поводу прошлаго векселя. Отвѣтъ на рецензію проф. Цитовича, составленную по поводу книги проф. Табашникова и озаглавленную «Къ исторіи векселя». Проф. *И Табашникова*. Одесса. 1893.

Проф. Табашниковъ представилъ свою диссертацію «Прошлое векселя. Историко-юридическое изслѣдованіе» въ Кіевскій университетъ, въ которомъ рецензія этого труда была поручена проф. Цитовичу, отнесшемуся весьма неблагосклонно къ автору. Г. Табашниковъ счелъ нужнымъ въ отвѣтъ на эту рецензію посвятить цѣлую статью, въ которой указываетъ на недостатокъ безпристрастія у рецензента.

Преувеличенія въ рецензіи г. Цитовича, несомнѣнно, были весьма значительныя, но и въ трудѣ г. Табашникова встрѣчаются достаточно крупные промахи и недоразумѣнія. Вообще главная часть полемики сводится къ взаимнымъ пререканіямъ о слогѣ, не безукоризненномъ у обѣихъ сторонъ, и къ спору о роли церкви въ исторіи векселя, гдѣ опять-таки неправы и рецензентъ и авторъ.

Сборникъ правовѣдѣнія и общественныхъ знаній. Труды юридическаго общества, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ и его статистическаго отдѣленія. Томъ 2-й. Спб. 1893.

Во второмъ томѣ трудовъ Московскаго юридическаго общества помѣщено 10 статей по различнымъ юридическимъ и экономическимъ вопросамъ, изъ которыхъ слѣдуетъ упомянуть о статьѣ г. М. М. Ковалевскаго «Первая постановка вопроса о всеобщемъ голосованіи» (стр. 13—43), въ которой разсматриваются постановленія французскаго національнаго собранія объ организаціи выборовъ въ 1789 году.

Изъ экономическихъ статей выдѣляется въ сборникѣ небольшая статья Л. Н. Маресса «Неурожай 1891 года и вызванный имъ продовольственный кризисъ» (стр. 86—110) и С. П. Швецова «Формы общиннаго владѣнія на Алтаѣ» (стр. 145—191).

Въ хроникѣ этого тома, кромѣ изложенія новыхъ уголовныхъ, экономическихъ и финансовыхъ законовъ, имѣется краткое обозрѣніе литературы по гражданскому праву и по экономическимъ вопросамъ. Въ концѣ, какъ и въ предыдущемъ томѣ, приложены протоколы Московскаго юридическаго общества. Въ цѣломъ второй томъ трудовъ по выбору и качеству статей нѣсколько уступаетъ первому.

Освобожденіе крестьянъ въ царствованіе Императора Александра II Выводы и заключенія. *Н И. Семенова.* Спб. 1894.

Въ настоящее время общинное устройство крестьянскаго землевладѣнія служитъ предметомъ оживленнаго обсужденія въ печати, въ виду предполагаемыхъ реформъ по этому вопросу. Г. Семеновъ является однимъ изъ убѣжденныхъ и горячихъ защитниковъ общины, въ которой онъ видитъ лучшій оплотъ отъ всѣхъ грядущихъ бѣдствій, угрожающихъ крестьянскому хозяйству, и, наоборотъ, крайнюю опасность во всякомъ колебаніи существующихъ въ настоящее время порядковъ. Авторъ доказываетъ, что община не представляетъ препятствій для введенія усовершенствованнаго сельскаго хозяйства и требуетъ только замѣны настоящаго душевого надѣла, причину частыхъ передѣловъ, составляющихъ одну изъ темныхъ сторонъ общиннаго хозяйства, тягловымъ.

Матеріалы по описанію промысловъ Вятской губерніи. Изданіе Вят-

скаго губернскаго земства. Выпускъ V. Вятка. 1893 г.

Настоящее продолженіе сборника по изслѣдованію кустарной промышленности Вятской губ., заключающее въ себѣ данныя о бондарномъ, посудномъ, сапожномъ и металлическомъ промыслахъ, представляетъ большой интересъ какъ для спеціалистовъ и мѣстныхъ дѣятелей, такъ для самихъ кустарей, которые изъ этой книги могутъ почерпнуть свѣдѣнія о развитіи промысла, указанія на лучшіе образцы издѣлій и совѣты по дальнѣйшему усовершенствованію и по увеличенію производительности ихъ заработковъ.

Сельскохозяйственный обзоръ по С.-Петербургской губерніи. 1893 г. Періодъ II. Лѣто и осень. Изданіе губернскаго земства. С.-Петербургъ 1893 г.

Это изданіе является трудомъ статистическаго отдѣленія, и выводы его основаны на сообщеніяхъ 276 корреспондентовъ, распредѣленныхъ равномѣрно по губерніи. Къ сборнику приложены восемь картограммъ, показывающихъ средніе урожаи по разнымъ волостямъ губерніи. Тщательная обработка свѣдѣній и своевременность ихъ опубликованія, дающая возможность пользоваться выводами для мѣропріятій текущаго года, являются несомнѣнными достоинствами этого изданія.

И. И. Шостакъ. **Начальное народное образованіе въ Кролевецкомъ земствѣ.** Черниговъ. 1893 г.

Эта довольно объемистая (242 стр.) брошюра заключаетъ въ себѣ сводъ постановленій по народному образованію Кролевецкаго уѣзднаго земства Черниговской губерніи, а также извлеченія изъ отчетовъ управы и училищнаго совѣта, расположенныя въ хронологическомъ порядкѣ. Приведенныя въ ней данныя свидѣтельствуютъ о серьезномъ прогрессѣ школьнаго дѣла въ уѣздѣ. Такъ, въ 1867 году въ немъ было всего 4 училища, на которыя земство расходовало 1000 р., а въ 1892 г. существовало уже 37 школъ съ годовымъ бюджетомъ въ 17,375 руб., такъ что за двадцатипятилѣтіе число училищъ возросло въ 9 разъ, и ежегодный расходъ земства и сельскихъ обществъ увеличился въ 17 разъ.

Отчетъ С.-Петербургской губернской земской управы за 1892 годъ. С.-Петербургъ. 1893 г.

Настоящій отчетъ отличается обычною обстоятельностью, которая даетъ возможность судить объ относительной величинѣ и производительности расходовъ по разнымъ статьямъ. Общій годовой расходъ С.-Петербургскаго губернскаго земства составляетъ за 1892 годъ 914,599 р., въ томъ числѣ: по взаимному отъ огня страхованію 449,336 р. (около 50% всего годового расхода), по народному образованію 44,814 р. (5%), по ремонту дорогъ 44,102 р. (5%), по содержанію управы 37,949 р (4%), по народному здравію 24,993 р. (3%) и по народному продовольствію 13,561 р. (1½%).

Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Нижегородской губерніи. Экономическая часть. Вып. XI. Семеновскій уѣздъ. Нижній-Новгородъ. 1893 г.

Настоящій объемистый сборникъ (464 стр., кромѣ приложеній), составленный подъ руководствомъ завѣдывающаго статистическимъ отдѣленіемъ губернскаго земства Н. Ѳ. Анненскаго, содержитъ многочисленныя и разностороннія свѣдѣнія о территоріи, населеніи, землевладѣніи и цѣнности и доходности разнаго рода угодій Семеновскаго уѣзда. Къ сборнику приложена раскрашенная почвенная карта уѣзда, составленная на основаніи мѣстныхъ изслѣдованій, извѣстнаго почвовѣда Н. М. Сибирцева.

Сельскохозяйственный обзоръ Тверской губерніи за 1893 г. Изданіе губернскаго земства.

Тверское губернское земство только впервые въ 1893 г. приступило къ собиранію свѣдѣній объ урожаяхъ чрезъ корреспондентовъ, и первый опытъ обзора, составленный подъ руководствомъ новаго земскаго статистика г. Красноперова, нельзя не назвать вполнѣ удачнымъ. Число корреспондентовъ уже въ первый годъ достигло 717. Обзоръ въ обработанной формѣ даетъ общую характеристику посѣвовъ и урожаевъ губерніи, метеорологическихъ явленій, мѣстныхъ неземледѣльческихъ промысловъ и проч.

Доклады С.-Петербургской губернской земской управы собранію. С.-Петербургъ. 1894 г.

Сборникъ этотъ заключаетъ въ себѣ 64 доклада, изъ которыхъ значительная часть представляетъ общій интересъ. Къ этому разряду въ особенности относятся доклады объ отмѣнѣ выпускныхъ экзаменовъ для начальныхъ училищъ, объ обязательномъ страхованіи скота, о настоящемъ экономическомъ положеніи земледѣльческаго населенія губерніи и о мѣрахъ къ его подъему, о дѣятельности экономическаго совѣта и т. п.

IV. ДѢТСКІЯ КНИГИ.

Вакса и скрипка. Разсказъ *А. Н. Ульянова.* Съ рисунками В. М. Максимова. Изданіе М. М. Ледерле и К°. Спб. 1894. Ц. 50 к., въ папкѣ 65 к.

Очень изящно, но, къ сожалѣнію, слишкомъ дорого изданный разсказъ г. Ульянова написанъ просто, ясно, на простую же и живую тему. Гдѣ-то, на Песочной улицѣ, въ закоулкѣ большого города, живутъ въ одной квартирѣ, занимая въ ней углы, нѣсколько человѣкъ разныхъ состояній и занятій: чиновникъ на крошечной пенсіи, скрипачъ, ходящій играть за грошевую плату, какой-то еще старичекъ, фабрикую-

щій въ своемъ углу ваксу и продающій ее за гроши. Авторъ вводитъ маленькаго читателя въ невѣдомую ему жизнь городской голытьбы и заставляетъ его полюбить отъ души этихъ бѣдняковъ, грубоватыхъ, но добрыхъ людей. Заканчивается разсказъ описаніемъ болѣзни, смерти и похоронъ одного изъ этихъ квартирантовъ. Но авторъ умѣло и тактично смягчилъ тяжелое впечатлѣніе, изобразивъ въ привлекательныхъ чертахъ заботливое, истинно-христіанское участіе, которое приняли остальные квартиранты въ своемъ больномъ, а затѣмъ умершемъ сожителѣ. Не будучи сентиментальнымъ, разсказъ, однако, трогательный и чество направляетъ мысли и чувства юныхъ читателей.

Игра въ солдаты. Изданіе книгопродавца А. Д. Ступина. Москва. Ц. 10 к.

Игра въ солдаты... Да, если она необходима, то руководство это (какія нынче пошли руководства!) можетъ быть дано дѣтямъ: составлено оно толково и, кажется (о, Марсъ, вразуми!) довольно полно. Но только вотъ вопросъ: нужно ли такое руководство дѣтямъ? По нашему—не нужно.

Превращенія. Разсказъ для дѣтей младшаго возраста, *С. Дестунисъ*, иллюстрированный 8-ю рисунками. Спб. 1894. Ц. 30 к.

Хоть и нехудожественная, но не лишенная смысла и остроумія сказка С. Дестунисъ не можетъ имѣть ни малѣйшаго литературнаго значенія, но маленькимъ дѣтямъ можетъ быть прочитана безъ вреда. Изложенная грамотно и гладко, она повѣствуетъ о ребенкѣ, который, недовольный своимъ положеніемъ, все превращался въ иной видъ, пока не убѣдился, наконецъ, что въ гостяхъ хорошо, а дома лучше, и, что другимъ хоть хорошо живется, но лишь при томъ условіи, если они сами своими трудами и своимъ умомъ достигли своего положенія. Превращенія идутъ въ сказкѣ довольно быстро одно за другимъ и не лишены разнообразія, такъ что книжка читается легко. Къ сожалѣнію, издана она неопрятно и стоитъ слишкомъ дорого; рисунки безобразны до смѣшного.

Книга былинъ. Сводъ избранныхъ образцовъ русской народной эпической поэзіи. Составилъ *В. П. Авенаріусъ*. Изданіе 4-ое, книгопродавца А. Д. Ступина. М. 1893. Ц. 1 р. 50 к.

Это—одна изъ лучшихъ книгъ въ нашей литературѣ для юношей. (Дѣтямъ многое въ ней непонятно и необъяснимо, и доступна она можетъ быть только юношамъ, уже хорошо ознакомленнымъ съ отечественною исторіей, къ которой народный эпосъ является прекрасною, осмысливающею ее иллюстраціей). Авторъ отнесся къ своей задачѣ въ высшей степени добросовѣстно и умѣло. Надо было соединить и объединить множество варіантовъ, разбросанныхъ по разнымъ сборникамъ и представить нѣчто связное и цѣльное, что г. Авенаріусу и удалось на столько, на сколько это вообще возможно. Такимъ образомъ, сводъ его состоитъ изъ 4-хъ отдѣловъ: былины кіевскія (всего 24 былины); новгородскія (4 былины); былины новѣйшаго періода, т. е. историческія пѣсни о Москвѣ и о казачествѣ (всего 8) и четыре безъимянныя разрозненныя былины и пѣсни. Прочитавъ ихъ внимательно подрядъ и пользуясь обильными примѣчаніями и алфавитнымъ указателемъ собственныхъ именъ и неупотребительныхъ нынѣ выраженій, каждый юноша смѣло можетъ сказать, что онъ знаетъ русскій богатырскій эпосъ.

Придаетъ красоту этому объемистому и притомъ недорогому сборнику обиліе прекрасныхъ рисунковъ художниковъ Прохорова и Каразина. Только кажется намъ не совсѣмъ скромнымъ со стороны составителя то, что онъ въ концѣ книги приложилъ хвалебные отзывы печати объ его сборникѣ.

Кожаный чулокъ. Пять разсказовъ *Фенимора Купера*. Пересказъ *О. Роговой*. Съ 48-ми рисунками. 2-ое изд., А. Ф. Девріена. Спб. 1894. Ц. 2 р.

Хорошій, увлекательный, сокращенный пересказъ пяти романовъ Фенимора Купера (*Звѣробоя*. *Послѣдняго изъ могиканъ*, *Слѣдопыта* и др.) навѣрно прочитается дѣтьми средняго и старшаго возрастовъ съ большимъ удовольствіемъ и пользою. Въ особенности мальчики, любители чтенія, гдѣ описываются приключенія и опасности, насладятся этою книгою вдосталь: тутъ они найдутъ ихъ въ изобиліи. Но и пользу извлекутъ изъ нея. Постепенныя проникновеніе и расширеніе цивилизаціи въ Америкѣ, изображеніе которыхъ занимаетъ въ книгѣ значительную часть, придаютъ ей характеръ исторической книги, знакомящей дѣтей съ нравами, обычаями и прошлымъ народа.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Н. А. Добролюбовъ (Статья третья).

Философскіе взгляды Добролюбова.—Борьба съ наивнымъ сантиментализмомъ подъ видомъ борьбы съ идеализмомъ.—Ученіе о гармоническомъ развитіи человѣка.—Роль личности въ исторіи.—Внутреннія противорѣчія.—Мелкія критическія замѣтки Добролюбова.—«Очеркъ исторіи русской поэзіи» А. Милюкова.—Орестъ Миллеръ.—Статьи о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Достоевскомъ.—Характеристика «Свистка».—Первые шаги Конрада Лиліеншвагера.—Протестъ литераторовъ противъ «Иллюстраціи».—Диспутъ Погодина и Костомарова. — Эпизодъ съ Якушкинымъ. — Общіе выводы. — Заключеніе.

I.

Соберемъ изъ различныхъ случайныхъ и неслучайныхъ размышленій Добролюбова все то, что передаетъ намъ его общія философскія представленія, его руководящіе принципы въ вопросахъ отвлеченнаго характера. Не предлагая статей по предметамъ теоретическаго знанія, Добролюбовъ тѣмъ не менѣе часто выражалъ различные взгляды, которые могутъ быть соединены въ одно цѣлое и представлены, какъ болѣе или менѣе систематическій сводъ понятій, управлявшихъ всѣми его конкретными сужденіями въ каждомъ данномъ случаѣ. Статей и замѣтокъ, дающихъ матеріалъ для этой части нашей работы, немного, и литературная обрисовка философскихъ идей Добролюбова, коренныхъ основъ того реализма, который открываетъ въ немъ г. Скабичевскій, выйдетъ по необходимости краткою и, быть можетъ, черезчуръ сжатою по недостатку надлежащихъ данныхъ. Не обладая солидной научной подготовкой, увлекаясь шумнымъ успѣхомъ естествознанія и реакціею противъ отвлеченной философіи, Добролюбовъ, дитя своего времени, постоянноназидаетъ разныхъ отсталыхъ людей, выступающихъ въ печати со своими устарѣвшими и окончательно сданными въ архивъ теоріями. Одинъ казанскій профессоръ издалъ сочиненіе, въ которомъ разбираются нѣкоторые физіологическіе и психологическіе вопросы не въ духѣ эпохи, съ оговорками противъ матеріализма и сенсуализма, — и вотъ Добролюбовъ читаетъ ему нотацію, которая вся проникнута самоувѣреннымъ настроеніемъ торжествующаго

реализма. Казанскій профессоръ выражаетъ неудовольствіе по поводу того, что естественныя науки пошли по узкому, одностороннему пути, а Добролюбовъ, съ усмѣшкою бравады, намекаетъ почтенному ученому, что онъ отсталъ отъ науки, что «каждая *страница* его физіологически-психологическаго *взгляда*» доказываетъ устарѣлость его тенденціи, что онъ изучалъ свой предметъ «въ тѣ доисторическія времена, когда еще и Лавуазье не было» [1]). Ему представляется, что новое направленіе науки должно быть «пуще ножа востраго» для людей, держащихся средневѣковыхъ понятій, ссылающихся въ своихъ произведеніяхъ на Бэкона, Сенеку и Цицерона вмѣсто новѣйшихъ изслѣдователей. Нынѣ, говоритъ критикъ, въ естественныхъ наукахъ усвоенъ положительный методъ. Нынѣ всѣ выводы науки основываются на опытныхъ, фактическихъ знаніяхъ, а не на «мечтательныхъ теоріяхъ, когда-то и кѣмъ-то составленныхъ наобумъ». Нынѣ не признаются старинные авторитеты. Нынѣ молодые люди, идущіе за вѣкомъ, не обинуясь, не только называютъ вздоромъ парацельсовскія мечтанія, но умѣютъ находить ошибки и заблужденія даже у Либиха. Нынѣ прогрессивное общество читаетъ Молешота, Дюбуа-Реймона и Фохта, «да и тѣмъ еще не вѣритъ на слово, а старается провѣрять и даже дополнять ихъ собственными соображеніями» [2]). Прежніе методы, прежніе взгляды, всѣ безъ исключенія, отвергнуты какъ никуда негодные. Люди, желающіе просвѣтить свой умъ, подходятъ къ самому источнику современнаго прогресса, ища руководства не у Платона, не у Окена, даже не у Шеллинга, а у наиболѣе смѣлыхъ и практическихъ учениковъ Гегеля. Казанскій профессоръ, вспоминающій Сенеку, протестующій противъ матеаріалистической тенденціи современной ему науки, отсталъ, сильно отсталъ отъ той передовой части общества, которою дѣятели «Современника» руководили не только на поприщѣ гражданственности, но и въ отвлеченныхъ сферахъ философіи. Глядя на этого профессора, который, живя въ провинціи, не услѣдилъ за новѣйшими естественно-историческими успѣхами и замѣшкался на пути научныхъ изслѣдованій, Добролюбовъ испытываетъ какое-то снисходительно жалостливое чувство: ему всегда грустно при видѣ птичекъ, запоздавшихъ въ отлетѣ, при видѣ воза, отставшаго отъ обоза и уныло подвигающагося среди пустынной дороги, при видѣ цыпленочка, который, заглядѣвшись по сторонамъ, не поспѣлъ вмѣстѣ съ другими за матерью и мечется какъ угорѣлый, отыскивая ее тамъ, гдѣ теперь, увы, ужъ нѣтъ ея, нѣтъ ея [3])... Всѣ разсужденія этого ученаго Добролюбовъ называетъ «мистически-алхимическими», и утверждаетъ, что въ средніе вѣка они, быть можетъ, показались-бы кому-нибудь схоластическою премудростью, но нынѣ, во дни

---

[1]) Современникъ 1858 г. № 3. «Новыя книги». *Физіологическо-психологическій сравнительный взглядъ на начало и конецъ жизни*, стр. 31.

[2]) ibidem, стр. 32.

[3]) ibidem.

такого явнаго умственнаго прогресса, они могутъ быть сочтены только за балаганное фиглярство.

Обращаясь къ человѣку, Добролюбовъ упраздняетъ всѣ до него существовавшія философскія теоріи о его природѣ во имя «гармоніи и единства» [1]). Если въ древности Аристотелю было прилично разсуждать о матеріи отдѣльно отъ души, то въ настоящее время надо, разъ навсегда, отказаться отъ безцѣльной діалектики на всякаго рода превыспренния, никому ненужныя темы—въ настоящее время, когда антропологія доказала съ полной ясностью, что всѣ наши усилія представить себѣ «отвлеченный духъ безъ матеріальныхъ свойствъ» всегда были и всегда останутся совершенно безплодными, а наука объяснила, что всякая человѣческая дѣятельность замѣтна лишь на столько, на сколько она обнаруживается въ тѣлесныхъ, внѣшнихъ проявленіяхъ [2]). Въ этомъ великая заслуга современнаго знанія. Оно отвергло схоластическое раздѣленіе человѣка и стало разсматривать его въ полномъ, неразрывномъ его составѣ, тѣлесномъ и духовномъ. Наука «увидѣла въ душѣ именно ту силу, которая проникаетъ собою и одушевляетъ» весь тѣлесный организмъ. На основаніи новѣйшихъ данныхъ, добытыхъ опытнымъ путемъ, мы имѣемъ полное право сказать, что душа человѣческая не есть какой-нибудь «кусочекъ тончайшей эфирной матеріи», а нѣкоторая сила, соединенная съ тѣломъ не случайно, не внѣшнимъ образомъ, а прочною, внутреннею связью. Оставивъ всѣ пустыя стремленія «мечтательнаго идеализма», не задаваясь никакими праздными и непосильными цѣлями, мы легко поймемъ, каковъ долженъ быть истинно-нормальный человѣкъ, могущій стать полезнымъ гражданиномъ своей страны. Нормальный человѣкъ — это человѣкъ съ здоровымъ организмомъ. Мы любимъ красоту, ловкость, грацію, но въ этой любви часто выражается наше презрѣніе къ простымъ формамъ. Въ лицахъ намъ нравится мечтательное, заоблачное выраженіе, блѣдный цвѣтъ. Въ строеніи тѣла мы восхищаемся тонкою таліею, «которую можно обхватить одной рукой», маленькими ручками и ножками. Искажая всѣ здоровыя потребности, «ложный и безплодный идеализмъ» мѣшаетъ намъ цѣнить по достоинству настоящую красоту—мускулистыя, сильно-развитыя руки и ноги. Извращая наши инстинкты и отвлекая насъ отъ здороваго и полезнаго труда на поприщѣ реальныхъ интересовъ, онъ вноситъ порчу въ наши сужденія о самыхъ простыхъ предметахъ. Мы требуемъ отъ каждаго, чтобъ онъ былъ героемъ добродѣтели. Мы «безусловно» осуждаемъ всякую ложь. Мы восхищаемся всѣми искусствами и утверждаемъ, что звуки музыки возбуждаютъ въ насъ что-то возвышенное, чистое, идеальное. Вотъ что значитъ носиться въ эмпиреяхъ и представлять въ ложномъ, хотя и заманчивомъ свѣтѣ то, что въ дѣй-

---

[1]) «Современникъ» 1858 г. № 5. Критика: *Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственной и нравственной дѣятельностью*, стр. 1—30.

[2]) ibidem, стр. 8.

ствительности не имѣетъ вовсе такого широкаго значенія. Наши восторженныя разсужденія объ искусствѣ скрываютъ въ себѣ «простое, пріятное удовлетвореніе слуха и глазъ», а краснорѣчивое расписываніе тонкихъ эстетическихъ ощущеній должно быть отнесено къ желанію «поидеальничать», обмануть себя и другихъ ничего не значущими словами. Убивая скуку въ легкихъ наслажденіяхъ красками и звуками, мы научаемся придавать нашимъ разговорамъ фальшивый колоритъ возвышенной поэзіи. Многіе ли способны цѣнить Шекспира и Рафаэля? Есть-ли смыслъ въ тѣхъ «розовыхъ цвѣтахъ идеализма», которыми мы убираемъ «простую, весьма понятную склонность къ женщинѣ»? [1]). Добролюбовъ съ раздраженіемъ обрушивается на тѣхъ, которые поддерживаютъ въ обществѣ интересъ къ разнымъ идеалистическимъ запросамъ. Онъ бьетъ ихъ насмѣшкою, укоряетъ ихъ за то, что они не умѣютъ двигаться по пути прогресса съ надлежащею силою, что они своими отступленіями и колебаніями задерживаютъ тріумфальное шествіе отечественнаго просвѣщенія съ его высоко поднятымъ знаменемъ здраваго, всѣмъ доступнаго реализма. «Идеализмъ и матеріализмъ! восклицаетъ онъ. О, сколько условій для пріятнаго разговора соединяетъ въ себѣ эта прекрасная тема! Человѣкъ удаляется въ область чистой мысли, гдѣ ничто дѣйствительное не смущаетъ его — ничто, потому что самый матеріализмъ есть не болѣе, какъ милое отвлеченіе, въ родѣ хорошенькой модели паровоза, на которой, конечно, нельзя ѣхать, но для которой зато не нужно ни воды, ни дровъ, ни рабочихъ» [2])!.. Наивные люди продолжаютъ писать о ничтожнѣйшихъ предметахъ съ важностью и глубокомысліемъ—продолжаютъ писать въ такое время, когда «антропологія доказала», а «наука объяснила» и распространила во всеобщее свѣдѣніе, что «сила есть неизбѣжное свойство матеріи и что матерія существуетъ для нашего сознанія лишь въ той мѣрѣ, какъ обнаруживаются въ ней какія-нибудь силы». Пусть-бы толковали они объ идеализмѣ въ гостиныхъ, но оставили-бы въ покоѣ литературу! Пусть-бы они морочили своими отсталыми интересами и взглядами людей, праздно шатающихся по пустыннымъ дорогамъ мистицизма и схоластики, но не мѣшали-бы прогрессирующему обществу идти своею дорогою въ такое время, когда катехизисъ настоящей, либеральной науки обнародованъ лучшими русскими публицистами.

Реализмъ въ наукѣ о человѣкѣ вообще и реализмъ въ наукѣ о человѣкѣ, какъ о соціальной единицѣ,—такова нехитрая философія писателей «Современника». Покончивъ съ «мечтательнымъ идеализмомъ», Добролюбовъ немногими фразами очерчиваетъ свое простое, здравое отношеніе къ сложнымъ вопросамъ историческаго развитія государствъ и обществъ. По его категорически выраженному убѣжденію, человѣкъ не развиваетъ

---

[1]) ibidem, стр. 13.

[2]) «Современникъ» 1859 г. № 8. Русская литература. *Сватовство Чепскаго или матеріализмъ и идеализмъ. О неизбѣжности идеализма въ матеріализмѣ*, стр. 262.

изъ себя никакихъ понятій: онъ получаетъ ихъ изъ внѣшняго міра [1]). Во всемъ онъ видитъ полную зависимость человѣческой личности отъ внѣшнихъ силъ и обстоятельствъ. Съ большою злостью осуждаетъ онъ русскія историческія изслѣдованія, въ которыхъ постоянно выступаютъ какіе-то герои, совершающіе невѣроятные подвиги и перевороты неизвѣстно какими средствами. Русскіе ученые, говоритъ онъ, не хотятъ понять, что всякая историческая личность составляетъ не болѣе, какъ искру, которая можетъ взорвать порохъ, но не можетъ воспламенить камней, что даже самый великій человѣкъ ничтоженъ предъ общимъ ходомъ исторіи, ничтоженъ и безсиленъ, если обстоятельства не благопріятствуютъ его культурнымъ и политическимъ замысламъ [2]). Историческіе преобразователи сами находятся подъ вліяніемъ понятій и нравовъ того времени и того общества, на которое они хотятъ воздѣйствовать силою своего генія, ибо «извѣстно всѣмъ и каждому, что человѣкъ не творитъ ничего новаго, а только перерабатываетъ существующее». Въ реформахъ Петра Добролюбовъ не видитъ ничего насильственнаго: многія изъ нихъ были вызваны дѣйствительными нуждами и стремленіями народа и вышли изъ историческихъ событій древне-русской жизни. Петръ Великій не внесъ чуждыхъ принциповъ въ тѣ элементы государственнаго устройства, которые можно было бы назвать основными, національными. Всѣ историческія изслѣдованія, сдѣланныя подъ чисто государственнымъ угломъ зрѣнія, говоритъ Добролюбовъ, всегда окажутся чрезвычайно односторонними. Народныя массы—ихъ жизнь, ихъ понятія, ихъ стремленія — должны быть приняты во вниманіе прежде всего: въ народѣ есть такая сила на добро, какой положительно нѣтъ «въ томъ развращенномъ и полупомѣшанномъ обществѣ, которое имѣетъ претензію одного себя считать образованнымъ и годнымъ на что-нибудь дѣльное», въ народѣ заключается условіе всякаго историческаго успѣха, всякой живой реформы на пользу государства и общества [3]).

Вотъ все то немногое отвлеченно философское, которое можно найти въ статьяхъ Добролюбова разсматриваемой группы: наивное убѣжденіе, что современное естествознаніе разрѣшило всѣ вопросы мысли, твердая вѣра въ спасающую силу реализма, борьба противъ разныхъ сантиментальныхъ нелѣпостей подъ видомъ борьбы противъ «мечтательнаго и безплоднаго идеализма», пропаганда здороваго и трезваго отношенія къ различнымъ сторонамъ физической жизни, съ ея простыми и весьма понятными склонностями, подъ видомъ пропаганды гармоніи и единства, затѣмъ — взглядъ на человѣка, какъ на произведеніе обстоятельствъ и среды, отрицаніе самостоятельной роли личности въ историческомъ раз-

---

[1]) «Современникъ» 1858 г. № 5. Критика, стр. 21.

[2]) «Современникъ», 1858 г. № 2. Новыя книги, *Жизнь Магомета* стр. 170, 174.

[3]) «Современникъ», 1858 г. № 6. Критика: *Первые годы царствованія Петра Великаго*, стр. 144, 150. «Современникъ» 1858 г. № 7. Критика, стр. 1. «Современникъ» 1859 г. № 9. Современное обозрѣніе. *О распространеніи трезвости въ Россіи*, стр. 35.

витіи человѣчества и подчеркнутое сочувствіе народнымъ массамъ преимущественно передъ развращеннымъ, полупомѣшаннымъ обществомъ безсильной интеллигенціи—таково то реалистическое міровоззрѣніе, которое, по словамъ г. Скабичевскаго, можно найти въ каждой статьѣ Добролюбова. Вчитываясь въ произведенія публициста «Современника», добросовѣстно отдавая себѣ отчетъ во всемъ томъ, что онъ выражалъ иногда съ апломбомъ, иногда съ язвительною усмѣшкой по адресу своихъ ретроградныхъ журнальныхъ сотоварищей, трудно понять, какимъ образомъ этотъ сборъ наивныхъ, безсодержательныхъ, хотя и задорныхъ фразъ могъ производить какое бы то ни было положительное впечатлѣніе на интеллигентное русское общество. Вы видите человѣка, который не мыслилъ на чисто-научныя темы, не обладалъ никакими опредѣленными знаніями ни въ области философіи, ни въ области естественно-историческихъ изслѣдованій и который, тѣмъ не менѣе, докладываетъ вамъ, что всѣ метафизическія ученія, во дни Чернышевскаго и его сподвижниковъ, должны быть признаны пошлымъ, балаганнымъ фиглярствомъ. На замѣчаніе казанскаго профессора касательно безсмертія человѣческой души Добролюбовъ ехидно отвѣчаетъ, что между всѣми образованными людьми «давно уже не существуетъ никакихъ сомнѣній» въ этомъ вопросѣ. Всѣ полемическія возраженія противъ того одностороннаго направленія, которое приняли естественныя науки, онъ опровергаетъ голословными ссылками на современный прогрессъ въ лицѣ Фохта и Молешота. Въ сознаніи Добролюбова не возникаетъ даже мысли о томъ, что естественныя науки не только ничего не потеряли бы, но прямо выиграли бы, вступивъ въ союзъ съ тою отвлеченною философіею, которую онѣ отвергали въ то время, какъ врага, только по недоразумѣнію, по реакціонной ошибкѣ, не видя, что ея истинныя стремленія идутъ на встрѣчу всякому знанію, какъ умозрительному, такъ и экспериментальному. Повторяя пустыя фразы, которыя носились въ мало-интеллигентныхъ юношескихъ кругахъ русскаго общества, Добролюбовъ низводитъ свою собственную мысль на степень случайной и ограниченной журнальной програмы, которою еще можно было плѣнять передовыхъ дѣятелей тогдашней русской печати, но которою нельзя было сдѣлать ни одного завоеванія ни въ области науки, ни въ области философіи, нельзя было въ самомъ дѣлѣ подвинуть серьезныхъ людей по пути настоящаго умственнаго развитія. Естественно-научный методъ не противорѣчитъ философскому, а служитъ ему. Опытъ и умозрѣніе не противоположныя средства для добыванія знаній, но средства, другъ друга дополняющія и дополняющія такимъ образомъ, что опытъ никогда не можетъ выйти изъ свѣтлой сферы отвлеченныхъ идей и построеній. Двигаясь отъ идей, которыя составляютъ свѣтъ познанія, научное изученіе уже предполагаетъ опредѣленную философскую точку зрѣнія. Всякій анализъ совершается въ направленіи извѣстныхъ понятій и потому изслѣдованіе идей и понятій, изслѣдованіе чисто философское, должно быть положено въ

основаніе каждой экспериментальной науки. Философія—это наука о тѣхъ идеяхъ, безъ которыхъ не можетъ обойтись никакое отчетливое знаніе, каковъ бы ни былъ его предметъ, каковы бы ни были его методы. Элементъ сознанія долженъ быть принятъ въ разсчетъ при каждомъ научномъ изслѣдованіи, какъ внутренняя, творческая сила, отъ которой отправляется и къ которой возвращается анализъ всѣхъ конкретныхъ явленій. Такова тенденція идеализма, который Добролюбовъ смѣшивалъ съ игрою распущеннаго, болѣзненнаго воображенія. Таково то воздѣйствіе философіи на умы людей, которое казалось ему вреднымъ для русскаго прогресса. Добролюбовъ, убѣжденный въ правотѣ ходячихъ мнѣній, презрительно отшвыриваетъ отъ себя всѣ умозрительные вопросы и съ прямолинейностью реалиста, фрондирующаго противъ всякихъ эстетическихъ фантазій, противополагаетъ мускулистыя ноги и руки маленькимъ ручкамъ и ножкамъ, какъ единственно нормальную форму органическаго развитія. Добролюбовъ издѣвается надъ тѣми, которые восторгаются искусствами, убѣжденный въ томъ, что Шекспиръ и Рафаэль не могутъ вызвать въ образованныхъ людяхъ полнаго восхищенія — и при этомъ онъ опять-таки обстрѣливаетъ язвительными шутками тотъ мечтательный идеализмъ, съ которомъ онъ борется повсюду въ назиданіе либеральнымъ современникамъ. Ему представляется, будто кто-то обнаружилъ въ отвлеченномъ духѣ матеріальныя свойства! Онъ увѣренъ, будто антропологія доказала, а наука объяснила, что душа есть сила, которая проникаетъ матерію, не замѣчая при этомъ, что такая упрощенная постановка вопроса имѣетъ уже черезъ-чуръ грубый, догматическій характеръ. Вотъ какими соображеніями Добролюбовъ, щеголяя въ котурнахъ прогресса, отстаиваетъ одинъ изъ главнѣйшихъ пунктовъ журнальнаго реализма. Отсутствіе положительныхъ научныхъ свѣдѣній даетъ себя чувствовать на каждомъ шагу, незнакомство съ движеніемъ философской мысли бьетъ въ глаза, а люди, пишущіе исторію русской литературы, не безъ восторга указываютъ на здравый характеръ его общаго теоретическаго міровоззрѣнія. Въ этихъ фразахъ Добролюбова, выставляемыхъ въ поученіе подростающимъ русскимъ поколѣніямъ, отсутствуетъ логическая дисциплина и, кромѣ рецензентской бойкости, не чувствуется ничего сильнаго, смѣлаго и оригинальнаго, а ратоборцы отечественнаго просвѣщенія, съ благоговѣніемъ правовѣрныхъ учениковъ и преемниковъ, продолжаютъ и до сихъ поръ разрабатывать на страницахъ прогрессивныхъ журналовъ эти самыя безжизненныя и сбивчивыя понятія, воздвигая на нихъ, какъ на непоколебимыхъ краеугольныхъ камняхъ, зданіе россійскаго благополучія.

Не большею состоятельностью отличается и ученіе Добролюбова о гармоническомъ развитіи человѣка. Въ наивномъ убѣжденіи, что душа есть извѣстная сила матеріи, проникающая человѣческое тѣло, Добролюбовъ безъ затрудненій разрѣшаетъ одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ философскаго мышленія — вопросъ о соотношеніи матеріи и духа: надо

сдѣлать такъ, проповѣдуетъ онъ съ упорствмъ журнальнаго педагога, чтобы физическая дѣятельность не шла въ разрѣзъ съ дѣятельностью умственною, чтобы обѣ стороны человѣческой жизни развивались съ равномѣрною силою, паралельно и согласно. Если духовное начало не имѣетъ никакихъ преимуществъ предъ началомъ матеріальнымъ, если, въ самомъ дѣлѣ, «антропологія доказала», а «затѣмъ наука объяснила», что отвлеченный духъ обладаетъ матеріальными свойствами, то отсюда съ очевидностью слѣдуетъ, что всякая борьба съ физическими стремленіями и страстями, во имя разума и нравственной свободы, всякое желаніе обратить наше тѣло въ орудіе для достиженія высшихъ, идеальныхъ цѣлей—должны быть признаны не только безполезными, но и вредными для гармоническаго развитія всего человѣка. Считая напрасными всѣ попытки провести опредѣленную черту между духовными и тѣлесными функціями, между первоначальными и производными силами жизни, Добролюбовъ не видитъ той естественной борьбы различныхъ началъ, которая совершается въ самомъ человѣкѣ и даетъ направленіе всему его развитію. Внутренняя драма, сообщающая такой возвышенный характеръ нашей духовной жизни, соперничество противоположныхъ стремленій, жажда физическихъ наслажденій, умѣряемая противодѣйствіемъ эстетическихъ и нравственныхъ понятій, движеніе и борьба свѣтлыхъ идей противъ темныхъ, пригибающихъ къ землѣ инстинктовъ — все это ускользаетъ отъ его вниманія. Задача человѣческаго развитія выступаетъ въ его статьяхъ въ самыхъ примитивныхъ выраженіяхъ: нужно блюсти физическое здоровье, во *всякой* болѣзни слѣдуетъ видѣть «нарушеніе правильнаго отношенія между частицами, входящими въ составъ нашего организма», нужно всѣми силами души оберегать себя отъ пустыхъ и безплодныхъ философскихъ мечтаній. Не осуждайте ничего *безусловно*, не утверждайте, что Рафаэль и Шекспиръ вызываютъ въ душѣ вашей восторгъ, не убирайте розовыми цвѣтами идеализма простую, весьма понятную склонность къ женщинѣ... Добролюбовъ представляетъ себѣ гармонію между духовными и физическими стремленіями съ первобытною простотою. Двѣ эти силы должны быть, по его соображеніямъ, приведены въ такое отношеніе, чтобы каждая изъ нихъ, такъ сказать, насыщалась въ достаточной мѣрѣ, пропорціонально ея потребностямъ. Пусть физическія стремленія будутъ уважены, какъ естественныя требованія матеріальной части нашего существа, а стремленія духовныя, заключенныя въ строго реалистическую рамку, пусть найдутъ себѣ подходящее поприще для такого развитія, которое принесло бы пользу данному порядку вещей въ данномъ обществѣ. Чуждый философскаго образованія, Добролюбовъ тѣшитъ себя словами о гармоніи тамъ, гдѣ нужно было бы говорить о подчиненіи разнообразныхъ силъ въ человѣкѣ высшимъ нравственнымъ принципамъ и идеаламъ. Онъ не видитъ, что физическая сторона въ жизни человѣческой не можетъ играть самостоятельной роли паралельно умственной, но должна служить ей въ тѣхъ цѣляхъ, которыя ставитъ

себѣ свободно развивающійся духъ человѣческій — и если-бы по поводу отрывочныхъ фразъ, въ которыхъ нѣтъ и слѣда философской критики, было прилично вооружаться настоящими научными доказательствами, пришлось бы сказать, что самое понятіе Добролюбова о тѣлѣ, о матеріи, о силѣ, не освѣщенное научно-философскою теоріей познанія, лишено какой бы то ни было убѣдительности и значенія. Добролюбовъ хочетъ привести въ гармонію то, что въ его обрисовкѣ, если бы она была исполнена съ необходимыми подробностями, по строгому методу науки, должно и можетъ только противорѣчить другъ другу.

Изъ двухъ разсмотрѣнныхъ посылокъ буржуазнаго ученія съ неизбѣжностью вытекаетъ взглядъ на человѣка, какъ на произведеніе обстоятельствъ и на историческую личность, какъ на простую выразительницу извѣстныхъ общественныхъ стремленій въ данную эпоху. Человѣкъ не развиваетъ изъ себя *никакихъ* понятій, не творитъ *ничего новаго* и, даже будучи великимъ, онъ *всегда* безсиленъ предъ общимъ ходомъ исторіи. Критикъ не задается вопросомъ, гдѣ же именно, если не въ самомъ человѣкѣ, разрабатываются научныя и философскія идеи? Не сравнивая между собою различныхъ періодовъ въ исторіи человѣчества, онъ не видитъ, что каждою эпохою вносятся въ сознаніе общества новыя понятія, новыя нравственныя и умственныя стремленія именно черезъ посредство людей съ талантомъ, съ оригинальнымъ умомъ, съ творческимъ вдохновеніемъ. Если генію не дано творить ничего самостоятельнаго, а дано только перерабатывать существующее, въ чемъ же заключаются тогда прогрессивные успѣхи людей на пути духовной и соціальной культуры? Если всякій человѣкъ ничтоженъ предъ общимъ ходомъ исторіи, зачѣмъ тогда бороться съ условіями жизни дѣятельною силою гражданскаго и нравственнаго протеста? Если обстоятельства всесильны, если творчество во всѣхъ сферахъ дѣятельности есть пустая химера, если развитіе общества совершается по внѣшнимъ, механическимъ законамъ, надо разъ навсегда отказаться отъ мысли агитировать во имя свободы и справедливости. Добролюбовъ не замѣчаетъ, что его соображенія вращаются въ заколдованномъ, порочномъ кругѣ. Видя въ процессѣ исторіи одну только смѣну обстоятельствъ, отказывая человѣческой личности въ способности собственнымъ, индивидуальнымъ воздѣйствіемъ совершать какія бы то ни было реформы въ общественномъ бытѣ, онъ постоянно взываетъ, тѣмъ не менѣе, къ политической иниціативѣ отдѣльныхъ людей, не подозрѣвая, что между его философскими понятіями и практическими требованіями нѣтъ никакого логическаго согласія. Онъ не видитъ, что изъ принциповъ наивнаго реализма нельзя сдѣлать рѣшительно никакихъ радикальныхъ выводовъ. Играя громкими словами и краснорѣчивыми фразами, реализмъ по содержанію своему противорѣчитъ всякой смѣлой политической теоріи и, стремясь къ послѣдовательности, долженъ былъ бы оказывать настоящее сопротивленіе революціоннымъ порывамъ людей, долженъ былъ бы разъ навсегда отречься отъ всякихъ либеральныхъ пре-

тензій: только *свободному человѣку* нужна свобода гражданская, только силамъ, имѣющимъ способность развиваться по собственнымъ законамъ и такимъ образомъ приближать человѣка къ его высшему назначенію, только нравственнымъ идеаламъ, свободнымъ отъ всякаго внѣшняго гнета, можетъ быть нужна и должна быть дана возможность осуществляться въ конкретныхъ жизненныхъ фактахъ. Отрицая внутреннюю человѣческую свободу, реализмъ подкапывается подъ самый принципъ свободы вообще и, незамѣтно для себя, противъ своихъ собственныхъ практическихъ намѣреній, ведетъ людей къ духовному и политическому рабству. Для идеальныхъ стремленій человѣчества, выраженіемъ которыхъ всегда были всѣ историческія попытки европейской интеллигенціи создать для себя опредѣленныя соціальныя условія жизни, водворить справедливость и правду во всѣхъ областяхъ государственнаго существованія, нужны объясненія не грубо утилитарныя, не реалистически односторонія, а объясненія философскія въ настоящемъ смыслѣ слова. При всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ Добролюбова, разсужденія его о человѣкѣ, объ исторической личности, объ отношеніи естественныхъ наукъ къ отвлеченному, метафизическому знанію, по самому характеру своему, должны были изсушать въ обществѣ всѣ живыя чувства, всѣ источники вдохновенія, всякую склонность къ безтрепетной борьбѣ за вѣчные идеалы человѣчества. Мертвыя по своему содержанію, блещущія лишь поверхностнымъ либерализмомъ университетскихъ коридоровъ, не выдержанныя въ своихъ собственныхъ предѣлахъ, не проникнутыя энтузіазмомъ глубокомыслящей натуры, они не могли имѣть настоящаго, прочнаго, благотворнаго вліянія на ходъ вещей въ Россіи. Даже счастливая догадка Добролюбова, что народныя массы играютъ великую роль въ процессѣ историческаго развитія человѣчества, превращается подъ перомъ его въ бездоказательную либеральную фразу, направленную противъ великихъ людей, ведущихъ эти массы къ великимъ цѣлямъ. Обезличивая историческихъ дѣятелей до степени простыхъ выразителей уже назрѣвшихъ въ обществѣ мыслей и такъ или иначе формулированныхъ потребностей, Добролюбовъ извращаетъ самое понятіе о духовномъ творчествѣ, вносящемъ живое движеніе въ инертную стихію народнаго существованія, пробуждающемъ въ народныхъ массахъ тѣ стремленія и силы, которыя заложены въ ихъ природѣ, но могутъ подолгу оставаться въ полномъ спокойствіи безъ энергическаго призыва историческаго героя. Добролюбовъ не видитъ, что даже жизнь этихъ массъ совершается вовсе не по внѣшнимъ механическимъ законамъ. Онъ не знаетъ настоящей цѣны смѣлой духовной иниціативы людей, умѣющихъ подходить къ народу со словами, прямо обращенными къ его внутреннимъ спящимъ силамъ, умѣющихъ поднимать общество на борьбу съ обстоятельствами вопреки обстоятельствамъ и въ самомъ центрѣ обстоятельствъ. Онъ не знаетъ краснорѣчивѣйшихъ фактовъ исторіи. Онъ не знаетъ, что на исторической аренѣ мечтатели и идеалисты, съ которыми дѣятели «Современника» борются всѣми возмож-

ными средствами—то патетическими нападками на ихъ «отсталыя» теоріи, то разнузданными шутками и вульгарнымъ хохотомъ «Свистка», были всегда самыми упорными защитниками народнаго блага, самыми смѣлыми, фанатическими провозвѣстниками свободы и справедливости.

II.

Въ рядѣ статей, написанныхъ Добролюбовымъ на чисто литературныя темы и образующихъ третью категорію его журнальныхъ работъ, мы находимъ въ практическомъ примѣненіи тѣ общія философскія понятія, которыя мы только что изложили и оттѣнили необходимыми критическими замѣчаніями. Добролюбовъ не даетъ намъ никакихъ настоящихъ литературныхъ характеристикъ и, увлеченный публицистическою задачею, даже не прослѣживаетъ того направленія, которое приняло въ его время русское искусство, не открываетъ преемственной связи, соединяющей дѣятельность новыхъ и старыхъ писателей. Его разсужденія не выходятъ изъ узкой сферы однообразнаго резонерства о различныхъ вопросахъ текущей общественной жизни, его анализъ нигдѣ не углубляется въ сюжетъ литературнаго произведенія, съ цѣлью открыть какія-нибудь общія психологическія начала, освѣтить опредѣленнымъ философскимъ понятіемъ сложные процессы человѣческаго творчества. Не научная по своимъ пріемамъ и задачамъ, вся критическая работа Добролюбова, не смотря на талантливость изложенія, не смотря на мѣткость его холоднаго, безжалостнаго остроумія, не вноситъ ничего новаго, свѣжаго и оригинальнаго въ литературное сознаніе общества, не прибавляетъ ни единаго штриха къ тому, что было сказано о русскомъ искусствѣ въ лучшихъ статьяхъ Бѣлинскаго. Не считая своею обязанностью задаваться какими-бы то ни было отвлеченными вопросами, онъ все свое вниманіе сосредоточиваетъ на томъ, что могло-бы привести въ движеніе реальные интересы русскаго политическаго строя. Каждое болѣе или менѣе замѣтное событіе въ области искусства онъ обсуживаетъ съ узко-утилитарной точки зрѣнія, очевидно полагая, что только такимъ путемъ писатель можетъ оказывать обществу существенную пользу. Не владѣя настоящими орудіями критики, не волнуясь любовью къ искусству, соприкасаясь съ поэзіей только стихотворнымъ даромъ фельетонной пересмѣшки и карикатуры, Добролюбовъ не говорилъ и не умѣлъ говорить о художественномъ творчествѣ тѣми словами убѣжденія и страсти, безъ которыхъ всѣ разсужденія о литературныхъ предметахъ мертвы и, въ смыслѣ критическаго разбора, лишены всякаго серьезнаго значенія даже для своего времени.

Нѣсколько статеекъ Добролюбова передаютъ намъ его реалистическую точку зрѣнія въ литературныхъ вопросахъ съ полною наглядностью. Разсматривая стихотворенія Полежаева, критикъ распространяется о значеніи обстоятельствъ въ жизни человѣка. Бѣлинскій, изучившій литературную судьбу этого замѣчательнаго дарованія, съ полной увѣренностью

сказалъ, что Полежаевъ былъ жертвою не судьбы, а другихъ, внутреннихъ обстоятельствъ. По убѣжденію Добролюбова, въ жизни Полежаева судьба играла самую главную роль. При другихъ обстоятельствахъ, при другой жизненной обстановкѣ этотъ энергическій талантъ не погибъ-бы жертвою неравной и безплодной борьбы и непремѣнно пробился-бы «сквозь кору житейскихъ дрязговъ, общественныхъ несправедливостей и людскихъ предразсудковъ» [1]). Обозрѣвая «Губернскіе очерки» Щедрина, Добролюбовъ опять-таки заводитъ пространный разговоръ о силѣ соціальныхъ обстоятельствъ, съ которою не могутъ справиться талантливыя русскія натуры: всѣ ихъ провинности ложатся, по его словамъ, на отвѣтственность условій жизни. Люди новаго поколѣнія «окружены средою». Идеи времени не проходятъ въ жизнь отъ противодѣйствія «печальнаго воспитанія и всей окружающей среды». Молодое русское общество не даетъ настоящихъ протестантовъ, «по причинѣ неблагопріятныхъ обстоятельствъ» [2]). Обрисовывая поэтическій характеръ Полонскаго, Добролюбовъ говоритъ: недовольный «окружающей дѣйствительностью», поэтъ выразилъ свой протестъ противъ нея тѣмъ, что создалъ себѣ особый міръ и населилъ его особыми существами [3]). Въ статейкѣ, посвященной четырехъ-актной комедіи Алексѣя Потѣхина «Мишурѣ», Добролюбовъ обращается къ писателямъ, совѣтуя имъ, чтобы они боролись съ обстоятельствами жизни «громкимъ крикомъ». «Кто знаетъ, замѣчаетъ онъ, можетъ быть, и добьетесь чего-нибудь. А если нѣтъ, такъ будьте увѣрены, что вслѣдъ за вами явится Илія Ѳесвитянинъ, носящій въ сердцѣ другого Бога, Бога правды и силы, и тогда, по его смѣлому, самоувѣренному воззванію, низойдетъ съ неба на землю огонь, поѣдающій зло, и, вслѣдъ за нимъ, благотворный дождь на засохшую почву» [4]). Двѣ статейки, разсматривающія стихотворныя и прозаическія произведенія Плещеева, представляютъ собою настоящій сводъ реалистическихъ соображеній, обращенныхъ къ русской общественности. Каковы должны быть обстоятельства жизни, восклицаетъ Добролюбовъ, когда они такъ необходимо, фатально, такъ безобразно сламываютъ самыя благородныя и сильныя натуры! Въ послѣдніе годы Пушкинъ съ грустью признавался, что въ сердцѣ его, смиренномъ бурями, настала лѣнь и тишина. Жестокая судьба побѣдила Лермонтова. Всесильная среда сокрушила такого здороваго и могучаго человѣка, какъ Кольцовъ. Плещеевъ... «Тяжело становится на душѣ, когда припомнишь исторію этихъ личностей. Зачѣмъ боролись и страдали бѣдные труженики? Зачѣмъ ихъ борьба была такъ безплодна, и зачѣмъ эти тысячи и милліоны людей, окружавшихъ ихъ, такъ холодно, безучастно смотрѣли на ихъ внутреннія страданія, такъ легко дали имъ пасть подъ

---

[1]) «Современникъ», 1857 г., № 9. Новыя книги, стр. 2.

[2]) «Современникъ», 1857 г., № 12. Критика. «Губернскіе очерки», стр. 66, 67 и др.

[3]) «Современникъ», 1859 г., № 7. Новыя книги. «Стихотворенія Я. П. Полонскаго», стран. 89.

[4]) «Современникъ», 1858 г. № 8. Новыя книги. «Мишура», комед. въ 4 дѣйст. стр. 229.

гнетомъ судьбы?» [1]). Сила обстоятельствъ, съ удивительной тонкостью замѣчаетъ Добролюбовъ, не дала развиться въ Плещеевѣ убѣжденіямъ, вполнѣ опредѣленнымъ, ровнымъ, цѣльнымъ. Среда заѣдаетъ человѣка— вотъ мотивъ для всякаго прогрессивнаго писателя, мотивъ хорошій, сильный, которымъ никто до сихъ поръ еще настоящимъ образомъ не воспользовался. «Школа заѣдающей среды» не дала еще вполнѣ художественныхъ разсказовъ именно потому, что она не съумѣла ярко и полно представить, какая сила заѣдаетъ русскаго человѣка, «почему именно его ѣдятъ и зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть» [2]). Въ обличительныхъ произведеніяхъ современной литературы много недоговореннаго, нѣтъ всеобъемлющей правды, «заѣденная личность» изображена съ подходящею рельефностью, но среда, обстоятельства показаны въ слишкомъ туманныхъ, расплывающихся чертахъ. Въ нихъ исполненіе далеко ниже идеи, которая могла-бы придать имъ жизненность. Желая ободрить русскихъ людей, готовыхъ выступить на борьбу съ пошлою дѣйствительностью, желая дать имъ нѣкоторую практическую философію, которая руководила-бы ими на жизненномъ пути, Добролюбовъ тутъ-же излагаетъ свои соображенія объ источникѣ всѣхъ нравственныхъ побужденій въ человѣкѣ. Прекрасными стремленіями, пишетъ онъ, мы признаемъ всѣ естественныя, неиспорченныя стремленія человѣческой природы. Уваженіе къ чужимъ правамъ, чувство гуманности и справедливости не являются слѣдствіями какихъ-нибудь возвышенныхъ идей — нѣтъ. Онѣ продиктованы разсчетомъ и выводятся изъ разсчета. Онѣ выгодны для человѣка. Тѣ стремленія и понятія, которыя обыкновенно выставляются въ романахъ, какъ что-то особенное, высшее, поднимающее людей надъ уровнемъ обыкновенной толпы, въ сущности чрезвычайно просты и естественны. Каждый хочетъ, чтобы никто не стѣснялъ его, чтобы ему была предоставлена возможность пользоваться «личными, неотъемлемыми средствами и безмездными, никому не принадлежащими, благами природы». Каждому понятно, что, ища свободы и независимости, не слѣдуетъ посягать на права другихъ, не слѣдуетъ вредить чужой дѣятельности. «Это самый простой законъ, по которому птица не старается свить гнѣздо именно на томъ мѣстѣ, гдѣ уже вьетъ гнѣздо другая птица, стадо барановъ спокойно раздѣляетъ между собою лугъ, гдѣ пасется» [3]). Всѣ высшія чувства, всѣ проявленія человѣческой ненависти къ деспотизму и рабству ничѣмъ не отличаются отъ простыхъ и естественныхъ желаній «пить,

---

[1]) «Современникъ», 1858 г., № 10. Библіографія. «Стихотворенія А. Н. Плещеева», стран. 189.

[2]) «Современникъ», 1860 г. № 7. Благонамѣренность и дѣятельность. Повѣсти и разсказы А. Плещеева, стр. 45. Слова: «зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть» вставлены въ полное собраніе сочиненій Добролюбова, т. III, стр. 315; въ «Современникѣ» они отсутствуютъ.

[3]) «Современникъ», 1860 г., № 7. Русская литература, стр. 48.

ѣсть, любить женщину» [1]). Мы не требуемъ героизма, заявляетъ Добролюбовъ, намъ теперь не нужны люди съ хорошими мечтами. Для искорененія общественныхъ неправдъ требуется не «слово убѣжденія», а «практическое пособіе». Прочь младенческія мечтанія, несбыточныя надежды и вѣрованія! Перестанемъ быть «платоническими любовниками» либерализма!.. Рядомъ съ этими монотонными, сбивчивыми, на тысячу ладовъ повторяющимися разсужденіями о заѣдающей средѣ, объ обстоятельствахъ, о безплодности теоретическихъ споровъ, о необходимости немедленныхъ, практическихъ пособій, постоянно выступаетъ въ бодрыхъ выраженіяхъ, оттѣненныхъ веселою ироніей, отрицательная тенденція Добролюбова по отношенію къ искусству, къ эстетикѣ, къ «безплодному и мечтательному идеализму». Кое-гдѣ блеснетъ отдѣльное критическое замѣчаніе, обличающее поэтическій вкусъ и чутье къ красотѣ, тонкую впечатлительность къ недостаткамъ художественной формы, нѣкоторый интересъ къ психологическому содержанію разбираемыхъ произведеній—блеснетъ и тутъ-же затеряется въ цѣлой грудѣ фразъ публицистическаго содержанія, не идущихъ къ дѣлу, ничего рѣшительно не выясняющихъ въ тѣхъ литературныхъ предметахъ, которые подлежали разбору. Иногда Добролюбовъ увлекается художественнымъ матеріаломъ и, довѣряясь эстетическому инстинкту, выводитъ свою мысль изъ тѣснаго круга гражданскаго резонерства—и тогда въ его рецензіяхъ пробивается сила настоящаго критическаго дарованія. Его сужденія о Ростопчиной, Жадовской, о Подолинскомъ, о Бенедиктовѣ, нѣкоторыя его замѣчанія о стихахъ Полонскаго, брошенныя почти небрежно, случайно, сатирическая оцѣнка, сдѣланная стихамъ Бѣшенцова, Розенгейма, фонъ Лизандера и другихъ — отличаются большою мѣткостью и выражены съ тою простотою сжатаго и не яркаго стиля, которая составляетъ отличительную, превосходную особенность всѣхъ его лучшихъ статей и замѣтокъ. Никто не умѣлъ лучше, чѣмъ онъ, открыть недостатокъ въ стихѣ, разоблачить пустоту и ничтожество напыщенной риторики. Никто не могъ поравняться съ нимъ остротою насмѣшки, облеченной самыми невинными выраженіями и нѣсколькими словами создающей въ читателѣ опредѣленное, желанное отношеніе къ данному предмету. Небольшая замѣтка о стихахъ Жадовской свѣтится какою-то внутренней красотою, въ которой отразилась безпорывная, прямая и, въ сущности, скорбная натура Добролюбова. Въ отдѣльныхъ строкахъ библіографической статейки объ изящномъ лирическомъ талантѣ Полонскаго чувствуется какая-то тихая, задавленная любовь къ природѣ, къ фантастическому элементу въ поэзіи. Но нигдѣ отрывочныя и летучія замѣчанія Добролюбова не соединяются въ опредѣленную систему. Общее содержаніе его критическихъ замѣтокъ имѣетъ публицистическій характеръ. Всѣ открытыя сужденія его о поэзіи, объ искусствѣ, о величайшихъ представителяхъ

---

[1]) Ibidem, стр. 49.

русскаго творчества лишены настоящей критической силы, сбивчивы и несостоятельны по своему философскому содержанію.

Въ довольно пространной статьѣ о книжкѣ А. Милюкова: «Очеркъ исторіи русской поэзіи» мы находимъ въ сгущенномъ видѣ основные взгляды Добролюбова на литературу вообще и на все прошедшее русской литературы въ частности. Слѣдуя за Милюковымъ, Добролюбовъ вырисовываетъ свою собственную точку зрѣнія на задачу русскаго искусства, кое въ чемъ дополняя его мысли, въ общемъ оставаясь повсюду вѣрнымъ его историческому методу. Милюковъ хотѣлъ показать, выражаясь его собственными словами, ходъ и значеніе идей, проявлявшихся въ древней и новой русской поэзіи. Вся русская поэзія, говоритъ онъ, представляетъ двѣ совершенно отдѣльныя картины: въ одной мы видимъ «неподвижно бѣдныя идеи», грубую фантазію, медленный упадокъ умственной жизни народа, въ другой — кипучую дѣятельность быстро развивающагося общества, воспрянувшаго послѣ вѣкового отчужденія. Новая русская поэзія приняла съ самаго начала двоякое направленіе — подражательное и самобытное. Направленіе подражательное познакомило и сблизило Россію съ европейскими идеями. Направленіе самобытное имѣло еще большее значеніе для развитія общества. Выразившись въ формѣ сатиры, оно постоянно боролось съ осадками стараго, до-Петровскаго варварства и съ тѣмъ наростомъ «ложно понятыхъ началъ европейской цивилизаціи, какой необходимо долженъ былъ возникнуть отъ пламенной жажды къ сближенію съ европейскою жизнью». Въ лицѣ Кантеміра, сатира, чуждая художественности, не оригинальная по формѣ, выразила совершенно опредѣленную общественную потребность, преслѣдуя враговъ образованія, начатаго Петромъ Великимъ. Подъ перомъ Фонъ-Визина и Грибоѣдова она напала на тѣхъ, которые удовлетворялись однѣми наружными формами европейской культуры. Въ поэзіи Державина она превратилась въ грозный бичъ, безпощадно казнившій обычаи и нравы предшествовавшаго поколѣнія. Въ картинахъ Пушкина и Лермонтова она представила «мелочь свѣтскихъ приличій», пустоту общественной жизни, холодное равнодушіе толпы къ свѣтлымъ идеямъ преобразованія. Наконецъ, въ созданіяхъ Гоголя она явилась высоко-художественною картиной русскихъ нравовъ, вѣрнымъ зеркаломъ недостатковъ и потребностей общества. «Какое великолѣпное зрѣлище представляетъ этотъ быстрый ходъ идеи просвѣщенія и борьба ея съ массою грубаго ослѣпленія, плода вѣковой неподвижности»!—восклицаетъ Милюковъ. Но русская поэзія, выражая только внутреннюю борьбу общественныхъ элементовъ, не имѣла и не могла имѣть до сихъ поръ значенія общечеловѣческаго. Геніальные русскіе поэты были великими представителями только *своего* общества. Даже Пушкинъ не всемірный поэтъ. Онъ занимаетъ въ русской литературѣ такое же мѣсто, какое занимаетъ Тегнеръ и Эленшлегеръ въ литературѣ шведской и датской. Онъ даже не можетъ быть названъ полнымъ представителемъ идей своего отечества. Истинно

великъ онъ только, какъ художникъ... Но приближается часъ, когда русское общество, «одухотворясь идеями просвѣщенія и цивилизаціи», начнетъ жизнь общечеловѣческую, и тогда русская поэзія станетъ приносить богатые вклады «въ общую сокровищницу искусства». Россія — въ будущемъ [1]).

Разбирая эту книжку Милюкова, Добролюбовъ обозрѣваетъ движеніе идей въ произведеніяхъ русскаго искусства. Осмѣивая разныхъ книжныхъ теоретиковъ, которые готовы думать, что литература заправляетъ исторіей, что она измѣняетъ государства, передѣлываетъ нравы и народный характеръ, онъ съ увѣренностью провозглашаетъ, что поэзія, искусства, науки слагаются *по* жизни, подчиняются жизни. Начиная съ Платона, пишетъ онъ, книжники возстаютъ противъ реализма, увѣряя, что только идеи могутъ имѣть настоящую дѣйствительность. Но пора освободиться отъ опеки идеологовъ. Пора бросить всѣ платоническія мечтанія. Пора понять, «что хлѣбъ не есть пустой значекъ, отраженіе высшей отвлеченной идеи жизненной силы, а просто хлѣбъ, объектъ, который можно съѣсть». [2]). Пора уразумѣть, что литература можетъ быть только служительницею общества на поприщѣ его реальныхъ интересовъ. Въ противоположность Милюкову, Добролюбовъ утверждаетъ, что въ русскомъ народѣ издревле хранилось много силъ для обширной и полезной дѣятельности. Но не имѣя возможности развиваться свободно, на полномъ просторѣ, народная жизнь съуживалась все болѣе и болѣе, а съ нею терялась, слабѣла и глохла народная поэзія. Росла и укрѣплялась только книжная словесность. Ломоносовъ много сдѣлалъ для успѣховъ науки, но «въ отношеніи къ общественному значенію литературы онъ не сдѣлалъ ничего»: его поэзія не шагнула дальше дидактическаго нравоученія и напыщеннаго прославленія бранныхъ подвиговъ. Дѣйствительной жизни онъ не зналъ. О затрудненіяхъ мужика, у котораго пала послѣдняя лошадь, онъ не считалъ возможнымъ говорить высокимъ слогомъ. Сумароковъ возставалъ противъ невѣжества, дворянской спеси, противъ взяточничества, но въ то же время сочинялъ трагедіи, въ которыхъ «герои вѣщали нелѣпѣйшія безсмыслицы». Произведенія Державина носятъ отпечатокъ отвлеченной, мертвой схоластики. Карамзинъ преподавалъ разныя высокія идеи, сидя «въ изящномъ креслѣ, въ комнатѣ, убранной со всѣми прихотями достатка» [3]). Жуковскій, поклонникъ и послѣдователь Карамзина, предавался поэтическимъ мечтаніямъ, стремился къ чему-то невѣдомому, заоблачному, туманному. Пушкинъ въ своей поэтической дѣятельности первый представилъ, не компрометируя искусства, настоящую русскую жизнь — и въ этомъ заключается его великое историческое зна-

[1]) А. Милюковъ. «Очеркъ исторіи русской поэзіи» II изданіе. Спб. 1858 г., стр. 218—224 и стр. 177—178.

[2]) «Современникъ» 1858 г., № 2. Критика. «О степени участія народности въ развитіи русской литературы», стр. 117.

[3]) «Современникъ» 1858 г., № 2. Критика, стр. 150.

ченіе. Но реальныя стремленія выразились въ Пушкинѣ «не съ тою широтою взгляда, какой можно было ожидать отъ его художественной личности». Въ немъ проглядываютъ опрятность Карамзина, мечтательность Жуковскаго и эпикуреизмъ Батюшкова, съ примѣсью вліянія Байрона, котораго Пушкинъ не понялъ и не могъ понять [1]). При всей громадности таланта, Пушкинъ только завершилъ собою «художественный, младенчески беззаботный и граціозно-ребяческій періодъ русской поэзіи» [2]). Натура неглубокая, увлекающаяся встрѣчными впечатлѣніями, онъ съумѣлъ овладѣть только формой русской народности, но не существомъ ея. «Недостатокъ прочнаго, глубокаго образованія мѣшалъ ему сознать прямо и ясно, къ чему стремиться, чего искать, во имя чего приступить къ рѣшенію общественныхъ вопросовъ»... Явился Гоголь. Изобразивъ всю пошлость современнаго общества, онъ вдругъ, ужаснувшись результатовъ, захотѣлъ представить идеалы, «которыхъ нигдѣ не могъ найти». Не будучи въ состояніи «шагнуть черезъ Пушкина до Державина, Гоголь шагнулъ назадъ до Карамзина». Онъ тоже не понялъ тайны русской народности. «Онъ перемѣшалъ хаосъ современнаго общества, кое-какъ изнашивающаго лохмотья взятой взаймы цивилизаціи, съ стройностью простой, чисто народной жизни, мало испорченной чуждыми вліяніями и еще способной къ обновленію на началахъ правды и здраваго смысла» [3]).

Подводя итоги всѣмъ этимъ разсужденіямъ, Добролюбовъ говоритъ: наша литература до сихъ поръ почти никогда не выполняла своего назначенія—служить выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій. Ближе къ этому идеалу стояли Лермонтовъ и Кольцовъ, но ихъ поэтическая работа оборвалась рано, не дойдя до конца. Только отъ нынѣшняго направленія можно ожидать чего-нибудь хорошаго. Только нынѣшніе дѣятели начинаютъ явно стыдиться своего незнакомства съ народомъ и своей отсталости во всѣхъ современныхъ вопросахъ [4]).

Книжка Милюкова написана съ талантомъ, но матеріалы русской поэзіи не разработаны въ ней съ достаточной полнотой. Это летучія разсужденія, нигдѣ не принимающія характера настоящаго историческаго изслѣдованія. Искусственно отрѣзывая интеллигенцію отъ прочаго міра, представляя новую русскую поэзію совершенно отдѣльною картиною развитія, чѣмъ-то вполнѣ самостоятельнымъ, ни въ чемъ не соприкасающимся съ понятіями и идеалами русскихъ массъ, Милюковъ не передаетъ намъ важнѣйшихъ свойствъ русской литературы. Можно подумать, что настоящее творчество совершенно отсутствуетъ въ произведеніяхъ русскаго искусства — творчество съ безотчетными порывами, съ вдохнове-

---

[1]) «Современникъ» 1858 № 2, Критика, стр. 154.

[2]) Сочиненія Добролюбова, т. III. Перепѣвы. Стихотворенія обличительнаго поэта, стр. 332.

[3]) «Современникъ» 1858 г., № 2. Критика, стр. 157.

[4]) ibidem, стр. 166.

ніемъ, стремящимся дальше ограниченной и узкой современности. За внѣшними признаками подражанія Милюковъ не видитъ самороднаго ключа новой русской поэзіи: народности въ лучшемъ смыслѣ этого слова, типическихъ особенностей русскаго творчества съ его малой, по выраженію Гоголя, привязанностью къ жизни и огромной привязанностью къ какому-то безграничному разгулу, съ его неудержимымъ стремленіемъ унестись куда-то вмѣстѣ съ звуками заунывной русской пѣсни. Изобилуя роскошными красками, образцами тончайшаго артистическаго искусства, русская поэзія народна по своему типу, по общему характеру своихъ идеальныхъ стремленій, и въ этой ея народности — внутренняя, духовная связь ея съ другими европейскими литературами. Произведенія Пушкина — первое истинно-художественное воплощеніе цѣлаго національнаго міровоззрѣнія. Въ законченномъ искусствѣ этого русскаго великана мысль и форма слились въ одно нераздѣльное цѣлое, и даже внѣшняя красота его упругаго, смѣлаго стиха служитъ только чувственнымъ выраженіемъ красоты внутренней, духовной. Выше Пушкина русское искусство до сихъ поръ еще не поднималось. Человѣкъ съ глубокими настроеніями, съ умомъ могучимъ, геніальнымъ, ясновидящимъ, Пушкинъ перелилъ въ свои пѣсни тоску русскаго народа, со всею ширью удалого національнаго размаха, со всѣмъ великолѣпіемъ роднаго пейзажа — съ его далекими, то поднимающими, то угнетающими духъ горизонтами.

Улучшая нѣкоторыя частности въ разсужденіяхъ Милюкова, Добролюбовъ ни въ чемъ не идетъ дальше ординарныхъ взглядовъ толпы на задачу литературы и не даетъ ни одной вѣрной и полной характеристики прошедшихъ дѣятелей русской печати. Провозглашая, что поэзія, искусства, науки слагаются и должны слагаться по жизни, онъ на самую жизнь смотритъ, какъ на нѣчто, стоящее внѣ человѣческой мысли и управляющее всѣми, даже внутренними нашими стремленіями по своимъ собственнымъ законамъ. Вѣрный реалистическому принципу, о которомъ мы говорили выше, онъ не признаетъ за литературою способности къ творческой инииціативѣ въ области идей, приводящихъ въ движеніе духовныя и нравственныя силы людей. Во всѣхъ его размышленіяхъ на эту тему господствуетъ грубая, утилитарная точка зрѣнія, принижающая искусство до степени повседневнаго публицистическаго орудія для борьбы съ обстоятельствами даннаго историческаго момента. Добролюбовъ ни на минуту не задумывается надъ тѣмъ, что художественной литературѣ даны свои средства дѣйствовать на историческій ходъ вещей. Ему представляется, что поэзія только тогда служитъ обществу, когда она, проникшись опредѣленною политическою тенденціею, возбуждаетъ въ немъ радикальныя чувства и настроенія. Дѣло ясно: отвлеченныя идеи никому не нужны, всѣ мечтанія безплодны. Пора освободиться отъ опеки идеалоговъ! Пора понять, что хлѣбъ не есть пустой значекъ, а нѣкоторый объектъ, который можно съѣсть! Его характеристика русской поэзіи въ ея лучшихъ представителяхъ поверхностна и по формѣ, и по содержанію. Нельзя огра-

ничиваться голословнымъ заявленіемъ, что вся прошедшая литература не выполняла своего назначенія и не служила выраженіемъ народной жизни. Нельзя съ такимъ сравнительно малымъ образованіемъ, какимъ обладалъ Добролюбовъ, съ серьезнымъ видомъ уличать Пушкина въ недостаткѣ умственнаго просвѣщенія и, не зная Байрона, повторять бездокозательныя слова Милюкова, что Пушкинъ не понималъ великаго англійскаго поэта—Пушкинъ, который зналъ до тонкости и цѣнилъ съ рѣдкимъ критическимъ талантомъ важнѣйшихъ дѣятелей европейской литературы. Нельзя съ видомъ убѣжденія утверждать, что Пушкинымъ завершился «ребяческій періодъ русской поэзіи». Какъ отнесся Добролюбовъ къ Гоголю? Гоголь не понялъ тайны русской народности! Гоголь шагнулъ назадъ до Карамзина! Онъ «перемѣшалъ хаосъ современнаго общества съ стройностью простой, чисто народной жизни». Онъ захотѣлъ представить идеалы, которыхъ нигдѣ не могъ найти. Пушкинъ подъ конецъ жизни обнаружилъ какую-то «боязливую попечительность о соблюденіи нравственности», Гоголь обнародовалъ свою «Переписку съ друзьями», представляющую хорошій матеріалъ для веселой пародіи... [1]).

Вопросы нравственности возбуждаютъ въ Добролюбовѣ настоящее отвращеніе. Обыкновенно ровный, спокойный, не склонный къ паѳосу, онъ разражался настоящими полемическими громами, когда въ литературѣ открыто поднимался вопросъ о значеніи нравственнаго элемента въ жизни. Искренно убѣжденный въ томъ, что моральная проповѣдь можетъ нанести ущербъ гражданскимъ стремленіямъ людей, Добролюбовъ съ какимъ-то ожесточеніемъ накидывался на всякаго, кто дерзалъ проводить въ обществѣ тѣ или другія этическія воззрѣнія. Вспомните его критическую замѣтку по поводу магистерской диссертаціи Ореста Миллера, представленной историко-филологическому факультету Петербургскаго университета въ 1858 г.—«О нравственной стихіи въ поэзіи». Не смотря на нѣсколько неудачныхъ фразъ, на отсутствіе литературнаго таланта, не смотря на сантиментальную, архаичную риторику въ изложеніи, сочиненіе это заключаетъ въ себѣ не мало вѣрныхъ мыслей, достойныхъ полнаго уваженія. Орестъ Миллеръ никогда не былъ человѣкомъ съ дурными тенденціями, и надо было питать слѣпую ненависть къ этическимъ вопросамъ вообще, чтобы въ этой невинной и добросовѣстно составленной книгѣ отыскать какія-то злыя, ретроградныя намѣренія. Въ небольшомъ предисловіи къ трактату, на всемъ протяженіи его немногихъ главъ, въ десяти пунктахъ заключительнаго «Положенія», нигдѣ рѣшительно вы не найдете ни одного соображенія, опаснаго для русскаго либерализма. Но Миллеръ считаетъ необходимымъ сгруппировать историческія данныя, доказывающія «вездѣсущіе нравственнаго начала въ поэзіи» именно «въ настоящее время»,

[1]) «Современникъ», 1858 г. № 1. Новыя книги. «Сочиненія Пушкина, 7-ой дополнительный томъ изд. П. В. Анненкова», стр. 41, и «Сочиненія Добролюбова», т. III, стр. 334.

*

когда въ русской литературѣ господствуетъ направленіе реальное [1]) — и этого совершенно достаточно для того, чтобы сотрудникъ «Современника», воспылалъ гражданскимъ гнѣвомъ. Какъ можно было во дни Чернышевскаго, послѣ «Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности» рѣшиться говорить, что въ поэзіи человѣкъ можетъ увидѣть себя не такимъ, каковъ онъ есть, а такимъ, какимъ онъ желалъ-бы и долженъ былъ-бы быть? Не настоящая ли это ересь утверждать, что творческое воображеніе возбуждаетъ въ людяхъ стремленіе къ высшимъ цѣлямъ? Развѣ не посягаетъ на коренные принципы либерализма тотъ, кто проповѣдуетъ самоотреченіе во имя религіознаго идеала? Добролюбовъ былъ увѣренъ, что стоитъ на стражѣ русскаго прогресса, когда съ такою силою обрушился на Ореста Миллера—и его бойкая, хлесткая рецензія покрыла надолго незаслуженнымъ позоромъ имя человѣка, вся вина котораго заключалась, быть можетъ, въ томъ, что онъ не съумѣлъ выразить своей простой мысли въ болѣе смѣлой и сильной формѣ, что, прослѣживая нравственную стихію въ поэзіи, онъ не показалъ въ то же время полной зависимости всѣхъ видовъ гражданственнаго настроенія отъ нравственнаго чувства и нравственной самодѣятельности людей.

Прошли года, и Орестъ Миллеръ, рѣшившись слѣдовать за вѣкомъ, во многомъ уступилъ своему строгому критику. Въ статьяхъ его пышно расцвѣли совсѣмъ другія идеи, съ каѳедры послышались разсыпчатыя, трескучія, какъ фейерверкъ, фразы, проникнутыя духомъ высокой гражданственности. Аудиторіи, въ которыхъ читалъ Миллеръ, ломились отъ публики, встрѣчавшей и часто покрывавшей бурными рукоплесканіями его разсужденія о русской литературѣ...

Любимый студенчествомъ профессоръ съумѣлъ реабилитировать себя въ глазахъ прогрессивнаго русскаго общества.

III.

Въ группѣ изучаемыхъ нами работъ самое выдающееся мѣсто занимаютъ статьи о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Достоевскомъ, статьи, создавшія Добролюбову громкую репутацію по всей Россіи и, за вычетомъ нѣсколькихъ произведеній чисто публицистическаго характера, написанныя съ наибольшимъ талантомъ, ярко, смѣло, съ порывами увлеченія. По своему значенію въ исторіи русской литературы, статьи эти должны быть признаны самымъ выдающимся вкладомъ либеральной журналистики того времени въ общую сумму духовнаго труда и усилій, двигавшихъ просвѣщеніе русскаго общества, шевелившихъ критическую мысль въ интеллигентныхъ русскихъ людяхъ. Истолковывая по своему поэтическіе образы, созданные лучшими мастерами русскаго искусства, Добро-

---

[1]) «О нравственной стихіи въ поэзіи, на основаніи историческихъ данныхъ, по поводу вопроса о современномъ направленіи русской литературы». Спб., 1858 г., стр. 2.

любовъ возбуждалъ этими статьями интересъ къ выдающимся современнымъ явленіямъ и если не разрѣшалъ при этомъ никакихъ эстетическихъ или философскихъ вопросовъ, относящихся къ искусству, то все-таки затрагивалъ отдѣльныя стороны художественнаго творчества и вдавался иногда въ частныя объясненія по различнымъ литературнымъ предметамъ. Мѣстами въ нихъ легко замѣтить эстетическое чутье, которое подсказываетъ Добролюбову мѣткія и тонкія выраженія для характеристики различныхъ видовъ писательскаго дарованія. Многія страницы удивляютъ выдержанностью тона, спокойствіемъ анализа, не открывающаго никакихъ внутреннихъ, психологическихъ глубинъ, но всегда твердо и смѣло подвигающагося впередъ къ назначенной цѣли. Тонкій и нѣжный юморъ свѣтится въ каждомъ удачномъ оборотѣ рѣчи, въ пересказѣ отдѣльныхъ художественныхъ подробностей. Иногда почувствуется даже оригинальное пониманіе дѣйствующихъ лицъ поэтическаго произведенія... Но съ увлеченіемъ прочитавъ нѣсколько страницъ, написанныхъ съ умомъ и талантомъ, вы неизбѣжно должны вступить въ область докучливыхъ разсужденій о средѣ, о воспитаніи, гдѣ авторъ, постоянно сбиваясь съ пути, то заигрываетъ съ читателемъ либеральными намеками, то обдаетъ его цѣлымъ градомъ презрительныхъ восклицаній за вялое отношеніе къ своимъ гражданскимъ обязанностямъ. Нигдѣ Добролюбовъ не остается до конца на высотѣ своей задачи, нигдѣ разборъ литературнаго произведенія не переходитъ у него въ живое, психологическое изслѣдованіе. Оцѣнивая дѣятельность Гончарова, Островскаго, Тургенева и Достоевскаго, созерцая художественныя картины, созданныя первоклассными русскими талантами, онъ не находитъ въ себѣ силъ вести свою работу путемъ строгой критики — и потому, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ направленіи искусства, онъ быстро переходитъ къ привычнымъ темамъ, мѣняя тонъ свободнаго и смѣлаго литературнаго объясненія на тонъ кричащей и задорной публицистики съ ея самоувѣренными нападками на всѣхъ и на все, съ ея явнымъ пристрастіемъ къ задирающему фрондерству.

Прочтите небольшую статью Добролюбова подъ названіемъ «Что такое Обломовщина?» Восемь печатныхъ страницъ, проникнутыхъ яснымъ критическимъ отношеніемъ къ огромному дарованію Гончарова, нѣсколько блестяще выраженныхъ мыслей о типическихъ свойствахъ его художественнаго творчества, и затѣмъ — рядъ публицистическихъ соображеній, не только не объясняющихъ, но даже заслоняющихъ истинный смыслъ произведенія. Гончаровъ остается не освѣщеннымъ—и всѣ паралели между Обломовымъ и другими героями, дѣйствующими въ русской поэзіи, паралели, сдѣланныя, притомъ, отрывочно и бездоказательно, не вносятъ ничего свѣжаго и новаго въ общую характеристику романа. Обломовка все-таки не объяснена, не смотря на всѣ публицистическія старанія Добролюбова, не смотря на то, что къ услугамъ критика былъ драгоцѣннѣйшій бытовой и психологическій матеріалъ. Огромной загадкой

встаетъ она передъ нами — теперь, какъ и во времена Добролюбова— эта страна спящихъ силъ, безплодныхъ, но высокихъ порывовъ, окутанная снѣгами, закаленная морозами, съ безконечными лѣсами внутри и на горизонтѣ. Просторныя поля, раскинувшееся на полміра небо, какое то еле слышное, таинственное броженіе невыраженныхъ желаній, и надо всѣмъ—блѣдные, сѣверные туманы, въ которыхъ затеривается личность и какой-то фантастической громадой еле-еле вырѣзываются безконечныя народныя массы. Вся жизнь ушла куда-то внутрь. Горе не прорывается наружу въ смѣлыхъ, мятежныхъ ударахъ. Радостныя надежды не блещутъ въ шумныхъ и веселыхъ выраженіяхъ. Точно летаргическій сонъ охватилъ всю Обломовку. И вотъ вопросъ: какъ разбудить къ жизни эти спящія силы? Какими рычагами привести въ движеніе эту колоссальную страну съ глубокими моральными запросами и безъ выработанныхъ орудій для борьбы съ историческими обстоятельствами? Какъ поднять на ноги этого сказочнаго великана, не обнаруживающаго почти никакихъ признаковъ близкаго пробужденія. Обломовъ спитъ и не просыпается. Кто-то мечетъ въ него сатирическими фразами, смѣется надъ его бездѣйствіемъ, кидаетъ ему въ лицо смѣлые упреки, подзадориваетъ его таинственными рѣчами о вѣяніяхъ новой жизни, но Обломовъ не трогается съ мѣста. Онъ не слышитъ этихъ восклицаній, онъ не видитъ и не чувствуетъ этихъ благородныхъ стараній. Случается иногда, что онъ прислушается къ пылкимъ юношескимъ рѣчамъ—и тогда онъ исполнится презрѣнія къ людскому пороку, къ клеветѣ, къ разлитому въ мірѣ злу. Въ немъ проснется желаніе указать человѣку на его язвы. Вдругъ въ головѣ его загорятся и пойдутъ гулять, какъ волны въ морѣ, мысли смѣлыя и свѣтлыя. Вдругъ, движимый нравственною силою, онъ въ одну минуту измѣнитъ двѣ—три позы, съ блистающими глазами привстанетъ до половины на постели, протянетъ руку и вдохновенно оглянется кругомъ. «Но, смотришь, промелькнетъ утро, день ужъ клонится къ вечеру, а съ нимъ клонятся къ покою и утомленныя силы Обломова». Бури и волненія смирились въ душѣ его. «Обломовъ тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремивъ печальный взглядъ въ окно къ небу, съ грустью провожаетъ солнце, великолѣпно садящееся за чей-то четырехъ-этажный домъ». Иногда въ немъ закипитъ воображеніе, возстанутъ забытыя воспоминанія, неисполненныя мечты, въ совѣсти зашевелятся упреки за прожитую такъ, а не иначе жизнь—и тогда онъ спитъ неспокойно, просыпается, плачетъ холодными слезами безнадежности по свѣтломъ, навсегда угаснувшемъ идеалѣ жизни...

— Я люблю его не по прежнему,— говорила однажды Ольга своему мужу, но есть что-то, что я люблю въ немъ, чему я, кажется, осталась вѣрна и не измѣнюсь, какъ иные...

— Кто же иные? Скажи, уязви, ужаль: я, что-ли? Ошибаешься. А если хочешь знать правду, такъ я и тебя научилъ любить его и чуть не довелъ до добра. Безъ меня ты-бы прошла мимо его, не замѣтивъ.

Я далъ тебѣ понять, что въ немъ есть и ума не меньше другихъ, только зарытъ, задавленъ всякою дрянью и заснулъ въ праздности. Хочешь, я скажу тебѣ, отчего онъ тебѣ дорогъ, за что ты еще любишь его?

Ольга кивнула въ знакъ согласія головой.

— За то, что въ немъ дороже всякаго ума: честное, вѣрное сердце! Это его природное золото. Онъ невредимо пронесъ его сквозь жизнь. Онъ падалъ отъ толчковъ, охлаждался, заснулъ, наконецъ, убитый, разочарованный, потерявъ силу жить, но не потерявъ честности и вѣрности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало къ нему грязи. Не обольститъ его никакая нарядная ложь и ничто не совлечетъ на фальшивый путь. Пусть волнуется около него цѣлый океанъ дряни, зла, пусть весь міръ отравится ядомъ и пойдетъ навыворотъ — никогда Обломовъ не поклонится идолу лжи, въ душѣ его всегда будетъ чисто, свѣтло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа. Такихъ людей мало, они рѣдки — это перлы въ толпѣ! Его сердце не подкупишь ничѣмъ. На него всюду и вездѣ можно положиться...

Ольга подбѣжала къ Штольцу, обвила его шею руками, нѣсколько минутъ поглядѣла лучистыми глазами прямо ему въ глаза. Въ ея воспоминаніи воскресло кроткое, задумчивое лицо Обломова, его нѣжный взглядъ, покорность, его жалкая, стыдливая улыбка [1]).

Такъ Гончаровъ рисуетъ и понимаетъ своего героя. Но Добролюбовъ готовъ признать, что художникъ ошибается, что онъ ложно освѣтилъ Обломова, что онъ приписываетъ ему достоинства, которыхъ у него нѣтъ и быть не можетъ. Весь монологъ Штольца критикъ пренебрежительно называетъ «пассажемъ», о которомъ не стоитъ распространяться, ибо каждый читатель легко можетъ замѣтить, что въ немъ заключена «большая неправда»! Обломовъ не поклонится идолу зла! Да, иронизируетъ Добролюбовъ, потому что ему лѣнь встать съ дивана. Обломовъ не подкупенъ! Да, потому что его не на что подкупать. Къ Обломову грязь не пристанетъ! Да, пока онъ лежитъ одинъ. Но пусть придутъ Тарантьевъ, Затертый, Иванъ Матвѣичъ... Брр! Какая отвратительная гадость начинается около него [2])... Не желая «льстить» Обломову, Добролюбовъ всѣми силами старается раззадорить его самолюбіе, его гражданскую честь, его патріотическое чувство.

Въ такомъ стилѣ написана почти вся статья. Характеры, изображенные Гончаровымъ, не разобраны, смыслъ всего романа съуженъ до крайняго, публицистическаго минимума, второстепенныя, но въ высшей степени типическія фигуры произведенія оставлены совершенно безъ вниманія. «Разбирать женскіе типы, созданные Гончаровымъ, пишетъ Добролюбовъ, значитъ предъявлять претензію быть великимъ знатокомъ жен-

[1]) Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова, изд. Глазунова, 1884 г., т. III, стр. 130—131.

[2]) «Современникъ» 1859 г. № 5. Русская литература. «Что такое Обломовщина», стр. 92.

скаго сердца. Не имѣя же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться». Дамы говорятъ, что Гончаровъ обнаружилъ въ изображеніи женщины поразительную тонкость психологическаго анализа, и Добролюбовъ не рѣшается прибавить что-нибудь къ ихъ отзыву. «Мы боимся пускаться въ эту совершенно невѣдомую для нась страну», скромно замѣчаетъ онъ [1]).

По тому же методу написаны и знаменитыя статьи Добролюбова объ Островскомъ: «Темное царство» и «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». По силѣ таланта, по яркости публицистической тенденціи, по рельефности и пластичности пересказа произведеній Островскаго, это — лучшія изъ статей Добролюбова. Темное царство нарисовано съ большою мощью, почти вдохновенно, съ проблесками страсти. Гражданская нота протеста звучитъ громко, смѣло, волнуя сердца. Нѣсколько страницъ, посвященныхъ общей характеристикѣ типическихъ героевъ въ комедіяхъ Островскаго, по гибкости отдѣльныхъ выраженій, по тонкости критическихъ замѣчаній, свидѣтельствуетъ о необычайномъ подъемѣ дарованія, вдругъ нашедшаго предметъ, достойный его богатыхъ литературныхъ силъ. Островскій увлекалъ Добролюбова, манилъ его своими характерными картинами, складомъ понятій, своимъ писательскимъ темпераментомъ. Въ его произведеніяхъ роскошная бытовая живопись рядомъ съ мастерски представленными, чисто русскими типами даетъ обильный матеріалъ для смѣлыхъ публицистическихъ паралелей и разсужденій. Среднее купеческое сословіе — то сословіе, которое близко соприкасается съ рабочимъ, крестьянскимъ міромъ съ одной стороны и съ небольшимъ интеллигентнымъ слоемъ русскаго общества, съ другой, то сословіе, которое съ какою-то фанатическою косностью оберегаетъ старый порядокъ вещей отъ всякой реформы — встаетъ въ нихъ со всею рѣзкостью своихъ грубыхъ, внѣшнихъ очертаній. Вотъ эта масса, черезъ которую долженъ пробиться свѣтъ, чтобы дойти до простого русскаго народа. Вотъ гдѣ гибнутъ силы, которыя при иныхъ соціальныхъ условіяхъ, при болѣе высокой культурѣ, при нѣкоторомъ просторѣ свободнаго личнаго существованія, могли-бы оказаться важными и полезными дѣятелями въ общей системѣ государственной жизни. Островскій вывелъ на сцену темный міръ насилія, невѣжества, грубаго и дикаго самодурства и облилъ его свѣтомъ смѣлой, безпощадной сатиры.

Добролюбовъ не могъ не воспользоваться произведеніями талантливаго русскаго драматурга — и статьи его о «Темномъ царствѣ» лучше всего отражаютъ въ себѣ тѣ настроенія, которыя въ немъ господствовали по преимуществу, основные мотивы его журнальной дѣятельности, послѣднія цѣли его литературной агитаціи. Общее описаніе нравственной атмосферы, въ которой вращаются герои Островскаго, сдѣлано превосходно. Войдите въ это темное царство: это міръ затаенной, «тихо взды-

---

[1]) «Современникъ» 1859, № 5, «Русская литература», стр. 95.

хающей скорби», міръ тупой, ноющей боли, міръ гробового безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ. Ни свѣта, ни тепла, ни простора. Вѣетъ гнилью и сыростью. Здѣсь страдаютъ люди: въ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго. Не откуда ждать отрады, негдѣ искать облегченія. Надъ узниками буйно и безотчетно владычествуетъ безсмысленный произволъ, не признающій никакихъ правъ. Тяжкій самодурный запретъ наложенъ на всякую громкую, открытую и широкую дѣятельность. Живучія натуры, собирая глубоко внутри себя ядъ недовольства, безсильно ползутъ по землѣ, съеживаются, извиваются, перевертываются то ужомъ, то жабою. Наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе переплетаются въ этомъ темномъ царствѣ съ рабской хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнымъ вѣроломствомъ: гдѣ повержены въ прахъ и нагло растоптаны человѣческое достоинство, свобода личности, святыня честнаго труда, тамъ не можетъ быть ничего чистаго, ничего праваго [1])... И вдругъ въ этомъ царствѣ блеснулъ лучъ настоящаго, солнечнаго свѣта. Вѣковые устои патріархальнаго деспотизма дрогнули, надъ темнымъ міромъ насилія пронесся крикъ здороваго протеста. Изобразивъ съ такою силою, въ образахъ, вѣющихъ художественною правдою, мрачную пустоту повседневной русской жизни, Островскій инстинктомъ почуялъ неизбѣжное, грядущее паденіе тѣхъ твердынь, на которыхъ держится русское самодурство. Образъ Катерины («Гроза») соотвѣтствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни. Натурою, всѣмъ существомъ своимъ она требуетъ себѣ правъ и простору. Она не капризничаетъ, не кокетничаетъ своимъ недовольствомъ. Всякое насиліе возмущаетъ ее кровно, глубоко. «Въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, пишетъ Добролюбовъ, сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма. Катерина можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство» [2]). Въ Катеринѣ мы видимъ возмужалое, изъ глубины организма идущее требованіе справедливости и права. Не воображеніе, не наслышка, не искусственно возбужденный порывъ, а жизненная необходимость толкаетъ ее на путь протеста. Добролюбовъ подчеркиваетъ свою мысль съ особенною настойчивостью, категорически утверждая, что «не отвлеченныя вѣрованія управляютъ человѣкомъ» и что для проявленія характера нужны «не принципы», не опредѣленный образъ мыслей, а нужна просто здоровая натура. Островскій создалъ силою большого таланта «такое лицо, которое служитъ пред-

---

[1]) «Современникъ» 1859 г. № 7, Русская литература. «Темное царство». стр. 42—44.

[2]) «Современникъ», 1860 г. № 10. Русская литература. «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», стр. 284. Въ полномъ собраніи сочиненій Добролюбова, т. III, стр. 462, этотъ отрывокъ начинается такъ: «Претендованные (?) въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, сильные характеры» и т. д.

ставителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкѣ, ни въ головѣ». На ряду съ такими общими разсужденіями, которыя такъ или иначе освѣщаютъ нѣкоторыя черты въ творчествѣ Островскаго, объясняютъ его значеніе для русской литературы, развертывается въ статьяхъ Добролюбова безконечное публицистическое резонерство, на множество ладовъ варьирующее одну и ту же мысль, какъ-бы съ цѣлью вдолбить ее въ голову читателя во что бы то ни стало. Не утомляясь подробнѣйшимъ пересказомъ отдѣльныхъ сценъ и эпизодовъ въ комедіяхъ Островскаго и постоянно усиливая впечатлѣніе отъ приводимыхъ цитатъ болѣе или менѣе смѣлыми публицистическами комментаріями, Добролюбовъ увѣряетъ читателя, что онъ не уклоняется отъ своей прямой задачи и что онъ идетъ къ намѣченной цѣли путемъ настоящей критики, подъ которой онъ разумѣетъ «критику фактическую, реальную». Литература не имѣетъ самостоятельнаго, «дѣятельнаго значенія»: она только указываетъ на то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что уже дѣлается и сдѣлано. Литература представляетъ собою «силу служебную», пригодную для опредѣленной жизненной пропаганды. Вотъ почему критика, вѣрная своему призванію, не вступающая въ союзъ со школярами, не обрекающая себя на рабство никакой философской теоріи, но желающая всѣми силами содѣйствовать прогрессивному движенію общества, должна ограничиться реалистическимъ обсужденіемъ тѣхъ фактовъ, которые она находитъ въ художественныхъ произведеніяхъ. Всякаго рода эстетическія соображенія не представляютъ никакого интереса для обыкновеннаго здравомыслящаго человѣка, «который беретъ отъ жизни то, что она даетъ ему, и отдаетъ ей то, что можетъ». Вопросы чистаго искусства проиграны разъ навсегда. Люди, примѣняющіе къ литературѣ возвышенные критеріи философіи, отжили свой вѣкъ: это люди бездушные, это педанты, которые всегда «забираютъ свысока и парализируютъ жизнь мертвыми идеалами и отвлеченіями»...

Въ такихъ выраженіяхъ Добролюбовъ описываетъ «темное царство» Островскаго и такими доводами онъ защищаетъ свой критическій методъ. Но, оглянувшись назадъ, на весь пройденный путь, Добролюбовъ дважды извиняется передъ своимъ читателемъ за растянутость и неопредѣленность своихъ литературныхъ требованій. Говоря о лицахъ въ произведеніяхъ Островскаго, онъ хотѣлъ показать ихъ значеніе въ «дѣйствительной жизни», но долженъ былъ отнести всѣ свои разсужденія къ созданіямъ авторской фантазіи — и вотъ почему ему приходилось укладывать свою мысль «въ фигуральную форму», по требованію самого предмета. Иногда онъ прибѣгалъ къ парафразамъ тамъ, гдѣ можно было бы на двухъ страницахъ раскрыть все дѣло съ полною ясностью. Не его вина, что слова, весьма обыкновенныя въ другихъ европейскихъ языкахъ, «русской статьѣ даютъ такой видъ, въ которомъ она не можетъ явиться передъ публикой». Не его вина, что русскому писателю приходится «перевертываться вся-

чески съ фразою, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли» [1]).

Въ оцѣнкѣ произведеній Островскаго, Добролюбову, во всякомъ случаѣ, принадлежитъ большая заслуга. Не объяснивъ его художественнаго дарованія съ надлежащею отчетливостью, онъ однако ярко обрисовалъ бытовое содержаніе его пьесъ и тѣмъ разсѣялъ нѣкоторыя сомнѣнія, которыя возбуждались въ печати современными рецензентами и критиками. Во времена Добролюбова Островскій не былъ еще общепризнанною литературною величиной, и твердое, громко выраженное мнѣніе «Современника» не могло не имѣть значенія для всей его драматической карьеры. Добролюбовъ не только подробно и всесторонне изложилъ свое сужденіе о главнѣйшихъ произведеніяхъ Островскаго, но смѣло отхлесталъ кнутомъ сатиры и насмѣшки всѣхъ тѣхъ, которые дѣлали жалкія придирки къ его второстепеннымъ недостаткамъ, къ его своеобразной художественной манерѣ, къ его правдивому и открытому изобличенію темныхъ сторонъ русской жизни. Въ самомъ дѣлѣ, откройте страницы старыхъ журналовъ—и вы увидите, какъ сбивчивы и опрометчивы были сужденія русскихъ критиковъ о талантѣ Островскаго. Нѣсколько пиитически восторженныхъ похвалъ съ одной стороны и цѣлая туча литературныхъ недоразумѣній и ошибокъ съ другой—вотъ содержаніе большинства статей, посвященныхъ Островскому. Критикъ «Атенея», Н. Некрасовъ, пишетъ: «Произведенія Островскаго, выражая жизнь дѣйствительную, сами по себѣ не имѣютъ никакой жизни. Въ нихъ нѣтъ ни идеи, ни дѣйствія, ни характеровъ истинно поэтическихъ» [2]). «Отечественныя Записки» упрекаютъ Островскаго за излишнюю заботливость объ отдѣлкѣ языка: «онъ доводитъ ее до крайности, говоритъ рецензентъ, до излишества, такъ что, наконецъ, впадаетъ въ тотъ родъ, который въ механическихъ искусствахъ называется рококо» [3]). Купцевскій разсказываетъ о первыхъ шагахъ Островскаго на драматическомъ поприщѣ. «Это было во времена крѣпостного права, пишетъ онъ. Островскій не безъ эффекта читалъ свое первое (?) произведеніе: *Свои люди — сочтемся*. Въ числѣ слушателей присутствовалъ Гоголь, который во время чтенія иронически улыбался и отказался высказать свое мнѣніе о начинающемъ писателѣ. Онъ его написалъ въ короткой фразѣ городничаго: *чему смѣетесь? надъ собой смѣетесь!*» [4]).

Слово Добролюбова открыло дорогу болѣе правильнымъ сужденіямъ о выдающемся русскомъ талантѣ.

Въ статьѣ о Тургеневѣ мы находимъ очень мало разсужденій по эстети-

---

[1]) Сочиненія Добролюбова, т. III, стр. 125 и 428. Въ «Современникѣ» эти оговорки отсутствуютъ. См. «Современникъ» 1859 г. № 9 «Темное царство», стр. 127 и «Современникъ» 1860 г. № 10 «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ», стр. 256.

[2]) «Атеней», Москва 1859 г., мартъ и апрѣль. «Сочиненія А. Островскаго», стр. 498.

[3]) «Отечественныя Записки» 1854 г. томъ 94. Библіографическая хроника, стр. 80.

[4]) Неизданные разсказы. «Быть Ѳедькѣ въ солдатахъ!», стр. 206—207.

ческимъ вопросамъ. Оговорившись, что «эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень», набросивъ нѣсколько общихъ характеристическихъ штриховъ въ довольно блѣдныхъ и вялыхъ выраженіяхъ, Добролюбовъ сразу же переходитъ къ болѣе интереснымъ для него предметамъ общественной жизни, которые ждутъ окончательнаго разрѣшенія на практическомъ поприщѣ. Новая повѣсть Тургенева «Наканунѣ» даетъ ему поводъ провести паралель между дѣятелями прежняго періода и представителями современнаго, передового поколѣнія—и, нисколько не сомнѣваясь въ превосходствѣ послѣднихъ надъ первыми, Добролюбовъ съ большою самоувѣренностью рисуетъ намъ духовныя качества людей, принадлежащихъ къ «лучшей части русскаго общества». Тѣ понятія и стремленія, которыя «прежде давали титло передового человѣка», теперь уже считаются необходимою принадлежностью самой обыкновенной образованности. Нынѣ вы можете услышать отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, иногда даже отъ порядочнаго семинариста «выраженіе такихъ убѣжденій, за которыя въ прежнее время долженъ былъ спорить и горячиться Бѣлинскій». Люди прежняго закала потеряли кредитъ въ глазахъ современнаго передового русскаго общества: «ихъ уважаютъ, какъ старыхъ наставниковъ, но рѣдко кто, вошедши въ свой разумъ, расположенъ выслушивать опять тѣ уроки, которые съ такою жадностью принимались прежде, въ возрастѣ дѣтства и первоначальнаго развитія». Въ настоящее время требуется уже нѣчто другое...

Добролюбовъ подробно описываетъ жизнь Елены, судьбу и характеръ Инсарова, объясняя при этомъ, что эти два художественныхъ типа, созданныхъ талантливымъ писателемъ, свидѣтельствуютъ о значительной перемѣнѣ въ міровоззрѣніи и стремленіяхъ интеллигентнаго общества. Въ злыхъ словахъ, проникнутыхъ гнѣвомъ гражданской сатиры, Добролюбовъ пространно доказываетъ, что Инсаровъ не могъ быть русскимъ человѣкомъ и что порядки русской жизни, охраняемые твердыми и справедливыми законами, дѣлаютъ невозможнымъ появленіе такихъ людей въ благополучно совершающемъ свое мирное прогрессивное движеніе русскомъ обществѣ. Страница, посвященная паралели между Болгаріей и Россіей, отличается всѣми качествами выдающагося политическаго памфлета—по силѣ внутренней ироніи, по энергіи отдѣльныхъ выраженій, пропитанныхъ презрѣніемъ и ненавистью ко всякому безплодному существованію [1]). Предъ вами политическій ораторъ, который не скажетъ лишняго слова, не захватитъ вашихъ чувствъ, не увлечетъ васъ смѣлостью воображенія, далеко опередившаго обстоятельства современной жизни, но который побѣдитъ вашъ разсудокъ своей безпощадной, трезвой логикой, своимъ холоднымъ сарказмомъ, своими немногочисленными, но простыми доводами, обращенными на защиту совершенно опредѣленнаго дѣла. Вся

[1]) «Современникъ» 1860 г. № 3. Русская литература. «Новая повѣсть г. Тургенева», стр. 60.

статейка о Тургеневѣ является настоящей пропагандой въ томъ смыслѣ слова, въ какомъ понимали ее дѣятели «Современника» — и нѣтъ сомнѣнія, что въ свое время она должна была произвести огромное впечатлѣніе на читающую публику. Но самъ Тургеневъ отошелъ въ ней на задній планъ. Характерныя черты его творчества, его поэтическій темпераментъ, его внутреннія художническія стремленія отмѣчены поверхностными словами. Критическій элементъ почти совершенно отсутствуетъ въ разсужденіяхъ автора.

Статья о «Забитыхъ людяхъ» написана съ меньшею литературною силою по сравненію со статьями, только что разсмотрѣнными. Своеобразный геній Достоевскаго, его глубокое творчество съ проблесками пророческаго экстаза, все его міросозерцаніе, всѣ порывы его болѣзненной натуры—все это было чуждо Добролюбову, его симпатіямъ, его гражданственному складу понятій, его литературному вкусу. Между этими двумя писателями не было ни одной точки дружественнаго соприкосновенія, и великій талантъ Достоевскаго, въ изображеніи Добролюбова, долженъ былъ потерять всѣ свои типическія черты, превратиться во что-то странное, уродливое, непонятное. Въ прозаическомъ словарѣ Добролюбова не было ни одного красочнаго слова, которое могло-бы передать художническій паѳосъ Достоевскаго, ни одного поэтическаго оборота рѣчи, который могъ-бы отразить въ себѣ творческую работу, полную мистической страсти, озаренную пророческимъ вдохновеніемъ свыше.

IV.

Разобравшись въ главнѣйшихъ статьяхъ Добролюбова, прослѣдивъ его публицистическую и литературную манеру по тремъ главнымъ отдѣламъ его журнальной работы, мы въ заключеніе разсмотримъ его дѣятельность въ качествѣ важнѣйшаго сотрудника «Свистка». Здѣсь Добролюбовъ встаетъ передъ нами бойцомъ съ лихими пріемами политическаго памфлетиста и сатирика въ чисто русскомъ стилѣ. Пересмѣшка, карикатура, злобное хихиканье, пробивающееся изъ-подъ яко-бы невинныхъ фразъ, летучіе, но зажигательные намеки и, гдѣ можно развернуться, удалыя нападки въ стихахъ и прозѣ на благодушіе современнаго общества — вотъ какими средствами «Свистокъ» отстаивалъ политическую и литературную програму «Современника». Надо было научить общество издѣваться надъ всѣмъ положительнымъ, надъ всякимъ пожеланіемъ, выраженнымъ въ опредѣленной формѣ, и громкій, молодецкій свистъ людей, обладавшихъ талантомъ, отрекшихся отъ всякихъ мечтаній, дѣйствовавшихъ не столько по опредѣленной програмѣ, сколько по инстинкту юнаго протеста, долженъ былъ возъимѣть надлежащее дѣйствіе на русское общество, только что вышедшее на арену исторіи. Надо было научить общество видѣть смѣшную сторону во всемъ, что не подходило къ утилитарнымъ взглядамъ передового журнализма, и откровенный смѣхъ,

раскатистый, звонкій, иногда здоровый, но оскорбляющій грубостью и цинизмомъ, иногда почти истерическій, раздражающій какою-то водевильною аффектированностью, долженъ былъ разъ на всегда отвратить прогрессивныхъ русскихъ людей отъ всякаго безплоднаго идеализма съ одной стороны и отъ всякой систематической политики на поприщѣ гражданственности съ другой. Въ невинной формѣ журнальнаго фельетона, сохраняя всѣ видимыя приличія непритязательной по внѣшнимъ выраженіямъ шутки, «Свистокъ», можно сказать, врѣзывался въ самую суть важнѣйшихъ событій общественной жизни и произносилъ надъ ними судъ съ тою безпощадностью, съ какою дѣйствуютъ люди, вѣрующіе въ свою полную непогрѣшимость и считающіе себя вправѣ терзать и карать всѣхъ, виновныхъ въ малѣйшемъ нарушеніи предписанныхъ ими правилъ. Никакая репутація не считалась сотрудниками «Свистка» достойною снисхожденія въ какомъ-бы то ни было отношеніи, если только она казалась помѣхою въ достиженіи поставленныхъ журналомъ цѣлей: надъ всѣми стремленіями литературы, надъ разнообразными интересами науки, надъ всѣми движеніями общественной мысли долженъ господствовать тотъ реалистическій уставъ, который былъ сочиненъ Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Если въ литературѣ прорывались отдѣльныя, случайныя эстетическія теченія, дѣятели «Современника» вооружались бичомъ, свистящимъ въ воздухѣ, передразнивали отсталыхъ піитъ комическими стишками или кривлялись въ шутовскихъ маскахъ, пародирующихъ физіономіи враждебныхъ имъ людей. Если въ печати появлялись статьи или замѣтки о пользѣ гласности, о подготовляющихся реформахъ, «Свистокъ» созывалъ публику на комическое представленіе своихъ лицедѣевъ, осмѣивавшихъ на всѣ лады практическія утопіи, издѣвавшихся надъ современниками въ какой-то дикой пляскѣ, съ криками сатирическаго изступленія и задирающимъ рокотаньемъ лихо потрясаемыхъ бубенъ. Если нѣсколько человѣкъ собиралось для выраженія своего мнѣнія, протестующаго противъ какого-нибудь позорящаго литературу факта, «Свистокъ» оглашалъ журнальное торжище своимъ рѣзкимъ крикомъ, дерзко глумясь даже надъ тѣми людьми, которые играли въ «Современникѣ» самую выдающуюся роль. Если люди затѣвали публичный научный споръ на интересную и серьезную тему, фельетонисты «Современника» разражались громкимъ, протяжнымъ свистомъ, выражавшимъ ихъ глубокое, затаенное презрѣніе ко всякаго рода безплоднымъ, отвлеченнымъ дебатамъ.

Своеобразно радикальная точка зрѣнія, требующая постояннаго отрицанія, враждебная всякой попыткѣ осуществить на дѣлѣ то или другое принципіальное начало, заставляющая улавливать одни только недостатки въ явленіяхъ жизни и въ людяхъ, проглядываетъ во всѣхъ статьяхъ и отдѣльныхъ замѣткахъ, которыя печатались въ «Свисткѣ». Положительный идеалъ нигдѣ не выплываетъ наружу, черта гуманнаго сочувствія и публицистическаго такта не проявляется ни въ чемъ, злобный смѣхъ, ни передъ чѣмъ не останавливающійся, проникнутый не силою внутренняго

сарказма, а какимъ-то непримиримымъ презрѣніемъ къ окружающимъ людямъ, раздается почти съ каждой страницы. Здѣсь нѣтъ и слѣда Гоголевской сатиры съ ея тревожными духовными настроеніями, съ ея возвышеннымъ экстазомъ, который оправдываетъ всякую насмѣшку, даетъ смыслъ даже карикатурѣ, оживляетъ любовью самую печальную картину людского паденія. Ничто не примиряетъ васъ съ этимъ смѣхомъ, и пытливо отыскивая во всѣхъ произведеніяхъ «Свистка» слѣдъ увлеченія и страсти, политическую отвагу убѣжденныхъ борцовъ за опредѣленный гражданскій идеалъ, скрытое движеніе опредѣленныхъ положительныхъ понятій, вы повсюду натыкаетесь на одну только безотчетную удаль, подъ которою не чувствуется никакого духовнаго энтузіазма. Это сатира по существу своему грубая, не брезгающая никакою вульгарной откровенностью, прибѣгающая къ буффонадѣ и нигдѣ не дѣйствующая тонкими средствами интеллигентной критики съ ея изящно отточенными стрѣлами, мѣтко ударяющими въ цѣль. Ея задача въ томъ, чтобы опозорить, опошлить, свиснуть нагайкой, вихремъ пронестись мимо всего, что дѣлается на Руси, но не въ томъ, чтобъ направить путемъ отрицанія на вѣрную положительную дорогу. Въ ея пріемахъ — ни слѣда поэзіи, но повсюду прорывается грубо-реалистическое настроеніе, враждебное всему, что не подчинено шаблону. Рѣшительная, развязная, ничѣмъ не стѣсняющаяся, она не обнаруживаетъ необходимой нравственной сдержанности и выдержанности, безъ которыхъ сатира теряетъ свою силу въ глазахъ людей. Пренебрегая всякими внутренними приличіями, склонная всегда къ шумному скандалу, она теряетъ довѣріе людей, чуткихъ къ идеальной правдѣ и импонируетъ только тѣмъ, которые не могутъ принять живого, плодотворнаго участія въ развитіи общества.

Одинъ изъ главныхъ лицедѣевъ «Свистка», Конрадъ Лиліеншвагеръ, впервые выступилъ на сцену въ пространной рецензіи Добролюбова, посвященной стихотвореніямъ Михаила Розенгейма. Осмѣивая поэтическія произведенія этого посредственнаго писателя, Добролюбовъ прерываетъ свои размышленія вставочнымъ діалогомъ между имъ самимъ и его «злымъ» другомъ, приводящимъ въ посмѣяніе Розенгейму стихотворныя сочиненія Конрада Лиліеншвагера... Знаете ли вы, что такое злой человѣкъ? Злымъ человѣкомъ можетъ быть названъ только тотъ, кто ничѣмъ не удовлетворяется, имѣетъ неограниченныя желанія, пугающія людей добродушныхъ и скромныхъ. Онъ всегда недоволенъ, онъ требуетъ во всемъ и всегда радикальныхъ средствъ и мѣропріятій. Приэтомъ одними словами вы его никогда не подкупите: ему нужно дѣло. Представьте себѣ человѣка, которому съ утра предложили пріятную прогулку. Погода прекрасная, мѣстоположеніе великолѣпное, общество рвется на улицу, но тѣ, отъ которыхъ дѣло зависитъ, сидятъ по угламъ, разговаривая о предстоящей прогулкѣ. Время проходитъ... Вотъ когда сдѣлаешься злымъ въ обществѣ людей, болтающихъ о прогулкѣ, но не дѣлающихъ ни шагу

изъ комнаты [1]). Злой критикъ литературы испытываетъ такія же ощущенія и, презирая жалкія фразы о народномъ благѣ, о гласности, о предстоящихъ реформахъ въ общественной жизни, онъ мечетъ стихотворною сатирою въ косное общество, не трогающееся съ мѣста. Вотъ когда Конрадъ Лиліеншвагеръ получаетъ въ литературѣ полное право гражданства. Вотъ когда журналъ долженъ — для пробужденія спящихъ массъ—обзавестись громкимъ, рѣжущимъ слухъ свисткомъ. Дѣйствительно, первые шаги Конрада Лиліеншвагера сдѣланы съ цѣлью выставить всю безсмыслицу всякаго либеральнаго благодушія. Онъ предвидитъ, что общество увлечется реформой и реформаторами и потеряетъ чутье въ распознаваніи людской пошлости. Строятся желѣзныя дороги, растетъ пароходство, поднимаются вопросы о воспитаніи, въ компетентныхъ сферахъ поставлена задача о реформѣ суда съ адвокатурою, дѣйствующей по довѣрію отъ подсудимаго, задумываются многія другія перемѣны въ соціальномъ быту, но Конрадъ Лиліеншвагеръ знаетъ цѣну всѣмъ этимъ толкамъ и разговорамъ, и онъ набрасываетъ слѣдующіе шутовскіе стихи, передразнивающіе одну журнальную статью, написанную въ оптимистическомъ тонѣ.

Pia desideria.

Тамъ, гдѣ строютъ дороги желѣзныя,
Пароходство ростетъ каждый часъ,
Предпріятья заводятъ полезныя,
Поощряютъ промышленный классъ,
Гдѣ оковы съ народа снимаются,
Гдѣ свободнымъ рождается трудъ,
Воспитаніе гдѣ возвышается,
Къ дѣлу, къ жизни всѣ силы зовутъ;
Гдѣ повсюду замѣтно стремленіе
На свободный, полезный всѣмъ трудъ,
Допустить тамъ возможно-ль сомнѣніе,
Что полезенъ и праведный судъ
Съ непремѣнною адвокатурою
Какъ надежнѣйшимъ средствомъ — суду
Съ передѣланной магистратурою
Дать и правильность, и быстроту,
И труду въ то же время народному
Вновь обильный источникъ открыть,
Юныхъ силъ къ упражненью доходному
И къ возможности денегъ скопить!.. [2]).

Такъ выступалъ на поприще журналистики Лиліеншвагеръ. Добролюбовъ уже въ предисловіи къ «Свистку» твердою рукою намѣтилъ главныя темы для разработки на страницахъ этого отдѣла. Литература, литературные дѣятели, произведенія, заключающія въ себѣ «неисчерпаемое море прекраснаго и благороднаго» — вотъ чѣмъ должны заниматься со-

---

[1]) «Современникъ» 1858 г. № 11. Библіографія. «Стихотворенія Михаила Розенгейма», стр. 83.

[2]) Ibidem, стр. 81.

трудники Свистка, «сидя на вѣткѣ общественныхъ вопросовъ» и наслаждаясь красотами текущей словесности [1]). Оглянувшись, на первыхъ же порахъ, на то, что совершается въ русской печати, Добролюбовъ съ тонкой отзывчивостью ко всему, что можетъ дать матеріалъ для веселаго смѣха, сразу отмѣтилъ предметъ, достойный надлежащей отдѣлки въ новооткрытомъ отдѣлѣ журнала. Въ тогдашней журналистикѣ надѣлало большого шума слѣдующіе происшествіе: «Иллюстрація», издававшаяся В. Зотовымъ, отвѣчая двумъ своимъ оппонентамъ Чацкину и Горвицу по вопросу о евреяхъ, допустила въ своей статьѣ грубый и ложный намекъ на личную непорядочность этихъ двухъ писателей. Когда затѣмъ Чацкинъ сдѣлалъ публичный запросъ Зотову, приглашая его дать надлежащее объясненіе, редакторъ «Иллюстраціи» не счелъ нужнымъ извиниться, но, съ обычною увертливостью человѣка безъ опредѣленныхъ убѣжденій, сталъ оговариваться тѣмъ, что фразы его плохо истолкованы. Возмущенные этимъ поступкомъ, превращающимъ печатное слово въ орудіе клеветы и личныхъ нападокъ, многіе извѣстнѣйшіе въ то время литераторы и ученые обнародовали въ трехъ періодическихъ изданіяхъ свой протестъ противъ поступка Зотова. Сообщая объ этомъ фактѣ въ 12-й книгѣ 1858 г., «Современникъ» считаетъ «излишними и даже унизительными» для нравственнаго чувства всякаго рода принципіальныя объясненія по этому поводу: не можетъ быть сомнѣнія на чьей сторонѣ должно быть сочувствіе журнала [2]). Но Добролюбовъ остался недоволенъ этимъ протестомъ, и онъ сочиняетъ комическое посланіе изъ провинціи въ «Свистокъ» за подписью Д. Свиристелева, представляющее все это дѣло въ ироническомъ свѣтѣ. Куда направляется литературная процессія, извѣстіе о которой приносится въ отдаленнѣйшія части Россіи петербургскою и московскою печатью? Какое торжество готовитъ литературная братія, которая въ послѣднее время все пыщется гору родити, вопрошаетъ Свиристелевъ. Зачѣмъ русскіе ученые и литераторы ополчились въ крестовый походъ для доказательства того, что клевета гнусна? Неужели русское общество упало такъ низко, что лучшіе люди литературы должны писать къ нему воззванія по поводу азбучныхъ истинъ? Неужели большинство русскихъ людей дошло до такого шатанья въ своихъ нравственныхъ понятіяхъ, что уцѣлѣвшая отъ всеобщаго развращенія горсть избранниковъ можетъ, не краснѣя, съ полнымъ сознаніемъ своего достоинства, догматическимъ тономъ величаваго авторитета провозглашать всенародно гнусность обращенія органа мысли и гласности въ презрѣнное орудіе личныхъ оскорбленій? «Здѣсь-то мы, читатели, и видимъ самую мрачную, самую печальную сторону протеста». Это—съ одной точки зрѣнія, такъ сказать, принципіальной. Съ другой — изъ 150 именъ, подписавшихъ протестъ, по

---

[1]) «Современникъ» 1859 г. № 1. «Свистокъ». Собраніе литературныхъ, журнальныхъ и другихъ замѣтокъ, стр. 184.

[2]) «Современникъ» 1858 г. № 12. «Извѣстіе», стр. 303.

крайней мѣрѣ 77 есть такихъ, о которыхъ публика ровно ничего не знаетъ. Есть между ними фамиліи, двукратно и даже троекратно повторенныя: Д. Хомяковъ, И. Хомяковъ, С. Хомяковъ, В. Милеантъ, Е. Милеантъ. Что за радость, что не только В. Милеантъ и Е. Милеантъ не одобряютъ клеветы, но что къ протесту примкнули А. Арсеньевъ и И. Арсеньевъ, А Наумовъ и Д. Наумовъ?.. [1]).

Таковъ этотъ первый выстрѣлъ Добролюбова въ ново-открытомъ отдѣлѣ. Простое, человѣческое дѣло, вызвавшее сочувствіе такихъ людей, какъ Кавелинъ, Никита Крыловъ и др., дѣло нѣкоторымъ образомъ либеральное по самому своему типу, соединившее вокругъ себя въ одной дружеской ассоціаціи писателей съ разнообразными темпераментами и разнымъ складомъ понятій, ради всѣмъ понятныхъ и близкихъ побужденій, вдругъ оказалось нужнымъ осмѣять и уничтожить во имя уваженія къ обществу. Можно подумать, что понятіе о литературной порядочности и о литературныхъ пріемахъ было въ то время такъ развито въ Россіи, что ужъ не требовалось, въ самомъ дѣлѣ, никакихъ объясненій со стороны компетентныхъ представителей печатнаго слова. Вѣдь русское общество никогда не было, на всемъ протяженіи своей исторіи, заражено глупыми національными предразсудками, всегда блюло чистоту своихъ духовныхъ интересовъ и, высоко поднявшись надъ всякими дрязгами журналистики, смѣло подвигалось по пути гуманности къ свѣтлымъ цѣлямъ политической и умственной культуры! Во дни «Современника» можно-ли было сомнѣватся въ томъ, что всякій низменный поступокъ журнальнаго дѣятеля, облеченный въ литературную форму, произведетъ на общество отталкивающее впечатлѣніе? Печать тогда уже окрѣпла. Литература уже окончательно поняла свои настоящія цѣли, обязанности и права! Можетъ-ли статься, чтобы русская журналистика когда-нибудь пошла по скользкому пути клеветъ, инсинуацій, злобныхъ нападокъ на цѣлыя народности! Зачѣмъ-же собираться въ дружины и бороться со зломъ, которое само по себѣ такъ ничтожно!.. Вотъ что писали по этому поводу спустя нѣсколько лѣтъ «Отечественныя Записки»: Добролюбовъ былъ не разборчивъ въ предметахъ, надъ которыми смѣялся, ибо онъ смѣялся большей частью надъ тѣмъ, по поводу чего у большинства не хватало духу даже улыбнуться. «Такъ взволнованъ былъ когда-то нашъ литературный міръ оскорбленіемъ, которое нанесъ одинъ фельетонистъ Иллюстраціи двумъ литераторамъ изъ евреевъ, Чацкину и Горвицу: объ нихъ сказали, что они подкуплены». Явились литературные протесты, въ которыхъ говорилось, что множество писателей, проникнутыхъ убѣжденіемъ высокаго и нравственнаго призванія литературы, выражаетъ свое негодованіе противъ такого злоупотребленія печатнымъ словомъ. Кажется ясно, замѣчаетъ журналъ, что этими заявленіями защищались не только личности литераторовъ, но и сами принципы литературной

[1]) «Современникъ 1859 г., № 1. «Свистокъ», стр. 208—209.

чести. «А Добролюбовъ, потѣшаясь, называетъ все это жидовской исторіей. Въ нынѣшнее время такой протестъ былъ-бы, конечно, неумѣстенъ. Теперь уже черезчуръ привыкли низводить гласность на степень презрѣннаго орудія личныхъ оскорбленій. Но тогда литературные нравы еще не достигали такого извращенія... Добролюбовъ своимъ свистомъ на воззваніе сотни литераторовъ не мало, конечно, способствовалъ къ установленію литературныхъ обычаевъ и къ произведенію той литературной свалки, которая теперь совершается. Протестовъ ждать неоткуда. Все смотритъ съ изумленіемъ, выпучивши глаза, на эту фантасмагорію» [1]).

Въ дѣйствительности Добролюбовъ даже не былъ послѣдователенъ — и уже въ первомъ № «Свистка» онъ обнаружилъ противорѣчіе своихъ мнѣній по вопросу о высотѣ развитія русскаго общества. Въ письмѣ Свиристелева онъ восклицаетъ: «Благородство духа познается въ томъ, что человѣкъ признаетъ гнусность клеветы! Неужели наше общество упало такъ низко, что каждый долженъ спѣшить воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ повѣдать ему, на какой высотѣ нравственности онъ стоитъ»!.. А черезъ нѣсколько страницъ, давая мѣсто стишкамъ своего сатирическаго alter-ego, Конрада Лиліеншвагера, онъ обращается къ публикѣ съ слѣдующимъ шутовскимъ куплетомъ:

Слава намъ! Въ поганой лужѣ
Мы давно стоимъ.
И чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже,
Все себя грязнимъ.
Слава намъ! Въ грѣхахъ сознанье
Мы творимъ смѣясь,
И слезами покаянья
Мы разводимъ грязь.
Гордо, весело и прямо
Всѣмъ мы говоримъ:
„Знаемъ мы, чѣмъ пахнетъ яма,
Въ коей мы стоимъ“.
Смѣло мы теперь смѣемся
Сами надъ собой
И безъ страха окунемся
Въ грязь—хоть съ головой... [2])

Но Добролюбовъ былъ, повидимому, высокаго мнѣнія даже о первыхъ своихъ шагахъ въ качествѣ сотрудника «Свистка». Въ самомъ дѣлѣ, общество увлекалось мелкимъ прогрессомъ! Все, что творилось, имѣло черезчуръ оптимистическій характеръ, и именно современные дѣятели должны были дать Добролюбову обильную пищу для его насмѣшки, которую подсказывалъ ему желчный «бѣсъ отрицанья, бѣсъ сомнѣнья». Исполненный скептицизма, Лиліеншвагеръ первый понялъ, что русское общество его времени топчется на трюизмахъ. Онъ не вѣрилъ Кокореву, дѣльцу, распинавшемуся въ газетахъ за свободу гласнаго изобличенія

[1]) «Отечественныя записки» 1865 г. августъ, книжка 2-я, стр. 637.
[2]) «Современникъ» 1859, № 1, «Свистокъ» стр. 212—213.

всякаго рода злоупотребленій. Онъ хохоталъ при видѣ людей, защищающихъ передъ другими мысль, что «жидъ есть тоже человѣкъ». Онъ вышутилъ Розенгейма и Ростопчину, онъ первый сообразилъ, что не нужно обладать геніемъ, чтобы дать разумный отвѣтъ на вопросъ о необходимости грамоты [1]... Вотъ съ какой оригинальною безпощадностью Лиліеншвагеръ, одержимый демономъ русскаго радикализма, топталъ въ прахъ всѣ тѣ молодые побѣги общественной самодѣятельности, которые въ настоящее время люди прогресса и серьезной мысли считаютъ преимуществомъ той эпохи.

Теперь мы перейдемъ къ одному изъ самыхъ скандальныхъ походовъ, предпринятыхъ «Свисткомъ» по поводу знаменитаго спора о происхожденіи Руси между Погодинымъ и Костомаровымъ. По своей продолжительности, по упорству, по своему сенсаціонному интересу, это одно изъ самыхъ выдающихся явленій въ дѣятельности сатирическихъ сотрудниковъ «Современника», и историческая справедливость требуетъ признать, что, послѣ нападокъ на Пирогова, это одна изъ самыхъ безтактныхъ вылазокъ, сдѣланныхъ Добролюбовымъ въ такое время, когда русское общество въ первый разъ имѣло случай присутствовать на публичномъ спорѣ двухъ ученыхъ дѣятелей печати. Въ каждомъ культурномъ государствѣ, умѣющемъ дорожить серьезными дебатами по вопросамъ историческаго характера, въ каждомъ европейскомъ обществѣ споръ подобный настоящему, вызвалъ бы всеобщее вниманіе и заставилъ бы печать, насторожívъ вниманіе, слѣдить за всѣми перипетіями спора съ тѣмъ уваженіемъ, которое приличествуетъ интеллигентнымъ людямъ. Какая литература, кромѣ русской, могла бы понять свою обязанность такъ, какъ понялъ ее «Свистокъ», какъ понялъ ее Добролюбовъ? Тутъ умѣстно было пустить въ ходъ всѣ лучшія силы журналистики для серьезной оцѣнки тѣхъ доводовъ, которыми публично обмѣнялись два ученыхъ противника. Нельзя было не видѣть, что выведенный на гласное обсужденіе вопросъ о началѣ Руси можетъ получить самое широкое общественное значеніе и дать тотъ или другой импульсъ къ возбужденію опредѣленнаго историческаго самосознанія. Зачѣмъ было пустить въ дѣло «Свистокъ» именно въ этомъ случаѣ? Какой смыслъ имѣло шутовство по поводу диспута, въ которомъ сами оппоненты оказывали другъ другу на словахъ и въ печати взаимное уваженіе? Добролюбовъ не видѣлъ, что, усиливая свои нападки на Погодина въ эту минуту, онъ въ умныхъ людяхъ могъ возбудить только сомнѣніе въ научной состоятельности Костомарова, который въ сущности ни въ какой подобной поддержкѣ не нуждался. Осмѣивая все, что было сказано Погодинымъ, онъ оказывалъ вредную услугу талантливому исторіографу, принимавшему дѣятельное участіе въ «Современникѣ». Костомаровъ самъ публично призналъ, что онъ считалъ своимъ долгомъ принять

[1] «Современникъ» 1859 г., № 4. «Свистокъ», *Нашъ демонъ* (будущее стихотвореніе), стр. 366—368.

вызовъ на споръ со стороны Погодина,— какой же смыслъ имѣли заявленія Чернышевскаго заднимъ числомъ, заявленія, сдѣланныя въ самыхъ грубыхъ выраженіяхъ, что онъ не совѣтовалъ своему ученому товарищу по журналу выходить на состязаніе?

Разскажемъ, какъ произошло все это дѣло. Въ первой книжкѣ «Современника» 1860 г. была напечатана статья Костомарова подъ названіемъ «Начало Руси», гдѣ доказывается, въ разрѣзъ съ господствовавшими въ ученой литературѣ взглядами, чтс варяги были выходцами изъ литовской земли и что самое призваніе ихъ совершилось «по причинѣ связи, въ которой тогда были наши сѣверные славяне съ приморскими литовцами, по изгнаніи взаимныхъ враговъ» и по указанію «тамошнихъ жрецовъ и гадателей, славившихся на сѣверѣ своимъ искусствомъ» [1]). Въ той же книгѣ журнала, въ отдѣлѣ «Русская литература», неизвѣстный авторъ, — едва-ли Чернышевскій, судя по одному его заявленію, — въ энергическихъ выраженіяхъ, полныхъ насмѣшки и презрѣнія, низводитъ къ нулю отсталый взглядъ Погодина по этому вопросу, по поводу его сочиненія «Норманскій періодъ русской исторіи». Довольно давно уже г. Погодинъ, пишетъ рецензентъ, находится въ пріятномъ положеніи повторять собственныя старыя мысли и не слышать на нихъ возраженія. Одна изъ такихъ мыслей — мысль о норманствѣ варяговъ, «выдержавшая такую полемику и, наконецъ таки, утвержденная г. Погодинымъ на незыблемыхъ основаніяхъ». Прежнія работы этого ученаго проходили почти безъ всякихъ возраженій, но новая книга уже не пройдетъ горделиво «при всеобщемъ безмолвномъ согласіи, какъ проходили недавнія повторенія норманства въ изслѣдованіяхъ г. Погодина». Въ нынѣшней книжкѣ «Современника», замѣчаетъ авторъ, читатели найдутъ статью г. Костомарова о началѣ Руси, «совершенно не признающую пресловутаго норманства». Что теперь сдѣлаетъ г. Погодинъ? Какъ онъ справится съ Костомаровымъ, который говоритъ съ такою убѣдительностью? «Кто внимательно прочтетъ «Начало Руси» г. Костомарова, тотъ увидитъ, что онъ стоитъ гораздо ближе къ истиннымъ воззрѣніямъ, нежели г. Погодинъ съ своимъ математическимъ методомъ» [2])... Таково начало этого большого литературнаго скандала. Еще раньше, чѣмъ Погодинъ успѣлъ откликнуться на статью Костомарова, въ той же книгѣ журнала, гдѣ впервые обнародовалось новое мнѣніе по трудному историческому вопросу, раньше, чѣмъ догадка Костомарова могла стать предметомъ критическаго обсужденія съ какой-бы то ни было стороны, «Современникъ» считалъ приличнымъ провозгласить грозное vae victis всѣмъ, держащимся прежнихъ воззрѣній. Костомаровъ, сотрудникъ «Современника» сказалъ— ясно, что споръ могутъ возбудить только ретрограды. Побѣда одержана безъ

---

[1]) «Современникъ», 1860 № 1 «Начало Руси», стр. 24.

[2]) «Современникъ», 1860 № 1 Русская литература, «Норманскій періодъ русской исторіи М. Погодина», стр. 104—108.

бою, ибо въ «Современникѣ» всякое объявленіе войны считалось равносильнымъ провозглашенію побѣды съ амнистіею для тѣхъ, въ которыхъ нельзя было заподозрить особенно усерднаго сопротивленія. Костомаровъ, талантливый исторіографъ, съ превосходно выработаннымъ слогомъ, хотя, быть можетъ, не вполнѣ дисциплинированной научной манерой, убѣжденъ въ своей правотѣ. Чернышевскій стоитъ за Костомарова. Добролюбовъ—за Чернышевскаго. А впереди—храбрая пѣхота комическихъ лицедѣевъ «Свистка», угрожающая всѣмъ несогласно мыслящимъ своимъ дружнымъ натискомъ, своими штыками. Но Погодинъ не считалъ еще своего дѣла проиграннымъ, когда впервые ознакомился со статьею Костомарова. Человѣкъ остроумный, ехидный, съ несомнѣннымъ литературнымъ талантомъ, хотя съ пріемами развязнаго и самоувѣреннаго балагура, Погодинъ рѣшилъ вызвать Костомарова на ученый поединокъ. Возможно, что онъ былъ вполнѣ увѣренъ въ томъ, что одержитъ легкую побѣду надъ своимъ оппонентомъ. Возможно, что онъ не совсѣмъ хорошо измѣрилъ свои собственныя полемическія силы и, воздавая должное таланту Костомарова на словахъ, въ глубинѣ души слишкомъ легковѣсно оцѣнивалъ боевыя средства своего противника. Во всякомъ случаѣ, Погодинъ рѣшился сдѣлать Костомарову вызовъ. Въ № 60 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», 1860 г. мы находимъ открытое письмо Костомарова нижеслѣдующаго содержанія: Костомаровъ сообщаетъ, что 9-го марта имъ получено отъ М. П. Погодина ученое возраженіе на его теорію о пришествіи первыхъ князей изъ литовской Руси и что это длинное посланіе заканчивается такимъ образомъ: «я считаю васъ честнымъ, добросовѣстнымъ изслѣдователемъ въ кучѣ шарлатановъ, невѣждъ, посредственностей и бездарностей, которые, пользуясь исключительнымъ положеніемъ, присвоили себѣ на минуту авторитетъ въ дѣлѣ науки и приводятъ въ заблужденіе неопытную молодежь. Вотъ почему я требую отъ васъ, вс имя этой науки, полной сатисфакціи, т. е. торжественнаго отступленія изъ Жмуди или полнаго отраженія приведенныхъ мною доказательствъ, за коими я готовъ выдвинуть и тяжелую артилерію. Иначе бросаю вамъ перчатку и вызываю на ученый поединокъ. Секундантовъ мнѣ не нужно, развѣ тѣни Байера, Шлецера и Круга, если у васъ въ Петербургѣ есть вызыватели духовъ, а вы, ради потѣхи, можете пригласить себѣ въ секунданты любыхъ рыцарей Свистопляски. Сборъ, въ доказательство моего безпристрастія, я готовъ уступить въ пользу неимущей Жмуди. Безъ шутокъ. Пріѣхавъ на недѣлю въ Петербургъ, предлагаю вамъ публичное разсужденіе въ университетѣ, въ присутствіи лицъ, принимающихъ живое участіе въ вопросѣ. Хотя я уже лѣтъ двадцать оставилъ его, но, посвятивъ ему десять лучшихъ лѣтъ въ жизни, помню во всѣхъ подробностяхъ и готовъ отстаивать его unguibus et rostris [1])». Отвѣчая на это письмо, Костомаровъ заявилъ, что онъ

---

[1]) «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1860 г., № 60, «Диспутъ Н. И. Костомарова и М. П. Погодина».

принимаетъ вызовъ Погодина «съ полнымъ уваженіемъ, какъ къ наукѣ, такъ и къ почтенному ветерану», считая самое предложеніе выйти на публичный турниръ «высокой для себя честью». «Тѣни Байера, Шлецера и Круга, писалъ онъ, не помогутъ намъ: они уже тѣни, да если-бы и имѣли тѣло, то не могли-бы сохранить настоящаго безпристрастія, а настоящая моя готовность отказаться отъ своего мнѣнія, если оно не будетъ имѣть достаточной силы, чтобы убѣдить нашихъ посредниковъ, можетъ служить М. П. Погодину ручательствомъ, что я не думаю мнѣніе свое защищать одобреніемъ рыцарей Свистопляски». Такъ писалъ Костомаровъ 11-го марта 1860 года въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». Погодинъ остался доволенъ его отвѣтомъ [1]), и 19-го числа того-же мѣсяца въ одной изъ университетскихъ залъ состоялся публичный диспутъ между двумя учеными о началѣ Руси. Стеченіе публики было огромно. Вся большая зала университета была переполнена людьми, заинтересованными небывалымъ зрѣлищемъ. Половина народа не нашла себѣ мѣстъ. Ректоръ университета Плетневъ открылъ засѣданіе краткой рѣчью, въ которой замѣтилъ, между прочимъ, что это первая попытка ускорить изустнымъ объясненіемъ рѣшеніе спорныхъ научныхъ вопросовъ. Затѣмъ Погодинъ обратился къ собравшейся публикѣ съ объяснительною рѣчью. Сначала онъ выразилъ обществу благодарность за вниманіе, оказанное предстоящему спору, въ которомъ доказательства будутъ заимствоваться изъ источниковъ, покрытыхъ пылью и тлѣніемъ. При словахъ оратора, что общество, прійдя на этотъ споръ съ такимъ рвеніемъ, съ какимъ ищутъ обыкновенно эстетическихъ наслажденій, «представляетъ самое утѣшительное доказательство того, что мы созрѣли для рѣшенія нужныхъ и важныхъ для насъ вопросовъ», раздались продолжительные и бурные аплодисменты. Затѣмъ Погодинъ въ краткихъ чертахъ изложилъ сущность спора, привелъ восемь доказательствъ въ пользу своего мнѣнія о норманскомъ происхожденіи варяго-руссовъ и воздавъ должное блистательнымъ заслугамъ Костомарова, открылъ перекрестный обмѣнъ возраженій и историческихъ доказательствъ... Диспутъ длился нѣсколько часовъ. Погодинъ, съ бойкостью остроумнаго спорщика, осыпалъ своего противника аллегоріями, веселыми сравненіями, вызывавшими смѣхъ въ публикѣ, Костомаровъ, сохраняя тонъ самоуваженія и крайней сдержанности, съ нѣкоторой галантностью, не исключающей научной твердости въ убѣжденіяхъ, возражалъ своему противнику шагъ за шагомъ, гдѣ можно историческими соображеніями, гдѣ позволялъ случай—прогрессивными сентенціями, вызывавшими въ публикѣ громы рукоплесканій. Оба противника оказались достаточно подготовленными для публичныхъ разсужденій, и каждый изъ нихъ отстаивалъ свою мысль съ извѣстною силою, которая не давала ни одному изъ нихъ преимущества надъ другимъ. Въ положеніи Костомарова были однако нѣкоторыя

[1]) Ibidem, Письмо М. П. Погодина.

выгоды: сотрудникъ «Современника», авторъ «Богдана Хмѣльницкаго» и «Стеньки Разина», онъ имѣлъ въ глазахъ толпы какое-то особое обаяніе, онъ возбуждалъ въ ней какія-то свѣтлыя ассоціаціи. Отстаивая противъ Погодина свою гипотезу словами, въ которыхъ свѣтился умъ порывистый и живой, Костомаровъ былъ симпатичнѣе публикѣ, чѣмъ Погодинъ, съ его нѣсколько бравурнымъ остроуміемъ, какою-то подчеркнутою интимностью съ наукой, съ его рѣзкими нападками на фельетонистовъ «Современника». Но, несмотря на неравенство во внѣшнемъ положеніи, споръ окончился благополучно для обѣихъ сторонъ: истина осталась невыясненною, оппоненты обмѣнялись доказательствами, никого окончательно не убѣдившими. Погодинъ заключилъ состязаніе пышными словами, удостоившимися громкаго браво всей публики: «Да здравствуетъ Русь, откуда-бы ни пришла она! воскликнулъ онъ. Пусть живетъ она не тысячу лѣтъ, а многія тысячи, если только нѣтъ на землѣ ничего безсмертнаго, по выраженію Карамзина, кромѣ души человѣческой. Пусть цвѣтетъ наука въ стѣнахъ здѣшняго университета, въ стѣнахъ и за стѣнами всѣхъ русскихъ университетовъ. Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма!» Публика двинулась съ мѣстъ, но Костомаровъ успѣлъ еще отвоевать себѣ вниманіе ея для нѣсколькихъ заключительныхъ словъ, вызвавшихъ цѣлую бурю. «Я кончу словами Пушкина, громко сказалъ онъ: Литва ли, Русь-ли—все равно!» Втеченіи многихъ минутъ въ залѣ слышался восторженный крикъ: Костомаровъ! Костомаровъ! [1]).

Такъ закончились пренія. Обоимъ ораторамъ Пушкинъ далъ эффектное заключительное слово, но побѣды, какъ мы уже сказали, никто не одержалъ.

Добролюбовъ понялъ дѣло по своему. «Свистокъ» не можетъ молчать, не можетъ не пустить въ ходъ своей кричащей сатиры, когда на мнѣніе сотрудника «Современника» ополчается человѣкъ, защищающій какую то старую точку зрѣнія, когда въ университетской залѣ затѣвается теоретическій споръ о происхожденіи русскаго государства. При томъ же Погодинъ обнаружилъ явное презрѣніе и въ такихъ рѣшительныхъ словахъ къ литературнымъ силамъ рыцарей Свистопляски. За Погодинымъ числились какіе то частные грѣхи, правда, не имѣющіе никакой связи съ норманскимъ вопросомъ, но дающіе все-таки козырное средство въ борьбѣ съ нимъ на поприщѣ публицистики. Общество хотя и присутствовало при спорѣ, не давшемъ никакого положительнаго результата, но остается еще журнальная агитація, которая можетъ повернуть его мнѣніе въ сторону симпатичнаго Костомарова. Въ рѣчахъ Погодина чувствовалось нѣкоторое кокетство оптимистическими фразами и вотъ тутъ то «Свистокъ», враждебный всякимъ пылкимъ мечтаніямъ, можетъ разразиться скандализирующимъ, мелкимъ бѣсовскимъ хохотомъ, противъ

---

[1]) «С.-Петербургскія Вѣдомости», 1860 г., № 67. Отчетъ о диспутѣ Погодина и Костомарова, 19 марта 1860 г. «Современникъ», 1860 г. № 3, «Публичный диспутъ», стр. 257—292 и «Свистокъ», № 4, «Столичная суматоха въ пользу науки».

котораго не устоитъ никакая репутація. Погодинъ нѣсколько рисовался особеннымъ уваженіемъ къ наукѣ,—и тутъ то «Свистокъ» можетъ обнаружить настоящую дьявольскую проницательность въ пониманіи всякаго ученаго краснобайства, лихо ударивъ престарѣлаго профессора по самому чувствительному нерву всей его жизни. На сцену долженъ выйти Лиліентшвагеръ. Рыцари Свистопляски покажутъ на дѣлѣ свою отвагу въ защитѣ Костомарова, не смотря на то, что онъ самъ откровенно отказался отъ всякой подобной помощи. Лучшій фельетонистъ «Современника» присутствовалъ на диспутѣ, за которымъ онъ слѣдилъ съ какимъ то сладострастнымъ упоеніемъ. Боже мой, сколько матеріала для смѣха, для бойкой фельетонной сатиры...

Мы созрѣли, мы созрѣли!
Веселись созрѣвшій Россъ!
Вотъ теперь ты въ самомъ дѣлѣ
Сталъ полунощный колоссъ.
Мы созрѣли, мы созрѣли!
Такъ Погодинъ намъ сказалъ,
Изъ Москвы для этой цѣли
Онъ нарочно прискакалъ.
Мы созрѣли! Россъ, пойми же
И душою умились.
Сними-ка шапку, да пониже,
Да пониже поклонись [1].

Проза, стихотворное посвященіе М. П. Погодину, цѣлое комическое представленіе, данное съ бойкимъ юмористическимъ талантомъ, рядъ сатирическихъ замѣчаній, брошенныхъ въ лицо московскому ученому—вотъ чѣмъ отвѣтилъ Добролюбовъ на споръ Погодина и Костомарова. Во всѣхъ статейкахъ «Свистка» на эту тему проглядываетъ рѣшительная увѣренность, что, въ сущности, Костомаровъ одержалъ блестящую побѣду. Добролюбовъ окольными путями внушаетъ свое, ни на чемъ не основанное, убѣжденіе своимъ читателямъ и чѣмъ дольше, тѣмъ увѣреннѣе хлещетъ Погодина язвительными словами, проникнутыми презрѣніемъ къ его учености, къ его научнымъ заслугамъ, къ его несчастной рѣшимости выйти на споръ съ неравнымъ соперникомъ. Дѣло приняло, такимъ образомъ, совершенно ложное и даже скандальное освѣщеніе и превратилось въ настоящую свалку, въ которой уже нельзя было разобрать, кто правъ и кто виноватъ. Фельетонисты «Современника» свистали, общество, раззадоренное комическими стишками, стало хохотать. Погодинъ оказался въ истинно глупомъ положеніи, изъ котораго онъ, по несчастной склонности къ бравурному шутовству, рѣшилъ выйти, прибѣгнувъ къ заявленію, носившему игривый характеръ.

Возвратившись въ Москву, Погодинъ, преслѣдуемый смѣхомъ «Современника», задумалъ дать отчетъ своимъ московскимъ друзьямъ о публич-

---

[1]) «Современникъ» 1860, № 3, «Свистокъ» № 4, «Благодарная пѣснь созрѣвшаго Росса».

номъ диспутѣ, выдержанномъ имъ въ С.-Петербургѣ. Въ 1-й книжкѣ «Русской Бесѣды» 1860 г. онъ напечаталъ небольшую статейку о своемъ спорѣ съ Костомаровымъ, состоящую изъ двухъ главъ. Первая заключаетъ въ себѣ объясненія историческаго хода настоящаго дѣла, вторая — новое письмо къ Костомарову, дополненіе къ диспуту. Оказывается, что, отправляя первое письмо Костомарову, ученыя и художественныя заслуги котораго онъ охотно признавалъ, Погодинъ въ сущности не задавался серьезною цѣлью публично поспорить съ ученымъ сотрудникомъ «Современника». Это было ничто иное, какъ шутка, заявляетъ Погодинъ. А Костомаровъ, не понявшій шутки, юмористическаго тона въ его письмѣ, принялъ вызовъ въ серьезъ. Погодинъ обрисовываетъ ту атмосферу, при которой приходилось бороться съ противникомъ. котораго онъ шутя вызвалъ на споръ и который заставилъ его въ шумной залѣ говорить о предметахъ, имѣющихъ высокое научное значеніе... [1]) Такими неискренними фразами Погодинъ думалъ свалить съ ногъ храбрыхъ воиновъ «Свистка», выводившихъ его изъ терпѣнія. Захваченный скандаломъ, по натурѣ склонной къ бьющей въ глаза игрѣ словами, онъ самъ усугубилъ скандалъ своимъ до очевидности фальшивымъ заявленіемъ. Это странное заключительное слово въ печати было должнымъ образомъ оцѣнено Костомаровымъ въ 5-й книжкѣ «Современника» 1860 г., причемъ Костомаровъ и на этотъ разъ не сдѣлалъ ни одной безтактности, не смотря на то, что задорная замѣтка его противника могла произвести на него самое удручающее впечатлѣніе. Его «Послѣднее слово г. Погодину» дышетъ настоящею порядочностью, сдержано по тону, скромно, хотя и рѣшительно, по содержанію. Человѣкъ науки, онъ до послѣдней минуты не позволялъ себѣ прибѣгнуть къ средствамъ, которыя могли бы компрометировать его увѣренность въ собственной правотѣ. Уважая своихъ соперниковъ по спеціальности, какихъ бы взглядовъ они ни держались, онъ не могъ потерять душевное равновѣсіе въ спорѣ, въ которомъ самолюбіе не должно было играть ни какой роли. Но наиболѣе типичные сотрудники «Современника» отвѣтили на замѣтку Погодина настоящимъ залпомъ полемическихъ издѣвательствъ и глумленія. Выступилъ самъ Чернышевскій, истинный вождь журнала. Онъ рѣшителенъ въ словахъ. Для него въ этомъ дѣлѣ не было и нѣтъ никакихъ сомнѣній. Ученые труды г. Погодина, заявляетъ онъ на первой же страницѣ своей статейки, не имѣютъ ровно никакого ученаго значенія. Но самъ Погодинъ думаетъ, что его репутація имѣетъ серьезныя достоинства, а когда человѣкъ, не имѣющій никакихъ заслугъ, «считаетъ себя имѣющимъ заслуги, онъ становится несносенъ тщеславіемъ и наглостью». Въ сущности Погодинъ только забавникъ, и г. Костомарову

---

[1]) „Русская Бесѣда“ 1860 г. № 1. «О публичномъ диспутѣ въ залѣ с.-петербургскаго университета касательно происхожденія Руси». Отчетъ московскимъ друзьямъ, стр. 133—139.

не слѣдовало принимать его вызова. Когда Костомаровъ рѣшился выйти на споръ, Чернышевскій убѣждалъ его отказаться отъ всякаго состязанія. Онъ говорилъ ему: человѣку, пользующемуся уваженіемъ публики, неудобно связываться съ Погодинымъ. «Вы компрометируете себя, и Погодинъ принудитъ васъ къ объясненіямъ, очень непріятнымъ для человѣка, не любящаго полемики даже и приличной». Приводя свои фразы, Чернышевскій заявляетъ: «Я смягчаю для печати выраженія, которыя употреблялъ тогда. Читатель можетъ дополнить ихъ воображеніемъ». Костомаровъ цѣнитъ Погодина за ученость, но Чернышевскій не согласенъ цѣнить «бездарное труженичество». Правда, онъ не такой знатокъ, по собственному сознанію, въ вопросахъ русской исторіи, чтобы вдаваться въ оцѣнку различныхъ мнѣній, къ ней относящихся, но убѣжденіе, которое защищалъ Погодинъ, не принадлежитъ къ числу трудныхъ и понятныхъ только спеціалисту. Если бы онъ былъ на мѣстѣ Костомарова, онъ оборвалъ бы, во всякомъ случаѣ, споръ съ Погодинымъ слѣдующими словами: «Милостивый государь, сказалъ бы онъ ему, спорить мнѣ съ вами объ историческихъ вопросахъ такъ же неумѣстно и неприлично, какъ неумѣстно и неприлично было бы какому нибудь оріенталисту спорить со мною о синтаксическихъ правилахъ сіамскаго языка. Я принужденъ кончить диспутъ». Костомаровъ, по мягкости натуры и изъ за разныхъ ученыхъ приличій, быть можетъ, сочтетъ эти радикальныя сужденія несправедливыми, но Чернышевскій въ этомъ случаѣ ему уступить не можетъ: Погодинъ несомнѣнно ученая бездарность, поддерживаемая имъ теорія о варяго-руссахъ отжила окончательно свой вѣкъ [1]).

А «Свистокъ» заливался надъ Погодинымъ дикимъ, торжествующимъ смѣхомъ.

Пусть Чернышевскій говоритъ что хочетъ,
И Костомаровъ пусть тебя разитъ.
Пусть надъ тобой ученыхъ судъ грохочетъ,
Пусть ими будешь ты и презрѣнъ, и забытъ...
    Не унывай! Прочь Несторъ, прочь норманы,
    Прочь жалкій параллель Европы и Руси!
    Владѣнія „Свистка“ обильны и пространны,
    Тебѣ въ нихъ мѣсто есть, свой трудъ туда неси.
Ты о „Свисткѣ“ писалъ съ презрѣньемъ величавымъ,
Въ намѣреньи его жестоко оскорбить,
Но онъ давно простилъ рѣчамъ твоимъ неправымъ:
Онъ такъ высокъ, что можетъ все простить.
    Иди же къ намъ! Въ „Свисткѣ“ мы памятникъ построимъ,
    Всѣмъ шуткамъ, шалостямъ и подвигамъ твоимъ,
    Ученость дряхлую мы свистомъ успокоимъ
    И слухъ твой ласковымъ романсомъ усладимъ [2]).

---

[1]) «Современникъ» 1860 г. № 5. «Замѣчаніе на послѣднее слово г-ну Погодину» Н. Чернышевскаго, стр. 84—88.

[2]) Ibidem, «Свистокъ» № 5, стр. 40, «М. П. Погодину отъ рыцарей Свистопляски».

А вопросъ о происхожденіи варяго-руссовъ считается неразрѣшеннымъ и по настоящее время и, судя по новѣйшимъ сочиненіямъ историческаго характера, догадка Костомарова не принялась въ наукѣ. Три главныхъ воззрѣнія на этотъ предметъ борются еще до сихъ поръ между собою и, не смотря на талантъ людей, работающихъ на поприщѣ русской исторіи, вопросъ остается пока не выясненнымъ. Одни защищаютъ происхожденіе варяговъ изъ Скандинавіи, другіе выводятъ ихъ съ славянскаго поморья, третьи видятъ въ нихъ сбродную дружину—вотъ что читаемъ мы на эту тему въ «Русской исторіи» К. Бестужева-Рюмина [1]). Наиболѣе авторитетныя силы нашей научной среды, говоритъ молодой, весьма дѣльный ученый С. Ѳ. Платоновъ, всѣ держатся воззрѣнія той норманской школы, которая основана еще въ XVIII в. Байеромъ и совершенствовалась въ трудахъ Шлецера, Погодина, Круга, Куника, Васильевскаго. Но рядомъ съ ученіемъ господствующимъ, читаемъ мы въ его лекціяхъ по русской исторіи, давно существовали и другія, изъ которыхъ большую пользу для дѣла принесла, такъ называемая, славянская школа. Что же касается до иныхъ точекъ зрѣнія на разбираемый вопросъ, замѣчаетъ профессоръ, то о нихъ можно упомянуть лишь для полноты обзора: Костомаровъ одно время настаивалъ на литовскомъ происхожденіи Руси, Щегловъ — на происхожденіи финскомъ [2])...

Разсмотримъ еще одинъ эпизодъ въ дѣятельности «Свистка», быть можетъ, самый наглядный и простой, какъ иллюстрація удалой, но въ сущности растлѣвающей политики, которая практиковалась въ фельетонномъ отдѣлѣ «Современника». Если въ случаѣ съ протестомъ противъ Зотова можно было имѣть еще какія-нибудь комическія черты: два Милеанта и три Хомякова, если въ исторіи Костомарова съ Погодинымъ еще можно было рѣшиться поднять на смѣхъ заявленіе московскаго ученаго, что русское общество созрѣло для публичныхъ споровъ по вопросамъ науки, то въ настоящемъ случаѣ самый снисходительный критикъ фельетоннаго отдѣла «Современника» не найдетъ никакихъ толковыхъ объясненій и оправданій. Просто свисталось, и трудно было, разъ увлекшись, удержаться отъ усвоенныхъ пріемовъ въ обсужденіи именно либеральныхъ явленій въ жизни русскаго общества. Надо было выдѣлиться изъ общаго хора русской журналистики, и неожиданный свистъ именно тамъ, гдѣ этого всего менѣе можно было ожидать, долженъ былъ производить ошеломляющее впечатлѣніе. Если освистывается дружный протестъ противъ писателя, унизившаго печатное слово до степени презрѣннаго орудія личныхъ оскорбленій, если ошиканъ ученый споръ двухъ талантливыхъ людей, если расхлестанъ, можно сказать, съ такимъ необычайнымъ размахомъ русскій дѣятель Пироговъ, если Монталамберъ и Кавуръ, подъ сатирическимъ перомъ Добролюбова,

---

[1]) К. Бестужевъ-Рюминъ. «Русская Исторія», I, глава II, стр. 89.

[2]) Лекціи по русской исторіи, курсъ I, 1891 и 1892 гг. С. Ѳ. Платонова. стр. 159—160.

вдругъ обратились въ какихъ-то водевильныхъ шутовъ, отчего-же не окаррикатурить людей съ болѣе скромною репутаціей? Но именно тутъ-то видна абсурдность такого безусловнаго, ничѣмъ не сдерживаемаго отрицанья. Нельзя смѣяться, не рискуя вызвать справедливое негодованіе, надъ скромными тружениками, когда они прибѣгаютъ къ гласности, какъ къ орудію самозащиты въ борьбѣ съ условіями жизни. Неприлично издѣваться тамъ, гдѣ должно быть выражено опредѣленное прямое сочувствіе... Вотъ этотъ случай, о которомъ мы говоримъ. Въ пятой книгѣ «Русской Бесѣды» 1859 г. появилась небольшая статейка Павла Якушкина, подъ названіемъ «Проницательность и усердіе губернской полиціи» — письмо къ редактору этого журнала, рисующее въ самыхъ трогательныхъ и правдивыхъ выраженіяхъ, проникнутыхъ простодушною незлобивостью, грубый и произвольный актъ насилія, совершенный псковскою полиціею надъ этимъ въ высшей степени симпатичнымъ работникомъ на поприщѣ русской этнографіи. Отправившись въ Псковъ, по порученію «Русской Бесѣды», гдѣ онъ печаталъ свои этнографическія впечатлѣнія, Якушкинъ былъ вдругъ арестованъ полицейскою властью безъ всякой причины, продержанъ нѣсколько дней при полицейской части, и за тѣмъ, безъ всякой провѣрки и должныхъ законныхъ объясненій ареста, выпущенъ на свободу. Печатая этотъ возмущающій душу разсказъ Якушкина, редакція отъ себя сдѣлала нѣсколько рѣзкихъ и дѣльныхъ замѣчаній съ цѣлью привлечь вниманіе общества, печати и компетентныхъ властей къ этому прискорбному, но характеристическому случаю [1]). Таковъ простой фактъ, не подлежащій никакимъ перетолкованіямъ. Человѣкъ публично протестовалъ противъ совершеннаго надъ нимъ насилія, и публицисты всѣхъ сортовъ и всѣхъ партій, понимающіе свой долгъ передъ обществомъ, должны были дать этому протесту ходъ и распространеніе. Когда человѣкъ негодуетъ противъ произвола цѣлаго учрежденія, неприлично оставаться равнодушнымъ и позорно выкидывать какіе-то гаерскіе фортели. А между тѣмъ такъ поступилъ Добролюбовъ. Перепечатывая статейку Якушкина, онъ посмѣивается надъ русской гласностью и рядомъ комическихъ восклицаній глумится надъ пострадавшимъ. «Мы не могли безъ особеннаго восхищенія, иронизируетъ онъ, читать мастерскаго очерка г. Якушкина!.. Какая смѣлость!.. Какое благородство выраженій!.. Какое достоинство тона!.. Простому полицейскому случаю придана форма вполнѣ литературная и при томъ чисто народная. Отрадно читать подобное описаніе. Сердце каждаго русскаго, истинно-любящаго литературу своего отечества, должно ощущать радостный трепетъ при чтеніи статьи Якушкина. Она служитъ яснымъ доказательствомъ того, какъ велики прогрессы, до которыхъ дошли мы въ жизни и литературѣ вслѣдствіе широкаго развитія гласности»... [2]).

---

[1]) «Русская бесѣда» 1859 г. V, стр. 107—108.

[2]) «Сочиненія Добролюбова» т. IV, стр. 366.

Надъ чѣмъ хохоталъ Добролюбовъ? Надъ принципами гласности? Надъ Якушкинымъ?

Якушкинъ—оригинальная, свѣтлая личность, вызывавшая восторженное сочувствіе во всѣхъ слояхъ русскаго общества. Одѣтый въ полумѣщанскій, полукрестьянскій костюмъ, который рѣзалъ глаза и останавливалъ вниманіе проходящихъ, въ очкахъ, Якушкинъ обходилъ села и деревни, сдружался съ крестьянствомъ, любовно присматриваясь къ его быту, любовно занося на страницы своей тетради пѣсни, сказки, преданія, типическіе разговоры. Путь его въ сущности былъ очень нелегокъ. Взваливъ на плечи лубочный коробъ, набитый офенскимъ товаромъ на крестьянскую руку, торговецъ Якушкинъ по грязи и бездорожицѣ, присаживаясь на облучекъ встрѣчной и попутной телѣжки, бодро и весело шелъ къ намѣченной цѣли. Охотнѣе всего онъ забирался въ глушь, въ дикіе проселки, гдѣ кипѣла жизнь первобытная, мало изученная, жизнь, по которой хорошо прослѣдить народное міровоззрѣніе, народныя горести и печали. Захаживалъ онъ и въ кабакъ, гдѣ народъ проводитъ часы отдыха — и повсюду онъ являлся, по свидѣтельству человѣка, хорошо его знавшаго, талантливѣйшаго русскаго писателя, С. Максимова, работникомъ, ходатаемъ и заступникомъ простого русскаго человѣка. Якушкинъ, говоритъ Максимовъ, болѣлъ случайностями задержки въ историческомъ поступательномъ движеніи русскаго народа, но куда-бы онъ ни являлся, онъ повсюду вносилъ какой-то свѣжій воздухъ, прирожденную и возлелѣянную незлобивость характера, умѣвшую забывать огорченія и оскорбленія [1]). Это было одно изъ самыхъ свѣтлыхъ явленій въ тогдашней русской жизни. Общество проснулось, русская жизнь, выражаясь словами Курочкина, начинала въ разныхъ точкахъ и съ разныхъ сторонъ оттаивать, ледяной покровъ офиціальнаго застоя и мундирнаго однообразія давалъ трещины по всѣмъ направленіямъ. Обычное вынужденное безмолвіе и приниженная оцѣпенѣлость стали нарушаться «сначала неяснымъ гуломъ недовольства, потомъ болѣе смѣлымъ говоромъ критическаго обсужденія, и еще далѣе молодымъ, порывистымъ выраженіемъ горячихъ надеждъ на будущее». Начинался обновляющій перестрой всего общественнаго склада. Слышались небывалыя слова и рѣчи. Въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи стали появляться какіе-то необыкновенные коллежскіе провинціальные и губернскіе секретари, «которые, состоя по прежнему въ разныхъ вѣдомствахъ и департаментахъ, уже не удовлетворялись исполненіемъ своихъ чиновничьихъ обязанностей, задумывались о приложеніи своихъ силъ къ общественной дѣятельности». Новыя птицы пробовали первые взмахи своихъ едва нароставшихъ крыльевъ...

Якушкинъ былъ однимъ изъ типичныхъ явленій новой эпохи. Надъ чѣмъ же и надъ кѣмъ свисталъ Добролюбовъ? [2]).

---

[1]) Сочиненія П. И. Якушкина. Изданіе В. Л. Михневича 1884 г. «Біографическій очеркъ», С. В. Максимова, стр. X.

[2]) Ibidem, «Товарищескія воспоминанія» Н. С. Курочкина, стр. XXXIII—XXXIV.

Мы разсмотрѣли важнѣйшія замѣтки «Свистка»—матеріалъ, не устарѣвшій по своей пикантности до настоящаго времени. Рядъ грубыхъ и безтактныхъ ошибокъ на публицистической почвѣ—вотъ краткое резюме этой дѣятельности Добролюбова. Нельзя найти никакихъ оправданій для этихъ разгульныхъ фельетонныхъ сатурналій, въ которыхъ попирались и люди, и принципы. Если бы по крайней мѣрѣ дѣятели «Свистка» были какими-либо пылкими мечтателями, не умѣющими считаться съ положеніемъ вещей, мы сказали бы: неосновательно, безтактно, но понятно, быть можетъ даже извинительно—ради идеальнаго порыва къ лучшему и совершеннѣйшему. Но, будучи по крови и по убѣжденіямъ настоящими реалистами, презирая всякую мечту, какъ нѣчто безплодное и даже вредное, какъ можно было рѣшиться выступать на поприще общественной публицистики безъ достаточной подготовки, безъ внимательнаго, пристальнаго изученія текущей жизни? Нападки Добролюбова всегда фальшивы, бездоказательны и, по истеченіи въ сущности немногихъ лѣтъ, производятъ впечатлѣніе какого-то легкомысленнаго юмористическаго жонглерства пустыми, хотя и «радикальными» словами. Онъ не былъ правъ въ исторіи съ протестомъ. Онъ былъ скандально несправедливъ въ своемъ столкновеніи съ Пироговымъ. Онъ былъ несостоятеленъ въ своихъ стихотворныхъ и прозаическихъ нападкахъ на диспутъ Погодина и Костомарова. Онъ былъ наивенъ въ характеристикахъ Монталамбера и Кавура. Онъ былъ непростительно опрометчивъ въ своихъ немногихъ строкахъ, посвященныхъ Якушкину. Въ чемъ же заслуги «Свистка»? Что писалось въ немъ хорошаго, талантливаго не по формѣ, а по красотѣ внутренней мысли, по силѣ убѣжденія? Дѣятельность Конрада Лиліеншвагера бойка, задорна, но совершенно безплодна. Писанія другихъ прозаическихъ и стихотворныхъ лицедѣевъ «Свистка», подъ которыми скрывался Добролюбовъ, тоже не имѣетъ никакихъ заслугъ. Наконецъ, и въ своихъ пересмѣшкахъ эстетическихъ произведеній русской поэзіи, сатира «Современника», ошибочная и разнузданная въ оцѣнкѣ явленій общественной жизни, шла тоже по ложному пути. Лирическія стихотворенія Аполлона Капелькина едва-ли могли воспитать въ обществѣ правильное критическое отношеніе къ творчеству, къ искусству. Остальныя стихотворныя сатиры, подписанныя другими именами, только дополняютъ и усугубляютъ всю ту сутолоку понятій и стремленій, которая царила въ этомъ отдѣлѣ журнала.

Въ Добролюбовѣ была склонность къ стихамъ, хотя настоящимъ поэтическимъ талантомъ онъ не обладалъ. Въ его лирическихъ произведеніяхъ много личной правды, можно подмѣтить любопытныя черточки его человѣческаго характера, но чувствуется недостатокъ музыкальныхъ звуковъ и общаго поэтическаго напѣва. Онъ не обладалъ никакими красками, и лирическій стихъ его, въ противоположность иногда остроумному, иногда ловкому, хотя и подражательному, сатирическому стиху, подчасъ страдаетъ какою-то вялостью, безсиліемъ угнетенной сантиментальности. Не смотря на настоящій умъ, Добролюбовъ иногда утрировалъ выраженія своихъ

чувствъ и настроеній. Пріученный глядѣть на вещи подъ искусственнымъ, тенденціознымъ угломъ зрѣнія, быть можетъ чуть-чуть самодовольный въ оцѣнкѣ своей публицистической дѣятельности, онъ самъ, почти сходя въ могилу, произнесъ судъ надъ своей короткой и неполной жизнью въ слѣдующихъ, хорошо всѣмъ извѣстныхъ строкахъ:

Милый другъ, я умираю,
Оттого, что былъ я честенъ,
Но за то родному краю
Вѣрно буду я извѣстенъ.
Милый другъ, я умираю,
Но спокоенъ я душою...
И тебя благословляю:
Шествуй тою же стезею.

Послѣдними произведеніями Добролюбова были: оправдательная статья по поводу исторіи съ Пироговымъ и чисто публицистическая статья, напечатанная въ августовской книгѣ «Современника» 1860 г. въ качествѣ очереднаго «Внутренняго Обозрѣнія».

Предъ нами прошла вся дѣятельность Добролюбова. Какъ преемникъ Бѣлинскаго, онъ не внесъ въ русскую литературу ни одного новаго эстетическаго или литературнаго принципа, который могъ бы двинуть впередъ русское творчество. Ошибки послѣдняго періода дѣятельности Бѣлинскаго доведены имъ до очень широкихъ размѣровъ и въ его критическихъ статьяхъ скристаллизовались въ цѣлую публицистическую систему, совсѣмъ не пригодную для оцѣнки художественныхъ произведеній. Въ лицѣ Добролюбова русская критика, какъ таковая, сдѣлала шагъ назадъ по сравненію съ критикой Бѣлинскаго, ибо, ставъ на почву чистѣйшаго реализма, даже безъ всякой примѣси психологическаго или философскаго интереса, Добролюбовъ принципіально отодвинулъ на заднiй планъ ея истинныя литературныя задачи и цѣли. Органъ критическаго сознанія общества атрофировался быстро и рѣшительно. Журнальная рецензія, съ бойкими жизненными намеками, становилась орудіемъ, дѣйствовавшимъ, быть можетъ, въ какой-нибудь степени на внѣшній ходъ вещей въ странѣ, но не производившимъ никакого вліянія на жизнь и развитіе искусства и литературы. Критика все болѣе и болѣе замѣнялась обсужденіемъ постороннихъ ей вопросовъ и становилась замаскированнымъ средствомъ для воспитанія общественнаго мнѣнія на почвѣ гражданственной. Просвѣтительныя задачи, подъемъ научно-философскаго развитія общества уходили все дальше и дальше и, такимъ образомъ, терялась почва для настоящаго, глубокаго прогресса. Наконецъ, «Свистокъ» пріучалъ общество къ безцеремонности и разнузданности въ отношеніи къ серьезнѣйшимъ явленіямъ жизни и готовилъ блестящій тріумфъ критической дѣятельности третьяго критика русской литературы — Писарева и его современныхъ оруженосцевъ и эпигоновъ.

А. Волынскій.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛѢТОПИСЬ.

I.

Что дѣлаютъ теперь во французской палатѣ? Тамъ совершилось два любопытныхъ дѣла. Когда въ казну свалилось 67 милліоновъ, благодаря конверсіи, не знали, что дѣлать съ ними. Радикалы и соціалисты потребовали, устами Жореса, уменьшить на эту сумму поземельный налогъ. По этому случаю они раскрыли изнанку нынѣшней блестящей Франціи; и ихъ горячо поддержали многія газеты и лучшіе экономисты. Хозяйственное положеніе страны начинаетъ напоминать времена предъ 1789 г. Такія лукавыя мѣры, какъ земледѣльческіе синдикаты 1884 г., послужили только въ пользу крупныхъ владѣльцевъ и хлѣбныхъ торговцевъ: благодаря имъ, во Франціи завелись свои аграріи, эти пьявицы крестьянства. А тутъ рядъ неурожаевъ—и пошла работа кулаковъ-скупщиковъ. Обнищалый крестьянинъ должаетъ и, когда приходитъ срокъ уплаты, оставляетъ заимодавцу однѣ развалины: рубятъ и продаютъ деревья, даже свои усадьбы. Недоимки ростутъ. Лишенные имущества сельчане стремятся въ города. Развиваются бродяжничество и нищенство. Правительство, ничто же сумняшеся, хватало бродягъ, пока не переполнились тюрьмы. А тѣмъ временемъ росло крупновладѣніе: теперь изъ 50 милліоновъ гектаровъ пашенной земли только 7 принадлежатъ мужикамъ: остальные—въ рукахъ помѣщиковъ, которые сдаютъ землю въ аренду или вовсе не обрабатываютъ ея, т. е. заводится фермерство, отъ котораго Англія не знаетъ теперь, какъ избавиться.

Послѣ такой картины, которую министръ земледѣлія созерцалъ молча, палата устыдилась: большинствомъ болѣе ста голосовъ, она приняла предложеніе Жореса по частямъ. Но при голосовкѣ предложенія Жореса въ цѣломъ, оно провалилось. Вмѣсто того, назначили 5 милліоновъ изъ 67 на перестройку Бурбонскаго дворца.

А за остальные милліоны взялись, къ довершенію скандала, новоявленные аграріи, протекціонисты г-на Мелина, которыми кишитъ Бурбонскій дворецъ. Года три тому назадъ, имъ удалось разрушить торговые договоры и поднять хлѣбную пошлину на 5 фр. съ гектолитра. Теперь

они потребовали 12 фр., чтобъ помочь мужику, у котораго они уже почти отняли пашни. Казалось, эта наглая нелѣпость осуждена заранѣе. Въ нѣмецкомъ рейхстагѣ, гдѣ тогда-же разминался этотъ самый вопросъ, доказано, что цѣны на хлѣбъ зависятъ не столько отъ тарифовъ и даже урожаевъ, сколько отъ рынка и биржи, т. е. отъ спекуляціи кулаковъ и аграріевъ. Противъ гг. Мелиновъ появились убійственные документы. На вопросъ о послѣдствіяхъ разрыва торговыхъ договоровъ торговая палата Реймса отвѣчала, что они «гибельны». Сѣверо-востокъ Франціи теряетъ свои вѣковые рынки; лопаются шерстяныя фабрики, гдѣ кормились сотни тысячъ рабочихъ. То же говорила о югѣ Франціи марсельская дума, которая прямо протестовала противъ хлѣбныхъ пошлинъ. Первые экономисты возмущены продѣлками протекціонистовъ. Леруа-Болье и Пасси доказываютъ, что въ послѣдніе три года вывозъ Франціи сократился на полмилліарда; и если возвысить пошлину на хлѣбъ только до 8 фр., то крестьянской семьѣ придется истратить въ годъ до 150 фр. на одинъ хлѣбъ, т. е. внести эту контрибуцію въ карманы аграріевъ. Даже лучшіе органы оппортунизма возстали: *Temps* заявилъ, что «ретроградная политика, ведущая Францію къ одиночеству», есть «повѣтріе безумія» и путь къ воскрешенію коммуны.

Наконецъ, всѣ стали выдвигать политическую сторону дѣла, особенно въ виду русско-германскаго договора. Въ палатѣ и въ журналахъ заговорили: «Это — неслыханное безразсудство! Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ не останется и слѣда отъ тулонскаго опьяненія. Мы допустили Германію похитить у насъ швейцарскій рынокъ, а скоро лишимся и русскаго». Кончилось тѣмъ, что само министерство умоляло аграріевъ удовольствоваться 7-ю фр. Эту пошлину и приняла палата, а за нею и сенатъ.

II.

Германія представляла, за послѣдніе мѣсяцы, весьма поучительный предметъ для наблюденій соціолога надъ паталогіей современныхъ обществъ. Тамъ шла все та-же солидная, но безплодная работа надъ разрѣшеніемъ такихъ допотопныхъ вопросовъ: какъ-бы пахать тамъ, гдѣ не сѣяли; и какъ-бы извлечь милліоны оттуда, гдѣ нѣтъ гроша? Отсюда война «на всѣ фронты» — только не съ внѣшними, а съ внутренними врагами, съ собственными подданными. Вчера воевали съ соціалистами и клерикалами, съ помощью юнкеровъ, сегодня борются съ юнкерами, съ обратнымъ союзомъ. Дѣло почти невѣроятное. Оказывается, напримѣръ, что «новый курсъ», сознавшись, что нѣтъ лишнихъ денегъ на флотъ, ѣдетъ теперь уже по сухому пути. И ѣдетъ онъ на такой тройкѣ, какія водились только въ 17 и 18 вѣкахъ, въ эпоху «государственныхъ тайнъ» и Staatsraison'а, недоступнаго «ограниченному разумѣнію подданныхъ».

Такъ какъ въ Пруссіи теперь все дѣло въ презрѣнномъ металѣ, изображающемъ собою «патріотизмъ», то вотъ уже четыре мѣсяца, какъ въ

корню стоитъ министръ финансовъ, а на пристяжкѣ новый магъ—его товарищъ да имперскій канцлеръ. Старый магъ и чародѣй финансовъ—все онъ же, «геніальный» Микель. Онъ теперь немножко смущенъ. Его угнетаетъ прошлое. Давно-ли онъ разводилъ такой либерализмъ, какъ подоходный налогъ? А теперь выступилъ съ такими налогами, что всѣ партіи рвутъ его на части въ рейхстагѣ, да еще ехидно спрашиваютъ: отчего это онъ противится введенію подоходнаго налога въ имперіи? Микель открещивается отъ этого грѣха. А тутъ Бебель раскрылъ еще болѣе ужасные грѣхи юности—благоговѣйную переписку Микеля съ Марксомъ и Энгельсомъ. Министру пришлось признаться въ своемъ грѣхѣ; но теперь онъ убѣдился «въ ложности соціалистическихъ ученій» и готовитъ книгу на этотъ счетъ. Теперь онъ взялъ къ себѣ на подмогу новаго товарища, въ замѣнъ Мальтцана, который опротивѣлъ всѣмъ изобрѣтеніемъ пресловутыхъ трехъ *В*. Этимъ товарищемъ оказался Позадовскій, силезскій полякъ, но протестантъ и аграрій, готовый съѣсть своего товарища.

На такой-то тройкѣ появился, въ рейхстагѣ, въ сумрачный ноябрьскій день, «новый курсъ», сопровождаемый недовольствомъ всѣхъ партій и всего народа. Какъ извѣстно, рейхстагъ былъ созванъ для разрѣшенія новыхъ налоговъ въ пользу военной «реформы». И эти налоги все ростутъ: правительство потребовало еще $5^1/_2$ милл. марокъ на постоянный экзерциръ-плацъ, т. е. на превращеніе плодородной земли въ безплодную; а недостачу хлѣба съ этой полосы приходилось возмѣщать покупкой заграницей, такъ что предвидѣлось убытка народу на 14 милл. Но не успѣлъ открыться рейхстагъ, какъ Германія, въ особенности же Берлинъ, переполнилась сходками всякихъ партій, гдѣ всѣ заговорили единодушно и горячо противъ новыхъ косвенныхъ налоговъ. Каприви, испытывая въ чужомъ пиру похмѣлье, пустилъ впередъ симпатичные народу торговые договоры,—на этотъ разъ съ Румыніей, Сербіей и Испаніей. Произошли чудеса. Вся нація обрадовалась этимъ орудіямъ мира, тѣмъ болѣе. что за ними виднѣлось и прекращеніе таможенной войны съ Россіей. За нихъ стояли разнообразныя, даже враждебныя другъ другу партіи—и соціалъ-демократы, и націоналъ-либералы, и прогрессисты. Противъ нихъ выступила зло и открыто только кучка аграріевъ, съ антисемитами въ резервѣ и съ такими допотопными, своекорыстными доводами изъ «старо-прусскихъ преданій», что ихъ ничего не стоило разбить. Раздались на весь міръ убѣдительная и колкая рѣчь Рихтера, жгучее слово Бебеля, наставительная лекція Беннигсена, твердыя заявленія министровъ, даже уклончивыя объясненія поляковъ — чистокровныхъ аграріевъ. Въ особенности краснорѣчивъ и интересенъ былъ самъ Каприви. Онъ горячо отстаивалъ интересы несчастнаго потребителя и крестьянина отъ «рака земледѣлія», т. е. отъ вождѣленій аграріевъ. Онъ безпощадно разоблачалъ «демагогическій образъ дѣйствій» прокутившихся юнкеровъ, алчность и деспотизмъ Бисмарка. Видно было, что передъ лицомъ міра идетъ смертельный бой между свободою и протекціонизмомъ, между ми-

ромъ и войной. Еще замѣтно было, что горитъ, быть можетъ и менѣе сознательно, борьба между гегемоніей ревнивой, консервативной, властительной и шовинистской Пруссіи, съ одной стороны, и мирной, жаждущей свободы и независимости Германіей — съ другой.

Борьба двухъ началъ обострялась съ каждымъ днемъ. Въ рейхстагѣ давно не было такого оживленія. Выступилъ противъ канцлера мира самъ «желѣзный канцлеръ»: Гербертъ Бисмаркъ привезъ изъ Фридрихсруэ произведеніе знакомаго пера. Онъ уличалъ правительство въ потворствѣ соціалистамъ и анархистамъ! А свѣтила краснорѣчія либеральныхъ толковъ громили всѣ пережитки средневѣковщины, въ лицѣ аграріевъ и ихъ приспѣшниковъ.

Но каково же было творцу мирной эры видѣть, какъ его усилія подрываются тѣмъ самымъ «новымъ курсомъ», за который онъ расписнается! Вильгельму II невыносимо, что онъ — владыка только во время войны: онъ давно мечталъ распоряжаться войсками имперіи и въ мирную пору. Это вожделѣніе, вмѣстѣ съ гибельнымъ для Швабіи налогомъ на вино, привело къ великому скандалу въ фатерландѣ: 9-го декабря, вюртембергскій министръ, Мозеръ, засѣдавшій въ союзномъ совѣтѣ, внезапно покинулъ Берлинъ и объявилъ, что больше не вернется. А это могло подѣйствовать на Баварію, Гессенъ, Саксонію и даже на правовѣрный Баденъ, гдѣ уже подняла голову «баденская демократія» пріятеля Евгенія Рихтера, Зигля, — партія, возстающая противъ «Молоха» (прусскаго милитаризма).

Но самое тяжкое испытаніе предстояло Каприви въ самомъ рейхстагѣ. Ему пришлось послѣдовать примѣру Бисмарка, мѣнявшаго союзы съ партіями, какъ туфли. Онъ вдругъ увидѣлъ, что судьба договоровъ зависитъ отъ партіи центра, а эти опытные молодцы политики do ut des (подачка за подачку) тотчасъ поняли свое положеніе и воспользовались имъ. Они съ самаго начала заявили себя противниками договоровъ; а въ первый же «Шверинов день» [1]) выступили съ 20 биллями, во главѣ которыхъ стояло возвращеніе іезуитовъ и затѣмъ... кое-что въ пользу рабочихъ, чтобы закрѣпить за собой сельскихъ овечекъ Bauernbund'а. Нужно замѣтить, что законъ противъ іезуитовъ, которымъ открылся Kulturkampf, былъ изданъ въ 1872 г., тотчасъ послѣ объявленія догмата о папской непогрѣшимости, возмутившаго всѣхъ противъ заносчивости Пія IX. Онъ былъ очень тяжелъ для патеровъ: германскій отдѣлъ ихъ ордена былъ однимъ изъ самыхъ цвѣтущихъ. Теперь вожаки центра заявили: «Въ Германіи терпятъ анархистовъ, а изгоняютъ іезуитовъ, которые борются съ разрушительными ученіями». А эти ученія оказались такими идеалистичными, что вывезли іезуитовъ, хотя и съ трудомъ: за центръ стали

[1]) *Die Schwerinstage* — по имени давнишняго министра-либерала, Шверина, который предложилъ рейхстагу назначить одинъ день въ недѣлю для частныхъ, партійныхъ биллей. Была выбрана среда для Schwerinsanträge.

соціалисты и прогрессисты, какъ противники «всякихъ исключительныхъ законовъ».

Какъ только совершилось такое знаменательное событіе, все пошло какъ по маслу. Черезъ двѣ недѣли, 14-го декабря, рейхстагъ принялъ всѣ три «маленькихъ» договора, хотя и большинствомъ всего 24 голосовъ.

III.

Вслѣдъ затѣмъ выступилъ на сцену договоръ—русскій договоръ,—и снова началось знаменитое германское «столпотвореніе», тѣмъ болѣе, что это дѣло сплеталось съ неконченнымъ финансовымъ вопросомъ.

Русскій договоръ имѣетъ міровое значеніе не потому только, что онъ связываетъ на десять лѣтъ двѣ могущественнѣйшія военныя державы. Его великій экономическій смыслъ очевиденъ. И онъ ясенъ для всякаго, кто не скованъ теоретическимъ педантствомъ и не подкупленъ соблазнами своекорыстныхъ партій. Печальная исторія вездѣ и всегда одна и та же: что мы сейчасъ говорили про французскихъ Мелиновъ, то же самое приходится повторить про германскихъ аграріевъ, которые и ссылались на Мелина. Вездѣ охотники нажиться насчетъ народа прикрываются его интересами. Вездѣ ихъ алчность неутолима: они все требуютъ надбавокъ въ тарифахъ, не замѣчая, какъ наивныя дѣти, что этимъ они сами прямо доказываютъ ложность своихъ спасительныхъ мѣръ. 15 лѣтъ тому назадъ, въ 1879 г., Германія покинула путь свободной торговли: чистокровный юнкеръ и крупный землевладѣлецъ, Бисмаркъ, обложилъ привозный хлѣбъ пошлиной въ 1 марку на центнеръ, а въ 1887 г. понадобилось уже 5 марокъ. Въ то же время вообще возвышали пошлины на предметы питанія, подъ видомъ санитарныхъ и тому подобныхъ цѣлей. Нигдѣ не было такого чудовищнаго тарифа: и все это, конечно, въ пользу народа, который платилъ всѣ эти пошлины, а аграріи наживались.

Въ 1893 г. Россія объявила таможенную войну противъ безобразій германскаго тарифа, направленнаго преимущественно противъ ея земледѣлія: она потребовала пониженій, подобныхъ австро-германскому договору. Получивъ отказъ, она подняла пошлины на произведенія нѣмецкой промышленности огуломъ на 25°/₀ противъ своего, и безъ того высокаго тарифа, 1891 г. Германія отвѣчала 50°/₀, Россія надбавила еще 50°/₀...

Теперь аграріи пустили въ ходъ всѣ обычныя средства паразитовъ народа—ложь, клевету, запугиванія, наускиванія. Ихъ клубы, гдѣ числилось до 160,000 членовъ, обратились въ собранія якобинцевъ. Только-что заведенныя сельскохозяйственныя палаты обратились въ «юнкерскіе парламенты», по словамъ Рихтера: онѣ мечтаютъ объ упроченіи разваливающагося допотопнаго майората, т. е. объ окончательной гибели мелкаго владѣнія, тогда какъ именно теперь, въ виду бѣгства мужиковъ въ города, сокращеніе

крупновладѣнія — единственное средство спасти пустѣющее село. Аграріи распускали слухи, будто южныя государства Германіи прямо взбунтуются, если пройдетъ русскій договоръ, и грозили, что армія развалится, такъ какъ ихъ соколки, офицеры, выйдутъ въ отставку. Они наводнили страну дерзкими, тревожными листками, гдѣ поносили Каприви и увѣряли, что онъ уже подалъ въ отставку. Они готовили формальную революцію, разсчитывая захватить власть: ихъ было множество среди провинціальныхъ ландратовъ; они господствовали въ прусскомъ ландратѣ: ихъ главарями оказались не только оба Бисмарка, но и Эйленбургъ, и самъ «геній» и «соціалистъ» Микель.

Съ каждымъ днемъ аграріи веселѣли: казалось, ихъ дѣло выиграно; и они доходили до предѣловъ наглости. Гербертъ Бисмаркъ всюду, даже въ рейхстагѣ, носился съ своими пошленькими, но злыми и откровенными рѣчами. Старая лиса въ Фридрихсруэ собиралась явиться въ рейхстагѣ, а покуда подкапывалась подъ договоръ въ своихъ затхлыхъ газеткахъ. Ветхая деньми *Kreuzzeitung* вопила, что правительство превращается въ демагога, забывая правило — «власть, а не большинство»: оно «подвергаетъ опасности монархическія чувства и имперское единство». Наконецъ, аграріи осмѣлились прямо объявить въ рейхстагѣ, что «правительственная колесница расшаталась» и необходимо обратиться за помощью къ «сокровищу» Германіи.

IV.

Дѣло кончилось тѣмъ, чѣмъ кончается всякая ложь. Аграріи только разоблачились во всей своей наготѣ. Подобно англійскимъ лордамъ, они приблизили эру погибели юнкерскаго господства въ несчастной Германіи. Они возстановили противъ себя всю націю. Ея истинныя чувства и выгоды проявлялись съ каждымъ днемъ сильнѣе. Вся печать, за исключеніемъ кучки ретроградныхъ газетъ, доказывала цифрами и документами какъ обнищала Германія, благодаря юнкерству и связанной съ нимъ военщинѣ. За послѣднія 15 лѣтъ военные расходы поглотили 1.630 милл. марокъ, доходя иногда до 318 милл. въ годъ; изъ нихъ тяжелыми займами покрыто 1.334 милл. И въ Германіи, въ этомъ убѣжищѣ науки, начали экономничать насчетъ университетовъ и музеевъ! Новый юмористическій листокъ, *Lüstige Blätter*, выпустилъ къ Рождеству яркую картинку. Жирнаго льва (черты военнаго министра) въ клѣткѣ кормятъ кровавымъ мясомъ («новые налоги»). Позади еле держится на ногахъ тощая фигура (черты министра просвѣщенія), жадно поглядывающая на кормъ. Подъ картинкой подпись: «Завистливое просвѣщеніе: о, ты, счастливый звѣрь!»

Печать объясняла, какъ пала нѣмецкая промышленность во всѣхъ своихъ отрасляхъ: покупаютъ все меньше и все подешевле. Фабрики и магазины пустѣютъ. Печати вторили торговыя палаты, клубы и общества промышленниковъ, купцовъ и ремесленниковъ. Всѣ доказывали едино-

гласно, что таможенная война губитъ все производство страны, а также ея судоходство. Заговорилъ и тотъ пашенный мужикъ, «ради котораго» поднялись аграріи. Извощики плачутся на недостатокъ овса и бросаютъ свой промыселъ. Сельчане бѣгутъ въ города отъ тягости налоговъ и недостатка земли. Здѣсь они образуютъ массу безработныхъ. Въ Берлинѣ безработные стали ходить по улицамъ съ криками: «работы или пищи!» 18-го января ихъ было 50,000, и произошли схватки съ полиціей. Соціалисты устраиваютъ изъ нихъ множество сходокъ. И рейхстагъ сталъ обсуждать ихъ бѣдственное положеніе, какъ «послѣдствіе промышленнаго застоя». Либкнехтъ показалъ, что вездѣ господствуетъ нужда, вызывающая анархизмъ, который питаетъ реакцію: въ Америкѣ 2 милл. безработныхъ, въ Англіи—1 милл.; во Франціи, Бельгіи и Италіи голодовки. А государство смотритъ на народъ только, какъ на дойную корову или стрегомую овцу. Въ отвѣтъ на эту печальную рѣчь, министръ Бёттихеръ призналъ нужду, считая ее, впрочемъ, пустякомъ, «обыкновеннымъ явленіемъ».

Въ то же время допекали со всѣхъ сторонъ Микеля. Со всѣхъ концовъ летѣли протесты противъ его «геніальнаго» оббиранія народа путемъ новыхъ налоговъ: ихъ уже болѣе 1 милл.; они составили 80 томовъ, по 1,200 страницъ въ каждомъ. Каприви представилъ въ рейхстагъ всю эту прелесть; а купцы зазвали Микеля къ себѣ на банкетъ, и поговорили съ нимъ такъ откровенно, что онъ воскликнулъ сквозь слезы: «страдальцы нуждаются въ утѣшеніи». Въ концѣ января въ рейхстагѣ произошла «гекатамба» налоговъ Микеля: всѣ спроважены въ бездонную бочку, именуемую коммисіей. И финансовый «геній» Германіи сталъ посмѣшищемъ юмористическихъ листковъ.

Чѣмъ ближе подходило 10-е февраля, тѣмъ болѣе заваливали Каприви просьбами объ ускореніи русскаго договора. Купцы, промышленники, рабочіе, крестьяне собирались на громадныя сходки съ тою-же цѣлью. Во всѣхъ углахъ Германіи появилась масса брошюръ на ту-же тему. И дѣло между уполномоченными Россіи и Германіи закипѣло. 10 февраля договоръ былъ подписанъ; 19-го онъ былъ принятъ единогласно союзнымъ совѣтомъ; 26-го начались пренія о немъ въ рейхстагѣ, которыя длились цѣлую недѣлю.

Прежде всего аграріи набросились на договоръ—и совсѣмъ оплошали. Въ ихъ рѣчахъ не было ничего, кромѣ дерзостей и циничнаго шовинизма. Они вовсе неумно обвиняли правительство въ союзѣ съ соціалистами и чуть не съ анархистами. Они старались поднять низменныя чувства толпы. «Мы отказываемся отъ своихъ правъ въ пользу сосѣда. Бисмаркъ находилъ выгоднымъ, передъ прибытіемъ въ Берлинъ Русскаго Монарха, закрыть двери имперскаго банка для русскихъ бумагъ... Россія держитъ 150 эскадроновъ кавалеріи на западной границѣ *для вторженія въ Германію.* И мы покорно преклоняемся, принимая ея хлѣбъ, въ которомъ мы *не нуждаемся»* и т. д. Защитники договора фактами опровергали фантазіи аграріевъ. Если Россія мало уступила, то и за это спа-

сибо: она столько навредила Германіи, за послѣдніе 20 л., своими тарифами, что въ министерствѣ скопилось 120 томовъ, подъ заглавіемъ: «Вредъ, нанесенный нѣмецкой промышленности русскою торговой политикой». Разсужденія аграріевъ годны только для «добраго стараго времени». Теперь-же, при договорахъ съ другими государствами, пошлины на русскій хлѣбъ не имѣютъ смысла: онъ придетъ въ Германію черезъ другія страны въ видѣ муки. Рихтеръ цѣлый часъ громилъ аграріевъ ѣдкими сарказмами, среди смѣха лѣвой и негодующихъ возгласовъ правой. Но важнѣе всего были столь-же искренныя слова Каприви, рѣчь котораго и за предѣлами Германіи назвали «мастерскою и величественною». Благородныя слова имперскаго канцлера были направлены именно противъ шовинизма аграріевъ, которые стремятся къ «отчужденію и озлобленію людей», къ сооруженію «китайской стѣны» между сосѣдями: эти господа поссорили дома промышленность съ сельскимъ хозяйствомъ и развили вражду между потребителями и производителями, а теперь готовы бросить Россію въ объятія панславизма, т. е. отвлечь ее отъ культурнаго общенія съ Европой. Каприви радовался, что этимъ «мостомъ между двумя великими націями» на десять лѣтъ обезпечивается миръ, и Германія доказываетъ всѣмъ, что «она сыта». Онъ заявилъ, что Австрія съ Италіей также выразили свою радость.

Рѣшительный тонъ Каприви ошеломилъ аграріевъ. Они, а также поляки, стали говорить уклончиво, болѣе сдержанно. Микель подалъ въ отставку. Начинаютъ отступать и многіе члены аграрныхъ клубовъ. Принятіе договора считается обезпеченнымъ: за него большинство и въ коммисіи рейхстага, куда онъ переданъ 1-го марта. Нѣмцы ликуютъ. Каприви сталъ опять популяренъ, какъ въ началѣ своего канцлерства.

А. Трачевскій.

Комиссія при Спб. Комитетѣ Грамотности для помощи нуждающимся ученикамъ народныхъ школъ

Два года назадъ, въ январѣ 1892 г., во время голода общее собраніе Спб. Комитета Грамотности избрало Комиссію для помощи учащимся въ народныхъ школахъ неурожайныхъ мѣстностей. Въ первые 1 годъ 9 мѣсяцевъ до октября 1893 г. Комиссія подъ предсѣдательствомъ Я. Г. Гуревича собрала пожертвованіями и другими способами почти 27,000 руб. и изъ нихъ издержала около 25,000 руб. на кормленіе учащихся въ школахъ большей части неурожайныхъ губерній. Съ урожаемъ 1893 года голодное бѣдствіе кончилось. Но въ народныхъ школахъ, конечно, имѣется часть учениковъ, сильно нуждающаяся, именно сироты, дѣти бѣднѣйшей части крестьянъ и т. п. Притомъ въ 1893 г., рядомъ съ удовлетворительнымъ урожаемъ въ большинствѣ губерній, послѣдовалъ плохой урожай въ нѣкоторыхъ, преимущественно сѣверныхъ губерніяхъ: Новгородской, С.-Петербургской, Олонецкой, части Тверской, Тобольской и др. Общее собраніе Комитета Грамотности въ октябрѣ въ 1893 г. нашло, что, какъ существуютъ при среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеніяхъ общества помощи нуждающимся ученикамъ, такъ и даже гораздо болѣе необходимы подобныя-же учрежденія для народныхъ школъ, и потому продолжило дѣятельность Комиссіи на 1893 — 94 учебный годъ.

Изъ Новгородской губ. пишутъ Комиссіи, что неурожай въ 1893 г. былъ изъ ряду вонъ, крестьяне уже съ начала зимы покупаютъ хлѣбъ, во многихъ школахъ почти половина учениковъ не ходитъ въ школы, потому что принуждена собирать милостыню. Изъ Нижегородской губ. пишутъ, что въ нѣкоторыхъ ея углахъ, разоренныхъ предыдущими неурожаями и недоимками, болѣзненность и смертность дѣтей увеличились. Во всѣхъ этихъ губерніяхъ ученики, приходящіе изъ дальнихъ деревень на цѣлую недѣлю, питаются всю недѣлю однимъ сухимъ хлѣбомъ.

Такъ какъ мѣстный неурожай 1893 года не былъ такой полный, какъ неурожаи 1891 и 1892 годовъ, то Комиссія, соблюдая экономію при ея малыхъ средствахъ, даетъ въ нынѣшнемъ году не на полное продовольствіе цѣлыхъ школъ, какъ въ первые 2 года, но лишь на бѣднѣйшихъ

учениковъ и притомъ или на горячую пищу (щи, кашу, картошку, чай), или на ржаную муку, изъ которой въ школахъ печется хлѣбъ, что составляетъ на каждаго ученика въ нынѣшнемъ учебномъ году, до мая мѣсяца, отъ 30 коп. до 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ, смотря по мѣстной нуждѣ. Уже въ настоящее время Комиссія кормитъ 423 ученика въ 38-ми народныхъ школахъ (31 земской и 7 министерскихъ) уѣздовъ Лужскаго, Гдовскаго, Шлиссельбургскаго, Бѣлозерскаго, Кирилловскаго, Устюженскаго и Арзамасскаго. Всего ею ассигновано на эти 38 школъ до конца учебнаго года 745 руб.

Комиссія надѣется, что общество поддержитъ ея дѣло своими пожертвованіями также, какъ и въ предыдущіе два бѣдственныхъ года, такъ какъ кормленіе бѣднѣйшихъ учениковъ уменьшаетъ болѣзни и смертность слабыхъ дѣтей, которыя иначе принуждены въ морозъ цѣлые мѣсяцы собирать милостыню и на цѣлые мѣсяцы прерываютъ свое школьное ученіе, и безъ того слишкомъ кратковременное.

Пожертвованія единовременныя и ежемѣсячныя принимаютъ: предсѣдатель Комиссіи Б. Э. Кетрицъ (Баскова ул., 14), казначей ея Ю. В. Керножицкая (Б. Московская, 9) и члены Н. А. Окуневъ (Преображенская ул., 42) и А. М. Ону (Б. Конюшенная, 1).